РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Бэкман В. Э.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

РАССКАЗЫ

●

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

●

ПЯТАЯ КОЛОННА

●

СТАРИК И МОРЕ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

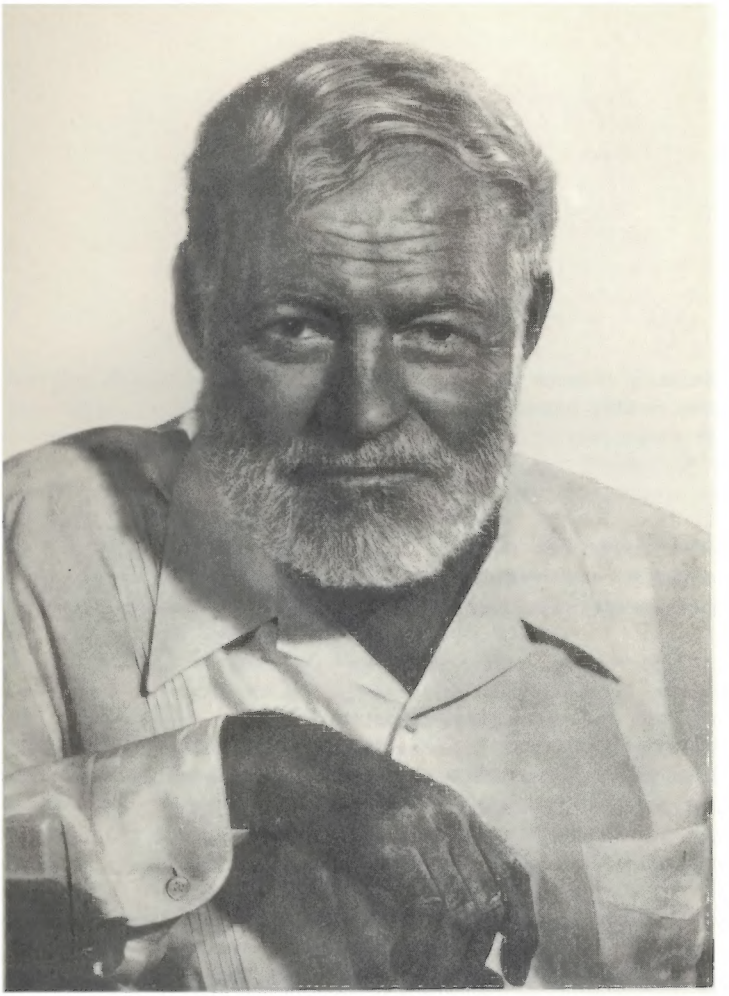
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1972

Вступительная статья и примечания
Б. Грибанова

И (Амер)
Х 37

Иллюстрации
О. Верейского

7-3-4
Подп. изд.



ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Эрнеста Хемингуэя с полным правом можно назвать ровесником XX века. И не только потому, что он родился на самом рубеже века — в 1899 году. И даже не потому, что всю свою жизнь, захватившую более полустолетия (он покончил с собой 2 июля 1961 года), Хемингуэй жил жизнью своего века, был активным участником многих крупных событий исторического масштаба — достаточно сказать, что он добровольно участвовал в трех войнах, две из которых были мировыми войнами. Он оказался подлинным ровесником XX века потому, что с предельной честностью большого художника старался ответить на самые острые, самые больные вопросы современности.

Творчество всякого истинного художника всегда имеет глубинные связи с эпохой, с нравственными проблемами этой эпохи. У Хемингуэя эта связь проявляется с особой непосредственностью, его творчество невозможно отделить от его биографии, хотя эта биография, естественно, предстает перед читателем художнически осмысленной и художественно преобразованной. Хемингуэй не был простым летописцем своей жизни или бытописателем. Он писал о том, что хорошо знал, сам видел, сам пережил, но личный опыт, на который он опирался, служил лишь фундаментом возводимого им здания творчества. Сам Хемингуэй сформулировал этот принцип в следующих словах: «Писать романы или рассказы — значит, выдумывать на основе того, что знаешь. Когда удается хорошо выдумать, выходит правдивее, чем когда стараешься припомнить, как бывает на самом деле».

Хемингуэя привычно именуют одним из представителей так называемого «потерянного поколения». Под этим термином имеют в виду тех европейских и американских писателей, которые совсем молодыми попали в мясорубку первой мировой войны, разрушившей многие иллюзии, взорвавшей былой уклад мирной жизни. На творчество этих писателей

легла мрачная тень войны, печать растерянности перед безумием человечества, позволившего ввергнуть себя в эту бессмысленную бойню.

Хемингуэй, собственно, и ввел в литературу понятие «потерянного поколения», приведя эти слова, оброненные американской писательницей Гертрудой Стайн, в качестве эпиграфа к своему первому роману «И восходит солнце». Однако причислять Хемингуэя безоговорочно к «потерянному поколению» было не совсем правильно, о чем речь пойдет дальше. Но факт внешней причастности к поколению бесспорен. Восемнадцатилетним юношей Хемингуэй вступил добровольцем в Транспортный корпус американского Красного Креста и попал на фронт в Италию. На фронте он пробыл недолго,— он получил тяжелое ранение, в течение многих лет причинявшее ему физические и душевные страдания. Но, невзирая на эти травмы, Хемингуэй всегда подчеркивал, как много дала ему война в смысле жизненного и нравственного опыта. В книге «Зеленые холмы Африки» он рассказывал, как, читая «Севастопольские рассказы» Толстого, одну из своих любимых книг, он «задумался о Толстом и о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт. Война — одна из самых важных тем, и притом такая, когда труднее всего писать правдиво, и писатели, не видавшие войны, из зависти стараются убедить и себя и других, что тема эта незначительная, или противоестественная, или нездоровая, тогда как на самом деле им просто не пришлось испытать того, чего ничем нельзя возместить». Но для того чтобы осмыслить этот опыт и сделать его достоянием читателей, Хемингуэю потребовалось еще немало лет. Потребовался опыт работы европейским корреспондентом канадской газеты, познакомивший его в начале 20-х годов с закулисной стороной международной политики, потребовалось увидеть в 1922 году еще одну, на этот раз «малую», войну на Ближнем Востоке между Турцией и Грецией, потребовались годы напряженного литературного труда, принесшие мастерство.

Если жизненная биография Хемингуэя началась, по существу, в окопах на реке Пьяве, то его литературная биография берет свои истоки в Париже 20-х годов. Париж в те времена был Меккой модернизма. Писатели, поэты, художники из множества стран съезжались сюда, чтобы окунуться в эту атмосферу, где ниспровергались былые ценности и создавались, казалось бы, новые, рожденные к жизни XX веком. В этот бурлящий водоворот и погрузился молодой журналист, твердо решивший стать писателем.

В Париже Хемингуэй познакомился с такими столпами модернистской литературы, как Джеймс Джойс, Гертруда Стайн. Они были кумирами, незыблемыми авторитетами для молодых литераторов. И нужно было обладать очень трезвым умом и врожденным чутьем писателя-реалиста, чтобы не дать увлечь себя модными идеями мисс Стайн, ее

субъективизмом, демонстративным пренебрежением к социальным проблемам, ее экспериментами, сводящимися к чисто формальной словесной игре. Молодой Хемингуэй прислушивался к советам Стайн, внимательно изучал опыт Джойса. Прислушивался, изучал, но в своей работе искал собственный путь.

В поисках этого собственного пути Хемингуэю помогла великая русская реалистическая литература. «С тех пор как я обнаружил библиотеку Сильвии Бич,— вспоминал Хемингуэй в книге «Праздник, который всегда с тобой»,— я прочитал всего Тургенева, все вещи Гоголя, переведенные на английский, Толстого в переводе Констанс Гарнет и английские издания Чехова». Он открыл, по его словам, «другой, чудесный мир, который дарили тебе русские писатели. Сначала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только русские».

Какие же литературные задачи ставил перед собой начинающий писатель Хемингуэй? Об этом точнее всего сказал он сам: «Проникнуть в самую суть явлений, понять последовательность фактов и действий, вызывающих те или иные чувства, и так написать о данном явлении, чтобы это оставалось действенным и через год, и через десять лет...» Глубине исследования, умению передать и «закрепить» подлинные человеческие эмоции в произведении, так, чтобы читатель и через много лет испытывал чувство сопереживания, он учился у русских писателей. «У Достоевского,— писал Хемингуэй,— есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам,— слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого».

Одновременно с поиском своего пути в литературе определялось и мировоззрение писателя, формировались его политические убеждения. Он много ездил в те годы по Европе, в качестве журналиста присутствовал на нескольких международных конференциях. В Италии он понял, что такое фашизм, и на всю жизнь возненавидел его. Для всякого писателя важно определить свое место в мире. Хемингуэю в этом помогла греко-турецкая война. Он увидел страдания людей, увидел войну совсем иными глазами, чем в 1918 году на итальянском фронте. Спустя тридцать лет он вспоминал: «Я помню, как я вернулся с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, должен ли я посвятить всю свою жизнь, пытаясь сделать что-нибудь с этим, или стать писателем. И я решил, холодный, как змий, стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как смогу». В этом смысл общественной позиции Хемингуэя, которую он избрал в самом начале своей литературной карьеры,— он считал, что поможет людям, если будет писать беспощадную правду о жизни.

Первой серьезной книгой Хемингуэя, принесшей ему некоторую известность, был сборник рассказов «В наше время» (1925), помещаемый полностью в данном томе. В этом сборнике можно ясно разглядеть первое воплощение творческих идей Хемингуэя, можно также увидеть в зародыше круг тем, волновавших молодого писателя и на многие годы определивших основные направления его литературных интересов.

Обращает на себя внимание прежде всего необычное построение сборника — привычные по форме рассказы чередуются в нем с главками-миниатюрами, плавное течение рассказов прерывается короткими ослепительными вспышками. В этом был определенный замысел автора, как он сам объяснял,— «дать общую картину, перемежая ее изучением в деталях. Это подобно тому, как вы смотрите невооруженным глазом на что-то, скажем, проезжая мимо берега, а потом рассматриваете его в пятнадцатикратный бинокль. Или, быть может, скорее так — смотреть на берег издали, а потом поехать и пожить там, а потом уехать и посмотреть опять издали».

Среди рассказов сборника «В наше время» главное место занимают рассказы, составляющие биографию Ника Адамса, хемингуэевского героя, в котором много автобиографических черт, героя, который будет расти, мужать и меняться вместе с автором. Иногда этот герой будет представать перед читателем под другим именем, но, по существу, это будет все тот же Ник Адамс, выросший в лесах Северного Мичигана, попавший мальчишкой на первую мировую войну и вернувшийся с фронта уже иным человеком. Такие рассказы, как «Индейский поселок», «Доктор и его жена», «Что-то кончилось», «Трехдневная непогода», «Чемпион», во многом основанные на личном опыте Хемингуэя, на его воспоминаниях, повествуют о детстве и юности мальчика, о первых его столкновениях со сложностью жизни, о его духовном созревании.

Особое место в сборнике занимает «Очень короткий рассказ». Сам Хемингуэй во время пребывания в госпитале в Италии пережил подобный роман с медсестрой Агнессой фон Куровски, которая обещала выйти за него замуж, но не сдержала своего обещания. Конец рассказа был им нарочито огрублен. Этот любовный сюжет интересен главным образом тем, что впоследствии он разрастется, обогатится новым опытом писателя, новыми мыслями и превратится в сюжет романа «Прощай, оружие!».

В двух рассказах — «Дома» и «На Биг-Ривер» — Хемингуэй исследовал духовное состояние солдата, вернувшегося домой, смятение человека, который не может найти своего места в жизни, драму возникшей пропасти между сыном и родителями — все то, что пришлось пережить самому Хемингуэю. В рассказе «На Биг-Ривер» ни словом не упоминается о том, что герой его вернулся с войны, но вся атмосфера рассказа, настроение героя подсказывают читателю, что этот человек

вернулся именно с войны, вернулся душевно травмированный и теперь жаждет обрести покой в привычном ему по прошлому окружении природы.

Часть рассказов сборника была посвящена теме, которая позже займет серьезное место в творчестве Хемингуэя — теме американских экспатриантов, обосновавшихся во Франции.

Рядом с этими большими рассказами, перебивая их, возникают в сборнике миниатюры — осколочное видение окружающего жестокого мира, с войнами, убийствами, насильственной смертью. Это смерть на войне, это казнь в американской тюрьме, это смерть на корриде, это расстрел шести греческих министров, убийство двух воришек полицейскими, наконец, потрясающее по силе и выразительности описание исхода мирного греческого населения из Фракии. И весь этот калейдоскоп смертей венчало название сборника, иронически вырывавшее слова «в наше время» из текста молитвы «Даруй нам мир в наше время, о, господи!».

Хемингуэй полагал, что писать честно о жизни — это значит писать и о смерти, ибо, как он впоследствии утверждал, «я считал, что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предрешен».

Смерть интересовала Хемингуэя и как художника. Годы спустя он объяснял: «Я тогда учился писать и начинал писать о самых простых вещах, а одно из самых простых и самых существенных явлений — насильственная смерть... Я читал много книг, в которых у автора вместо описания смерти получалась просто клякса, и, по-моему, причина кроется в том, что либо автор никогда близко не видел смерти, либо в ту минуту мысленно или фактически закрывал глаза, как это сделал бы тот, кто увидел бы, что поезд наезжает на ребенка и что уже ничем помочь нельзя». Один из творческих принципов Хемингуэя заключался в том, что нельзя закрывать глаза на трагическое в жизни, каким бы страшным оно ни казалось.

Уже в сборнике «В наше время» четко проявились характерные черты хемингуэевского стиля — предельная сжатость языка, выпуклость, зримость описаний, обнаженность слова, необычный диалог, идущий, казалось бы, по поверхности, но содержащий в себе глубокий и многозначный подтекст, умение опускать в рассказе необязательное. Имея в виду рассказ «Не в сезон». Хемингуэй писал: «Я опустил настоящий конец, заключавшийся в том, что старик повесился. Я опустил его согласно своей новой теории: можно опускать что угодно при условии, если ты знаешь, что опускаешь, тогда это лишь укрепляет сюжет, и читатель чувствует, что за написанным есть что-то, еще не раскрытое».

Если в сборнике «В наше время» явственно проступала мысль о том, что человеческая жизнь — это трагедия, исход которой предрешен, то неизбежно перед писателем должен был встать вопрос о позиции человека, о нормах его этического поведения. Эта проблема всегда

будет волновать Хемингуэя, и на разных этапах своего творчества он будет по-разному отвечать на этот кардинальный нравственный вопрос.

В начале своей литературной деятельности в 20-е годы Хемингуэй не видел в жизни никаких позитивных моральных ценностей. Нужен был какой-то якорь, хотя бы соломинка, за которую можно было бы схватиться. И Хемингуэй нашел для себя такую соломинку — он выработал свой «моральный кодекс». Смысл этого кодекса заключался в том, что раз человек в жизни обречен на поражение, единственное, что ему остается, чтобы сохранить свое человеческое достоинство, это быть мужественным, не поддаваться обстоятельствам, соблюдать, как в спорте, правила «честной игры».

Впервые Хемингуэй попытался воплотить эту мысль в написанном вскоре после завершения работы над сборником «В наше время» рассказе «Непобежденный» (1924). Это рассказ о стареющем матадоре, который хочет во что бы то ни стало доказать, что он еще может быть матадором, еще может убивать быков. Идея рассказа заложена в самом его названии, она заключается в том, что, даже терпя поражение, человек может остаться непобежденным.

Характерно, что героем этого рассказа Хемингуэй избрал человека из мира в достаточной степени условного — бой быков при всем том, что ставкой там является жизнь, все-таки только игра.

В каком-то аспекте — но уже гораздо более жизненном — эта мысль, что человек не должен сдаваться, не должен капитулировать, какие бы удары ему ни наносились, занимала Хемингуэя, когда он писал свой первый роман, принесший ему мировую славу, «И восходит солнце» (1926). Именно в эпиграфе к этому роману Хемингуэй привел ставшие знаменитыми слова о «потерянном поколении». Действительно, это был роман о людях, на которых лежит проклятье прошедшей войны, которую Хемингуэй не раз называл «самой колоссальной, плохо организованной бойней, какая только была на земле», о тех, кто остались живы, но поняли, что были обмануты, что пышные лозунги, призывавшие их умирать за «демократию», «родину», оказались красивой ложью, о людях, которые растерялись, утратя старые иллюзии и не обретя новых и, опустошенные, стали прожигать свою жизнь, разменивать ее в пьянстве, разврате, поисках острых ощущений.

Этих людей Хемингуэй знал до тонкостей, он ведь и сам в какой-то мере был из их среды — с той только разницей, и весьма существенной, что у него была точка опоры в этой жизни — творчество. И эту драгоценную черту он дал и своему герою, журналисту Джейку Барнсу, который, живя с тяжелой психической травмой, оставленной ему войной, не капитулирует перед жизнью, не плывет по течению, сохраняет свое человеческое достоинство, продолжая работать, писать.

После шумного успеха романа «И восходит солнце» критика по-

спешила объявить Хемингуэя певцом «потерянного поколения», что было глубоко неверно — он не воспевал этих опустошенных людей, он просто описал их такими, какими они были, но при этом он противопоставил им своего героя, так же как сам он противостоял своей среде. Но такой точки опоры ему было недостаточно — ему предстояло еще найти незыблемые ценности, нечто, не поддающееся моральной девальвации. Прообразом этого стала в романе природа, земля, которая «пребывает вовеки». В письме своему редактору М. Перкинсу по поводу романа «И восходит солнце» Хемингуэй писал, что «любит землю и восторгается ею, но ни в грош не ставит свое поколение и его суету сует». Эта книга, писал он, должна быть не «пустой и горькой сатирой, а проклятой трагедией, где земля остается вечной, как герой».

Поиск человеком незыблемых ценностей в этом враждебном мире, где смерть подстерегает на каждом шагу, продолжал волновать Хемингуэя и получил своеобразное отражение в рассказе «В чужой стране» (1926). Итальянский майор в разговоре с героем рассказа говорит ему, что человек не должен жениться: «Если уж человеку суждено все терять, он не должен еще и это ставить на карту. Он должен найти то, чего нельзя потерять». Потом герой узнает, что у майора неожиданно от воспаления легких умерла жена, на которой он женился только после того, как был окончательно признан негодным для военной службы.

Тема зыбкости человеческого счастья становится центральной темой романа «Прощай, оружие!». Но на сей раз эта тема решалась писателем не камерно, а на фоне события огромного исторического масштаба — первой мировой войны.

В этот роман Хемингуэй вложил всю свою ненависть к бессмысленной и жестокой войне, где «жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю». И бесчеловечность, антигуманность этой бойни становится особенно рельефной, когда в атмосфере крови, страданий, гибели тысяч людей расцветает светлое чувство любви между американским лейтенантом Фредериком Генри и медицинской сестрой англичанкой Кэтрин Баркли. Их любовь пронизана ощущением трагизма. Кэтрин признается своему возлюбленному: «Мне кажется, с нами случится все самое ужасное». Их только двое в этом мире, и весь мир против них. Кэтрин так и говорит. «Ведь мы с тобой только вдвоем против всех остальных в мире. Если что-нибудь встанет между нами, мы пропали, они нас схватят». Ощущением трагедии охвачены и другие герои романа. Фронтовой друг Генри, военный врач итальянец Ринальди, человек, обороняющийся от этого мира цинизмом, говорит о войне: «Так нельзя. Говорят вам: так нельзя. Мрак и пустота, и больше ничего нет. Больше ничего нет, слышите?» Ими всеми владеет сознание безумия, охватившего мир. Ринальди выска-

зывает эту мысль наиболее ярко — имея в виду сифилис, он говорит: *«Это* у всего мира».

И если в начале романа Генри не очень задумывается над смыслом войны,— Хемингуэй показывает, что итальянские шоферы, служащие с ним в одной части, понимают этот смысл гораздо лучше его,— то последующие события — разгром итальянской армии под Капоретто, расстрел ни в чем неповинных людей — убеждают его, он не хочет оказаться жертвой бессмысленного, ничем не оправданного убийства. Он не знает за собой вины и не желает отвечать своей жизнью за глупость других. «Я ни к кому не питал злобы. Просто я с этим покончил». У героя романа нет никаких политических идей, он не становится убежденным противником войны, человеком действия, готовым бороться за свои убеждения. Нет, он индивидуалист и думает только о себе, о своей любимой женщине. Остальное человечество его не волнует. И лейтенант Генри заключает «сепаратный мир», он дезертирует и бежит с Кэтрин в нейтральную Швейцарию. Они живут там в горах, наслаждаясь тишиной и покоем. Кэтрин ждет ребенка. Но ведь еще раньше в романе было сказано: «Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки».

И чем полнее их счастье, чем оно безмятежнее, тем острее становится ощущение хрупкости этого счастья, ибо любимый человек — это то, что можно потерять. И развязка надвигающейся трагедии не заставляет себя ждать — Кэтрин умирает при родах. «Вот чем все кончается. Смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что, как Аймо. Или заразят сифилисом, как Ринальди. Но рано или поздно тебя убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют».

На этой трагической ноте заканчивается роман. Коллизия человеческой жизни и смерти оставалась для писателя неразрешимой.

Через месяц после того, как в 1929 году вышел роман «Прощай, оружие!», на нью-йоркской бирже разразилась паника, положившая начало великому кризису, который затянулся на долгие годы и с яркостью вспышки при взрыве осветил чудовищные противоречия капиталистического строя в этой самой богатой и вроде бы процветающей стране. Социальные проблемы оказались в центре внимания. И передовая творческая интеллигенция Америки ясно осознала, что не имеет права уклоняться от художественного исследования этих проблем.

А Хемингуэй в эти годы писал книгу о бое быков, ездил в Африку охотиться на крупного зверя, занимался ловлей рыбы у побережья Флориды, где он поселился в 1930 году, писал рассказы о гангстерах, боксерах, проститутках, вновь возвращался к своему опыту первой мировой войны. Он не мог вырваться из круга ставших уже привычными тем и проблем.

Это время — начало 30-х годов — справедливо называют периодом кризиса в творчестве Хемингуэя. Действительно, сборник рассказов, выпущенный им в 1933 году под пессимистическим названием «Победитель не получает ничего», можно назвать самой мрачной и безнадежной книгой из всего написанного Хемингуэем. Мрак, окутывающий человеческую жизнь, сгущается до предела, остается только одиночество и ожидающее каждого неизбежное Ничто (рассказ «Там, где чисто, светло»).

Естественно, что такая позиция Хемингуэя вызывала критическое отношение к нему даже со стороны друзей, которые упрекали его в аполитичности, в стремлении уйти от острых социальных проблем современности. Хемингуэй, видимо, сам ощущая определенную ущербность своих взглядов, пытался оправдаться и объяснить свое отношение к социальным проблемам века. Выпуская в 1932 году книгу о бое быков «Смерть после полудня», Хемингуэй с известной долей раздражения писал в ней: «Пусть те, кто хочет, спасают мир».

В 1934 году в одной из статей Хемингуэй пытался расшифровать свою позицию следующим образом: «Нет на свете ничего труднее, чем писать простую честную прозу о человеке. Сначала надо изучить то, о чем пишешь, затем надо научиться писать. На то и другое уходит вся жизнь... Книги нужно писать о людях, которых любишь или ненавидишь, а не о тех, которых только изучаешь. И если писать правдиво, все социально-экономические выводы будут напрашиваться сами собой».

Проблема честности в творчестве была для Хемингуэя неразрывно связана с этической проблемой честного отношения писателя к жизни. В той же книге «Смерть после полудня» он писал: «Самое главное жить и работать на совесть». В следующей своей книге «Зеленые холмы Африки», где почти дневниковые записи охотничьего путешествия по Африке перемежаются с раздумьями о литературе и писательском труде, Хемингуэй, перечисляя все то, что нужно писателю, наряду с такими понятиями, как талант, самодисциплина, говорит о том, что «надо иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже».

Этой очень важной для него теме Хемингуэй посвятил один из самых своих лучших и значительных рассказов «Снега Килиманджаро» (1936).

В истории героя рассказа, писателя Гарри, мы узнаем штрихи биографии самого Хемингуэя — умирающий Гарри вспоминает многое

из того, что пришлось пережить самому Хемингуэю: Париж 20-х годов, поездку на Ближний Восток во время греко-турецкой войны,— но в главном Гарри не похож на Хемингуэя, который дал герою, если можно так сказать, свою антибиографию — он воссоздал свою жизнь такой, какой она могла оказаться, если бы он продал свой талант, изменил ему.

Если в художественных произведениях Хемингуэй не касался в те годы острых политических и социальных проблем, то в своих статьях, которые он регулярно печатал в журнале «Эсквайр», он показал себя прозорливым политиком, активным противником войны и фашизма. Так, в 1935 году в журнале появилась его статья «Заметки о будущей войне», где он предсказывал, что в 1937 или 1938 году начнется вторая мировая война, которую развяжут гитлеровская Германия и Италия Муссолини. В том же году он опубликовал в коммунистическом журнале «Нью мэссис» гневную статью «Кто убил ветеранов войны», обвиняя американское правительство в том, что оно обрекло ветеранов войны, собранных в рабочих лагерях во Флориде, на гибель во время урагана. В январе 1936 года он откликнулся на агрессию Италии против Абиссинии статьей «Крылья над Африкой».

В эти же годы где-то подспудно назревало обращение Хемингуэя к новой для него, на этот раз остро социальной теме обездоленных людей Америки. Он уже немало лет прожил в местечке Ки-Уэст во Флориде, хорошо узнал местных жителей — рыбаков, контрабандистов, ветеранов войны, строивших здесь дороги и дамбы, узнал их и полюбил.

Не умозрительно, как некоторые американские писатели, бросившиеся тогда на модную «рабочую» тему, а воочию увидел Хемингуэй, насколько враждебно буржуазное государство, капиталистический строй бедняку. В 1934 году Хемингуэй написал большой рассказ «Один рейс» о рыбаке Гарри Моргане, которого обманывает богатый бездельник, оставляя без средств к существованию. За этим рассказом последовало продолжение — рассказ «Возвращение контрабандиста», в котором Хемингуэй показывал, как Гарри Моргану, чтобы прокормить семью, приходится вступать в столкновение с законом, как обстоятельства толкают его на преступление.

Так родился роман «Иметь и не иметь» (1937) — к этим двум рассказам, ставшими первыми двумя частями романа, Хемингуэй присоединил третью, завершающую трагическую историю своего героя.

В этом романе Хемингуэй создал резко контрастную, без полутонов картину общества, где на одном полюсе бедняки, которых общественный строй лишает возможности жить в человеческих условиях, а на другом богатые бездельники, прожигающие жизнь. Характерно, что здесь Хемингуэй впервые упоминает о коммунистах, и хотя говорит о них вскользь — он слишком плохо знал этих людей, чтобы писать о них подробно,— говорит весьма уважительно. Характерно и то, что уже в

процессе работы над гранками романа, вернувшись из Испании, где шла гражданская война, Хемингуэй ощутил необходимость вынести приговор анархическому индивидуализму Гарри Моргана и вписал абзац, ставящий логическую точку в судьбе Гарри Моргана и в авторском отношении Хемингуэя к этой проблеме. Умирающий Гарри Морган говорит знаменательные слова: «Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один.— Он остановился.— Все равно человек один не может ни черта.— Он закрыл глаза. Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это».

Творческая история романа «Иметь и не иметь» во многом объясняет известные художественные просчеты этого произведения — разорванность сюжета, некоторую разностильность,— но в писательской биографии Хемингуэя роман занял видное место, ознаменовав собой серьезный шаг в познании жизни в ее социальном аспекте.

Дальнейший сдвиг в политическом самосознании Хемингуэя, в его творческой позиции, в решении им кардинальных нравственных проблем, был связан с испанской войной. Здесь, на испанской земле, происходила первая открытая схватка с фашизмом, и Хемингуэй принял в ней посильное участие. Он закупил на свои средства санитарные машины для республиканской армии и сам отправился в Испанию в качестве корреспондента.

Он часто бывал на самых различных участках фронта, встречался и дружил с самыми разными людьми — испанскими рабочими и крестьянами, антифашистами, добровольно приехавшими сюда из разных стран, чтобы сражаться здесь в рядах интернациональных бригад, коммунистами, ставшими костяком республиканской армии, советскими военными советниками. Самоотверженность и героизм этих людей, их готовность идти на смерть ради идеи произвели на него огромное впечатление, заставили многое пересмотреть — коллизия жизни и смерти предстала перед ним в ином свете, жизнь и смерть, которые он здесь видел, уже не укладывались в старую формулу, что человеческая жизнь — это трагедия, исход которой предрешен.

В том, насколько стали меняться взгляды Хемингуэя на нравственный долг человека, как он постепенно начал отходить от концепции одинокого человека, обреченного на поражение в столкновении с окружающим миром, можно убедиться из его испанских репортажей, исполненных уважения к мужеству борцов против фашизма, из рассказа «Американский боец», посвященного скромному парню из Чикаго, совершившему героический подвиг.

Живя в осажденном Мадриде, в отеле «Флорида», в который то и дело попадали снаряды фашистской артиллерии, Хемингуэй написал пьесу «Пятая колонна». Он никогда не считал себя драматургом, эта пьеса оказалась единственной, которую он написал за свою жизнь, в ней

чувствуется и известный недостаток мастерства, и следы торопливости. И все же «Пятая колонна» значительный этап в творчестве Хемингуэя, так как в ней впервые воплотились новые тенденции творчества Хемингуэя, рожденные антифашистской войной в Испании.

Это новое проявилось прежде всего и главным образом в фигуре главного героя — американца Филипа Ролингса, добровольца, работающего в контрразведке республиканской Испании. Ролингс, бесспорно, новый герой в творчестве Хемингуэя. Или, правильнее сказать, не новый герой, а все тот же старый герой его романов и рассказов, но выросший вместе с автором и вместе с ним перешагнувший в некое новое качество. Хемингуэй даже подчеркивает преемственность Филипа Ролингса по отношению к героям своих предшествующих произведений, показывает, что Филип еще многими нитями связан с той беззаботной и богатой жизнью, которой жил, например, писатель Гарри в рассказе «Снега Килиманджаро». На это, в частности, намекает перечисление фешенебельных курортов в разных уголках мира, где бывал Филип. И порой Филип тоскует по привычной и благоустроенной жизни, к которой зовет его вернуться любимая им женщина Дороти Бриджес. Она олицетворяет собой все то, о чем тоскует Филип. Недаром в предисловии к пьесе Хемингуэй писал, что в ней «есть девушка, зовут ее Дороти, но ее можно было бы назвать и Ностальгией». Но когда Дороти зовет Филипа к этой старой жизни, он отвечает ей: «Ты можешь ехать. А я уже был во всех этих местах, и все это уже осталось позади. Туда, куда я поеду теперь, я поеду один или с теми, кто едет туда за тем же, за чем и я».

Жизнь нового героя Хемингуэя обретает смысл — он вступает в борьбу с фашизмом. Филип прямо заявляет: «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал». Вот какой долгий и далекий путь проделал новый герой Хемингуэя от позиции Фредерика Генри в романе «Прощай, оружие!», который проклял войну и заключил свой собственный «сепаратный мир».

Хемингуэй понял, что нет ничего выше подвига людей, добровольно поехавших в Испанию сражаться с фашизмом, не рассчитывая ни на награды, ни на деньги, ни на славу. Уже после того как Испанская республика была разгромлена, Хемингуэй посвятил этим героям торжественное надгробное слово-реквием — «Американцам, павшим за Испанию». Он писал: «Наши мертвые живы в памяти испанских крестьян, испанских рабочих, всех честных, простых, хороших людей, которые верили в Испанскую республику и сражались за нее. И пока наши мертвые живут как частица испанской земли,— а они будут жить, доколе живет земля,— никаким тиранам не одолеть Испании... Мертвым

не надо вставать. Теперь они частица земли, а землю нельзя обратить в рабство. Ибо земля пребудет вовеки. Она переживет всех тиранов...» Вновь, как и в первом своем романе «И восходит солнце», Хемингуэй обратился к образу земли, которая пребудет вовеки. Но на этот раз древняя формула Екклесиаста наполнилась новым содержанием — образ вечной земли слился с памятью о героях, погибших за свободу.

Следующим значительным этапом в творчестве Хемингуэя, развивающим и углубляющим тенденции, проявившиеся в «Пятой колонне», явился роман «По ком звонит колокол» (1940). Этот роман также посвящен гражданской войне в Испании, и герой его тоже молодой американец, добровольно приехавший в Испанию сражаться с фашизмом.

Сюжет романа несложен. Его герой Роберт Джордан получает задание перейти линию фронта и, когда начнется наступление республиканской армии, с помощью партизанского отряда взорвать мост в тылу у фашистов, чтобы помешать им подбросить подкрепления. Казалось бы, сюжет слишком прост и незамысловат для большого романа, но Хемингуэй в этом романе решал ряд нравственных проблем, решал их для себя по-новому. И в первую очередь это была проблема ценности человеческой жизни в соотнесении с нравственным долгом, добровольно на себя принятым во имя высокой идеи.

Роман пронизан ощущением трагедии. С этим ощущением живет его герой Роберт Джордан. Угроза смерти витает над всем партизанским отрядом то в виде фашистских самолетов, то в облике фашистских патрулей, появляющихся в расположении отряда. Но это не трагедия беспомощности и обреченности перед лицом смерти, какой она была в романе «Прощай, оружие!».

Понимая, что выполнение задания может кончиться гибелью и для него и для проводника, старика Ансельмо, Джордан тем не менее утверждает, что каждый должен выполнять свой долг и от выполнения долга зависит многое — судьба войны, а может быть, и больше. «Стыдно так думать, сказал он себе, разве ты какой-нибудь особенный, разве есть вообще особенные люди, с которыми ничего не должно случаться?.. Дан приказ, приказ необходимый, и не тобой он выдуман, и есть мост, и этот мост может оказаться стержнем, вокруг которого повернется судьба человечества. И все, что происходит в эту войну, может оказаться таким стержнем. У тебя есть одна задача, и ее ты должен выполнить».

Так на смену индивидуализму Фредерика Генри, думающему только о том, чтобы сохранить свою жизнь и свою любовь, у нового героя Хемингуэя в условиях иной войны, не империалистической, а революционной, главным оказывается чувство долга перед человечеством, перед высокой идеей борьбы за свободу. Да и любовь в романе «По ком звонит колокол» поднимается до иных высот, сплетаясь с идеей обще-

ственного долга. Роберт Джордан говорит девушке Марии: «Я люблю тебя так, как я люблю все то, за что мы боремся. Я люблю тебя так, как я люблю свободу и человеческое достоинство и право каждого работать и не голодать. Я люблю тебя, как я люблю Мадрид, который мы защищали, и как я люблю всех моих товарищей, которые погибли в этой войне. А их много погибло. Много. Ты даже не знаешь, как много. Но я люблю тебя так, как я люблю то, что я больше всего люблю на свете, и даже сильнее. Я очень сильно люблю тебя, зайчонок. Сильнее, чем можно рассказать».

Идея долга перед людьми пронизывает все произведение. И если в романе «Прощай, оружие!» Хемингуэй устами своего героя отрицал «высокие» слова,— «Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва» и выражение «совершилось»... Было много таких слов, которые уже противно было слушать»,— то в применении к войне в Испании эти слова вновь обретают свою первородную ценность. Вспоминая о штабе Интернациональных бригад и штабе 5-го полка, созданного и руководимого коммунистами, Джордан думает: «В тех обоих штабах ты чувствовал себя участником крестового похода. Это единственное подходящее слово, хотя оно до того истаскано и затрепано, что истинный смысл его уже давно стерся... Это было чувство долга, принятого на себя перед всеми угнетенными мира... Оно определило свое место в чем-то, во что ты верил безоговорочно и безоглядно и чему ты обязан был ощущением братской близости со всеми теми, кто участвовал в нем так же, как и ты».

Трагическое звучание романа получает свое завершение в эпилоге — Джордан выполняет задание, мост взорван, но сам он получает тяжелое ранение. И вновь звучит тема долга каждого человека. Джордан говорит себе: «Каждый делает, что может. Ты ничего уже не можешь сделать для себя, но, может быть, ты сможешь что-нибудь сделать для других». Он остается на верную смерть, решая прикрыть отступление своих товарищей. Глядя в глаза смерти, Джордан подводит итог прожитого. И итог этот оказывается жизнеутверждающим: «Почти год я дрался за то, во что верил. Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать. И тебе повезло, сказал он себе, у тебя была очень хорошая жизнь... У тебя была жизнь лучше, чем у всех, потому что в ней были эти последние дни. Не тебе жаловаться». Таким светлым аккордом Хемингуэй заканчивал роман «По ком звонит колокол». Эпиграфом к роману он взял строки английского поэта XVII века Джона Донна, очень точно выражающие гуманистическую направленность романа, строки, говорящие о непреходящей ценности каждой человеческой жизни, о слитности каждого человека с судьбами всего человечества: «Нет человека, который был бы, как Остров, сам по себе: каж-

дый человек есть часть Материка, часть Суши... смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

В жизни самого Хемингуэя слова не расходились с делами. Он боролся с фашизмом не только пером писателя, но и с оружием в руках. В годы второй мировой войны Хемингуэй охотился на своем рыболовном катере за немецкими подводными лодками в Карибском море, потом в качестве корреспондента летал с английскими летчиками бомбить гитлеровскую Германию, принимал непосредственное участие в освобождении Парижа, в боях на линии Зигфрида.

Не изменил Хемингуэй своим политическим убеждениям и после второй мировой войны, когда империалистические круги США и Англии стали разжигать «холодную войну» против Советского Союза и других социалистических стран и открыто призывать к третьей мировой войне. В этой обстановке Хемингуэй не побоялся в 1948 году опубликовать предисловие к новому изданию романа «Прощай, оружие!», в котором объяснял, почему «писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война». «Автор этой книги,— писал он,— пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне,— самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну,— свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться. Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел, если бы те, кто пойдет воевать, официально поручили ему это».

В эти послевоенные годы Хемингуэй испытывал потребность осмыслить и художественно закрепить свои впечатления от только недавно закончившейся войны, выразить свое отношение к политическому курсу правительства Соединенных Штатов. Ради этого он отложил большое произведение, условно названное им «Большой книгой» о войне, и написал роман «За рекой, в тени деревьев» (1950).

На выборе героя и сюжетной ситуации сказалась и тяжелая травма, полученная Хемингуэем на охоте в Италии, которая грозила ему потерей зрения и, как считали, может быть, даже смертью, и болезни, одолевавшие его, и ощущение подступающей старости. Героем романа стал пожилой полковник американской армии Кантуэлл, человек, прошедший через многие войны, не раз тяжело раненный, в том числе и в первую мировую войну, в том же районе Северной Италии,

где был ранен и восемнадцатилетний Хемингуэй. Смерть, подобно неизбежному року, витает над Кантуэллом — он перенес уже два сердечных приступа, и врачи предупредили его, что третий приступ будет для него смертельным. Незримым присутствием смерти окрашена и последняя любовь Кантуэлла, горькая и прекрасная, к девятнадцатилетней девушке Ренате, его прощание с любимым городом Венецией.

Сюжетная канва позволяет Хемингуэю устами полковника Кантуэлла рассказать о прошедшей войне. Рассказать отрывочно, не рисуя широкого реалистического полотна. Кантуэлл в разговорах с любимой то и дело возвращается к войне — вспоминает о друзьях, погибших на фронте, с презрением говорит о бездарных генералах-политиках, бросавших людей на убой по своей военной неграмотности, глупости, бездушию, не скрывает, что для американского командования война была прежде всего большим бизнесом.

В романе явственно проступает отвращение, которое питал Хемингуэй к послевоенной политике правительства Соединенных Штатов. Полковник Кантуэлл с горечью говорит о том, что теперь он, как солдат, подчиняющийся приказам, не должен ненавидеть фашистов, что правящие круги США внушают своей армии, что их будущий враг — это русские, «так что мне, как солдату, может, придется с ними воевать». Но у Кантуэлла есть свой взгляд на русских — «лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на нас».

Тогдашние правители США ничего, кроме презрения, у полковника Кантуэлла не вызывают. «Теперь нами правят подонки,— говорит он.— Муть, вроде той, что остается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков. А помещение еще не проветрено, и на разбитом рояле бренчит тапер-любитель».

Торопливость, с которой Хемингуэй писал роман «За рекой, в тени деревьев», практическая узость поставленной им перед собой задачи, вторичность некоторых психологических ситуаций определили некоторые художественные изъяны романа. Реакционная критика, раздраженная политической направленностью романа, воспользовалась этим обстоятельством и поспешила заявить о «закате» таланта Хемингуэя, о том, что он «исписался».

Действительность опровергла эти прогнозы. Уже следующая книга Хемингуэя, повесть «Старик и море», оказалась крупным событием литературной жизни и по уровню художественного мастерства, и по своей проблематике.

Эта небольшая по объему, но чрезвычайно емкая повесть стоит особняком в творчестве Хемингуэя. Ее можно определить как философскую притчу, но при этом образы ее, поднимающиеся до символических обобщений, имеют подчеркнуто конкретный, почти осязаемый характер.

Можно утверждать, что здесь впервые в творчестве Хемингуэя героем стал человек-труженик, видящий в своем труде жизненное призвание. Гарри Моргана из романа «Иметь и не иметь» вряд ли можно считать предшественником кубинского рыбака Сантьяго, так как он живет не трудом, а преступными авантюрами. Старик Сантьяго говорит о себе, что он рожден на свет для того, чтобы ловить рыбу. Такое отношение к своей профессии было свойственно и самому Хемингуэю, который не раз говорил, что он живет на земле для того, чтобы писать.

Сантьяго все знает о рыбной ловле, как знал о ней все Хемингуэй, многие годы проживший на Кубе и ставший признанным чемпионом в охоте на крупную рыбу. Вся история того, как старику удается поймать огромную рыбу, как он ведет с ней долгую, изнурительную борьбу, как он побеждает ее, но, в свою очередь, терпит поражение в борьбе с акулами, которые съедают его добычу, написана с величайшим, до тонкостей, знанием опасной и тяжкой профессии рыбака.

Хемингуэй говорил, что эта повесть могла бы иметь и более тысячи страниц, в ней мог бы найти свое место каждый житель кубинской деревушки Кохимар, их жизнь, все подробности их быта. Но от всего этого он отказался — «это все отлично сделано другими писателями»,— сказал он. «Я постарался опустить все не необходимое, с тем чтобы передать свой опыт читателям так, чтобы после чтения это стало частью их опыта и представлялось действительно случившимся... на этот раз мне небывало повезло, и я смог передать опыт полностью, и при этом такой опыт, который никто никогда не передавал. Мне повезло, что у меня были хороший старик и хороший мальчик, а за последнее время писатели забыли, что такие существуют. Кроме того, океан заслуживает, чтобы о нем писали так же, как о человеке. Так что и в этом повезло».

Действительно, море выступает в повести почти как живое существо. «Другие рыбаки, помоложе, говорили о море, как о пространстве, как о сопернике, порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море, как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки,— что поделаешь, такова уж ее природа».

В старике Сантьяго есть подлинное величие — он ощущает себя равным могучим силам природы. Его борьба с рыбой, вырастая, подобно погоне за Белым китом в романе Германа Мелвилла «Моби Дик», до апокалипсических масштабов, приобретает символический смысл, становится символом человеческого труда, человеческих усилий вообще. Старик разговаривает с ней, как с равным существом. «Рыба,— говорит он,— я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер». Сантьяго настолько органично слит с природой, что даже звезды кажутся ему живыми существами. «Как хорошо,— говорит он себе,— что

нам не приходится убивать звезды! Представь себе: человек что ни день пытается убить луну? А луна от него убегает».

Мужество старика предельно естественно — в нем нет аффектации матадора, играющего в смертельную игру перед публикой, или пресыщенности богатого человека, ищущего на охоте в Африке острых ощущений (рассказ «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»). Старик знает, что свое мужество и стойкость, являющиеся непременным качеством людей его профессии, он доказывал уже тысячи раз. «Ну так что ж? — говорит он себе.— Теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счет начинается сызнова: поэтому когда он что-нибудь делал, то никогда не вспоминал о прошлом».

Сюжетная ситуация в повести «Старик и море» складывается трагически — Старик, по существу, терпит поражение в неравной схватке с акулами и теряет свою добычу, доставшуюся ему столь дорогой ценой,— но у читателя не остается никакого ощущения безнадежности и обреченности, тональность повествования в высшей степени оптимистична. И когда старик говорит слова, воплощающие главную мысль повести,— «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»,— то это отнюдь не повторение идеи давнего рассказа «Непобежденный». Теперь это не вопрос профессиональной чести спортсмена, а проблема достоинства Человека.

И еще одна, на первый взгляд парадоксальная, сторона повести «Старик и море» — на протяжении, по существу, всего повествования старик в одиночестве борется с рыбой, но одинокого героя, столь характерного для многих ранних произведений Хемингуэя, здесь нет. Старик знает, что на берегу его ждет мальчик, который ему даже не родственник, но это родная ему душа, будущий рыбак, которому старик передает все секреты своей профессии. Старик окружен симпатией и остальных жителей поселка, таких же рыбаков, как и он.

Повесть «Старик и море» отмечена высокой и человечной мудростью писателя. В ней нашел свое воплощение тот подлинный гуманистический идеал, который Хемингуэй искал на протяжении всего своего литературного пути. Этот путь был отмечен исканиями, заблуждениями, через которые прошли многие представители творческой интеллигенции Запада. Как честный художник, как писатель-реалист, как современник XX века, Хемингуэй искал свои ответы на главные вопросы века — так, как он их понимал,— и пришел к этому выводу — Человека нельзя победить.

Б. ГРИБАНОВ

РАССКАЗЫ

У НАС В МИЧИГАНЕ

Джим Гилмор приехал в Хортонс-Бей из Канады. Он купил кузницу у старика Хортона. Джим был невысокого роста, черноволосый, у него были большие руки и большие усы. Он хорошо ковал лошадей, но с виду был непохож на кузнеца, даже когда надевал кожаный фартук. Он жил в комнате над кузницей, а столовался у Д. Дж. Смита.

Лиз Коутс жила у Смитов в прислугах. Миссис Смит, очень крупная, чистоплотная женщина, говорила, что никогда не видела девушки опрятнее Лиз Коутс. У Лиз были красивые ноги, она всегда ходила в чистых передниках, и Джим заметил, что волосы у нее никогда не выбиваются из прически. Ему нравилось ее лицо, потому что оно было такое веселое, но он никогда не думал о ней.

Лиз очень нравился Джим Гилмор. Ей нравилось смотреть, как он идет из кузницы, и она часто останавливалась в дверях кухни, поджидая, когда он появится на дороге. Ей нравились его усы. Ей нравилось, как блесят его зубы, когда он улыбается. Ей очень нравилось, что он не похож на кузнеца. Ей нравилось, что он так нравится Д. Дж. Смиту и миссис Смит. Однажды, когда он умывался над тазом во дворе, ей понравилось, что руки у него покрыты черными волосами, и то, что они белые выше линии загара. И, почувствовав, что это ей нравится, она смутилась.

Поселок Хортонс-Бей на большой дороге между Бойн-Сити и Шарльвуа состоял всего из пяти домов. Лавка и почта с высоким фальшивым фронтоном, перед которой почти всегда стоял чей-нибудь фургон, дом Смита, дом Струда, дом Дилворта, дом Хортона и дом Ван-Хусена. Дома окружала большая вязо-

вая роща, и дорога проходила по сплошному песку. По обеим сторонам дороги тянулись фермы и лес. Немного не доезжая поселка у дороги была методистская церковь, а при выезде из него — начальная школа. Кузница, выкрашенная в красный цвет, стояла напротив школы.

Песчаная лесная дорога круто спускалась к заливу. С заднего крыльца Смитов был виден лес, спускавшийся к озеру, и дальний берег залива. Весной и летом там было очень красиво, залив ярко синел на солнце, а по озеру за мысом почти всегда ходили барашки от ветра, дувшего со стороны Шарльвуа и с озера Мичиган. С заднего крыльца Смитов Лиз видела далеко на озере баржи с рудой, тянувшиеся к Бойн-Сити. Пока она смотрела на них, казалось, что они стоят на месте, но если она входила в кухню и, вытерев несколько тарелок, опять выходила на крыльцо, они уже успевали скрыться за мысом.

Теперь Лиз все время думала о Джиме Гилморе. Он как будто и не замечал ее. Он разговаривал с Д. Дж. Смитом о своей кузнице, и о республиканской партии, и о сенаторе Джеймсе Г. Блэйне. По вечерам он читал в гостиной «Толедский клинок» и газету из Грэнд-Рэпидс, или он и Д. Дж. Смит ездили ночью на озеро лучить рыбу. Осенью они со Смитом и Чарли Уайменом погрузили в фургон палатку, запас провизии, ружья, топоры и двух собак и уехали на лесистую равнину за Вандербилтом охотиться на оленей. Лиз и миссис Смит четыре дня готовили им в дорогу еду. Лиз хотела приготовить что-нибудь повкусней для Джима, но так и не собралась, потому что боялась попросить у миссис Смит яиц и муки и боялась, как бы миссис Смит не застала ее за стряпней, если она сама все купит. Миссис Смит, вероятно, ничего не сказала бы, но Лиз все-таки боялась.

Пока Джим охотился на оленей, Лиз все время думала о нем. Без него было просто ужасно. Она так много думала о нем, что почти не могла спать, но оказалось, что думать о нем приятно. Ей становилось легче, когда она давала себе волю. Последнюю ночь перед возвращением мужчин она совсем не спала, вернее, ей так казалось, потому что все перепуталось,— то ей снилось, что она не спит, то она и в самом деле не спала. Когда на дороге показался фургон, она почувствовала слабость и у нее засосало под ложечкой. Она не могла дождаться, когда увидит Джима, ей казалось, что, как только он приедет, все будет хорошо. Фургон остановился под высоким вязом; миссис Смит и Лиз вышли из дома. Все мужчины обросли бородой, а сзади в фургоне лежали три оленя, и их тонкие ноги торчали,

как палки, над бортом фургона. Миссис Смит поцеловала мужа, он обнял ее. Джим сказал: «Хэлло, Лиз»,— и весело улыбнулся. Лиз не знала, что именно должно случиться, когда приедет Джим, но все время чего-то ждала. Ничего не случилось. Мужчины вернулись домой — вот и все. Джим стянул с оленей холщовые мешки, и Лиз подошла посмотреть на животных. Один был крупный самец. Он совсем закоченел, и его трудно было вытащить из фургона.

— Это ты застрелил, Джим? — спросила Лиз.

— Я. А верно, красавец? — Джим взвалил его на спину и понес в коптильню.

В тот вечер Чарли Уаймен остался у Смитов ужинать. Возвращаться в Шарльвуа было поздно. Мужчины умылись и собрались в гостиной в ожидании ужина.

— Не осталось ли там чего в кувшине, Джимми? — спросил Д. Дж. Смит, и Джим пошел в сарай и достал из фургона жбан виски, который они брали с собой на охоту. Жбан вмещал четыре галлона, и на дне его плескалось еще порядочно виски. Джим как следует хлебнул по дороге от сарая к дому. Трудно было подносить ко рту такой большой жбан. Немного виски пролилось на рубашку Джима. Д. Дж. Смит и Чарли Уаймен улыбнулись, когда он показался в дверях со жбаном. Смит послал Лиз за стаканами, и она принесла их. Смит налил три полных стакана.

— Ну, Смит, будьте здоровы,— сказал Чарли Уаймен.

— За твоего оленя, Джимми,— сказал Д. Дж. Смит.

— За всех, по которым мы промазали,— сказал Джим и выпил.

— Эх, хорошо!

— Лучшее лекарство от всех болезней.

— Ну как, друзья, еще по одной?

— Ваше здоровье, Смит.

— Выпьем, друзья.

— За следующую охоту.

Джиму стало очень весело. Он любил вкус виски и ощущение, которое оно давало. Он был рад, что вернулся. что его ждет удобная кровать, и горячая еда, и его кузница. Он выпил еще стаканчик. К ужину мужчины явились сильно навеселе, но держали себя с достоинством. Лиз подала ужин, а потом села за стол вместе с остальными. Ужин был хороший. Мужчины сосредоточенно ели. После ужина они опять перешли в гостиную, а Лиз и миссис Смит убрали со стола. Потом миссис Смит ушла к себе наверх, Джим и Чарли еще оставались в

гостиной. Лиз сидела в кухне у плиты, делая вид, что читает, и думала о Джиме. Ей не хотелось ложиться спать, она знала, что Джим пройдет через кухню, и ей хотелось еще раз увидеть его и унести это воспоминание о нем с собой в постель.

Она изо всех сил думала о Джиме, когда он вышел в кухню. Глаза у него блестели, волосы были слегка взлохмачены. Лиз опустила голову и стала смотреть в книгу. Джим подошел сзади к ее стулу и остановился, и ей было слышно его дыхание, а потом он обнял ее. Ее груди напряглись и округлились, и соски отвердели под его пальцами. Лиз очень испугалась,— до сих пор никто ее не трогал,— но подумала: «Все-таки он пришел ко мне. Все-таки пришел».

Она вся сжалась, потому что ей было очень страшно и она не знала, что делать, а потом Джим крепко прижал ее к стулу и поцеловал. Ощущение было такое острое, жгучее, болезненное, что ей казалось, она не выдержит. Она чувствовала Джима сквозь спинку стула, и ей казалось, что она не выдержит, а потом что-то внутри отпустило, и ощущение стало теплее, мягче. Джим крепко и больно прижимал ее к стулу, и теперь она сама хотела этого, и Джим шепнул: «Пойдем погуляем».

Лиз сняла с кухонной вешалки пальто, и они вышли на улицу. Джим обнял ее, они то и дело останавливались и прижимались друг к другу, и Джим целовал ее. Луны не было, они шли лесом, увязая по щиколотку в песке, к пристани и складам на берегу залива. Вода плескалась о сваи, по ту сторону залива чернел мыс. Было холодно, но Лиз вся пылала, потому что Джим был рядом. Они сели под стеной склада, и Джим привлек ее к себе. Ей было страшно. Одна рука Джима расстегнула ей платье и гладила ее грудь, другая лежала у нее на коленях. Ей было очень страшно, и она не знала, что он сейчас будет делать, но придвинулась к нему еще ближе. Потом рука, тяжело лежавшая у нее на коленях, соскользнула, коснулась ее ноги и стала продвигаться выше.

— Не надо, Джим,— сказала Лиз. Рука двинулась дальше.— Нельзя, Джим, нельзя.— Ни Джим, ни тяжелая рука Джима не слушались ее.

Доски были жесткие. Джим что-то делал с нею. Ей было страшно, но она хотела этого. Она сама хотела этого, но это ее пугало.

— Нельзя, Джим, нельзя.

— Нет, можно. Так надо. Ты сама знаешь.

— Нет, Джим, не надо. Нельзя. Ой, нехорошо так. Ой, не надо, больно. Не смей! Ой, Джим! О!

Доски пристани были жесткие, шершавые, холодные, и Джим был очень тяжелый и сделал ей больно. Лиз хотела оттолкнуть его, ей было так неудобно, все тело затекло. Джим спал. Она не могла его сдвинуть. Она выбралась из-под него, села, оправила юбку и пальто и кое-как причесалась. Джим спал, рот его был приоткрыт. Лиз наклонилась и поцеловала его в щеку. Он не проснулся. Она приподняла его голову и потрясла ее. Голова скатилась набок, он глотнул слюну. Лиз заплакала. Она подошла к краю пристани и заглянула в воду. С залива поднимался туман. Ей было холодно и тоскливо, и она знала, что все кончилось. Она вернулась туда, где лежал Джим, и на всякий случай еще раз потрясла его за плечо. Она все плакала.

— Джим,— сказала она.— Джим. Ну, пожалуйста, Джим.

Джим пошевелился и свернулся поудобнее. Лиз сняла пальто, нагнулась и укрыла им Джима. Она заботливо и аккуратно подоткнула пальто со всех сторон. Потом пошла через пристань и по крутой песчаной дороге домой, спать. С залива поднимался между деревьями холодный туман.

В ПОРТУ СМИРНЫ

Очень удивительно, сказал он, что кричат они всегда в полночь.

Не знаю, почему они кричали именно в этот час. Мы были в гавани, а они все на молу, и в полночь они начинали кричать. Чтобы успокоить их, мы наводили на них прожектор. Это действовало без отказа. Мы раза два освещали мол из конца в конец, и они утихали.

Однажды, когда я был начальником команды, работавшей на молу, ко мне подошел турецкий офицер и, задыхаясь от ярости, заявил, что наш матрос нагло оскорбил его. Я заверил его, что матрос будет отправлен на борт и строго наказан. Я попросил указать мне виновного. Он указал на одного безобиднейшего парня из орудийного расчета. Повторил, что тот нагло оскорбил его, и не единожды, а много раз; говорил же он со мной через переводчика. Мне не верилось, что матрос мог так хорошо знать турецкий язык, чтобы сказать что-нибудь оскорбительное. Я вызвал его и сказал:

— Это на случай, если ты разговаривал с кем-нибудь из турецких офицеров.

— Я ни с одним из них не разговаривал, сэр.

— Не сомневаюсь,— сказал я,— но ты все-таки ступай на корабль и до завтра не сходи на берег.

Потом я сообщил турку, что матрос отправлен на корабль, где его ждет суровое наказание. Можно сказать — жестокое. Он чрезвычайно обрадовался, и мы дружески разговорились. Хуже всего, сказал он,— это женщины с мертвыми детьми.

Невозможно было уговорить женщин отдать своих мертвых детей. Иногда они держали их на руках по шесть дней.

Ни за что не отдавали. Мы ничего не могли поделать. Приходилось в конце концов отнимать их. И еще я видел старуху — необыкновенно странный случай. Я говорил о нем одному врачу, и он сказал, что я это выдумал. Мы очищали мол, и нужно было убрать мертвых, а старуха лежала на каких-то самодельных носилках. Мне сказали: «Хотите посмотреть на нее, сэр?» Я посмотрел, и в ту же минуту она умерла и сразу окоченела. Ноги ее согнулись, туловище приподнялось, и так она и застыла. Как будто с вечера лежала мертвая. Она была совсем мертвая и негнущаяся. Когда я рассказал доктору про старуху, он заявил, что этого быть не может.

Все они теснились на молу, но не так, как бывает во время землетрясения или в подобных случаях, потому что они не знали, что придумает старый турок. Они не знали, что он может сделать. Помню, как нам запретили входить в гавань для очистки мола от трупов. В то утро у входа в гавань мне было очень страшно. Орудий у него хватало, и ему ничего не стоило выкинуть нас вон. Мы решили войти, подтянуться вплотную к молу, бросить оба якоря и открыть огонь по турецкой части города. Они выкинули бы нас вон, но мы разнесли бы город. Когда мы вошли в гавань, они обстреляли нас холостыми зарядами. Кемаль прибыл в порт и сместил турецкого коменданта. За превышение власти или что-то в этом духе. Слишком много взял на себя. Могла бы выйти прескверная история.

Трудно забыть набережную Смирны. Чего только не плавало в ее водах. Впервые в жизни я дошел до того, что такое снилось мне по ночам. Рожавшие женщины — это было не так страшно, как женщины с мертвыми детьми. А рожали многие. Удивительно, что так мало из них умерло. Их просто накрывали чем-нибудь и оставляли. Они всегда забирались в самый темный угол трюма и там рожали. Как только их уводили с мола, они уже ничего не боялись.

Греки тоже оказались милейшими людьми. Когда они уходили из Смирны, они не могли увезти с собой своих вьючных животных, поэтому они просто перебили им передние ноги и столкнули с пристани в мелкую воду. И все мулы с перебитыми ногами барахтались в мелкой воде. Веселое получилось зрелище. Куда уж веселей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Все были пьяны. Пьяна была вся батарея, в темноте двигавшаяся по дороге. Мы двигались по направлению к Шампани. Лейтенант то и дело сворачивал с дороги в поле и говорил своей лошади: «Я пьян, топ vieux[1]*, я здорово пьян. Ох! Ну и накачался же я». Мы шли в темноте по дороге всю ночь, и адъютант то и дело подъезжал к моей кухне и твердил: «Затуши огонь. Опасно. Нас заметят». Мы находились в пятидесяти километрах от фронта, но адъютанту не давал покоя огонь моей кухни. Чудно́ было идти по этой дороге. Я в то время был старшим по кухне.*

[1] Старина *(франц.)*.

ИНДЕЙСКИЙ ПОСЕЛОК

На озере у берега была причалена чужая лодка. Возле стояли два индейца, ожидая.

Ник с отцом перешли на корму, индейцы оттолкнули лодку, и один из них сел на весла. Дядя Джордж сел на корму другой лодки. Молодой индеец столкнул ее в воду и тоже сел на весла.

Обе лодки отплыли в темноте. Ник слышал скрип уключин другой лодки далеко впереди, в тумане. Индейцы гребли короткими, резкими рывками. Ник прислонился к отцу, тот обнял его за плечи. На воде было холодно. Индеец греб изо всех сил, но другая лодка все время шла впереди в тумане.

— Куда мы едем, папа? — спросил Ник.

— На ту сторону, в индейский поселок. Там одна индианка тяжело больна.

— А...— сказал Ник.

Когда они добрались, другая лодка была уже на берегу. Дядя Джордж в темноте курил сигару. Молодой индеец вытащил лодку на песок. Дядя Джордж дал обоим индейцам по сигаре.

От берега они пошли лугом по траве, насквозь промокшей от росы; впереди молодой индеец нес фонарь. Затем вошли в лес и по тропинке выбрались на дорогу, уходившую вдаль, к холмам. На дороге было гораздо светлей, так как по обе стороны деревья были вырублены. Молодой индеец остановился и погасил фонарь, и они пошли дальше по дороге.

За поворотом на них с лаем выбежала собака. Впереди светились огни лачуг, где жили индейцы-корьевщики. Еще

несколько собак кинулось на них. Индейцы прогнали собак назад, к лачугам.

В окне ближней лачуги светился огонь. В дверях стояла старуха, держа лампу. Внутри на деревянных нарах лежала молодая индианка. Она мучилась родами уже третьи сутки. Все старухи поселка собрались возле нее. Мужчины ушли подальше; они сидели и курили в темноте на дороге, где не было слышно ее криков. Она опять начала кричать, как раз в ту минуту, когда оба индейца и Ник вслед за отцом и дядей Джорджем вошли в барак. Она лежала на нижних нарах, живот ее горой поднимался под одеялом. Голова была повернута вбок. На верхних нарах лежал ее муж. Три дня тому назад он сильно поранил ногу топором. Он курил трубку. В лачуге очень дурно пахло.

Отец Ника велел поставить воды на очаг и, пока она нагревалась, говорил с Ником.

— Видишь ли, Ник,— сказал он,— у этой женщины должен родиться ребенок.

— Я знаю,— сказал Ник.

— Ничего ты не знаешь,— сказал отец.— Слушай, что тебе говорят. То, что с ней сейчас происходит, называется родовые схватки. Ребенок хочет родиться, и она хочет, чтобы он родился. Все ее мышцы напрягаются для того, чтобы помочь ему родиться. Вот что происходит, когда она кричит.

— Понимаю,— сказал Ник.

В эту минуту женщина опять закричала.

— Ох, папа,— сказал Ник,— разве ты не можешь ей дать чего-нибудь, чтобы она не кричала?

— Со мной нет анестезирующих средств,— ответил отец.— Но ее крики не имеют значения. Я не слышу ее криков, потому что они не имеют значения.

На верхних нарах муж индианки повернулся лицом к стене. Другая женщина в кухне знаком показала доктору, что вода вскипела. Отец Ника прошел на кухню и половину воды из большого котла отлил в таз. В котел он положил какие-то инструменты, которые принес с собой завернутыми в носовой платок.

— Это должно прокипеть,— сказал он и, опустив руки в таз, стал тереть их мылом, принесенным с собой из лагеря.

Ник смотрел, как отец трет мылом то одну, то другую руку. Проделывая это с большим старанием, отец одновременно говорил с Ником:

— Видишь ли, Ник, ребенку полагается идти головой вперед, но это не всегда так бывает. Когда это не так, он всем доставляет массу хлопот. Может быть, понадобится операция. Сейчас увидим.

Когда он убедился, что руки вымыты чисто, он прошел обратно в комнату и приступил к делу.

— Отверни одеяло, Джордж,— сказал он,— я не хочу к нему прикасаться.

Позже, когда началась операция, дядя Джордж и трое индейцев держали женщину. Она укусила дядю Джорджа за руку, и он сказал: «Ах, сукина дочь!» — и молодой индеец, который вез его через озеро, засмеялся. Ник держал таз. Все это тянулось очень долго.

Отец Ника подхватил ребенка, шлепнул его, чтобы вызвать дыхание, и передал старухе.

— Видишь, Ник, это мальчик,— сказал он.— Ну, как тебе нравится быть моим ассистентом?

— Ничего,— сказал Ник. Он смотрел в сторону, чтобы не видеть, что делает отец.

— Так. Ну, теперь все,— сказал отец и бросил что-то в таз.

Ник не смотрел туда.

— Ну,— сказал отец,— теперь только наложить швы. Можешь смотреть, Ник, или нет, как хочешь. Я сейчас буду зашивать разрез.

Ник не стал смотреть. Всякое любопытство у него давно пропало.

Отец кончил и выпрямился. Дядя Джордж и индейцы тоже поднялись. Ник отнес таз на кухню.

Дядя Джордж посмотрел на свою руку. Молодой индеец усмехнулся.

— Сейчас я тебе промою перекисью, Джордж,— сказал доктор.

Он наклонился над индианкой. Она теперь лежала совсем спокойно, с закрытыми глазами. Она была очень бледна. Она не сознавала, ни что с ее ребенком, ни что делается вокруг.

— Я приеду завтра,— сказал доктор.— Сиделка из Сент-Игнеса, наверно, будет здесь в полдень и привезет все, что нужно.

Он был возбужден и разговорчив, как футболист после удачного матча.

— Вот случай, о котором стоит написать в медицинский журнал, Джордж,— сказал он.— Кесарево сечение при

помощи складного ножа и швы из девятифунтовой вяленой жилы.

Дядя Джордж стоял, прислонившись к стене, и разглядывал свою руку.

— Ну, еще бы, ты у нас знаменитый хирург,— сказал он.

— Надо взглянуть на счастливого отца. Им, пожалуй, всех хуже приходится при этих маленьких семейных событиях,— сказал отец Ника.— Хотя, должен сказать, он это перенес на редкость спокойно.

Он откинул одеяло с головы индейца. Рука его попала во что-то мокрое. Он стал на край нижней койки, держа в руках лампу, и заглянул наверх. Индеец лежал лицом к стене. Горло у него было перерезано от уха до уха. Кровь лужей собралась в том месте, где доски прогнулись под тяжестью его тела. Голова его лежала на левой руке. Открытая бритва, лезвием вверх, валялась среди одеял.

— Уведи Ника, Джордж,— сказал доктор.

Но он поздно спохватился. Нику от дверей кухни отлично были видны верхняя койка и жест отца, когда тот, держа в руках лампу, повернул голову индейца.

Начинало светать, когда они шли обратно по дороге к озеру.

— Никогда себе не прощу, что взял тебя с собой, Ник,— сказал отец. Все его недавнее возбуждение прошло.— Надо же было случиться такой истории.

— Что, женщинам всегда так трудно, когда у них родятся дети? — спросил Ник.

— Нет, это был совершенно исключительный случай.

— Почему он убил себя, папа?

— Не знаю, Ник. Не мог вынести, должно быть.

— А часто мужчины себя убивают?

— Нет, Ник. Не очень.

— А женщины?

— Еще реже.

— Никогда?

— Ну, иногда случается.

— Папа!

— Да?

— Куда пошел дядя Джордж?

— Он сейчас придет.

— Трудно умирать, папа?

— Нет. Я думаю, это совсем нетрудно, Ник. Все зависит от обстоятельств.

Они сидели в лодке, Ник — на корме, отец — на веслах. Солнце вставало над холмами. Плеснулся окунь, и по воде пошли круги. Ник опустил руку в воду. В резком холоде утра вода казалась теплой.

В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

За топкой низиной виднелись сквозь дождь минареты Адрианополя. Дорога на Карагач была на тридцать миль забита повозками. Волы и буйволы тащили их по непролазной грязи. Ни конца, ни начала. Одни повозки, груженные всяким скарбом. Старики и женщины, промокшие до костей, шли вдоль дороги, подгоняя скотину. Марица неслась, желтая, почти вровень с мостом. Мост был сплошь забит повозками, и верблюды, покачиваясь, пробирались между ними. Поток беженцев направляла греческая кавалерия. В повозках, среди узлов, матрацев, зеркал, швейных машин ютились женщины с детьми. У одной начались роды, и сидевшая рядом с ней девушка прикрывала ее одеялом и плакала. Ей было страшно смотреть на это. Во время эвакуации не переставая лил дождь.

ДОКТОР И ЕГО ЖЕНА

Отец Ника нанял Дика Боултона из индейского поселка распилить бревна. Дик привел с собой сына Эдди и еще одного индейца — Билли Тэйбшо. Все трое пришли из лесу через заднюю калитку. Эдди нес длинную поперечную пилу. Пила раскачивалась у Эдди за спиной и звонко гудела в такт его шагам. Билли Тэйбшо нес большие багры. У Дика под мышкой были три топора.

Дик повернулся и затворил за собой калитку. Остальные пошли вперед, к берегу озера, где лежали бревна, занесенные песком.

Бревна эти оторвались от больших плотов, которые пароход «Мэджик» вел на буксире вниз по озеру, к лесопилке. Их вынесло на берег, и если они так и останутся здесь, то «Мэджик» рано или поздно вышлет лодку с плотовщиками, плотовщики разыщут бревна, вобьют в каждое по костылю, выведут их в озеро и соберут в новое звено. Но может случиться и так, что с парохода никто не явится, потому что несколько бревен не стоят тех денег, которые пришлось бы заплатить плотовщикам за работу. А если за бревнами никого не пришлют, они будут валяться полузатопленные и в конце концов сгниют.

Отец Ника решил, что именно так оно и будет, и нанял индейцев из поселка распилить бревна поперечной пилой и наколоть дров для плиты и большого камина.

Дик Боултон обогнул коттедж и спустился к озеру. На берегу лежали четыре больших буковых бревна, почти совсем занесенные песком. Эдди повесил пилу на дерево, ручкой в развилину. Дик положил топоры на мостик. Дик был метис, и многие фермеры, жившие у озера, принимали его за белого.

Он был большой лентяй, но если уж брался за работу, то работал как следует. Он вынул из кармана плитку табака, откусил кусок и сказал что-то Эдди и Билли Тэйбшо на оджибуэйском наречии.

Они воткнули багры в одно из бревен и налегли на них, высвобождая бревно из песка. Они налегли на рукоятки багров всей своей тяжестью. Бревно сдвинулось с места. Дик Боултон оглянулся на отца Ника.

— Как я погляжу, док,— сказал он,— порядочно вы накрали.

— Зачем так говорить, Дик! — сказал доктор.— Их же прибило к берегу.

Эдди и Билли Тэйбшо вывернули бревно из-под сырого песка и покатили его к воде.

— Толкай, толкай! — крикнул им Дик Боултон.

— Зачем это? — спросил доктор.

— Надо обмыть его. Счистить песок, а то пилу испортишь. Я хочу посмотреть, чье это бревно,— сказал Дик.

Бревно плескалось в воде. Взмокшие от натуги Эдди и Билли Тэйбшо стояли, опершись на свои багры. Дик опустился на колени и стал искать отметку, которую дровосек ставит на конце бревна.

— Уайт и Макнелли,— сказал он, поднимаясь и стряхивая песок с колен.

Доктору стало не по себе.

— Тогда не надо его распиливать,— отрывисто сказал он.

— А вы не обижайтесь, док,— сказал Боултон.— Зачем обижаться? Мне-то не все равно, у кого вы украли? Меня это не касается.

— Если ты считаешь, что бревна краденые, не трогай их. Забирай свои инструменты и уходи,— сказал доктор. Он весь покраснел.

— Чего это вы вдруг, док? — сказал Боултон. Он выплюнул табачную жижу на бревно. Плевок поплыл по воде, становясь все прозрачнее и прозрачнее.— Вам, док, не хуже моего известно, что бревна краденые. Только меня это не касается.

— Хорошо. Если ты считаешь, что бревна краденые, забирай свое добро и проваливай.

— Ну, док...

— Забирай свое добро и проваливай!

— Послушайте, док...

— Если ты еще раз скажешь «док», я тебе все зубы вышибу.

— А вот не вышибете, док.

Дик Боултон посмотрел на доктора. Дик был громадного роста. Он знал, что рост у него немалый. Он любил затевать драки. Сейчас Дик был чрезвычайно доволен собой. Эдди и Билли Тэйбшо стояли, опираясь на багры, и смотрели на доктора. Доктор пожевывал бородку и смотрел на Дика Боултона. Потом он повернулся и зашагал вверх по холму, к коттеджу. Даже по спине было видно, как он рассержен. Индейцы смотрели ему вслед до тех пор, пока он не вошел в коттедж.

Дик сказал что-то на оджибуэйском наречии. Эдди рассмеялся, но Билли Тэйбшо было не до смеха. От ссоры с доктором его бросило в жар, хотя он не понимал по-английски. Он был толстяк, с редкими, как у китайца, усами. Он поднял багры на плечо. Дик взял все три топора, а Эдди снял пилу с дерева. Они прошли мимо коттеджа и вышли через заднюю калитку в лес. Дик оставил калитку открытой. Билли Тэйбшо вернулся и притворил ее. Все трое скрылись в лесу.

Сев на кровать у себя в комнате, доктор увидел на полу около стола груду медицинских журналов. Бандероли с них еще не были сорваны. Это рассердило его.

— А ты не пойдешь больше работать, милый? — спросила его жена, лежавшая в соседней комнате, где шторы были опущены.

— Нет.

— Что-нибудь случилось?

— Я поссорился с Диком Боултоном.

— О-о! — сказала его жена.— Надеюсь, ты не вышел из себя, Генри?

— Нет,— сказал доктор.

— Помни, тот, кто смиряет дух свой, сильнее того, кто покоряет города,— сказала его жена. Она была членом общества христианской науки. В полутемной комнате, на столике около кровати, у нее лежала Библия, книга «Наука и здоровье» и журнал «Христианская наука».

Муж промолчал. Он сидел на кровати и чистил ружье. Он набил магазин тяжелыми желтыми патронами и вытряхнул их обратно. Они рассыпались по кровати.

— Генри! — окликнула его жена. Потом, подождав немного: — Генри!

— Да? — сказал доктор.

— Ты чем-нибудь рассердил Боултона?

— Нет,— сказал доктор.

— А что у вас произошло, милый?

— Ничего особенного.

— Скажи мне, Генри. От меня ничего не надо скрывать. Что у вас произошло?

— Дик должен мне большие деньги за то, что я вылечил его жену от воспаления легких, и, вероятно, затеял ссору, чтобы не отрабатывать долга.

Его жена молчала. Доктор тщательно вытер ружье тряпкой. Он заложил патроны обратно в магазин. Он сидел, опустив ружье на колени. Он очень дорожил им. Из полутемной комнаты до него снова донесся голос жены:

— Милый, я не думаю, я просто не допускаю мысли, что кто-нибудь способен на такой поступок.

— Да? — сказал доктор.

— Да. Я не могу поверить, что такое можно сделать намеренно.

Доктор поднялся и поставил ружье в угол за шкафом.

— Ты уходишь, милый? — спросила его жена.

— Пойду прогуляюсь,— сказал доктор.

— Если увидишь Ника, милый, скажи ему, что мама его зовет.

Доктор вышел на крыльцо. Дверь за ним захлопнулась со стуком. Он услышал, как жена вздохнула, когда хлопнула дверь.

— Прости,— сказал он, подойдя к окну с опущенной шторой.

— Ничего, милый,— сказала она.

Он открыл калитку и пошел по жаре к пихтовому лесу. В лесу было прохладно даже в такой жаркий день. Он увидел Ника, который сидел, прислонившись к дереву, и читал.

— Пойди к маме, ты ей зачем-то нужен.

— А я хочу с тобой,— сказал Ник.

Отец посмотрел на него.

— Ну что ж, пойдем,— сказал он.— Дай книгу, я ее суну в карман.

— Папа, а я знаю, где есть черные белки,— сказал Ник.

— Ну что ж,— сказал отец.— Пойдем посмотрим.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы попали в какой-то сад в Монсе. Бакли вернулся со своим патрулем с того берега реки. Первый немец, которого мне пришлось увидеть, перелезал через садовую ограду. Мы дождались, когда он перекинет ногу на нашу сторону, и ухлопали его. На нем была пропасть всякой амуниции. Он разинул рот от удивления и свалился в сад. Потом через ограду в другом месте стали перелезать еще трое. Мы их тоже подстрелили. Они все так появлялись.

ЧТО-ТО КОНЧИЛОСЬ

В прежние времена Хортонс-Бей был городком при лесопильном заводе. Жителей его всюду настигал звук больших пил, визжавших на берегу озера. Потом наступило время, когда пилить стало нечего, потому что поставка бревен кончилась. В бухту вошли лесовозные шхуны и приняли баланс, сложенный штабелями во дворе. Груды теса тоже свезли. Заводские рабочие вынесли из лесопилки все оборудование и погрузили его на одну из шхун. Шхуна вышла из бухты в открытое озеро, унося на борту, поверх теса, которым был забит трюм, две большие пилы, тележку для подвоза бревен к вращающимся круглым пилам, все валы, колеса, приводные ремни и металлические части. Грузовой люк ее был затянут брезентом, туго перевязан канатами, и она на всех парусах вышла в открытое озеро, унося на борту все, что делало завод заводом, а Хортонс-Бей — городом.

Одноэтажные бараки, столовая, заводская лавка, контора и сам завод стояли заброшенные среди опилок, покрывавших целые акры болотистого луга вдоль берега бухты.

Через десять лет от завода не осталось ничего, кроме обломков белого известнякового фундамента, проглядывавших сквозь болотный подлесок, мимо которого проплывали в лодке Ник и Марджори. Они ловили рыбу на дорожку у самого берега канала, в том месте, где дно сразу уходит с песчаной отмели вниз, под двенадцать футов темной воды. Спустив с лодки дорожку, они плыли к мысу, расставить там на ночь удочки для ловли радужной форели.

— А вот и наши развалины, Ник,— сказала Марджори.

Занося весла, Ник оглянулся на белые камни среди зелени кустарника.

— Да, они самые,— сказал он.

— Ты помнишь, когда тут был завод? — спросила Марджори.

— Смутно,— сказал Ник.

— Похоже скорее, будто тут стоял замок,— сказала Марджори.

Ник промолчал. Они плыли вдоль берега, пока завод не скрылся из виду. Тогда Ник направил лодку через бухту.

— Не клюет,— сказал он.

— Да,— сказала Марджори. Она не спускала глаз с дорожки даже во время разговора. Она любила удить рыбу. Она любила удить рыбу с Ником.

У самой лодки блеснула большая форель. Ник налег на правое весло, стараясь повернуть лодку и провести тянувшуюся далеко позади наживку в том месте, где охотилась форель. Как только спина форели показалась из воды, пескари метнулись от нее в разные стороны. По воде пошли брызги, точно туда бросили пригоршню дробинок. С другой стороны лодки плеснула еще одна форель.

— Кормятся,— сказала Марджори.

— Да, но клева-то нет,— сказал Ник.

Он повернул лодку так, чтобы провести дорожку мимо охотившихся форелей, а потом стал грести к мысу. Марджори начала наматывать лесу на катушку только тогда, когда лодка коснулась носом берега.

Они вытащили ее на песок, и Ник взял с кормы ведро с живыми окунями. Окуни плавали в ведре. Ник выловил трех, отрезал им головы и счистил чешую, а Марджори все еще шарила руками в ведре; наконец она поймала одного окуня и тоже отрезала ему голову и счистила чешую. Ник посмотрел на рыбку у нее в руке.

— Брюшной плавник не надо срезать,— сказал он.—Для наживки и так сойдет, но с брюшным плавником все-таки лучше.

Он насадил очищенных окуней с хвоста. У каждого удилища на конце поводка было по два крючка. Марджори отъехала от берега, зажав леску в зубах и глядя на Ника, а он стоял на берегу и держал удочку, пока не размоталась вся катушка.

— Ну, кажется, так! — крикнул он.

— Бросать? — спросила Марджори, взяв леску в руку.

— Да, бросай.— Марджори бросила леску за борт и стала смотреть, как наживка уходит под воду.

Она снова подъехала к берегу и проделала то же самое со второй леской. Ник положил по тяжелой доске на конец каждой удочки, чтобы они крепче держались, а снизу подпер их досками поменьше. Потом повернул назад ручки на обеих катушках, туго натянул лески между берегом и песчаным дном канала, куда была брошена наживка, и защелкнул затворы. Плавая в поисках корма у самого дна, форель схватит наживку, кинется с ней, размотает за собой леску, предохранитель опустится, и катушка зазвенит.

Марджори отъехала подальше, чтобы не задеть лесок. Она налегла на весла, и лодка пошла вдоль берега. Вслед за ней по воде тянулась мелкая рябь. Марджори вышла на берег, и Ник втащил лодку выше, на песок.

— Что с тобой, Ник? — спросила Марджори.

— Не знаю,— ответил Ник, собирая хворост для костра.

Они разложили костер. Марджори сходила к лодке и принесла одеяло. Вечерний ветер относил дым к мысу, и Марджори расстелила одеяло левее, между костром и озером.

Марджори села на одеяло спиной к костру и стала ждать Ника. Он подошел и сел рядом с ней. Сзади них на мысу был частый кустарник, а впереди — залив с устьем Хортонс-Крика. Стемнеть еще не успело. Свет от костра доходил до воды. Им были видны два стальных удилища, поставленных под углом к темной воде. Свет от костра поблескивал на катушках.

Марджори достала из корзинки еду.

— Мне не хочется,— сказал Ник.

— Поешь чего-нибудь, Ник.

— Ну, давай.

Они ели молча и смотрели на удочки и отблески огня на воде.

— Сегодня будет луна,— сказал Ник. Он посмотрел на холмы за бухтой, которые все резче выступали на темном небе. Он знал, что за холмами встает луна.

— Да, я знаю,— сказала Марджори счастливым голосом.

— Ты все знаешь,— сказал Ник.

— Перестань, Ник. Ну, пожалуйста, не будь таким.

— А что я могу поделать? — сказал Ник.— Ты все знаешь. Решительно все. В том-то и беда. Ты прекрасно сама это знаешь.

Марджори промолчала.

— Я научил тебя всему. Ты же все знаешь. Ну, например, чего ты не знаешь?

— Перестань! — сказала Марджори.— Вон луна выходит.

Они сидели на одеяле, не касаясь друг друга, и смотрели, как поднимается луна.

— Зачем выдумывать глупости? — сказала Марджори.— Говори прямо, что с тобой?

— Не знаю.

— Нет, знаешь.

— Нет, не знаю.

— Ну, скажи мне.

Ник посмотрел на луну, выходящую из-за холмов.

— Скучно стало.

Он боялся взглянуть на Марджори. Он взглянул на Марджори. Она сидела спиной к нему. Он посмотрел на ее спину.

— Скучно. Все стало скучно.

Она молчала. Он снова заговорил:

— У меня такое чувство, будто все во мне оборвалось. Не знаю, Марджори. Не знаю, что тебе сказать.

Он все еще смотрел ей в спину.

— И любить скучно? — спросила Марджори.

— Да,— сказал Ник. Марджори встала. Ник сидел, опустив голову на руки.

— Я возьму лодку,— крикнула ему Марджори.— Ты можешь пройти пешком вдоль мыса.

— Хорошо,— сказал Ник.— Я тебе помогу.

— Не надо,— сказала Марджори. Она плыла в лодке по заливу, освещенному луной. Ник вернулся и лег ничком на одеяло у костра. Он слышал, как Марджори работает веслами.

Он долго лежал так. Он лежал так, а потом услышал шаги Билла, вышедшего на просеку из леса. Он почувствовал, что Билл подошел к костру. Билл не дотронулся до него.

— Ну что, ушла?

— Да,— сказал Ник, уткнувшись лицом в одеяло.

— Устроила сцену?

— Никаких сцен не было.

— Ну, а ты как?

— Уйди, Билл. Погуляй там где-нибудь.

Билл выбрал себе сандвич в корзинке и пошел взглянуть на удочки.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Жарища в тот день была адова. Мы соорудили поперек моста совершенно бесподобную баррикаду. Баррикада получилась просто блеск. Высокая чугунная решетка — с ограды перед домом. Такая тяжелая, что сразу не сдвинешь, но стрелять через нее удобно, а тем пришлось бы перелезать. Шикарная баррикада. Те было полезли, но мы стали бить их с сорока шагов. Те брали ее приступом, а потом офицеры одни выходили вперед и пытались свалить ее. Заграждение получилось совершенно идеальное. Офицеры у них держались великолепно. Мы просто рассвирепели, когда узнали, что правый фланг отошел и нам придется отступать.

ТРЕХДНЕВНАЯ НЕПОГОДА

Когда Ник свернул на дорогу, проходившую через фруктовый сад, дождь кончился. Фрукты были уже собраны, и осенний ветер шумел в голых ветках. Ник остановился и подобрал яблоко, блестевшее от дождя в бурой траве у дороги. Он положил яблоко в карман куртки.

Из сада дорога вела на вершину холма. Там стоял коттедж, на крыльце было пусто, из трубы шел дым. За коттеджем виднелся гараж, курятник и молодая поросль, поднимавшаяся точно изгородь на фоне леса. Он взглянул в ту сторону,— большие деревья раскачивались вдалеке на ветру. Это была первая осенняя буря.

Когда Ник пересек поле за садом, дверь отворилась, и из коттеджа вышел Билл. Он остановился на крыльце.

— А-а, Уимидж,— сказал он.

— Хэлло, Билл,— сказал Ник, поднимаясь по ступенькам.

Они постояли на крыльце, глядя на озеро, на сад, на поля за дорогой и поросший лесом мыс. Ветер дул прямо с озера. С крыльца им был виден прибой у мыса Тен-Майл.

— Здорово дует,— сказал Ник.

— Это теперь на три дня,— сказал Билл.

— Отец дома? — спросил Ник.

— Нет. Ушел на охоту. Пойдем в комнаты.

Ник вошел в коттедж. В камине ярко горели дрова. Пламя с ревом рвалось в трубу. Билл захлопнул дверь.

— Выпьем? — сказал он.

Он сходил на кухню и вернулся с двумя стаканами и кувшином воды. Ник достал с полки над камином бутылку виски.

— Ничего? — спросил он.

— Давай, давай,— сказал Билл.

Они сидели у камина и пили ирландское виски с водой.

— Приятно отдает дымком,— сказал Ник и посмотрел через стакан на огонь.

— Это от торфа,— сказал Билл.

— Торф не может попасть в виски,— сказал Ник.

— Это ничего не значит,— сказал Билл.

— А ты видел когда-нибудь торф? — спросил Ник.

— Нет,— сказал Билл.

— И я не видел,— сказал Ник.

Ник протянул ноги к самому огню, и от его башмаков пошел пар.

— Ты бы разулся,— сказал Билл.

— Я без носков.

— Сними башмаки и просуши, а носки я тебе дам какие-нибудь,— сказал Билл. Он поднялся на чердак, и Ник слышал, как он ходит там, наверху. Чердак был под самой крышей, и Билл с отцом и сам Ник иногда спали там. К чердаку примыкал чулан. Они отодвигали койки с того места, где крыша протекала, и застилали их прорезиненными одеялами.

Билл вернулся с парой толстых шерстяных носков.

— Теперь уже поздновато ходить на босу ногу,— сказал он.

— Терпеть не могу влезать в них после лета,— сказал Ник. Он натянул носки и, откинувшись на спинку стула, положил ноги на экран перед камином.

— Смотри, продавишь,— сказал Билл. Ник переложил ноги на выступ камина.

— Есть что-нибудь почитать? — спросил он.

— Только газета.

— Как дела у «Кардиналов»?

— Проиграли подряд две игры «Гигантам».

— Ну, теперь им крышка.

— Нет, на этот раз просто поддались,— сказал Билл.— До тех пор, пока Мак Гроу может покупать любого хорошего бейсболиста в Лиге, им бояться нечего.

— Ну, всех-то не скупишь,— сказал Ник.

— Кого нужно, он покупает,— сказал Билл,— или так их настраивает, что они начинают фордыбачить, и Лига с радостью сплавляет их ему.

— Как было с Хайни Зимом,— подтвердил Ник.

— Много ему проку будет от этой дубины.

Билл встал.

— Он здорово бьет,— сказал Ник. Жар от огня припекал ему ноги.

— Хайни Зим неплох в защите,— сказал Билл.— А все-таки команда из-за него проигрывает.

— Может, поэтому Мак Гроу и держится за Хайни,— сказал Ник.

— Может быть,— согласился Билл.

— Нам с тобой ведь не все известно,— сказал Ник.

— Ну, конечно. Хотя для нашей дыры мы не так уж плохо осведомлены.

— Все равно как на скачках: лучше ставить на лошадей, когда их в глаза не видел.

— Вот именно.

Билл взял бутылку виски. Его большая рука охватила всю бутылку. Он налил виски в протянутый Ником стакан.

— Сколько воды?

— Столько же.

Он сел на пол рядом со стулом Ника.

— А хорошо, когда начинается осенняя буря,— сказал Ник.

— Замечательно.

— Самое лучшее время года,— сказал Ник.

— Вот уж не согласился бы жить сейчас в городе,— сказал Билл.

— А я хотел бы посмотреть «Уорлд Сириз»,— сказал Ник.

— Ну-у, они теперь играют только в Филадельфии да в Нью-Йорке,— сказал Билл.— Нам от этого ни тепло, ни холодно.

— Все-таки интересно, возьмут когда-нибудь «Кардиналы» первенство или нет?

— Как же, дожидайся! — сказал Билл.

— Вот бы обрадовались ребята! — сказал Ник.

— Помнишь, как они разошлись тогда, перед тем как попали в крушение.

— Да-а! — сказал Ник.

Билл потянулся за книгой, которая лежала заглавием вниз на столе у окна, там, куда он положил ее, когда пошел к двери. Прислонившись спиной к стулу Ника, он держал в одной руке стакан, в другой — книгу.

— Что ты читаешь?

— «Ричарда Феверела».

— А я не одолел его.

— Хорошая книга,— сказал Билл.— Неплохая книга, Уимидж.

— А что у тебя есть, чего я еще не читал? — спросил Ник.

— «Любовь в лесу» читал?

— Да. Это про то, как они ложатся спать и кладут между собой обнаженный меч?

— Хорошая книга, Уимидж.

— Книга замечательная. Только я не понимаю, какой им был толк от этого меча? Ведь его все время надо держать лезвием вверх, потому что если меч положить плашмя, то через него можно перекатиться, и тогда он ничему не помешает.

— Это символ,— сказал Билл.

— Наверно,— сказал Ник.— Только здравого смысла в этом ни на грош.

— А «Отвагу» ты читал?

— Вот это интересно! — сказал Ник.— Настоящая книга. Это — где его отец все время донимает. У тебя есть что-нибудь еще Хью Уолпола?

— «Темный лес»,— сказал Билл.— Про Россию.

— А что он смыслит в России? — спросил Ник.

— Не знаю. Кто их разберет, этих писателей. Может, он жил там еще мальчишкой. Там много всего про Россию.

— Вот бы с ним познакомиться,— сказал Ник.

— А я бы хотел познакомиться с Честертоном,— сказал Билл.

— Хорошо бы, он был сейчас здесь,— сказал Ник.— Мы бы взяли его завтра на рыбалку в Вуа.

— А может, он не захотел бы пойти на рыбалку? — сказал Билл.

— Еще как захотел бы,— сказал Ник.— Он же замечательный малый. Помнишь «Перелетный кабак»?

Если ангел нам предложит
Воду пить, а не вино,—
Мы поклонимся учтиво
И плеснем ее в окно.

— Правильно,— сказал Ник.— По-моему, он лучше Уолпола.

— Еще бы. Конечно, лучше,— сказал Билл.

— Но Уолпол пишет лучше.

— Не знаю,— сказал Ник.— Честертон классик.

— Уолпол тоже классик,— не сдавался Билл.

— Хорошо бы, они оба были здесь,— сказал Ник.— Мы бы взяли их завтра на рыбалку в Вуа.

— Давай напьемся,— сказал Билл.

— Давай,— согласился Ник.

— Мой старик ругаться не будет,— сказал Билл.

— Ты в этом уверен? — сказал Ник.

— Ну, конечно,— сказал Билл.

— А я и так уже немного пьян,— сказал Ник.

— Ничего подобного,— сказал Билл.

Он встал с пола и взял бутылку. Ник подставил ему свой стакан. Он не сводил с него глаз, пока Билл наливал виски.

Билл налил стакан до половины.

— Воды сам добавь,— сказал он.— Тут еще только на одну порцию.

— А больше нет? — спросил Ник.

— Есть сколько хочешь, только отец не любит, когда я починаю бутылку.

— Ну, конечно,— сказал Ник.

— Он говорит: те, что починают бутылки, в конце концов спиваются,— пояснил Билл.

— Правильно,— сказал Ник. Это произвело на него большое впечатление. Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Он всегда думал, что спиваются те, кто пьет в одиночку.

— А как поживает твой отец? — почтительно спросил он.

— Ничего,— сказал Билл.— Правда, иногда на него находит.

— Он у тебя молодец,— сказал Ник. Он подлил себе в стакан воды из кувшина. Виски медленно смешивалось с водой. Виски было больше, чем воды.

— Что и говорить,— сказал Билл.

— Мой старик тоже неплохой,— сказал Ник.

— Ну, еще бы,— сказал Билл.

— Он уверяет, что никогда в жизни не брал в рот спиртного,— сказал Ник торжественным тоном, точно сообщая о факте, имеющем непосредственное отношение к науке.

— Да, но ведь он доктор. А мой старик — художник. Это совсем другое дело.

— Мой много потерял в жизни,— с грустью сказал Ник.

— Кто его знает,— сказал Билл.— Не известно, где найдешь, где потеряешь.

— Он сам говорит, что много потерял,— признался Ник.

— Моему тоже не легко приходилось,— сказал Билл.

— Значит, один черт,— сказал Ник.

Они смотрели на огонь и размышляли над этой глубокой истиной.

— Пойду принесу полено с заднего крыльца,— сказал Ник. Глядя в камин, он заметил, что огонь начинает гаснуть.

Кроме того, ему хотелось доказать, что он умеет пить и не терять здравого смысла. Пусть отец никогда не брал спиртного в рот, Билл все равно не напоит его — Ника, пока сам не напьется.

— Выбери из буковых потолще,— сказал Билл. Он тоже был полон здравого смысла.

Ник возвращался с поленом через кухню и по пути сшиб с кухонного стола кастрюлю. Он положил полено на пол и поднял ее. В кастрюле были замочены сушеные абрикосы. Он старательно подобрал с пола все абрикосы — несколько штук закатилось под плиту — и положил их обратно в кастрюлю. Он подлил в абрикосы воды из стоящего рядом ведра. Он гордился собой. Здравый смысл ни на минуту не изменял ему.

Он подошел с поленом к камину. Билл встал и помог ему положить полено в огонь.

— Полено первый сорт,— сказал Ник.

— Я берег его на случай плохой погоды,— сказал Билл.— Такое всю ночь будет гореть.

— И к утру горячие угли останутся на растопку,— сказал Ник.

— Верно,— согласился Билл. Разговор шел в самом возвышенном тоне.

— Выпьем еще,— сказал Ник.

— В буфете должна быть еще одна початая бутылка,— сказал Билл.

Он присел перед буфетом на корточки и достал оттуда квадратную бутылку.

— Шотландское,— сказал он.

— Пойду за водой,— сказал Ник. Он снова ушел на кухню. Он зачерпнул ковшиком холодной родниковой воды из ведра и налил ее в кувшин. На обратном пути он прошел в столовой мимо зеркала и посмотрелся в него. Узнать себя было трудно. Он улыбнулся лицу в зеркале, и оно ухмыльнулось в ответ. Он подмигнул ему и пошел дальше. Лицо было не его, но это не имело никакого значения.

Билл уже налил виски в стаканы.

— Не многовато ли,— сказал Ник.

— Это нам-то с тобой, Уимидж? — сказал Билл.

— За что будем пить? — спросил Ник, поднимая стакан.

— Давай выпьем за рыбную ловлю,— сказал Билл.

— Хорошо,— сказал Ник.— Джентльмены, да здравствует рыбная ловля!

— Везде и всюду,— сказал Билл.— Где бы ни ловили.

— *Рыбная ловля*,— сказал Ник.— Пьем за рыбную ловлю!

— *А она* лучше, чем бейсбол,— сказал Билл.

— Какое же может быть сравнение? — сказал Ник.— Как мы вообще могли говорить о бейсболе?

— Это была ошибка с нашей стороны,— сказал Билл.— Бейсбол — это игра для деревенщины.

Они допили стаканы до дна.

— Теперь выпьем за Честертона.

— И за Уолпола,— подхватил Ник.

Ник налил виски Биллу и себе. Билл подлил в виски воды. Они посмотрели друг на друга. Оба чувствовали себя превосходно.

— Джентльмены,— сказал Билл.— Да здравствуют Честертон и Уолпол.

— Принято, джентльмены,— сказал Ник.

Они выпили. Билл снова налил стаканы. Они сидели в глубоких креслах перед камином.

— Это было очень умно с твоей стороны, Уимидж.

— О чем ты? — спросил Ник.

— О том, что ты порвал с Мардж,— сказал Билл.

— Да, пожалуй,— сказал Ник.

— Так и следовало сделать. Если бы ты не сделал этого, пришлось бы тебе уехать домой, работать и копить деньги на женитьбу.

Ник молчал.

— Раз уж человек женился, пропащее дело,— продолжал Билл.— Больше ему надеяться не на что. Крышка. Спета его песенка. Ты же видел женатых?

Ник молчал.

— Женатого сразу узнаешь,— сказал Билл.— У них такой сытый, женатый вид. Спета их песенка.

— Правильно,— сказал Ник.

— Может, это было нехорошо, порывать так сразу,— сказал Билл.— Но ведь всегда найдешь, в кого влюбиться, и все будет в порядке. Влюбляйся, только не позволяй им портить тебе жизнь.

— Да,— сказал Ник.

— Если бы ты женился на ней, тебе бы досталась в придачу вся их семья. Вспомни только ее мать и этого типа, за которого она вышла замуж.

Ник кивнул.

— Торчали бы они целыми днями у тебя в доме, а тебе пришлось бы ходить к ним по воскресеньям обедать и пригла-

шать их к себе, а она все время учила бы Мардж, что надо делать и чего не надо.

Ник сидел молча.

— Ты еще легко отделался,— сказал Билл.— Теперь она может выйти замуж за кого-нибудь, кто ей под пару, обзаведется семьей и будет счастлива. Масла с водой не смешаешь, и в этих делах тоже ничего не следует мешать. Все равно, как если бы я женился на Айде, которая служит у Стрэттонов. Она, наверно, была бы не прочь.

Ник молчал. Опьянение прошло и оставило его наедине с самим собой. Не было здесь Билла. Сам он не сидел перед камином, не собирался идти завтра на рыбалку с Биллом и его отцом. Он не был пьян. Все прошло. Он знал только одно: когда-то у него была Марджори, а теперь он ее потерял. Она ушла, он прогнал ее. Все остальное не имело никакого значения. Может быть, он никогда больше ее не увидит. Наверно, никогда не увидит. Все ушло, кончилось.

— Выпьем еще,— сказал Ник.

Билл налил виски. Ник подбавил в стаканы немного воды.

— Если бы ты не покончил со всем этим, мы бы не сидели сейчас здесь,— сказал Билл.

Это было верно. Раньше Ник собирался уехать домой и подыскать работу. Потом решил остаться на зиму в Шарльвуа, чтобы быть поближе к Марджори. Теперь он сам не знал, что ему делать.

— Мы бы, наверно, и на рыбную ловлю завтра не пошли,— сказал Билл.— Нет, ты правильно поступил.

— А что я мог с собой поделать? — сказал Ник.

— Знаю. Так всегда бывает,— сказал Билл.

— Вдруг все кончилось,— сказал Ник.— Почему так получилось, не знаю. Я ничего не мог с собой поделать. Все равно как этот ветер: налетит — и в три дня не оставит ни одного листка на деревьях.

— Кончилось и кончилось. Это самое главное,— сказал Билл.

— По моей вине,— сказал Ник.

— По чьей вине, это не важно,— сказал Билл.

— Да, верно,— сказал Ник.

Самое главное было то, что Марджори ушла, и он, вероятно, никогда больше не увидит ее. Он говорил с ней о том, как они поедут в Италию, как им там будет хорошо вдвоем. О местах, где они побывают. Все это ушло теперь. И он сам что-то потерял.

— Кончилось, и точка, а остальное пустяки,— сказал Билл.— Знаешь, Уимидж, я очень за тебя беспокоился, пока это тянулось. Ты правильно поступил. Ее мамаша на стену лезет от досады. Она всем говорила, что вы помолвлены.

— Мы не были помолвлены,— сказал Ник.

— А говорят, что были.

— Я тут ни при чем,— сказал Ник.— Мы не были помолвлены.

— Разве вы не собирались пожениться? — спросил Билл.

— Собирались. Но мы не были помолвлены,— сказал Ник.

— Тогда какая разница? — скептически спросил Билл.

— Не знаю. Разница все-таки есть.

— Я ее не вижу,— сказал Билл.

— Ладно,— сказал Ник.— Давай напьемся.

— Ладно,— сказал Билл.— Напьемся по-настоящему.

— Напьемся, а потом пойдем купаться,— сказал Ник.

Он допил свой стакан.

— Мне ее очень жалко, но что я мог поделать? — сказал он.— Ты же знаешь, какая у нее мать.

— Ужасная! — сказал Билл.

— Вдруг все кончилось,— сказал Ник.— Только напрасно я с тобой заговорил об этом.

— Ты не заговаривал,— сказал Билл.— Это я начал. А теперь все. Больше никогда не будем говорить об этом. Ты только не задумывайся. А то опять примешься за старое.

Такая мысль не приходила Нику в голову. Казалось, все было решено бесповоротно. Над этим стоило подумать. Ему стало легче.

— Конечно,— сказал он.— Это всегда может случиться.

Ему снова стало хорошо. Нет ничего непоправимого. Можно пойти в город в субботу вечером. Сегодня четверг.

— Это не исключено,— сказал он.

— Держи себя в руках,— сказал Билл.

— Постараюсь,— сказал он.

Ему было хорошо. Ничего не кончено. Ничего не потеряно. В субботу он пойдет в город. Он чувствовал ту же легкость на душе, что была в нем до того, как Билл начал этот разговор. Лазейку всегда можно найти.

— Давай возьмем ружья и пойдем на мыс, поищем твоего родителя,— сказал Ник.

— Давай.

Билл снял со стены два дробовика. Потом открыл ящик с патронами. Ник надел куртку и башмаки. Башмаки покороби-

лись от огня. Ник все еще непротрезвился, но голова у него была свежая.

— Ну, как ты? — спросил он.

— Прекрасно. В самый раз.— Билл застегивал свитер.

— А напиваться все-таки не стоит.

— Да, пожалуй. Надо было давно пойти погулять.

Они вышли на крыльцо. Ветер бушевал вовсю.

— От такого ветра все птицы в траву попáдают,— сказал Билл.

Они пошли к саду.

— Я видел вальдшнепа сегодня утром,— сказал Билл.

— Может, нам удастся поднять его,— сказал Ник.

— При таком ветре нельзя стрелять,— сказал Билл.

На воздухе вся история с Мардж не казалась такой трагической. Это было вовсе не так уж важно. Ветер унес все это с собой.

— Прямо с большого озера дует,— сказал Ник.

До них донесся глухой звук выстрела.

— Это отец,— сказал Билл.— Он там, на болоте.

— Пойдем прямиком,— сказал Ник.

— Пойдем нижним лугом, может, поднимем какую-нибудь дичь,— сказал Билл.

— Ладно,— сказал Ник.

Теперь это было совершенно не важно. Ветер выдул все у него из головы. Тем не менее в субботу вечером можно сходить в город. Неплохо иметь это про запас.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя. На дворе стояли лужи. На каменных плитах было много мокрых опавших листьев. Шел сильный дождь. Все ставни в госпитале были наглухо заколочены. Один из министров был болен тифом. Два солдата вынесли его прямо на дождь. Они пытались поставить его к стене, но он сполз в лужу. Остальные пять неподвижно стояли у стены. Наконец офицер сказал солдатам, что поднимать его не стоит. Когда дали первый залп, он сидел в воде, уронив голову на колени.

ЧЕМПИОН

Ник встал. Он был невредим. Он взглянул на рельсы, на огни последнего вагона, исчезающего за поворотом. По обе стороны железнодорожных путей была вода, а дальше — болото. Он ощупал колено. Штаны были разорваны и кожа содрана. На руках ссадины, песок и зола забились под ногти. Он подошел к краю насыпи, спустился по отлогому склону к воде и стал мыть руки. Он мыл их тщательно в холодной воде, вычищая грязь из-под ногтей. Потом присел на корточки и обмыл колено.

— Вот сволочь, тормозной! Доберусь до него когда-нибудь. Уж я его не забуду! Удружил, нечего сказать! «Поди сюда, паренек, говорит, посмотри-ка, что я тебе покажу».

Он попался на удочку. Вот дурак! Но уж больше его не проведут.

«Поди сюда, паренек, посмотри-ка, что я тебе покажу». Потом — бац! И он упал на четвереньки у самых рельсов.

Ник потер глаз. Над глазом вспухла большая шишка. Непременно синяк будет. Глаз уже болел.

— Вот чертов сын, тормозной!

Он потрогал шишку над глазом. Ну, ничего, синяк будет, только и всего. Он еще дешево отделался. Хорошо бы посмотреть, как разукрасило. В воде не увидишь. Уже стемнело, а он был далеко от жилья. Он вытер руки о штаны, встал и полез вверх по железнодорожной насыпи.

Он пошел по путям. На насыпи было много балласта, и идти было легко. Нога твердо ступала по утрамбованному песку и гравию. Полотно, ровное, как шоссе, пересекало болото. Ник шел и шел. Он должен добраться до жилья.

На товарный поезд Ник вскочил неподалеку от разъезда Уолтон, когда поезд замедлил ход. Калкаску проехали, когда уже начало темнеть. Теперь, наверное, до Манселоны недалеко, мили три-четыре. Он шагал по полотну, стараясь ступать между шпалами; болото терялось в поднимающемся тумане. Глаз болел, и хотелось есть. Он все шел, оставляя позади милю за милей. По обе стороны насыпи все время тянулось болото.

Показался мост. Ник прошел его; шаги гулко раздавались по чугуну. Внизу, сквозь щели между шпалами, чернела вода. Ник столкнул ногой валявшийся на мосту костыль, и он упал в воду. За мостом начались холмы. Они поднимались черной громадой по обе стороны путей. Впереди Ник увидел костер.

Осторожно ступая, он пошел на огонь. Костер был немного в стороне от путей, под железнодорожной насыпью. Нику был виден только его отсвет. Пути шли между холмами, и там, где горел костер, выемка как бы раздвинулась и терялась в лесу. Ник осторожно сполз с насыпи и вошел в лес, чтобы между деревьями пробраться к костру. Лес был буковый, и он чувствовал под ногами шелуху буковых орешков. С опушки леса костер казался ярким. Возле него сидел человек. Ник остановился за деревом и стал приглядываться. По-видимому, человек был один. Он сидел, подперев голову руками, и смотрел на костер. Ник шагнул вперед и вошел в освещенное пространство.

Человек сидел и смотрел в огонь. Когда Ник остановился совсем рядом с ним, он не шевельнулся.

— Хэлло! — сказал Ник.

Человек поднял глаза.

— Где фонарь заработал? — сказал.

— Тормозной кондуктор двинул.

— Снимали с товарного?

— Да.

— Видел каналью,— сказал человек.— Проехал здесь часа полтора назад. Шел по крышам вагонов, похлопывая себя по бокам и распевая.

— Вот каналья!

— Он, наверное, рад, что спихнул тебя,— сказал человек серьезно.

— Я еще отплачу ему.

— Подстереги его с камнем, когда он будет проезжать обратно,— посоветовал человек.

— Я доберусь до него.

— Ты упрям, видно, а?

— Нет,— ответил Ник.

— Все вы, мальчишки, упрямы.

— Приходится быть упрямым,— сказал Ник.

— Вот и я говорю.

Человек посмотрел на Ника и улыбнулся. На свету Ник увидел, что лицо у него обезображено. Расплющенный нос, глаза — как щелки, и бесформенные губы. Ник рассмотрел все это не сразу; он увидел только, что лицо у человека было бесформенное и изуродованное. Оно походило на размалеванную маску. При свете костра оно казалось мертвым.

— Что, нравится моя сковородка? — спросил человек.

Ник смутился.

— Да,— сказал он.

— Смотри.

Человек снял кепку.

У него было только одно ухо. Оно было распухшее и плотно прилегало к голове. На месте другого уха культяпка.

— Видал когда-нибудь таких?

— Нет,— сказал Ник. Его слегка затошнило.

— Таких больше нет,— сказал человек.— Правда таких больше нет, малыш?

— Еще бы!

— Кто только меня не бил! — сказал маленький человек.— А мне хоть бы что.

Он смотрел на Ника.

— Садись,— сказал он.— Есть хочешь?

— Не беспокойтесь,— сказал Ник.— Я иду в город.

— Знаешь,— сказал человек,— зови меня Эд.

— Ладно.

— Знаешь,— сказал человечек,— у меня не все в порядке.

— Что с вами?

— Я сумасшедший.

Он надел кепку. Нику стало смешно.

— Да у вас все в порядке,— сказал он.

— Нет, не все. Я — сумасшедший. Послушай, ты был когда-нибудь сумасшедшим?

— Нет,— сказал Ник.— Отчего это случается?

— Не знаю,— сказал Эд.— Случится — и не заметишь как. Ты ведь знаешь меня?

— Нет.

— Я Эд Фрэнсис.

— Ей-богу?

— Не веришь?

— Верю.

Ник почувствовал, что это правда.

— Знаешь, чем я беру?

— Нет,— сказал Ник.

— У меня редкий пульс. Всего сорок в минуту. Пощупай.

Ник колебался.

— Иди сюда.— Человек взял его за руку.— Возьмись вот тут. Пальцы положи так.

Запястье у маленького человечка было широкое, и под кожей вздымались мышцы. Ник почувствовал медленное биение под пальцами.

— Часы есть?

— Нет.

— У меня тоже нет,— сказал Эд.— Тогда ничего не выйдет, если часов нет.

Ник отпустил руку.

— Послушай,— сказал Эд Фрэнсис,— возьмись снова. Ты слушай, я буду считать до шестидесяти.

Ощущая под пальцами медленные, резкие удары, Ник начал считать. Он слышал, как маленький человечек медленно считал вслух — раз, два, три, четыре, пять...

— Шестьдесят,— кончил Эд.— Минута. А у тебя сколько?

— Сорок,— сказал Ник.

— Верно! — обрадовался Эд.— Никогда не учащается.

С насыпи спустился человек, пересек лужайку и подошел к костру.

— Хэлло, Багс! — сказал Эд.

— Хэлло! — ответил Багс.

По говору это был негр. Ник уже по шагам знал, что это негр. Он стоял к ним спиной, наклонясь к огню. Потом выпрямился.

— Это мой друг, Багс,— сказал Эд.— Он тоже сумасшедший.

— Очень приятно,— сказал Багс.— Так вы откуда, говорите?

— Из Чикаго,— сказал Ник.

— Славный город,— сказал негр.— Я не расслышал, как вас зовут?

— Адамс. Ник Адамс.

— Он говорит, что никогда не был сумасшедшим, Багс,— сказал Эд.

— У него еще все впереди,— сказал негр.— Он разворачивал сверток, стоя у огня.

— Скоро есть будем, Багс? — спросил боксер.

— Сейчас.
— Ты голоден, Ник?
— Как собака.
— Слышишь, Багс?
— Я обычно все слышу.
— Да я не о том спрашиваю.
— Да. Я слышал, что сказал этот джентльмен.

Он клал на сковородку куски ветчины. Когда сковородка накалилась и сало стало брызгать, Багс, нагнувшись над костром на своих длинных, как у всех негров, ногах, перевернул куски сала, стал разбивать о сковородку яйца и выливать их в горячее сало.

— Нарежьте, пожалуйста, хлеба, мистер Адамс, он там, в мешке.— Багс повернул голову.

— С удовольствием.

Ник подошел к мешку и достал каравай хлеба. Отрезал шесть ломтей.

Эд нагнулся вперед и наблюдал за ним.

— Дай-ка мне нож, Ник,— сказал он.

— Нет, не давайте,— сказал негр.— Держите нож крепче, мистер Адамс.

Боксер откинулся назад.

— Будьте добры, передайте мне этот хлеб, мистер Адамс,— попросил Багс.

Ник принес ему хлеб.

— Любите макать хлеб в сало? — спросил негр.

— Ну, еще бы!

— Этим лучше займемся потом, на закуску. Пожалуйста.

Негр взял кусок сала, положил его на ломоть хлеба и сверху прикрыл яйцом.

— Теперь накройте еще куском хлеба и передайте, пожалуйста, сандвич мистеру Фрэнсису.

Эд взял сандвич и принялся за еду.

— Смотрите, чтобы яйцо не потекло,— предупредил негр.— Это вам, мистер Адамс. Остальное мне.

Ник впился зубами в сандвич. Негр сидел против него, рядом с Эдом. Горячее поджаренное сало с яйцом было замечательно вкусно.

— Мистер Адамс здорово проголодался,— сказал негр.

Маленький человечек, имя которого было знакомо Нику, как имя чемпиона по боксу, сидел молча. Он не произнес ни слова после разговора о ноже.

— Разрешите обмакнуть ваш хлеб в сало? — сказал Багс.

«Дома»

— Большое спасибо.

Маленький белый человечек посмотрел на Ника.

— А вам, мистер Эдольф Фрэнсис? — предложил Багс.

Эд не отвечал. Он смотрел на Ника.

— Мистер Фрэнсис! — раздался мягкий голос негра.

Эд не отвечал. Он смотрел на Ника.

— Я вас спрашиваю, мистер Фрэнсис,— мягко повторил негр.

Эд продолжал смотреть на Ника. Кепка у него была надвинута на глаза. Нику стало не по себе.

— Какой черт тебя сюда принес? — раздался резкий вопрос из-под кепки.— Кого ты из себя корчишь? Ты, сопляк несчастный! Приходит, куда его не звали, а попросишь нож, так корчит из себя...

Он не спускал глаз с Ника, лицо у него было белое, а глаз почти не было видно из-под козырька.

— Ты, недоносок! Кто тебя сюда звал?

— Никто.

— Правильно, черт побери, никто не звал. И оставаться никто не просил. Пришел, наговорил гадостей о моем лице, курит мои сигары, пьет мое вино, да еще рассуждает, сопляк! Ты думаешь, тебе это так сойдет?

Ник ничего не ответил. Эд встал.

— Погоди, желторотая чикагская каналья! Я тебе голову проломлю! Понял?

Ник подался назад. Маленький человечек медленно шел на него, тяжело ступая, выставляя вперед левую ногу и потом подтягивая к ней правую.

— Ударь меня! — качнул он головой.— Попробуй только!

— Да я не хочу.

— Тебе это так не сойдет. Ты еще попробуешь моих кулаков, слышишь? Ну, бей первый!

— Бросьте вы,— сказал Ник.

— Ах, ты так, каналья!

Маленький человечек посмотрел на ноги Ника. Когда он опустил глаза, негр, шедший за ним от самого костра, нацелился и ударил его по затылку. Он упал вперед, и Багс уронил на траву кастет, обмотанный тряпкой. Маленький человек лежал, уткнувшись лицом в траву. Негр поднял Эда и отнес к костру. Голова у него свесилась, лицо было страшно, глаза открыты. Багс бережно положил его на землю.

— Принесите, пожалуйста, ведро с водой, мистер Адамс,— сказал он.— Боюсь, что ударил его чересчур сильно.

Негр брызнул ему в лицо водой и осторожно потянул за ухо. Глаза закрылись.

Негр выпрямился.

— Все в порядке,— сказал он.— Беспокоиться нечего. Простите, мистер Адамс.

— Ничего, ничего.

Ник смотрел вниз, на маленького человечка. Он увидел на траве кастет и поднял его. Ручка гнулась, и ему показалось, что он мягкий. Черная кожа на нем была потерта, а тяжелый конец был обмотан носовым платком.

— Ручка из китового уса,— улыбнулся негр.— Таких теперь не делают. Я не знал, сумеете ли вы с ним справиться, и потом, не хотел, чтобы вы ударили его или изуродовали еще больше.

Негр опять улыбнулся.

— Но вы сами его ударили.

— Я знаю, как ударить. Он даже знать не будет. Мне приходится делать это, чтобы успокоить его в такие минуты.

Ник все еще смотрел на маленького человечка, лежавшего с закрытыми глазами в свете костра. Багс подбросил дров в огонь.

— Не бойтесь за него, мистер Адамс. Я вижу его таким не первый раз.

— Отчего он свихнулся? — спросил Ник.

— О, от многого,— ответил негр, стоя у костра.— Не хотите ли чашку кофе, мистер Адамс?

Он протянул Нику чашку и поправил пальто, которое он подложил под голову человека, лежащего без чувств.

— Во-первых, его слишком много били.— Негр потягивал кофе.— Но от этого он только поглупел. Потом за импресарио у него была сестра, и в газетах всегда писали всякое про братьев и сестер, и о том, как она любила брата и как он любил сестру, и они поженились в Нью-Йорке, и из-за этого вышло много неприятностей.

— Я помню это.

— Ну вот. Конечно, они такие же брат с сестрой, как мы с вами, но все равно, многим это не понравилось, и между ними начались ссоры, и однажды она просто уехала и больше не вернулась.

Он допил кофе и вытер губы розовой ладонью.

— Он сразу и сошел с ума. Хотите еще кофе, мистер Адамс?

— Спасибо.

— Я видел ее несколько раз,— продолжал негр.— Она ужасно красивая женщина. Похожа на него как две капли воды. Он был совсем недурен, если бы лицо ему не изуродовали.

Он остановился. Казалось, рассказ на этом кончился.

— Где вы с ним познакомились? — спросил Ник.

— В тюрьме,— сказал негр.— Он стал бросаться на людей, с тех пор как она ушла, и его посадили в тюрьму. А меня — за то, что человека зарезал.

Он улыбнулся и продолжал тихо:

— Он мне сразу понравился, и, когда я вышел, я разыскал его. Ему нравится считать меня сумасшедшим, а мне все равно. Мне нравится быть с ним, и я люблю путешествовать, и воровать для этого не приходится. Мне нравится жить по-джентльменски.

— Что же вы с ним делаете?

— Да ничего. Просто ездим с места на место. У него есть деньги.

— Он, наверно, здорово зарабатывал?

— Еще бы! Хотя он уже все прожил. А может быть, обворовали. Она присылает ему деньги.

Он поправил костер.

— Она замечательная женщина,— сказал он.— Она похожа на него как две капли воды.

Негр оглянулся на маленького человечка, который тяжело дышал. Его светлые волосы свисали на лоб. Изуродованное лицо было по-детски безмятежно.

— Я могу привести его в чувство в любую минуту, мистер Адамс. Не сердитесь, но я думаю, вам лучше уйти. Я не хочу быть невежливым, а увидя вас, он может опять выйти из себя. Терпеть не могу бить его, а это единственный способ его успокоить, когда он разойдется. Мне приходится держать его подальше от людей. Вы не сердитесь, мистер Адамс? Нет, не благодарите меня, мистер Адамс. Мне следовало предупредить вас, но мне показалось, что вы ему очень понравились, и я надеялся, что все обойдется хорошо. До города по полотну всего две мили. Он называется Масселона. Прощайте! Я с удовольствием пригласил бы вас переночевать с нами, но об этом и говорить нечего. Может, возьмете с собой хлеба с салом? Нет? Возьмите все-таки сандвич.

Все это он говорил низким, ровным, вежливым голосом.

— Вот и хорошо. Ну, прощайте, мистер Адамс. Прощайте! Всего вам доброго!

Ник пошел прочь от костра, пересек лужайку и направился к железнодорожным путям. Вступив в темноту, он прислушался. Негр говорил низким, мягким голосом. Ник не различал слов. Потом он услышал, как маленький человечек сказал:

— У меня ужасно болит голова, Багс.

— Ничего, пройдет, мистер Фрэнсис,— утешал голос негра.— Выпейте чашку горячего кофе.

Ник вскарабкался на насыпь и пошел по путям. Он заметил, что держит в руке сандвич с салом, и сунул его в карман. Пока рельсы не повернули за холм, он оглядывался назад и видел отсвет костра у опушки леса.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ник сидел, прислонясь к стене церкви, куда его притащили с улицы, чтобы укрыть от пулеметного огня. Ноги его неестественно торчали. У него был задет позвоночник. Лицо его было потное и грязное. Солнце светило ему прямо в лицо. День был очень жаркий. Ринальди лежал среди разбросанной амуниции ничком у стены, выставив широкую спину. Ник смотрел прямо перед собой блестящими глазами. Розовая стена дома напротив рухнула, отвалившись от крыши, и над улицей повисла исковерканная железная кровать. В тени дома, на груде щебня, лежали два убитых австрийца. Дальше по улице были еще убитые. Бой в городе приближался к концу. Все шло хорошо. Теперь с минуты на минуту можно было ожидать санитаров. Ник осторожно повернул голову и посмотрел на Ринальди. «Senta[1]*, Ринальдо, senta. Оба мы с тобой заключили сепаратный мир». Ринальди неподвижно лежал на солнце и тяжело дышал. «Мы с тобой плохие патриоты». Ник осторожно отвернулся, силясь улыбнуться. Ринальди был безнадежным собеседником.*

[1] Слушай *(итал.)*.

ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Душным вечером в Падуе его вынесли на крышу, откуда он мог смотреть вдаль, поверх городских домов. Высоко в небе летали стрижи. Скоро стемнело, и зажглись прожекторы. Все остальные пошли вниз и взяли с собой бутылки. Он и Люз слышали их голоса внизу на балконе. Люз присела на край кровати. Она была свежая и прохладная в духоте ночи.

Люз уже три месяца несла ночное дежурство. Ей охотно позволяли это. Она сама готовила его к операции; и они придумали забавную шутку насчет подружки и кружки. Когда ему давали наркоз, он старался не потерять власти над собой, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего в приступе нелепой болтливости. Как только ему разрешили передвигаться на костылях, он стал сам разносить термометры раненым, чтобы Люз не нужно было вставать с постели. Раненых было мало, и они знали обо всем. Они все любили Люз. На обратном пути, проходя по коридору, он думал о том, что Люз лежит в его постели.

Когда пришло время возвращаться на фронт, они пошли в Duomo [1] помолиться. Там было тихо и полутемно, и, кроме них, были еще молящиеся. Они хотели пожениться, но времени для оглашения оставалось слишком мало, и потом, у них не было метрических свидетельств. Они чувствовали себя мужем и женой, но им хотелось, чтобы все знали об этом и чтобы это было прочно.

Люз писала ему много писем, которые дошли только после перемирия. Он их получил на фронте, пятнадцать сразу, подо-

[1] Собор *(итал)*.

брал их по числам и прочел все подряд. В них говорилось о госпитальных новостях и о том, как сильно она его любит, и как она жить без него не может, и как ей не хватает его по ночам.

После перемирия они решили, что он поедет на родину и будет искать работу, чтобы они могли пожениться. Люз вернется только тогда, когда он получит хорошую работу и сможет встретить ее в Нью-Йорке. Он не должен пить, и он не будет встречаться ни с кем из своих приятелей и вообще ни с кем в Штатах. Прежде всего — достать работу и пожениться. По дороге из Падуи в Милан они поссорились из-за того, что она не хотела сразу же ехать домой. На миланском вокзале, когда пришло время прощаться, они поцеловались, но ссора еще не была забыта. Ему было досадно, что они так нехорошо простились.

В Генуе он сел на пароход, отходивший в Америку. Люз поехала в Порденоне, где открывался новый госпиталь. Там было сыро и дождливо, и в городе стоял батальон Ардитти. Коротая зиму в этом грязном, дождливом городишке, майор батальона стал ухаживать за Люз, а у нее раньше не было знакомых итальянцев, и в конце концов она написала в Штаты, что их любовь была только детским увлечением. Ей очень грустно, и она знает, что, вероятно, он не поймет ее, но, быть может, когда-нибудь он простит и будет ей благодарен, а теперь она совершенно неожиданно для себя собирается весной выйти замуж. Она по-прежнему любит его, но ей теперь ясно, что это только детская любовь. Она не сомневается, что перед ним большое будущее, и твердо верит в него. Она знает, что все это к лучшему.

Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Люз так и не получила из Чикаго ответа на свое письмо. А он вскоре после того заразился гонореей от продавщицы универсального магазина, с которой катался в такси по Линкольн-парку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: «Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иисусе. Спаси, спаси, спаси меня. Сделай, чтобы меня не убили, и я буду жить, как ты велишь. Я верю в тебя, я всем буду говорить, что только в тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе». Огонь передвинулся дальше по линии. Мы стали исправлять окоп, а наутро взошло солнце, и день был жаркий, и тихий, и радостный, и спокойный. На следующий вечер, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушел наверх, в «Вилла-Росса». И никому никогда не говорил.

ДОМА

Кребс ушел на фронт из методистского колледжа в Канзасе. Есть фотография, на которой он стоит среди студентов-однокурсников, и все они в воротничках совершенно одинакового фасона и высоты. В 1917 году он записался во флот и вернулся в Штаты только после того, как вторая дивизия была отозвана с Рейна летом 1919 года.

Есть фотография, на которой он и еще один капрал сняты где-то на Рейне с двумя немецкими девушками. Мундиры на Кребсе и его приятеле кажутся слишком узкими. Девушки некрасивы. Рейна на фотографии не видно.

К тому времени, когда Кребс вернулся в свой родной город в штате Оклахома, героев уже перестали чествовать. Он вернулся слишком поздно. Всем жителям города, которые побывали на войне, устраивали торжественную встречу. В этом было немало военной истерии. А теперь наступила реакция. Всем как будто казалось, что смешно возвращаться так поздно, через несколько лет после окончания войны.

Сначала Кребсу, побывавшему под Белло, Суассоном, в Шампани, Сен-Мийеле и в Аргоннском лесу, совсем не хотелось разговаривать о войне. Потом у него возникла потребность говорить, но никому уже не хотелось слушать. В городе до того наслушались рассказов о немецких зверствах, что действительные события уже не производили впечатления. Кребс понял, что нужно врать, для того чтобы тебя слушали. И, соврав дважды, почувствовал отвращение к войне и к разговорам о ней. Отвращение ко всему, которое он часто испытывал на фронте, снова овладело им оттого, что ему пришлось врать. То время,

вспоминая о котором он чувствовал внутреннее спокойствие и ясность, то далекое время, когда он делал единственное, что подобает делать мужчине, делал легко и без принуждения, сначала утратило все, что было в нем ценного, а потом и само позабылось.

Врал он безобидно, приписывая себе то, что делали, видели и слышали другие, и выдавая за правду фантастические слухи, ходившие в солдатской среде. Но в бильярдной эти выдумки не имели успеха. Его знакомые, которые слыхали обстоятельные рассказы о немецких женщинах, прикованных к пулеметам в Аргоннском лесу, как патриоты не интересовались неприкованными немецкими пулеметчиками и были равнодушны к его рассказам.

Кребсу стало противно преувеличивать и выдумывать, и когда он встречался с настоящим фронтовиком, то, поговорив с ним несколько минут в курительной на танцевальном вечере, он впадал в привычный тон бывалого солдата среди других солдат: на фронте он, мол, все время чувствовал только одно — непрестанный, тошнотворный страх. Так он потерял и последнее.

Лето шло к концу, и все это время он вставал поздно, ходил в библиотеку менять книги, завтракал дома, читал, сидя на крыльце, пока не надоест, а потом отправлялся в город провести самые жаркие часы в прохладной темноте бильярдной. Он любил играть на бильярде.

По вечерам он упражнялся на кларнете, гулял по городу, читал и ложился спать. Для двух младших сестер он все еще был героем. Мать стала бы подавать ему завтрак в постель, если бы он этого потребовал. Она часто входила к нему, когда он лежал в постели, и просила рассказать ей о войне, но слушала невнимательно. Отец его был неразговорчив.

До того как Кребс ушел на фронт, ему никогда не позволяли брать отцовский автомобиль. Отец его был агент по продаже недвижимости, и ему каждую минуту могла понадобиться машина, чтобы везти клиентов за город для осмотра земельных участков. Машина всегда стояла перед зданием Первого национального банка, где на втором этаже помещалась контора его отца. И теперь, после войны, машина была все та же.

В городе ничего не изменилось, только девочки стали взрослыми девушками. Но они жили в таком сложном мире давно установившейся дружбы и мимолетных ссор, что у Кребса не хватало ни энергии, ни смелости войти в этот мир. Но смотреть на них он любил. Так много было красивых деву-

шек! Почти все они были стриженые. Когда он уезжал, стриженными ходили только маленькие девочки, а из девушек только самые бойкие. Все они носили джемперы и блузки с круглыми воротниками. Такова была мода. Он любил смотреть с крыльца, как они прохаживаются по другой стороне улицы. Он любил смотреть, как они гуляют в тени деревьев. Ему нравились круглые воротнички, выпущенные из-под джемперов. Ему нравились шелковые чулки и туфли без каблуков. Нравились стриженые волосы, нравилась их походка.

Когда он видел их в центре города, они не казались ему такими привлекательными. В греческой кондитерской они просто не нравились ему. В сущности, он в них не нуждался. Они были слишком сложны для него. Было тут и другое. Он смутно ощущал потребность в женщине. Ему нужна была женщина, но лень было ее добиваться. Он был не прочь иметь женщину, но не хотел долго добиваться ее. Не хотел никаких уловок и ухищрений. Он не хотел тратить время на ухаживание. Не хотел больше врать. Дело того не стоило.

Он не хотел себя связывать. Он больше не хотел себя связывать. Он хотел жить, не связывая себя ничем. Да и не так уж была ему нужна женщина. Армия приучила его жить без этого. Было принято делать вид, что не можешь обойтись без женщины. Почти все так говорили. Но это была неправда. Женщина была вовсе не нужна. Это и было самое смешное. Сначала человек хвастается тем, что женщины для него ничего не значат, что он никогда о них не думает, что они его не волнуют. Потом он хвастается, что не может обойтись без женщин, что он дня не может без них прожить, что он не может уснуть без женщины.

Все это вранье. И то и другое вранье. Женщина вовсе не нужна, пока не начнешь о ней думать. Он научился этому в армии. А тогда ее находишь, рано или поздно. Когда приходит время, женщина всегда найдется. И заботиться не надо. Рано или поздно оно само придет. Он научился этому в армии.

Теперь он был бы не прочь иметь женщину, но только так, чтобы она пришла к нему сама и чтоб не нужно было разговаривать. Но здесь это было слишком сложно. Он знал, что не сможет проделывать все, что полагается. Дело того не стоило. Вот чем были хороши француженки и немки. Никаких этих разговоров. Много разговаривать было трудно, да оно и ни к чему. Все было очень просто и не мешало им оставаться друзьями. Он думал о Франции, а потом начал думать о Германии. В общем, Германия ему понравилась больше. Ему не

хотелось уезжать из Германии. Не хотелось возвращаться домой. И все-таки он вернулся. И сидел на парадном крыльце.

Ему нравились девушки, которые прохаживались по другой стороне улицы. По внешности они нравились ему гораздо больше, чем француженки и немки,— но мир, в котором они жили, был не тот мир, в котором жил он. Ему хотелось бы, чтоб с ним была одна из них. Но дело того не стоило. Они были так привлекательны. Ему нравился этот тип. Он волновал его. Но ему не хотелось тратить время на разговоры. Не так уж была ему нужна женщина. Дело того не стоило. Во всяком случае — не теперь, когда жизнь только начинала налаживаться.

Он сидел на ступеньках, читая книгу. Это была история войны, и он читал обо всех боях, в которых ему пришлось участвовать. До сих пор ему не попадалось книги интереснее этой. Он жалел, что в ней мало карт, и предвкушал то удовольствие, с каким прочтет все действительно хорошие книги о войне, когда они будут изданы с хорошими, подробными картами. Только теперь он узнавал о войне по-настоящему. Оказывается, он был хорошим солдатом. Это совсем другое дело.

Однажды утром, после того как он пробыл дома около месяца, мать вошла к нему в спальню и присела на кровать. Разгладив складки на переднике, она сказала:

— Вчера вечером я говорила с отцом, Гарольд. Он разрешил тебе брать машину по вечерам.

— Да? — сказал Кребс, еще не совсем проснувшись.— Брать машину?

— Отец давно предлагает, чтоб ты брал машину по вечерам, когда захочешь, но мы только вчера об этом уговорились.

— Верно, это ты его заставила,— сказал Кребс.

— Нет. Отец сам об этом заговорил.

— Да? Как же! Верно, это ты его заставила.

Кребс сел в постели.

— Ты сойдешь вниз к завтраку, Гарольд? — спросила мать.

— Как только оденусь,— ответил Кребс.

Мать вышла из комнаты, и ему было слышно, как что-то жарилось внизу, пока он умывался, брился и одевался, готовясь сойти в столовую. Пока он завтракал, сестра принесла почту.

— Здравствуй, Гарри! — сказала она.— Соня ты этакий! Ты бы уж совсем не вставал.

Кребс посмотрел на сестру. Он ее любил. Это была его любимица.

— Газеты есть? — спросил он.

Она протянула ему «Канзас-Сити стар», и, разорвав коричневую бандероль, он отыскал страничку спорта. Развернув газету и прислонив ее к кувшину с водой, он придвинул к ней тарелку с кашей, чтобы можно было читать во время еды.

— Гарольд,— мать стояла в дверях кухни,— Гарольд, не изомни, пожалуйста, газету. Отец не станет читать измятую.

— Я не изомну,— сказал Кребс.

Сестра, усевшись за стол, смотрела, как он читает.

— Сегодня в школе мы играем в бейсбол,— сказала она.— Я буду подавать.

— Это хорошо,— сказал Кребс.— Ну, как там у вас в команде?

— Я подаю лучше многих мальчиков. Я им показала все, чему ты меня учил. Другие девочки играют неважно.

— Да? — сказал Кребс.

— Я всем говорю, что ты — мой поклонник. Ведь ты мой поклонник, Гарри?

— Ну, еще бы.

— Разве брат не может ухаживать за сестрой, только потому что он брат?

— Не знаю.

— Как же ты не знаешь? Ведь ты мог бы ухаживать за мной, если бы я была взрослая?

— Ну да. Я и теперь твой поклонник.

— Правда, Гарри?

— Ну да.

— Ты меня любишь?

— Угу.

— И всегда будешь любить?

— Ну да.

— Ты пойдешь смотреть, как я играю?

— Может быть.

— Нет, Гарри, ты меня не любишь. Если бы ты меня любил, ты захотел бы посмотреть, как я играю.

Из кухни пришла мать Кребса. Она несла тарелку с яичницей и поджаренным салом и другую тарелку с гречневыми блинчиками.

— Поди к себе, Эллен,— сказала она.— Мне нужно поговорить с Гарольдом.

Она поставила перед Гарольдом яичницу с салом и принесла кувшин с кленовой патокой к блинчикам. Потом села за стол против Кребса.

— Может быть, ты оставишь газету на минутку, Гарольд? — сказала она.

Кребс положил газету на стол и разгладил ее.

— Ты еще не решил, что будешь делать, Гарольд? — спросила мать, снимая очки.

— Нет еще,— сказал Кребс.

— Тебе не кажется, что пора об этом подумать?

Мать не хотела его уколоть. Она казалась озабоченной.

— Я еще не думал,— сказал Кребс.

— Бог всем велит работать,— сказала мать.— В царстве божием не должно быть лентяев.

— Я не в царстве божием,— ответил Кребс.

— Все мы в царстве божием.

Как всегда, Кребс чувствовал себя неловко и злился.

— Я так беспокоюсь за тебя, Гарольд,— продолжала мать.— Я знаю, каким ты подвергался искушениям. Я знаю, что мужчины слабы. Я еще не забыла, что рассказывал твой покойный дедушка, а мой отец, о Гражданской войне, и всегда молилась за тебя. Я и сейчас целыми днями молюсь за тебя.

Кребс смотрел, как застывает свиное сало у него на тарелке.

— Отец тоже беспокоится,— продолжала она.— Ему кажется, что у тебя нет честолюбия, нет определенной цели в жизни. Чарли Симмонс тебе ровесник, а уже на хорошем месте и собирается жениться. Все молодые люди устраиваются, все хотят чего-нибудь добиться. Ты сам видишь, что такие, как Чарли Симмонс, уже выбрали себе путь, и общество может гордиться ими.

Кребс молчал.

— Не гляди так, Гарольд,— сказала мать.— Ты знаешь, мы любим тебя, и я для твоей же пользы хочу поговорить с тобой. Отец не хочет стеснять твоей свободы. Он разрешает тебе брать машину. Если тебе захочется покатать какую-нибудь девушку из хорошей семьи, мы будем только рады. Тебе следует развлечься. Но нужно же искать работу, Гарольд. Отцу все равно, за какое бы дело ты ни взялся. Всякий труд почтенен, говорит он. Но с чего-нибудь надо же начинать. Он просил меня поговорить с тобой сегодня. Может быть, ты зашел бы к нему в контору?

— Это все? — спросил Кребс.

— Да. Разве ты не любишь свою мать, милый мой мальчик?

— Да, не люблю,— сказал Кребс.

Мать смотрела на него через стол. Ее глаза блестели. На них навернулись слезы.

— Я никого не люблю,— сказал Кребс.

Безнадежное дело. Он не мог растолковать ей, не мог заставить ее понять. Глупо было говорить так. Он только огорчил мать. Он подошел к ней и взял ее за руку. Она плакала, закрыв лицо руками.

— Я не то хотел сказать. Я просто был раздражен,— сказал Кребс.— Я не хотел сказать, что я не люблю тебя...

Мать все плакала. Кребс обнял ее за плечи.

— Ты не веришь мне, мама?

Мать покачала головой.

— Ну, прошу тебя, мама. Прошу тебя, поверь мне.

— Хорошо,— сказала мать, всхлипывая, и взглянула на него.— Я верю тебе, Гарольд.

Кребс поцеловал ее в голову. Она прижалась к нему лицом.

— Я тебе мать,— сказала она.— Я носила тебя на руках, когда ты был совсем крошкой.

Кребс почувствовал тошноту и смутное отвращение.

— Я знаю, мамочка,— сказал он.— Я постараюсь быть тебе хорошим сыном.

— Может быть, ты станешь на колени и помолишься вместе со мной, Гарольд? — спросила мать.

Они стали на колени перед обеденным столом, и мать Кребса прочла молитву.

— А теперь помолись ты, Гарольд,— сказала она.

— Не могу,— ответил Кребс.

— Постарайся, Гарольд.

— Не могу.

— Хочешь, я помолюсь за тебя?

— Хорошо.

Мать помолилась за него, а потом они встали, и Кребс поцеловал мать и ушел из дому. Он так старался не осложнять свою жизнь. Однако все это нисколько его не тронуло. Ему стало жаль матери, и поэтому он солгал. Он поедет в Канзас-Сити, найдет себе работу, и тогда она успокоится. Перед отъездом придется, может быть, выдержать еще одну сцену. К отцу в контору он не пойдет. Избавится хоть от этого. Ему хочется, чтобы жизнь шла спокойно. Без этого просто нельзя. Во всяком случае, теперь с этим покончено. Он пойдет на школьный двор смотреть, как Эллен играет в бейсбол.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В два часа утра двое венгров забрались в табачную лавку на углу Пятнадцатой улицы и Грэнд-авеню. Древитс и Бойл приехали туда на форде из полицейского участка на Пятнадцатой улице. Грузовик венгров как раз выезжал задним ходом из тупичка. Бойл застрелил сначала сидевшего в кабине, потом — того, который был в кузове. Древитс испугался, когда увидел, что оба они убиты наповал.

— Стой, Джимми,— сказал он.— Что же ты наделал! Знаешь, какой теперь тарарам поднимется!

— Ворье они или не ворье? — сказал Бойл.— Итальяшки они или не итальяшки? Кто будет поднимать из-за них тарарам?

— Ну, может, на этот раз сойдет,— сказал Древитс,— но почем ты знал, что они итальяшки, когда стрелял в них?

— В итальяшек-то? — сказал Бойл.— Да я итальяшек за квартал вижу.

РЕВОЛЮЦИОНЕР

В 1919 году он разъезжал по железным дорогам Италии с квадратным кусочком клеенки, выданным партийной организацией, на котором было написано химическим карандашом, что предъявитель сего сильно потерпел при белых в Будапеште и что товарищей просят оказывать ему всяческое содействие. Этот кусочек клеенки служил ему вместо железнодорожного билета. Он был очень застенчивый и совсем еще юный, и проводники передавали его от одной бригады к другой. Денег у него не было, и его кормили в станционных буфетах позади стойки.

Италия ему очень полюбилась. Какая прекрасная страна, говорил он. Люди здесь такие приветливые. Он побывал во многих городах, много ходил по улицам, посещал картинные галереи. Он покупал репродукции с картин Джотто, Мазаччо и Пьеро делла Франческа и заворачивал их в старый номер «Аванти». Мантенья ему не понравился.

В Болонье он явился в местную организацию, и я взял его с собой в Романью, где мне надо было встретиться с одним человеком. Мы хорошо провели время в дороге. Стояли первые дни сентября, и все вокруг радовало глаз. Он был мадьяр — очень милый, очень застенчивый юноша. Хортисты обошлись с ним жестоко. Кое о чем он порассказал мне. Несмотря на то что произошло в Венгрии, он безоговорочно верил в мировую революцию.

— А как развивается движение у вас, в Италии? — спросил он.

— Из рук вон плохо,— ответил я.

— Дальше дела пойдут лучше,— сказал он.— У вас для этого есть все условия. Италия — единственная страна, в которой никто не сомневается. С нее дальше все и пойдет.

Я промолчал.

В Болонье он простился с нами перед отъездом в Милан, из Милана поехал в Аосту, а оттуда должен был идти пешком через перевал в Швейцарию. Я заговорил с ним о картинах Мантеньи в Милане. Нет, застенчиво сказал он, Мантенья ему не нравится. Я написал на клочке бумаги, где его покормят в Милане, и дал адреса товарищей. Он горячо благодарил меня, но чувствовалось, что мысли его уже далеко — на перевале. Ему хотелось совершить переход, пока погода не испортилась. Он любил горы осенью. В Сионе швейцарцы посадили его в тюрьму, и это было последнее, что я о нем слышал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Первому матадору бык проткнул правую руку, и толпа гиканьем прогнала его с арены. Второй матадор поскользнулся, и бык пропорол ему живот, и он схватился одной рукой за рог, а другой зажимал рану, и бык грохнул его о барьер, и он выпустил рог и упал, а потом поднялся, шатаясь, как пьяный, и вырывался от людей, уносивших его, и кричал, чтобы ему дали шпагу, но потерял сознание. Вышел третий, совсем еще мальчик, и ему пришлось убивать пять быков, потому что больше трех матадоров не полагается, и перед последним быком он уже так устал, что никак не мог направить шпагу. Он едва двигал рукой. Он нацеливался пять раз, и толпа молчала, потому что бык был хороший и она ждала, кто кого, и наконец нанес удар. Потом он сел на песок, и его стошнило, и его прикрыли плащом, а толпа ревела и швыряла на арену все, что попадалось под руку.

МИСТЕР И МИССИС ЭЛЛИОТ

Мистер и миссис Эллиот очень старались иметь ребенка. Они старались, насколько у миссис Эллиот хватало сил. Старались в Бостоне, когда поженились, и на пароходе, во время переезда в Европу. На пароходе они старались не очень часто, потому что миссис Эллиот совсем разболелась. Ее мутило от качки, а когда ее мутило, то мутило так, как мутит всех южанок, то есть уроженок южной части Соединенных Штатов. Как все южанки, миссис Эллиот очень быстро расклеивалась от морской болезни, оттого, что приходилось путешествовать ночью и слишком рано вставать по утрам. Многие пассажиры на пароходе были уверены, что она мать Эллиота. Другие, знавшие, что это муж и жена, думали, что она беременна. На самом деле ей просто было сорок лет. Ее возраст сразу дал себя знать, когда она начала путешествовать.

Она казалась много моложе, вернее — казалась женщиной без возраста, когда Эллиот женился на ней, после того как несколько недель за ней ухаживал, после того как долгое время ходил в ее кафе, до того как однажды вечером поцеловал ее.

Перед женитьбой Хьюберт Эллиот прошел курс юридических наук в Гарвардском университете и был оставлен при кафедре. Он был поэтом и имел около десяти тысяч долларов годового дохода. Он писал очень длинные стихотворения и очень быстро. Ему было двадцать пять лет, и он ни разу не спал с женщиной до того, как женился на миссис Эллиот. Он хотел остаться чистым, чтобы принести своей жене ту же душевную и телесную чистоту, какую ожидал найти в ней. Про себя он называл это — вести нравственную жизнь. Он несколь-

ко раз был влюблен до того, как поцеловал миссис Эллиот, и рано или поздно сообщал каждой девушке, что до сих пор хранит целомудрие. После этого почти все они переставали им интересоваться. Его поражало и прямо-таки приводило в ужас, как это девушки решались на помолвку и даже на брак с мужчиной, зная, какому разврату они предавались до женитьбы. Однажды он попробовал отговорить знакомую девушку от брака с человеком, который, как он знал почти наверняка, вел распутный образ жизни в студенческие годы, и это привело к очень неприятному инциденту.

Миссис Эллиот звали Корнелия. Она захотела, чтобы он называл ее Калютина, как ее прозвали на Юге, в семье. Его мать расплакалась, когда он после свадьбы привез Корнелию к ней в гости, но, узнав, что они будут жить за границей, сразу повеселела.

Когда он сообщил Корнелии, что оставался невинным в ожидании ее, она сказала: «Мой милый, дорогой мальчик»,— и обняла его крепче обычного. Корнелия тоже была невинна. «Поцелуй меня так еще раз»,— сказала она.

Хьюберт объяснил ей, что об этом способе целоваться ему рассказал один приятель. Он был в восторге от своего открытия, и они совершенствовали его, насколько было возможно. Иногда, после того как они долго целовались, Корнелия просила его еще раз повторить ей, что он действительно оставался невинным в ожидании ее. Это признание неизменно придавало ей сил.

Сначала Хьюберту не приходило в голову жениться на Корнелии. Он никогда не думал о ней как о женщине. Они были просто друзьями; а потом как-то вечером они танцевали под граммофон в маленькой комнате позади кафе, пока за кассой сидела ее подруга, и она посмотрела ему в глаза, и он поцеловал ее. Он так и не мог потом припомнить, когда именно было решено, что они поженятся. Но они поженились.

Ночь после свадьбы они провели в Бостоне, в отеле. Оба ожидали большего, но в конце концов Корнелия уснула. Хьюберт не мог уснуть и несколько раз вставал и ходил взад и вперед по коридору отеля в новом егерском халате, который он купил для свадебного путешествия. Он смотрел на бесконечные пары ботинок — маленьких туфель и больших штиблет,— выставленных за двери номеров. От этого сердце у него забилось, и он поспешил к себе в номер, но Корнелия спала. Ему не захотелось будить ее, и скоро все снова пришло в порядок и он мирно заснул.

На следующий день они были с визитом у его матери, а еще через день отплыли в Европу. Теперь они имели возможность подумать о ребенке, но Корнелия не особенно часто была расположена к этому, хотя они желали ребенка больше всего на свете. Они высадились в Шербуре и приехали в Париж. В Париже они тоже старались иметь ребенка. Потом они решили поехать в Дижон, где открылся летний университет и куда поехали многие из тех, кто был с ними на пароходе. В Дижоне, как выяснилось, нечего было делать. Впрочем, Хьюберт писал очень много стихов, а Корнелия печатала их на машинке. Все стихи были очень длинные. Он очень строго относился к опечаткам и заставлял ее переписывать заново целую страницу, если на ней была хоть одна опечатка. Она часто плакала, и до отъезда из Дижона они несколько раз старались иметь ребенка.

Они вернулись в Париж, и многие из знакомых по пароходу тоже вернулись туда. Дижон им надоел, к тому же они теперь получили возможность рассказывать, что, окончив курс в Гарвардском, или в Колумбийском, или в Уобашском университете, они слушали лекции в Дижоне, департамент Кот-д'Ор. Многие из них предпочли бы поехать в Лангедок, Монпелье или Перпеньян, если только там есть университеты. Но все это слишком далеко. Дижон всего в четырех с половиной часах езды от Парижа, и в поезде есть вагон-ресторан.

Так и случилось, что все они несколько дней ходили в кафе «Купол», избегая показываться в «Ротонде» напротив, потому что там всегда полно иностранцев, а потом Эллиоты, по объявлению в «Нью-Йорк геральд», сняли château[1] в Турени. Эллиот успел приобрести много друзей, восхищавшихся его стихами, а миссис Эллиот уговорила его выписать из Бостона ее подругу, которая работала с нею в кафе. С приездом подруги миссис Эллиот заметно повеселела, и они не раз всплакнули вдвоем. Подруга была на несколько лет старше Корнелии и называла ее «крошка». Она тоже была южанка родом, из очень старинной семьи.

Они трое и еще несколько друзей Эллиота, называвших его Хьюби, поехали вместе в туреньский château. Турень оказалась плоской, жаркой равниной, очень напоминавшей Канзас. У Эллиота к этому времени накопилось стихов почти на целый томик. Он собирался выпустить его в Бостоне и уже послал издателю чек и заключил с ним договор.

---

[1] Замок *(франц.)*.

Скоро друзья один за другим потянулись в Париж. Турень не оправдала надежд, которые на нее возлагали. Через некоторое время все друзья уехали в приморский курорт близ Трувиля с одним молодым поэтом, богатым и холостым. Там все они были очень счастливы.

Эллиот остался в туреньском château, потому что он снял его на все лето. Они с миссис Эллиот очень старались иметь ребенка, когда спали в большой жаркой спальне на большой жесткой кровати. Миссис Эллиот училась писать на машинке по слепой системе, и оказалось, что хотя писать так быстрее, но опечаток получается больше. Почти все рукописи теперь переписывала подруга. Она работала очень аккуратно и быстро, и это занятие, видимо, доставляло ей удовольствие.

Эллиот стал пить много белого вина и перебрался в отдельную спальню. По ночам он писал стихи, и утром вид у него бывал утомленный. Миссис Эллиот и ее подруга теперь спали вместе на большой средневековой кровати. Они всласть поплакали вдвоем. Вечером они все вместе обедали в саду под платаном; дул горячий вечерний ветер, Эллиот пил белое вино, миссис Эллиот и подруга разговаривали, и все они были вполне счастливы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Белого коня хлестали по ногам, пока он не поднялся на колени. Пикадор расправил стремена, подтянул подпругу и вскочил в седло. Внутренности коня висели голубым клубком и болтались взад и вперед, когда он пустился галопом, подгоняемый моно, которые хлестали его сзади прутьями по ногам. Судорожным галопом он проскакал вдоль барьера. Потом сразу остановился, и один из моно взял его под уздцы и повел вперед. Пикадор вонзил шпоры, пригнулся и погрозил быку пикой. Кровь била струей из раны между передними ногами коня. Он дрожал и шатался. Бык никак не мог решить, стоит ли ему нападать.

КОШКА ПОД ДОЖДЕМ

В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже, из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем. Шел дождь. Капли дождя падали с пальмовых листьев. На посыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь.

Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли.

— Я пойду вниз и принесу киску,— сказала американка.

— Давай я пойду,— отозвался с кровати ее муж.

— Нет, я сама. Бедная киска! Прячется от дождя под столом.

Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки.

— Смотри не промокни,— сказал он.

Американка спустилась по лестнице, и, когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля встал и поклонился ей. Его конторка в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик.

— Il piove [1],— сказала американка. Ей нравился хозяин отеля.

— Si, si, signora, brutto tempo. Сегодня очень плохая погода.

Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки.

Думая о том, что он ей нравится, она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил еще сильнее. По пустой площади, направляясь в кафе, шел мужчина в резиновом пальто. Кошка должна быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом. Когда она стояла на пороге, над ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату.

— Чтобы вы не промокли,— улыбаясь, сказала она по-итальянски. Конечно, это хозяин послал ее.

Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула на нее.

— Ha perduta qualque cosa, signora? [2]

— Здесь была кошка,— сказала молодая американка.

— Кошка?

— Si, il gatto [3].

— Кошка? — Служанка засмеялась.— Кошка под дождем?

— Да,— сказала она,— здесь, под столиком.— И потом: — А мне так хотелось ее, так хотелось киску...

Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным.

---

[1] Дождь идет *(итал.)*.

[2] Вы что-нибудь потеряли, синьора? *(итал.)*

[3] Да, кошка *(итал.)*.

— Пойдемте, синьора,— сказала она,— лучше вернемся, Вы промокнете.

— Ну что же, пойдем,— сказала американка.

Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, padrone[1] поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии padrone она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Она поднялась по лестнице. Открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал.

— Ну, принесла кошку? — спросил он, опуская книгу.

— Ее уже нет.

— Куда же она девалась? — сказал он, на секунду отрываясь от книги.

Она села на край кровати.

— Мне так хотелось ее,— сказала она.— Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киске под дождем.

Джордж уже снова читал.

Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею.

— Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы? — спросила она, снова глядя на свой профиль.

Джордж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко остриженными, как у мальчика, волосами.

— Мне нравится так, как сейчас.

— Мне надоело,— сказала она.— Мне так надоело быть похожей на мальчика.

Джордж переменил позу. С тех пор как она заговорила, он не сводил с нее глаз.

— Ты сегодня очень хорошенькая,— сказал он.

Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Становилось темно.

— Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать,— сказала она.— Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу.

---

[1] Хозяин *(итал.)*.

— Мм,— сказал Джордж с кровати.

— И хочу есть за своим столом, и чтоб были свои ножи и вилки, и хочу, чтоб горели свечи. И хочу, чтоб была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье...

— Замолчи. Возьми почитай книжку,— сказал Джордж. Он уже снова читал.

Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь.

— А все-таки я хочу кошку,— сказала она.— Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы и чтобы было весело, так хоть кошку-то можно?

Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно, на площадь, где зажигались огни.

В дверь постучали.

— Avanti [1],— сказал Джордж. Он поднял глаза от книги.

В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках.

— Простите,— сказала она.— Padrone посылает это синьоре.

---

[1] Войдите *(итал.)*.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Толпа кричала не переставая и со свистом и гиканьем бросала на арену корки хлеба, фляги, подушки. В конце концов бык устал от стольких неточных ударов, согнул колени и лег на песок, и один из куадрильи наклонился над ним и убил его ударом пунтильо. Толпа бросилась через барьер и окружила матадора, и два человека схватили его и держали, и кто-то отрезал ему косичку и размахивал ею, а потом один из мальчишек схватил ее и убежал. Вечером я видел матадора в кафе. Он был маленького роста, с темным лицом, и он был совершенно пьян. Он говорил: «В конце концов со всяким может случиться. Ведь я не какая-нибудь знаменитость».

НЕ В СЕЗОН

На четыре лиры, которые Педуцци заработал, копая землю в саду отеля, он напился. Он увидел американца, проходившего по аллее, и с таинственным видом заговорил с ним. Американец ответил, что он еще не завтракал, но охотно пойдет с ним, как только завтрак кончится. Минут через сорок, через час.

В кантине у моста Педуцци дали в долг еще три стакана граппы: ведь он так уверенно и так многозначительно говорил о своем предстоящем заработке. Было ветрено, и солнце показывалось из-за туч, а потом опять пряталось, и накрапывал дождь. Чудесный день для ловли форели.

Американец вышел из отеля и спросил Педуцци, как быть с удочками. Надо ли, чтобы жена с удочками шла отдельно?

— Да,— ответил Педуцци,— пусть синьора идет отдельно.

Американец вернулся в отель и поговорил с женой. Он и Педуцци вышли на дорогу. У американца через плечо висела сумка. Педуцци увидел американку в альпийских ботинках и синем берете. На вид она была так же молода, как и муж. Она пошла за ними, неся в руках разобранные удочки. Педуцци не нравилось, что она идет так далеко позади.

— Синьорина, подойдите к нам,— сказал он, подмигивая молодому человеку,— пойдемте все вместе. Синьора, подойдите сюда. Давайте пойдем вместе.

Педуцци хотелось, чтобы они все вместе прошли по улицам Кортино.

Американка шла позади с недовольным видом.

— Синьорина,— нежно позвал ее Педуцци,— подите сюда, к нам.

Муж огляпулся и что-то крикнул ей. Она прибавила шагу и поравнялась с ними.

Со всеми прохожими, попадавшимися им на главной улице городка, Педуцци усердно раскланивался, снимая шляпу.

— Buon dí Arturo! [1]

Банковский служащий уставился на него из дверей кафе. Кучка людей, стоявших около магазинов, глазела на троих проходивших. Рабочие с постройки нового отеля, в блузах, измазанных известкой, разглядывали их. Никто не заговаривал с ними и не кланялся, кроме нищего, худого старика с заплеванной бородой, который приподнял шляпу, когда они поравнялись с ним.

Педуцци остановился около магазина, где в окне стояло много бутылок, и достал из бокового кармана своей старой военной шинели пустую бутылку из-под граппы.

— Чуточку винца, немного марсалы для синьоры, самую малость винца.

Он размахивал бутылкой. Вот выдался денек!

— Марсала. Вы любите марсалу, синьорина? Немного марсалы.

У американки был недовольный вид.

— Очень нужно было тебе с ним связываться,— сказала она мужу.— Я не понимаю ни одного слова. Он же пьян.

Молодой человек делал вид, что не слышит Педуцци, а в то же время думал: какого черта далась ему эта марсала? Это ведь любимое вино Манси Бирболи.

— Geld [2],— произнес в конце концов Педуцци, хватая американца за рукав.

Он улыбнулся, не смея быть настойчивым, но желая заставить американца действовать.

Молодой человек вынул бумажник из кармана и протянул ему десять лир. Педуцци поднялся по ступенькам в лавку, где на вывеске было написано: «Продажа местных и заграничных вин». Лавка была заперта.

— Закрыта до двух часов,— неодобрительно сказал какой-то прохожий.

Педуцци спустился по ступенькам.

---

[1] Добрый день, Артур! *(итал.)*

[2] Деньги *(нем.)*.

— Не беда,— сказал он.— Достанем в «Конкордии».

Они все рядом пошли по дороге, направляясь к «Конкордии». На крыльце «Конкордии», где были свалены заржавленные санки-бобсли, молодой человек спросил у него:

— Was wollen sie? [1]

Педуцци протянул ему бумажку в десять лир, сложенную в несколько раз.

— Ничего,— сказал он.— Так, чего-нибудь.

Он растерялся.

— Может, марсалу. Я не знаю. Марсалы бы...

Дверь «Конкордии» захлопнулась за американцем и его женой.

— Три рюмки марсалы,— сказал американец продавщице, стоявшей за стойкой.

— Две, хотите вы сказать? — спросила девушка.

— Нет,— ответил американец,— три: одна для vecchio [2].

— О,— сказала она,— для vecchio? — и засмеялась, доставая бутылку. Потом налила мутную жидкость в три рюмки.

Американка сидела у стены, на которой висели газеты. Муж поставил перед ней рюмку.

— Выпей немножко. Может быть, тебе будет лучше.

Она молча смотрела на рюмку. Американец вышел из комнаты с рюмкой для Педуцци, но не нашел его.

— Не знаю, где он,— сказал он, входя обратно в комнату и держа рюмку в руке.

— Ему бы четверть,— сказала жена.

— А сколько стоит четверть литра? — спросил американец продавщицу.

— Белого? Лира.

— Нет, марсалы. И это туда же,— сказал он, протягивая ей рюмку, которая предназначалась для Педуцци, и свою.

Девушка стала лить вино через воронку.

— А теперь нужно бутылку, чтобы захватить вино с собой,— сказал американец.

Продавщица пошла искать бутылку. Все это ее очень забавляло.

— Мне очень жаль, что у тебя испортилось настроение, Тайни,— сказал американец.— Очень жалею, что поднял этот разговор за завтраком. В сущности, мы говорили об одном и том же, но с разных точек зрения.

---

[1] Что угодно? *(нем.)*

[2] Старик *(итал.)*.

«Мой старик»

— Какая разница? — сказала она.— В конце концов мне безразлично.

— Тебе не холодно? — спросил он.— Почему ты не надела второй свитер?

— На мне уже и так три.

В комнату вошла продавщица с узкой темной бутылкой в руках и вылила туда марсалу. Американец заплатил еще пять лир. Они вышли. Продавщицу все это забавляло. Педуцци прохаживался взад и вперед в конце улицы, где было не так ветрено, держа в руках удочки.

— Пойдем,— сказал он.— Я понесу удочки. Что за беда, если кто-нибудь нас увидит? Нас никто не тронет. В Кортино меня никто не тронет. Я всех знаю в municipio [1]. Я бывший солдат. Все в городе любят меня. Я торгую лягушками. Ну что же, что запрещено удить рыбу? Наплевать! Сущая ерунда. Не волнуйтесь. Крупная форель, говорю я вам, и сколько угодно.

Они спустились с холма к реке. Город остался позади. Солнце спряталось, и накрапывал дождь.

— Вот там,— сказал Педуцци, показывая на девушку, стоявшую на пороге дома, мимо которого они проходили,— meine Tochter [2].

— Какой доктор? — сказала американка.— Разве он хочет показать нам своего доктора?

— Он говорит Tochter,— сказал американец.

Девушка, на которую показывал Педуцци, вошла в дом.

Они спустились с холма через поле, потом повернули и пошли вдоль берега реки. Педуцци говорил быстро, многозначительно подмигивая. Они шли рядом, и американка чувствовала, как от Педуцци пахнет вином. Один раз он даже толкнул ее локтем. Он говорил то на диалекте Ампеццо, то на немецко-тирольском диалекте. Он никак не мог сообразить, какой же язык его спутники лучше понимают, и поэтому говорил на обоих. Но когда американец произнес «ja, ja» [3], Педуцци решил окончательно перейти на тирольский. Молодые люди ничего не понимали.

— Когда мы проходили по городу, все нас видели. За нами, наверное, следит речная охрана. Очень жалею, что мы в это дело впутались. Да еще этот старый дурак вдребезги пьян.

---

[1] Городской совет *(итал.)*.
[2] Моя дочка *(нем.)*.
[3] Да, да *(нем.)*.

— А у тебя, конечно, не хватает духу вернуться назад,— сказала американка.— Тебе непременно нужно идти с ним дальше.

— А ты бы вернулась? Возвращайся домой, Тайни.

— Я останусь с тобой. Уж если садиться в тюрьму, так, по крайней мере, вместе.

Они круто повернули к воде, и Педуцци остановился, отчаянно жестикулируя и указывая на реку. Шинель его развевалась по ветру. Вода была грязная и мутная. Направо на берегу лежала кучка мусора.

— Да говорите по-итальянски,— сказал американец.

— Una mezz' ora. Piu d' una mezz' ora [1].

— Он говорит, что нам еще, по крайней мере, полчаса ходу. Возвращайся лучше домой, Тайни. Ты и так уже озябла на этом ветру. Погода мерзкая, и все равно ничего интересного не предвидится.

— Хорошо,— ответила американка и стала взбираться на поросший травой берег.

Педуцци был внизу, у реки, и заметил, что американка ушла, только когда она была уже на гребне холма.

— Фрау! — закричал он.— Фрейлейн! Фрау, что же вы уходите?

Американка скрылась за холмом.

— Ушла,— сказал Педуцци. Он был возмущен.

Он снял резинку, которой были связаны удочки, и начал собирать их.

— Но ведь вы же сказали, что еще полчаса ходу.

— Да, да. Там очень хорошо. Но здесь тоже хорошо.

— Правда?

— Ну, конечно. И здесь хорошо, и там хорошо.

Американец сел на берегу, собрал удочку, приладил катушку и протянул леску через кольцо. Ему было не по себе, и он боялся, что каждую минуту может нагрянуть речная охрана или на берегу появится толпа местных жителей. Он видел городские дома и кампаниллу над гребнем холма. Он открыл свой ящик с поводками. Педуцци наклонился и засунул туда свой плоский заскорузлый большой палец и указательный и смешал влажные поводки.

— А грузило есть у вас?

— Нет.

— У вас должно быть грузило.— Педуцци был взволно-

---

[1] Полчаса. Больше получаса *(итал.)*.

ван.— Нельзя без piombo [1], Piombo. Немного piombo. Вот тут. Как раз над крючком, а то наживка будет плавать по воде. Обязательно надо piombo. Хоть маленький кусочек.

— А у вас есть?

— Нет.

Он стал лихорадочно шарить в карманах, роясь в грязной подкладке своей шинели.

— Ничего нет. Нельзя без piombo.

— Ну, так, значит, удить нельзя,— сказал американец и разобрал удочку, наматывая обратно леску через кольцо.— Мы достанем piombo и будем удить завтра.

— Ну, послушайте, piombo, у вас должно быть piombo. Иначе леска будет плавать по воде.

На глазах Педуцци рушились все надежды.

— Piombo должно быть у вас. Нам хватит кусочка. Удочки у вас совсем новенькие, а вот грузила нет. Я бы принес. А вы сказали, что все у вас есть.

Американец смотрел на реку, мутную от тающего снега.

— Ну что же,— сказал он,— мы раздобудем немного piombo и будем удить завтра.

— Утром? В котором часу?

— В семь.

Выглянуло солнце. Стало тепло и приятно. Американец почувствовал облегчение. Он уже больше не нарушает закона. Усевшись на берегу, он достал из кармана бутылку с марсалой и передал ее Педуцци. Педуцци передал ее обратно. Американец сделал глоток и передал бутылку Педуцци. Педуцци передал ее опять обратно.

— Пейте,— сказал он,— пейте. Это ваша марсала.

Сделав еще маленький глоток, американец снова протянул бутылку Педуцци. Тот внимательно посмотрел на нее, потом торопливо схватил и залпом выпил. Седые волосы в складках его шеи шевелились, когда он пил, глаза не отрываясь смотрели на узкую темную бутылку. Он выпил ее до дна. Пока он пил, светило солнце. Было чудесно. Все-таки это был удачный день! Чудесный день!

— Senta, caro! [2] Завтра утром, в семь.

Он несколько раз назвал американца «caro», и это ему сошло. Хорошая была марсала! Таких дней еще много будет впереди, и начнется это завтра, в семь часов утра.

---

[1] Свинец *(итал.)*.

[2] Слушай, дорогой! *(итал.)*

Они стали подниматься на холм по направлению к городу. Американец шел впереди. Он был почти на гребне холма, когда Педуцци окликнул его:

— Послушайте, caro. Не дадите ли вы мне пять лир?

— За сегодня? — хмурясь, спросил американец.

— Нет, не за сегодня. Дайте мне их сегодня за завтрашний день. Я запасу все, что нужно на завтра. Pane, salami, formaggio [1], хорошей закуски для всех нас. Ьы, я и синьора. Наживку, пескарей, не одних червяков. И марсала будет. Все за пять лир. Пять лир, а, синьор?

Американец порылся в бумажнике и достал бумажку в две лиры и две по одной.

— Благодарю вас, caro. Благодарю вас,— сказал Педуцци таким тоном, каким говорят члены «Карлтон-клуба», принимая «Морнинг пост» из рук соседа.

Вот это была жизнь! Хватит с него ковырять вилами мерзлый навоз в саду отеля. Жизнь раскрывалась перед ним.

— Так, значит, завтра в семь, caro,— сказал Педуцци, похлопывая американца по плечу.— Ровно в семь.

— Я скорее всего не пойду,— сказал американец и положил бумажник обратно в карман.

— Как? — спросил Педуцци.— Я принесу пескарей, синьор, salami, все достану. Вы, я и синьора. Все трое.

— Я скорее всего не пойду,— повторил американец.— По всей вероятности — нет. Узнаете у padrone в конторе отеля.

---

[1] Хлеб, салами, сыр *(итал.)*.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Если это происходило близко от барьера и против вашего места на трибуне, то хорошо было видно, как Вилья́льта дразнит быка и вызывает его, и когда бык кидался, Вилья́льта, не трогаясь с места, отклонялся назад, точно дуб под ударом ветра, плотно сдвинув ноги, низко опустив мулету и отводя шпагу за спину. Потом он кричал на быка, хлопал перед ним мулетой и снова, когда бык кидался, не трогаясь с места, поднимал мулету и, отклонившись назад, описывал мулетой дугу, и каждый раз толпа ревела от восторга.

Когда наступало время для последнего удара, все происходило в одно мгновение. Разъяренный бык, стоя прямо против Вилья́льты, не спускал с него глаз. Вилья́льта одним движением выхватывал шпагу из складок мулеты и, направив ее, кричал быку: «Торо! Торо!» — и бык кидался, и Вилья́льта кидался, и на один миг они сливались воедино. Вилья́льта сливался с быком, и все было кончено. Вилья́льта опять стоял прямо, и красная рукоятка шпаги торчала между лопатками быка. Вилья́льта поднимал руку, приветствуя толпу, а бык не спускал с него глаз, ревел, захлебываясь кровью, и ноги его подгибались.

КРОСС ПО СНЕГУ

Фуникулер еще раз дернулся и остановился. Он не мог идти дальше, путь был сплошь занесен снегом. Ветер начисто подмел открытый склон горы, и поверхность снега смерзлась в оледенелый наст. Ник в багажном вагоне натер свои лыжи, сунул носки башмаков в металлические скобы и застегнул крепление. Он боком прыгнул из вагона на твердый наст, выровнял лыжи и, согнувшись и волоча палки, понесся вниз по скату.

Впереди на белом просторе мелькал Джордж, то исчезая, то появляясь и снова исчезая из виду. Когда, внезапно попав на крутой изгиб склона, Ник стремительно полетел вниз, в его сознании не осталось ничего, кроме чудесного ощущения быстроты и полета. Он въехал на небольшой бугор, а потом снег начал убегать из-под его лыж, и он понесся вниз, вниз, быстрей, быстрей, по последнему крутому спуску. Согнувшись, почти сидя на лыжах, стараясь, чтобы центр тяжести пришелся как можно ниже, он мчался в туче снега, словно в песчаном вихре, и чувствовал, что скорость слишком велика. Но он не замедлил хода. Он не сдаст и удержится. Потом он попал на рыхлый снег, оставленный ветром в выемке горы, не удержался и, гремя лыжами, полетел кубарем, точно подстреленный кролик, потом зарылся в сугроб, ноги накрест, лыжи торчком, набрав полные уши и ноздри снега.

Джордж стоял немного ниже, ладонями сбивая снег со своей куртки.

— Высокий класс, Ник! — крикнул он.— Это чертова выемка виновата. Она и меня подвела.

— А как там, дальше? — Ник, лежа на спине, выровнял лыжи и встал.

— Нужно все время забирать влево. Спуск хороший, крутой. Внизу сделаешь христианию — там изгородь.

— Подожди минутку, съедем вместе.

— Нет, ты ступай вперед. Я люблю смотреть, как ты съезжаешь.

Ник Адамс проехал мимо Джорджа,— на его широких плечах и светлых волосах осталось немного снегу,— потом лыжи Ника заскользили, и он ухнул вниз, окутанный свистящей снежной пылью, взлетая и падая, вверх, вниз по волнистому склону. Он все время забирал влево, и к концу, когда он летел прямо на изгородь, плотно сжав колени и изогнув туловище, он, в туче снега, сделал крутой поворот вправо и, сбавляя ход, проехал между склоном горы и проволочной изгородью.

Он взглянул вверх. Джордж съезжал, готовясь к повороту телемарк, выдвинув вперед согнутую в колене ногу и волоча другую; палки висели, словно тонкие ножки насекомого, и, задевая снег, взбивали комочки снежного пуха; и, наконец, почти скрытый тучами снега, скорчившись, выбросив одну ногу вперед, вытянув другую назад, отклонив туловище влево, он описал четкую красивую кривую, подчеркивая ее блестящими остриями палок.

— Я не решился на христианию,— сказал Джордж.— Слишком глубокий снег. А ты отлично съехал.

— С моей ногой нельзя делать телемарк,— сказал Ник.

Ник лыжей прижал верхнюю проволоку, и Джордж проехал через изгородь. Ник вслед за ним выехал на дорогу. Они шли, слегка согнув колени, по дороге, проложенной в сосновом бору. Здесь возили лес, и накатанный полозьями лед был в оранжевых и табачно-желтых пятнах от конской мочи. Лыжники держались полосы снега на обочине. Дорога круто спускалась к ручью и затем почти отвесно поднималась в гору. Сквозь деревья им виден был длинный облезлый дом с широкими стрехами. Издали он выглядел сплошь блекло-желтым. Вблизи оконные рамы оказались зелеными. Краска лупилась. Ник расстегнул палкой зажим и сбросил лыжи.

— Лучше понесем их,— сказал он.

Он стал карабкаться по крутой дорожке с лыжами на плече, пробивая ледяную кору шипами каблука. Он слышал за спиной дыхание Джорджа и треск льда под его каблуками. Они прислонили лыжи к стене гостиницы, обмахнули друг другу штаны, потоптались, стряхивая с башмаков снег, и вошли в дом.

Внутри было почти темно. В углу комнаты поблескивала большая изразцовая печь. Потолок был низкий. Вдоль стен стояли гладкие деревянные скамьи и темные, в винных пятнах, столы. У самой печки, покуривая трубку, потягивая мутное молодое вино, сидели два швейцарца. Лыжники сняли куртки и сели у стены по другую сторону печки. Голос, певший в соседней комнате, умолк, и в комнату вошла служанка в синем переднике и спросила, что им подать.

— Бутылку сионского,— сказал Ник.— Согласен, Джорджи?

— Можно,— сказал Джордж.— В этом ты больше понимаешь. Я всякое вино люблю.

Служанка вышла.

— Нет ничего лучше лыж, правда? — сказал Ник.— Знаешь, это ощущение, когда начинаешь съезжать по длинному спуску.

— Да! — сказал Джордж.— Так хорошо, что и сказать нельзя.

Служанка принесла вино, и они никак не могли откупорить бутылку. Наконец Ник вытащил пробку. Служанка вышла, и они услыхали, как она в соседней комнате запела по-немецки.

— Кусочки пробки попали. Ну, не беда,— сказал Ник.

— Как ты думаешь, есть у них какое-нибудь печенье?

— Сейчас спросим.

Служанка вошла, и Ник заметил, что у нее под передником обрисовывается круглый живот. «Странно,— подумал он,— как это я сразу не обратил внимания, когда она вошла».

— Что это вы поете? — спросил он.

— Это из оперы, из немецкой оперы.— Она явно не желала продолжать разговор.— У нас есть яблочная слойка, если хотите.

— Не очень-то она любезная,— сказал Джордж.

— Что ж ты хочешь? Она нас не знает и, наверно, подумала, что мы хотим посмеяться над ее пением. Она, должно быть, оттуда, где говорят по-немецки, и она стесняется, что она

здесь. Да тут еще беременность, а она не замужем, вот и стесняется.

— Откуда ты знаешь, что она не замужем?

— Кольца нет. Да здесь ни одна девушка не выходит замуж, пока не пройдет через это.

Дверь отворилась, и в клубах пара, топая облепленными снегом сапогами, вошла партия лесорубов. Служанка принесла им три бутылки молодого вина, и они, сняв шляпы, заняли оба стола и молча покуривали трубки, кто прислонясь к стене, кто облокотившись на стол. Время от времени, когда лошади, запряженные в деревянные сани, встряхивали головой, снаружи доносилось резкое звяканье колокольчиков.

Джордж и Ник чувствовали себя отлично. Они очень любили друг друга. Они знали, что впереди еще весь долгий обратный путь.

— Когда тебе нужно возвращаться в университет? — спросил Ник.

— Сегодня вечером,— ответил Джордж.— Мне надо поспеть на поезд десять сорок из Монтре.

— Хорошо бы, ты остался, мы бы завтра махнули на Дан-дю-Лис.

— Я должен закончить свое образование,— сказал Джордж.— А что, Ник, если бы нам пошататься вдвоем? Захватить лыжи и поехать поездом, сойти, где хороший снег, и идти куда глаза глядят, останавливаться в гостиницах, пройти насквозь Оберланд, и Вале, и Энгадин, а с собой взять только сумку с инструментами да положить в рюкзак запасной свитер и пижаму, и к черту ученье и все на свете!

— И еще пройти через весь Шварцвальд. Ух, и места же!

— Это где ты рыбу ловил прошлым летом?

— Да.

Они съели слойку и допили вино.

Джордж прислонился к стене и закрыл глаза.

— Вино всегда так на меня действует,— сказал он.

— Тебе плохо? — спросил Ник.

— Нет, мне хорошо, только чудно́ как-то.

— Понимаю,— сказал Ник.

— Ну, да,— сказал Джордж.

— Закажем еще бутылочку? — спросил Ник.

— Нет, довольно,— сказал Джордж.

Они еще посидели. Ник — облокотившись на стол, Джордж — прислонясь к стене.

— Что, Эллен ждет ребенка? — спросил Джордж, отделившись от стены и тоже ставя локти на стол.

— Да.

— Скоро?

— В конце лета.

— Ты рад?

— Да. Теперь рад.

— Вы вернетесь в Штаты?

— Очевидно.

— Тебе не хочется?

— Нет.

— А Эллен?

— Тоже нет.

Джордж помолчал. Он смотрел на пустую бутылку и на пустые стаканы.

— Скверно, да? — спросил он.

— Нет, ничего,— ответил Ник.

— Так как же?

— Не знаю,— сказал Ник.

— Ты с ней будешь ходить на лыжах в Штатах?

— Не знаю.

— Там горы неважные,— сказал Джордж.

— Неважные,— сказал Ник.— Слишком скалистые. И слишком много лесу. И потом, они очень далеко.

— Верно,— сказал Джордж,— во всяком случае, в Калифорнии так.

— Да,— сказал Ник,— повсюду так, где мне приходилось бывать.

— Верно,— сказал Джордж,— повсюду так.

Швейцарцы встали из-за стола, расплатились и вышли.

— Жаль, что мы не швейцарцы,— сказал Джордж.

— У них у всех зоб,— сказал Ник.

— Не верю я этому.

— И я не верю.

Они засмеялись.

— А что, Ник, если нам с тобой никогда больше не придется вместе ходить на лыжах? — сказал Джордж.

— Этого быть не может,— сказал Ник.— Тогда не стоит жить на свете.

— Непременно пойдем,— сказал Джордж.

— Иначе быть не может,— подтвердил Ник.

— Хорошо бы дать друг другу слово,— сказал Джордж.

Ник встал. Он наглухо застегнул свою куртку. Потом потянулся через Джорджа и взял прислоненные к стене лыжные палки. Он крепко всадил острие палки в половицу.

— А что толку давать слово,— сказал он.

Они открыли дверь и вышли. Было очень холодно. Снег подернулся ледяной коркой. Дорога шла в гору, сосновым лесом.

Они взяли свои лыжи, прислоненные к стене. Ник надел рукавицы, Джордж уже начал подыматься в гору с лыжами на плече. Обратный путь еще можно проделать вместе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Я услышал бой барабанов на улице, а потом рожки и гудки, а потом они повалили из-за угла, и все плясали. Вся улица была запружена ими. Маэра увидел его, а потом и я его увидел. Когда музыка умолкла и танцоры присели на корточки, он присел вместе со всеми, а когда музыка снова заиграла, он подпрыгнул и пошел, приплясывая, вместе с ними по улице. Понятно, он был пьян.

Спуститесь вы к нему, сказал Маэра, меня он ненавидит.

Я спустился вниз, и нагнал их, и схватил его за плечо, пока он сидел на корточках и дожидался музыки, чтобы вскочить, и сказал: идем, Луи. Побойтесь бога, вам сегодня выступать. Он не слушал меня. Он все слушал, не заиграет ли музыка.

Я сказал: не валяйте дурака, Луи. Идемте в отель.

Тут музыка снова заиграла, и он подпрыгнул, увернулся от меня и пошел плясать. Я схватил его за руку, а он вырвался и сказал: да оставь ты меня в покое. Тоже папаша нашелся.

Я вернулся в отель, а Маэра стоял на балконе и смотрел, веду я его или нет. Увидев меня, он вошел в комнату и спустился вниз, взбешенный.

В сущности, сказал я, он просто неотесанный мексиканский дикарь.

Да, сказал Маэра, а кто будет убивать его быков, после того как он сядет на рог?

Мы, надо полагать, сказал я.

Да, мы, сказал Маэра. Мы будем убивать быков за них, за дикарей, и за пьяниц, и за танцоров. Да. Мы будем убивать их. Конечно, мы будем убивать их. Да. Да. Да.

МОЙ СТАРИК

Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что моему старику сама природа предназначила быть толстяком, одним из тех маленьких, кругленьких толстячков, какие встречаются повсюду, но он так и не растолстел, разве только под конец, а это было уже не страшно, потому что тогда он участвовал только в скачках с препятствиями, и ему можно было прибавлять в весе. Помню, как он натягивал прорезиненную куртку поверх двух фуфаек, а сверху еще толстый свитер, и утром заставлял меня бегать вместе с ним по жаре. Бывало, он приедет из Турина часам к четырем утра и отправляется в кебе на ипподром, берет из конюшни Раццо какого-нибудь одра на проездку, а потом, когда все кругом еще покрыто росой и солнце только что всходит, я помогаю ему стащить сапоги, он надевает спортивные туфли и все эти свитеры, и мы принимаемся за дело.

— Двигайся, малыш,— скажет он, бывало, разминая ноги перед дверями жокейской.— Пошли.

И тут мы с ним пускаемся рысцой по скаковой дорожке, он впереди, обежим раза два, а потом выбегаем за ворота на одну из тех дорог, что идут от Сан-Сиро и по обе стороны обсажены деревьями. На дороге я всегда обгонял его, я умел бегать в то время; оглянешься, а он трусит легкой рысцой чуть позади, немного погодя оглянешься еще раз, а он уже начинает потеть. Весь обливается потом, а все бежит за мной по пятам и смотрит мне в спину, а когда увидит, что я оглядываюсь, ухмыльнется и скажет: «Здорово потею?» Когда мой старик ухмылялся, нельзя было не ухмыльнуться ему в ответ. Бежим, бывало, все прямо,

к горам, потом мой старик окликнет меня: «Эй, Джо!» — оглянешься, а он уже сидит под деревом, обмотав шею полотенцем, которым был подпоясан.

Повертываешь обратно и садишься рядом с ним, а он достает из кармана скакалку и начинает прыгать на самом припеке, и пот градом льется у него с лица, а он все скачет в белой пыли, и скакалка хлопает, хлопает,— хлоп, хлоп, хлоп,— а солнце печет все жарче, а он старается все пуще, скачет взад и вперед по дороге. Да, стоило посмотреть, как мой старик скачет через веревочку. Он то крутил ее быстро-быстро, то ударял о землю медленно и на разные лады. Да, надо было видеть, как глазели на нас итальяшки, шагая мимо по дороге в город рядом с крупными белыми волами, тащившими повозку. Видно было, что они принимают моего старика за полоумного. И тут он начинал так крутить веревку, что они останавливались как вкопанные и смотрели на него, а потом понукали волов и, ткнув их бодилом, снова трогались в путь.

Я сидел под деревом и, глядя, как он работает на самом припеке, думал — хороший у меня старик. Смотреть на него было весело, и работал он на совесть, и заканчивал настоящей мельницей, так что пот ручьями струился у него по лицу, потом вешал скакалку на дерево и, обмотав полотенце и свитер вокруг шеи, садился рядом со мной, прислонившись к дереву.

— Чертова эта работа — сгонять жир, Джо,— скажет он, бывало, и, откинувшись назад, закроет глаза и сделает несколько долгих, глубоких вздохов,— теперь не то, что в молодости.— Потом постоит немножко, чтобы остынуть, и мы с ним рысцой пускаемся в обратный путь, к конюшням. Таким манером он сгонял вес. Это не давало ему покоя. Другие жокеи одной ездой могут согнать сколько угодно жиру. Жокей теряет за каждую поездку не меньше кило, а мой старик вроде как пересох и не мог сгонять вес без всей этой тренировки.

Помню, как-то раз в Сан-Сиро маленький итальяшка Реголи, жокей конюшни Бузони, шел через загон в бар выпить чего-нибудь, похлопывая по сапогам хлыстиком; он только что взвесился, и мой старик тоже только что взвесился и вышел с седлом под мышкой, весь красный, замученный, и остановился, глядя на Реголи, который стоял перед верандой бара, совсем мальчишка с виду и ни капельки не запаренный, и я сказал:

— Ты что, папа? — Я было подумал, не толкнул ли его Реголи, а он только взглянул на Реголи и сказал:

— А, да ну его к черту! — и пошел в раздевалку.

Что ж, может, ничего бы и не случилось, если б мы остались в Милане и работали в Милане и Турине, потому что если бывают где-нибудь легкие скачки, так это именно там.

— Пианола, Джо, да и только,— говорил мой старик, слезая с лошади у конюшни, после заезда, который этим итальяшкам казался верхом трудности. Я как-то спросил его об этом.— Дорожка здесь такая, что сама бежит. Брать препятствия опасно только при быстрой езде. Ну, а тут какая уж быстрота, да и препятствия пустяковые. А впрочем, главное всегда быстрота, а не препятствия.

Такого замечательного ипподрома, как в Сан-Сиро, я нигде больше не видел, но мой старик ворчал, что это собачья жизнь. Таскаться взад и вперед из Мирафьоре в Сан-Сиро, работать чуть ли не каждый день, да еще через день ездить по железной дороге.

Я тоже был просто помешан на лошадях. Что-то в них есть, когда они выходят на старт и приближаются по дорожке к столбу. Словно танцуют, и все такие подобранные, а жокей натягивает поводья изо всех сил, а может быть, и отпускает немножко, дает лошади пробежать несколько шагов. А когда они подходят к старту, я просто сам не свой. Особенно в Сан-Сиро — такой большой зеленый круг, и горы вдали, толстый итальянец-стартер с длинным хлыстом, жокеи сдерживают лошадей, и вдруг ленточка разрывается, звонок звонит, и все они разом срываются с места, а потом начинают растягиваться в одну линию. Да вы, верно, знаете, как оно бывает. Когда стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, что все они тронулись с места, и звонок начинает звонить, и кажется, что он звонит целую тысячу лет, и вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота. Мне всегда казалось, что с этим ничто не сравнится.

А мой старик сказал как-то в уборной, когда переодевался после езды:

— Это не лошади, Джо. В Париже всех этих одров отправили бы на живодерню.— Это было в тот день, когда он взял Коммерческую премию на Ланторне, с такой силой послав ее на последних ста метрах, что она вылетела вперед, как пробка из бутылки.

Сразу после Коммерческой премии мы смотали удочки и убрались из Италии. Мой старик, Голбрук и толстый итальянец в соломенной шляпе, который то и дело утирал лицо носовым платком, поссорились из-за чего-то за столиком в Galleria [1]. Го-

[1] Пассаж *(итал.)*.

ворили все время по-французски, и оба они приставали с чем-то к моему старику. Под конец он уже ничего не отвечал, а только глядел на Голбрука, а они все приставали к нему, говорили то один, то другой, и толстяк все перебивал Голбрука.

— Поди купи мне «Спортсмена», Джо,— сказал мой старик и протянул мне два сольди, не сводя глаз с Голбрука.

Я вышел из Galleria на площадь и перед «Ла Скала» купил газету, а потом вернулся и стал немного поодаль, чтобы не мешать, а мой старик сидит, откинувшись на спинку стула, смотрит в чашку с кофе и играет ложкой, а Голбрук с толстым итальянцем стоят рядом, и толстяк, качая головой, утирается платком. Подхожу ближе, а старик держит себя так, словно их тут и не бывало, и говорит:

— Хочешь мороженого, Джо?

Голбрук посмотрел на старика сверху вниз и сказал с расстановкой:

— Ах ты сукин сын! — и пошел прочь вместе с толстяком, пробираясь между столиками.

Мой старик сидел и через силу улыбался мне, а сам весь бледный — видно было, что ему здорово не по себе, и я порядком струхнул и тоже чувствовал себя неважно, я видел, что что-то случилось, и не понимал, как это возможно, чтобы кто-нибудь обозвал моего старика сукиным сыном и это сошло бы ему с рук. Мой старик развернул «Спортсмена» и стал просматривать отчеты о скачках, потом сказал:

— Мало ли что приходится терпеть на этом свете, Джо.

А через три дня мы навсегда уехали из Милана в Париж туринским поездом, распродав с аукциона (перед конюшней Тернера) все, что не поместилось в сундук и чемодан.

Мы приехали в Париж рано утром, поезд подошел к длинному грязному вокзалу — Лионскому вокзалу, как сказал мне мой старик. По сравнению с Миланом Париж очень большой город. В Милане кажется, что все куда-нибудь идут, и трамваи идут известно куда, и нет никакой путаницы, а в Париже — какой-то сплошной клубок, и никак его не распутаешь.

Под конец мне там даже стало нравиться, хоть и не все, да и скачки там самые лучшие в мире. Как будто на них все и держится, и в одном только можно быть уверенным: что каждый день автобусы будут идти ко всем ипподромам и проедут через всю эту путаницу до самого ипподрома. Я так и не узнал Парижа как следует, потому что приезжал туда с моим стариком из Мезон-Лафит раза два в неделю, и он всегда вместе со всеми нашими из Мезон сидел в кафе де Пари с той стороны, что бли-

же к Опере, и, по-моему, это самое бойкое место в городе. А ведь чудно́, что в таком большом городе, как Париж, нет своей Galleria, не правда ли?

Ну, мы поселились у миссис Мейерс, которая держит пансион в Мезон-Лафит; там живут почти все, кроме той компании, что в Шантильи. Мезон замечательное место, я никогда еще в таком не жил. Самый город не так хорош, зато есть озеро и замечательный лес, где мы, мальчишки, бывало, пропадали целыми днями. Мой старик сделал мне рогатку, и мы настреляли из нее пропасть птиц, а всего лучше была сорока. Маленький Дик Аткинсон подстрелил из этой рогатки кролика, мы положили его под дерево и уселись кругом, и Дик угостил нас папиросами, как вдруг кролик вскочил и удрал в кусты, и мы погнались за ним, но так и не догнали. Да, весело там жилось! Миссис Мейерс давала мне утром позавтракать, и я уходил на целый день. Я скоро выучился говорить по-французски. Это не очень трудный язык.

Как только мы приехали в Мезон-Лафит, мой старик написал в Милан, чтобы ему выслали жокейское свидетельство, и очень волновался, пока не получил его. В Мезон он всегда сидел в кафе де Пари со всей компанией; многие из тех, кого он знал еще до войны, когда работал в Париже, жили в Мезон-Лафит, и у всех хватало времени сидеть в кафе, потому что вся работа в скаковых конюшнях, то есть работа жокеев, кончается к девяти часам утра. Первую партию лошадей выводят на проездку в половине шестого, а вторую — в восемь часов утра. Значит, вставать надо рано и ложиться тоже рано. Если жокей у кого-нибудь работает, ему нельзя много пить, потому что тренер за ним следит, если он мальчишка, а если не мальчишка, то он сам за собой следит. Так вот, если жокей не работает, он по большей части сидит в кафе де Пари со всей компанией; возьмут стакан вермута с содовой и сидят часа два-три, разговаривают, рассказывают анекдоты, играют на бильярде, и это у них вроде клуба или миланской Galleria. Только это не совсем похоже на Galleria, потому что там народ ходит взад и вперед, а здесь все сидят за столиками.

Ну так вот, мой старик в конце концов получил свои права. Прислали по почте без всяких возражений, и он ездил раза два. В Амьене, в провинции, все в таком роде, а постоянной работы достать не мог. Все ему были приятели, и как ни придешь утром в кафе, всегда кто-нибудь с ним выпивает, потому что мой старик был не какой-нибудь скряга, вроде тех жокеев, что заработали свой первый доллар на международной выставке в Сент-

Луисе в девятьсот четвертом году. Так говаривал мой старик, когда хотел поддразнить Джорджа Бернса. А вот лошадей моему старику никто почему-то не давал.

Мы каждый день ездили на трамвае из Мезон-Лафит куда-нибудь на скачки, и это было самое интересное. Я был рад, когда после летнего сезона лошади вернулись из Довилля. Хотя теперь уже нельзя было больше бродить по лесам, потому что мы с утра уезжали в Энгиен, Трамбле или Сен-Клу и смотрели на скачки с жокейской трибуны. Само собой, я много узнал о скачках в этой компании, а всего лучше было то, что мы ездили каждый день.

Помню одну поездку в Сен-Клу. Там были большие скачки на приз в двести тысяч франков с семью заездами, и фаворитом был Ксар. Я прошел вместе с моим стариком в загон посмотреть лошадей; таких лошадей вы, верно, не встречали. Этот Ксар был крупный соловый жеребец, весь словно одно движение. Я таких еще не видывал. Его водили по загону, и когда он прошел мимо нас, опустив голову, у меня засосало под ложечкой, до того он был хорош. Трудно даже представить себе такую замечательную, статную, сильную лошадь. А Ксар шел по загону, неторопливо и осторожно переставляя ноги, и двигался так легко и точно, как будто сам знал, что ему делать, и не дергался, не становился на дыбы, не косил дико глазами, как лошади на аукционе, когда их подпоят чем-нибудь. Толпа была такая густая, что я его почти не видел — только ноги мелькали да что-то желтое, и мой старик стал проталкиваться сквозь толпу, а я за ним, к жокейской уборной среди деревьев, и там тоже толпился народ; но человек в котелке, стоявший у двери, кивнул моему старику, и мы прошли внутрь; там все сидели и одевались, натягивали рубашки через голову, надевали сапоги, и от всего этого несло потом, мазью и духотой, а снаружи толпа заглядывала в окна.

Мой старик подошел к Джорджу Гарднеру, который надевал брюки, сел рядом с ним и говорит: «Ну, что скажешь, Джордж?» — самым обыкновенным голосом, потому что нечего было и выведывать: Джордж сразу скажет, если знает.

— Он не возьмет,— говорит Джордж очень тихо, наклоняясь и застегивая штанину внизу на пуговицу.

— А кто же? — говорит мой старик, нагибаясь к нему поближе, чтобы никто не слыхал.

— Керкоббин,— говорит Джордж,— и если он возьмет, оставь парочку билетов на мою долю.

Мой старик сказал что-то Джорджу обыкновенным голосом, и Джордж ответил: «Никогда не держи пари, вот что я тебе

скажу»,— будто бы в шутку, и мы вышли и пробрались сквозь толпу к стофранковой кассе. Но я понял, что дело серьезное, потому что Джордж едет на Ксаре. По пути он купил желтую табличку ставок, и там было сказано, что за Ксара дают только 5 к 10, за Сефизидота — 3 к 1, в пятом же списке стоял этот Керкоббин — 8 к 1. Мой старик поставил на Керкоббина пять тысяч в ординаре и тысячу в двойном, и мы обошли трибуну, чтобы подняться по лестнице и отыскать себе место, откуда скачки были бы лучше видны.

На трибуне было тесно, и сначала вышел человек в длинном сюртуке, сером цилиндре и со свернутым хлыстом, а за ним показались лошади с жокеями в седле, одна за другой, и конюхи справа и слева вели их под уздцы. Первым шел этот большой соловый Ксар. Сразу он не казался таким большим, а только потом, когда разглядишь, какие у него длинные ноги и какие движения и все ста́ти. Да, я таких лошадей никогда в жизни не видывал. На нем ехал Джордж Гарднер, и все они двигались медленно за стариком в сером цилиндре, который выступал, словно шталмейстер в цирке. За Ксаром, который двигался плавно и отливал золотом на солнце, шел статный вороной конь с красивой головой, на нем ехал Томми Арчибальд; а за вороным вытянулись в ленту еще пять лошадей, и все они проходили медленным шагом мимо трибуны к весам. Мой старик сказал, что вороной и есть Керкоббин, и я стал разглядывать его, и он был ничего себе, славный конек, но никакого сравнения с Ксаром.

Все захлопали Ксару, когда он проходил мимо, да и стоило того: замечательная была лошадь. Все шествие прошло по дальней стороне, за кругом, а потом обратно, к нашему концу ипподрома, и распорядитель приказал конюхам отпустить лошадей одну за другой, чтобы они прошли галопом мимо трибуны к старту и всем можно было бы их разглядеть хорошенько. Не успели они подойти к старту, как зазвонил звонок, и вот они уже далеко по ту сторону круга, скачут, сбившись все в кучу, и уже огибают первый поворот, будто игрушечные лошадки. Я смотрел на них в бинокль, и Ксар здорово отстал, а вела одна из гнедых. Они показались из-за поворота и пронеслись мимо, и Ксар порядком отстал, когда они скакали мимо нас, а этот Керкоббин был впереди и шел ровно. Ей-богу, просто дух захватывает, когда они промчатся мимо тебя, и приходится смотреть им вслед, а они все уходят и уходят, и становятся все меньше и меньше, и на повороте собьются все в кучу, а потом выходят на прямую, и до того хочется выругаться, просто мочи нет. В кон-

це концов они обогнули последний поворот и вышли на прямую, и этот Керкоббин был намного впереди. Все были озадачены и как-то растерянно повторяли «Ксар», а лошади подходили все ближе и ближе, и вдруг что-то вынеслось вперед и мелькнуло в моем бинокле, словно желтая молния с конской головой, и все завопили «Ксар», словно полоумные. Ксар несся с такой быстротой, какой я ни у одной лошади не видывал, и нагнал Керкоббина, который шел не быстрее всякой другой лошади, когда жокей нахлестывает ее изо всех сил, и около секунды оба они шли голова в голову, хотя казалось, что Ксар идет чуть ли не вдвое быстрее, такие громадные он делал скачки и так вытянул шею, но столб они прошли голова в голову, и когда вывесили номера, то первая была двойка, а это значило, что взял Керкоббин.

Мне было как-то не по себе, я весь дрожал, а потом нас стиснули, когда толпа повалила вниз по лестнице к доске, где должны были вывесить, сколько выдают на Керкоббина. Честное слово, глядя на скачки, я совсем забыл, какую уйму денег отец поставил на Керкоббина. До того мне хотелось, чтобы пришел Ксар. Но теперь, когда все кончилось, приятно было знать, что мы выиграли.

— Правда, скачки были замечательные, папа? — сказал я ему.

Он посмотрел на меня как-то странно, сдвинув котелок на затылок.

— Джордж Гарднер замечательный наездник, это верно,— сказал он.— Нужно быть мастером, чтоб не дать Ксару прийти первым.

Конечно, я все время знал, что дело неладно. Но от того, что мой старик так прямо и сказал это, все удовольствие для меня пропало, и даже, когда вывесили номера на доске и мы увидели, что за Керкоббина выдают 67.50, я все равно не почувствовал никакого удовольствия. Кругом все говорили:

— Бедняга Ксар! Бедняга Ксар!

А я думал: «Хорошо, если бы я был жокей и ездил бы на нем вместо этого сукина сына».

Как-то чудно́ было думать, что Джордж Гарднер — сукин сын, потому что он мне всегда нравился, и, кроме того, он же нам назвал победителя, но все равно, по-моему, он и есть сукин сын.

После этих скачек у моего старика завелись большие деньги, и он стал чаще ездить в Париж. Если скачки бывали в Трамбле, то наши высаживали его в городе на обратном пути в Мезон-

Лафит, и мы с ним сидели перед кафе де ла Пэ и смотрели на прохожих. Сидеть там очень весело. Публика идет мимо целым потоком, и к вам подходят разные люди и предлагают купить то одно, то другое, и я очень любил сидеть там с моим стариком. Вот тогда мы больше всего веселились. Там были продавцы игрушечных кроликов, которые прыгают, когда нажмешь баллон, они подходили к нам, и отец шутил с ними. Он говорил по-французски вроде как по-английски, и все эти люди его узнавали,— жокея всегда сразу видно,— и потом мы всегда сидели за одним и тем же столиком, и они уже привыкли к нам. Там были мальчишки, которые продавали брачные газеты, и девушки, которые продавали резиновые яйца — если пожмешь их, то выскочит петушок,— и был еще один старикашка, похожий на червяка, который ходил и показывал открытки с видами Парижа, и, конечно, никто их не покупал, а он подходил еще раз и показывал, что у него внизу пачки, и там были сплошь неприличные открытки, и многие рылись в них и покупали.

Да, много бывало там занятных людей. Попозже вечером девушки искали, не сведет ли их кто-нибудь поужинать, и заговаривали с моим стариком, а он отшучивался по-французски, и они гладили меня по голове и проходили дальше. Как-то вечером за соседний столик села американка с маленькой дочкой, обе они ели мороженое, а я все глядел на девочку, она была такая хорошенькая, и я улыбнулся ей, и она тоже мне улыбнулась, но этим все и кончилось, потому что больше я их так и не видел, хотя каждый день ждал, не придут ли они, и не знал, как с ней заговорить и отпустят ли ее со мной в Отейль или в Трамбле, если мы познакомимся. Все равно из этого ничего не вышло бы, потому что, как я теперь припоминаю, мне казалось, что всего лучше было бы заговорить с ней так: «Может быть, вы разрешите мне указать вам победителя на сегодняшних скачках в Энгиене»,— и она, верно, сочла бы меня за «жучка» и не поверила бы, что я только хочу оказать ей услугу.

Мы сидели, бывало, в кафе де Пари, и официант был к нам очень внимателен, потому что мой старик пил виски, и это стоило пять франков, и полагалось давать хорошие чаевые, после того как подсчитают блюдечки. Я никогда раньше не видел, чтобы мой старик столько пил, зато теперь он совсем не ездил, да еще уверял, что от виски худеет. Но я-то видел, что он толстеет. Он отбился от своей прежней компании из Мезон-Лафит, и ему как будто правилось вот так сидеть на бульваре вместе со мной.

Но он каждый день играл на скачках. Если он проигрывал, то после скачек бывал какой-то скучный, пока не усядется за столик и не выпьет первую рюмочку, а после того сразу развеселится.

Он всегда читал «Пари-спорт»; выглянет, бывало, из-за газеты и спросит: «Где твоя милая, Джо?» — чтобы поддразнить меня, потому что я рассказал ему про девочку за соседним столиком. А я краснел, но мне было приятно, что меня ею дразнят. Мне это очень нравилось. «Гляди в оба, Джо,— говорил он,— она еще вернется».

Он расспрашивал меня о том о сем и иной раз смеялся моим ответам. А потом сам начинал рассказывать. Про скачки в Египте и в Сен-Морице по льду, когда еще жива была моя мать, и во время войны, когда на юге Франции устраивались настоящие скачки без призов, без пари, без публики, просто так, для того только, чтобы не перевелась порода. Настоящие скачки, когда жокеи загоняли лошадей чуть не до смерти. Я мог слушать моего старика целыми часами, особенно после того, как он выпьет, бывало, рюмочку-другую. Он рассказывал мне про то, как еще мальчишкой в Кентукки охотился на енота, и про старые времена в Штатах, еще до того, как все там пошло прахом. И говаривал, бывало:

— Джо, когда мы с тобой загребем хороший куш, ты вернешься в Штаты и будешь учиться.

— Зачем же я поеду туда учиться, когда там все пошло прахом? — спрашивал я.

— Это совсем другое дело,— говорил он и, подозвав официанта, платил за стопку блюдечек, и мы брали такси до вокзала Сен-Лазар и садились на поезд в Мезон-Лафит.

Однажды в Отейле на аукционе мой старик купил победителя за тридцать тысяч франков. Пришлось немного надбавить, но в конце концов лошадь все-таки досталась моему старику, и через неделю он получил свидетельство и цвета. Ну и гордился же я, что мой старик сделался собственником. Он договорился насчет денника с Чарльзом Дрэйком, бросил ездить в Париж и опять начал тренироваться и сгонять вес, а конюхов было только двое — он да я. Нашего жеребчика звали Гилфорд, он был ирландской породы и чудесно брал препятствия. Мой старик рассчитал, что если самому тренировать его и самому ездить, то затрата окупится. Я всем этим гордился и считал, что наш Гилфорд нисколько не хуже Ксара. Это был славный гнедой жеребец, очень резвый на ровной дорожке, если его расшевелить хорошенько, и к тому же на редкость красивый.

Ну и любил же я нашего Гилфорда! В первый же раз, как мой старик ехал на нем, он пришел к финишу третьим в скачке с препятствиями на две тысячи пятьсот метров, и когда мой старик слез с седла, сияющий и весь в поту, и пошел взвешиваться, я так им гордился, как будто это была первая скачка, в которой он занял место. Понимаете ли, когда человек давно не ездил, трудно поверить, что он когда-то был жокеем. Теперь все это было совсем по-другому, потому что в Милане мой старик был равнодушен даже к большим скачкам, и если выигрывал, нисколько не волновался, а теперь было так, что я совсем не спал в ночь перед скачками и знал, что мой старик тоже волнуется, хоть и не показывает этого. Совсем другое дело скакать на своей лошади.

Второй раз Гилфорд с моим стариком стартовал в одно дождливое воскресенье в Отейле, в скачках с препятствиями на четыре тысячи пятьсот метров на приз Марата. Как только он выехал на старт, я забрался на трибуну с новым биноклем, который мой старик для того и купил мне, чтоб я на них смотрел. Старт был далеко, на дальнем конце ипподрома, и у барьера сначала что-то не ладилось. Какая-то лошадь в темных шорах все нервничала, становилась на дыбы и раз даже наскочила на барьер, но мне было видно, что мой старик в нашем черном камзоле с белым крестом и в черном картузе сидит на Гилфорде и оглаживает его. Потом они поскакали и скрылись из виду за деревьями, и звонок звонил что есть мочи, и окна кассы захлопнулись со стуком. Ох, я до того волновался, просто боялся на них смотреть, а все-таки навел бинокль на то место, где они должны были показаться из-за деревьев, и они показались; наш черный камзол шел третьим, и все они перелетели через ров как птицы. Тут они опять скрылись из виду, потом показались и поскакали вниз по косогору, и шли ровно, легко и красиво, плавно взяли изгородь все разом, потом стали удаляться от нас сплошной массой. Казалось, можно было прямо шагать по их спинам, так они слились в одно целое и так ровно шли. Потом, распластавшись, они перенеслись через двойную ирландскую банкетку, и кто-то упал. Мне не видно было, кто упал, но через минуту лошадь поднялась и поскакала галопом в сторону, а остальные, все еще сгорбившись, обогнули длинный левый поворот и вышли на прямую. Они перескочили каменную стенку и, скучившись, поскакали по треку ко рву с водой напротив трибун. Я видел, как они подходят, и окликнул моего старика, когда он проскакал мимо; он был впереди почти на целый корпус и немножко в стороне, легкий, как обезьяна, и все они скакали ко рву с

водой. Все разом взяли высокую изгородь у рва, и вдруг послышался треск, и все смешалось, и две лошади выскочили оттуда боком и поскакали дальше, а три остались лежать. Моего старика нигде не было видно. Одна лошадь поднялась на колени, и жокей ухватился за повод, сел и отправился получать свои деньги за место. Другая лошадь поднялась сама и пошла галопом, мотая головой, с повисшими поводьями, а жокей, пошатываясь, отошел с трека к ограде. И тут Гилфорд откатился в сторону от моего старика, встал и пошел прочь на трех ногах, волоча правое копыто, а мой старик лежал как пласт на траве, лицом кверху, и голова у него была вся в крови с одного бока. Я сбежал с трибуны вниз и протолкался сквозь толпу к самой ограде, тут полицейский схватил меня и не выпускал, и двое рослых санитаров с носилками пошли за моим стариком, а далеко, на другой стороне ипподрома, я увидел, как три лошади, вытянувшись в ленточку, показались из-за деревьев и взяли препятствие.

Мой старик был уже мертв, когда его принесли, и в то время, как доктор слушал его сердце какой-то штукой, вставленной в уши, я услышал выстрел на треке и понял, что это убили Гилфорда. Когда носилки внесли в приемный покой, я лег рядом со стариком, уцепился за носилки и плакал, плакал, а он был такой бледный и осунувшийся, такой мертвый, и все-таки я не мог не думать, что раз уж мой старик умер, незачем было пристреливать Гилфорда. Копыто у него еще зажило бы. Не знаю, право. Я так любил моего старика.

Потом вошли какие-то двое, и один из них похлопал меня по спине, подошел к моему старику и посмотрел на него, потом стянул простыню с койки и прикрыл его; а другой говорил в телефон по-французски, чтобы прислали санитарную карету и отвезли его в Мезон. А я все не мог перестать и плакал, а тут вошел Джордж Гарднер, сел на пол рядом со мной, обнял меня и сказал:

— Ну, будет, Джо, вставай, пойдем на улицу дожидаться санитарной кареты.

Мы с Джорджем вышли за ворота, и я старался больше не плакать. Джордж вытер мне лицо своим платком, и мы отошли немножко в сторону, пока толпа выходила из ворот, и какие-то двое остановились рядом с нами, пока мы дожидались, чтобы все вышли из ворот, и один из них сказал, пересчитывая пачку билетов:

— Ну! Доигрался-таки Бэтлер в конце концов.

Другой сказал:

— Ну и черт с ним, с мошенником. Того и надо было ждать, сам напрашивался.

— Конечно, сам напрашивался,— сказал первый и разорвал пачку билетов пополам.

Джордж Гарднер взглянул на меня, слышал я или нет; само собой, я все слышал, и он сказал:

— Не слушай этих дураков, Джо. Твой отец был молодчина.

Не знаю, право. Похоже, что стоит им только взяться, и от человека ничего не останется.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Маэра лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок, закрыв голову руками. Под ним было тепло и липко от крови. Он всякий раз чувствовал приближение рогов. Иногда бык только толкал его головой. Раз он почувствовал, как рог прошел сквозь его тело и воткнулся в песок. Кто-то схватил быка за хвост. Все кричали на быка и махали плащами перед его мордой. Потом бык исчез. Какие-то люди подняли Маэру и бегом пронесли его по арене, потом через ворота, кругом по проходу под трибунами, в лазарет. Маэру положили на койку, и кто-то пошел за доктором. Остальные столпились возле койки. Доктор прибежал прямо из корраля, где он зашивал животы лошадям пикадоров. Ему пришлось сперва вымыть руки. Сверху, с трибун, доносился рев толпы. Маэра почувствовал, что все кругом становится все больше и больше, а потом все меньше и меньше. Потом опять больше, больше и больше и снова меньше и меньше. Потом все побежало мимо, быстрей и быстрей,— как в кино, когда ускоряют фильм. Потом он умер.

НА БИГ-РИВЕР

I

Поезд исчез за поворотом, за холмом, покрытым обгорелым лесом. Ник сел на свой парусиновый мешок с припасами и постелью, который ему выбросили из багажного вагона. Города не было, ничего не было, кроме рельсов и обгорелой земли. От тринадцати салунов на единственной улице Сенея не осталось и следа. Торчал из земли голый фундамент «Гранд-отеля». Камень от огня потрескался и раскрошился. Вот и все, что осталось от города Сенея. Даже верхний слой земли обратился в пепел.

Ник оглядел обгорелый склон, по которому раньше были разбросаны дома, затем пошел вдоль путей к мосту через реку. Река была на месте. Она бурлила вокруг деревянных свай. Ник посмотрел вниз, в прозрачную воду, темную от коричневой гальки, устилавшей дно, и увидел форелей, которые, подрагивая плавниками, неподвижно висели в потоке. Пока он смотрел, они вдруг изменили положение, быстро вильнув под углом, и снова застыли в несущейся воде. Ник долго смотрел на них.

Он смотрел, как они держатся против течения, множество форелей в глубокой, быстро бегущей воде, слегка искаженных, если смотреть на них сверху, сквозь стеклянную выпуклую поверхность бочага, в котором вода вздувалась от напора на сваи моста. Самые крупные форели держались на дне. Сперва Ник их не заметил. Потом он вдруг увидел их на дне бочага,— крупных форелей, старавшихся удержаться против течения на песчаном дне в клубах песка и гравия, взметенных потоком.

Ник смотрел в бочаг с моста. День был жаркий. Над рекой вверх по течению пролетел зимородок. Давно уже Нику не случалось смотреть в речку и видеть форелей. Эти были очень хороши. Когда тень зимородка скользнула по воде, вслед за ней метнулась большая форель, ее тень вычертила угол; потом тень исчезла, когда рыба выплеснулась из воды и сверкнула на солнце; а когда она опять погрузилась, ее тень, казалось, повлекло течением вниз, до прежнего места под мостом, где форель вдруг напряглась и снова повисла в воде, головой против течения.

Когда форель шевельнулась, сердце у Ника замерло. Прежнее ощущение ожило в нем.

Он повернулся и взглянул вниз по течению. Река уходила вдаль, выстланная по дну галькой, с отмелями, валунами и глубокой заводью в том месте, где река огибала высокий мыс.

Ник пошел обратно по шпалам, туда, где на золе около рельсов лежал его мешок. Ник был счастлив. Он расправил ремни, туго их затянул, взвалил мешок на спину, продел руки в боковые петли и постарался ослабить тяжесть на плечах, налегая лбом на широкий головной ремень. Все-таки мешок был очень тяжел. Слишком тяжел. В руках Ник держал кожаный чехол с удочками и, наклоняясь вперед, чтобы переместить тяжесть повыше на плечи, он пошел по дороге вдоль полотна, оставляя позади, под жарким солнцем, городское пожарище, потом свернул в сторону между двух высоких обгорелых холмов и выбрался на дорогу, которая вела прочь от полотна. Он шел по дороге, чувствуя боль в спине от тяжелого мешка. Дорога все время шла в гору. Подниматься в гору было трудно. Все мускулы у Ника болели, и было жарко, но Ник был счастлив. Он чувствовал, что все осталось позади, не нужно думать, не нужно писать, ничего не нужно. Все осталось позади.

За это время — с той минуты, как он сошел с поезда и ему выбросили мешок из багажного вагона — Ник увидел, что многое изменилось. Сеней сгорел, и склоны кругом обгорели и стали совсем другими, но это ничего. Все не могло же сгореть. Ник был в этом уверен. Он брел по дороге, весь в поту под жарким солнцем, поднимаясь в гору, чтобы пересечь цепь холмов, отделявшую полотно железной дороги от лесистой равнины.

Дорога шла то вверх, то вниз, но в общем все поднималась. Ник шел все дальше в гору. Наконец дорога, некоторое время тянувшаяся вдоль обгорелого склона, вывела его на вершину холма. Ник прислонился к пню и сбросил плечевые ремни. Прямо перед ним, сколько он мог охватить взглядом, раскинулась равнина. Следы пожара кончались слева, у подножья хол-

мов. Среди равнины были разбросаны островки темного соснового леса. Вдали, налево, виднелась река. Ник проследил ее взглядом и уловил блеск воды на солнце.

Равнина раскинулась до самого горизонта, где далекие голубые холмы отмечали границу возвышенности Верхнего озера. Далекие и неясные, они были едва видны сквозь дрожащий от зноя воздух над залитой солнцем равниной. Если пристально глядеть на них, они пропадали. Но если взглядывать на них вскользь, они были там, далекие холмы Верхнего озера.

Ник сел на землю, прислонился к обгорелому пню и закурил. Мешок лежал на пне, с ремнями наготове, на нем еще оставалась вмятина от спины Ника. Ник сидел, курил и глядел по сторонам. Ему незачем было доставать карту. По положению реки он и так мог сказать, где находится.

Пока Ник курил, вытянув ноги, он заметил, что с земли на его шерстяной носок взобрался кузнечик. Кузнечик был черный. Когда Ник шел по дороге в гору, у него из-под ног все время выскакивали кузнечики. Все они были черные. Это были не те крупные кузнечики, у которых, когда они взлетают, под черными надкрыльями с треском раскрываются желтые с черным или красные с черным крылышки. Это были самые обыкновенные кузнечики, но только черные, как сажа. Ник обратил на них внимание, еще когда шел по дороге, но тогда он над этим не задумался. Теперь, глядя, как черный кузнечик пощипывает ворс на его носке, он сообразил, что они стали черными, оттого что жили на обугленной земле. Пожар, должно быть, случился в прошлом году, но кузнечики и сейчас были черные. Любопытно бы знать, сколько еще времени они останутся черными?

Он осторожно протянул руку и поймал кузнечика за крылья. Ник перевернул его — кузнечик при этом все время перебирал лапками в воздухе — и стал рассматривать его кольчатое брюшко. Да, и брюшко тоже было черное, переливчатое, а голова и спина тусклые.

— Ну, ступай, кузнечик,— сказал Ник; в первый раз он заговорил громко.— Лети себе.

Он подбросил кузнечика в воздух и проводил его взглядом, когда тот полетел через дорогу к обугленному пню.

Ник поднялся на ноги. Он прислонился спиной к своему мешку, лежащему на пне, и продел руки в ременные петли. Он стоял на вершине холма с мешком на спине и глядел через равнину вдаль, на реку, потом свернул с дороги и стал спускаться прямиком по склону холма. По обгорелой земле было легко идти. Шагах в двухстах от склона следы пожара прекращались.

Дальше начинался высокий, выше щиколотки, мягкий дрок и сосны небольшими островками; волнистая равнина с песчаной почвой, с частыми подъемами и спусками, зеленая и полная жизни.

Ник ориентировался по солнцу. Он знал на реке хорошее местечко, и теперь, чтобы выйти туда, пересекал равнину, поднимаясь на невысокие склоны, за которыми открывались новые склоны, а иногда с возвышения вдруг обнаруживался справа или слева большой остров густого соснового леса. Он нарвал похожего на вереск дрока и подсунул себе под ремни. Ремни растирали дрок, и Ник на ходу все время чувствовал его запах.

Он устал, и было очень жарко идти по неровной, лишенной тени равнине. Он знал, что в любое время может выйти к реке, стоит только свернуть налево. До реки, наверное, не больше мили. Но он продолжал идти на север, чтобы к вечеру выйти к реке как можно выше по течению.

Уже давно Ник видел перед собой большой остров соснового леса, выступавший над волнистой равниной. Ник спустился в лощину, а затем, выйдя на гребень, повернул и пошел к лесу.

В лесу не было кустарника. Стволы поднимались одни прямо вверх, другие немного наклонно, но все были прямые и темные, и внизу веток на них не было. Ветки начинались высоко вверху. Местами они переплетались, отбрасывая наземь густую тень. По краю леса шла полоса голой земли. Земля была темная и мягкая под ногами. Ее покрывал ковер из сосновых игл, выдвинувшийся здесь за пределы леса. Деревья выросли, и ветки передвинулись выше, и те места, на которые раньше падала от них тень, теперь оказались открытыми. На небольшом расстоянии от деревьев эта лесная почва сразу кончалась, и дальше шли заросли дрока.

Ник сбросил мешок и прилег в тени. Он лежал на спине и глядел вверх сквозь ветки. Он вытянулся на земле, и плечи, спина и поясница у него отдыхали. Приятно было чувствовать спиной землю. Он поглядел на небо между ветвями, потом закрыл глаза. Потом снова открыл и поглядел вверх. Высоко в ветвях был ветер. Он опять закрыл глаза и заснул.

Ник проснулся с ломотой и болью в теле. Солнце уже почти село. Мешок показался ему тяжелым, и ремни резали плечи. Он нагнулся с мешком на спине, поднял чехол с удочками и пошел через заросли дрока по направлению к реке. Он знал, что до реки не больше мили.

По склону, усеянному пнями, он спустился на луг. За лугом открылась река. Ник был доволен, что добрался до нее. Он по-

шел лугом вдоль реки, вверх по течению. Брюки у него намокли от росы. После жаркого дня выпала ранняя и обильная роса. Река не шумела. У нее было слишком ровное и быстрое течение. На краю луга, прежде чем искать высокого места для ночлега, Ник остановился и посмотрел на реку. Форели поднимались на поверхность воды в погоне за насекомыми, которые после захода солнца стали появляться из болота за рекой. В погоне за ними форели выпрыгивали из воды. Пока Ник шел по лугу вдоль реки, форели то и дело выпрыгивали из воды. Теперь все насекомые, должно быть, опустились на воду, потому что форели ловили их прямо на поверхности. Повсюду на реке, сколько мог охватить взгляд, форели поднимались из глубины, и по воде всюду шли круги, как будто начинался дождь.

Ник поднялся по склону, песчаному и лесистому, откуда виден был луг, полоска реки и болото. Ник сбросил мешок, положил на землю чехол с удочками и огляделся, отыскивая ровное место. Он был очень голоден, но хотел разбить лагерь раньше, чем приниматься за стряпню. Ровное место нашлось между двумя соснами. Ник достал из мешка топор и срубил два торчавших из земли корня. Получилась ровная площадка, достаточно большая, чтобы на ней устроиться на ночлег. Ник ладонями разровнял песок и повыдергал дрок с корнями. Руки стали приятно пахнуть дроком. Взрытую землю он снова разровнял. Он не хотел, чтобы у него были бугры в постели. Выровняв землю, он расстелил три одеяла. Одно он сложил вдвое и постелил прямо на землю. Два других постелил сверху.

От одного из пней он отколол блестящий сосновый горбыль и расщепил его на колышки для палатки. Он сделал их прочными и длинными, чтобы они крепко держались в земле. Когда он вынул палатку и расстелил ее на земле, мешок, прислоненный к сосновому стволу, стал совсем маленьким. К стволу одной сосны Ник привязал веревку, поддерживающую верх палатки, потом натянул ее, поддернув таким образом палатку кверху, и конец веревки обмотал вокруг другой сосны. Теперь палатка висела на веревке, как простыня, повешенная для просушки. Шестом, который Ник вырезал еще раньше, он подпер задний угол палатки и затем колышками закрепил бока. Он туго натянул края и глубоко вогнал колышки в землю, заколачивая их обухом топора, так что веревочные петли совсем скрылись в земле, а парусина стала тугая, как барабан.

Открытую сторону палатки Ник затянул кисеей, чтобы комары не забрались внутрь. Захватив из мешка кое-какие вещи, которые можно было положить под изголовье, Ник приподнял

кисею и заполз в палатку. Сквозь коричневую парусину в палатку проникал свет. Приятно пахло парусиной. В палатке было таинственно и уютно. Ник почувствовал себя счастливым, когда забрался в палатку. Он и весь день не чувствовал себя несчастным. Но сейчас было иначе. Теперь все было сделано. Днем вот это — устройство лагеря — было впереди. А теперь это сделано. Переход был тяжелый. Он очень устал. И он все сделал. Он разбил палатку. Он устроился. Теперь ему ничего не страшно. Это хорошее место для стоянки. И он нашел это хорошее место. Он теперь был у себя, в доме, который сам себе сделал, на том месте, которое сам выбрал. Теперь можно было поесть.

Он выполз из палатки, приподняв кисею. В лесу уже стемнело. В палатке было светлей.

Ник подошел к мешку, ощупью отыскал бумажный пакет с гвоздями и со дна пакета достал длинный гвоздь. Он вбил его в ствол сосны, придерживая пальцами и тихонько ударяя обухом топора. На гвоздь он повесил мешок. В мешке были все его припасы. Теперь они подвешены высоко и будут в сохранности.

Ник был голоден. Ему казалось, что никогда в жизни он не бывал так голоден. Он открыл две банки с консервами — одну со свининой и бобами, другую с макаронами,— и выложил все это на сковородку.

— Я имею право это есть, раз притащил на себе,— сказал Ник. Голос его странно прозвучал среди леса, в сгущающейся темноте. Больше он не говорил вслух.

Он развел костер из сосновых щепок, которые отколол топором от пня. Над костром он поставил жаровню, каблуком заколотив в землю все четыре ножки. На решетку над огнем он поставил сковороду. Ему еще больше захотелось есть. Бобы и макароны разогрелись. Ник перемешал их. Они начинали кипеть, на них появлялись маленькие пузырьки, с трудом поднимавшиеся на поверхность. Кушанье приятно запахло. Ник достал бутылку с томатным соусом и отрезал четыре ломтика хлеба. Пузырьки вскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и снял с огня сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку. Оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку; он вовсе не намеревался обжигать язык и портить себе все удовольствие. Он никогда, например, не мог с удовольствием поесть жареных бананов, потому что у него не хватало терпенья дождаться, пока они остынут. Язык у него очень чувствителен к горячему. Ник

«Непобежденны˘»

был очень голоден. Он увидел, что за рекой, над болотом, где уже почти стемнело, поднимается туман. Он опять поглядел на палатку. Ну, теперь можно. Он зачерпнул ложкой с тарелки.

— Ах, черт! — сказал Ник.— Ах, черт побери! — сказал он с наслаждением.

Он съел полную тарелку и даже не вспомнил о хлебе. Вторую порцию он съел с хлебом и дочиста вытер коркой тарелку. С самого утра он ничего не ел, кроме кофе и сандвича с ветчиной на вокзале в Сент-Игнесе. Все вместе было очень приятно. Замечательное ощущение. Ему и раньше случалось бывать очень голодным, но тогда не удавалось утолить голод. Он мог бы уже давно разбить лагерь, если бы захотел. На реке было сколько угодно хороших мест. Но так лучше.

Ник подбросил в костер две большие сосновые щепки. Огонь запылал сильнее. Ник вспомнил, что не принес воды для кофе. Он достал из мешка брезентовое ведро и по склону холма, а потом краем луга спустился к реке. На том берегу лежал белый туман. Трава была мокрая и холодная. Ник стал на колени на берегу и забросил ведро в воду. Оно расправилось в воде и крепко натянуло веревку. Вода была ледяная. Ник сполоснул ведро, наполнил его до краев и понес в лагерь. Повыше, над рекой, было не так холодно.

Ник вбил в дерево еще один большой гвоздь и подвесил ведро с водой. Он до половины наполнил кофейник, подбросил щепок в костер и поставил кофейник на решетку. Он не мог припомнить, как он раньше варил кофе. Помнил только, что однажды поспорил из-за этого с Хопкинсом, но позабыл, какой способ он тогда защищал. Он решил вскипятить кофе. И тут же вспомнил, что это как раз и есть способ Хопкинса. Когда-то они готовы были спорить обо всем на свете. Поджидая, пока кофе закипит, он открыл небольшую банку с абрикосовым компотом. Ему нравилось открывать банки. Он опорожнил банку в оловянную чашку. Поглядывая на кофейник, Ник сначала выпил абрикосовый сок, очень осторожно, стараясь не пролить, а потом неторопливо стал подбирать уже самые фрукты. Они были вкуснее, чем свежие абрикосы.

Кофейник тем временем вскипел. Крышка приподнялась, и кофе вместе с гущей потек по кофейнику. Ник снял кофейник с решетки. Хопкинс мог торжествовать. Ник положил сахару в пустую чашку, из которой только что пил компот, и налил в нее немного кофе, чтоб остыл. Кофе был очень горячий, и, наливая, Ник прихватил ручку кофейника своей шляпой. Он не даст гуще осесть в кофейнике. По крайней мере, хоть первую чашку

покрепче. Пускай все будет по Хопкинсу, с начала до конца, Хопкинс это заслужил. Хопкинс был знаток изготовления кофе, серьезный человек. Самый серьезный из всех, кого Ник знал. Это все было очень давно. Хопкинс, когда разговаривал, не шевелил губами. Он любил играть в поло. Он нажил миллионы в Техасе. Когда пришла телеграмма, что на его участке забил фонтан, ему пришлось занять денег на билет до Чикаго. Он мог бы телеграфировать, чтобы ему выслали денег, но это было бы слишком дорого. Его невесту прозвали «Белокурой Венерой». Хоп не обижался, потому что она не была его настоящей невестой. Как-то раз он сказал, что совершенно спокоен на этот счет,— над его настоящей невестой никто не посмел бы шутить. Он был прав. Потом пришла телеграмма, и он уехал. Это случилось на Блэк-Ривер. Телеграмма шла восемь дней. Хопкинс подарил Нику свой кольт двадцать второго калибра. Фотоаппарат он подарил Биллу. Это — затем, чтобы они его не забывали. Будущим летом все они собирались на рыбную ловлю. Теперь, когда Хоп разбогател, он купит яхту, они будут плавать по Верхнему озеру вдоль северного берега. При прощании Хоп был взволнован, но серьезен. Всем стало грустно. С его отъездом экскурсия расстроилась. Больше они никогда не видели Хопкинса. Все это было очень давно, на Блэк-Ривер.

Ник выпил кофе, приготовленный по способу Хопкинса. Кофе оказался горьким. Ник засмеялся. Недурная концовка для рассказа. Мысль его начала работать. Он знал, что может ее остановить, потому что достаточно устал. Он вылил кофе из кофейника и вытряхнул гущу в костер. Он закурил папиросу и заполз в палатку. Сидя на одеялах, он снял брюки и башмаки, завернул башмаки в брюки, подложил их под голову вместо подушки и забрался под одеяло.

Через открытую сторону палатки он видел, как рдеют угли костра, когда их раздувает ночным ветром. Ночь была тихая. На болоте было совершенно тихо. Ник удобно растянулся под одеялом. У самого его уха жужжал комар. Ник сел и зажег спичку. Комар сидел на парусине у него над головой. Ник быстро поднес к нему спичку и с удовлетворением услышал, как комар зашипел на огне. Спичка погасла. Ник снова вытянулся под одеялом. Он повернулся на бок и закрыл глаза. Ему хотелось спать. Он чувствовал, что засыпает. Он свернулся под одеялом и заснул.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Сэма Кардинелла повесили в шесть часов утра в коридоре окружной тюрьмы. Коридор был высокий и узкий, с камерами по обе стороны. Все камеры были заняты. Осужденных доставили заранее. Пятеро приговоренных к повешению находились в первых пяти камерах. Трое из них были негры. Они очень боялись. Из белых один сидел на койке, опустив голову на руки. Другой лежал, вытянувшись на койке, закутав голову одеялом.

К виселице выходили через дверь в стене. Всего было семь человек, считая вместе с обоими священниками. Сэма Кардинелла пришлось нести. Он был в таком состоянии с четырех часов утра.

Когда ему связывали ноги, два надзирателя поддерживали его, а оба священника шептали ему на ухо.

— Будь мужчиной, сын мой,— говорил один из священников.

Когда к нему подошли, чтобы надеть ему на голову капюшон, у Сэма Кардинелла началось недержание кала. Надзиратели с отвращением бросили его.

— Нет ли табуретки, Билл? — спросил один из надзирателей.

— Принесите,— сказал какой-то человек в котелке.

Когда все отступили за спускной люк, который был очень тяжел, сделан из дуба и стали и вращался на шарикоподшипниках, посреди помоста остался Сэм Кардинелл, сидевший на стуле, крепко связанный; священник отпрыгнул назад в самую последнюю минуту перед тем, как опустили люк.

НА БИГ-РИВЕР

II

Когда он проснулся, солнце было высоко, и палатка уже начала нагреваться. Ник вылез из-под сетки от комаров, которой был затянут вход в палатку, поглядеть, какое утро. Когда он вылезал, трава была мокрая на ощупь. Брюки и башмаки он держал в руках. Солнце только что поднялось над холмом. Кругом были луг, река, болото. За рекой по краю болота росли березы.

Сейчас, ранним утром, река была светлая, гладкая, бежала быстро. Шагов на двести ниже по течению поперек реки торчали три коряги. Вода перекатывалась через них, гладкая и глубокая. Ник увидел, как выдра перешла по корягам через реку и скрылась в болоте. Раннее утро и река радовали его. Ему не терпелось отправиться в путь, хотя бы и без завтрака, но он знал, что позавтракать необходимо. Он развел небольшой костер и поставил кофейник на огонь.

Пока вода нагревалась, Ник взял пустую бутылку и спустился к реке. Луг был мокрый от росы, и Ник хотел наловить кузнечиков для наживки раньше, чем солнце обсушит траву. Он нашел много отличных кузнечиков. Они сидели у корней травы. Некоторые сидели на стеблях. Все были холодные и мокрые от росы и не могли прыгать, пока не обсохнут на солнце. Ник стал собирать их; он брал только коричневых, среднего размера и сажал в бутылку. Он перевернул поваленное дерево, и там, под прикрытием, кузнечики сидели сотнями. Здесь был их дом. Ник набрал в бутылку не меньше пятидесяти штук коричневых, среднего размера. Пока он их собирал, остальные отогрелись на солн-

це и начали прыгать в разные стороны. Прыгая, они раскрывали крылышки. Они делали прыжок и, упав на землю, больше уже не двигались, словно мертвые.

Ник знал, что к тому времени, как он позавтракает, кузнечики совсем оживут. Если упустить время, то целый день уйдет на то, чтобы набрать полную бутылку хороших кузнечиков, и, кроме того, сбивая их шляпой, он многих передавит. Он сошел на берег и вымыл руки. Его радовало, что он так близко от реки. Потом он пошел к палатке. Кузнечики уже тяжело прыгали по траве. В бутылке, обогретые солнцем, они прыгали все разом. Ник заткнул бутылку сосновой палочкой. Она затыкала горлышко как раз настолько, чтобы кузнечики не могли выскочить, а воздух проходил свободно.

Ник перекатил бревно на прежнее место; он знал теперь, что здесь можно будет каждое утро набирать сколько угодно кузнечиков.

Бутылку, полную прыгающих кузнечиков, Ник прислонил к сосне. Он проворно смешал немного гречневой муки с водой, чашку муки на чашку воды, и замесил тесто. Он всыпал горсть кофе в кофейник, добыл кусок сала из банки и бросил его на горячую сковороду. Потом в закипевшее сало он осторожно налил теста. Оно разлилось по сковороде, как лава. Сало пронзительно шипело. Тесто по краям стало затвердевать, потом подрумяниваться, потом отставать от сковороды. Поверхность пузырилась, становилась пористой. Ник взял чистую сосновую щепку и подсунул ее под лепешку, уже подрумяненную снизу. Он встряхнул сковороду, и лепешка отделилась от дна. «Только бы не разорвать»,— подумал Ник. Он подсунул щепку как можно дальше под лепешку и перевернул ее на другой бок. Она зашипела.

Когда лепешка была готова, Ник опять смазал сковороду салом. Теста хватило на два больших блина и один поменьше.

Ник съел большой блин, потом маленький, намазав их яблочным желе. Третий блин он намазал яблочным желе и сложил пополам, завернул в пергамент и положил в боковой карман. Он спрятал банку с желе обратно в мешок и отрезал четыре ломтика хлеба для сандвичей.

В мешке он отыскал большую луковицу. Он разрезал ее пополам и содрал шелковистую верхнюю кожицу. Затем одну половину он изрезал на тонкие ломтики и приготовил два сандвича с луком. Их он тоже завернул в пергамент, засунул в другой большой карман и застегнул пуговицу. Он положил сковороду вверх дном на решетку, выпил кофе, сладкий и желтовато-ко-

ричневый от сгущенного молока и прибрал лагерь. Хороший получился у него лагерь.

Ник достал свой спиннинг из кожаного чехла, свинтил удилище, а чехол засунул обратно в палатку. Он надел катушку и стал наматывать на нее лесу. Лесу приходилось при этом перехватывать из руки в руку, иначе она разматывалась от собственной тяжести. Это была тяжелая двойная леса. Когда-то Ник заплатил за нее восемь долларов. Она была нарочно сделана толстой и тяжелой, чтобы ею можно было взмахнуть и чтобы она тяжело, плоско падала и прямо ложилась на воду; иначе нельзя было бы далеко забросить легкую наживку. Ник открыл алюминиевую коробочку с поводками. Поводки были проложены фланелевой прокладкой. Фланелевую прокладку Ник в поезде смочил водой из фильтра, когда подъезжал к Сент-Игнесу. От влаги поводки размягчились, и Ник расправил один и привязал узелком к концу тяжелой лесы. К поводку он привязал крючок. Крючок был маленький, очень тонкий и упругий.

Ник достал крючок, положив удилище на колени. Он туго натянул лесу, проверяя узлы и скрепления на удилище. Это было приятное чувство. Он проделал это осторожно, чтобы крючок не воткнулся в руку.

Он стал спускаться к реке, держа в руках спиннинг; бутылка с кузнечиками висела у него на шее на ремешке, обвязанном вокруг горлышка. Сачок для рыбы висел на крючке на поясе. Через плечо у него был подвешен длинный мешок из-под муки; верхние углы мешка он завязал бечевкой и перекинул бечевку через плечо. Мешок хлопал его по ногам.

Обвешанный всем этим снаряжением, Ник двигался с трудом, но чувствовал себя настоящим рыболовом. Бутылка с кузнечиками болталась у него на груди. Карманы ковбойки, набитые сандвичами и коробочками с крючками и наживой, давили на грудь.

Он вошел в воду. Его обожгло. Брюки прилипли к ногам. Сквозь башмаки он чувствовал камешки на дне. Холодная вода обжигала, поднимаясь все выше по ногам.

Вода бурлила вокруг его ног. Там, где он вошел в реку, вода была выше колен. Он побрел по течению. Ноги скользили по гравию. Он глянул вниз, в водовороты, крутившиеся вокруг его ног, и встряхнул бутылку, чтобы достать кузнечика.

Первый кузнечик, выбравшись из горлышка, одним прыжком выскочил из бутылки и упал в воду. Его сейчас же засосало водоворотом возле правой ноги Ника, потом он выплыл немного ниже по течению. Он быстро плыл, барахтаясь. Внезапно на

гладкой поверхности воды появился круг, и кузнечик исчез. Его поймала форель.

Другой кузнечик высунул голову из горлышка бутылки. Он поводил усиками. Он карабкался по горлышку бутылки, готовясь прыгнуть. Ник ухватил его за голову и, крепко держа, стал насаживать на крючок; он воткнул ему крючок под челюсти и дальше, сквозь головогрудь, до самого последнего сегмента брюшка. Кузнечик обхватил крючок передними ногами и выпустил на него табачного цвета сок. Ник забросил его в воду.

Держа спиннинг в правой руке, он повел лесу против течения. Левой рукой он снял лесу с катушки и пустил ее свободно. Кузнечик был еще виден среди мелкой ряби. Потом скрылся из виду.

Вдруг леса натянулась. Ник стал выбирать ее. В первый раз клюнуло. Держа ожившую теперь удочку поперек течения, он подтягивал лесу левой рукой. Удилище то и дело сгибалось, когда форель дергала лесу. Ник чувствовал, что это небольшая форель. Он поставил удилище стоймя. Оно согнулось.

Он увидел в воде форель, дергавшуюся головой и всем телом; наклонная черта лесы в воде постепенно выпрямлялась.

Ник перехватил лесу левой рукой и вытащил на поверхность устало бившуюся форель. Спина у нее была пятнистая, светло-серая, такого же цвета, как просвечивающий сквозь воду гравий, бока сверкнули на солнце. Зажав удочку под мышкой, Ник нагнулся и окунул правую руку в воду. Мокрой правой рукой он взял ни на минуту не переставшую биться форель, вынул у нее крючок изо рта и пустил ее обратно в воду.

Мгновение форель висела в потоке, потом опустилась на дно возле камня. Форель оставалась неподвижной в бегущей воде, лежала на дне, возле камня. Когда Ник пальцами коснулся ее гладкой спинки, он ощутил подводный холод ее кожи; форель исчезла, только тень ее скользнула по дну.

«Ничего. Обойдется,— подумал Ник.— Просто она устала».

Он смочил руку, прежде чем взять форель, чтобы не повредить одевавший ее нежный слизевой покров. Если тронуть ее сухой рукой, на пораженном месте развивается белый паразитический грибок. Раньше, когда Ник ловил форелей на реках, где бывало много народу и, случалось, впереди него и позади шли другие рыболовы, ему постоянно попадались дохлые форели, все в белом пуху, прибитые течением к камню или плавающие брюхом вверх в тихой заводи. Ник не любил, когда на реке были другие рыболовы. Если они не принадлежат к вашей компании, они портят все удовольствие.

Он побрел дальше по течению, по колено в воде, по мелководью, занимавшему участок шагов в пятьдесят длиной, выше коряг, торчавших поперек реки. Он держал крючок в руке, но не стал насаживать на него новой приманки. На отмелях можно наловить мелкой форели, но она Ника не интересовала. А крупной форели в этот час дня не бывает на мелководье.

Теперь вода доходила ему до бедер, холодная, обжигающая, и прямо перед ним была заводь, запруженная корягами. Вода была гладкая и темная; налево — нижний край луга, направо — болото.

Ник откинулся назад, навстречу течению, и достал кузнечика из бутылки. Он насадил его на крючок и плюнул на него, на счастье. Затем он размотал несколько ярдов лесы с катушки и забросил кузнечика далеко вперед, в быструю темную воду. Кузнечик поплыл к корягам, потом от тяжести лесы ушел под воду. Ник держал удилище в правой руке, пропуская лесу между пальцами.

Лесу сильно дернуло. Ник подсек, и удилище поднялось, напряженное, словно живое, согнутое пополам, готовое сломаться; и леса натянулась, выходя из воды; она натягивалась все сильней, все напряженней. Ник почувствовал, что еще секунда — и поводок оборвется; он отпустил лесу.

Катушка завертелась с визгом, когда леса начала стремительно разматываться. Слишком быстро. Ник не успевал следить за лесой, леса слетала с катушки, визг становился все пронзительней.

Катушка обнажилась. Сердце у Ника, казалось, перестало биться от волнения. Откинувшись назад в ледяной воде, доходившей ему до бедер, Ник крепко прихватил катушку левой рукой. Большой палец с трудом влезал в отверстие катушки.

Когда он задержал катушку, леса вдруг стала тугой и жесткой, и за корягами огромная форель высоко выпрыгнула из воды. Ник тотчас нагнул удилище, чтобы ослабить лесу. Но уже в тот момент, как он его нагибал, он почувствовал, что напряжение слишком велико, леса стала слишком тугой. Ну конечно, поводок оборвался. Он безошибочно это почувствовал по тому, как леса вдруг потеряла всякую упругость, стала сухой и жесткой. Потом ослабла.

Во рту у Ника пересохло, сердце упало. Он стал наматывать лесу на катушку. Ему никогда не попадалось такой большой форели. Чувствовалось, что она такая тяжелая, такая сильная, что ее не удержишь. И какая громадина. С хорошего лосося величиной.

Руки у Ника тряслись. Он медленно наматывал лесу. Он слишком переволновался. У него закружилась голова, слегка поташнивало, хотелось присесть отдохнуть.

Поводок оборвался в том месте, где был привязан к крючку. Ник взял его в руки. Он думал о форели, о том, как где-то на покрытом гравием дне она старается удержаться против течения, глубоко на дне, куда не проникает свет, под корягами, с крючком во рту. Ник знал, что зубы форели в конце концов перекусят крючок. Но самый кончик так и останется у нее в челюсти. Форель, наверно, злится. Такая огромная тварь обязательно должна злиться. Да, вот это была форель. Крепко сидела на крючке. Как камень. Она и тяжелая была, как камень, пока не сорвалась. Ну и здоровая же. Черт, я даже не слыхал про таких.

Ник выбрался на луг. Вода стекала у него по брюкам, хлюпала в башмаках. Он прошел немного берегом и сел на корягу. Он не спешил, ему хотелось продлить удовольствие.

Он пошевелил пальцами ног в воде, наполнявшей башмаки, и достал папиросу из бокового кармана. Он закурил и бросил спичку в быстро бегущую воду под корягами. Когда спичку завертело течением, за ней погналась маленькая форель. Ник засмеялся. Сперва он выкурил папиросу.

Он сидел на коряге, курил, обсыхая на солнце, солнце грело ему спину, впереди река уходила в лес и, повернув, исчезала в лесу,— отмели, блеск солнца, большие, отполированные водой камни, кедры вдоль берега и белые березы, коряга, теплая от солнца, на ней удобно сидеть, гладкая, без коры, серая на ощупь. И постепенно его покинуло чувство разочарования, резко сменившее возбуждение, от которого у него даже заболели плечи. Теперь опять все было хорошо. Положив удилище на корягу, он привязал новый крючок к поводку и до тех пор затягивал жилу, пока она не слиплась в твердый, плотный узелок.

Он насадил наживку, потом взял удочку и перешел по корягам на тот берег, чтобы сойти в воду в неглубоком месте. Под корягами и за ними было глубоко. Нику пришлось обойти песчаную косу на том берегу, прежде чем он добрался до мелководья.

Налево, там, где кончался луг и начинались леса, лежал большой, вывороченный с корнем вяз. Его повалило грозой, и он лежал вершиной в лесу; корни были занесены илом и обросли травой, образуя бугор у самой воды. Река подмывала вывороченные корни. С того места, где Ник стоял, ему были видны глубокие, похожие на колеи, впадины, промытые течением в мелком дне. Там, где стоял Ник, дно было покрыто галькой;

подальше — тоже усеяно галькой и большими, торчащими из воды камнями. Но там, где река делала изгиб возле корней вяза, дно было илистое, и между впадинами извивались языки зеленых водорослей.

Ник взмахнул удочкой назад через плечо, потом вперед, и леса, описав дугу, увлекла кузнечика в одну из глубоких впадин, в чащу водорослей. Форель клюнула, и Ник подсек.

Вытянув удилище далеко вперед, по направлению к поваленному дереву, и пятясь по колено в воде, Ник вывел форель, которая все время ныряла, сгибая удилище, из опасной путаницы водорослей в открытую воду. Держа удилище, гнувшееся, как живое, Ник стал подтягивать к себе форель. Форель рвалась, но постепенно приближалась, удилище подавалось при каждом рывке, иногда его конец уходил в воду, но всякий раз форель подтягивалась немного ближе. Подняв удилище над головой, Ник провел форель над сачком и сачком подхватил ее.

Форель тяжело висела в сачке, сквозь петли виднелись ее пятнистая спинка и серебряные бока. Ник снял ее с крючка — приятно было держать в руке ее плотное тело с крепкими боками, с выступающей вперед нижней челюстью — и, бьющуюся, большую, спустил ее в мешок, свисавший в воду с его плеч. Держа мешок против течения, Ник приоткрыл его; мешок наполнился водой и стал тяжелым. Ник приподнял его, и вода начала вытекать. Дно мешка оставалось в воде, и там билась большая форель.

Ник пошел вниз по течению. Мешок висел спереди, погруженный в воду, оттягивая ему плечи.

Становилось жарко, солнце жгло ему затылок.

Одну хорошую форель он уже поймал. Много ему и не нужно. Река стала широкой и мелкой. По обоим берегам росли деревья. На левом берегу деревья под утренним солнцем отбрасывали на воду короткие тени. Ник знал, что везде в тени есть форели. После полудня, когда солнце станет над холмами, форели перейдут в прохладную тень возле другого берега.

Те, что покрупней, будут под самым берегом. На Блэк-Ривер всегда можно было их там найти. Когда же солнце садилось, они выходили на середину реки. Когда солнце заливало реку слепящим блеском, форели хорошо ловились повсюду. Но ловить их в этот час было почти невозможно: поверхность реки слепила, как зеркало на солнце. Конечно, можно было повернуться против течения, но на такой реке, как эта или Блэк-Ривер, брести против течения трудно, а в глубоких местах

вода валит с ног. Не так-то это просто на реках с быстрым течением.

Ник пошел дальше по мелководью, вглядываясь, не окажется ли возле берега глубоких ям. На самом берегу рос бук, так близко к реке, что ветви его окунались в воду. Вода крутилась вокруг листьев. В таких местах всегда водятся форели.

Нику не хотелось ловить в этой яме. Крючок наверняка зацепится за ветку.

Однако на вид тут было очень глубоко. Он забросил кузнечика так, что он ушел под воду, его закружило течением и унесло под нависшие над водой ветви. Леса сильно натянулась, и Ник подсек. Между ветвей и листьев тяжело плеснулась форель, наполовину выскочив из воды. Конечно, крючок зацепился. Ник сильно дернул, и форель исчезла. Ник смотал лесу и, держа крючок в руке, пошел вниз по течению.

Впереди, под левым берегом, лежала большая коряга. Ник видел, что в середине она пустая; вода не бурлила вокруг ее верхнего конца, а входила внутрь гладкой струей, только по бокам разбегалась мелкая рябь. Река становилась все глубже. Сверху коряга была серая и сухая. Она была наполовину в тени.

Ник вынул затычку из бутылки вместе с уцепившимся за нее кузнечиком. Ник снял его, насадил на крючок и забросил в воду. Он вытянул удилище далеко вперед, так что кузнечика понесло течением прямо к коряге. Ник нагнул удилище, и кузнечика затянуло внутрь. Лесу сильно дернуло. Ник потянул к себе удилище. Можно было подумать, что крючок зацепился за корягу, если бы только не живая упругость удочки.

Ник попробовал вывести рыбу на открытое место. Тащить ее было тяжело.

Вдруг леса ослабла, и Ник подумал, что форель сорвалась. Потом он увидел ее очень близко, в открытой воде; форель дергала головой, стараясь освободиться от крючка. Рот у нее был крепко сжат. Она изо всех сил боролась с крючком в светлой, быстро бегущей воде. Смотав лесу левой рукой, Ник поднял удилище, чтобы натянуть лесу, и попытался подвести форель к сачку, но она метнулась прочь, исчезла из виду, рывками натягивая лесу. Ник повел ее против течения, предоставив ей дергаться в воде, насколько позволяла упругость удилища. Он перенял удочку левой рукой, повел форель против течения,— она не переставала бороться, всей своей тяжестью повисая на лесе,— и опустил ее в сачок. Он поднял сачок из воды,

форель висела в нем тяжелым полукольцом, из сетки бежала вода, он снял форель с крючка и опустил ее в мешок.

Он приоткрыл мешок и заглянул в него — на дне мешка трепетали в воде две большие форели.

По все углублявшейся воде Ник побрел к пустой коряге. Он снял мешок через голову — форели забились, когда мешок поднялся из воды,— и повесил его на корягу так, чтобы форели были глубоко погружены в воду. Потом он залез на корягу и сел; вода с его брюк и башмаков стекала в реку. Он положил удочку, перебрался на затененный конец коряги и достал из кармана сандвичи. Он окунул их в холодную воду. Крошки унесло течением. Он съел сандвичи и зачерпнул шляпой воды напиться; вода вытекала из шляпы чуть быстрей, чем он успевал пить.

В тени на коряге было прохладно. Ник достал папиросу и чиркнул спичкой по коряге. Спичка глубоко ушла в серое дерево, оставив в нем бороздку. Ник перегнулся через корягу, отыскал твердое место и зажег спичку. Он сидел, курил и смотрел на реку.

Впереди река сужалась и уходила в болото. Вода становилась здесь гладкой и глубокой, и казалось, что болото сплошь поросло кедрами, так тесно стояли стволы и так густо сплетались ветви. По такому болоту не пройдешь. Слишком низко растут ветви. Пришлось бы ползти по земле, чтобы пробраться между ними. «Вот почему у животных, которые водятся в болоте, такое строение тела»,— подумал Ник.

Он пожалел, что ничего не захватил почитать. Ему хотелось что-нибудь почитать. Забираться в болото ему не хотелось. Он взглянул вниз по реке. Большой кедр наклонился над водой, почти достигая противоположного берега. Дальше река уходила в болото.

Нику не хотелось идти туда. Не хотелось брести по глубокой воде, доходящей до самых подмышек, и ловить форелей в таких местах, где невозможно вытащить их на берег. По берегам болота трава не росла, и большие кедры смыкались над головой, пропуская только редкие пятна солнечного света; в полутьме, в быстром течении, ловить рыбу было небезопасно. Ловить рыбу на болоте — дело опасное. Нику этого не хотелось. Сегодня ему не хотелось спускаться еще ниже по течению.

Он достал нож, открыл его и воткнул в корягу. Потом подтянул к себе мешок, засунул туда руку и вытащил одну из форелей. Захватив ее рукой поближе к хвосту, скользкую, живую, Ник ударил ее головой о корягу. Форель затрепетала и

замерла. Ник положил ее в тень на корягу и тем же способом оглушил вторую форель. Он положил их рядышком на корягу. Это были очень хорошие форели.

Ник вычистил их, распоров им брюхо от анального отверстия до нижней челюсти. Все внутренности вместе с жабрами вытянулись сразу. Обе форели были самцы; длинные серовато-белые полоски молок, гладкие и чистые. Все внутренности были чистые и плотные, вынимались целиком. Ник выбросил их на берег, чтобы их могли подобрать выдры.

Он обмыл форель в реке. Когда он держал их в воде против течения, они казались живыми. Окраска их кожи еще не потускнела. Ник вымыл руки и обтер их о корягу. Потом он положил форелей на мешок, разостланный на коряге, закатал и завязал сверток и уложил его в сачок. Нож все еще торчал, воткнутый в дерево. Ник вычистил лезвие о корягу и спрятал нож в карман.

Ник встал во весь рост на коряге, держа удилище в руках; сачок тяжело свисал с его пояса; потом он сошел в реку и, шлепая по воде, побрел к берегу. Он взобрался на берег и пошел прямиком через лес по направлению к холмам, туда, где находился лагерь. Он оглянулся. Река чуть виднелась между деревьями. Впереди было еще много дней, когда он сможет ловить форелей на болоте.

L'ENVOI

Король работал в саду. Казалось, он очень мне обрадовался. Мы прошли по саду. «Вот королева»,— сказал он. Она подрезала розовый куст. «Здравствуйте»,— сказала она. Мы сели за стол под большим деревом, и король велел принести виски и содовой. «Хорошие виски у нас пока еще есть»,— сказал король. Он сказал мне, что революционный комитет не разрешает ему покидать территорию дворца. «Пластирас, по-видимому, порядочный человек,— сказал король,— но ладить с ним нелегко. Впрочем, я думаю, он правильно сделал, что расстрелял этих молодцов. Конечно, в таких делах самое главное — это чтобы тебя самого не расстреляли!»

Было очень весело. Мы долго разговаривали. Как все греки, король жаждал попасть в Америку.

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ

Мануэль Гарсиа поднялся по лестнице в контору дона Мигеля Ретаны. Он поставил свой чемодан на пол и постучал в дверь. Ответа не было. Но Мануэль, стоя в коридоре, чувствовал, что в комнате кто-то есть. Он чувствовал это через дверь.

— Ретана,— сказал он, прислушиваясь.

Ответа не было.

«А все-таки он здесь»,— подумал Мануэль.

— Ретана,— повторил он и громче постучал в дверь.

— Кто там? — раздался голос из конторы.

— Это я, Маноло,— сказал Мануэль.

— А что нужно? — спросил голос.

— Мне нужна работа,— сказал Мануэль.

В двери что-то несколько раз щелкнуло, и она распахнулась. Мануэль вошел, захватив свой чемодан.

За столом в глубине комнаты сидел маленький человечек. Над его головой висело чучело бычьей головы, сделанное в мадридской мастерской; стены были увешаны фотографиями в рамках и афишами боя быков.

Маленький человечек сидел и смотрел на Мануэля.

— Я думал, ты убит,— сказал он.

Мануэль быстро постучал костяшками пальцев по столу. Маленький человечек сидел и смотрел на него через стол.

— Сколько у тебя выходов за этот год? — спросил Ретана.

— Один,— ответил Мануэль.

— Только тот один? — спросил маленький человечек.

— Только.

— Я читал об этом в газетах,— сказал Ретана. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на Мануэля.

Мануэль поглядел на чучело быка. Он не раз видел его и раньше. Он питал к нему что-то похожее на родственные чувства. Лет девять назад бык убил его брата, того, что подавал надежды. Мануэль хорошо помнил этот день. На дубовом щите, к которому была прикреплена бычья голова, поблескивала медная дощечка с надписью. Мануэль не мог прочесть ее, но он предполагал, что это в память его брата. Что ж, он был славный мальчик.

На дощечке было написано: «Бык Марипоса, с ганадерии герцога Верагуа, вспоровший семь лошадей и убивший Антонио Гарсиа, новильеро, 27 апреля 1909 года».

Ретана заметил, что Мануэль смотрит на бычью голову.

— На воскресенье герцог прислал мне такую партию, что без скандала не обойдется,— сказал он.— Они все разбиты на ноги. Что говорят о них в кафе?

— Не знаю,— ответил Мануэль.— Я только что приехал.

— Да,— сказал Ретана.— У тебя и чемодан с собой.

Откинувшись на спинку стула, он смотрел на Мануэля через большой стол.

— Садись,— сказал он.— Сними шляпу.

Мануэль сел; без шляпы лицо его стало совсем другим. Косичка матадора, пришпиленная на макушке, чтобы держалась под шляпой, нелепо торчала над бледным лицом.

— Ты плохо выглядишь,— сказал Ретана.

— Я только что из больницы,— сказал Мануэль.

— Я слышал, будто тебе отняли ногу.

— Нет,— сказал Мануэль.— Обошлось.

Ретана наклонился вперед и пододвинул Мануэлю стоявший на столе деревянный ящичек с сигаретами.

— Бери,— сказал он.

— Спасибо.

Мануэль закурил.

— А ты? — сказал он, протягивая Ретане зажженную спичку.

— Нет.— Ретана помахал рукой.— Не курю.

Ретана молча смотрел, как Мануэль курит.

— Почему ты не подыщешь себе какую-нибудь работу? — спросил Ретана.

— Я не хочу какую-нибудь,— сказал Мануэль.— Я матадор.

— Нет больше матадоров,— сказал Ретана.

— Я матадор,— сказал Мануэль.

— Да, когда сидишь у меня в конторе.

Мануэль засмеялся.

Ретана молча смотрел на Мануэля.

— Я могу выпустить тебя вечером, если хочешь,— предложил Ретана.

— Когда? — спросил Мануэль.

— Завтра.

— Не люблю быть заменой,— сказал Мануэль. Именно так все они погибают. Именно так погиб Сальвадор. Он постучал костяшками пальцев по столу.

— Больше у меня ничего нет,— сказал Ретана.

— Почему бы тебе не выпустить меня днем на будущей неделе? — спросил Мануэль.

— Сбора не сделаешь,— ответил Ретана.— Публика требует только Литри, Рубито и Ля Торре. Эти хорошо работают.

— Публика придет смотреть меня,— с надеждой сказал Мануэль.

— Нет, не придет. Тебя уже давно забыли.

— Я могу хорошо работать,— сказал Мануэль.

— Предлагаю тебе выступить завтра вечером после клоунады,— повторил Ретана.— Будешь работать с Эрнандесом и можешь убить двух новильо.

— Чьи новильо? — спросил Мануэль.

— Не знаю. Что найдется в коррале. Из тех, которых ветеринары не допустили к дневным боям.

— Не люблю быть заменой,— сказал Мануэль.

— Как хочешь,— сказал Ретана.

Он наклонился над бумагами. Разговор больше не интересовал его. Сочувствие, которое на минуту вызвал в нем Мануэль, напомнив о старых временах, уже исчезло. Он охотно заменит им Чавеса, потому что это обойдется дешево. Но и других можно иметь по дешевке. Все же он хотел бы помочь Мануэлю. Ну что ж, завтра он может выступить. Теперь его дело решать.

— А сколько ты мне заплатишь? — спросил Мануэль. Он все еще тешил себя мыслью, что откажется. Но он знал, что не может отказаться.

— Двести пятьдесят песет,— ответил Ретана. Он хотел дать пятьсот, но когда он разжал губы, они сказали двести пятьдесят.

— Виляльте ты платишь семь тысяч,— сказал Мануэль.

— Но ты не Виляльта,— ответил Ретана.

— Я знаю,— сказал Мануэль.

— Он делает сборы, Маноло,— объяснил Ретана.

— Конечно,— сказал Мануэль. Он встал.— Дай триста, Ретана.

— Хорошо,— согласился Ретана. Он достал из ящика стола листок бумаги.

— А можно мне пятьдесят получить сейчас? — спросил Мануэль.

— Пожалуйста,— сказал Ретана. Он вынул из бумажника кредитку в пятьдесят песет и, развернув ее, положил на стол.

Мануэль взял деньги и спрятал в карман.

— А куадрилья? — спросил он.

— Будут ребята, которые всегда работают у меня по вечерам. Они — ничего.

— А пикадоры?

— Пикадоры неважные,— признался Ретана.

— Мне нужен хоть один хороший пикадор,— сказал Мануэль.

— Найми его,— сказал Ретана.— Ступай и найми.

— Только не за те же деньги,— возразил Мануэль.— Не могу же я оплачивать пикадора из этих шестидесяти дуро.

Ретана ничего не ответил, только посмотрел через стол на Мануэля.

— Ты сам знаешь, что мне нужен хоть один хороший пикадор,— сказал Мануэль.

Ретана, не отвечая, смотрел на Мануэля словно откуда-то очень издалека.

— Так не годится,— сказал Мануэль.

Ретана все еще разглядывал его, откинувшись на спинку стула, разглядывал откуда-то издалека.

— У нас есть свои пикадоры,— сказал он.

— Знаю,— сказал Мануэль,— знаю я твоих пикадоров.

Ретана не улыбнулся. Мануэль понял, что дело кончено.

— Я хочу только равных шансов,— негромко сказал Мануэль.— Когда я выйду на арену, нужно, чтобы я мог подступиться к быку. Для этого довольно одного хорошего пикадора.

Он обращался к человеку, который уже не слушал его.

— Если тебе нужно что-нибудь сверх положенного,— сказал Ретана,— доставай сам. Будет работать наша куадрилья. Приводи своих пикадоров, сколько хочешь. Клоунада кончается в десять тридцать.

— Хорошо,— сказал Мануэль.— Если это твое последнее слово.

— Да,— сказал Ретана.

— До завтра,— сказал Мануэль.

— Я буду там,— сказал Ретана.

Мануэль поднял свой чемодан и вышел.

— Захлопни дверь! — крикнул Ретана.

Мануэль оглянулся. Ретана сидел, наклонившись над столом, и просматривал бумаги. Мануэль плотно притворил дверь, и замок щелкнул.

Он спустился по лестнице и вышел из подъезда на залитую солнцем улицу. Было очень жарко, и отблеск солнца на белых зданиях больно резнул глаза. Он пошел к Пуэрта-дель-Соль по теневой стороне крутой улицы. Тень была плотная и свежая, как проточная вода. Но когда он пересекал поперечные улицы, зной сразу охватывал его. Среди встречавшихся ему людей Мануэль не заметил ни одного знакомого лица.

Перед самой Пуэрта-дель-Соль он зашел в кафе.

В кафе было пустовато. Только немногие посетители сидели за столиками у стены. За одним из столиков четверо играли в карты. Остальные сидели, прислонившись к стене, и курили; перед ними стояли пустые рюмки и чашки из-под кофе. Мануэль прошел через длинный зал в маленькую заднюю комнату. В углу за столиком сидел человек и спал. Мануэль сел за один из столиков.

Вошел официант и остановился возле Мануэля.

— Вы не видели Сурито? — спросил его Мануэль.

— Он приходил утром,— ответил официант.— Теперь он раньше пяти не придет.

— Дайте мне кофе с молоком и рюмку коньяку,— сказал Мануэль.

Официант вернулся, неся поднос с большим стаканом для кофе и рюмкой. В левой руке он держал бутылку коньяку. Описав подносом дугу, он все сразу поставил на стол, а мальчик, который шел за ним, налил в стакан кофе и молока из двух блестящих кофейников с длинными ручками.

Мануэль снял шляпу, и официант увидел косичку, приколотую надо лбом. Наливая коньяк в рюмку, стоявшую возле стакана кофе, он подмигнул мальчику. Мальчик с любопытством посмотрел на бледное лицо Мануэля.

— Вы будете здесь выступать? — спросил официант, закупоривая бутылку.

— Да,— сказал Мануэль.— Завтра.

Официант медлил у столика, прижав дно бутылки к бедру.

— В клоунаде? — спросил он.

Мальчик смутился и отвел глаза.

— Нет, после.

— А я думал, что будут Чавес и Эрнандес,— сказал официант.

— Нет. Я и еще один.

— Кто? Чавес или Эрнандес?

— Кажется, Эрнандес.

— А что случилось с Чавесом?

— Он ранен.

— Кто сказал?

— Ретана.

— Эй, Луис! — крикнул официант в соседнюю комнату.— Чавес ранен.

Мануэль снял обертку с порции сахара и бросил оба куска в стакан. Он помешал кофе и выпил его; кофе был сладкий, горячий и приятно согревал пустой желудок. Потом он выпил коньяк.

— Налейте еще рюмку,— сказал он официанту.

Официант вытащил пробку и налил полную рюмку, пролив коньяк на блюдце. К столику подошел еще один официант. Мальчик ушел.

— Что, Чавес тяжело ранен? — спросил Мануэля второй официант.

— Не знаю,— ответил Мануэль.— Ретана не сказал.

— Ему-то, конечно, наплевать,— вмешался высокий официант. Мануэль раньше не видел его. Он, вероятно, только что подошел.

— У нас так: если Ретана поддержит, твое счастье,— сказал высокий официант.— А если не поддержит, можешь пойти и пустить себе пулю в лоб.

— Верно,— поддакнул второй официант.— Совершенно верно.

— Еще бы не верно,— сказал высокий официант.— Я хорошо знаю, что это за птица.

— Смотрите, как он выдвинул Виляльту,— сказал первый официант.

— Да разве его одного,— сказал высокий официант.— А Марсьяла Лаланду! А Насионаля!

— Верно, верно,— подтвердил маленький официант.

Они оживленно разговаривали возле столика Мануэля, а он молча смотрел на них. Он уже выпил вторую рюмку коньяку. О нем они забыли — словно его здесь и не было.

— Это просто стадо верблюдов,— продолжал высокий официант.— Вы когда-нибудь видели Насионаля-второго?

— Я видел его в прошлое воскресенье,— ответил первый официант.

— Настоящий жираф,— сказал маленький официант.

— Я же вам говорил,— сказал высокий официант.— Все это любимчики Ретаны.

— Послушайте, дайте мне еще рюмку,— сказал Мануэль. Пока они разговаривали, он перелил коньяк с блюдца в рюмку и выпил его.

Первый официант, не глядя на Мануэля, наполнил рюмку, и все трое, разговаривая, вышли из комнаты.

Человек в дальнем углу все еще спал, прислонившись головой к стене, слегка похрапывая при каждом вдохе.

Мануэль выпил коньяк. Его самого клонило ко сну. Выходить на улицу не стоит — слишком жарко. Да и делать там нечего. Нужно повидать Сурито. Он вздремнет немного, пока тот не пришел. Мануэль толкнул ногой свой чемодан под столом, чтобы удостовериться, что он тут. Может быть, лучше поставить его под стул, к стене. Он нагнулся и подвинул чемодан. Потом положил голову на стол и заснул.

Когда он проснулся, кто-то сидел за столиком напротив него. Это был высокий, плотный мужчина с крупными чертами лица и смуглой, как у индейца, кожей. Он уже давно сидел здесь. Он махнул рукой официанту, чтобы тот не подходил, и теперь сидел и читал газету, время от времени взглядывая на Мануэля, который спал, положив голову на стол. Он читал с трудом, по складам, усиленно шевеля губами. Чтобы передохнуть, он отрывался от газеты и смотрел на спящего. Он неподвижно и грузно сидел против Мануэля, надвинув на лоб черную широкополую шляпу.

Мануэль выпрямился и посмотрел на него.

— Здравствуй, Сурито,— сказал он.

— Здравствуй, малыш,— сказал плотный мужчина.

— Я спал.— Мануэль потер лоб кулаком.

— Я видел, что ты спишь.

— Как дела?

— Хороши. А твои?

— Так себе.

Оба молчали. Пикадор Сурито смотрел на бледное лицо Мануэля. Мануэль смотрел на огромные руки пикадора, складывающие газету, прежде чем спрятать ее в карман.

— У меня к тебе просьба, Манос,— сказал Мануэль.

«Маносдурос» было прозвище Сурито. Каждый раз, как он слышал его, он вспоминал о своих огромных руках. Он смущенно положил их перед собой на стол.

— Давай выпьем,— сказал он.

— Давай,— сказал Мануэль.

Официант подошел, вышел и снова вошел. Уходя, он оглянулся на сидящих за столиком Мануэля и Сурито.

— В чем дело, Маноло? — Сурито поставил рюмку на стол.

— Ты не согласишься поработать со мной завтра вечером? — спросил Мануэль, смотря через стол на Сурито.

— Нет,— сказал Сурито.— Я больше не работаю.

Мануэль посмотрел на свою рюмку. Он ждал этого ответа: вот и дождался. Ну да, дождался.

— Не сердись, Маноло; но я больше не работаю.— Сурито смотрел на свои руки.

— Ну что ж,— сказал Мануэль.

— Я слишком стар,— сказал Сурито.

— Я только спросил,— сказал Мануэль.

— Это завтра вечером?

— Да. Я подумал, что, если у меня будет один хороший пикадор, я справлюсь.

— Сколько тебе платят?

— Триста песет.

— Так ведь я один получаю больше.

— Я знаю,— сказал Мануэль.— Я не имел никакого права просить тебя.

— Почему ты не бросишь этого дела? — сказал Сурито.— Почему ты не отрежешь свою колету, Маноло?

— Не знаю,— ответил Мануэль.

— Ты немногим моложе меня,— сказал Сурито.

— Не знаю,— сказал Мануэль.— Не могу бросить. Только бы шансы были равные,— больше мне ничего не нужно. Не могу не выступать, Манос.

— Нет, можешь.

— Нет, не могу. Я пробовал бросать.

— Я понимаю, что это трудно. Но так нельзя. Ты должен бросить раз и навсегда.

— Не могу я этого сделать. Да и последнее время я был в форме.

Сурито посмотрел на лицо Мануэля.

— Тебя свезли в больницу.

— Но до этого я был в блестящей форме.

Сурито ничего не ответил. Он перелил коньяк со своего блюдца в рюмку.

— В газетах писали, что такой работы еще не видывали,— сказал Мануэль.

Сурито молча посмотрел на него.

— Ты же знаешь, когда я в форме, я хорошо работаю,— сказал Мануэль.

— Ты слишком стар,— сказал пикадор.

— Нет,— сказал Мануэль.— Ты на десять лет старше меня.

— Я — другое дело.

— Вовсе я не слишком стар,— сказал Мануэль.

Они помолчали. Мануэль не спускал глаз с лица пикадора.

— Я был в форме, когда это случилось. Ты напрасно не пришел посмотреть на меня, Манос,— с упреком сказал Мануэль.

— Не хочу я на тебя смотреть,— сказал Сурито.— Я слишком волнуюсь.

— Ты не видел меня в последнее время.

— Зато раньше видел.

Сурито посмотрел на Мануэля, избегая его взгляда.

— Бросай это дело, Маноло.

— Не могу,— сказал Мануэль.— Я сейчас в форме, верно тебе говорю.

Сурито наклонился вперед, положив руки на стол.

— Слушай. Я поработаю завтра с тобой, но если ты провалишься, ты бросишь. Понял? Согласен?

— Согласен.

Сурито откинулся назад со вздохом облегчения.

— Пора бросить,— сказал он.— Нечего дурака валять. Пора отрезать колету.

— Не придется бросать,— сказал Мануэль.— Вот увидишь. Я могу хорошо работать.

Сурито встал. Спор утомил его.

— Пора бросить,— сказал он.— Я сам отрежу тебе колету.

— Нет, не отрежешь,— сказал Мануэль.— Не придется.

Сурито подозвал официанта.

— Пойдем,— сказал Сурито.— Пойдем ко мне.

Мануэль достал чемодан из-под стола. Он был счастлив. Сурито будет его пикадором. Нет на свете пикадора лучше Сурито. Теперь все просто.

— Пойдем ко мне, пообедаем,— сказал Сурито.

Мануэль стоял в патио де кавальос и ждал окончания клоунады. Сурито стоял рядом с ним. В конюшне было темно. Высокие ворота, ведущие на арену, были закрыты. Сверху донесся дружный смех, потом еще взрыв смеха. Потом наступила тишина. Мануэль любил запах конюшни. Хорошо пахло в темном патио. Опять с арены донесся хохот, потом аплодисменты, долго не смолкающие аплодисменты.

— Ты видел их когда-нибудь? — спросил Сурито, высокий, громоздкий в темноте рядом с Мануэлем.

— Нет,— ответил Мануэль.

— Очень смешно,— сказал Сурито. Он улыбнулся про себя в темноте.

Высокие, двустворчатые, плотно пригнанные ворота распахнулись, и Мануэль увидел арену в ярком свете дуговых фонарей и темный, уходящий вверх амфитеатр; по краю арены, раскланиваясь, бежало двое людей, одетых бродягами, а за ними следом, в ливрее с блестящими пуговицами, шел третий, подбирая шляпы и трости, брошенные на песок, и кидал их обратно в темноту.

В патио вспыхнул электрический свет.

— Я пойду подыщу себе конягу, пока ты соберешь ребят,— сказал Сурито.

За ними послышалось звяканье упряжки мулов, которую выводили на арену, чтобы вывезти убитого быка.

Члены куадрильи, смотревшие клоунаду из прохода между барьером и первым рядом, вошли в патио и, болтая, остановились под фонарем. Красивый юноша в оранжевом с серебром костюме подошел к Мануэлю.

— Я Эрнандес,— сказал он, улыбаясь, и протянул руку. Мануэль пожал ее.

— Сегодня нас ждут настоящие слоны,— весело сказал юноша.

— Да, крупные, и рога нешуточные,— подтвердил Мануэль.

— Вам достались худшие,— сказал юноша.

— Не беда,— сказал Мануэль.— Чем крупнее бык, тем больше мяса для бедных.

— Кто это придумал? — ухмыльнулся Эрнандес.

— Это старинная поговорка,— сказал Мануэль.— Построй свою куадрилью, чтобы мне видеть, кто работает со мной.

— У вас будут хорошие ребята,— сказал Эрнандес. Он был очень весел. Он выступал в третий раз, и у него уже были поклонники в Мадриде. Он радовался, что через несколько минут начнется бой.

— А где пикадоры? — спросил Мануэль.

— Выбирают лошадей. Дерутся, кому достанется самый резвый скакун,— ухмыльнулся Эрнандес.

Мулы под щелканье бичей и звон колокольчиков галопом проскочили в ворота; мертвый бычок взрыл борозду в песке.

Как только провезли быка, все выстроились для выхода.

Впереди стояли Мануэль и Эрнандес. За ними — члены их куадрилий, перекинув через руку тяжелые плащи. Позади всех — четыре пикадора верхами, стальные наконечники отвесно поднятых копий поблескивали в полумраке конюшни.

— Почему это Ретана скупится на освещение, лошадей не разглядишь,— сказал один из пикадоров.

— Он знает, что мало радости разглядывать его кляч,— ответил другой пикадор.

— Эта дохлятина подо мной едва на ногах держится,— сказал первый пикадор.

— Какие ни на есть, а лошади.

— Лошади-то они лошади.

Они болтали в темноте, сидя на своих тощих лошадях.

Сурито молчал. У него была единственная надежная лошадь. Он успел испытать ее в загоне, она слушалась повода и шпор. Он снял повязку с ее правого глаза и перерезал веревки, которыми ее уши были плотно притянуты к голове. Это была хорошая крепкая лошадь, крепко стоявшая на ногах. Больше ему ничего не нужно. Он непременно удержится на ней до конца боя. Сидя в высоком стеганом седле под тусклым фонарем, дожидаясь выхода на арену, он мысленно проделал весь бой. Другие пикадоры, справа и слева от него, продолжали болтать. Он не слышал их.

Оба матадора стояли рядом впереди своих куадрилий, одинаково подхватив плащи левой рукой. Мануэль думал о трех юношах позади него. Все трое были мадридцы, как Эрнандес, лет по девятнадцати. Один из них, цыган, спокойный, сдержанный, смуглолицый, понравился Мануэлю. Он обернулся.

— Как тебя зовут? — спросил он цыгана.

— Фуентес,— ответил цыган.

— Хорошее имя,— сказал Мануэль.

Цыган улыбнулся, показывая белые зубы.

— Когда бык выйдет, перехвати его и погоняй немножко,— сказал Мануэль.

— Хорошо,— сказал цыган. Лицо его стало серьезно. Он начал думать о том, что будет делать на арене.

— Начинают,— сказал Мануэль Эрнандесу.

— Ну что ж, идем.

Подняв голову, покачиваясь в такт музыке, размахивая правой свободной рукой, они вышли на арену, ступая по желтому песку под дуговыми фонарями; за ними двинулись куадрильи, позади — пикадоры верхами, а после всех — служители и позвякивающая упряжка мулов. Толпа аплодировала Эрнандесу, когда они шли через арену. Они выступали горделиво, покачиваясь в такт музыке, глядя прямо перед собой.

Они поклонились президенту, и шествие распалось на составные части. Матадоры подошли к барьеру и сменили тяжелые мантии на легкие боевые плащи. Мулов увели с арены. Пикадоры на коротком галопе объехали кругом арены, и двое из них ускакали обратно в ворота. Служители разровняли песок.

Мануэль выпил стакан воды, поданный ему одним из подручных Ретаны, который должен был прислуживать Мануэлю и подавать ему шпаги.

Эрнандес, поговорив со своим служителем, подошел к Мануэлю.

— Тебя хорошо встретили, мальчик,— сказал ему Мануэль.

— Меня любят,— радостно улыбнулся Эрнандес.

— Как прошел выход? — спросил Мануэль подручного Ретаны.

— Как свадебный поезд,— ответил тот.— Блестяще. Вы оба вышли, что твои Хоселито и Бельмонте.

Сурито проскакал мимо них, точно грузная конная статуя. Он повернул лошадь мордой к корралю, откуда должен был появиться бык. Странно выглядит арена в свете дуговых фонарей. Он привык работать на жарком дневном солнце, за большие деньги. Эта канитель при фонарях ему не нравилась. Уж начинали бы поскорей.

Мануэль подошел к нему.

— Валяй, Манос,— сказал он.— Урезонь его, чтобы был как раз по мне.

— Я его урезоню, малыш.— Сурито сплюнул в песок.— Он у меня попрыгает.

— Нажимай на него, Манос,— сказал Мануэль.

— Уж я нажму,— сказал Сурито.— Чего мы ждем?

— Вот он идет,— сказал Мануэль.

Сурито сидел в седле, крепко упираясь ногами в стремена, сжимая могучими ляжками в кожаных набедренниках бока лошади, держа в левой руке поводья, в правой — длинное копье, низко надвинув на глаза широкополую шляпу для защиты от

света, и не отрываясь смотрел на далекую дверь корраля. Уши коня дрогнули. Сурито огладил его левой рукой.

Красная дверь корраля распахнулась, и несколько секунд Сурито видел далекий пустой проход по ту сторону арены. Потом бык выбежал из прохода на свет дуговых фонарей, заскользил, тормозя всеми четырьмя ногами, и, радуясь свободе после темного загона, пошел галопом — мягким, частым галопом, беззвучным, если бы не всхрапывание широко раздутых ноздрей.

В первом ряду, положив блокнот на бетонные перила и наклонившись вперед, заштатный репортер «Эль Эральдо» со скучающим видом небрежно записывал: «Бык Негро, черной масти, номер 42, очень воинственно настроенный, выбежал со скоростью 90 миль в час...»

Мануэль, который следил за быком, облокотившись на барьер, махнул рукой, и цыган выбежал вперед, волоча за собой плащ. Бык на всем скаку повернул и кинулся на плащ, опустив голову и задрав хвост. Цыган двигался зигзагами, и когда бык увидел его, то забыл про плащ и кинулся на человека. Цыган подбежал к красному барьеру и перепрыгнул через него, и бык ударил рогами в деревянные доски. Он дважды стукнул рогами о барьер, вслепую бодая дерево.

Репортер «Эль Эральдо» закурил сигарету, бросил спичкой в быка и записал в свой блокнот: «... крупный, рога основательные, способные удовлетворить даже платных посетителей. Негро обнаружил явное желание вторгнуться на территорию матадоров».

Когда бык ударил рогами в барьер, Мануэль вышел вперед на утоптанный песок. Уголком глаза он видел Сурито верхом на белой лошади у самого барьера, слева от себя, на расстоянии четверти круга. Мануэль держал плащ близко перед собой, сжимая складки обеими руками, и кричал быку: «Ю-у! Ю-у!» Бык повернул и, словно оттолкнувшись от барьера, кинулся на плащ; Мануэль шагнул в сторону и обвел быка вокруг себя, размахивая плащом перед самыми рогами. Когда плащ описал круг, Мануэль снова стоял против быка, держа плащ почти вплотную у груди, а когда бык вторично кинулся, снова сделал полный поворот. При каждом повороте толпа одобрительно кричала.

Четыре раза он повертывался вместе с быком, поднимая плащ, вздувавшийся парусом, и каждый раз заставлял быка кинуться снова. После пятого поворота он прижал плащ к бедру и стремительно перевернулся, так что плащ закружился

вихрем, как пачки балерины, и бык, словно на привязи, обежал вокруг него; потом Мануэль отступил, оставив быка лицом к лицу с Сурито на белой лошади, крепко упершейся ногами в песок; лошадь смотрела на быка, уши ее выставились вперед, губы дергались; Сурито, надвинув шляпу на глаза, подался вперед, из-под согнутого локтя полуопущенной правой руки под острым углом торчало длинное копье, обращенное стальным наконечником к быку.

Репортер «Эль Эральдо», затягиваясь сигаретой, следя глазами за быком, писал: «Маститый Маноло, исполнив серию вполне приемлемых вероник и продемонстрировав рекорте в стиле Бельмонте, заслужил аплодисменты знатоков, после чего мы перенеслись в поле деятельности кавалерии».

Сурито сидел в седле, измеряя взглядом расстояние между быком и наконечником копья. Бык подобрался и кинулся, устремив глаза на грудь лошади. Когда он опустил голову, готовясь к удару, Сурито вонзил острие копья во вздувшийся бугор мышц между лопатками быка, налег всей тяжестью на древко, поднял левой рукой белую лошадь на дыбы и перебросил ее направо, протолкнув быка под брюхом лошади, так что рога не задели ее, и лошадь стала на передние ноги, дрожа всем телом, а бык, хлестнув лошадь хвостом по груди, кинулся на плащ, протянутый ему Эрнандесом.

Эрнандес побежал боком, уводя быка своим плащом в сторону второго пикадора. Он взмахом плаща остановил быка прямо против всадника и отступил. Увидав лошадь, бык бросился на нее. Копье пикадора скользнуло по спине быка, и когда бык вскинул лошадь на рога, пикадор, уже наполовину вылетевший из седла, выпростал правую ногу и стал валиться влево, чтобы заслониться лошадью от быка. Лошадь, поднятая на рога и вспоротая, грохнулась оземь, и бык продолжал бодать ее, а пикадор, оттолкнувшись ногами в сапогах от лошади, лежал неподвижно, дожидаясь, когда его поднимут, унесут подальше и помогут ему встать.

Мануэль не мешал быку бодать упавшую лошадь; спешить было некуда, пикадору ничего не грозило; а кроме того, пусть поволнуется, такому пикадору это полезно. В следующий раз будет дольше держаться. Уж и пикадоры! Он посмотрел на Сурито, который, собрав лошадь, ждал в двух шагах от барьера.

— Ю-у! Томар! — крикнул Мануэль, чтобы привлечь внимание быка, и протянул ему плащ, который держал обеими руками. Бык оставил лошадь и кинулся за плащом, и Мануэль

побежал в сторону, широко развернув плащ, потом остановился и крутым поворотом поставил быка мордой к Сурито.

«Негро пришлось заплатить за смерть Росинанта несколькими вара, причем Эрнандес и Маноло показали искусные китэ,— писал репортер «Эль Эральдо».— Он увернулся от стального острия и со всей очевидностью дал понять, что он не большой любитель лошадей. Маститый пикадор Сурито еще раз показал свое уменье владеть копьем, проделав, в частности, искусное суэртэ...»

— Олэ! Олэ! — закричал мужчина, сидевший рядом с ним. Крик потонул в реве толпы, и мужчина хлопнул репортера по спине. Тот поднял глаза от блокнота и увидел, что Сурито, как раз под ним, стоя в стременах, перегнулся через голову лошади и вонзил копье в загривок быка; копье торчало во всю длину под острым углом у него из-под мышки,— он держал его почти за наконечник,— и, навалившись всей своей тяжестью, Сурито удерживал быка, и бык рвался кинуться на лошадь, а Сурито, перегнувшись далеко вперед, удерживал его, удерживал и медленно отводил лошадь в сторону, пока она не оказалась в безопасности. Как только лошадь миновала рога, Сурито ослабил нажим, и, когда бык рванулся, треугольное острие копья вспороло бугор мышц между его лопаток; бык, очутившись перед плащом Эрнандеса, кинулся на плащ, и юноша увел его на середину арены.

Сурито, оглаживал свою лошадь, смотрел, как бык кидается за плащом, которым Эрнандес размахивал перед его мордой в ярком свете фонарей под крики толпы.

— Ты видел? — спросил Сурито, обращаясь к Мануэлю.

— Замечательно,— ответил Мануэль.

— Досталось ему от меня,— сказал Сурито.— Посмотри на него.

Кидаясь на плащ, взметнувшийся у самой его морды, бык вдруг упал на колени. Он сразу вскочил на ноги, но Мануэль и Сурито через всю арену увидели струю крови, гладкую и блестящую, на черной лопатке быка.

— Досталось ему от меня,— повторил Сурито.

— Хороший бык,— сказал Мануэль.

— Еще один раз, и я убил бы его.

— Сейчас начнется третий тур,— сказал Мануэль.

— Посмотри на него,— повторил Сурито.

— Мне пора,— сказал Мануэль и побежал в другой конец арены, где появился еще один пикадор; служители, держа лошадь под уздцы и колотя ее палками по ногам, старались под-

тащить ее к быку, а бык стоял, опустив голову, нерешительно перебирая копытами.

Сурито пустил свою лошадь шагом и, подъехав поближе, хмурясь, следил за ходом боя.

Наконец бык кинулся, служители бросились бежать к барьеру, пикадор промахнулся, и бык, поддев рогами брюхо лошади, забросил ее себе на спину.

Сурито наблюдал, не упуская ни одной подробности: вот подбежали служители в красных куртках и оттащили пикадора. Пикадор уже на ногах, чертыхается, размахивает руками. Мануэль и Эрнандес держат наготове плащи. А бык, огромный черный бык стоит с лошадью на спине — копыта болтаются, уздечка зацепилась за рога. Черный бык с лошадью на спине шатается на коротких ногах, то вскидывает голову, то опускает ее, стараясь сбросить с себя лошадь; наконец лошадь сброшена, и бык кинулся на плащ, который Мануэль развернул перед его мордой.

Мануэль чувствовал, что бык стал медлительнее. Он терял много крови. По всему боку поблескивала кровь.

Мануэль снова подставил быку плащ. Сейчас кинется,— свирепый, глаза вытаращены, следит за плащом. Мануэль отступил в сторону и, подняв руки, растянул плащ перед мордой быка, готовясь сделать веронику.

Теперь он опять стоял против быка. Да, голова слегка опустилась. Он держит ее ниже. Это все Сурито.

Мануэль взмахнул плащом; сейчас кинется; он ступил в сторону и сделал еще одну веронику. Как страшно наставил рог, думал Мануэль. С него хватит, теперь он начеку. Теперь он подстерегает. Не спускает с меня глаз. Но я каждый раз подставляю ему плащ.

Он тряхнул плащом перед мордой быка; сейчас кинется; Мануэль ступил в сторону и повернулся на месте. Слишком близко получилось. Нельзя работать так близко к нему.

Край плаща был мокрый от крови там, где он скользнул по спине быка.

— Ну ничего, еще один раз, последний.

Мануэль, лицом к быку, в пятый раз протянул ему плащ. Бык смотрел на него. Неподвижным взглядом, выставив рога, бык смотрел на него, подстерегая.

— Ю-у! — крикнул Мануэль.— Торо! — и, отклонившись назад, взмахнул плащом. Сейчас кинется. Он ступил в сторону, снова махнул плащом и перевернулся, и бык обежал вокруг него, следуя за плащом, а потом остался ни с чем, застыв на

месте, словно завороженный. Мануэль, собрав плащ в правую руку, помахал им перед мордой быка, чтобы показать, что бык оцепенел, и пошел прочь.

Аплодисментов не было.

Мануэль пошел по песку к барьеру, а тем временем Сурито уехал с арены. Пока Мануэль работал с быком, рожок протрубил сигнал к выходу бандерильеро. Сигнал лишь смутно дошел до его сознания. Служители накрывали брезентом двух убитых лошадей и посыпали песок вокруг них опилками.

Мануэль подошел к барьеру выпить воды. Служитель протянул ему тяжелый пористый кувшин.

Фуентес, высокий цыган, стоял наготове, держа в руках пару бандерилий, сложив вместе тонкие красные палочки крючками вперед. Он посмотрел на Мануэля.

— Ступай,— сказал Мануэль.

Цыган выбежал на арену, Мануэль, оставив кувшин, вытирал лицо носовым платком и смотрел на цыгана.

Репортер «Эль Эральдо» нагнулся за бутылкой теплого шампанского, которая стояла у него между ног, отхлебнул и закончил абзац:

«...престарелому Маноло не удалось вызвать аплодисментов серией трафаретных трюков с плащом, после чего начался следующий номер программы».

Бык все еще стоял не двигаясь посреди пустой арены. Фуентес, высокий, прямой, уверенно подходил к быку, раскинув руки, в каждой руке, в кончиках пальцев, по тонкой красной палочке, острием вперед. Фуентес подходил все ближе, а позади него, немного в стороне, шел другой член куадрильи с плащом. Бык посмотрел на Фуентеса и вышел из оцепенения.

Его глаза впились в остановившегося перед ним цыгана. Тот откинулся назад и что-то крикнул быку. Потом покрутил бандерильями, и блеск стальных наконечников привлек взгляд быка.

Задрав хвост, бык рванулся вперед.

Он бросился прямо на Фуентеса, не спуская с него глаз. Фуентес стоял неподвижно, откинувшись назад, выставив бандерильи. Когда бык опустил голову для удара, Фуентес еще больше откинулся назад, руки его сошлись над головой, бандерильи опустились под прямым углом, и, подавшись вперед, Фуентес вонзил их в лопатку быка; далеко подавшись вперед над рогами и опираясь на отвесно торчавшие палочки, плотно сдвинув ноги, он пропустил быка мимо себя, слегка отклонившись в сторону.

— Олэ! — закричала толпа.

Бык неистово бодался, высоко подпрыгивая, точно выскакивающая из воды форель. Красные рукоятки бандерилий качались при каждом прыжке.

Мануэль со своего места у барьера заметил, что бык, бодаясь, выставляет вперед правый рог.

— Скажи ему, чтобы следующий раз колол справа,— сказал он одному из юношей, когда тот побежал к Фуентесу с новой парой бандерилий.

Тяжелая рука опустилась на плечо Мануэля.

— Ну как, малыш? — спросил Сурито.

Мануэль молча следил за быком.

Сурито облокотился на барьер и налег на него всей своей тяжестью. Мануэль повернулся к нему.

— Ты сегодня в форме,— сказал Сурито.

Мануэль покачал головой. Ему нечего было делать до следующего тура. Цыган хорошо работал бандерильями. Бык будет хорошо подготовлен к следующему туру. Хороший бык. Все, что было до сих пор,— это пустяки. Самый конец, удар шпагой, вот что решит дело. Не то чтобы он очень волновался. Он даже не думал об этом. Но у него было дурное предчувствие. Он стоял у барьера и смотрел на быка, готовясь к следующему туру, обдумывая, как он будет работать с мулетой, утомит быка, сделает его податливым.

Цыган снова шел навстречу быку, шел, вытягивая носки, горделиво, как танцор по бальному залу; красные палочки бандерилий покачивались в такт его шагам. Бык — теперь он не был в оцепенении — следил за ним, подстерегая его, но ждал, пока он подойдет поближе, чтобы наверняка достать его, всадить в него рога.

Когда Фуентес подошел почти вплотную, бык кинулся на него. Как только бык опустил голову, Фуентес, пятясь, отбежал назад, потом остановился, подался вперед, вытянув руки, поднявшись на носки, и в ту самую секунду, когда рога миновали его, всадил бандерильи в тугой бугор мышц между лопаток быка.

Толпа бешено аплодировала.

— Недолго этот мальчик будет выступать по вечерам,— сказал подручный Ретаны, обращаясь к Сурито.

— Хорошо работает,— сказал Сурито.

— Смотрите, смотрите!

Все трое следили за цыганом.

«Убийцы»

Фуентес стоял на арене спиной к барьеру. Позади него, по эту сторону барьера, стояли двое из куадрильи, держа наготове плащи, чтобы отвлечь внимание быка.

Бык, высунув язык, тяжело поводя боками, следил за цыганом. Теперь попался, думал бык. Стоит вплотную к красным доскам, на расстоянии короткого прыжка. Бык неотступно следил за ним.

Цыган откинулся, отвел руки назад, держа бандерильи крючками вперед. Он позвал быка, топнул ногой. Бык медлил, выжидая. Он хотел бить наверняка. Хватит с него колючек.

Фуентес подошел ближе к быку. Откинулся назад. Снова позвал быка. Кто-то в толпе предостерегающе крикнул.

— Черт, слишком близко,— сказал Сурито.

— Смотрите, смотрите,— сказал подручный Ретаны.

Откинувшись назад, Фуентес повертел бандерильями, подразнивая быка, потом высоко подпрыгнул на месте. Как только цыган подпрыгнул, бык, задрав хвост, кипулся на него. Фуентес плавно опустился на носки и, вытянув руки, подавшись вперед всем телом, вонзил бандерильи под прямым углом, ловко уклонившись от правого рога.

Хлопающие по доскам плащи отвлекли внимание быка, и он с размаху всадил рога в барьер.

Цыган под громкие аплодисменты толпы побежал вдоль барьера. Куртка на нем была разодрана — бык задел ее кончиком рога. Фуентес радостно улыбался, показывая прореху зрителям. Он обошел арену кругом. Когда он проходил мимо Сурито, сияя улыбкой, указывая на свою куртку, Сурито улыбнулся.

Последнюю пару бандерилий втыкал кто-то другой. Никто не обращал на него внимания.

Служитель Мануэля всунул палку в красную ткань мулеты, сложил ее и передал через барьер Мануэлю. Потом открыл кожаный футляр, достал шпагу и, не вынимая из ножен, протянул Мануэлю. Мануэль вытащил клинок за красную рукоятку, и ножны, обвиснув, упали.

Он посмотрел на Сурито. Старый пикадор увидел, что Мануэль весь в поту.

— Теперь он от тебя не уйдет, малыш,— сказал Сурито.

Мануэль кивнул.

— Он хорошо подготовлен,— сказал Сурито.

— Как раз как надо,— подтвердил служитель.

Мануэль кивнул.

Трубач наверху, под самой крышей, протрубил сигнал к последнему туру, и Мануэль пошел через арену туда, где в одной из темных лож должен был сидеть президент.

В первом ряду заштатный репортер «Эль Эральдо» отпил большой глоток теплого шампанского. Он решил, что не стоит подробно записывать все перипетии боя, он напишет отчет, когда придет в редакцию. Чего ради, в самом деле? Всего-то вечерний бой. Если он что-нибудь пропустит, можно посмотреть в утренних газетах. Он еще раз отхлебнул шампанского. У него свиданье у «Максима» в двенадцать. Да и кто такие, в сущности, эти матадоры? Мальчишки и лодыри. Просто-напросто лодыри. Он спрятал блокнот и посмотрел на Мануэля, который очень одиноко стоял у края арены и размахивал шляпой в знак приветствия в сторону одной из невидимых лож темного амфитеатра. Посреди арены спокойно стоял бык, уставясь в пространство.

— Я посвящаю этого быка вам, сеньор, и мадридской публике, самой просвещенной и самой великодушной во всем мире,— сказал Мануэль. Это была общепринятая формула. Он сказал ее всю. Он мог бы несколько сократить ее для вечернего боя.

Он отвесил поклон в темноту, выпрямился, бросил шляпу через плечо и, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, направился к быку.

Мануэль подходил к быку. Бык смотрел на него; глаза его бегали. Мануэль отметил, что бандерильи свисают с левой лопатки и что из раны от копья Сурито все еще течет блестящая струйка крови. Он отметил, как поставлены ноги быка. Подвигаясь вперед, с мулетой в левой руке и шпагой в правой, он следил за ногами быка. Бык не может кинуться, пока не сдвинет все четыре ноги. Теперь он стоял спокойно, расставив ноги.

Мануэль подходил к быку, следя за его ногами. Все хорошо. Он справится. Нужно заставить быка опустить голову, чтобы можно было перегнуться через рога и убить его. Он не думал о том, как вонзит шпагу, как убьет быка. Он думал только о том, что нужно делать сейчас. Предстоящий бой все же угнетал его. Подвигаясь вперед, следя за ногами быка, он видел и его глаза, и влажную морду, и широкий разворот выставленных вперед рогов. Вокруг глаз быка были светлые круги. Бык следил глазами за Мануэлем. Он чувствовал, что доберется до этого маленького, с белым лицом.

Мануэль остановился против быка. Втыкая острие шпаги в мулету, перекладывая шпагу в левую руку и натягивая красную

ткань, как кливер, он в то же время видел концы рогов: один рог раскололся, когда бык ударил в барьер. Другой был острый, как игла дикобраза. Натягивая мулету, Мануэль заметил красное пятно на белом основании рога. Отмечая все это, он не терял из виду ноги быка. Бык в упор смотрел на Мануэля.

Выжидает, подумал Мануэль. Бережет силы. Нужно вывести его из неподвижности, заставить опустить голову. Главное — заставить опустить голову. Сурито заставил его опустить голову, но он опять поднял ее. Когда я начну гонять его, кровь пойдет из раны, тогда голова опустится.

Держа перед собой мулету, натягивая ее шпагой, Мануэль позвал быка.

Бык смотрел на него.

Мануэль вызывающе откинулся назад и взмахнул туго натянутой мулетой.

Бык увидел мулету. Она была ярко-пунцовая под дуговыми фонарями. Ноги быка сдвинулись.

Вот сейчас. У-ух! Когда бык кинулся, Мануэль, отклонившись в сторону, поднял мулету, так что она прошла над рогами быка и скользнула по его широкой спине от головы до хвоста. Бык боднул только воздух. Мануэль не двинулся с места.

Пройдя под мулетой, бык повернулся, как кошка, огибающая угол, и стал против Мануэля.

Бык готовился к новой атаке. Его грузная неподвижность исчезла. Мануэль заметил свежую кровь, каплями стекавшую по ноге с черной лопатки. Он вытащил шпагу из мулеты и взял ее в правую руку. Держа мулету в опущенной левой руке, отклонившись влево, он позвал быка. Бык подобрался, не спуская глаз с мулеты. Вот сейчас, подумал Мануэль. У-ух!

Бык кинулся. Мануэль отклонился вправо и, плотно сдвинув ноги, провел мулетой над головой быка, описав корпусом кривую, повторенную шпагой, ярко сверкнувшей под дуговыми фонарями.

Когда паса натурале кончилась, бык снова кинулся, и Мануэль поднял мулету, делая паса де печо. Он стоял неподвижно, а бык вплотную прошел мимо него под поднятой мулетой. Мануэль откинул голову, уклоняясь от гремящих рукояток бандерилий. Горячее черное тело быка коснулось его груди.

Черт, слишком близко, подумал Мануэль. Сурито, перегнувшись через барьер, торопливо сказал что-то цыгану, и тот, подхватив плащ, побежал к Мануэлю. Сурито, низко нахлобучив шляпу, смотрел через арену на Мануэля.

Мануэль снова стоял против быка, держа мулету в опущенной левой руке. Бык, нагнув голову, следил глазами за мулетой.

— Если бы это делал Бельмонте, они бесились бы от восторга,— сказал подручный Ретаны.

Сурито ничего не ответил. Он молча следил за Мануэлем, стоявшим в середине арены.

— Где это хозяин откопал его? — спросил подручный Ретаны.

— В больнице,— сказал Сурито.

— Скоро опять туда попадет,— сказал подручный Ретаны.

Сурито повернулся к нему.

— Постучи о дерево,— сказал он, показав на барьер.

— Я же в шутку.

— Постучи о дерево.

Подручный Ретаны наклонился и три раза постучал о барьер.

— Смотри,— сказал Сурито.

В середине арены, под дуговыми фонарями, Мануэль стоял против быка, опустившись на одно колено; он поднял мулету обеими руками, и бык кинулся, задрав хвост.

Мануэль уклонился от рогов и, когда бык снова кинулся, описал мулетой полукруг, и бык упал на колени.

— Да он просто блестящий матадор,— сказал подручный Ретаны.

— Нет,— сказал Сурито.

Мануэль встал, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, и поблагодарил за аплодисменты, донесшиеся из темного амфитеатра.

Бык поднялся на ноги и ждал, низко опустив голову.

Сурито что-то сказал двум другим юношам из куадрильи, они выбежали на середину арены и стали с плащами позади Мануэля. Теперь позади него стояло четверо, Эрнандес следовал за Мануэлем с тех пор, как тот вышел с мулетой. Фуентес, высокий, стройный, стоял, прижав плащ к груди, рассеянным взглядом наблюдая бой. Когда подбежали еще двое, Эрнандес указал им места — одному справа, другому слева. Мануэль один стоял впереди против быка.

Мануэль знаком велел юношам отойти подальше. Медленно отступая, они видели, что лицо его бледно и покрыто потом.

Не понимают они, что ли, что нужно отойти подальше? Нельзя же дразнить плащами быка, когда он уже застыл на месте и готов! Лучше уж не мешали бы, и так не легко.

Бык стоял неподвижно, расставив ноги, и смотрел на мулету. Мануэль свернул мулету левой рукой. Глаза быка следили за ней. Голова была опущена, но недостаточно низко.

Мануэль подразнил его мулетой. Бык не двинулся. Только глаза следили за ней.

Свинцом налился, подумал Мануэль. Ноги квадратом. Готов. Самое время.

Он мыслил привычными понятиями своего ремесла. Иногда соответствующий термин не сразу приходил на ум, и тогда мысль не складывалась. Его чутье и опыт работали автоматически, а мозг работал медленно, подыскивая слова. Он знал все о быках. Ему не надо было ни о чем думать. Он просто делал то, что от него требовалось. Его глаза все видели, а тело проделывало нужные движения без помощи мысли. Если бы он стал думать, он бы погиб.

И сейчас, стоя против быка, он сознавал многое одновременно. Вот рога, один расщепленный, другой ровный и острый, нужно стать на линию левого рога, опустить мулету, чтобы бык последовал за ней, сделать короткий и прямой выпад и, нагнувшись над рогами, всадить шпагу по рукоятку в кружок величиной с пятипесетовую монету между лопатками быка, почти у самого загривка. Он должен все это сделать и выпрямиться, увернувшись от рогов. Он знал, что должен все это сделать, но думал только одно: «Corto y derecho».

Коротко и прямо, думал он, сворачивая мулету. Коротко и прямо — вытаскивая шпагу из мулеты. Он стал против расщепленного левого рога, перебросил мулету так, что она образовала крест со шпагой, которую он держал на уровне глаз в правой руке, и, поднявшись на носки, нацелился клинком в самую высокую точку между лопатками быка.

Коротко и прямо он бросился на быка.

Толчок — и он почувствовал, что взлетает на воздух. Он нажал на рукоятку, когда его подняло и подбросило, и шпага выскочила у него из рук. Он упал ничком, а бык подбирался к нему, и Мануэль, лежа на земле, отталкивал морду быка ногами в туфлях. Еще и еще, а бык добирался до него, от нетерпения вслепую тыча рогами, толкая его головой, вгоняя рога в песок. Отталкивая быка ногами, словно жонглер, подбрасывающий мяч, Мануэль не давал ему подойти вплотную.

Мануэль почувствовал ветерок — взметнулись плащи, отвлекающие быка, и потом бык исчез, одним прыжком перескочив через Мануэля. Стало темно, когда бык прошел над ним. Даже не задел.

Мануэль встал и поднял мулету. Фуентес подал ему шпагу. Она согнулась, когда наскочила на лопатку. Мануэль выпрямил ее о колено и побежал к быку, который стоял возле одной из убитых лошадей. Куртка Мануэля разлетелась под мышкой, там, где она зацепилась за рог.

— Уведи его отсюда! — крикнул Мануэль цыгану. Бык почуял кровь убитой лошади и всадил рога в брезент. Когда он кинулся на плащ Фуентеса, с расщепленного рога свисал брезент, и в публике раздался смех. Бык яростно мотал головой, стараясь сбросить брезент. Эрнандес, забежав сзади, схватил брезент за край и ловко сдернул его с рога.

Бык повернул было за брезентом, но вдруг остановился. Он опять занял оборонительную позицию. Мануэль шел к быку с мулетой и шпагой. Подойдя вплотную, он взмахнул мулетой. Бык не двинулся.

Мануэль стал боком к нему, нацеливаясь острием шпаги. Бык был недвижим, точно мертвый, и явно не способен к нападению.

Мануэль поднялся на носки, нацелился стальным острием и кинулся на быка.

Снова толчок. Мануэля отбросило назад, и он с силой ударился о песок. На этот раз нельзя было отбиваться ногами,— бык стоял прямо над ним. Мануэль лежал не шевелясь, положив голову на руки, и бык толкал его рогами. Толкал в спину, в прижатое к песку лицо. Мануэль почувствовал, как рог вошел в песок между его скрещенными руками. Бык ударил его в поясницу. Лицо Мануэля вдавилось в песок. Бык зацепил рогом рукав куртки и оторвал его напрочь. Захлопали плащи, и бык, оставив Мануэля, последовал за ними.

Мануэль поднялся на ноги, подобрал мулету и шпагу. Потом провел большим пальцем по острию и побежал к барьеру за новой шпагой.

Служитель передал ему шпагу через барьер.

— Вытрите лицо,— сказал он.

Мануэль, снова подбегая к быку, вытер кровь с лица носовым платком. Он не видел Сурито. Где же Сурито?

Куадрилья отступила от быка, держа плащи наготове. Бык, утомленный нападением, уже снова стоял неподвижно и грузно.

Мануэль пошел к нему, держа мулету в левой руке. Он остановился и взмахнул ею. Бык не двинулся. Мануэль провел мулетой справа налево, слева направо перед мордой быка. Глаза быка следили за мулетой, поворачивались при каждом взмахе, но он не кидался. Он ждал Мануэля.

Мануэль волновался. Ничего нельзя сделать, надо ударить. Коротко и прямо. Он подошел близко к быку, скрестил шпагу с мулетой и кинулся. Вонзая шпагу, он перебросил корпус влево, чтобы избежать острого рога. Бык проскочил мимо него, шпага взлетела вверх, сверкнув под дуговыми фонарями, и упала, красной рукояткой вперед, на песок.

Мануэль подбежал и поднял ее. Она согнулась, и он выпрямил ее о колено.

Когда он бежал к быку, который снова застыл на месте, он поравнялся с Эрнандесом, державшим плащ наготове.

— Он из одних костей,— сочувственно сказал юноша.

Мануэль кивнул. Он вытер лицо и спрятал запачканный кровью платок в карман.

Вот он стоит. У самого барьера. Проклятый! Может быть, у него в самом деле одни кости? Может быть, на нем нет ни одного местечка, куда может войти шпага? Черта с два, нет! Он им покажет, что есть.

Мануэль протянул быку мулету, но бык не двинулся. Потом помахал мулетой перед мордой быка. Все напрасно.

Он сложил мулету, вытащил шпагу, стал боком и бросился на быка. Вонзив шпагу, он изо всей силы нажал на рукоять, шпага согнулась, потом высоко подпрыгнула и, перевернувшись в воздухе, упала в толпу. Когда шпага выскочила у него из рук, Мануэль успел увернуться от рогов.

Первые подушки, полетевшие на арену из темноты, не задели его. Потом подушка попала ему в лицо, в окровавленное лицо, обращенное к толпе. Они быстро летели одна за другой. Падали на песок. Кто-то в первом ряду бросил в него пустой бутылкой из-под шампанского. Она ударила Мануэля по ноге, он стоял, всматриваясь в темноту, откуда все это летело. Потом что-то просвистело в воздухе и упало возле него. Его шпага. Мануэль нагнулся и поднял ее. Он выпрямил шпагу о колено и взмахнул ею перед толпой.

— Благодарю вас,— сказал он.— Благодарю вас.

Ох, мерзавцы! Мерзавцы! Ох, подлые мерзавцы! Он пинком отбросил подушку и побежал к быку.

Вот он стоит. Как ни в чем не бывало. Ну, погоди, же мерзавец!

Мануэль провел мулетой перед черной мордой быка.

Все напрасно.

Не желаешь? Хорошо. Он подошел вплотную и ткнул острым концом мулеты во влажную морду быка.

Бык кинулся, Мануэль отскочил назад, но споткнулся о подушку и, падая, почувствовал, что рог вошел в него, вошел под ребро. Он ухватился обеими руками за рог и поехал задом, крепко зажимая место, куда вошел рог. Бык подбросил его, и он очутился на песке. Он лежал неподвижно. Ничего страшного. Бык не трогал его.

Он встал, кашляя, чувствуя себя разбитым и погибшим. Подлые мерзавцы!

— Шпагу мне! — крикнул он.— Мулету!

Фуентес подошел с мулетой и шпагой.

Эрнандес обнял его одной рукой.

— Да ступайте вы в лазарет,— сказал он.— Не валяйте дурака.

— Уйди от меня,— сказал Мануэль.— Уйди к черту!

Он вырвался. Эрнандес пожал плечами. Мануэль побежал к быку.

Вот он стоит, грузный, расставив ноги.

Ну, погоди, мерзавец! Мануэль вытащил шпагу из мулеты, нацелился и бросился на быка. Он почувствовал, что клинок вошел до отказа. По самую рукоять. Все пять пальцев ушли в рану. Он стоял над быком, и руке было горячо от крови быка.

Потом бык стал валиться на бок, увлекая его за собой. Мануэль отступил на шаг и смотрел, как бык падал — сначала медленно, потом вдруг перевернулся, задрав все четыре ноги.

Мануэль поднял к толпе руку, теплую от крови быка.

Ну, погодите, мерзавцы! Он хотел заговорить, но кашель помешал ему. Душило что-то горячее. Он поискал глазами мулету. Нужно пойти и приветствовать президента. К черту президента! Он сел на песок и уставился на убитого быка. Все четыре ноги задраны. Толстый язык высунулся. Что-то ползет по его брюху и между ногами. Там, где волос редкий. Мертвый бык. К черту быка! К черту всех! Он хотел встать, но опять закашлялся. Он снова опустился на песок. Кто-то подошел и поднял его.

Его унесли в лазарет — бегом пробежали по песку, постояли у ворот, пропуская упряжку мулов, потом шли по темному проходу, потом с кряхтеньем тащили вверх по лестнице и наконец положили.

Врач и двое санитаров в белых халатах дожидались его. Его положили на операционный стол. Разрезали на нем рубаш-

ку. Мануэль очень устал. В груди жгло, как огнем. Он закашлялся, и что-то прижали к его губам. Все очень суетились вокруг него.

Электрический свет бил прямо в глаза. Мануэль закрыл глаза.

Он услышал тяжелые шаги по лестнице. Потом перестал слышать. Потом услыхал далекий шум. Это толпа. Ну что ж, второго быка придется убить кому-нибудь другому. Они уже разрезали всю его рубашку. Врач улыбнулся ему. А вот и Ретана.

— Здравствуй, Ретана,— сказал Мануэль. Он не услышал своего голоса.

Ретана улыбнулся ему и что-то сказал. Мануэль не расслышал.

Сурито стоял возле стола и, нагнувшись, смотрел, как работает врач. Он был в костюме пикадора, но без шляпы.

Сурито что-то сказал ему. Мануэль не расслышал.

Сурито говорил с Ретаной. Один из санитаров улыбнулся и передал Ретане ножницы. Ретана передал их Сурито. Сурито что-то сказал Мануэлю. Он не расслышал.

К черту операционный стол! Не в первый раз ему лежать на операционном столе. Он не умрет. Если бы он умирал, тут был бы священник.

Сурито что-то говорил ему, подняв ножницы.

Вот оно что! Они хотят отрезать его косичку. Они хотят отрезать его колету.

Он сел на операционном столе. Врач отступил назад, рассерженный. Мануэль почувствовал, что кто-то схватил его за плечи.

— Ты этого не сделаешь, Манос,— сказал Мануэль.

Он вдруг ясно услышал голос Сурито.

— Успокойся,— сказал Сурито.— Не сделаю. Я пошутил.

— Я был в форме,— сказал Мануэль.— Мне просто не повезло. Вот и все.

Мануэль лег на спину. Что-то положили ему на лицо. Все это знакомо. Он глубоко вдыхал привычный запах. Он устал. Он очень, очень устал. Потом маску сняли с его лица.

— Я был в форме,— слабым голосом проговорил Мануэль.— Я был в блестящей форме.

Ретана посмотрел на Сурито и пошел к дверям.

— Я останусь с ним,— сказал Сурито.

Ретана пожал плечами.

Мануэль открыл глаза и посмотрел на Сурито.

— Скажи сам, разве я не был в форме, Манос? — спросил он, с надеждой глядя на Сурито.

— Еще бы,— сказал Сурито.— Ты был в блестящей форме.

Санитар наложил маску на лицо Мануэля, и он глубоко вдыхал знакомый запах. Сурито неуклюже стоял возле стола, наблюдая.

УБИЙЦЫ

Дверь закусочной Генри отворилась. Вошли двое и сели у стойки.

— Что для вас? — спросил Джордж.

— Сам не знаю,— сказал один.— Ты что возьмешь, Эл?

— Не знаю,— ответил Эл.— Не знаю, что взять.

На улице уже темнело. За окном зажегся фонарь. Вошедшие просматривали меню. Ник Адамс глядел на них из-за угла стойки. Он там стоял и разговаривал с Джорджем, когда они вошли.

— Дай мне свиное филе под яблочным соусом и картофельное пюре,— сказал первый.

— Филе еще не готово.

— Какого же черта оно стоит в меню?

— Это из обеда,— пояснил Джордж.— Обеды с шести часов.

Джордж взглянул на стенные часы над стойкой.

— А сейчас пять.

— На часах двадцать минут шестого,— сказал второй.

— Они спешат на двадцать минут.

— Черт с ними, с часами,— сказал первый.— Что же у тебя есть?

— Могу предложить разные сандвичи,— сказал Джордж.— Яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку с салом, бифштекс.

— Дай мне куриные крокеты под белым соусом с зеленым горошком и картофельным пюре.

— Это из обеда.

— Что ни спросишь — все из обеда. Порядки, нечего сказать.

— Возьмите яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку...

— Давай яичницу с ветчиной,— сказал тот, которого звали Эл. На нем был котелок и наглухо застегнутое черное пальто. Лицо у него было маленькое и бледное, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне.

— А мне яичницу с салом,— сказал другой. Они были почти одного роста, лицом непохожи, но одеты одинаково, оба в слишком узких пальто. Они сидели, слегка подавшись вперед, положив локти на стойку.

— Есть что-нибудь выпить? — спросил Эл.

— Лимонад, морс, шипучка.

— *Выпить,* я спрашиваю.

— Только то, что я сказал.

— Веселый городок,— сказал другой.— Кстати, как он называется?

— Сэммит.

— Слыхал когда-нибудь, Макс? — спросил Эл.

— Нет.

— Что тут делают по вечерам? — спросил Эл.

— Обедают,— сказал Макс.— Все приходят сюда и едят этот знаменитый обед.

— Угадали,— сказал Джордж.

— По-твоему, я угадал? — переспросил Эл

— Точно.

— А ты, я вижу, умница.

— Точно.

— Ну и врешь,— сказал Макс.— Ведь он врет, Эл?

— Балда он,— ответил Эл. Он повернулся к Нику.— Тебя как зовут?

— Ник Адамс.

— Тоже умница хоть куда,— сказал Эл.— Верно, Макс?

— В этом городе все как на подбор,— ответил Макс.

Джордж подал две тарелки, яичницу с салом и яичницу с ветчиной. Потом он поставил рядом две порции жареного картофеля и захлопнул окошечко в кухню.

— Вы что заказывали? — спросил он Эла.

— А ты сам не помнишь?

— Яичницу с ветчиной.

— Ну разве не умница? — сказал Макс. Он протянул руку и взял тарелку. Оба ели, не снимая перчаток. Джордж смотрел, как они едят.

— Ты чего смотришь? — обернулся Макс к Джорджу.

— Просто так.

— Да, как же, рассказывай. На меня смотришь.

— Это он сострил, Макс,— сказал Эл.

Джордж рассмеялся.

— Нечего смеяться,— сказал ему Макс.— Тебе нечего смеяться, понял?

— Ладно, пусть будет по-вашему,— сказал Джордж.

— Слышишь, Эл? Он согласен, пусть будет по-нашему.— Макс взглянул на Эла.— Ловко, а?

— Голова у него работает,— сказал Эл. Они продолжали есть.

— Как зовут того, второго? — спросил Эл Макса.

— Эй, умница,— позвал Макс.— Ну-ка, ступай к своему приятелю за стойку.

— А в чем дело? — спросил Ник.

— Да ни в чем.

— Ну, ну, поворачивайся,— сказал Эл. Ник зашел за стойку.

— В чем дело? — спросил Джордж.

— Не твоя забота,— ответил Эл.— Кто у вас там на кухне?

— Негр.

— Что еще за негр?

— Повар.

— Позови его сюда.

— А в чем дело?

— Позови его сюда.

— Да вы знаете, куда пришли?

— Не беспокойся, знаем,— сказал тот, которого звали Макс.— Дураки мы, что ли?

— Тебя послушать, так похоже на то,— сказал Эл.— Чего ты канителишься с этим младенцем? Эй, ты,— сказал он Джорджу.— Позови сюда негра. Живо.

— А что вам от него нужно?

— Ничего. Пошевели мозгами, умница. Что нам может быть нужно от негра?

Джордж открыл окошечко в кухню.

— Сэм,— позвал он.— Выйди сюда на минутку.

Кухонная дверь отворилась, и вошел негр.

— Что случилось? — спросил он.

Сидевшие у стойки оглядели его.

— Ладно, черномазый, стань тут,— сказал Эл.

Повар, теребя фартук, смотрел на незнакомых людей у стойки.

— Слушаю, сэр,— сказал он.

Эл слез с табурета.

— Я пойду на кухню с этими двумя,— сказал он.— Ступай к себе на кухню, черномазый. И ты тоже, умница.

Пропустив вперед Ника и повара, Эл прошел на кухню. Дверь за ним закрылась. Макс остался у стойки, напротив Джорджа. Он смотрел не на Джорджа, а в длинное зеркало над стойкой. В этом помещении раньше был салун.

— Ну-с,— сказал Макс, глядя в зеркало.— Что же ты молчишь, умница?

— Что все это значит?

— Слышишь, Эл,— крикнул Макс.— Он хочет знать, что все это значит.

— Что же ты ему не скажешь? — отозвался голос Эла из кухни.

— Ну, как ты думаешь, что все это значит?

— Не знаю.

— А все-таки?

Разговаривая, Макс все время смотрел в зеркало.

— Не могу догадаться.

— Слышишь, Эл, он не может догадаться, что все это значит.

— Не кричи, я и так слышу,— ответил Эл из кухни. Он поднял окошечко, через которое передавали блюда, и подпер его бутылкой из-под томатного соуса.— Послушай-ка, ты,— обратился он к Джорджу,— подвинься немного вправо. А ты, Макс, немного влево.— Он расставлял их, точно фотограф перед съемкой.

— Побеседуем, умница,— сказал Макс.— Так как по-твоему, что́ мы собираемся сделать?

Джордж ничего не ответил.

— Ну, я тебе скажу: мы собираемся убить одного шведа. Знаешь ты длинного шведа, Оле Андресона?

— Да.

— Он тут обедает каждый вечер?

— Иногда обедает.

— Приходит ровно в шесть?

— Если вообще приходит.

— Так. Это нам все известно,— сказал Макс.— Поговорим о чем-нибудь другом. В кино бываешь?

— Изредка.

— Надо бы тебе ходить почаще. Кино — это как раз для таких, как ты.

— За что вы хотите убить Оле Андресона? Что он вам сделал?

— Пока что ничего не сделал. Он нас в глаза не видал.

— И увидит только раз в жизни,— добавил Эл из кухни.

— Так за что же вы хотите убить его?— спросил Джордж.

— Нас попросил один знакомый. Просто дружеская услуга, понимаешь?

— Заткнись,— сказал Эл из кухни.— Слишком ты много болтаешь.

— Должен же я развлекать собеседника. Верно, умница?

— Много болтаешь,— повторил Эл.— Вот мои тут сами развлекаются. Лежат, связанные, рядышком, как подружки в монастырской школе.

— А ты был в монастырской школе?

— Может, и был.

— В хедере ты был, вот где.

Джордж взглянул на часы.

— Если кто войдет, скажешь, что повар ушел, а если это не поможет, пойдешь на кухню и сам что-нибудь сготовишь, понятно? Ты ведь умница.

— Понятно,— ответил Джордж.— А что вы с нами после сделаете?

— А это смотря по обстоятельствам,— ответил Макс.— Этого, видишь ли, наперед нельзя сказать.

Джордж взглянул на часы. Было четверть седьмого. Дверь с улицы открылась. Вошел вагоновожатый.

— Здорово, Джордж,— сказал он.— Пообедать можно?

— Сэм ушел,— сказал Джордж.— Будет через полчаса.

— Ну, я пойду еще куда-нибудь,— сказал вагоновожатый. Джордж взглянул на часы. Было уже двадцать минут седьмого.

— Вот молодец,— сказал Макс.— Одно слово — умница.

— Он знал, что я ему голову прострелю,— сказал Эл из кухни.

— Нет,— сказал Макс,— это не потому. Он славный малый. Он мне нравится.

Без пяти семь Джордж сказал:

— Он не придет.

За это время в закусочную заходили еще двое. Один спросил сандвич «навынос», и Джордж пошел на кухню поджарить для сандвича яичницу с салом. В кухне он увидел Эла; сдвинув котелок на затылок, тот сидел на табурете перед окошечком, положив на подоконник ствол обреза. Ник и повар лежали в углу, связанные спина к спине. Рты у обоих были заткнуты полотенцами. Джордж приготовил сандвич, завернул в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел.

— Ну как же не умница — ведь все умеет,— сказал Макс.— И стряпать, и все, что угодно. Хозяйственный будет муженек у твоей жены.

— Может быть,— сказал Джордж.— А ваш приятель Оле Андресон не придет.

— Дадим ему еще десять минут,— сказал Макс.

Макс поглядывал то в зеркало, то на часы. Стрелки показали семь часов, потом пять минут восьмого.

— Пойдем, Эл,— сказал Макс,— нечего нам ждать. Он уже не придет.

— Дадим ему еще пять минут,— ответил Эл из кухни.

За эти пять минут вошел еще один посетитель, и Джордж сказал ему, что повар заболел.

— Какого же черта вы не наймете другого? — сказал вошедший.— Закусочная это или нет?

Он вышел.

— Идем, Эл,— сказал Макс.

— А как быть с этими двумя и негром?

— Ничего, пусть их.

— Ты думаешь — ничего?

— Ну конечно. Тут больше нечего делать.

— Не нравится мне это,— сказал Эл.— Нечистая работа. И ты наболтал много лишнего.

— А, пустяки,— сказал Макс.— Надо же хоть немного поразвлечься.

— Все-таки ты слишком много наболтал,— сказал Эл. Он вышел из кухни. Обрез слегка оттопыривал на боку его узкое пальто. Он одернул полу затянутыми в перчатки руками.

— Ну, прощай, умница,— сказал он Джорджу.— Везет тебе.

— Что верно, то верно,— сказал Макс.— Тебе бы на скачках играть.

Они вышли на улицу. Джордж видел в окно, как они прошли мимо фонаря и свернули за угол. В своих черных костюмах и пальто в обтяжку они похожи были на эстрадную пару.

Джордж пошел на кухню и развязал Ника и повара.

— Ну, с меня довольно,— сказал Сэм.— С меня довольно.

Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем.

— Послушай,— сказал он.— Какого черта, в самом деле? — Он старался делать вид, что ему все нипочем.

— Они хотели убить Оле Андресона,— сказал Джордж.— Застрелить его, когда он придет обедать.

— Оле Андресона?

— Да.

Негр потрогал углы рта большими пальцами.

— Ушли они? — спросил он.

— Да,— сказал Джордж.— Ушли.

— Не нравится мне это,— сказал негр.— Совсем мне это не нравится.

— Слушай,— сказал Джордж Нику.— Ты бы сходил к Оле Андресону.

— Ладно.

— Лучше не впутывайся в это дело,— сказал Сэм.— Лучше держись в сторонке.

— Если не хочешь, не ходи,— сказал Джордж.

— Ничего хорошего из этого не выйдет,— сказал Сэм.— Держись в сторонке.

— Я пойду,— сказал Ник Джорджу.— Где он живет?

Повар отвернулся.

— Толкуй с мальчишками,— проворчал он.

— Он живет в меблированных комнатах Гирш,— ответил Джордж Нику.

— Ладно, я пошел.

На улице дуговой фонарь светил сквозь голые ветки. Ник пошел вдоль трамвайных путей и у следующего фонаря свернул в переулок. В четвертом доме от угла помещались меблированные комнаты Гирш. Ник поднялся на две ступеньки и надавил кнопку звонка. Дверь открыла женщина.

— Здесь живет Оле Андресон?

— Вы к нему?

— Да, если он дома.

Вслед за женщиной Ник поднялся по лестнице и прошел в конец длинного коридора. Женщина постучала в дверь.

— Кто там?

— Тут вас спрашивают, мистер Андресон,— сказала женщина.

— Это я — Ник Адамс.

— Войдите.

Ник толкнул дверь и вошел в комнату. Оле Андресон, одетый, лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса, кровать была слишком коротка для него. Под головой у него были две подушки. Он не взглянул на Ника.

— В чем дело? — спросил он.

— Я был в закусочной Генри,— сказал Ник.— Пришли двое, связали меня и повара и говорили, что хотят вас убить.

На словах это выходило глупо. Оле Андресон ничего не ответил.

— Они выставили нас на кухню,— продолжал Ник.— Они собирались вас застрелить, когда вы придете обедать.

Оле Андресон глядел в стену и молчал.

— Джордж послал меня предупредить вас.

— Все равно тут ничего не поделаешь,— сказал Оле Андресон.

— Хотите, я вам опишу, какие они?

— Я не хочу знать, какие они,— сказал Оле Андресон. Он смотрел в стену.— Спасибо, что пришел предупредить.

— Не стоит.

Ник все глядел на рослого человека, лежавшего на кровати.

— Может быть, пойти заявить в полицию?

— Нет,— сказал Оле Андресон.— Это бесполезно.

— А я не могу помочь чем-нибудь?

— Нет. Тут ничего не поделаешь.

— Может быть, это просто шутка?

— Нет. Это не просто шутка.

Оле Андресон повернулся на бок.

— Беда в том,— сказал он, глядя в стену,— что я никак не могу собраться с духом и выйти. Целый день лежу вот так.

— Вы бы уехали из города.

— Нет,— сказал Оле Андресон.— Надоело мне бегать от них.— Он все глядел в стену.— Теперь уже ничего не поделаешь.

— А нельзя это как-нибудь уладить?

— Нет, теперь уже поздно.— Он говорил все тем же тусклым голосом.— Ничего не поделаешь. Я полежу, а потом соберусь с духом и выйду.

— Так я пойду обратно, к Джорджу,— сказал Ник.

— Прощай,— сказал Оле Андресон. Он не смотрел на Ника.— Спасибо, что пришел.

Ник вышел. Затворяя дверь, он видел Оле Андресона, лежащего одетым на кровати, лицом к стене.

— Вот с утра сидит в комнате,— сказала женщина, когда он спустился вниз.— Боюсь, не захворал ли. Я ему говорю: «Мистер Андресон, вы бы пошли прогулялись, день-то какой хороший»,— а он упрямится.

— Он не хочет выходить из дому.

— Видно, захворал,— сказала женщина.— А жалко, такой славный. Знаете, он ведь был боксером.

— Знаю.

— Только по лицу и можно догадаться,— сказала женщина. Они разговаривали, стоя в дверях.— Такой обходительный.

— Прощайте, миссис Гирш,— сказал Ник.

— Я не миссис Гирш,— сказала женщина.— Миссис Гирш — это хозяйка. Я только прислуживаю здесь. Меня зовут миссис Белл.

— Прощайте, миссис Белл,— сказал Ник.

— Прощайте,— сказала женщина.

Ник прошел темным переулком до фонаря на углу, потом повернул вдоль трамвайных путей к закусочной, Джордж стоял за стойкой.

— Видел Оле?

— Да,— сказал Ник.— Он сидит у себя в комнате и не хочет выходить.

На голос Ника повар приоткрыл дверь из кухни.

— И слушать об этом не желаю,— сказал он и захлопнул дверь.

— Ты ему рассказал?

— Рассказал, конечно. Да он и сам все знает.

— А что он думает делать?

— Ничего.

— Они его убьют.

— Наверно, убьют.

— Должно быть, впутался в какую-нибудь историю в Чикаго.

— Должно быть,— сказал Ник.

— Скверное дело.

— Паршивое дело,— сказал Ник.

Они помолчали. Джордж достал полотенце и вытер стойку.

— Что он такое сделал, как ты думаешь?

— Какой-нибудь уговор нарушил. У них за это убивают.

— Уеду я из этого города,— сказал Ник.

— Да,— сказал Джордж.— Хорошо бы отсюда уехать.

— Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Даже подумать страшно.

— А ты не думай,— сказал Джордж.

ДЕСЯТЬ ИНДЕЙЦЕВ

Когда Ник поздно вечером возвращался из города с праздника 4 июля в большом фургоне вместе с Джо Гарнером и его семьей, им попались по пути девять пьяных индейцев. Он запомнил, что их было девять, потому что Джо Гарнер, погоняв-

ший лошадей, чтобы засветло добраться домой, соскочил на ходу и вытащил из колеи индейца. Индеец спал, уткнувшись носом в песок. Джо оттащил его в кусты и влез обратно в фургон.

— Это девятый,— сказал Джо,— как из города выехали.

— Уж эти индейцы! — проговорила миссис Гарнер.

Ник сидел на задней скамье с двумя гарнеровскими мальчиками. Он выглянул из фургона посмотреть на индейца, которого Джо оттащил в сторону от дороги.

— Это что, Билли Тэйбшо? — спросил Карл.

— Нет.

— А у него штаны совсем как у Билли.

— У всех индейцев такие штаны.

— Я его и не видел,— сказал Фрэнк.— Па так быстро соскочил и влез обратно, что я ничего не рассмотрел. Я думал, он змею переехал.

— Ну, какая там змея! А вот индейцы — те сегодня действительно допились до зеленого змия,— сказал Джо Гарнер.

— Уж эти индейцы! — повторила миссис Гарнер.

Они поехали дальше. Фургон свернул с шоссе и стал подниматься в гору. Лошадям было тяжело; мальчики слезли и пошли пешком. Дорога была песчаная. Когда они миновали школу, Ник оглянулся с вершины холма. Он увидел огни в Питоски, а там вдали, за Литл-Траверс-Бей, огни Харбор-Спринга. Они снова влезли в фургон.

— Надо бы здесь дорогу гравием укрепить,— сказал Джо Гарнер.

Теперь они ехали лесом. Джо и миссис Гарнер сидели рядом на передней скамье. Ник сидел сзади, между двумя мальчиками. Дорога вышла на просеку.

— А вот здесь па хорька задавил.

— Нет, дальше.

— Не важно, где это было,— заметил Джо, не оборачиваясь.— Не все ли равно, где задавить хорька.

— А я вчера вечером двух хорьков видел,— заявил Ник.

— Где?

— Там, около озера. Они по берегу дохлую рыбу искали.

— Это, верно, еноты были,— сказал Карл.

— Нет, хорьки. Что, я хорьков не знаю, что ли?

— Тебе да не знать! — сказал Карл.— Ты за индианкой бегаешь.

— Перестань болтать глупости, Карл — сказала миссис Гарнер.

— А они пахнут одинаково.

Джо Гарнер засмеялся.

— Перестань смеяться, Джо,— заметила миссис Гарнер.— Я не позволю Карлу ерунду пороть.

— Правда, ты за индианкой бегаешь, Ники? — спросил Джо.

— Нет.

— Нет, правда, па,— сказал Фрэнк.— Он за Пруденс Митчел бегает.

— Неправда.

— Он каждый день к ней ходит.

— Нет, не хожу.— Ник, сидевший в темноте между двумя мальчиками, в глубине души чувствовал себя счастливым, что его дразнят Пруденс Митчел.— Вовсе я за ней не бегаю,— сказал он.

— Будет врать! — сказал Карл.— Я их каждый день вместе встречаю.

— А Карл ни за кем не бегает,— сказала мать,— даже за индианкой.

Карл помолчал.

— Карл не умеет с девчонками ладить,— сказал Фрэнк.

— Заткнись!

— Молодец, Карл! — заметил Джо Гарнер.— Девчонки до добра не доведут. Бери пример с отца.

— Не тебе бы говорить.— И миссис Гарнер придвинулась поближе к Джо, воспользовавшись толчком фургона.— Мало у тебя в свое время подружек-то было.

— Уж наверное, па никогда не водился с индианкой.

— Как знать? — сказал Джо.— Ты смотри, Ник, не упусти Прюди.

Жена что-то шепнула ему, Джо засмеялся.

— Чего ты смеешься, па? — спросил Фрэнк.

— Не говори, Гарнер,— остановила его жена.

Джо опять засмеялся.

— Пускай Ники берет себе Прюди. У меня и без того хорошая женка.

— Вот это так,— сказала миссис Гарнер.

Лошади тяжело тащились по песку. Джо хлестнул кнутом наугад.

— Но-но, веселее! Завтра еще хуже придется.

С холма лошади пошли рысью, фургон подбрасывало.

Около фермы все вылезли. Миссис Гарнер отперла дверь, вошла в дом и вышла обратно с лампой в руках. Карл и Ник

сняли поклажу с фургона. Фрэнк сел на переднюю скамью и погнал лошадей к сараю. Ник поднялся на крыльцо и открыл дверь кухни. Миссис Гарнер растапливала печку; она оглянулась, продолжая поливать дрова керосином.

— Прощайте, миссис Гарнер! — сказал Ник.— Спасибо, что подвезли меня.

— Не за что, Ники.

— Я прекрасно провел время.

— Мы тебе всегда рады. Оставайся, поужинай с нами.

— Нет, я уж пойду. Меня па дожидается.

— Ну, иди. Пошли, пожалуйста, домой Карла.

— Хорошо.

— До свидания, Ники!

— До свидания, миссис Гарнер!

Ник вышел со двора фермы и направился к сараю. Джо и Фрэнк доили коров.

— До свидания! — сказал Ник.— Мне было очень весело.

— До свидания, Ники! — крикнул Джо Гарнер.— А ты разве не останешься поужинать?

— Нет, не могу. Скажите Карлу, что его мать зовет.

— Ладно. Прощай, Ники!

Ник босиком пошел по тропинке через луг позади сарая. Тропинка была гладкая, роса холодила босые ноги. Он перелез через изгородь в конце луга, спустился в овраг, увязая в топкой грязи, и пошел в гору через сухой березовый лес, пока не увидел огонек в доме. Он перелез через загородку и подошел к переднему крыльцу. В окно он увидел, что отец сидит за столом и читает при свете большой лампы. Ник открыл дверь и вошел.

— Ну как, Ники? — спросил отец.— Хорошо провел время?

— Очень весело, па. Праздник был веселый.

— Есть хочешь?

— Еще как!

— А куда ты дел свои башмаки?

— Я их оставил у Гарнеров в фургоне.

— Ну, пойдем в кухню.

Отец пошел вперед с лампой. Он остановился у ледника и поднял крышку. Ник вышел в кухню. Отец принес на тарелке кусок холодной курицы и кувшин молока и поставил их перед Ником. Лампу он поставил на стол.

— Еще пирог есть,— сказал отец.— С тебя этого хватит?

— За глаза!

Отец сел на стул у покрытого клеенкой стола. На стене появилась его большая тень.

— Кто же выиграл?

— Питоски. Пять — три.

Отец смотрел, как он ест; потом налил ему стакан молока из кувшина.

Ник выпил и вытер салфеткой рот. Отец протянул руку к полке за пирогом. Он отрезал Нику большой кусок. Пирог был с черникой.

— А ты что делал, па?

— Утром ходил рыбу удить.

— А что поймал?

— Одного окуня.

Отец сидел и смотрел, как Ник ест пирог.

— А после обеда ты что делал? — спросил Ник.

— Ходил прогуляться к индейскому поселку.

— Видел кого-нибудь?

— Все индейцы отправились в город пьянствовать.

— Так и не видел совсем никого?

— Твою Прюди видел.

— Где?

— В лесу, с Фрэнком Уошберном. Случайно набрел на них. Они недурно проводили время.

Отец смотрел в сторону.

— Что они делали?

— Да я особенно не разглядывал.

— Скажи мне, что они делали.

— Не знаю,— сказал отец.— Я слышал только, как они там возились.

— А почему ты знаешь, что это были они?

— Видел.

— Ты, кажется, сказал, что не разглядел их?

— Нет, я их видел.

— Кто с ней был? — спросил Ник.

— Фрэнк Уошберн.

— А им... им...

— Что им?

— А им весело было?

— Да как будто не скучно.

Отец встал из-за стола и вышел из кухни. Когда он вернулся к столу, Ник сидел, уставясь в тарелку. Глаза его были заплаканы.

— Хочешь еще кусочек?

Отец взял нож, чтобы отрезать кусок пирога.

— Нет,— ответил Ник.

— Съешь еще кусок.

— Нет, я больше не хочу.

Отец собрал со стола.

— А где ты их видел? — спросил Ник.

— За поселком.

Ник смотрел на тарелку. Отец сказал:

— Ступай-ка ты спать, Ник.

— Иду.

Ник вошел в свою комнату, разделся и лег в постель. Он слышал шаги отца в соседней комнате. Ник лежал в постели, уткнувшись лицом в подушку.

«Мое сердце разбито,— думал он.— Я чувствую, что мое сердце разбито».

Через некоторое время он услышал, как отец потушил лампу и пошел к себе в комнату. Он слышал, как зашумел ветер по деревьям, и почувствовал холод, проникавший сквозь ставни. Он долго лежал, уткнувшись лицом в подушку, потом перестал думать о Прюди и наконец уснул. Когда он проснулся ночью, он услышал шум ветра в кустах болиголова около дома и прибой волн о берег озера и опять заснул. Утром, когда он проснулся, дул сильный ветер, и волны высоко набегали на берег, и он долго лежал, прежде чем вспомнил, что сердце его разбито.

НА СОН ГРЯДУЩИЙ

В ту ночь мы лежали на полу, и я слушал, как едят шелковичные черви. Червей кормили тутовыми листьями, и всю ночь было слышно шуршание и такой звук, словно что-то падает в листья. Спать я не хотел, потому что уже давно я жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. Я старался не думать об этом, но с тех пор по ночам, стоило мне задремать, это каждый раз опять начиналось, и только очень большим усилием я мог помешать этому. Теперь я почти уверен, что ничего такого не случилось бы, но тогда, в то лето, я не хотел рисковать.

У меня было несколько способов занять свои мысли, когда я лежал без сна. Я представлял себе речку, в которой мальчиком удил форель, и мысленно проходил ее всю, не пропуская ни одной коряги, ни одного изгиба русла, забрасывая удочку и в глубоких бочагах, и на светлеющих отмелях, и форель иногда ловилась, а иногда срывалась с крючка. В полдень я делал перерыв и садился завтракать, иногда на коряге у самой воды, иногда под деревом, на высоком берегу; и ел всегда очень медленно, все время глядя на реку. Часто мне не хватало наживки, потому что, отправляясь на ловлю, я брал с собой не больше десятка червей в жестянке из-под табака. Когда этот запас приходил к концу, нужно было искать еще червей; и там, где кедры загораживали солнечный свет и трава на берегу не росла, сырую голую землю было очень трудно копать, и случалось, что я не мог найти ни одного червяка. Все же какая-нибудь наживка всегда находилась, но один раз на болоте я так и не нашел ничего, и мне пришлось изрезать на куски одну из пойманных форелей и ею наживить удочку.

Иногда на болотистых лугах, в траве или под папоротниками, я находил насекомых, которые годились для наживки. Попадались жуки, и какие-то букашки с длинными, точно стебельки травы, ножками, и личинки, водившиеся в старых, трухлявых колодах,— белые личинки с цепкими челюстями, они плохо держались на крючке, и в холодной воде от них оставалась одна оболочка; под колодами можно было найти лесных клещей, а иногда я находил и червяков, но они уползали в землю, как только приподнимешь колоду. Однажды я насадил на крючок саламандру, которую поймал под старой колодой. Саламандра была очень маленькая, складная, проворная и красивой расцветки. У нее были крошечные лапки, которыми она цеплялась за крючок, и больше я никогда не брал для наживки саламандр, хотя они часто мне попадались. Не брал я и сверчков, из-за того, что они так корежатся на крючке.

Иногда речка протекала среди лугов, и в сухой траве я ловил кузнечиков и брал их для наживки; а иногда ловил кузнечиков и бросал их в воду, и смотрел, как они плыли на поверхности, подхваченные течением, а потом исчезали, как только всплывала форель. Иногда в одну ночь я проходил с удочкой четыре или пять рек, начиная от самого верховья и подвигаясь вниз по течению. Если я доходил до конца, а времени до утра было еще много, я пускался в обратный путь, вверх по течению, начиная оттуда, где речка впадала в озеро, и старался выловить всю форель, которую упустил, идя вниз

по течению. Были ночи, когда я придумывал речки, и это бывало иногда очень интересно, точно сны наяву. Некоторые из этих речек я до сих пор помню, и мне кажется, что я на самом деле ловил в них рыбу, и в моей памяти они путаются с теми, где мне приходилось бывать. Я давал им названия, и иногда ехал поездом, а иногда проходил целые мили пешком, чтобы добраться до них.

Но были ночи, когда я не мог думать о ловле форелей; и в такие ночи я лежал с открытыми глазами и твердил молитвы, стараясь помолиться за всех, кого я когда-либо знал. Это занимало очень много времени, потому что, если припомнить всех, кого когда-либо знал, начиная с самого первого воспоминания в жизни,— а для меня это был чердак дома, в котором я родился, и свадебный пирог моих родителей, подвешенный в жестянке к стропилам, и тут же на чердаке банки со змеями и другими гадами, которых мой отец еще в детстве собрал и заспиртовал, но спирт в банках частью улетучился, и у некоторых змей и гадов спинки обнажились и побелели,— так вот, если начать с таких ранних воспоминаний, то людей вспоминается очень много. Если за всех помолиться, прочитав за каждого «Отче наш» и «Богородицу», то на это уйдет много времени, и под конец уже рассветет, а тогда можно заснуть, если только находишься в таком месте, где можно спать днем.

В такие ночи я старался припомнить все, что со мной было в жизни, начиная с последних дней перед уходом на войну и возвращаясь мысленно назад от события к событию. Оказалось, что раньше того чердака в доме моего дедушки я ничего припомнить не могу. Потом я начинал с него и вспоминал все в обратном порядке, пока не доходил до войны.

Я вспоминал, как после смерти дедушки мы переезжали из старого дома в другой, выстроенный по планам моей матери. На заднем дворе жгли вещи, которые решили не перевозить, и я помню, как все банки с чердака побросали в огонь, и как они лопались от жары, и как ярко вспыхивал спирт. Я помню, как змеи горели на костре за домом. Но в этих воспоминаниях не было людей; были только вещи. Я не мог даже вспомнить, кто бросал вещи в огонь, и я вспоминал дальше, и когда доходил до людей, то останавливался и молился за них.

Думая о новом доме, я вспоминал, как моя мать постоянно наводила там чистоту и порядок. Один раз, когда отец уехал на охоту, она устроила генеральную уборку в подвале и сожгла все, что там было лишнего. Когда отец вернулся домой и вышел из кабриолета и привязал лошадь, на дороге у дома еще горел

костер. Я выбежал навстречу отцу. Он отдал мне ружье и оглянулся на огонь.

— Это что такое? — спросил он.

— Я убирала подвал, мой друг,— отозвалась мать. Она вышла встретить его и, улыбаясь, стояла на крыльце.

Отец всмотрелся в костер и ногой поддел в нем что-то. Потом он наклонился и вытащил что-то из золы.

— Дай-ка мне кочергу, Ник,— сказал он.

Я пошел в подвал и принес кочергу, и отец стал тщательно разгребать золу. Он выгреб каменные топоры, и каменные свежевальные ножи, и разную утварь, и точила, и много наконечников для стрел. Все это почернело и растрескалось от огня. Отец тщательно выгреб все из костра и разложил на траве у дороги.

Его ружье в кожаном чехле и две охотничьи сумки лежали тут же, на траве, где он их бросил, выйдя из кабриолета.

— Снеси ружье и сумки в дом, Ник, и достань мне бумаги,— сказал он.

Мать уже ушла в комнаты. Я взял обе сумки и ружье, которое было слишком тяжелым и колотило меня по ногам, и направился к дому.

— Бери что-нибудь одно,— сказал отец.— Не тащи все сразу.

Я положил сумки на землю, а ружье отнес в дом и на обратном пути захватил газету из стопки, лежавшей в отцовском кабинете. Отец сложил все почерневшие и потрескавшиеся каменные орудия на газету и завернул их.

— Самые лучшие наконечники пропали,— сказал он. Взяв сверток, он ушел в дом, а я остался на дворе возле лежавших в траве охотничьих сумок. Немного погодя я понес их в комнаты. В этом воспоминании было двое людей, и я молился за обоих.

Но бывали и такие ночи, когда я не мог вспомнить даже молитву. Я доходил до «яко на небеси и на земли», и потом должен был начинать все сначала, но снова застревал на этом месте. Тогда приходилось признать, что дальше я забыл, и на эту ночь отказаться от молитв и придумать что-нибудь другое. Иногда я принимался вспоминать названия всех животных, какие только есть на свете, потом птиц, потом рыб, потом все страны и города, потом названия всех известных мне кушаний, потом все улицы в Чикаго, а когда больше я уже ничего не мог вспомнить, я просто лежал и слушал. Не припомню такой ночи, когда совсем ничего не было бы слышно. Если можно было

спать со светом, я не боялся уснуть, так как знал, что только в темноте моя душа может вырваться из тела. Конечно, мне часто приходилось проводить ночи в таких местах, где я мог не гасить света, и тогда я спал, потому что почти всегда чувствовал усталость, и меня постоянно клонило ко сну. И, наверно, мне не раз случалось засыпать незаметно для себя, но сознательно я никогда не решился бы заснуть в темноте. Вот и в эту ночь я лежал и слушал шелковичных червей. Ночью отчетливо слышно, как шелковичные черви едят, и я лежал с открытыми глазами и прислушивался к ним.

В комнате, кроме меня, был еще один человек, и он тоже не спал. Долгое время я слушал, как он не спит. Он не мог лежать так спокойно, как я,— быть может, потому, что у него не было привычки не спать. Мы лежали на одеялах, разостланных поверх соломы, и при каждом движении солома под нами хрустела, но шелковичных червей не пугал этот хруст, и они не переставали есть. За стенами дома ночь была полна обычных шумов прифронтовой полосы, но в темной комнате были совсем другие, свои, маленькие шумы. Человек, деливший со мной комнату, некоторое время старался лежать спокойно. Потом он заворочался снова. Я тоже стал ворочаться, чтобы он понял, что я не сплю. Он десять лет прожил в Чикаго. Его мобилизовали в девятьсот четырнадцатом, когда он приехал навестить родных, и так как он говорил по-английски, его приставили ко мне вестовым. Я почувствовал, что он прислушивается, и тогда я еще раз повернулся на своем одеяле.

— Не спится, вам, signor tenente? [1] — спросил он.

— Не спится.

— И мне тоже.

— А почему?

— Не знаю. Так, не спится.

— Вы, может быть, нездоровы?

— Да нет. Я здоров. Только вот не спится.

— Давайте поговорим о чем-нибудь,— предложил я.

— Давайте. Только о чем тут говорить, в этой проклятой дыре?

— Здесь не так уж плохо,— сказал я.

— Точно,— согласился он,— здесь ничего.

— Расскажите, как вы жили в Чикаго,— сказал я.

— Так ведь я вам уже об этом рассказывал,— сказал он.

— Расскажите, как вы женились.

---

[1] Господин лейтенант *(итал.)*.

— И об этом тоже рассказывал.

— То письмо, в понедельник, было от нее?

— Точно. Она мне все время пишет. Торговля у нее там идет хорошо.

— Вы, когда вернетесь, найдете налаженное дело.

— Точно. Она хорошо справляется. И барыши неплохие.

— А не разбудим мы остальных своими разговорами? — спросил я.

— Нет. Им не слышно. И потом, они спят, как сурки. А я вот не могу,— сказал он.— Я очень нервный.

— Говорите тише,— сказал я.— Курить хотите?

Мы осторожно закурили в темноте.

— Вы мало курите, signor tenente.

— Да, я почти бросил.

— Что ж,— сказал он,— это только на пользу, и, наверно, когда отвыкнешь, так уже и не хочется. Правда, что слепые не курят потому, что не могут видеть дым?

— Вряд ли.

— Ерунда, по-моему,— сказал он.— Хотя так говорят. Да, знаете, мало ли что говорят.

Мы оба замолчали, и я снова прислушался к шуршанью шелковичных червей.

— Вы слышите этих противных червяков? — спросил он.— Слышно, как они жуют.

— Да, странный звук,— сказал я.

— Скажите, signor tenente, что такое с вами, что вы не спите по ночам? Я никогда не видел, чтобы вы спали. Вы ни одной ночи не спали, с тех пор как я при вас.

— Не знаю, Джон,— сказал я.— В начале прошлой весны я попал в скверную переделку, и с тех пор мне ночью всегда не по себе.

— Вот и мне тоже,— сказал он.— Не надо было мне идти на войну. Слишком я нервный.

— Может быть, это пройдет.

— Скажите мне, signor tenente, зачем вы-то пошли на войну?

— Не знаю, Джон. Захотелось пойти, и пошел.

— Захотелось? — сказал он.— Нечего сказать, хороша причина.

— Не надо так громко разговаривать,— сказал я.

— Да они спят, как сурки,— сказал он.— И потом, ведь они не понимают по-английски. Ни черта они не знают. Что вы будете делать, когда все это кончится и мы вернемся в Штаты?

— Думаю работать в газете.

— В Чикаго?

— Может быть.

— Вы читаете статьи этого Брисбэйна? Жена всегда вырезает их и посылает мне.

— Читаю, конечно.

— Вы с ним не знакомы?

— Нет, но я знаю его в лицо.

— Хотел бы я с ним познакомиться. Он здорово пишет. Жена хоть по-английски не читает, но газету выписывает, как при мне, а передовицы и страничку спорта вырезает и посылает мне сюда.

— Как ваши малыши?

— Хорошо. Старшая девочка уже перешла в четвертый. А знаете, signor tenente, если б не дети, не быть бы мне вашим вестовым. Меня бы все время держали на передовой.

— Я очень рад, что у вас есть дети.

— Я и сам рад. Девочки хорошие, но мне бы хотелось сына. Три девочки и ни одного мальчика. Это уж значит — не везет.

— Ну, теперь полежите тихо, может быть, заснете.

— Нет, не засну. У меня весь сон пропал, signor tenente. Но вот вы-то не спите — это меня огорчает.

— Ничего, Джон, это пройдет.

— Такой молодой, и не спите по ночам.

— Все пройдет. Только не сразу.

— Надо, чтобы прошло. Так ведь жить нельзя, если совсем не спать. Может быть, вас тревожит что-нибудь? Что-нибудь у вас есть на душе?

— Да нет как будто.

— Жениться вам нужно, signor tenente. Тогда ничто вас не будет тревожить.

— Едва ли.

— Вам нужно жениться. Выбрали бы себе какую-нибудь хорошенькую итальяночку, с деньгами. За вас любая пойдет. Молодой, красивый, имеете отличия. Были ранены несколько раз.

— Я плохо говорю по-итальянски.

— Отлично говорите. И на кой тут черт говорить по-итальянски? Никаких разговоров и не требуется. Женитесь, и все тут.

— Я подумаю об этом.

— У вас ведь есть тут знакомые девушки?

— Есть, конечно.

— Вот и женитесь на той, у которой денег больше. Они здесь все так воспитаны, что любая будет вам хорошей женой.

— Я подумаю об этом.

— А вы не думайте, signor tenente. Вы действуйте.

— Ладно.

— Мужчине нужна жена. Вы об этом не пожалеете. Каждому мужчине нужна жена.

— Ладно,— сказал я.— Теперь попробуем поспать немного.

— Ладно, signor tenente. Попробую. Только вы не забывайте, что я вам сказал.

— Не забуду,— сказал я.— А теперь поспим немного, Джон.

— Ладно,— сказал он.— Желаю вам заснуть.

Мне было слышно, как он, хрустя соломой, завернулся в свое одеяло. Потом он затих, и я услышал его ровное дыхание. Вскоре он захрапел. Я долго слушал, потом я перестал к нему прислушиваться и снова стал слушать, как едят шелковичные черви. Они ели не переставая, и все время что-то падало в листья. У меня появилось новое занятие: лежа в темноте с открытыми глазами, я стал думать обо всех девушках, которых я знал, и о том, какие бы из них вышли жены. Это было очень интересно и на время вытеснило рыбную ловлю и помешало молитвам. Но в конце концов я вернулся к рыбной ловле, так как оказалось, что реки я все могу припомнить и в каждой всегда находилось что-то новое, тогда как девушки, после того как я подумал о них несколько раз, стали расплываться в моей памяти и в конце концов расплылись совсем и стали все на одно лицо, и я бросил думать о них. Но молитв я не бросил, и часто ночами я молился за Джона, и его разряд был отпущен с действительной службы до октябрьского наступления. Я был рад, что это так вышло, потому что он бы мне причинил немало забот. Несколько месяцев спустя он навестил меня в миланском госпитале и был очень огорчен, что я еще не женился, и, представляю, как бы он расстроился, узнав, что я до сих пор не женат. Он думал вернуться в Америку, и не сомневался в пользе брака, и был уверен, что брак улаживает все.

ТАМ, ГДЕ ЧИСТО, СВЕТЛО

Был поздний час, и никого не осталось в кафе, кроме одного старика,— он сидел в тени дерева, которую отбрасывала листва, освещенная электрическим светом. В дневное время на улице было пыльно, но к ночи роса прибивала пыль, и старику нравилось сидеть допоздна, потому что он был глух, а по ночам было тихо, и он это ясно чувствовал. Оба официанта в кафе знали, что старик подвыпил, и хоть он и хороший гость, но они знали, что если он слишком много выпьет, то уйдет, не заплатив; потому они и следили за ним.

— На прошлой неделе покушался на самоубийство,— сказал один.

— Почему?

— Впал в отчаяние.

— От чего?

— Ни от чего.

— А ты откуда знаешь, что ни от чего?

— У него уйма денег.

Оба официанта сидели за столиком у стены возле самой двери и смотрели на террасу, где все столики были пусты, кроме одного, за которым сидел старик в тени дерева, ветви которого слегка покачивались на ветру. Солдат и девушка прошли по улице. Свет уличного фонаря блеснул на медных цифрах у него на воротнике. Девушка шла с непокрытой головой и спешила, чтобы не отстать.

— Патруль заберет его,— сказал официант.

— Какая ему разница, он своего добился.

— Ему бы сейчас лучше с этой улицы уйти. Прямо на патруль наскочит. И пяти минут нет, как прошли.

Старик, что сидел в тени, постучал рюмкой о блюдце. Официант помоложе вышел к нему.

— Вам чего?

Старик посмотрел на него.

— Еще коньяку,— сказал он.

— Вы будете пьяны,— сказал официант.

Старик смотрел на него. Официант ушел.

— Всю ночь просидит,— сказал он другому.— Я совсем сплю. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше бы он помер на прошлой неделе.

Официант взял со стойки бутылку коньяку и чистое блюдце и направился к столику, где сидел старик. Он поставил блюдце и налил рюмку дополна.

— Ну, что бы вам помереть на прошлой неделе,— сказал он глухому. Старик пошевелил пальцем.

— Добавьте еще,— сказал он.

Официант долил в рюмку еще столько, что коньяк потек через край, по рюмке, прямо в верхнее блюдце из тех, что скопились перед стариком.

— Благодарю,— сказал старик.

Официант унес бутылку обратно в кафе. Он снова подсел за столик у двери.

— Он уже пьян,— сказал он.

— Каждую ночь пьян.

— Зачем ему было на себя руки накладывать?

— Откуда я знаю.

— А как он это сделал?

— Повесился на веревке.

— Кто ж его из петли вынул?

— Племянница.

— И к чему это она?

— За его душу испугалась.

— А сколько у него денег?

— Уйма.

— Ему, должно быть, лет восемьдесят.

— Я бы меньше не дал.

— Шел бы он домой. Никогда раньше трех не ляжешь. Разве это дело?

— Нравится ему, вот и сидит.

— Скучно ему одному. А я не один — меня жена в постели ждет.

— И у него когда-то жена была.

— Теперь ему жена ни к чему.

— Ну, не скажи. С женой ему, может быть, лучше было бы.

— За ним племянница ходит.

— Знаю. Ты ведь сказал — это она вынула его из петли.

— Не хотел бы я дожить до его лет. Противные эти старики.

— Не всегда. Он старик аккуратный. Пьет, ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный. Посмотри.

— Не хочу и смотреть на него. Скорей бы домой шел. Никакого ему дела нет до тех, кому работать приходится.

Старик перевел взгляд с рюмки на другую сторону площади, потом — на официантов.

— Еще коньяку,— сказал он, показывая на рюмку.

Тот официант, который спешил домой, вышел к нему.

— Конец,— сказал он так, как говорят люди неумные с пьяными или иностранцами.— На сегодня ни одной больше. Закрываемся.

— Еще одну,— сказал старик.

— Нет. Кончено.

Официант вытер край столика полотенцем и покачал головой.

Старик встал, не спеша сосчитал блюдца, вынул из кармана кожаный кошелек и заплатил за коньяк, оставив полпесеты на чай.

Официант смотрел ему вслед. Старик был очень стар, шел неуверенно, но с достоинством.

— Почему ты не дал ему еще посидеть и выпить? — спросил официант, тот, что не спешил домой. Они стали закрывать ставни.— Ведь еще и половины третьего нет.

— Я хочу домой, спать.

— Ну, один час, какая разница?

— Для меня — больше, чем для него.

— Час для всех — час.

— Ты и сам, как старик, рассуждаешь. Может купить себе бутылку и выпить дома.

— Это совсем другое дело.

— Да, это верно,— согласился женатый. Он не хотел быть несправедливым. Просто он очень спешил.

— А ты? Не боишься прийти домой раньше обычного?

— Ты что, оскорбить меня хочешь?

— Нет, друг, просто шучу.

— Нет,— сказал тот, который спешил. Он запер внизу ставню и выпрямился.— Доверие. Полное доверие.

— У тебя и молодость, и доверие, и работа есть,— сказал официант постарше.— Что еще человеку надо.

— А тебе чего не хватает?

— А у меня всего только работа.

— У тебя все то же, что у меня.

— Нет. Доверия у меня никакого не было, а молодость прошла.

— Ну, чего стоишь? Перестань болтать глупости, давай запирать.

— А я вот люблю засиживаться в кафе,— сказал официант постарше.— Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет.

— Я хочу домой, спать.

— Разные мы люди,— сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить.— Дело вовсе не только в молодости и доверии, хотя и то и другое чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-нибудь оно очень нужно.

— Ну что ты, ведь кабачки всю ночь открыты.

— Не понимаешь ты ничего. Здесь чисто, опрятно, в кафе. Свет яркий. Свет — это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева.

— Спокойной ночи,— сказал официант помоложе.

— Спокойной ночи,— сказал другой.

Выключая электрический свет, он продолжал разговор сам с собой. Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да и не в страхе дело, не в боязни! Ничто — и ему оно так знакомо. Все — ничто, да и сам человек — ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это nada у pues nada у nada у pues nada [1]. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. Nada у pues nada.

Он усмехнулся и остановился возле бара с блестящим титаном для кофе.

— Для вас? — спросил бармен.

— Nada.

---

[1] Ничто и только ничто, ничто и только ничто *(исп.)*.

— Otro loco más [1],— сказал бармен и отвернулся.

— Маленькую чашечку,— сказал официант.

Бармен налил ему кофе.

— Свет яркий, приятный, а вот стойка не начищена,— сказал официант.

Бармен посмотрел на него, но ничего не ответил. Был слишком поздний час для разговоров.

— Еще одну прикажете? — спросил бармен.

— Нет, благодарю вас,— сказал официант и вышел.

Он не любил баров и погребков. Чистое, ярко освещенное кафе — совсем другое дело. Теперь, ни о чем больше не думая, он пойдет домой, в свою комнату. Ляжет в постель и на рассвете наконец уснет. В конце концов, сказал он сам себе, может быть, это просто бессонница. Со многими бывает.

КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ

Атака развертывалась по лугу, была приостановлена пулеметным огнем с дорожной выемки и с прилегающих строений, не встретила отпора в городе и закончилась на берегу реки. Проезжая по дороге на велосипеде и временами соскакивая, когда полотно было слишком изрыто, Николас Адамс понял, что происходило здесь, по тому, как лежали трупы.

Они лежали поодиночке и вповалку, в высокой траве луга и вдоль дороги, над ними вились мухи, карманы у них были вывернуты, и вокруг каждого тела или группы тел были раскиданы бумаги.

В траве и в хлебе вдоль дороги, а местами и на самой дороге было брошено много всякого снаряжения: походная кухня,— видимо, ее подвезли сюда, когда дела шли хорошо; множество ранцев телячьей кожи; ручные гранаты, каски, винтовки — кое-где прикладом вверх, а штык воткнут в грязь; в конце концов здесь принялись, должно быть, окапываться; ручные гранаты, каски, винтовки, шанцевый инструмент, патронные ящики, ракетные пистолеты с рассыпанными вокруг патронами, санитарные сумки, противогазы, пустые коробки от противогазов; посреди кучи пустых гильз приземистый трехногий пулемет, с выкипевшим пустым кожухом, с исковерканной казенной частью и торчащими из ящиков концами лент, трупы

[1] Еще один полоумный *(исп.)*.

пулеметчиков в неестественных позах, и вокруг в траве все те же бумаги.

Повсюду молитвенники, групповые фотографии, на которых пулеметный расчет стоит навытяжку и осклабясь, как футбольная команда на снимке для школьного ежегодника; теперь, скорчившиеся и раздувшиеся, они лежали в траве; агитационные открытки, на которых солдат в австрийской форме опрокидывал на кровать женщину: рисунки были весьма экспрессивные и приукрашенные, и все на них было не так, как бывает на самом деле, когда женщине закидывают на голову юбки, чтобы заглушить ее крик, а кто-нибудь из приятелей сидит у нее на голове. Такого рода открыток, выпущенных, должно быть, накануне наступления, было множество. Теперь они валялись вперемешку с порнографическими открытками; и тут же были маленькие снимки деревенских девушек работы деревенского фотографа; изредка карточки детей и письма, письма, письма. Вокруг мертвых всегда бывает много бумаги, так было и здесь, после этой атаки.

Эти были убиты недавно, и никто еще ничего не тронул, кроме карманов. Наших убитых, отметил Ник, или тех, о ком он все еще думал как о наших убитых, было до странности мало. У них тоже мундиры были расстегнуты и карманы вывернуты, и по их положению можно было судить, как и насколько умело велась атака. От жары все одинаково раздулись, независимо от национальности.

Ясно было, что в конце боя город обороняли только огнем с дорожной выемки и отступать в город австрийцам было почти некому. На улице лежало только три австрийца, видимо, подстреленных на бегу. Дома вокруг были разрушены снарядами, и улица вся завалена штукатуркой и мусором, и повсюду исковерканные балки, битая черепица и много пробоин, некоторые с желтой каемкой от горчичного газа. Земля была вся в осколках, а щебень усеян шрапнелью. В городе не было ни души.

Ник Адамс не встретил никого от самого Форначи, хотя, проезжая по густо заросшей низине и заметив, как струится воздух над листьями, там, где солнце накаляло металл, он понял, что слева от дороги орудия, скрытые тутовой листвой. Потом он проехал улицей, удивляясь тому, что город пуст, и выбрался на нижнюю дорогу, проходившую под откосом берега, у самой воды. На окраине был большой открытый пустырь, по которому дорога шла под гору, и Нику видна была спокойная поверхность реки, широкий изгиб противоположного низкого

берега и белая полоска высохшего ила перед линией австрийских окопов. С тех пор как он был здесь в последний раз, все стало очень сочным и чрезмерно зеленым, и то, что место это вошло в историю, ничуть его не изменило: все то же низовье реки.

Батальон расположился вдоль берега влево. В откосе высокого берега были вырыты ямы, и в них были люди. Ник заметил, где находятся пулеметные гнезда и где стоят в своих станках сигнальные ракеты. Люди в ямах на береговом склоне спали. Никто его не окликнул. Ник пошел дальше, но когда он обогнул высокий илистый намыв, на него навел пистолет молодой лейтенант с многодневной щетиной и налитыми кровью воспаленными глазами.

— Кто такой?

Ник ответил.

— А чем вы это докажете?

Ник показал ему свою тессеру; удостоверение было с фотографией и печатью Третьей армии. Лейтенант взял ее.

— Это останется у меня.

— Ну, нет,— сказал Ник.— Отдайте пропуск и уберите вашу пушку. Туда. В кобуру.

— Но чем вы мне докажете, кто вы такой?

— Мало вам тессеры?

— А вдруг она подложная? Дайте ее сюда.

— Не валяйте дурака,— весело сказал Ник.— Отведите меня к вашему ротному.

— Я должен отправить вас в штаб батальона.

— Очень хорошо,— сказал Ник.— Послушайте, знаете вы капитана Паравичини? Такой высокий, с маленькими усиками, он был архитектором и говорит по-английски?

— А вы его знаете?

— Немного.

— Какой ротой он командует?

— Второй.

— Он командует батальоном.

— Превосходно,— сказал Ник. Он с облегчением услышал, что Пара невредим.— Пойдемте к батальонному.

Когда Ник выходил из города, он видел три высоких шрапнельных разрыва справа над одним из разрушенных зданий, и с тех пор обстрела не было. Но у лейтенанта было такое лицо, какое бывает у человека под ураганным огнем. Та же напряженность, и голос звучал неестественно. Его пистолет раздражал Ника.

— Уберите это,— сказал он.— Противник ведь за рекой.

— Если б я думал, что вы шпион, я пристрелил бы вас на месте,— сказал лейтенант.

— Да будет вам,— сказал Ник.— Пойдемте к батальонному.— Этот лейтенант все сильнее раздражал его.

В штабном блиндаже батальона в ответ на приветствие Ника из-за стола поднялся капитан Паравичини, замещавший майора, еще более сухощавый и энглизированный, чем обычно.

— Привет,— сказал он.— Я вас не узнал. Что это вы в такой форме?

— Да вот, нарядили.

— Рад вас видеть, Николо.

— Я тоже. У вас прекрасный вид. Как воюете?

— Атака была на славу. Честное слово. Превосходная атака. Я вам сейчас покажу. Смотрите.

Он показал по карте ход атаки.

— Я сейчас из Форначи,— сказал Ник.— По дороге видел, как все это было. Атаковали хорошо.

— Атаковали изумительно. Совершенно изумительно. Вы что же, прикомандированы к полку?

— Нет. Мне поручено разъезжать по передовой линии и демонстрировать форму.

— Вот еще выдумали.

— Воображают, что, увидев одного американца в форме, все поверят, что недолго ждать и остальных.

— А как они узнают, что это американская форма?

— Вы скажете.

— А! Понимаю. Я дам вам капрала в провожатые, и вы с ним пройдете по линии.

— Словно какой-нибудь пустобрех-министр,— сказал Ник.

— А вы были бы гораздо элегантней в штатском. Только в штатском выглядишь по-настоящему элегантным.

— В котелке,— сказал Ник.

— Или в мягкой шляпе.

— Собственно, полагалось бы набить карманы сигаретами, открытками и всякой чепухой,— сказал Ник.— А сумку шоколадом. И раздавать все это с шуточками и дружеским похлопыванием по спине. Ни сигарет, ни открыток, ни шоколада не оказалось. Но меня все-таки послали проследовать по линии.

— Ну конечно, стоит вам показаться, и это сразу воодушевит войска.

— Не надо,— сказал Ник.— И без того тошно. В принципе я бы охотно прихватил для вас бутылочку бренди.

— В принципе,— сказал Пара и в первый раз улыбнулся, показывая пожелтевшие зубы.— Какое прекрасное выражение. Хотите граппы?

— Нет, спасибо,— сказал Ник.

— Она совсем без эфира.

— Этот вкус у меня до сих пор во рту,— вспомнил Ник внезапно с полной ясностью.

— Знаете, я и не подозревал, что вы пьяны, пока вы не начали болтать в грузовике на обратном пути.

— Я накачивался перед каждой атакой,— сказал Ник.

— А я вот не могу,— сказал Пара.— Я пробовал в первом деле, в самом первом деле, но меня от этого вывернуло, а потом зверски пить хотелось.

— Ну, значит, вам не надо.

— Вы же гораздо храбрее меня во время атаки.

— Нет,— сказал Ник.— Я себя знаю и предпочитаю накачиваться. Я этого ни капли не стыжусь.

— Я никогда не видел вас пьяным.

— Не видели? — сказал Ник.— Никогда? А в ту ночь, когда мы ехали из Местре в Портогранде, и я улегся спать, и укрылся велосипедом вместо одеяла, и все старался натянуть его до самого подбородка?

— Так это же не на позиции.

— Не будем говорить о том, какой я,— сказал Ник.— По этому вопросу я знаю слишком много и не хочу больше об этом думать.

— Вы пока побудьте здесь,— сказал Паравичини.— Можете прилечь, если вздумается. Эта нора прекрасно выдержала обстрел. А выходить еще слишком жарко.

— Да, торопиться некуда.

— Ну, а как вы на самом-то деле?

— Превосходно. Я в полном порядке.

— Да нет, я спрашиваю, на самом деле?

— В полном порядке. Не могу спать в темноте. Вот и все, что осталось.

— Я говорил, что нужна трепанация. Я не врач, но я знаю.

— Ну, а они решили — пусть лучше рассосется. А что? Вам кажется, что я не в своем уме?

— Почему. Вид у вас превосходный.

— Нет хуже, когда тебя признали полоумным,— сказал Ник.— Никто тебе больше не доверяет.

— Вы бы вздремнули, Николо,— сказал Паравичини.— Это вам, конечно, не тот батальонный блиндаж, к какому мы

привыкли, но мы ждем, что нас отсюда скоро перебросят. Вам не следует выходить в такую жару,— это просто глупо. Ложитесь вот сюда, на койку.

— Пожалуй, прилягу,— сказал Ник.

Ник лег на койку. Он был очень огорчен тем, что ему плохо, и еще больше тем, что это так ясно капитану Паравичини. Блиндаж был меньше того, где его взвод 1899 года рождения, только что прибывший на фронт, запсиховал во время артиллерийской подготовки, и Пара приказал ему выводить их наверх по двое, чтобы показать, что ничего с ними не случится, и сам он туго подтянул губы подбородным ремнем, чтобы не дрожали. Зная, что не удержаться, если бы атака не удалась. Зная, что все это просто чертова каша. Если он не перестанет нюнить, расквасьте ему нос, чтобы его малость встряхнуло. Я бы пристрелил одного для примера, но теперь поздно. Их еще пуще развезет. Расквасьте ему нос. Да, перенесено на пять двадцать. В нашем распоряжении только четыре минуты. Расквасьте нос и тому сопляку и вытолкайте его коленкой под задницу. Как вы думаете, поднимутся они? Если нет, пристрелите двоих-троих и постарайтесь так или иначе выкурить их отсюда. Держитесь сзади, сержант. Совершенно бесполезно шагать впереди, когда никто за тобой не идет. Волоките их отсюда за шиворот, когда пойдете сами. Что за чертова каша. Так. Ну, ладно. Потом, поглядев на часы, спокойным тоном, этим веским, спокойным тоном: «Савойя». Пошел, не накачавшись, не успел глотнуть, а потом где было ее искать, когда завалило, завалился весь угол, тут оно и началось; и он пошел, не глотнув, туда, вверх по склону, единственный раз, когда шел, не накачавшись. А когда вернулись обратно, оказалось, что головной госпиталь горит и кое-кого из раненых через четыре дня отправили в тыл, а некоторых так и не отправили, и мы снова ходили в атаку, и возвращались обратно, и отступали,— неизменно отступали. И, как ни странно, там была Габи Делис, вся в перьях, ты называл меня своею год назад, та-ра-ра-ра, ты говорил, меня обнять всегда ты рад, та-ра-ра-ра, и в перышках, да и без них, Габи всегда прекрасна; а меня зовут Гарри Пильцер, мы с вами, бывало, вылезали из такси на крутом подъеме на холм; и каждую ночь снился этот холм и еще снилась Сакре-Кёр, вздутая и белая, словно мыльный пузырь. Иногда с ним была его девушка, а иногда она была с кем-нибудь другим, и это трудно было понять, но вспоминалось это ночами, когда река текла неузнаваемо широкая и спокойная, и там, за Фоссальтой, на берегу канала был низкий, выкрашенный в желтое дом, окру-

женный ивами, и с длинной низкой конюшней; он бывал там тысячу раз и никогда не замечал этого, а теперь каждую ночь все это было так же четко, как и холм, только это пугало его. Этот дом был важнее всего, и каждую ночь он ему снился. Именно этого он и хотел, но это пугало его, особенно когда лодка спокойно стояла там между ивами, у берега канала, но берега были не такие, как у этой реки. Они были еще ниже, как у Портогранде, там, где те переправлялись через затопленную луговину, барахтаясь и держа над головой винтовки, да так и ушли под воду вместе с винтовками. Кто отдал такой приказ? Если бы не эта чертова путаница в голове, он прекрасно бы во всем разобрался. Вот почему он пробовал запомнить все до последней черточки и держать все в строгом порядке, так, чтобы всегда знать, что к чему, но вдруг, безо всякой причины, все спутывалось, вот как сейчас, когда сам он лежит на койке в батальонном блиндаже, и Пара командир батальона, а тут еще на нем эта проклятая американская форма. Он привстал и огляделся; все на него смотрели. Пара куда-то вышел. Он снова лег.

Начиналось всегда с Парижа, и это не пугало его, разве только, когда она уходила с кем-нибудь другим или когда было страшно, что им два раза попадется один и тот же шофер. Только это его и пугало. А фронтовое нет. Теперь он никогда больше не видел фронта; но что пугало его, от чего он никак не мог избавиться,— это желтый длинный дом и не та ширина реки. Вот он опять здесь, у реки, он проехал через тот самый город, а дома этого не было. И река другая. Так где же он бывает каждую ночь, и в чем опасность, и почему он каждый раз просыпается весь в поту, испуганный больше, чем под любым обстрелом, все из-за этого дома и низкой конюшни и канала?

Он привстал, осторожно спустил ноги; они деревенели, если он долго держал их вытянутыми; посмотрел на глядевших на него сержанта, и сигнальщиков, и двух ординарцев у двери и надел свою каску в матерчатом чехле.

— Очень сожалею, что у меня нет с собой шоколада, открыток, сигарет,— сказал он.— Но форма-то все-таки на мне.

— Майор сейчас вернется,— сказал сержант.

— Форма не совсем точная,— сказал им Ник.— Но представление она дает. Скоро здесь будет несколько миллионов американцев.

— Вы думаете, что к нам прибудут американцы? — спросил сержант.

— Несомненно. И какие американцы — вдвое выше меня ростом, здоровые, приветливые, спят по ночам, никогда не были

ни ранены, ни контужены, ни завалены землей; не трусят, не пьют, верны своим девушкам, многие даже не знают, что такое вошь,— замечательные ребята, вот увидите.

— А вы итальянец? — спросил сержант.

— Нет, американец. Взгляните на форму. Шил се Спаньолини, но только она не совсем точная.

— Северо- или южноамериканец?

— Северо,— сказал Ник. Он чувствовал, что опять начинается. Надо поменьше говорить.

— Но вы говорите по-итальянски.

— Ну так что же? Вам не нравится, что я говорю по-итальянски? Разве я не имею права говорить по-итальянски?

— У вас итальянские медали.

— Только ленточки и документы. Медали присылают потом. Или дашь их кому-нибудь на сохранение, а тот уедет, или они пропадут вместе со всеми вещами. Впрочем, можно купить новые в Милане. Важно, чтобы были документы. И вы не расстраивайтесь. Вам тоже дадут медали, когда вы подольше побудете на фронте.

— Я ветеран Эритрейской кампании,— сухо сказал сержант.— Я сражался в Триполи.

— Очень рад с вами познакомиться.— Ник протянул руку.— Должно быть, нелегкая была кампания. Я сразу заметил нашивки. Вы, может быть, и на Карсо были?

— Меня только что призвали в эту войну. Мой разряд слишком стар.

— Еще не так давно я был слишком молод,— сказал Ник.— А теперь я уже готов, не гожусь больше.

— А что же вы здесь делаете?

— Демонстрирую американскую форму,— сказал Ник.— Что, по-вашему, это не дело? Она немного жмет в вороте, но вы увидите, скоро миллионы одетых в эту форму налетят сюда, как саранча. Кузнечик,— вы знаете, то, что мы в Америке называем кузнечиком,— это та же саранча. Настоящий кузнечик маленький, зеленый и довольно слабенький. Его не надо смешивать с саранчой или цикадой, которая издает характерный, непрерывный звук, сейчас только я не могу вспомнить какой. Стараюсь вспомнить и не могу. Мне уже кажется, что я его слышу, а потом он ускользает. Вы меня извините, но я прерву наш разговор.

— Поди-ка отыщи майора,— сказал сержант одному из ординарцев.— Видно, вы были серьезно ранены,— сказал он Нику.

— В разные места,— сказал Ник.— Если вас интересуют шрамы, я могу показать вам очень интересные, но я предпочитаю поговорить о кузнечиках. То есть о том, что мы называем кузнечиками, а на самом деле это саранча. Это насекомое одно время занимало большое место в моей жизни. Возможно, вам это тоже будет интересно, а пока я говорю, вы можете изучать мою форму.

Сержант сделал знак второму ординарцу, и тот вышел.

— Смотрите внимательней на форму. Ее, знаете, шил Спаньолини. И вы тоже можете любоваться,— сказал Ник сигнальщикам.— У меня, видите ли, нет никакого чина. Мы состоим в ведении американского консула. Глазейте, не стесняйтесь. А я вам расскажу об американской саранче. Мы всегда предпочитали один вид, который мы называли коричневая средняя, она меньше всех размокает в воде, и рыба лучше всего идет на нее. А у тех, что побольше, которые летают и производят при этом звук, несколько напоминающий гремучую змею, когда она гремит своими гремучками,— очень сухой звук,— у них крылья ярко окрашены, иногда красные, иногда желтые с черными полосами, но их крылья совсем расползаются в воде, и наживка из них плохая, а вот коричневые средние — это плотные, жирные, восхитительные кузнецы, которых я могу рекомендовать вашему вниманию, джентльмены, если только возможно рекомендовать вниманию джентльменов то, что они, по всей вероятности, никогда не встретят. Но я со всей настоятельностью должен подчеркнуть, что вы никогда не соберете запаса этих насекомых, достаточного для дневной ловли, если будете хватать их руками или сшибать битой. Это сущая чепуха и пустая трата времени. Повторяю вам, джентльмены, так у вас ровно ничего не получится. Единственный правильный способ, способ, которому следовало бы обучать всех молодых офицеров во всех стрелковых школах, это,— если бы меня спросили об этом, а очень возможно, что меня об этом и спросят,— это применение сети или невода из обыкновенной комариной сетки. Два офицера, держа кусок сети такой вот длины за противоположные концы или, скажем, стоя по одному у каждого конца, наклоняются, берут нижний край сети в одну руку, а верхний в другую и бегут против ветра. Кузнецы, летя по ветру, натыкаются на этот кусок сети и застревают в ней. Таким способом каждый может наловить огромное количество кузнецов, и, по моему мнению, каждый офицер должен быть снабжен куском комариной сетки достаточной длины, пригодным для изготовления подобной саранчовой сети. Надеюсь, я

понятно изложил этот способ, джентльмены? Есть вопросы? Если что-нибудь в моем изложении вам представляется неясным, пожалуйста, задавайте вопросы. Я слушаю. Нет вопросов? Тогда я хотел бы прибавить в заключение следующее. Говоря словами великого полководца и джентльмена сэра Генри Уилсона, джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы или повелевать будут вами. Разрешите мне повторить. Джентльмены, мне хотелось бы, чтобы вы твердо это запомнили. Твердо запомнили и унесли с собой, уходя из этого зала. Джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы или повелевать будут вами. Я кончил, джентльмены. Позвольте пожелать вам всего хорошего.

Он снял каску в матерчатом чехле, снова надел ее и, пригнувшись, вышел в низкую дверь блиндажа. Паравичини в сопровождении обоих ординарцев приближался со стороны дорожной выемки. На солнце было очень жарко, и Ник снял каску.

— Надо бы придумать систему водяного охлаждения для этих уродин,— сказал он.— Ну, а свою я искупаю в реке.— Он стал взбираться на парапет.

— Николо,— окликнул его Паравичини.— Николо! Куда вы идете?

— Да, собственно, и не стоит ходить.— Ник спустился обратно, держа каску в руках.— Что сухая, что мокрая, один черт. Неужели вы свою никогда не снимаете?

— Никогда,— сказал Пара.— Я уже начинаю от нее лысеть. Пойдем в блиндаж.

В блиндаже Пара усадил его.

— От них ведь никакого проку,— сказал Ник.— Помню, как мы были рады, когда их только что выдали, но с тех пор я слишком часто видел их полными мозгов.

— Николо,— сказал Пара,— по-моему, вам бы надо отправляться обратно. По-моему, пока вас не снабдят всем, что нужно, вам незачем сюда ездить. Вам здесь нечего делать. Если вы будете ходить по линии, даже раздавая что-нибудь стоящее, неизбежно скопление, которое вызовет обстрел. Этого я не могу допустить.

— Я знаю, что это глупо,— сказал Ник.— Это не моя выдумка. Я услышал, что здесь наша бригада, ну и подумал, хорошо бы повидать вас или еще кого-нибудь из прежних. Я мог бы отправиться в Зензон или в Сан-Дона. Мне бы хотелось пробраться в Сан-Дона и поглядеть мост.

— Я не могу разрешить вам разгуливать здесь без толку,— сказал капитан Паравичини.

— Ну, ладно,— сказал Ник. Он чувствовал, что это снова начинается.

— Вы меня понимаете?

— Конечно,— сказал Ник. Он старался подавить это.

— Такие обходы надо делать ночью.

— Без сомнения,— сказал Ник. Он чувствовал, что не сможет удержаться.

— Я ведь теперь батальоном командую,— сказал Пара.

— А почему бы вам и не командовать? — сказал Ник. Вот оно.— Читать, писать умеете?

— Разумеется,— мягко сказал Пара.

— Только вот батальон-то у вас невелик. Как только его пополнят, вам опять дадут вашу роту. Почему не хоронят убитых? Я только что видел их. Мне вовсе не хочется опять на них глядеть. Хоронить их можно в любое время, я не возражаю, и чем скорее, тем лучше для вас же. А то потом намаетесь.

— Где вы оставили велосипед?

— В последнем доме.

— Думаете, он там уцелеет?

— Не беспокойтесь,— сказал Ник.— Я скоро пойду.

— Вы прилягте, Николо.

— Спасибо.

Он закрыл глаза и вместо бородатого человека, который смотрел на него сквозь прицельную рамку винтовки, придерживая дыхание, перед тем как нажать спуск, и белой вспышки и удара как будто дубиной, когда на коленях, давясь сладким горячим клубком, который он выхаркнул на камень, он понял, что они пробежали мимо,— он увидел желтый низкий дом с длинной конюшней и реку гораздо шире и спокойнее, чем на самом деле.

— Ах, черт,— сказал он.— Пожалуй, надо идти.

Он встал.

— Я пойду, Пара,— сказал он.— Поеду назад.— Если там подвезли чего-нибудь, я захвачу и привезу вам сегодня вечером. Если нет, приеду ночью, когда будет что везти.

— Еще жарко вам ехать,— сказал капитан Паравичини.

— Не беспокойтесь,— сказал Ник.— Теперь на некоторое время я застрахован. Меня тут у вас скрутило, но это быстро прошло. Теперь с каждым разом все легче. Я уже знаю, когда это начинается, я тогда становлюсь болтлив.

— Я пошлю с вами ординарца.
— Нет, не надо. Я знаю дорогу.
— Так, значит, скоро опять к нам?
— Непременно.
— Давайте, я все-таки...
— Нет,— сказал Ник.— В знак доверия.
— Ну, как хотите.
— Ciao,— сказал Ник. Он пошел назад по дорожной выемке, туда, где он оставил велосипед. К вечеру, как только он минует канал, дорога будет в тени. За каналом по обеим сторонам дороги деревья совсем не тронуты снарядами. Именно на этом участке как-то раз им встретились на походе кавалеристы Третьего савойского полка. С пиками, по снегу. Дыхание лошадей поднималось султанами в морозном воздухе. Нет, это было не здесь. Где же это было?
— Только бы мне добраться до этого чертова велосипеда,— сказал себе Ник.— А то еще заблудишься и не попадешь в Форначи.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Посреди главной улицы был сигнал объезда, но обычно машины ехали прямо, и Николас Адамс, решив, что тут, вероятно, был и уже закончился какой-то ремонт, поехал прямо, не сворачивая, по безлюдной мощенной кирпичом улице; в воскресный день почти не было движения, но перед ним то и дело вспыхивали световые сигналы, которых уже не будет через год, когда ток выключат за неуплату взносов,— и, дальше, под тенистыми деревьями, обычными в маленьких городках и милыми сердцу, если ты родился в этом городе и гулял под ними, хотя чужим кажется, что от них слишком много тени и сырость в домах,— и дальше, мимо последнего дома, по шоссе, которое шло в гору, а там круто спускалось вниз между гладко срезанными откосами красной глины и рядами молодых деревьев по обеим сторонам. Он родился не здесь, но сейчас, в разгар осени, хорошо было ехать по всем этим местам и смотреть на них. Хлопок собрали, и на полях уже поднялась кукуруза, кое-где чередуясь с полосами красного сорго; машина катилась легко, сын спал на сиденье рядом, дневной пробег был уже сделан, город для ночевки намечен, и Ник смотрел, где на маисовом поле посеяна соя и где горох, как леса перемежаются вырубками, далеко ли дома и службы от полей и кустарников, и, мимоездом, он мысленно охо-

тился по всей этой местности, зорко оглядывая каждую прогалину и соображая, где здесь должна кормиться дичь и садиться на ночлег, где можно найти выводок и куда он полетит, если его спугнуть.

На охоте, когда собаки учуют перепелов, не следует заходить между выводком и тем местом, где он прячется, не то перепела вспорхнут все разом, один прямо вверх, другие шурша и чуть не задевая вас по голове, и тогда они кажутся невиданно крупными,— остается только обернуться и целиться через плечо им вдогонку, пока они, сложив крылья, не упали камнем в густую заросль. Мысленно охотясь на перепелов именно так, как научил его отец, Ник Адамс начал думать о своем отце. Первое, что вспомнилось Нику, были его глаза. Ни крупная фигура, ни быстрые движения, ни широкие плечи, ни крючковатый ястребиный нос, ни борода, прикрывавшая безвольный подбородок, никогда не вспоминались ему,— всегда одни только глаза. Защищенные выпуклыми надбровными дугами, они сидели очень глубоко, словно ценный инструмент, нуждающийся в особой защите. Они видели гораздо зорче и гораздо дальше, чем видит нормальный человеческий глаз, и были единственным даром, которым обладал его отец. Зрение у него было такое же острое, как у муфлона или орла, нисколько не хуже.

Бывало, Ник стоит с отцом на берегу озера — в то время и у него было очень хорошее зрение,— и отец говорит ему:

— Подняли флаг.— Ник не мог различить ни шеста, ни флага на нем.— Видишь,— говорил отец,— вон там наша «Дороти». Она подняла флаг и идет сейчас к пристани.

Ник смотрел на ту сторону озера и видел длинную линию лесистого берега, за ней высокие сосны, мыс над бухтой, расчищенные холмы ближе к ферме, белый коттедж среди деревьев, но не мог различить ни шеста, ни пристани, только белый песок и изогнутую линию берега.

— Видишь стадо овец на косогоре, ближе к мысу?

— Вижу.

Оно казалось светлым пятном на серо-зеленом косогоре.

— Я могу их сосчитать,— говорил отец.

Как и все люди, обладающие какой-либо незаурядной способностью, отец Ника был очень нервен. Сверх того он был сентиментален и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все

обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают.

Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать, а сейчас, думая о перепелиной охоте, вспомнил отца, каким тот был в детские годы Ника, до сих пор благодарного отцу за две вещи: охоту и рыбную ловлю. О том и о другом отец судил вполне здраво, как не мог судить, например, о половой жизни, и Ник был рад, что вышло именно так, а не иначе: нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хоть дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтоб узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор был благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем.

Что касается другого, о чем отец не мог судить здраво, то в этом случае все, что нужно, дается самой природой, и каждый выучивается всему, что следует знать, без наставников, и тут все равно, где бы ты ни жил.

Зато таких необыкновенных глаз, как у отца, Нику больше ни у кого не приходилось видеть, и Ник любил его очень сильно и очень долго. Теперь, когда он знал обо всем, не радостно было вспоминать даже самое раннее детство, до того как дела их семьи запутались. Если б можно было об этом написать, он бы освободился от этого. Он освободился от многих вещей тем, что написал о них. Но для этого не пришло еще время. Многие были еще живы. Он решил думать о чем-нибудь другом. Теперь уже ничем нельзя помочь, и он много раз передумал об отце все с начала и до конца. Тот облик, который гробовщик придал его отцу, еще не стерся из памяти Ника, и все остальное он помнил совершенно ясно, до долгов включительно. Он поздравил гробовщика с успехом. Гробовщик гордился своей работой и был явно польщен. Но не гробовщик придал ему этот облик. Он только внес смелой рукой кое-какие поправки сомнительного художественного достоинства. Лицо формировалось само собой в течение долгого времени. Оно приняло законченные очертания в последние три года. Из этого вышел бы хороший рассказ, но слишком многие оставались еще в живых, и написать его было нельзя.

Первоначальное воспитание Ника было закончено в лесах за индейским поселком. Из коттеджа в поселок вела дорога через лес до фермы и дальше по просеке до самого поселка. Он и теперь чувствовал всю эту дорогу под босыми ногами. Вначале

она шла по хвойному лесу позади коттеджа, устланная перегнившей хвоей там, где бурелом рассыпался в прах, и длинные щепки торчали, словно дротики, на расколотом молнией стволе. Ручей переходили по бревну, и, оступившись, можно было увязнуть в черном болотном иле. Выйдя из лесу, надо было перелезать через изгородь, а дальше твердая, высохшая на солнце дорога вела по скошенному лугу с торчащими кое-где стеблями конского щавеля и коровяка, трясина же, где водились кулики, оставалась слева. На ручье стоял летний сарай. За сараем лежала куча свежего навоза, а рядом другая куча, уже подсохшая сверху. Дальше опять начиналась изгородь и твердая, горячая дорога от сарая к дому, а потом горячая песчаная дорога, сбегавшая к лесу, и здесь был мост через тот ручей, где росли тростники; их мочили в керосине и делали из них те факелы, с которыми по ночам били рыбу острогой.

Потом большая дорога сворачивала влево, огибая лес, и поднималась в гору, а по лесу шла широкая глинистая дорога, прохладная в тени деревьев и расчищенная там, где вывозили кору, которую драли индейцы. Кору складывали длинными рядами в ровные штабеля, похожие на домики, крытые корой, и ободранные стволы лежали огромные и желтые там, где валили деревья. Стволы оставались гнить в лесу, их даже не убирали и не жгли верхушек. Дубильне в Бойнс-Сити нужна была только кора: зимой ее волокли по льду через озеро, и с каждым годом становилось все меньше леса и все ширилась выжженная солнцем, поросшая бурьяном вырубка.

Но тогда леса было еще много: девственного леса, где стволы были голые внизу, и ветви начинались на большой высоте, и ноги ступали по чистому, устланному упругой коричневой хвоей грунту, на котором ничего не росло, и в самые жаркие дни там было прохладно, и они сидели втроем, прислонившись к стволу пихты шириной в два человеческих роста; ветер шумел в вершинах, прохладный свет ложился пятнами, и Билли сказал:

— Ты опять хочешь Труди?

— Труди, а ты хочешь?

— Ага.

— Идем туда.

— Нет, здесь.

— А как же Билли?..

— Ну так что ж. Билли мой брат.

После они сидели все втроем и прислушивались к трескотне черной белки в верхних ветвях: снизу ее не было видно. Они дожидались, чтобы она снова зацокала,— когда она зацокает, то распушит хвост, и Ник будет стрелять туда, где заметит движение. Отец выдавал ему только три патрона на целый день охоты, а ружье у него было одноствольное, двадцатого калибра, с очень длинным стволом.

— Не шевелится, дрянь этакая,— сказал Билли.

— Стреляй, Ники. Пугни ее. Она прыгнет. И ты опять стреляй,— сказала Труди. Для нее это была длинная речь.

— У меня только два патрона,— сказал Ник.

— Дрянь этакая,— сказал Билли.

Они сидели, прислонившись к дереву, и молчали. Нику было легко и радостно.

— Эдди говорит, он придет ночью спать к твоей сестре Дороти.

— Что-о?

— Он так сказал.

Труди кивнула.

— Он только того и ждет,— сказала она.

Эдди был их сводный брат. Ему было семнадцать лет.

— Если Эдди Гилби придет ночью и посмеет хотя бы заговорить с Дороти, знаешь, что я с ним сделаю? Убью его, вот так! — Ник взвел курок и, почти не целясь, потянул его, всаживая заряд в голову и грудь этому ублюдку Эдди.— Вот так. Вот как я его убью.

— Тогда лучше ему не ходить,— сказала Труди.

— Пусть лучше глядит в оба,— сказал Билли.

— Он хвастает,— говорила Труди,— только ты его не убивай. А то попадешь в беду.

— Вот так и убью,— сказал Ник. Эдди Гилби лежал на земле, и грудь его размозжило выстрелом. Ник гордо поставил на него ногу.— Я сниму с него скальп,— сказал он с торжеством.

— Нет,— сказала Труди,— это нехорошо.

— Сниму скальп и пошлю его матери.

— Его мать умерла,— сказала Труди.— Не убивай его, Ники, не убивай ради меня.

— Сниму скальп, а тело выброшу собакам.

Билли не на шутку встревожился.

— Пусть глядит в оба,— сказал он угрюмо.

— Собаки его в клочки разорвут,— сказал Ник, с удовольствием представляя себе эту картину. Потом, оскальпировав

ублюдка Эдди, он привалился к дереву и холодно смотрел, как собаки терзают Эдди, а Труди крепко обнимала его за шею, чуть не душила и кричала:

— Не убивай его, не убивай, не надо, Ники! Ники! Ники!

— Что с тобой?

— Не убивай его!

— Я должен его убить.

— Он просто хвастун.

— Ладно,— сказал Ник.— Так и быть, не убью, только чтоб не подходил близко к дому. Пусти меня.

— Вот и ладно,— сказала Труди.— Хочешь теперь? Мне теперь так хорошо.

— Пускай Билли уйдет.

Ник убил Эдди Гилби, потом пощадил его и чувствовал себя мужчиной.

— Ступай, Билли. Ты все время торчишь около нас. Уходи.

— Черти,— сказал Билли.— Надоело мне это. Мы зачем пришли? Охотиться или нет?

— Можешь взять ружье. Там остался один патрон.

— Ладно. Уж я достану ту черную.

— Я тебя тогда позову,— сказал Ник.

Прошло довольно много времени, а Билли все не возвращался.

— Как по-твоему, будет у нас ребенок?

Труди скрестила свои смуглые ноги и прижалась к Нику. Что-то в Нике отошло куда-то очень далеко.

— Не думаю,— сказал он.

— Будет, ей-богу, будет.

Они услышали, как выстрелил Билли.

— Интересно, убил или нет.

— Наплевать, не ходи,— сказала Труди.

Билли вышел из-за деревьев. Он держал ружье на плече и нес черную белку за передние лапы.

— Смотри! — сказал он.— Большая, больше кошки.

— Где ты ее убил?

— Там, дальше. Увидел, как она прыгнула.

— Пора домой,— сказал Ник.

— Нет еще,— сказала Труди.

— Мне нужно вернуться к ужину.

— Ну что ж. Ладно.

— Пойдешь на охоту завтра?
Ладно.
— Белку можешь взять себе.
— Ладно.
— Выйдешь после ужина?
— Нет, не выйду.
Тебе хорошо?
— Хорошо.
— Ну, вот и ладно.
— Поцелуй меня,— сказала Труди.

Теперь, когда он ехал по шоссе в автомобиле и темнота надвигалась все ближе и ближе, Ник перестал думать об отце. По вечерам он никогда о нем не думал. Вечер всегда принадлежал одному Нику, и в это время он чувствовал себя хорошо только в одиночестве. Отец возвращался к нему осенью или ранней весной, когда в прерии появлялись бекасы, или когда он видел кукурузу в копнах, или озеро, или лошадь, запряженную в шарабан, когда он видел или слышал диких гусей, или когда сидел в засаде на уток; или вспоминал о том, как однажды в сильную вьюгу орел упал на прикрытый полотном капкан и пытался взлететь, хлопая крыльями, но зацепился когтями за полотно. Отец вставал перед ним неожиданно в запущенных фруктовых садах, на свежевспаханном поле, в зарослях кустарника, на невысоких холмах, или когда он ходил по сухой траве, колол дрова, носил воду, возле мельниц, на плотинах, и всегда у костра. Города, в которых жил Ник, были уже не те города, которые знал его отец. После пятнадцати лет у него не осталось ничего общего с отцом.

В морозы борода у отца покрывалась инеем, а в жаркую погоду он сильно потел. Ему нравилось работать в поле на солнце, потому что это была его добрая воля, и он это любил, а Ник — нет. Ник любил отца, но не выносил его запаха, и один раз, когда ему дали надеть отцовское белье, которое село и уже не годилось отцу, Нику стало до того противно, что он спрятал белье под двумя камнями в ручье и сказал, что потерял его. Когда отец заставил его надеть белье, он сказал отцу, в чем дело, но отец ответил, что белье только что из стирки. Так оно и было. Ник попросил отца понюхать, он сердито понюхал и сказал, что белье чистое и свежее. Когда Ник вернулся с рыбной ловли и сказал, что потерял белье, его высекли за то, что он говорит неправду.

После этого, зарядив ружье, он долго сидел у отворенной двери дровяного сарая и, взведя курок, смотрел на отца, кото-

рый читал на крыльце газету, и думал: «Я могу выстрелить в него. Могу его убить». В конце концов он почувствовал, что гнев его проходит, и ему стало как-то противно вот это самое ружье, подаренное отцом. Потом, хотя уже стемнело, он ушел в индейский поселок, чтобы отделаться от этого запаха. Из всей его семьи только от одной сестры пахло приятно. Со всеми остальными он избегал соприкасаться. Это чувство притупилось, когда он начал курить. И прекрасно. Такой острый нюх годится для охотничьей собаки, а человеку он ни к чему.

— Папа, расскажи про то, как ты был маленький и охотился с индейцами.

— Не знаю, право, как тебе рассказать.

Ник удивился. Он и не заметил, что сын уже проснулся. Он посмотрел на сидящего рядом мальчика. Он не ощущал его присутствия — а мальчик не спал. «Когда же он проснулся?» — подумал Ник.

— Мы по целым дням охотились на черных белок,— сказал он.— Мой отец выдавал мне по три патрона в день и говорил, что это приучит меня целиться, а не палить весь день без толку. Я ходил с мальчиком-индейцем, которого звали Билли Гилби, и с его сестрой Труди. Одно лето мы охотились почти каждый день.

— Странные имена для индейцев.

— Да, пожалуй,— согласился Ник.

— Расскажи, какие они были.

— Они были оджибуэи,— сказал Ник.— Очень славные.

— А хорошо было с ними?

— Как тебе сказать...— ответил Ник Адамс.

Как рассказать, что она была первая и ни с кем уже не было того, что с нею, как рассказать про смуглые ноги, про гладкий живот, твердые маленькие груди, крепко обнимавшие руки, быстрый, ищущий язык, затуманенные глаза, свежий вкус рта, потом болезненное, сладостное, чудесное, теснящее, острое, полное, последнее, не кончающееся, нескончаемое, бесконечное — и вдруг кончилось, сорвалась большая птица, похожая на филина в сумерки, только в лесу был дневной свет и пихтовые иглы кололи живот. Вот так же, если прийти на то место, где недавно жили индейцы, по запаху чувствуешь, что они тут были, и все пустые склянки из-под лекарств и жужжание мух не могут заглушить запаха душистых трав, запаха дыма и еще одного, похожего на запах свежевыделанной куньей шкурки. Никакие анекдоты об индейцах, никакие старые скво этого изме-

нить не могут. Не может изменить и тошнотворный сладковатый запах, идущий от них. Не может изменить и то, чем у них кончилось. Не важно, как это кончилось. С ними со всеми кончалось одинаково. Когда-то это было хорошо. А теперь нет ничего хорошего.

И о другом. Подстрелить одну птицу на лету — все равно что подстрелить сотню птиц. Все они разные и летают по-разному, но ощущение одинаковое, и последняя так же хороша, как и первая. За это он может благодарить отца.

— Тебе они, может, и не понравились бы,— сказал Ник сыну,— впрочем, нет, они славные.

— А дедушка тоже жил с ними, когда был маленький?

— Да. Когда я спросил, какие они, он ответил, что у него много друзей среди индейцев.

— А я буду жить с ними?

— Не знаю,— сказал Ник.— Зависит от тебя.

— А когда мне подарят ружье и я пойду на охоту?

— Когда тебе будет двенадцать лет, если я увижу, что ты умеешь быть осторожным.

— Хорошо бы, если б мне уже было двенадцать.

— Будет и двенадцать. Все в свое время.

— А какой был дедушка? Я его не помню, помню только, что он подарил мне ружье с пробкой и американский флаг, когда мы приехали из Франции. Какой он был?

— Как тебе сказать? Он был прекрасный охотник и рыболов, и глаза у него были замечательные.

— Он был лучше, чем ты?

— Стрелял он гораздо лучше, а его отец — без промаха.

— Ну уж, верно, не лучше тебя.

— Нет, лучше. Он стрелял очень быстро и метко. Я любил на него смотреть во время охоты. Ему не нравилось, как я стреляю.

— Почему мы никогда не съездим на могилу к дедушке?

— Мы живем совсем в другом месте. Это очень далеко отсюда.

— Во Франции это было бы не важно. Во Франции мы бы поехали. Нельзя же мне не побывать на могиле у дедушки.

— Как-нибудь поедем.

— Когда ты умрешь, хорошо бы жить где-нибудь поближе, чтобы можно было съездить помолиться к тебе на могилу.

— Надо будет подумать.

— А можно всех нас похоронить в каком-нибудь удобном месте. Например, во Франции. Вот было бы хорошо!

— Не хочу, чтобы меня похоронили во Франции,— сказал Ник.

— Ну, тогда надо найти удобное место в Америке. Хорошо бы нас всех похоронить на ранчо.

— Неплохо придумано.

— Тогда по дороге на ранчо я бы заходил помолиться на могилу к дедушке.

— Ты очень трезво рассуждаешь.

— Как-то нехорошо, что я ни разу не побывал на могиле у дедушки.

— Придется побывать,— сказал Ник.— Вижу, что придется.

НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА

Пора было завтракать, и они сидели все вместе под двойным зеленым навесом обеденной палатки, делая вид, будто ничего не случилось.

— Вам лимонного соку или лимонаду? — спросил Макомбер.

— Мне коктейль,— ответил Роберт Уилсон.

— Мне тоже коктейль. Хочется чего-нибудь крепкого,— сказала жена Макомбера.

— Да, это, пожалуй, будет лучше всего,— согласился Макомбер.— Велите ему смешать три коктейля.

Бой уже приступил к делу, вынимал бутылки из мешков со льдом, вспотевшие на ветру, который дул сквозь затенявшие палатку деревья.

— Сколько им дать? — спросил Макомбер.

— Фунта будет вполне достаточно,— ответил Уилсон.— Нечего их баловать.

— Дать старшему, а он разделит?

— Совершенно верно.

Полчаса назад Фрэнсис Макомбер был с торжеством доставлен от границы лагеря в свою палатку на руках повара, боев, свежевальщика и носильщиков. Ружьеносцы в процессии не участвовали. Когда туземцы опустили его на землю перед палаткой, он пожал им всем руки, выслушал их поздравления, а потом, войдя в палатку, сидел там на койке, пока не вошла его жена. Она ничего не сказала ему, и он сейчас же вышел, умылся в складном дорожном тазу и, пройдя к обеденной палатке, сел в удобное парусиновое кресло в тени, на ветру.

— Вот вы и убили льва,— сказал ему Роберт Уилсон,— да еще какого замечательного.

Миссис Макомбер быстро взглянула на Уилсона. Это была очень красивая и очень холеная женщина; пять лет назад ее красота и положение в обществе принесли ей пять тысяч долларов,— плата за отзыв (с приложением фотографии) о косметическом средстве, которого она никогда не употребляла. За Фрэнсиса Макомбера она вышла замуж одиннадцать лет назад.

— А верно ведь, хороший лев? — сказал Макомбер. Теперь его жена взглянула на него. Она смотрела на обоих мужчин так, словно видела их впервые.

Одного из них, белого охотника Уилсона, она и правда видела по-настоящему в первый раз. Он был среднего роста, рыжеватый, с жесткими усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Сейчас он улыбался ей, и она отвела взгляд от его лица и поглядела на его покатые плечи в свободном френче и на четыре патрона, закрепленных там, где полагалось быть левому нагрудному карману, на его большие загорелые руки, старые бриджи, очень грязные башмаки, а потом опять на его красное лицо. Она заметила, что красный загар кончался белой полоской — след от его широкополой шляпы, которая сейчас висела на одном из гвоздей, вбитых в шест палатки.

— Ну, выпьем за льва,— сказал Роберт Уилсон. Он опять улыбнулся ей, а она, не улыбаясь, с любопытством посмотрела на мужа.

Фрэнсис Макомбер был очень высокого роста, очень хорошо сложен,— если не считать недостатком такой длинный костяк,— с темными волосами, коротко подстриженными, как у гребца, и довольно тонкими губами. Его считали красивым. На нем был такой же охотничий костюм, как и на Уилсоне, только новый, ему было тридцать пять лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист, несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях и только что, на глазах у всех, проявил себя трусом.

— Выпьем за льва,— сказал он.— Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали.

Маргарет, его жена, опять перевела глаза на Уилсона.

— Не будем говорить про льва,— сказала она.

Уилсон посмотрел на нее без улыбки, и теперь она сама улыбнулась ему.

— Очень странный сегодня день,— сказала она.— А вам бы лучше надеть шляпу, в полдень ведь печет и под навесом. Вы мне сами говорили.

— Можно и надеть,— сказал Уилсон.

— Знаете, мистер Уилсон, у вас очень красное лицо,— сказала она и опять улыбнулась.

— Пью много,— сказал Уилсон.

— Нет, я думаю, это не оттого,— сказала она.— Фрэнсис тоже много пьет, но у него лицо никогда не краснеет.

— Сегодня покраснело,— попробовал пошутить Макомбер.

— Нет,— сказала Маргарет.— Это я сегодня краснею. А у мистера Уилсона лицо всегда красное.

— Должно быть, национальная особенность,— сказал Уилсон.— А в общем, может быть, хватит говорить о моей красоте, как вы думаете?

— Я еще только начала.

— Ну, и давайте кончим,— сказал Уилсон.

— Тогда совсем не о чем будет разговаривать,— сказала Маргарет.

— Не дури, Марго,— сказал ее муж.

— Как же не о чем,— сказал Уилсон.— Вот убили замечательного льва.

Марго посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплачется. Уилсон ждал этого и очень боялся. Макомбер давно перестал бояться таких вещей.

— И зачем это случилось. Ах, зачем только это случилось,— сказала она и пошла к своей палатке. Они не услышали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи под розовой полотняной блузкой.

— Женская блажь,— сказал Уилсон.— Это пустяки. Нервы, ну и так далее.

— Нет,— сказал Макомбер.— Мне это теперь до самой смерти не простится.

— Ерунда. Давайте-ка лучше выпьем,— сказал Уилсон.— Забудьте всю эту историю. Есть о чем говорить.

— Попробую,— сказал Макомбер.— Впрочем, того, что вы для меня сделали, я не забуду.

— Бросьте,— сказал Уилсон.— Все это ерунда.

Так они сидели в тени, в своем лагере, разбитом под широкими кронами акаций, между каменистой осыпью и зеленой лужайкой, сбегавшей к берегу засыпанного камнями ручья, за которым тянулся лес, и пили тепловатый лимонный сок, и старались не смотреть друг на друга, пока бои накрывали стол к

завтраку. Уилсон не сомневался, что боям уже все известно, и, заметив, что бой Макомбера, расставлявший на столе тарелки, с любопытством поглядывает на своего хозяина, ругнул его на суахили. Бой отвернулся, лицо его выражало полное безразличие.

— Что вы ему сказали? — спросил Макомбер.

— Ничего. Сказал, чтоб пошевеливался, не то я велю закатить ему пятнадцать горячих.

— Как так? Плетей?

— Это, конечно, незаконно,— сказал Уилсон.— Полагается их штрафовать.

— У вас их и теперь еще бьют?

— Сколько угодно. Вздумай они пожаловаться, вышел бы крупный скандал. Но они не жалуются. Считают, что штраф хуже.

— Как странно,— сказал Макомбер.

— Не так уж странно,— сказал Уилсон.— А вы бы что предпочли? Хорошую порку или вычет из жалованья? — Но ему стало неловко, что он задал такой вопрос, и, не дав Макомберу ответить, он продолжал: — Так ли, этак ли, всех нас бьют, изо дня в день.

Еще того хуже. О, черт, подумал он. В дипломаты я не гожусь.

— Да, всех нас бьют,— сказал Макомбер, по-прежнему не глядя на него.— Мне ужасно неприятна эта история со львом. Дальше она не пойдет, правда? Я хочу сказать — никто о ней не узнает?

— Вы хотите спросить, расскажу ли я о ней в «Матайга-клубе»?

Уилсон холодно посмотрел на него. Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но еще и дурак, подумал он. А сначала он мне даже понравился. Но кто их разберет, этих американцев.

— Нет,— сказал Уилсон.— Я профессионал. Мы никогда не говорим о своих клиентах. На этот счет можете быть спокойны. Но просить нас об этом не принято.

Теперь он решил, что гораздо лучше было бы поссориться. Тогда он будет есть отдельно и за едой читать. И они тоже будут есть отдельно. Он останется с ними до конца охоты, но отношения у них будут самые официальные. Как это французы говорят,— considération distinguée?..[1] В тысячу раз лучше, чем уча-

[1] Совершенное почтение *(франц.)*.

ствовать в их дурацких переживаниях. Он оскорбит Макомбера, и они рассорятся. Тогда он сможет читать за едой, а их виски будет пить по-прежнему. Так всегда говорят. если на охоте выйдут неприятности. Встречаешь другого белого охотника и спрашиваешь: «Ну, как у вас?» — а он отвечает: «Да ничего, попрежнему пью их виски»,— и сразу понимаешь, что дело дрянь.

— Простите,— сказал Макомбер, повернув к нему свое американское лицо, лицо, которое до старости останется мальчишеским, и Уилсон отметил его коротко остриженные волосы, красивые, только чуть-чуть бегающие глаза, правильный нос, тонкие губы и приятный подбородок.— Простите, я не сообразил. Я ведь очень многого не знаю.

Ну что тут поделаешь? — думал Уилсон. Он хотел поссориться быстро и окончательно, а этот болван, которого он только что оскорбил, вздумал просить прощения. Он сделал еще одну попытку.

— Не беспокойтесь, я болтать не буду,— сказал он.— Мне не хочется терять заработок. Здесь, в Африке, знаете ли, женщина никогда не дает промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает.

— Я удрал, как заяц,— сказал Макомбер.

Тьфу, подумал Уилсон, ну что поделаешь с человеком, который говорит такие вещи?

Уилсон посмотрел на Макомбера своими равнодушными голубыми глазами, глазами пулеметчика, и тот улыбнулся ему. Хорошая улыбка, если не замечать, какие у него несчастные глаза.

— Может быть, я еще отыграюсь на буйволах,— сказал Макомбер.— Ведь, кажется, теперь они у нас на очереди?

— Хоть завтра, если хотите,— ответил Уилсон. Может быть, он напрасно разозлился. Макомбер прав, так и надо держаться. Не поймешь этих американцев, хоть ты тресни. Он опять проникся симпатией к Макомберу. Если б только забыть сегодняшнее утро. Но разве забудешь. Утро вышло такое, что хуже не выдумать.

— Вот и мемсаиб идет,— сказал он. Она шла к ним от своей палатки, отдохнувшая, веселая, очаровательная. У нее был безукоризненный овал лица, такой безукоризненный, что ее можно было заподозрить в глупости. Но она не глупа, думал Уилсон, нет, что угодно — только не глупа.

— Как чувствует себя прекрасный краснолицый мистер Уилсон? Ну что, Фрэнсис, сокровище мое, тебе лучше?

— Гораздо лучше,— сказал Макомбер.

— Я решила забыть об этой истории,— сказала она, садясь к столу.— Не все ли равно, хорошо или плохо Фрэнсис убивает львов? Это не его профессия. Это профессия мистера Уилсона. Мистер Уилсон, тот действительно интересен, когда убивает. Ведь вы все убиваете, правда?

— Да, все,— сказал Уилсон.— Все, что угодно.

Такие вот, думал он, самые черствые на свете; самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные, они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастениками. Или они нарочно выбирают таких мужчин, с которыми могут сладить? Но откуда им знать, ведь они выходят замуж рано, думал он. Да, хорошо, что американки ему уже не внове; потому что эта, безусловно, очень обольстительна.

— Завтра едем бить буйволов,— сказал он ей.

— И я с вами.

— Вы не поедете.

Поеду. Разве нельзя, Фрэнсис?

— А может, тебе лучше остаться в лагере?

— Ни за что,— сказала она.— Такого, как сегодня было, я ни за что не пропущу.

Когда она ушла, думал Уилсон, когда она ушла, чтобы выплакаться, мне показалось, что она чудесная женщина. Казалось, что она понимает, сочувствует, обижена за него и за себя, ясно видит, как обстоит дело. А через двадцать минут она возвращается вся закованная в свою женскую американскую жестокость. Ужасные они женщины. Просто ужасные.

— Завтра мы опять устроим для тебя представление,— сказал Фрэнсис Макомбер.

— Вы не поедете,— сказал Уилсон.

— Ошибаетесь,— возразила она.— Я хочу еще полюбоваться вами. Сегодня утром вы были очень милы. То есть, конечно, если может быть мило, когда кому-нибудь снесут череп.

— Вот и завтрак,— сказал Уилсон.— Вам, кажется, очень весело?

— А почему бы и нет? Я не затем сюда приехала, чтобы скучать.

— Да, скучать пока не приходилось,— сказал Уилсон. Он посмотрел на камни в ручье, на высокий дальний берег, на деревья в том месте, где это случилось, и вспомнил утро.

— Еще бы,— сказала она.— Замечательно было. А завтра. Вы не можете себе представить, как я жду завтрашнего дня.

— Попробуйте бифштекс из антилопы куду,— сказал Уилсон.

— Очень вкусное мясо,— сказал Макомбер.

— Это такие большие звери, вроде коров, и прыгают, как зайцы, да?

— Описано довольно точно,— сказал Уилсон.

— Это ты ее убил, Фрэнсис? — спросила она.

— Да.

— А они не опасные?

— Нет, разве что свалятся вам на голову,— ответил ей Уилсон.

— Это утешительно.

— Нельзя ли без гадостей, Марго,— сказал Макомбер; он отрезал кусок бифштекса и, проткнув его вилкой, набрал на нее картофельного пюре, моркови и соуса.

— Хорошо, милый,— сказала она,— раз ты так любезно об этом просишь.

— Вечером спрыснем льва шампанским,— сказал Уилсон.— Сейчас слишком жарко.

— Ах да, лев,— сказала Марго.— Я и забыла про льва.

Ну вот, подумал Роберт Уилсон, теперь она над ним издевается. Или она воображает, что так нужно держать себя, когда на душе кошки скребут? Как должна поступить женщина, обнаружив, что ее муж — последний трус? Жестока она до черта,— впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким. А в общем, хватит с меня их тиранства.

— Возьмите еще жаркого,— вежливо сказал он ей.

Ближе к вечеру Уилсон и Макомбер уехали в автомобиле с шофером-туземцем и обоими ружьеносцами. Миссис Макомбер осталась в лагере. Очень жарко, ехать не хочется, сказала она, к тому же она поедет с ними завтра утром. Когда они отъезжали, она стояла под большим деревом, скорее хорошенькая, чем красивая, в розово-коричневом полотняном костюме, темные волосы зачесаны со лба и собраны узлом на затылке, лицо такое свежее, подумал Уилсон, точно она в Англии. Она помахала им рукой, и автомобиль по высокой траве пересек ложбинку и зигзагами стал пробираться среди деревьев к небольшим холмам, поросшим кустами терновника.

В кустах они подняли стадо водяных антилоп и, выйдя из машины, высмотрели старого самца с длинными изогнутыми рогами, и Макомбер убил его очень метким выстрелом, который свалил животное на расстоянии добрых двухсот ярдов, в то

время как остальные в испуге умчались, отчаянно подскакивая и перепрыгивая друг через друга, поджимая ноги, длинными скачками, такими же плавными и немыслимыми, как те, что делаешь иногда во сне.

— Хороший выстрел,— сказал Уилсон.— В них попасть не легко.

— Ну как, стóящая голова? — спросил Макомбер.

— Голова превосходная,— ответил Уилсон.— Всегда так стреляйте, и все будет хорошо.

— Как думаете, найдем мы завтра буйволов?

— По всей вероятности, найдем. Они рано утром выходят пастись, и, если посчастливится, мы застанем их на поляне.

— Мне хотелось бы как-то загладить эту историю со львом,— сказал Макомбер.— Не очень-то приятно оказаться в таком положении на глазах у собственной жены.

По-моему, это само по себе достаточно неприятно, подумал Уилсон, все равно, видит тебя жена или нет, и уж совсем глупо говорить об этом. Но он сказал:

— Бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть кого может смутить. Это все кончилось.

Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой у костра, когда Фрэнсис Макомбер лежал на своей койке, под сеткой от москитов, и прислушивался к ночным звукам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло, только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный сосущий страх. Страх был в нем, как холодный, скользкий провал в той пустоте, которую некогда заполняла его уверенность, и ему было очень скверно. Страх был в нем и не покидал его.

Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рев, и кончался он ворчанием и кашлем, отчего казалось, что лев у самой палатки, и когда Фрэнсис Макомбер, проснувшись ночью, услышал его, он испугался. Он слышал ровное дыхание жены, она спала. Некому было рассказать, что ему страшно, некому разделить его страх, он лежал один и не знал сомалийской поговорки, которая гласит, что храбрый человек три раза в жизни пугается льва: когда впервые увидит его след, когда впервые услышит его рычание и когда впервые встретится с ним. Позже, пока они закусывали в обеденной палатке при свете фонаря, еще до восхода солнца, лев опять зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем.

— Похоже, что старый,— сказал Роберт Уилсон, поднимая голову от кофе и копченой рыбы.— Слышите, как кашляет.

— Он очень близко отсюда?

— Около мили вверх по ручью.

— Мы увидим его?

— Постараемся.

— Разве его всегда так далеко слышно? Как будто он в самом лагере.

— Слышно очень далеко,— сказал Роберт Уилсон.— Даже удивительно. Будем надеяться, что он даст себя застрелить. Туземцы говорили, что тут есть один очень большой.

— Если придется стрелять, куда нужно целиться, чтобы остановить его? — спросил Макомбер.

— В лопатку,— сказал Уилсон.— Если сможете, в шею. Цельте в кость. Старайтесь убить наповал.

— Надеюсь, что я попаду,— сказал Макомбер.

— Вы прекрасно стреляете,— сказал Уилсон.— Не торопитесь. Стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий.

— С какого расстояния надо стрелять?

— Трудно сказать. На этот счет у льва может быть свое мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте, надо бить наверняка.

— Ближе чем со ста ярдов? — спросил Макомбер.

Уилсон бросил на него быстрый взгляд.

— Сто, пожалуй, будет как раз. Может быть, чуть-чуть ближе. Если дальше, то лучше и не пробовать. Сто — хорошая дистанция. С нее можно бить куда угодно, на выбор. А вот и мемсанб.

— С добрым утром,— сказала она.— Ну что, едем?

— Как только вы позавтракаете,— сказал Уилсон.— Чувствуете себя хорошо?

— Превосходно,— сказала она.— Я очень волнуюсь.

— Пойду посмотрю, все ли готово.— Уилсон встал. Когда он уходил, лев зарычал снова.— Вот расшумелся,— сказал Уилсон.— Мы эту музыку прекратим.

— Что с тобой, Фрэнсис? — спросила его жена.

— Ничего,— сказал Макомбер.

— Нет, в самом деле. Чем ты расстроен?

— Ничем.

— Скажи.— Она пристально посмотрела на него.— Ты плохо себя чувствуешь?

— Этот рев, черт бы его побрал,— сказал он.— Ведь он не смолкал всю ночь.

«Какими вы не будете»

— Что же ты меня не разбудил? Я бы с удовольствием послушала.

— И мне нужно убить эту гадину,— жалобно сказал Макомбер.

— Так ведь ты для этого сюда и приехал?

— Да. Но я что-то нервничаю. Так раздражает это рычание.

— Так убей его и прекрати эту музыку, как говорит Уилсон.

— Хорошо, дорогая,— сказал Фрэнсис Макомбер.— На словах это очень легко, правда?

— Ты уж не боишься ли?

— Конечно, нет. Но я слышал его всю почь и теперь нервничаю.

— Ты убьешь его, и все будет чудесно,— сказала она.— Я знаю. Мне просто не терпится посмотреть, как это будет.

— Кончай завтракать, и поедем.

— Куда в такую рань,— сказала она.— Еще даже не рассвело.

В эту минуту лев опять зарычал,— низкий рев неожиданно перешел в гортанный, вибрирующий, нарастающий звук, который словно всколыхнул воздух и окончился вздохом и глухим, низким ворчанием.

— Можно подумать, что он здесь, рядом,— сказала жена Макомбера.

— Черт,— сказал Макомбер,— просто не выношу этого рева.

— Звучит внушительно.

— Внушительно! Просто ужасно.

К ним подошел Роберт Уилсон, держа в руке свою короткую, неуклюжую, с непомерно толстым стволом винтовку Гиббса калибра 0,505 и весело улыбаясь.

— Едем,— сказал он.— Ваш спрингфилд и второе ружье взял ваш ружьеносец. Все уже в машине. Патроны у вас?

— Да.

— Я готова,— сказала миссис Макомбер.

— Надо его утихомирить,— сказал Уилсон.— Садитесь к шоферу. Мемсаиб может сесть сзади, со мной.

Они сели в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Макомбер открыл затвор своего ружья и, убедившись, что оно заряжено пулями в металлической оболочке, закрыл затвор и поставил на предохранитель. Он видел, что рука у него дрожит. Он нащупал в кармане еще патроны и провел пальцами по патронам, закрепленным на груди. Он обернулся

к Уилсону, сидевшему рядом с его женой на заднем сиденье — машина была без дверок, вроде ящика на колесах,— и увидел, что оба они взволнованно улыбаются. Уилсон наклонился вперед и прошептал:

— Смотрите, птицы садятся. Это наш старикан отошел от своей добычи.

Макомбер увидел, что на другом берегу ручья, над деревьями, кружат и отвесно падают грифы.

— Вероятно, он, прежде чем залечь, придет сюда пить,— прошептал Уилсон.— Глядите в оба.

Они медленно ехали по высокому берегу ручья, который в этом месте глубоко врезался в каменистое русло, автомобиль зигзагами вилял между старых деревьев. Вглядываясь в противоположный берег, Макомбер вдруг почувствовал, что Уилсон схватил его за плечо. Машина остановилась.

— Вот он,— услышал он шепот Уилсона.— Впереди, справа. Выходите и стреляйте. Лев замечательный.

Теперь и Макомбер увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову. Утренний ветерок, дувший в их сторону, чуть шевелил его темную гриву, и в сером свете утра, резко выделяясь на склоне берега, лев казался огромным, с невероятно широкой грудью и гладким, лоснящимся туловищем.

— Сколько до него? — спросил Макомбер, вскидывая ружье.

— Ярдов семьдесят пять. Выходите и стреляйте.

— А отсюда нельзя?

— По льву из машины не стреляют,— услышал он голос Уилсона у себя над ухом.— Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять.

Макомбер перешагнул через круглую выемку в борту автомобиля около переднего сиденья, ступил на подножку, а с нее — на землю. Лев все стоял, горделиво и спокойно глядя на незнакомый предмет, который его глаза воспринимали лишь как силуэт какого-то сверхносорога. Человеческий запах к нему не доносился, и он смотрел на странный предмет, поводя из стороны в сторону массивной головой. Он всматривался, не чувствуя страха, но не решаясь спуститься к ручью, пока на том берегу стоит «это»,— и вдруг увидел, что от предмета отделилась фигура человека, и тогда, повернув тяжелую голову, он двинулся под защиту деревьев в тот самый миг, как услышал оглушительный треск и почувствовал удар сплошной двухсотдвадцатиграновой пули калибра 0,30—0,6, которая впилась ему

в бок и внезапной, горячей, обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок. Он затрусил, грузный, большелапый, отяжелевший от раны и сытости, к высокой траве и деревьям, и опять раздался треск и прошел мимо него, разрывая воздух. Потом опять затрещало, и он почувствовал удар,— пуля попала ему в нижние ребра и прошла навылет,— и кровь на языке, горячую и пенистую, и он поскакал к высокой траве, где можно залечь и притаиться, заставить их принести трещащую штуку поближе, а тогда он кинется и убьет человека, который ее держит.

Макомбер, когда вылезал из машины, не думал о том, каково сейчас льву. Он знал только, что руки у него дрожат, и, отходя от машины, едва мог заставить себя передвигать ноги. Ляжки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опуская ружье, чтобы открыть его, он сделал еще один неуверенный шаг, и лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Макомбер выстрелил и, услыхав характерное «уонк», понял, что не промахнулся; но лев уходил все дальше. Макомбер выстрелил еще раз, все увидели, как пуля взметнула фонтан грязи впереди бегущего льва. Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться ниже, и все услышали, как чмокнула пуля, но лев пустился вскачь и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора.

Макомбер стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись, возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же, рядом, оба туземца тараторили что-то на вакамба.

— Я попал в него,— сказал Макомбер.— Два раза попал.

— Вы пробили ему кишки и еще, кажется, попали в грудь,— сказал Уилсон без всякого воодушевления. У туземцев были очень серьезные лица. Теперь они молчали.— Может, вы его и убили,— продолжал Уилсон.— Переждем немного, а потом пойдем посмотрим.

— То есть как?

— Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу.

— А-а,— сказал Макомбер.

— Замечательный лев, черт побери,— весело сказал Уилсон.— Только вот спрятался в скверном месте.

— Чем оно скверное?

— Не увидеть его там, пока не подойдешь к нему вплотную.

— А-а,— сказал Макомбер.

— Ну, пошли,— сказал Уилсон.— Мемсаиб пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровяной след.

— Побудь здесь, Марго,— сказал Макомбер жене. Во рту у него пересохло, и он говорил с трудом.

— Почему? — спросила она.

— Уилсон велел.

— Мы сходим посмотреть, как там дела,— сказал Уилсон.— Вы побудьте здесь. Отсюда даже лучше видно.

— Хорошо.

Уилсон сказал что-то на суахили шоферу. Тот кивнул и ответил:

— Да, бвана.

Потом они спустились по крутому берегу к ручью, перешли его по камням, поднялись на другой берег, цепляясь за торчащие из земли корни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда Макомбер выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови; туземцы указали на них длинными стеблями,— они вели за прибрежные деревья.

— Что будем делать? — спросил Макомбер.

— Выбирать не приходится,— сказал Уилсон.— Машину сюда не переправишь. Берег крут. Пусть немножко ослабеет, а потом мы с вами пойдем и поищем его.

— А нельзя поджечь траву? — спросил Макомбер.

— Слишком свежая, не загорится.

— А нельзя послать загонщиков?

Уилсон смерил его глазами.

— Конечно, можно,— сказал он.— Но это будет вроде убийства. Мы же знаем, что лев ранен. Когда лев не ранен, его можно гнать,— он будет уходить от шума,— но раненый лев нападает. Его не видно, пока не подойдешь к нему вплотную. Он распластывается на земле в таких местах, где, кажется, и зайцу не укрыться. Послать на такое дело туземцев рука не поднимется. Непременно кого-нибудь искалечит.

— А ружьеносцы?

— Ну, они-то пойдут с нами. Это их «шаури». Они ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается.

— Я не хочу туда идти,— сказал Макомбер. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит.

— Я тоже,— сказал Уилсон бодро.— Но ничего не поделаешь.— Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Ма-

комбера и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо.

— Вы, конечно, можете не ходить,— сказал он.— Для этого меня и нанимают. Поэтому я и сто́ю так дорого.

— То есть вы хотите пойти один? А может быть, оставить его там?

Роберт Уилсон, который до сих пор был занят исключительно львом и вовсе не думал о Макомбере, хотя и заметил, что тот нервничает, вдруг почувствовал себя так, точно по ошибке открыл чужую дверь в отеле и увидел что-то непристойное.

— То есть как это?

— Просто оставить его в покое.

— Сделать вид, что мы не попали в него?

— Нет. Просто уйти.

— Так не делают.

— Почему?

— Во-первых, он мучается. Во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться.

— Понимаю.

— Но вам совершенно не обязательно идти с нами.

— Я бы пошел,— сказал Макомбер.— Мне, понимаете, просто страшно.

— Я пойду вперед,— сказал Уилсон.— Старик Конгони будет искать следы. Вы держитесь за мной, немного сбоку. Очень возможно, что он заворчит, и мы услышим. Как только увидим его, будем оба стрелять. Вы не волнуйтесь. Я не отойду от вас. А может, вам и в самом деле лучше не ходить? Право же, лучше. Пошли бы к мемсаиб, а я там с ним покончу.

— Нет, я пойду.

— Как знаете,— сказал Уилсон.— Но если не хочется, не ходите. Ведь это мой «шаури».

— Я пойду,— сказал Макомбер.

Они сидели под деревом и курили.

— Хотите пока поговорить с мемсаиб? — спросил Уилсон.— Успеете.

— Нет.

— Я пойду, скажу ей, чтоб запаслась терпением.

— Хорошо,— сказал Макомбер. Он сидел потный, во рту пересохло, сосало под ложечкой, и у него не хватало духу сказать Уилсону, чтобы тот пошел и покончил со львом без него. Он не мог знать, что Уилсон в ярости оттого, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад, к жене.

Уилсон скоро вернулся.

— Я захватил ваш штуцер,— сказал он.— Вот, возьмите. Мы дали ему достаточно времени. Идем.

Макомбер взял штуцер, и Уилсон сказал:

— Держитесь за мной, ярдов на пять правее, и делайте все, как я скажу.— Потом он поговорил на суахили с обоими туземцами, вид у них был мрачнее мрачного.

— Пошли,— сказал он.

— Мне бы глотнуть воды,— сказал Макомбер.

Уилсон сказал что-то старшему ружьеносцу, у которого на поясе была фляжка, тот отстегнул ее, отвинтил колпачок, протянул фляжку Макомберу, и Макомбер, взяв ее, почувствовал, какая она тяжелая и какой мохнатый и шершавый ее войлочный чехол. Он поднес ее к губам и посмотрел на высокую траву и дальше на деревья с плоскими кронами. Легкий ветерок дул в лицо, и по траве ходили мелкие волны. Он посмотрел на ружьеносца и понял, что его тоже мучит страх.

В тридцати пяти шагах от них большой лев лежал, распластавшись на земле. Он лежал неподвижно, прижав уши, подрагивал только его длинный хвост с черной кисточкой. Он залег сразу после того, как достиг прикрытия; его тошнило от сквозной раны в набитое брюхо, он ослабел от сквозной раны в легкие, от которой с каждым вздохом к пасти поднималась жидкая красная пена. Бока его были потные и горячие, мухи облепили маленькие отверстия, пробитые пулями в его светло-рыжей шкуре, а его большие желтые глаза, суженные ненавистью и болью, смотрели прямо вперед, чуть моргая от боли при каждом вздохе, и когти его глубоко вонзились в мягкую землю. Все в нем — боль, тошнота, ненависть и остатки сил — напряглось до последней степени для прыжка. Он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание — напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда он услышал, что голоса приближаются, хвост его перестал подрагивать, а когда они дошли до травы, он хрипло заворчал и кинулся.

Конгони, старый туземец, шел впереди, высматривая следы крови; Уилсон со штуцером наизготовке подстерегал каждое движение в траве; второй туземец смотрел вперед и прислушивался; Макомбер взвел курок и шел следом за Уилсоном; и не успели они вступить в траву, как Макомбер услышал захлебывающееся кровью ворчание и увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим он осознал, что бежит, в безумном страхе бежит сломя голову прочь от зарослей, бежит к ручью.

Он слышал, как трахнул штуцер Уилсона — «ка-ра-уонг!» и еще раз «ка-ра-уонг!», и, обернувшись, увидел, что лев, безобразный и страшный, словно полголовы у него снесло, ползет на Уилсона у края высокой травы, а краснолицый человек переводит затвор своей короткой неуклюжей винтовки и внимательно целится, потом опять вспышка и «ка-ра-уонг!» из дула, и ползущее грузное желтое тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперед, и Макомбер,— стоя один посреди поляны, держа в руке заряженное ружье, в то время как двое черных людей и один белый с презрением глядели на него,— понял, что лев издох. Он подошел к Уилсону,— самый рост его казался немым укором,— и Уилсон, посмотрев на него, сказал:

— Снимки делать будете?

— Нет,— ответил он.

Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Тут Уилсон сказал:

— Замечательный лев. Сейчас они снимут шкуру. Мы можем пока посидеть здесь, в тени.

Жена ни разу не взглянула на Макомбера, а он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сиденье, а Уилсон — впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену, взял ее за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей, туда, где туземцы свежевали льва, он понял, что она прекрасно все видела. Потом его жена подвинулась вперед и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сиденья и поцеловала его в губы.

— Ну-ну,— сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром.

— Мистер Роберт Уилсон,— сказала она.— Прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон.

Потом она опять села рядом с Макомбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей, туда, где лежал лев; его освежеванные лапы с белыми мышцами и сеткой сухожилий были задраны кверху, белое брюхо вздулось, и черные люди снимали с него шкуру. Наконец туземцы принесли шкуру, сырую и тяжелую, и, скатав ее, влезли с ней сзади в автомобиль. Машина тронулась. Больше никто ничего не сказал до самого лагеря.

Так обстояло дело со львом. Макомбер не знал, каково было льву перед тем, как он прыгнул, и в момент прыжка, когда сокрушительный удар пули 0,505-го калибра с силой в две тонны размозжил ему пасть; и что толкало его вперед после этого, когда вторым оглушительным ударом ему сломало крестец и он

пополз к вспыхивающему, громыхающему предмету, который убил его. Уилсон кое-что знал обо всем этом и выразил словами «замечательный лев», но Макомбер не знал также, каково было Уилсону. Он не знал, каково его жене, знал только, что она решила порвать с ним. Его жена уже не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Что другое — а это он действительно знал; и еще мотоцикл, тот он узнал раньше всего; и автомобиль; и охоту на уток; и рыбную ловлю — форель, лососи и крупная морская рыба; и вопросы пола — по книгам, много книг, слишком много; и теннис; и собаки; и немножко о лошадях; и цену деньгам; и почти все остальное, чем жил его мир; и то, что жена никогда его не бросит. Жена его была в молодости красавицей, и в Африке она до сих пор была красавица, но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше; она это знала, и он тоже. Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Умей он больше давать женщинам, ее, вероятно, беспокоила бы мысль, что он может найти себе новую красавицу жену; но и она его слишком хорошо знала и на этот счет не беспокоилась. К тому же он всегда был очень терпим, и это было его самой приятной чертой, если не самой опасной.

В общем, по мнению света, это была сравнительно счастливая пара, из тех, которые, по слухам, вот-вот разведутся, но никогда не разводятся, и теперь они, как выразился репортер «светской хроники», «полагая, что элемент *приключения* придаст остроту их поэтичному, пережившему годы *роману*, отправились на *сафари* в страну, бывшую *Черной Африкой* до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов; там они охотились на льва *Старого Симбо,* на буйволов, и на слона *Тембо,* в то же время собирая материал для Музея естественных наук». Тот же репортер по крайней мере три раза уже сообщал публике, что они «на грани», и так оно и было. Но каждый раз они мирились. Их союз покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Макомбер никогда с ней не разведется; а богатство Макомбера было залогом того, что Марго никогда его не бросит.

Было три часа ночи, и Фрэнсис Макомбер, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о льве, проснулся и опять заснул, вдруг проснулся от испуга — он видел во сне, что над ним стоит лев с окровавленной головой,— и, прислушавшись, чувствуя, как у него колотится сердце, понял, что койка

его жены пуста. После этого открытия он пролежал без сна два часа.

Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полог и уютно улеглась в постель.

— Где ты была? — спросил Макомбер в темноте.

— Хэлло,— сказала она.— Ты не спишь?

— Где ты была?

— Просто выходила подышать воздухом.

— Черта с два.

— А что я должна сказать, милый?

— Где ты была?

— Выходила подышать воздухом.

— Это что, новый термин? Шлюха.

— А ты — трус.

— Пусть,— сказал он.— Что ж из этого?

— По мне — ничего. Но давай, милый, не будем сейчас разговаривать, мне очень хочется спать.

— Ты воображаешь, что я все стерплю.

— Я это знаю, дорогой.

— Так вот, не стерплю.

— Пожалуйста, милый, давай помолчим. Мне ужасно хочется спать.

— Мы ведь решили, что с этим покончено. Ты обещала, что этого больше не будет.

— Ну, а теперь есть,— сказала она ласково.

— Ты сказала, что, если мы поедем сюда, этого не будет. Ты обещала.

— Да, милый. Я и не собиралась. Но вчерашний день испортил путешествие. Только стоит ли об этом говорить?

— Ты не теряешь времени, когда у тебя в руках козырь, а?

— Пожалуйста, не будем говорить. Мне так хочется спать, милый.

— А я буду говорить.

— Ну, тогда прости, я буду спать.— И заснула.

Еще до рассвета все трое сидели за завтраком, и Фрэнсис Макомбер чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона.

— Как спали? — спросил Уилсон своим глуховатым голосом, набивая трубку.

— А вы?

— Отлично,— ответил белый охотник.

Сволочь, подумал Макомбер, наглая сволочь.

Значит, она его разбудила, когда вернулась, думал Уилсон, поглядывая на обоих своими равнодушными, холодными глазами. Ну и следил бы за женой получше. Что он воображает, что я святой? Следил бы за ней получше. Сам виноват.

— Как вы думаете, найдем мы буйволов? — спросила Марго, отодвигая тарелку с абрикосами.

— Вероятно,— сказал Уилсон и улыбнулся ей.— А вам не остаться ли в лагере?

— Ни за что,— ответила она.

— Прикажите ей остаться в лагере,— сказал Уилсон Макомберу.

— Сами прикажите,— ответил Макомбер холодно.

— Давайте лучше без приказаний и,— обращаясь к Макомберу,— без глупостей, Фрэнсис,— сказала Марго весело.

— Можно ехать? — спросил Макомбер.

— Я готов,— ответил Уилсон.— Вы хотите, чтобы мемсаиб поехала с нами?

— Не все ли равно, хочу я или нет.

Вот дьявольщина, подумал Роберт Уилсон. Вот уж правда, можно сказать, дьявольщина. Так, значит, вот оно как теперь будет. Ладно, значит, теперь будет именно так.

— Решительно все равно,— сказал он.

— Может, вы сами останетесь с ней в лагере и предоставите мне поохотиться на буйволов одному? — спросил Макомбер.

— Не имею права,— сказал Уилсон.— Бросьте вы вздор болтать.

— Это не вздор. Мне противно.

— Нехорошее слово — противно.

— Фрэнсис, будь добр, постарайся говорить разумно,— сказала его жена.

— Я и так, черт возьми, говорю разумно,— сказал Макомбер.— Ели вы когда-нибудь такую гадость?

— Вы недовольны едой? — спокойно спросил Уилсон.

— Не больше, чем всем остальным.

— Возьмите себя в руки, голубчик,— сказал Уилсон очень спокойно.— Один из боев немного понимает по-английски.

— Ну и черт с ним.

Уилсон встал и, попыхивая трубкой, пошел прочь, сказав на суахили несколько слов поджидавшему его ружьеносцу. Макомбер и его жена остались сидеть за столом. Он упорно смотрел на свою чашку.

— Если ты устроишь скандал, милый, я тебя брошу,— сказала Марго спокойно.

— Не бросишь.

— Попробуй — увидишь.

— Не бросишь ты меня.

— Да,— сказала она.— Я тебя не брошу, а ты будешь вести себя прилично.

— Прилично? Это мне нравится. Прилично.

— Да. Прилично.

— Ты бы сама постаралась вести себя прилично.

— Я долго старалась. Очень долго.

— Ненавижу эту краснорожую свинью,— сказал Макомбер.— От одного его вида тошно делается.

— А знаешь, он *очень* милый.

— *Замолчи!* — крикнул Макомбер.

В эту минуту к обеденной палатке подъехал автомобиль, шофер и оба ружьеносца соскочили на землю. Подошел Уилсон и посмотрел на мужа и жену, сидевших за столом.

— Едем охотиться? — спросил он.

— Да,— сказал Макомбер, вставая.— Да.

— Захватите свитер. Ехать будет холодно,— сказал Уилсон.

— Я пойду возьму кожаную куртку,— сказала Марго.

— Она у боя,— сказал Уилсон. Он сел рядом с шофером, а Фрэнсис Макомбер с женой молча уселись на заднем сиденье.

С этого болвана еще станется выстрелить мне в затылок, думал Уилсон. И зачем только берут на охоту женщин?

Спустившись к ручью, автомобиль переехал его вброд там, где камни были мелкие, а потом, в сером свете утра, зигзагами поднялся на высокий берег, по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть, чтобы можно было добраться в машине до рёдкого леса и больших полян.

Хорошее утро, думал Уилсон. Было очень росисто, колеса шли по траве и низкому кустарнику, и он чувствовал запах раздавленных листьев. От них пахло вербеной, а он любил этот утренний запах росы, раздавленные папоротники и черные стволы деревьев, выступавшие из утреннего тумана, когда машина катилась без дорог, в редком, как парк, лесу. Те двое, на заднем сиденье, больше не интересовали его, он думал о буйволах. Буйволы, до которых он хотел добраться, днем отдыхали на заросшем кустами болоте, где охота на них была невозможна; но по ночам они выходили пастись на большую поляну, и если бы удалось так подвести автомобиль, чтобы отрезать их от болота, Макомбер, вероятно, смог бы пострелять их на открытом месте. Ему не хотелось охотиться с Макомбером на буйволов в чаще. Ему не хотелось охотиться с Макомбером ни на

буйволов, ни на какого другого зверя, но он был охотник-профессионал, и ему еще не с такими типами приходилось иметь дело. Если они сегодня найдут буйволов, останутся только носороги, на этом бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Макомбер тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга, он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват, растяпа несчастный.

Он, Роберт Уилсон, всегда возил с собой на охоту койку пошире — мало ли какой подвернется случай. Он знал свою клиентуру — веселящаяся верхушка общества, спортсмены-любители из всех стран, женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке с белым охотником. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока они его нанимали, их мерки были его мерками.

Они были его мерками во всем, кроме самой охоты. Тут у него были свои мерки, и этим людям оставалось либо подчиняться ему, либо нанимать себе другого охотника. Он знал, что все они уважают его за это. А вот Макомбер этот — какой-то чудак. Право, чудак. Да еще жена. Ну, что ж, жена. Да, жена. Гм, жена. Ладно, с этим покончено. Он оглянулся на них. Макомбер сидел угрюмый и злой. Марго улыбнулась. Сегодня она казалась моложе, более невинной и свежей, и не такой профессиональной красавицей. Что у нее на уме — одному богу известно, подумал Уилсон. Ночью она не много разговаривала. А смотреть на нее все-таки приятно.

Автомобиль взял небольшой подъем и покатил дальше между деревьями, а потом по краю большой, поросшей травой поляны, держась все время у опушки в тени деревьев; ехали медленно, и Уилсон внимательно следил глазами за дальним концом поляны. Он велел шоферу остановиться и оглядел ее в бинокль. Потом махнул шоферу, и тот медленно поехал дальше, стараясь не попадать в кабаньи ямы и объезжая высокие муравейники. Потом Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал:

— Смотрите, вот они.

Машина рванулась вперед. Уилсон быстро заговорил с шофером на суахили, и, взглянув, куда он указывал, Макомбер увидел трех огромных черных животных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие черные танки, вскачь пересекавших поляну. Их шеи и туловища напряженно вытя-

нулись на скаку, и он видел их загнутые кверху, широко раскинутые черные рога, когда они так скакали, вытянув головы, совершенно неподвижные головы.

— Три старых самца,— сказал Уилсон.— Мы успеем отрезать им путь к болоту.

Автомобиль летел по кочкам со скоростью сорока пяти миль в час, и на глазах у Макомбера буйволы все росли и росли; так что он мог уже разглядеть серое, безволосое, покрытое струпьями туловище одного из огромных животных, и как шея у него сливается с плечами, и черный блеск его рогов, когда он скакал, немного отстав от двух других, уходивших вперед ровным, тяжелым галопом. А потом автомобиль качнуло, словно он наскочил на что-то, они подъехали совсем близко, и он ясно видел скачущую глыбу и пыль, насевшую на шкуре между редкими волосами, широкое основание рогов и вытянутую, с широкими ноздрями морду, и он уже вскинул ружье, но Уилсон крикнул: «Не с машины, идиот вы этакий!» И в нем не было страха, только ненависть к Уилсону, а тут шофер дал тормоз, и машину так занесло, что она взрыла землю и почти остановилась, и Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую и споткнулся, коснувшись ногами все еще убегавшей назад земли, а потом он стрелял в удалявшегося буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды, а он все уходил; вспомнил наконец, что надо целить ближе к голове, в плечо, и, уже перезаряжая ружье, увидел, что буйвол упал. Упал на колени, мотнув тяжелой головой, и Макомбер, заметив, что те два все скачут, выстрелил в вожака и попал. Он выстрелил еще раз, промахнулся, услышал оглушительное «кара-уонг!» винтовки Уилсона и увидел, как передний бык ткнулся мордой в землю.

— Теперь третьего,— сказал Уилсон.— Вот это стрельба!

Но последний буйвол упорно уходил все тем же ровным галопом, и Макомбер промазал, грязь взметнулась фонтаном, а потом и Уилсон промазал, только поднял облако пыли, и Уилсон крикнул: «Едем! Так не достать!»— и схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку, Макомбер с одной стороны, а Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно, прямо вперед.

Они быстро нагоняли его, и Макомбер заряжал ружье, роняя патроны: затвор зашалил, он выправил его; и когда они почти поравнялись с буйволом, Уилсон заорал: «Стой!» И машину так занесло, что она чуть не опрокинулась, а Макомбера столкнуло вперед на землю, но он не упал, рванул вперед зат-

вор и выстрелил в скачущую круглую черную спину, прицелился и выстрелил еще раз, потом еще и еще, и пули хоть и попали все до одной, казалось, не причиняли буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон, треск оглушил Макомбера, и он увидел, что буйвол зашатался. Он выстрелил еще раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени.

— Здорово,— сказал Уилсон.— Чисто сработано. Теперь все три.

Макомбера охватил пьяный восторг.

— Сколько раз вы стреляли?— спросил он.

— Только три,— сказал Уилсон.— Первого убили вы. Самого большого. Двух других я вам помог прикончить. Боялся, как бы они не ушли в чащу. Они, собственно, тоже ваши. Я только чуть подправил. Отлично стреляли.

— Пойдемте к машине,— сказал Макомбер.— Я хочу выпить.

— Сначала нужно прикончить вот этого,— сказал Уилсон.

Буйвол стоял на коленях, и, когда они двинулись к нему, яростно вздернул голову и заревел от бешенства, мотая головой, тараща свиные глазки.

— Смотрите, как бы не встал,— сказал Уилсон. И еще:— Отойдите немного вбок и бейте в шею, за ухом.

Макомбер старательно прицелился в середину огромной, дергающейся, разъяренной шеи и выстрелил. Голова упала вперед.

— Правильно,— сказал Уилсон.— В позвонок. Ну и страшилища, черт их дери, а?

— Пойдем выпьем,— сказал Макомбер. Никогда в жизни ему еще не было так хорошо.

В автомобиле сидела жена Макомбера, очень бледная.

— Ты был изумителен, милый,— сказала она Макомберу.— Ну и гонка!

— Очень трясло?— спросил Уилсон.

— Очень страшно было. Я в жизни еще не испытывала такого страха.

— Давайте все выпьем,— сказал Макомбер.

— Обязательно,— сказал Уилсон.— Мемсаиб первая.— Она отпила из фляжки чистого виски и слегка передернулась, глотая. Потом передала фляжку Макомберу, а тот Уилсону.

— Это так волнует,— сказала она.— У меня голова разболелась отчаянно. А я не знала, что разрешается стрелять буйволов из автомобилей.

— Никто и не стрелял из автомобилей,— сказал Уилсон холодно.

— Ну, гнаться за ними в автомобиле.

— Вообще-то это не принято,— сказал Уилсон.— Но сегодня мне понравилось. Такая езда без дорог по кочкам и ямам рискованнее, чем охотиться пешком. Буйвол, если б захотел, мог броситься на нас после любого выстрела. Сколько угодно. А все-таки никому не рассказывайте. Штука незаконная, если вы *это* имели в виду.

— По-моему,— сказала Марго,— нечестно гнаться за этими толстыми, беззащитными зверями в автомобиле.

— В самом деле?

— Что, если бы об этом узнали в Найроби?

— Первым делом у меня отобрали бы свидетельство. Ну и так далее, всякие неприятности,— сказал Уилсон, отпивая из фляжки.— Остался бы без работы.

— Правда?

— Да, правда.

— Ну вот,— сказал Макомбер и улыбнулся в первый раз за весь день.— Теперь она и к вам прицепилась.

— Как ты изящно выражаешься, Фрэнсис,— сказала Марго Макомбер.

Уилсон посмотрел на них. Если муж дурак, думал он, а жена дрянь, какие у них могут быть дети? Но сказал он другое:

— Мы потеряли одного ружьеносца, вы заметили?

— О, господи, нет,— сказал Макомбер.

— Вот он идет,— сказал Уилсон.— Живехонек. Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола.

Старик Конгони, прихрамывая, шел к ним в своем вязаном колпаке, защитной куртке, коротких штанах и резиновых сандалиях, лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на суахили, и все увидели, как белый охотник изменился в лице.

— Что он говорит?— спросила Марго.

— Говорит, что первый буйвол встал и ушел в чащу,— сказал Уилсон без всякого выражения.

— Вот как,— сказал Макомбер рассеянно.

— Значит, теперь будет точь-в-точь как со львом,— сказала Марго, оживляясь.

— Будет, черт побери, совсем не так, как со львом,— сказал Уилсон.— Пить еще будете, Макомбер?

— Да, спасибо,— сказал Макомбер. Он ждал, что вернется ощущение, которое он испытал накануне, но оно не верну-

лось. В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было четкое ощущение восторга.

— Пойдем взглянем на второго буйвола,— сказал Уилсон.— Я велю шоферу отвести машину в тень.

— Куда вы?— спросила Марго Макомбер.

— Взглянуть на буйвола,— сказал Уилсон.

— И я с вами.

— Пойдемте.

Все трое пошли туда, где второй буйвол черной глыбой лежал на траве, вытянув голову, широко раскинув тяжелые рога.

— Очень хорошая голова,— сказал Уилсон.— Между рогами дюймов пятьдесят.

Макомбер восхищенно смотрел на буйвола.

— Отвратительное зрелище,— сказала Марго.— Может быть, пойдем в тень?

— Конечно,— сказал Уилсон.— Смотрите,— сказал он Макомберу и протянул руку.— Видите вон те заросли?

— Да.

— Вот туда и ушел первый буйвол. Конгони говорит, что, когда он свалился с машины, бык лежал на земле. Он следил, как мы гоним и как скачут два других буйвола. А когда он поднял голову, буйвол был на ногах и смотрел на него. Конгони пустился наутек, а бык потихоньку ушел в заросли.

— Пойдем за ним сейчас? — нетерпеливо спросил Макомбер.

Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так и рвется в бой.

— Нет, переждем немного.

— Пожалуйста, пойдемте в тень,— сказала Марго. Лицо у нее побелело, вид был совсем больной.

Они прошли к развесистому дереву, под которым стоял автомобиль, и сели.

— Очень возможно, что он уже издох,— заметил Уилсон.— Подождем немножко и посмотрим.

Макомбер ощущал огромное, безотчетное счастье, никогда еще не испытанное.

— Да, вот это была скачка!— сказал он.— Я в жизни не испытывал ничего подобного. Правда, чудесно было, Марго?

— Отвратительно,— сказала она.

— Чем?

— Отвратительно,— сказала она горько.— Мерзость.

— Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь,— сказал Макомбер Уилсону.— Что-то во мне про-

изошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение.

— Полезно для печени,— сказал Уилсон.— Чего только с людьми не бывает.

Лицо Макомбера сияло.

— Право же, во мне что-то изменилось,— сказал он.— Я чувствую себя совершенно другим человеком.

Его жена ничего не сказала и посмотрела на него как-то странно. Она сидела, прижавшись к спинке, а Макомбер наклонился вперед и говорил с Уилсоном, который отвечал, повернувшись боком на переднем сиденье.

— Знаете, я бы с удовольствием еще раз поохотился на льва,— сказал Макомбер.— Я их теперь совсем не боюсь. В конце концов, что они могут сделать?

— Правильно,— сказал Уилсон.— В худшем случае убьют вас. Как это у Шекспира? Очень хорошее место. Сейчас вспомню. Ах, очень хорошее место. Одно время я постоянно его повторял. Ну-ка, попробую. «Мне, честное слово, все равно; смерти не миновать, нужно же заплатить дань смерти. И, во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем». Хорошо, а?

Он очень смутился, когда произнес эти слова, так много значившие в его жизни, но не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия, и это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется двадцать один год. Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее,— вот что понадобилось для этого Макомберу; но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. Ведь вот какой стал, думал Уилсон. Дело в том, что многие из них долго остаются мальчишками. Некоторые так на всю жизнь. Пятьдесят лет человеку, а фигура мальчишеская. Пресловутые американские мужчины-мальчики. Чудной народ, ей-богу. Но сейчас этот Макомбер ему нравится. Чудак, право, чудак. И наставлять себе рога он, наверно, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, черт возьми! Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол. И к тому же автомобиль. С автомобилем все кажется проще. Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в

мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха.

Забившись в угол автомобиля, Маргарет Макомбер поглядывала на них обоих. Уилсон не изменился. Уилсона она видела таким же, каким увидала накануне, когда впервые поняла, в чем его сила. Но Фрэнсис Макомбер изменился, и она это видела.

— Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждешь чего-нибудь?— спросил Макомбер, продолжая обследовать свои новые владения.

— Об этом, как правило, молчат,— сказал Уилсон, глядя на лицо Макомбера.— Скорее принято говорить, что вам страшно. А вам, имейте в виду, еще не раз будет страшно.

— Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать?

— Да,— сказал Уилсон.— И точка. Нечего об этом распространяться. А то все можно испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает.

— Оба вы болтаете вздор,— сказала Марго.— Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями.

— Прошу прощенья,— сказал Уилсон.— Я и правда наболтал лишнего.— Уже встревожилась, подумал он.

— Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваешься?— сказал Макомбер жене.

— Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый,— презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно.

Макомбер рассмеялся непринужденным, веселым смехом.

— Представь себе,— сказал он.— Действительно стал.

— Не поздно ли?— горько сказала Марго. Потому что она очень старалась, чтобы все было хорошо, много лет старалась, а в том, как они жили сейчас, винить было некого.

— Для меня — нет,— сказал Макомбер.

Марго ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины.

— Как вы думаете, теперь пора?— бодро спросил Макомбер.

— Можно попробовать,— сказал Уилсон.— У вас патроны остались?

— Есть немного у ружьеносца.

Уилсон крикнул что-то на суахили, и старый туземец, свежевавший одну из голов, выпрямился, вытащил из кармана ко-

робку с патронами и принес ее Макомберу; тот наполнил магазин своей винтовки, а остальные патроны положил в карман.

— Вы стреляйте из спрингфилда,— сказал Уилсон.— Вы к нему привыкли. Маннлихер оставим в машине у мемсаиб. Штуцер может взять Конгони. Я беру свою пушку. Теперь послушайте, что я вам скажу.— Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить Макомбера.— Когда буйвол нападает, голова у него не опущена, а вытянута вперед. Основания рогов прикрывают весь лоб, так что стрелять в череп бесполезно. Единственно возможный выстрел — прямо в морду. И еще возможен выстрел в грудь или, если вы стоите сбоку, в шею или плечо. Когда они ранены, добить их очень трудно. Не пробуйте никаких фокусов. Выбирайте самый легкий выстрел. Ну так, с головой они покончили. Едем?

Он позвал туземцев, они подошли, вытирая руки, и старший залез сзади в машину.

— Я беру только Конгони,— сказал Уилсон.— Второй останется здесь, будет отгонять птиц.

Когда автомобиль медленно поехал по траве к лесистому островку, который тянулся зеленым языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну, Макомбер чувствовал, как у него колотится сердце и во рту опять пересохло, но это было возбуждение, а не страх.

— Вот здесь он вошел в заросли,— сказал Уилсон. И приказал ружьеносцу на суахили:— Найди след.

Автомобиль поравнялся с островком зелени. Макомбер, Уилсон и ружьеносец слезли. Оглянувшись, Макомбер увидел, что жена смотрит на него и ружье лежит с ней рядом. Он помахал ей рукой, она не ответила.

Заросли впереди были очень густые, под ногами было сухо. Старый туземец весь вспотел, а Уилсон надвинул шляпу на глаза, и Макомбер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг Конгони сказал что-то Уилсону и побежал вперед.

— Он там издох,— сказал Уилсон.— Чистая работа.

Он повернулся и схватил Макомбера за руку, и, в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, жали друг другу руки, Конгони пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком, быстро, как краб, а за ним буйвол — ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет, огромная голова вытянута вперед,— нападает, устремив прямо на них свои маленькие, налитые кровью свиные глазки. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, и Макомбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушенного грохотом штуцера, увидел, что от

огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки, и голова буйвола дернулась. Он снова выстрелил, прямо в широкие ноздри, и снова увидел, как вскинулись кверху рога и полетели осколки. Теперь он не видел Уилсона и, старательно прицелившись, снова выстрелил, а буйвол громоздился уже над ним, и его ружье было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперед головой; он увидел маленькие злые глазки, и голова начала опускаться, и он почувствовал, как внезапная, жаркая, ослепительная вспышка взорвалась у него в мозгу, и больше он никогда ничего не чувствовал.

Уилсон только что отступил в сторону, чтобы выстрелить буйволу в плечо. Макомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть-чуть выше, чем нужно,— в тяжелые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша, а миссис Макомбер с автомобиля выстрелила из маннлихера калибра 6,5 в буйвола, когда казалось, что он вот-вот подденет Макомбера на рога, и попала своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, немного сбоку.

Фрэнсис Макомбер лежал ничком всего в двух ярдах от того места, где лежал на боку буйвол, его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон.

— Не нужно его переворачивать,— сказал Уилсон.

Женщина истерически плакала.

— Подите сядьте в автомобиль,— сказал Уилсон.— Где ружье?

Она покачала головой, на лице ее застыла гримаса. Туземец поднял с земли ружье.

— Положи на место,— сказал Уилсон. И прибавил:— Сходи за Абдуллой, пусть будет свидетелем, как произошло несчастье.

Он опустился на колени, достал из кармана платок и накрыл им коротко остриженную голову Фрэнсиса Макомбера. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю.

Уилсон встал и увидел лежащего на боку буйвола: ноги его были вытянуты, по брюху между редкими волосами ползали клещи. «А хорош, черт его дери,— автоматически отметил его мозг.— Никак не меньше пятидесяти дюймов». Он крикнул шофера и велел ему накрыть мертвого пледом и остаться возле него. Потом пошел к автомобилю, где женщина плакала, забившись в угол.

— Ну и натворили вы дел,— сказал он совершенно безучастно.— А он бы вас непременно бросил.

— Перестаньте,— сказала она.

— Конечно, это несчастный случай,— сказал он.— Я-то знаю.

— Перестаньте,— сказала она.

— Не тревожьтесь,— сказал он.— Предстоят кое-какие неприятности, но я распоряжусь, чтобы сделали несколько снимков, которые очень пригодятся на дознании. Ружьеносцы и шофер тоже выступят как свидетели. Вам решительно нечего бояться.

— Перестаньте,— сказала она.

— Будет много возни,— сказал он.— Придется отправить грузовик на озеро, чтобы оттуда по радио вызвали самолет, который заберет нас всех троих в Найроби. Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так.

— Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте!— крикнула женщина.

Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами.

— Больше не буду,— сказал он.— Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться.

— О, пожалуйста, перестаньте,— сказала она.— Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте.

— Так-то лучше,— сказал Уилсон.— Пожалуйста — это много лучше. Теперь я перестану.

СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

Килиманджаро — покрытый вечными снегами горный массив высотой в 19 710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи называет его западный пик «Нгайэ-Нгайя», что значит «Дом бога». Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

— Самое удивительное, что мне совсем не больно,— сказал он.— Только так и узнают, когда это начинается.

— Неужели совсем не больно?

— Нисколько. Правда, запах. Но ты уж прости. Тебе, должно быть, очень неприятно.

— Перестань. Пожалуйста, перестань.

— Посмотри на них,— сказал он.— Интересно, что их сюда влечет? Самое зрелище или запах?

Койка, на которой он лежал, стояла под тенистой кроной мимозы, и, глядя дальше, на залитую слепящим солнцем долину, он видел трех громадных птиц, раскорячившихся на земле, а в небе парило еще несколько, отбрасывая вниз быстро скользящие тени.

— Они торчат здесь с того самого дня, как сломался наш грузовик,— сказал он.— Сегодня в первый раз сели на землю. Сначала я очень внимательно следил за ними на тот случай, если понадобится всунуть их в какой-нибудь рассказ. Но теперь даже думать об этом смешно.

— Не надо,— сказала она.

— Да ведь это я просто так, — сказал он.— Когда говоришь, легче. Впрочем, я вовсе не хочу доставлять тебе неприятности.

— Ты прекрасно знаешь, что дело не в этом,— сказала она.— Я нервничаю только потому, что чувствую свою беспомощность. Мы с тобой должны взять себя в руки и ждать самолета.

— Или не ждать самолета.

— Ну, скажи, что мне сделать? Неужели я ничем не могу помочь?

— Можешь отрубить мне ногу, тогда не поползет дальше; впрочем, сомневаюсь. Или можешь пристрелить меня. Ты теперь меткий стрелок. Ведь я научил тебя стрелять?

— Не надо так. Хочешь, я почитаю вслух?

— Что?

— Что-нибудь из того, что мы еще не читали.

— Нет, я не могу слушать,— сказал он.— Разговаривать легче. Мы ссоримся, а так время идет быстрее.

— Я не ссорюсь. Я не хочу ссориться с тобой. Не будем больше ссориться. Даже если нервы совсем развинтятся. Может, сегодня за нами пришлют грузовик. Может, прилетит самолет.

— Я не желаю двигаться с места,— сказал он.— Какой смысл? Разве только, чтобы тебе стало легче.

— Это трусость.

— Дай человеку спокойно умереть, неужели тебе обязательно нужно браниться? Что толку обзывать меня трусом?

— Ты не умрешь.

— Перестань говорить глупости. Я умираю. Спроси вон у тех гадин.— Он посмотрел туда, где три громадных, омерзитель-

ных птицы сидели, втянув головы в перья, взъерошенные на шее. Четвертая опустилась на землю, пробежала немного, быстро перебирая ногами, и медленно, вразвалку, двинулась к остальным.

— Они кружат около каждой стоянки. Обычно их просто не замечаешь. Ты не умрешь, если сам не сдашься!

— Где ты это вычитала? Боже, до чего ты глупа!

— Тогда думай о ком-нибудь другом.

— Ну уж нет!— сказал он.— Хватит с меня этого занятия.

Он откинулся на подушку и несколько минут лежал молча, глядя на струившийся от зноя воздух и на кромку зеленевшего вдали кустарника. Там ходили барашки, крохотные и белые на желтом фоне, а еще дальше виднелось стадо зебр, совсем белых рядом с зелеными кустами. Место для стоянки было выбрано отличное — под большими деревьями, у подножия холма, хорошая вода, а в двух шагах почти пересохший источник, над которым по утрам летали куропатки.

— Хочешь, я почитаю вслух?— спросила она снова. Она сидела возле койки на складном парусиновом стуле.— Вот и ветерок поднимается.

— Нет, спасибо.

— Может быть, грузовик скоро придет.

— Мне совершенно безразлично, придет он или не придет.

— А мне не безразлично.

— У нас всегда так: что не безразлично тебе, безразлично мне.

— Нет, не всегда, Гарри.

— Надо бы выпить.

— Тебе это вредно. У Блэка сказано — воздерживаться от алкоголя. Тебе нельзя пить.

— Моло!— крикнул он.

— Да, бвана.

— Принеси виски с содовой.

— Да, бвана.

— Тебе нельзя пить,— повторила она.— Ты сдаешься, об этом я и говорила. Ведь там же сказано, что пить вредно. Я знаю, что тебе это вредно.

— Нет,— сказал он.— Мне это полезно.

Значит, теперь уже ничего не поделаешь, думал он. Значит, теперь он ничего не доведет до конца. Значит, вот чем все это завершается — пререканиями из-за виски. С тех пор как на правой ноге у него началась гангрена, боль прекратилась, а вместе с болью исчез и страх, и он ощущал теперь только непре-

одолимую усталость и злобу, оттого что таков будет конец. То, что близилось, не вызывало у него ни малейшего любопытства. Долгие годы это преследовало его, но сейчас это уже ничего не значило. Странно, что именно усталость так все облегчает.

Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере, он не потерпит неудачи. Может быть, у него все равно ничего бы не вышло, поэтому он и откладывал свои намерения в долгий ящик и никак не мог взяться за перо. Впрочем, теперь правды никогда не узнаешь.

— Не надо было приезжать сюда,— сказала женщина. Она смотрела на стакан у него в руке и кусала губы.— В Париже ничего подобного с тобой бы не случилось. Ты всегда говорил, что любишь Париж. Можно было бы остаться в Париже или уехать куда-нибудь еще. Я бы поехала куда угодно. Я же говорила, что поеду, куда только ты захочешь. Если тебе хотелось поохотиться, мы могли бы поехать в Венгрию, там все было бы к нашим услугам.

— Всему виной твои поганые деньги,— сказал он.

— Это несправедливо,— сказала она.— Они столько же твои, сколько и мои. Я все бросила и ездила за тобой всюду, куда тебе хотелось, и я делала все, что тебе хотелось. Но сюда не надо было приезжать.

— Ты же говорила, что тебе здесь нравится.

— Да, когда ты был здоров. А сейчас здесь невыносимо. Я не понимаю, почему у тебя должна была разболеться нога. Чем мы это заслужили, что мы такое сделали?

— Я сделал вот что: сначала забыл прижечь йодом царапину на колене. Потом перестал думать об этом, потому что до сих пор никакая инфекция ко мне не приставала. Потом, когда нога разболелась, я примачивал ранку слабым раствором карболки, так как другие дезинфицирующие средства у нас вышли. От этого закупорились мелкие сосуды, началась гангрена.— Он взглянул на нее.— Что еще?

— Я не об этом.

— Если бы мы наняли настоящего шофера, а не какого-то идиота-туземца, он проверил бы уровень масла в моторе и не пережег бы подшипник.

— Я не об этом.

— Если бы ты не распростилась со своими друзьями, со всей этой сворой из Уэстбери, Саратоги, Палм-Бича и не ушла ко мне...

— Это несправедливо. Ведь я любила тебя. И сейчас люблю. И всегда буду любить. Разве ты меня не любишь?

— Нет,— сказал он.— По-моему, нет. По-моему, я тебя никогда не любил.

— Что ты говоришь, Гарри? Ты сошел с ума.

— Нет. Мне сходить не с чего, при всем желании.

— Не пей виски,— сказала она.— Милый, я прошу тебя, не пей. Мы должны сделать все, что в наших силах.

— Делай ты,— сказал он.— А я устал.

Сейчас он видел перед собой вокзал в Карагаче. Он уезжал тогда из Фракии после отступления и стоял с вещевым мешком за плечами, глядя, как фонарь экспресса Симплон — Ориент рассекает темноту. Вот это он тоже откладывал впрок, и еще про утренний завтрак и про то, как смотрели из окна и видели снег на горах в Болгарии, и секретарша Нансеновской миссии спросила шефа, неужели это снег, и старик посмотрел туда и сказал: нет, это не снег. Для снега слишком рано. И секретарша повторила, обращаясь к другим девушкам: вы слышали? Это не снег, и они хором: это не снег, мы ошиблись. Но это был снег, самый настоящий снег, и шеф заслал туда, в горы, уйму народу, когда начался обмен населения. Людям пришлось пробираться по глубоким заносам, и они погибли в ту зиму все до одного.

В Гауэртале в тот год на рождество тоже шел снег. В тот год, когда они жили в домике дровосека с квадратной изразцовой печкой, которая занимала полкомнаты, и спали на тюфяках, набитых буковыми листьями. Тогда же в домик пришел дезертир, и на снегу от его ног тянулись кровавые следы. Он сказал, что за ним гонятся, и они дали ему шерстяные носки и отвлекли жандармов разговорами, пока следы не замело.

В Шрунсе на первый день рождества снег так блестел, что глазам было больно смотреть из окна Weinstube[1] *на прихожан, расходившихся после церковной службы по домам. Там же, в Шрунсе, они поднимались по укатанной санями, желтой от конской мочи дороге вдоль реки, мимо крутых гор, поросших сосновым лесом,— поднимались пешком, неся тяжелые лыжи на плече; и там же они совершили великолепный спуск на лыжах вниз по леднику над Мадленер-Хаус; снег был гладкий, как сахарная глазурь, и легкий, как порошок, и он помнил бесшумный от быстроты полет, когда падаешь камнем вниз, точно птица.*

---

[1] Кабачок *(нем.)*.

Они застряли в Мадленер-Хаус на целую неделю из-за метели, играли в карты при свете дымящего фонаря, и ставки поднимались все выше и выше, по мере того как проигрывал герр Ленц. Наконец он проиграл все дочиста. Все — деньги лыжной школы, доход за целый сезон, потом все свои сбережения. Он видел его, как живого,— длинноносый, берет карты со стола и ставит «Sans voir»[1]. *Игра шла тогда круглые сутки. Снег валит — играют. Метели нет — играют. Он подумал о том, сколько времени ушло у него в жизни на карты.*

Но он не написал ни строчки ни об этом, ни о том холодном, ясном рождественском дне, когда горы четко виднелись по ту сторону долины, над которой Баркер перелетел линию фронта, чтобы бомбить поезд с австрийскими офицерами, уезжавшими с позиций домой и поливал их пулеметным огнем, когда они рассыпались и побежали кто куда. Он вспомнил, как Баркер зашел потом в офицерскую столовую и начал рассказывать об этом. И как вдруг стало тихо и кто-то сказал: «Зверь, сволочь паршивая». Австрийцы, которых они убивали тогда, были такие же, с какими он позднее ходил на лыжах. Нет, не такие же. Ганс, с которым он ходил на лыжах весь тот год, служил в егерском полку, и, охотясь вместе на зайцев в небольшой долине над лесопилкой, они говорили о боях у Пасубио и о наступлении под Петрикой и Асалоне, и он не написал об этом ни единой строчки. Ни о Монте-Корно, ни о Сьетте-Коммуни, ни об Арсиеро.

Сколько зим он прожил в Арльберге и Форарльберге? Четыре, и тут он вспомнил человека, который продавал лису, когда они шли в Блуденц покупать подарки, и славный кирш с привкусом вишневых косточек, вихрь легкого, как порошок, снега, разлетающегося по насту, песню «Хай-хо, наш Ролли!» на последнем перегоне перед крутым спуском, и прямо вниз, не сворачивая, потом тремя рывками через сад, дальше канава, а за ней обледенелая дорога позади гостиницы. Крепление долой, сбрасываешь с ног лыжи и ставишь их к деревянной стене, а из окна свет лампы, и там, в комнате, в дымном пахнущем молодым вином тепле играют на аккордеоне.

— Где мы останавливались в Париже? — спросил он женщину, которая сидела рядом с ним на складном стуле — здесь, в Африке.

— В отеле «Крийон». Ты же сам знаешь.

---

[1] Втемную *(франц.)*.

— Почему я должен это знать?

— Мы всегда там останавливались.

— Нет, не всегда.

— Там и в «Павильоне Генриха Четвертого» в Сен-Жерменском предместье. Ты говорил, что любишь эти места.

— Любовь — навозная куча,— сказал Гарри.— А я петух, который взобрался на нее и кричит кукареку.

— Если ты правда умираешь,— сказала она,— неужели тебе нужно убить все, что остается после тебя? Неужели ты все хочешь взять с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жену, сжечь свое седло и свое оружие?

— Да,— сказал он.— Твои проклятые деньги — вот мое оружие, и с ними я был в седле.

— Перестань.

— Хорошо. Больше не буду. Я не хочу обижать тебя.

— Не поздно ли ты спохватился?

— Хорошо. Тогда буду обижать. Так веселее. То единственное, что я любил делать с тобой, сейчас мне недоступно.

— Нет, неправда. Ты любил и многое другое, и все, что хотелось делать тебе, делала и я.

— Ради бога, перестань хвалиться.

Он взглянул на нее и увидел, что она плачет.

— Послушай,— сказал он.— Ты думаешь, мне приятно? Я сам не знаю, зачем я это делаю. Убиваешь, чтобы чувствовать, что ты еще жив,— должно быть, так. Когда мы начали разговаривать, все было хорошо. Я не знал, к чему это приведет, а сейчас у меня ум за разум зашел, и я мучаю тебя. Ты не обращай на меня внимания, дорогая. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что люблю. Я никого так не любил, как тебя.— Он свернул на привычную дорожку лжи, которая давала ему хлеб его насущный.

— Какой ты милый.

— Сука,— сказал он.— У суки щедрые руки. Это поэзия. Я сейчас полон поэзии. Скверны и поэзии. Скверной поэзии.

— Замолчи, Гарри. Что ты беснуешься?

— Я ничего не оставлю,— сказал он.— Я ничего не хочу оставлять после себя.

Наступил вечер, и он проснулся. Солнце зашло за холм, и всю долину покрыла тень. Мелкие животные паслись теперь почти у самых палаток, и он смотрел, как они все дальше отходят от кустарника, головами то и дело припадают к траве,

крутят хвостиками. Птицы уже не дежурили, сидя на земле. Они грузно облепили дерево. Их заметно прибыло. Его бой сидел возле койки.

— Мемсаиб пошла стрелять,— сказал бой.— Бвана что-нибудь нужно?

— Нет.

Она пошла подстрелить какую-нибудь дичь к обеду и, зная, как он любит смотреть на животных, забралась подальше, чтобы не потревожить тот уголок долины, который виден ему с койки. Она все помнит, подумал он. Все, что узнала, или прочла, или просто услышала.

Разве это ее вина, что он пришел к ней уже конченым. Откуда женщине знать, что за словами, которые говорятся ей, ничего нет, что говоришь просто в силу привычки и ради собственного спокойствия. Когда он перестал придавать значение своим словам, его ложь имела больше успеха у женщин, чем правда.

Плохо не то, что он лгал, а то, что вместо правды была пустота. Жизнь свою он прожил, она давно кончилась, а он все еще жил, но теперь уже среди других людей, и денег теперь было больше, и из всех знакомых мест он выбирал лучшие, бывал и в новых местах.

Главное было не думать, и тогда все шло замечательно. Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисал так, как раскисает большинство из них, и притворялся, что тебе плевать на работу, которой ты был занят раньше, на ту работу, которая теперь была уже не по плечу тебе. Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не их племени — ты соглядатай в их стане; ты покинешь его и напишешь о нем, и первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает то, о чем пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе, так что в конце концов он совсем бросил писать. Людям, с которыми он знался, было удобнее, чтобы он не работал. В Африке он когда-то провел лучшее время своей жизни, и вот он опять приехал сюда, чтобы начать все сызнова. В поездке они пользовались минимумом комфорта. Лишений терпеть не приходилось, но роскоши тоже не было, и он думал, что опять войдет в форму. Что ему удастся согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела.

Ей нравилось здесь. Она говорила, что любит такую жизнь. Она любила все, что волнует, что влечет за собой перемену обстановки, любила новых людей, развлечения. И он уже тешил себя надеждой, что желание работать снова крепнет в нем. Теперь, если это конец, а он знал, что это конец, стоит ли корчиться и кусать самого себя, точно змея, которой перешибли хребет. Эта женщина ни в чем не виновата. Не будь ее, была бы другая. Если вся жизнь прошла во лжи, надо и умереть с ней. Он услышал звук выстрела за холмом.

У нее точный прицел, у этой доброй суки, у которой щедрые руки, у этой ласковой опекунши и губительницы его таланта. Чушь. Он сам погубил свой талант. Зачем сваливать все на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами. Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь, но вместо того чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было: я сделал то-то и то-то; было: я мог бы сделать. И он предпочел добывать средства к жизни не пером, а другими способами. И ведь это неспроста,— правда?— что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы. Но когда влюбленность проходила, когда он только лгал, как теперь вот этой женщине, которая была богаче всех, у которой была уйма денег, у которой когда-то были муж и дети, которая и до него имела любовников, но не находила в этом удовлетворения, а его любила нежно, как писателя, как мужчину, как товарища и как драгоценную собственность,— не странно ли, что, не любя ее, заменив любовь ложью, он мог давать ей больше за ее деньги, чем другим женщинам, которых действительно любил.

Все мы, верно, созданы для своих дел, подумал он. Твой талант выражается в том, как ты зарабатываешь себе на кусок хлеба. Он только и делал, что в той или иной форме продавал свои силы, а когда чувства нет, то за полученные деньги даешь товар лучшего качества. Он убедился в этой истине, но и о ней он теперь уже никогда не напишет. Да, он не напишет об этом, а написать стоило бы.

Вот она появилась из-за холма, идет по долине к палаткам. На ней бриджи, в руках она держит ружье. Бои шагают следом и тащат барашка на палке. Она все еще интересная

женщина, подумал он, и у нее красивое тело. Она очень талантлива в любовных делах и понимает в них толк; хорошенькой ее не назовешь, но ему нравилось ее лицо, она массу читала, любила верховую езду, охоту и, конечно, слишком много пила. Муж у нее умер, когда она была еще сравнительно молодой женщиной, и после его смерти она вся ушла, правда, ненадолго, в своих уже подросших детей, которым это было совсем не нужно и только тяготило их, в свою конюшню, книги и вино. Она любила читать по вечерам перед обедом и, читая, пила виски с содовой. К обеду она выходила пьяная, и бутылки вина, выпитой за столом, ей было достаточно, чтобы заснуть.

Все это было до любовников. Когда у нее появились любовники, она стала меньше пить, потому что теперь сон приходил и без вина. Но с любовниками она скучала. Она была замужем за человеком, с которым никогда не было скучно, а с этими она очень скучала.

Потом ее сын погиб в воздушной катастрофе, и после этого она покончила с любовниками, а так как виски не утоляло боли, приходилось начинать какую-то другую жизнь. Она вдруг остро почувствовала свое одиночество и испугалась. Но ей нужен был человек, которого можно уважать.

Все началось очень просто. Ей нравились его книги, и она всегда завидовала его образу жизни. Ей казалось, что он делает именно то, что ему хочется делать. Шаги, предпринятые ею, чтобы завладеть им, то, как она в конце концов полюбила его,— все это вошло в некую обратно пропорциональную прогрессию, в которой она строила новую жизнь, а он продавал остатки своей прежней жизни.

Он продавал ее, чтобы получить взамен обеспеченное существование, чтобы получить комфорт,— этого отрицать нельзя,— и что еще? Кто знает? Она купила бы ему все, исполнила бы любое его желание. В этом он не сомневался. К тому же как женщина она была замечательна. Он ничего не имел против того, чтобы сойтись именно с ней; пожалуй, с ней даже скорее, чем с какой-нибудь другой женщиной, потому что она была богаче, потому что она была очень приятная и понимала толк в любви и никогда не устраивала сцен. А теперь жизнь, которую она построила заново, приближалась к концу, потому что две недели назад он не прижег йодом колена, оцарапанного о колючку, когда они пробирались в зарослях, чтобы сфотографировать стадо антилоп, стоявших, высоко подняв головы, всматривавшихся вперед,— ноздри жадно вбирают воздух, уши в

струнку, малейший шорох — и умчатся в кусты. И они удрали, не дав ему времени щелкнуть аппаратом.

Вот она, пришла.

Он повернул голову на подушке, навстречу ей, и сказал:

— Хэлло!

— Я подстрелила барашка,— сказала она.— Дадим тебе вкусного бульону, и я велю еще приготовить картофельное пюре на порошковом молоке. Как ты себя чувствуешь?

— Гораздо лучше.

— Вот хорошо! Знаешь, я так и думала, что тебе будет лучше. Ты спал, когда я ушла.

— Я хорошо выспался. Ты далеко забралась?

— Нет. Только обогнула холм. Знаешь, я ловко его подстрелила.

— Ты замечательно стреляешь.

— Я люблю охоту. И Африку полюбила. Правда. Если ты поправишься, я так и буду считать, что эта поездка самое интересное, что у меня было в жизни. Если бы ты знал, как мне интересно охотиться вместе с тобой. Я полюбила Африку.

— Я тоже ее люблю.

— Милый, если бы ты только знал, как это замечательно, что тебе лучше. Я просто не могу, когда ты становишься таким, как сегодня утром. Ты больше не будешь так говорить со мной? Обещаешь?

— Хорошо. Не буду,— сказал он.— Я не помню, что я говорил.

— Зачем мучить меня? Не надо. Я всего только пожилая женщина, которая любит тебя и хочет делать то, что хочется делать тебе. Меня уже столько мучили. Ты не станешь меня мучить, ведь нет?

— Я бы с удовольствием помучил тебя в постели,— сказал он.

— Вот это другое дело. Для этого мы и созданы. Завтра прилетит самолет.

— Откуда ты знаешь?

— Я в этом уверена. Он обязательно прилетит. Бои приготовили хворост и траву для дымовых костров. Я сегодня опять ходила туда посмотреть. Места для посадки достаточно, и мы разожжем костры по обеим сторонам.

— Почему ты думаешь, что он прилетит завтра?

— Я уверена, что прилетит. Пора уже. В городе твою ногу вылечат, и тогда мы помучаем друг друга по-настоящему. Не так, как ты мучил меня сегодня своими разговорами.

— Давай выпьем? Солнце уже село.

— Тебе, пожалуй, не стоит.

— А я буду.

— Тогда выпьем вместе. Моло, принеси нам виски с содовой,— крикнула она.

— Ты бы надела высокие башмаки, а то москиты налетят,— сказал он ей.

— Я сначала помоюсь...

Пока надвигалась темнота, они пили, а перед тем как совсем стемнело и стрелять было уже нельзя, по долине пробежала гиена и скрылась за холмом.

— Эта дрянь каждый вечер здесь бегает,— сказал он.— Каждый вечер две недели подряд.

— Это та самая, что воет по ночам. Пусть ее, мне она не мешает. Хотя они очень противные.

Теперь, когда он потягивал вместе с ней виски и боль исчезла,— только неудобно лежать, не меняя положения, а бои разводили костер и тень от него металась по стенкам палаток,— он чувствовал, как к нему снова возвращается примиренность с этой жизнью, ставшей приятной неволей. Она очень добра к нему. Он был жесток и несправедлив сегодня утром. Она хорошая женщина, просто замечательная женщина. И в эту минуту он вдруг понял, что умирает.

Это налетело вихрем; не так, как налетает дождь или ветер, а вихрем внезапной, одуряющей смрадом пустоты, и самое странное было то, что по краю этой пустоты неслышно скользнула гиена.

— Ты что, Гарри? — спросила она.

— Ничего,— сказал он.— Ты бы пересела. Так, чтобы ветер был с твоей стороны.

— Моло сделал тебе перевязку?

— Да. Я наложил примочку из борной.

— Как ты себя чувствуешь?

— Слабость немножко.

— Я пойду помоюсь,— сказала она.— Это недолго. Мы поедим вместе, а потом надо внести койку.

«Значит,— сказал он самому себе,— мы хорошо сделали, что прекратили ссоры». Он никогда особенно не ссорился с этой женщиной, а с теми, которых любил, ссорился так часто, что под конец ржавчина ссор неизменно разъедала все, что связывало их. Он слишком сильно любил, слишком многого требовал и в конце концов оставался ни с чем.

«Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»

Он думал о том, как было тогда в Константинополе,— один, после ссоры в Париже перед самым отъездом. Он развратничал все те дни, а потом, когда опомнился и чувство одиночества не только не прошло, а стало еще острее, он написал ей, первой, той, которая бросила его, написал о том, что ему так и не удалось убить в себе это... О том, как ему показалось однажды, что она прошла мимо Regence, и у него все заныло внутри, и о том, что если какая-нибудь женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по бульвару, боясь убедиться, что это не она, боясь потерять то чувство, которое охватывало его при этом. О том, что все женщины, с которыми он спал, только сильнее заставляли его тосковать по ней. И что все то, что она сделала, не имеет никакого значения теперь, когда он убедился, что не может излечиться от этой любви. Он писал это письмо в клубе, совершенно трезвый, и отправил его в Нью-Йорк, попросив ее ответить в Париж по адресу редакции. Казалось, это вполне безопасно. И в тот же вечер, истосковавшись по ней до чувства щемящей пустоты внутри, он подцепил около Таксима первую попавшуюся и пошел с ней ужинать. Потом они поехали в дансинг, танцевала она плохо, и он отделался от нее, пригласив какую-то разнузданную армянскую девку, которая, танцуя, так терлась о него животом, что его бросало в жар. Он отбил ее со скандалом у английского артиллериста. Артиллерист вызвал его на улицу, и они схватились там в темноте, на булыжной мостовой. Он ударил его два раза по скуле со всего размаху, но артиллерист не упал, и тогда он понял, что драка предстоит серьезная. Артиллерист ударил его в грудь, потом чуть ниже глаза. Он опять нанес длинный боковой удар левой, артиллерист вцепился ему в пиджак и оторвал рукав, а он съездил его два раза по уху и потом, оттолкнув от себя, нанес еще удар правой. Артиллерист повалился, стукнувшись головой о камни, а он поспешил удрать с женщиной, потому что к ним уже приближался военный патруль. Они взяли такси, поехали вдоль Босфора к Риммили-Хисса, сделали круг, потом обратно по свежему ночному воздуху и легли в постель, и она была такая же перезрелая, как и в платье, но шелковистая, как розовый лепесток, липкая, шелковистый живот, большие груди. Он ушел, когда она еще спала, и на рассвете вид у нее был здорово потасканный. Оттуда — в Пера-Палас с подбитым глазом, пиджак под мышкой, потому что одного рукава не хватало.

В тот же вечер он выехал в Анатолию, а на другой день поезд шел полями, засеянными маком, из которого добывают опиум, и сейчас он вспомнил, какое странное самочувствие у

него было к концу дня, и какими обманчивыми казались расстояния последнюю часть пути перед фронтом, где проводили наступление с участием только что прибывших греческих офицеров, которые были форменными болванами, и артиллерия стреляла по своим, и английский военный наблюдатель плакал, как ребенок.

В тот же день он впервые увидел убитых солдат в белых балетных юбочках и в туфлях с загнутыми кверху носками и с помпонами. Турки валили стеной, и он видел, как солдаты в юбочках бросились бежать, и офицеры стреляли по ним, а потом сами побежали, и он тоже повернул следом за английским наблюдателем и бежал так быстро, что у него заломило в груди, во рту был такой привкус, точно там полно медяков, и они укрылись за скалами, а турки все валили и валили. Позднее ему пришлось увидеть такое, чего он даже и в мыслях не мог себе представить; а потом он видел и гораздо худшее. Поэтому, вернувшись в Париж, он не мог ни говорить, ни слушать об этом. И когда он проходил мимо одного кафе в Париже, там сидел тот самый американский поэт, на столике перед ним гора блюдечек, и лицо у него глупое и рыхлое, как картофелина; поэт говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Тцара, который носил монокль и всегда жаловался на головную боль; а потом снова в своей квартире, с женой, которую он теперь опять любил; ссоры как не бывало, безумия как не бывало, рад, что вернулся; почту из редакции присылают на дом. И вот однажды утром за завтраком ему подали ответ на письмо, которое он написал тогда, и, узнав почерк, он весь похолодел и хотел подсунуть письмо под другой конверт. Но жена спросила: «От кого это, милый?» — и тут пришел конец тому, что начиналось у них.

Он вспомнил хорошие дни, проведенные с ними со всеми, и ссоры. Они всегда ухитрялись выбирать для ссор самые чудесные минуты. И почему это ссориться с ним надо было именно тогда, когда ему было хорошо? Он так и не написал об этом, потому что сначала ему никого не хотелось обидеть, а потом стало казаться, что и без того есть о чем писать. Но он всегда думал, что в конце концов напишет об этом. Столько всего было, о чем хотелось написать. Он следил за тем, как меняется мир; не только за событиями, хотя ему пришлось повидать их достаточно — и событий и людей; нет, он замечал более тонкие перемены и помнил, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это он сам пережил, ко всему приглядывался, и он обязан написать об этом, но теперь уже не напишет.

— Как ты себя чувствуешь? — Она уже помылась и вышла из палатки.

— Хорошо.

— Может быть, поешь теперь? — За ее спиной он увидел Моло со складным столиком и второго боя с посудой.

— Я хочу писать,— сказал он.

— Тебе надо выпить бульону, подкрепиться.

— Я сегодня умру,— сказал он.— Мне незачем подкрепляться.

— Не надо мелодрам, Гарри,— сказала она.

— Ты что, потеряла обоняние? Нога у меня наполовину сгнила. Очень мне нужен этот бульон! Моло, принеси виски с содовой.

— Выпей бульону, я прошу тебя,— мягко сказала она.

— Хорошо.

Бульон был очень горячий. Он долго студил его в чашке и потом выпил залпом, не поперхнувшись.

— Ты замечательная женщина,— сказал он.— Не обращай на меня внимания.

Она повернулась к нему лицом — такое знакомое, любимое лицо со страниц «Города и виллы», только чуть-чуть подурневшее от пьянства, только чуть-чуть подурневшее от любовных утех; но «Город и вилла» никогда не показывал этой красивой груди, и этих добротных бедер, и легко ласкающих рук, и, глядя на ее такую знакомую, приятную улыбку, он снова почувствовал близость смерти. На этот раз вихря не было. Был легкий ветерок, дуновение, от которого пламя свечи то меркнет, то вытягивается столбиком.

— Немного погодя вели принести сетку, пусть ее протянут от койки к дереву и разведут костер. Я не хочу перебираться в палатку на ночь. Не стоит труда. Ночь ясная. Дождя не будет.

Значит, вот как умирают — в шепоте, который еле различим. Ну что ж, по крайней мере, конец ссорам. Это он может пообещать. Он не станет портить то единственное, что ему никогда еще не приходилось испытать на себе. Наверно, испортит. Ведь портишь все. А может быть, и не испортит.

— Ты не умеешь стенографировать?

— Нет, не умею,— сказала она.

— Ничего, не важно.

Времени, правда, уже не хватит, хотя все это так втиснуто одно в другое, что, кажется, можно уложиться в один абзац, лишь бы только суметь.

На горе у озера стоял бревенчатый домик, промазанный по щелям белой известью. Возле двери на шесте был колокол, в который звонили, сзывая всех к столу. За домом было поле, а позади поля начинался лес. От дома к пристани тянулась аллейка серебристых тополей. На мысу тоже росли тополя. Вдоль опушки леса шла дорога в горы, и по краям этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый домик сгорел, и все ружья, висевшие на оленьих ножках над камином, тоже сгорели, и ружейные стволы, без прикладов, с расплавившимся в магазинных коробках свинцом валялись в куче золы, которая шла на щелок для больших мыловаренных котлов, и ты спросил дедушку, можно взять эти стволы поиграть, и он сказал нет. Ведь это были все еще его ружья, а новых он так и не купил, и с тех пор больше не охотился. Дом отстроили заново на том же самом месте, но уже из старого теса, и побелили его, и с террасы были видны тополя, а за ними озеро; но ружей в доме больше не было. Стволы ружей, висевших когда-то в бревенчатом домике на оленьих ножках, валялись в куче золы, и никто теперь не прикасался к ним.

В Шварцвальде после войны мы арендовали ручей, в котором водилась форель, и к нему можно было пройти двумя путями. Первый вел через долину,— спуск начинался от Триберга,— под тенистыми деревьями, которые окаймляли белую дорогу, а потом по тропинке, поднимавшейся з горы, мимо небольших ферм с высокими шварцвальдскими домами, и так до того места, где дорога пересекала ручей. С этого места мы и начали удить рыбу.

Другой путь вел прямо по круче к лесной опушке, а потом надо было идти сосновым лесом, через горы; выходишь к лугу, и этим лугом вниз до моста. Вдоль ручья росли березы, он был небольшой, узкий, но прозрачный, быстрый и с заводями, там, где течение подмыло корни берез. У хозяина отеля в Триберге выдался удачный сезон. Там было очень хорошо, и мы быстро с ним подружились. На следующий год началась инфляция, и всех его прошлогодних сбережений не хватило даже на покупку продовольствия к открытию отеля, и он повесился.

Это можно застенографировать, но разве продиктуешь о площади Контрэскарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же, на улице, и краска стекала по тротуару к автобусной остановке; о стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок; о детях с мокрыми от холода носами; о запахе грязного пота, и нищеты, и пьянства, и о проститутках

в «Bal Musette», над которым они жили тогда. О консьержке, принимавшей у себя в каморке солдата республиканской гвардии,— его каска с султаном из конского хвоста лежала на стуле. О жилище по ту сторону коридора, муж которой был велосипедным гонщиком, и о том, как она обрадовалась в то утро в молочной, когда развернула «L'Auto» и прочла, что он занял третье место в гонках Париж — Тур, его первом серьезном пробеге. Она покраснела, засмеялась, заплакала и потом побежала к себе наверх, не выпуская из рук желтой спортивной газетки. Муж той женщины, которая содержала «Bal Musette», был шофером такси, и когда ему, Гарри, надо было поспеть рано утром на аэродром, шофер постучался к нему и разбудил его, и они выпили на дорогу по стакану белого вина у цинковой стойки в баре. Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота.

Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажем. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после Коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или каскетка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека. И среди этой нищеты и в этом квартале, наискосок от «Boucherie Chevaline» [1], *в винной лавочке, он написал свои первые строки, положил начало тому, чего должно было хватить на всю жизнь. Не было для него Парижа милее этого,— развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре, неожиданно крутой спуск к реке, на улицу Кардинала Лемуана, а по другую сторону — узкий, тесный мирок улицы Муфтар. Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под шинами, с высокими, узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен. Квартира у них была двухкомнатная, и он снимал еще одну комнату в верхнем этаже этой гостиницы; она стоила шестьдесят франков в месяц, и там он писал, и оттуда ему были видны крыши, и трубы, и все холмы Парижа.*

---

[1] «Торговля кониной» *(франц.)*.

Из окон квартиры была видна лавочка угольщика. Угольщик торговал и вином, плохим вином. Позолоченная лошадиная голова над входом в «Boucherie Chevaline», ее открытая витрина с золотисто-желто-красными тушами и выкрашенная в зеленый цвет винная лавочка, где они брали вино; хорошее вино и дешевое. Дальше шли оштукатуренные стены и окна соседей. Тех самых соседей, которые по вечерам, когда какой-нибудь пьяница валялся на улице и стонал, вздыхал, сбитый с ног типично французской ivresse[1]*,— хотя принято уверять, что ничего подобного не существует,— открывали окна, и до тебя доносились их голоса.*

— Где полицейский? Когда не надо, так этот прохвост всегда на месте. Поди спит с какой-нибудь консьержкой. Разыщите ажана.— Наконец кто-нибудь выплескивает ведро воды из окна, и стоны затихают.— Что это? Вода. Правильно! Лучше и не придумаешь.— И окна захлопываются.

Мари, его приходящая прислуга, недовольна восьмичасовым рабочим днем:

— Если муж работает до шести, он хоть и успевает выпить по дороге домой, но самую малость, и зря денег не тратит. А если он на работе только до пяти часов, значит, каждый вечер пьян вдребезги, и денег в глаза не видишь. Кто страдает от сокращения рабочего дня? Мы, жены.

— Хочешь еще бульону? — спрашивала его женщина.

— Нет, большое спасибо. Бульон замечательный.

— Выпей еще немножко.

— Дай мне лучше виски с содовой.

— Тебе это вредно.

— Да. Мне это вредно. Слова и музыка Коула Портера. Когда лицо твое от страсти бледно.

— Ты же знаешь, я люблю, когда ты пьешь.

— Ну, еще бы. Только мне это вредно.

Когда она уйдет, подумал он, выпью столько, сколько захочется. Не сколько захочется, а сколько там есть. Ох, как он устал. Ужасно устал. Надо немножко вздремнуть. Он лежал тихо, и смерти рядом не было. Она, должно быть, свернула на другую улицу. Разъезжает, по двое, на велосипедах, неслышно скользит по мостовой.

---

[1] Опьянение *(франц.)*.

Да, он никогда не писал о Париже. Во всяком случае, о том Париже, который был дорог ему. Ну, а остальное, что так и осталось ненаписанным?

А ранчо и серебристая седина шалфея, быстрая прозрачная вода в оросительных каналах и тяжелая зелень люцерны? Тропинка уходила в горы, и коровы за лето становились пугливые, как олени. Мычание и мерный топот, и медленно двигающаяся масса поднимает пыль, когда осенью гонишь их с гор домой. А по вечерам за горами ясная четкость горного пика, и едешь вниз по тропинке при свете луны, заливающей всю долину. Сейчас ему вспомнилось, как он возвращался лесом, держась за хвост лошади в темноте, когда ни зги не было видно, вспомнились и все рассказы, которые он собирался написать о тех местах.

Рассказ о дурачке-работнике, еще подростке, которого оставили тогда на ранчо с наказом никому не давать сена, и о том, как этот старый болван из Форкса, который бил дурачка, когда тот работал у них, зашел на ранчо за фуражом. Мальчик не дал, и старик пригрозил, что опять изобьет его. Мальчик взял на кухне ружье и застрелил старика у сарая, и когда они вернулись через неделю на ранчо, труп лежал замерзший в загоне для скота, и собаки успели изгрызть его. А то, что осталось, ты завернул в одеяло, уложил в санки и заставил мальчика помогать тебе, и вдвоем, оба на лыжах, вы волокли их по дороге, и так шестьдесят миль до города, где надо было сдать мальчика властям. А ему и в голову не приходило, что его арестуют. Думал, что исполнил свой долг, и ты его друг, и он получит награду за свой поступок. Он помогал везти старика,— пусть все знают, какой этот старик был нехороший, и как он хотел украсть чужое сено, и когда шериф надел на мальчика наручники, тот не поверил своим глазам. Потом заплакал. Вот и этот рассказ он всегда приберегал на будущее. У него хватило бы материала, по крайней мере, на двадцать рассказов о тех местах, а он не написал ни одного. Почему?

— Поди расскажи им почему,— сказал он.

— Что «почему», милый?

— Ничего.

Она стала меньше пить, с тех пор как завладела им. Но если даже он выживет, он никогда не напишет о ней, теперь ему это ясно. И о других тоже. Богатые — скучный народ, все они слишком много пьют или слишком много играют в трик-трак. Скучные и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фицдже-

ральда, и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое.

Он презирал тех, кто сгибается под ударами жизни. Ему-то можно было не увлекаться такими вещами, потому что он видел все это насквозь. Он справится с чем угодно, думал он, потому что его ничто не может сломить, не надо только ничему придавать слишком большого значения.

Хорошо. Вот теперь он не придает никакого значения смерти. Единственное, чего он всегда боялся,— это боли. Он мужчина, он мог выносить боль, если только она не слишком затягивалась и не изматывала его, но в этот раз страдания были просто нестерпимы, и когда он уже чувствовал, что начинает сдавать, боль утихла.

Он вспомнил давний случай: артиллерийского офицера Уильямсона ранило ручной гранатой, брошенной с немецкого сторожевого поста в ту минуту, когда Уильямсон перебирался ночью через проволочные заграждения, и он кричал, умоляя, чтобы его пристрелили. Уильямсон был толстяк, очень храбрый и хороший офицер, хотя невероятный позер. Но тогда, ночью, он, раненный, попал в луч прожектора, и внутренности у него вывалились наружу и повисли на проволоке, так что тем, кто снимал его оттуда еще живым, пришлось обрезать их ножом. Пристрели меня, Гарри, ради всего святого, пристрели меня. Как-то раз зашел разговор на тему, что господь бог ниспосылает человеку только то, что он может перенести, и кто-то защищал такую теорию, будто бы в известный момент боль убивает человека. Но он на всю жизнь запомнил, как было с Уильямсоном в ту ночь. Боль не могла убить Уильямсона, и он отдал ему все свои таблетки морфия, которые приберегал для себя, и даже они подействовали не сразу.

Но то, что происходит с ним сейчас, совсем не страшно; и если хуже не станет, то беспокоиться не о чем. Правда, он предпочел бы находиться в более приятной компании.

Он подумал немного о людях, которых ему хотелось бы видеть сейчас около себя.

Нет, думал он, когда делаешь все слишком долго и слишком поздно, нечего ждать, что около тебя кто-то останется. Люди ушли. Прием кончен, и теперь ты наедине с хозяйкой.

«Мне так же надоело умирать, как надоело все остальное»,— подумал он.

— Надоело,— сказал он вслух.

— Что надоело, милый?

— Все, что делаешь слишком долго.

Он взглянул на нее. Она сидела между ним и костром, откинувшись на спинку стула, и пламя отсвечивало на ее лице, покрытом милыми морщинками, и он увидел, что ее клонит ко сну. Гиена заскулила, подобравшись почти вплотную к светлому кругу, падавшему от костра.

— Я писал,— сказал он.— Но это очень утомительно.

— Как ты думаешь, удастся тебе заснуть?

— Конечно, засну. Почему ты сама не ложишься?

— Мне хочется посидеть с тобой.

— Ты ничего такого не чувствуешь? — спросил он.

— Нет. Просто хочется спать.

— А я чувствую,— сказал он.

Он только что услышал, как смерть опять прошла мимо койки.

— Знаешь, единственно, чего я еще не утратил,— это любопытства,— сказал он ей.

— Ты ничего не утратил. Ты самый полноценный человек из всех, кого я только знала.

— Господи боже,— сказал он.— Как мало дано понимать женщине. Что это? Ваша так называемая интуиция?

Потому что в эту минуту смерть подошла и положила голову в ногах койки и до него донеслось ее дыхание.

— Не верь, что она такая, как ее изображают, с косой и черепом,— сказал он.— С не меньшим успехом это могут быть и двое полисменов на велосипедах, и птица. Или же у нее широкий приплюснутый нос, как у гиены.

Смерть пододвинулась, но теперь это было что-то бесформенное. Она просто занимала какое-то место в пространстве.

— Скажи, чтоб она ушла.

Она не ушла, а придвинулась ближе.

— Ну и несет же от тебя,— сказал он.— Вонючая дрянь.

Она придвинулась еще ближе, и теперь он уже не мог говорить с ней, и, увидев, что он не может говорить, она подобралась еще ближе, и тогда он попробовал прогнать ее молча, но она ползла все выше и выше, придавливая ему грудь, и когда

она легла у него на груди, не давая ему ни двигаться, ни говорить, он услышал, как женщина сказала:

— Бвана уснул. Поднимите койку, только осторожнее, и внесите его в палатку.

Он не мог сказать, чтобы ее прогнали, и она навалилась на него всей своей тушей, не давая дышать. И вдруг, когда койку подняли, все прошло, и тяжесть, давившая ему грудь, исчезла.

Было утро, оно наступило давным-давно, и он услышал гул самолета. Самолет сначала показался в небе точкой, потом сделал широкий круг, и бои выбежали ему навстречу и, полив кучи хвороста керосином, подожгли их и навалили сверху травы, так что по обоим концам ровной площадки получилось два больших костра, и утренний ветерок гнал дым к лагерю, и самолет сделал еще два круга, на этот раз ближе к земле, потом скользнул вниз, выровнялся и мягко сел на площадку, и вот к палаткам идет его старый приятель Комтон — в мешковатых брюках, в твидовом пиджаке и коричневой фетровой шляпе.

— Что с вами, дружище? — спросил Комтон.

— Да вот нога,— сказал он.— Вы позавтракаете?

— Спасибо. Чаю выпью. Я на Мотыльке. Мемсаиб не удастся захватить. Места только на одного. Ваш грузовик уже в пути.

Эллен отвела Комтона в сторону и заговорила с ним. Комтон вернулся еще более оживленный.

— Сейчас мы вас устроим,— сказал он.— За мемсаиб я вернусь. Ну, давайте поспешим. Может, еще придется сделать посадку в Аруше, за горючим.

— А как же чай?

— Да мне, собственно, не хочется.

Бои подняли койку, обогнули с ней зеленые палатки, понесли дальше, мимо скалы, и по равнине мимо костров, которые полыхали на ветру без дыма, потому что от травы уже ничего не осталось,— и подошли к маленькому самолету. Внести его туда было нелегко, но когда наконец внесли, он откинулся на спинку кожаного кресла, а ногу ему подняли и положили на переднее кресло — место Комтона. Комтон запустил мотор и вошел в кабину. Он помахал Эллен и боям, и, как только треск мотора перешел в привычный уху рев, Комтон сделал разворот, обходя кабаньи ямы, и, подскакивая на ходу, машина понеслась по площадке между кострами и с последним толчком поднялась в воздух, и он увидел, как те внизу ма-

шут им вслед, и палатки возле холма теперь почти вровень с землей, долина открывается все шире и шире, кучки деревьев и кустарника тоже почти вровень с землей, а звериные тропы тянутся ниточками к пересохшим водоемам, и вон там еще один водоем, которого он никогда не видел. Зебры — сверху видны только их округлые спины, и антилопы-гну — головастыми пятнышками растянулись по долине в несколько цепочек, точно растопыренные пальцы, и кажется, будто они лезут в гору. Вот шарахнулись в разные стороны, когда тень настигла их, сейчас совсем крохотные, и не заметно, что скачут галопом, и равнина сейчас серо-желтая до самого горизонта, а прямо перед глазами твидовая спина и фетровая шляпа Комти. Потом они пролетели над предгорьем, где антилопы-гну карабкались вверх по тропам, потом над линией гор с внезапно поднимающейся откуда-то из глубин зеленью лесов, и с откосами, покрытыми сплошной бамбуковой зарослью, а потом опять дремучие леса, будто изваянные вместе с горными пиками и ущельями, и наконец перевал, и горы спадают, и потом опять равнина, залитая зноем, лиловато-бурая, машину подбрасывает на волнах раскаленного воздуха, и Комти оборачивается посмотреть, как он переносит полет. А впереди опять темнеют горы.

И тогда, вместо того чтобы взять курс на Арушу, они свернули налево, вероятно, Комти рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув вниз, он увидел в воздухе над самой землей розовое облако, разлетающееся хлопьями, точно первый снег в метель, которая налетает неизвестно откуда, и он догадался, что это саранча повалила с юга. Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток, и потом вдруг стало темно,— попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад, а когда они выбрались из нее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь.

Как раз в эту минуту гиена перестала скулить в темноте и перешла на какие-то странные, почти человеческие, похожие на плач вопли. Женщина услышала их и беспокойно зашевелилась у себя на койке. Она не проснулась. Ей снился дом на Лонг-Айленде и будто это вечер накануне первого выезда в свет ее дочери. Почему-то и отец тут же, и он очень резок с ней.

Потом гиена завыла так громко, что она проснулась и в первую минуту не могла понять, где она, и ей стало страшно. Она взяла карманный фонарик и осветила им вторую койку, которую внесли, когда Гарри уснул. Она увидела, что он лежит там, покрытый сеткой от москитов, а ногу почему-то высунул наружу, и она свисает с койки. Повязка сползла, и она боялась взглянуть туда.

— Моло,— позвала она,— Моло, Моло! — Потом крикнула: — Гарри, Гарри! — Потом громче: — Гарри! Ради бога, Гарри!

Ответа не было, и она не слышала его дыхания.

За стенами палатки гиена издавала те же странные звуки, от которых она проснулась. Но сердце у нее так стучало, что она не слышала их.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

ПЕРЕВОД Е. КАЛАШНИКОВОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА[1]

Эта книга писалась в Париже, в Ки-Уэст, Флорида; в Пиготе, Арканзас; в Канзас-Сити, Миссури; в Шеридане, Вайоминг; а окончательная редакция была завершена в Париже весной 1929 года.

Когда я писал первый вариант, в Канзас-Сити с помощью кесарева сечения родился мой сын Патрик, а когда я работал над окончательной редакцией, в Оук-Парке, Иллинойс, застрелился мой отец. Мне еще не было тридцати ко времени окончания этой книги, и она вышла в свет в день биржевого краха. Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, может быть, он уже больше не мог терпеть. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений.

Я помню все эти события и все места, где мы жили, и что у нас было в тот год хорошего и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, которой я жил в книге и которую я сам сочинял изо дня в день. Никогда еще я не был так счастлив, как сочиняя все это — страну, и людей, и то, что с ними происходило. Каждый день я перечитывал все с самого начала и потом писал дальше и каждый день останавливался, когда еще хорошо писалось и когда мне было ясно, что произойдет дальше.

Меня не огорчало, что книга получается трагическая, так как я считал, что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предрешен. Но убедиться, что можешь сочинять, и притом настолько правдиво, что самому приятно читать написанное и

[1] Предисловие написано для иллюстрированного издания 1948 года.

начинать с этого каждый свой рабочий день,— было радостью, какой я никогда не знал раньше. Все прочее пустяки по сравнению с этим.

У меня уже вышел один роман в 1926 году. Но когда я за него принимался, я совершенно не знал, как нужно работать над романом: я писал слишком быстро и каждый день кончал только тогда, когда мне уже нечего было больше сказать. Поэтому первый вариант был очень плох. Я написал его за полгода, и потом мне пришлось все переписывать заново. Но, переписывая, я многому научился.

Мой издатель, Чарльз Скрибнер, который превосходно разбирается в лошадях, знает все, что, вероятно, допустимо знать об издательском деле, и, как ни странно, кое-что смыслит в книгах, спросил меня, как я отношусь к иллюстрациям и согласен ли я, чтобы моя книга вышла иллюстрированным изданием. На такой вопрос нетрудно ответить: если только художник не такой же мастер своего дела, как писатель — своего (или лучший), ничто не может быть ужаснее для писателя, чем видеть живые в его памяти места, людей и вещи изображенными на бумаге кем-то, кто ничего этого не знает.

Напиши я роман, действие которого происходит на Багамских островах, я хотел бы, чтобы иллюстрации к нему сделал Уинслоу Хомер, но чтобы при этом он ничего не иллюстрировал, а просто нарисовал бы Багамские острова и то, что он там видел. Будь я Мопассаном (чего можно пожелать каждому, живому и мертвому), я взял бы в качестве иллюстрации к своим книгам рисунки и картину Тулуз-Лотрека и кое-какие пленеры Ренуара среднего периода, а нормандские пейзажи вовсе не позволил бы иллюстрировать, потому что никакому художнику не сделать это лучше.

Можно и еще придумывать, кого бы ты хотел взять в иллюстраторы, будь ты тем или другим писателем. Но писателей этих уже нет и этих художников тоже нет, как нет и Макса Перкинса, и многих, умерших в прошлом году. Нынешний год хорош уже тем, что, какие бы потери ни ждали нас в этом году, он не будет хуже, чем прошлый, или 1944-й, или начало зимы и весна 1945-го. То были урожайные годы по части потерь.

Когда мы встречали этот год в Сан-Вэлли, Айдахо, с шампанским, купленным в складчину, кто-то затеял игру, состоявшую в том, что нужно было проползать на спине под натянутой веревкой или под деревянной палкой так, чтобы не коснуться ее животом, носом, шнурами тирольской куртки или еще чем-нибудь. Я сидел в уголке с мисс Ингрид Бергман, попивая

складчинское шампанское, и я сказал ей: «Дочка, этот год будет худшим из худших». (Эпитеты опускаются.)

Мисс Бергман спросила, почему я так думаю. Для нее пока все годы были хорошими, и ей трудно было со мной согласиться. Я сказал, что недостаточный запас слов и плохая дикция мешают мне объяснить подробнее, но есть много разрозненных примет, которые не предвещают ничего хорошего, а это зрелище богачей и весельчаков, ползающих не то под палкой, не то под натянутой веревкой, еще укрепляет мои дурные предчувствия. На том мы и покончили.

Итак, эта книга впервые вышла в свет в 1929 году, в тот самый день, когда разразился крах на нью-йоркской бирже. Иллюстрированное издание должно появиться нынешней осенью. За это время умер Скотт Фицджеральд, умер Том Вулф, умер Джим Джойс (чудесный товарищ, непохожий на официального Джойса, выдуманного биографами, тот, что однажды в подпитии спросил меня, не кажутся ли мне его книги чересчур провинциальными); умер Джон Бишоп, умер Макс Перкинс. Умерло и много таких, кому следовало умереть; одни повисли кверху ногами у какой-нибудь бензоколонки в Милане, других повесили, худо ли, хорошо ли, в разбомбленных немецких городах. А сколько умерло безвестных, безымянных, и часто очень любивших жизнь.

Называется эта книга «Прощай, оружие!», а кроме первых трех лет, после того как она была написана, в мире почти все время где-нибудь да идет война. Многих тогда удивляло — почему этот человек так занят и поглощен мыслями о войне, но теперь, после 1933 года, быть может, даже им стало понятно, почему писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война. Я принимал участие во многих войнах, поэтому я, конечно, пристрастен в этом вопросе, надеюсь, даже очень пристрастен. Но автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне,— самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну,— свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.

Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел, если бы те, кто пойдет воевать, официально поручили ему это, и позаботился бы о том, чтобы все было сделано по возможности гуманно и прилично (ведь среди расстреливаемых могут попасться разные люди) и чтобы все тела были преданы погребению. Можно было бы даже похоронить их в целлофане или использовать какой-нибудь другой современный синтетический материал. А если бы под конец нашлись доказательства, что я сам каким-либо образом повинен в начавшейся войне, пусть бы и меня, как это ни печально, расстрелял тот же стрелковый взвод, а потом пусть бы меня похоронили в целлофане, или без, или просто бросили мое голое тело на склоне горы.

Итак — вот вам книга, спустя без малого двадцать лет, и вот вам предисловие к ней.

Финка-Виджия,
Сан-Франсиско-де-Паула, Куба
30 июня 1948 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В тот год поздним летом мы стояли в деревне, в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали голыш и галька, сухие и белые на солнце, а вода была прозрачная и быстрая и совсем голубая в протоках. По дороге мимо домика шли войска, и пыль, которую они поднимали, садилась на листья деревьев. Стволы деревьев тоже были покрыты пылью, и листья рано начали опадать в тот год, и мы смотрели, как идут по дороге войска, и клубится пыль, и падают листья, подхваченные ветром, и шагают солдаты, а потом только листья остаются лежать на дороге, пустой и белой.

Равнина была плодородна, на ней было много фруктовых садов, а горы за равниной были бурые и голые. В горах шли бои, и по ночам видны были вспышки разрывов. В темноте это напоминало зарницы; только ночи были прохладные, и в воздухе не чувствовалось приближения грозы.

Иногда в темноте мы слышали, как под нашими окнами проходят войска и тягачи везут мимо нас орудия. Ночью движение на дороге усиливалось, шло много мулов с ящиками боеприпасов по обе стороны вьючного седла, ехали серые грузовики, в которых сидели солдаты, и другие, с грузом под брезентовой покрышкой, подвигавшиеся вперед не так быстро. Днем тоже проезжали тягачи с тяжелыми орудиями на прицепе, длинные тела орудий были прикрыты зелеными ветками, и поверх тягачей лежали зеленые густые ветки и виноградные лозы. К северу от нас была долина, а за нею каштановая роща и дальше еще одна гора, на нашем берегу реки. Ту гору тоже пытались взять, но безуспешно, и осенью, когда начались дожди, с каштанов облетели все листья, и ветки оголились, и стволы почернели от дождя. Виноградники тоже поредели и оголились, и все кругом было мокрое, и бурое, и мертвое по-осеннему. Над рекой

стояли туманы, и на горы наползали облака, и грузовики разбрызгивали грязь на дороге, и солдаты шли грязные и мокрые в своих плащах; винтовки у них были мокрые, и две кожаные патронные сумки на поясе, серые кожаные сумки, тяжелые от обойм с тонкими 6,5-миллиметровыми патронами, торчали спереди под плащами так, что казалось, будто солдаты, идущие по дороге, беременны на шестом месяце.

Проезжали маленькие серые легковые машины, которые шли очень быстро; обычно рядом с шофером сидел офицер, и еще офицеры сидели сзади. Эти машины разбрызгивали грязь сильней, чем грузовики, и если один из офицеров был очень мал ростом и сидел сзади между двумя генералами, и оттого что он был так мал, лицо его не было видно, а только верх кепи и узкая спина, и если машина шла особенно быстро,— это, вероятно, был король. Он жил в Удине и почти каждый день ездил этой дорогой посмотреть, как идут дела, а дела шли очень плохо.

С приходом зимы начались сплошные дожди, а с дождями началась холера. Но ей не дали распространиться, и в армии за все время умерло от нее только семь тысяч.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В следующем году было много побед. Была взята гора по ту сторону долины и склон, где росла каштановая роща, и на плато к югу от равнины тоже были победы, и в августе мы перешли реку и расположились в Гориции, в доме, где стены были увиты пурпурной вистарией, и в саду с высокой оградой был фонтан и много густых тенистых деревьев. Теперь бои шли в ближних горах, меньше чем за милю от нас. Город был очень славный, а наш дом очень красивый. Река протекала позади нас, и город заняли без всякого труда, но горы за ним не удавалось взять, и я был очень рад, что австрийцы, как видно, собирались вернуться в город когда-нибудь, если окончится война, потому что они бомбардировали его не так, чтобы разрушить, а только слегка, для порядка. Население оставалось в городе, и там были госпитали, и кафе, и артиллерия в переулках, и два публичных дома — один для солдат, другой для офицеров; и когда кончилось лето и ночи стали прохладными, бои в ближних горах, помятое снарядами железо моста, разрушенный туннель у реки, на месте бывшего боя, деревья вокруг площади и двойной ряд деревьев вдоль улицы, ведущей на площадь,— все это и то, что в городе были девицы, что король проезжал мимо на

своей серой машине и теперь можно было разглядеть его лицо и маленькую фигурку с длинной шеей и седую бородку пучком, как у козла,— все это, и неожиданно обнаженная внутренность домов, у которых снарядом разрушило стену, штукатурка и щебень в садах, а иногда и на улице, и то, что на Карсо дела шли хорошо, сильно отличало осень этого года от прошлой осени, когда мы стояли в деревне. Война тоже стала другая.

Дубовый лес на горе за городом погиб. Этот лес был зеленый летом, когда мы пришли в город, но теперь от него остались только пни и расщепленные стволы, и земля была вся разворочена, и однажды, под конец осени, с того места, где прежде был дубовый лес, я увидел облако, которое надвигалось из-за горы. Оно двигалось очень быстро, и солнце стало тускло-желтое, и потом все сделалось серым, и небо заволокло, и облако спустилось на гору, и вдруг накрыло нас, и это был снег. Снег падал косо по ветру, голая земля скрылась под ним, так что только пни деревьев торчали, снег лежал на орудиях, и в снегу были протоптаны дорожки к отхожим местам за траншеями.

Вечером, спустившись в город, я сидел за бутылкой асти у окна публичного дома, того, что для офицеров, в обществе приятеля и двух стаканов. За окном падал снег, и, глядя, как он падает, медленно и грузно, мы понимали, что на этот год кончено. Горы в верховьях реки не были взяты; ни одна гора за рекой тоже не была взята. Это все осталось на будущий год. Мой приятель увидел на улице нашего полкового священника, осторожно ступавшего по слякоти, и стал стучать по стеклу, чтобы привлечь его внимание. Священник поднял голову. Он увидел нас и улыбнулся. Мой приятель поманил его пальцем. Священник покачал головой и прошел мимо. Вечером в офицерской столовой, после спагетти, которые все ели очень серьезно и торопливо, поднимая их на вилке так, чтобы концы повисли в воздухе и можно было опустить их в рот, или же только приподнимая вилкой и всасывая в рот без перерыва, а потом запивая вином из плетеной фляги,— она качалась на металлической стойке, и нужно было нагнуть указательным пальцем горлышко фляги, и вино, прозрачно-красное, терпкое и приятное, лилось в стакан, придерживаемый той же рукой,— после спагетти капитан принялся дразнить священника.

Священник был молод и легко краснел и носил такую же форму, как и все мы, только с крестом из темно-красного бархата над левым нагрудным карманом серого френча. Капитан, специально для меня, говорил на ломаном итальянском языке, почему-то считая, что так я лучше пойму все и ничего не упущу.

— Священник сегодня с девочка,— сказал капитан, поглядывая на священника и на меня. Священник улыбнулся и покраснел и покачал головой. Капитан часто зубоскалил на его счет.

— Разве нет? — спросил капитан.— Я сегодня видеть священник у девочка.

— Нет,— сказал священник. Остальные офицеры забавлялись зубоскальством капитана.

— Священник с девочка нет,— продолжал капитан.— Священник с девочка никогда,— объяснил он мне. Он взял мой стакан и наполнил его, все время глядя мне в глаза, но не теряя из виду священника.

— Священник каждую ночь сам по себе.— Все кругом засмеялись.— Вам понятно? Священник каждую ночь сам по себе.— Капитан сделал жест рукой и громко захохотал. Священник отнесся к этому, как к шутке.

— Папа хочет, чтобы войну выиграли австрийцы,— сказал майор.— Он любит Франца-Иосифа. Вот откуда у австрийцев и деньги берутся. Я — атеист.

— Вы читали когда-нибудь «Черную свинью»? — спросил лейтенант.— Я вам достану. Вот книга, которая пошатнула мою веру.

— Это грязная и дурная книга,—сказал священник.— Не может быть, чтоб она вам действительно нравилась.

— Очень полезная книга,— сказал лейтенант.— Там все сказано про священников. Вам понравится,— сказал он мне.

Я улыбнулся священнику, и он улыбнулся мне в ответ из-за пламени свечи.

— Не читайте этого,— сказал он.

— Я вам достану,— сказал лейтенант.

— Все мыслящие люди атеисты,— сказал майор.— Впрочем, я и масонства не признаю.

— А я признаю масонство,— сказал лейтенант.— Это благородная организация.

Кто-то вошел, и в отворенную дверь я увидел, как падает снег.

— Теперь уже наступления не будет, раз выпал снег,— сказал я.

— Конечно, нет,— сказал майор.— Взять бы вам теперь отпуск. Поехать в Рим, в Неаполь, в Сицилию...

— Пусть он едет в Амальфи,— сказал лейтенант.— Я дам вам письмо к моим родным в Амальфи. Они вас полюбят, как сына.

— Пусть он едет в Палермо.

— А еще лучше на Капри.

— Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в Абруццах и погостили у моих родных в Капракотта,— сказал священник.

— Очень ему нужно ехать в Абруццы. Там снегу больше, чем здесь. Что ему, на крестьян любоваться? Пусть едет в центры культуры и цивилизации.

— Туда, где есть красивые девушки. Я дам вам адреса в Неаполе. Очаровательные молодые девушки — и все при мамашах. Ха-ха-ха!

Капитан раскрыл кулак, подняв большой палец и растопырив остальные, как делают, когда показывают китайские тени. На стене была тень от его руки. Он снова заговорил на ломаном языке:

— Вы уехать вот такой,— он указал на большой палец,— а вернуться вот такой.— Он дотронулся до мизинца. Все засмеялись.

— Смотрите,— сказал капитан. Он снова растопырил пальцы. Снова пламя свечи отбросило на стену их тень. Он начал с большого и назвал по порядку все пять пальцев: sotto-tenente [1] (большой), tenente [2] (указательный), capitano [3] (средний), maggiore [4] (безымянный) и tenente-colonello [5] (мизинец).— Вы уезжаете sotto-tenente! Вы возвращаетесь tenente-colonello!

Кругом все смеялись. Китайские тени капитана имели большой успех. Он посмотрел на священника и закричал:

— Священник каждую ночь сам по себе! — Все засмеялись.

— Поезжайте в отпуск сейчас же,— сказал майор.

— Жаль, я не могу поехать с вами вместе, все вам показать,— сказал лейтенант.

— Когда будете возвращаться, привезите граммофон.

— Привезите хороших оперных пластинок.

— Привезите Карузо.

— Карузо не привозите. Он воет.

— Попробуйте вы так повыть!

— Он воет. Говорю вам, он воет.

— Мне бы хотелось, чтоб вы побывали в Абруццах,— сказал священник. Все остальные шумели.— Там хорошая охота.

---

[1] Младший лейтенант *(итал.)*.
[2] Лейтенант *(итал.)*.
[3] Капитан *(итал.)*.
[4] Майор *(итал.)*.
[5] Подполковник *(итал.)*.

Народ у нас славный, и зима хоть холодная, но ясная и сухая. Вы могли бы пожить у моих родных. Мой отец страстный охотник.

— Ну, пошли,— сказал капитан.— Мы идти в бордель, а то закроют.

— Спокойной ночи,— сказал я священнику.

— Спокойной ночи,— сказал он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда я возвратился из отпуска, мы все еще стояли в том же городе. В окрестностях было теперь гораздо больше артиллерии, и уже наступила весна. Поля были зеленые, и на лозах были маленькие зеленые побеги; на деревьях у дороги появились маленькие листочки, и с моря тянул ветерок. Я увидел город, и холм, и старый замок на уступе холма, а дальше горы, бурые горы, чуть тронутые зеленью на склонах. В городке стало больше орудий, открылось несколько новых госпиталей, на улицах встречались англичане, иногда англичанки, и от обстрела пострадало еще несколько домов. Было тепло, пахло весной, и я прошел по обсаженной деревьями улице, теплой от солнца, лучи которого падали на стену, и увидел, что мы занимаем все тот же дом и что ничего как будто не изменилось за это время. Дверь была открыта, на скамейке у стены сидел на солнце солдат, санитарная машина ожидала у бокового входа, а за дверьми меня встретил запах каменных полов и больницы. Ничего не изменилось, только теперь была весна. Я заглянул в дверь большой комнаты и увидел, что майор сидит за столом, окно раскрыто и солнце светит в комнату. Он не видел меня, и я не знал, явиться ли мне с рапортом или сначала пойти наверх и почиститься. Я решил пойти наверх.

Комната, которую я делил с лейтенантом Ринальди, выходила во двор. Окно было распахнуто, моя кровать была застлана одеялом, и на стене висели мои вещи, противогаз в продолговатом жестяном футляре, стальная каска на том же крючке. В ногах кровати стоял мой сундучок, а на сундучке мои зимние сапоги, блестевшие от жира. Моя винтовка австрийского образца с восьмигранным вороненым стволом и удобным, красивым, темного ореха прикладом висела между постелями. Я вспомнил, что телескопический прицел к ней заперт в сундучке. Ринальди, лейтенант, лежал на второй кровати и спал. Он проснулся, услышав мои шаги, и поднял голову с подушки.

— Ciao! [1] — сказал он.— Ну, как провели время?

— Превосходно.

Мы пожали друг другу руки, а потом он обнял меня за шею и поцеловал.

— Уф! — сказал я.

— Вы грязный,— сказал он.— Вам нужно умыться. Где вы были, что делали? Выкладывайте все сразу.

— Я был везде. В Милане, Флоренции, Риме, Неаполе, Вилла-Сан-Джованни, Мессине, Таормине...

— Прямо железнодорожный справочник. Ну, а интересные приключения были?

— Да.

— Где?

— Milano, Firenze, Roma, Napoli...

— Хватит. Скажите, какое было самое лучшее?

— В Милане.

— Потому что это было первое. Где вы ее встретили? В «Кова»? Куда вы пошли? Как все было? Выкладывайте сразу. Оставались на ночь?

— Да.

— Подумаешь. Теперь и у нас здесь замечательные девочки. Новенькие, первый раз на фронте.

— Да ну?

— Не верите? Вот пойдем сегодня, увидите сами. А в городе появились хорошенькие молодые англичанки. Я теперь влюблен в мисс Баркли. Я вас познакомлю. Я, вероятно, женюсь на мисс Баркли.

— Мне нужно умыться и явиться с рапортом. А что, работы теперь нет?

— После вашего отъезда мы только и знаем, что отмороженные конечности, желтуху, триппер, умышленное членовредительство, воспаление легких, твердые и мягкие шанкры. Раз в неделю кого-нибудь пришибает осколком скалы. Есть несколько настоящих раненых. С будущей недели война опять начнется. То есть, вероятно, опять начнется. Так говорят. Как, по-вашему, стоит мне жениться на мисс Баркли,— разумеется, после войны?

— Безусловно,— сказал я и налил полный таз воды.

— Вечером вы мне все расскажете,— сказал Ринальди.— А сейчас я должен еще поспать, чтобы явиться к мисс Баркли свежим и красивым.

---

[1] Привет *(итал.)*.

Я снял френч и рубашку и умылся холодной водой из таза. Растираясь полотенцем, я глядел по сторонам, и в окно, и на Ринальди, лежавшего на постели с закрытыми глазами. Он был красив, одних лет со мной, родом из Амальфи. Он любил свою работу хирурга, и мы были большими друзьями. Почувствовав мой взгляд, он открыл глаза.

— У вас деньги есть?

— Есть.

— Одолжите мне пятьдесят лир.

Я вытер руки и достал бумажник из внутреннего кармана френча, висевшего на стене. Ринальди взял бумажку, сложил ее, не вставая с постели, и сунул в карман брюк. Он улыбнулся.

— Мне нужно произвести на мисс Баркли впечатление человека со средствами. Вы мой добрый, верный друг и финансовый покровитель.

— Ну вас к черту,— сказал я.

Вечером в офицерской столовой я сидел рядом со священником, и его очень огорчило и неожиданно обидело, что я не поехал в Абруццы. Он писал обо мне отцу, и к моему приезду готовились. Я сам жалел об этом не меньше, чем он, и мне было непонятно, почему я не поехал. Мне очень хотелось поехать, и я попытался объяснить, как тут одно цеплялось за другое, и в конце концов он понял и поверил, что мне действительно хотелось поехать, и все почти уладилось. Я выпил много вина, а потом кофе со стрега и, хмелея, рассуждал о том, как это выходит, что человеку не удается сделать то, что хочется; никогда не удается.

Мы с ним разговаривали, пока другие шумели и спорили. Мне хотелось поехать в Абруццы. Но я не поехал в места, где дороги обледенелые и твердые, как железо, где в холод ясно и сухо, и снег сухой и рассыпчатый, и заячьи следы на снегу, и крестьяне снимают шапку и зовут вас «дон», и где хорошая охота. Я не поехал в такие места, а поехал туда, где дымные кафе и ночи, когда комната идет кругом, и нужно смотреть в стену, чтобы она остановилась, пьяные ночи в постели, когда знаешь, что больше ничего нет, кроме этого, и так странно просыпаться потом, не зная, кто это рядом с тобой, и мир в потемках кажется нереальным и таким остро волнующим, что нужно начать все сызнова, не зная и не раздумывая в ночи, твердо веря, что больше ничего нет, и нет, и нет, и не раздумывая. И вдруг задумаешься очень глубоко и заснешь и иногда наутро проснешься, и того, что было, уже нет, и все так

резко, и ясно, и четко, и иногда споры о плате. Иногда все-таки еще хорошо, и тепло, и нежно, и завтрак и обед. Иногда приятного не осталось ничего, и рад выбраться поскорее на улицу, но на следующий день всегда опять то же, и на следующую ночь. Я пытался рассказать о ночах, и о том, какая разница между днем и ночью, и почему ночь лучше, разве только день очень холодный и ясный, но я не мог рассказать этого, как не могу и сейчас. Если с вами так бывало, вы поймете. С ним так не бывало, но он понял, что я действительно хотел поехать в Абруццы, но не поехал, и мы остались друзьями, похожие во многом и все же очень разные. Он всегда знал то, чего я не знал и что, узнав, всегда был готов позабыть. Но это я понял только позднее, а тогда не понимал. Между тем мы все еще сидели в столовой. Все уже поели, но продолжали спорить. Мы со священником замолчали, и капитан крикнул:

— Священнику скучно. Священнику скучно без девочек.

— Мне не скучно,— сказал священник.

— Священнику скучно. Священник хочет, чтоб войну выиграли австрийцы,— сказал капитан. Остальные прислушались. Священник покачал головой.

— Нет,— сказал он.

— Священник не хочет, чтоб мы наступали. Правда, вы не хотите, чтоб мы наступали?

— Нет. Раз идет война, мне кажется, мы должны наступать.

— Должны наступать. Будем наступать.

Священник кивнул.

— Оставьте его в покое,— сказал майор.— Он славный малый.

— Во всяком случае, он тут ничего не может поделать,— сказал капитан. Мы все встали и вышли из-за стола.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утром меня разбудила батарея в соседнем саду, и я увидел, что в окно светит солнце, и встал с постели. Я подошел к окну и выглянул. Гравий на дорожках был мокрый и трава влажная от росы. Батарея дала два залпа, и каждый раз воздух сотрясался, как при взрыве, и от этого дребезжало окно и хлопали полы моей пижамы. Орудий не было видно, но снаряды летели, по-видимому, прямо над нами. Неприятно было, что батарея так близко, но приходилось утешаться тем, что орудия

не из самых тяжелых. Глядя в окно, я услышал грохот грузовика, выезжавшего на дорогу. Я оделся, спустился вниз, выпил кофе на кухне и прошел в гараж.

Десять машин выстроились в ряд под длинным навесом. Это были тупоносые, с громоздким кузовом, санитарные автомобили, выкрашенные в серое, похожие на мебельные фургоны. Во дворе у такой же машины возились механики. Еще три находились в горах, при перевязочных пунктах.

— Эта батарея бывает под обстрелом? — спросил я у одного из механиков.

— Нет, signor tenente[1]. Она защищена холмом.

— Как у вас дела?

— Ничего. Вот эта машина никуда не годится, а остальные все в исправности.— Он прервал работу и улыбнулся.— Вы были в отпуску?

— Да.

Он вытер руки о свой свитер и ухмыльнулся.

— Хорошо время провели?

Его товарищи тоже заухмылялись.

— Неплохо,— сказал я.— А что с этой машиной?

— Никуда она не годится. То одно, то другое.

— Сейчас в чем дело?

— Поршневые кольца менять надо.

Я оставил их у машины, которая казалась обобранной и униженной, оттого что мотор был открыт и части выложены на подножку, а сам вошел под навес и одну за другой осмотрел все машины. Я нашел их сравнительно чистыми, одни были только что вымыты, другие уже слегка запылились. Я внимательно оглядел шины, ища порезов или царапин от камней. Казалось, все в полном порядке. Ничто, по-видимому, не менялось от того, здесь ли я и наблюдаю за всем сам или же нет. Я воображал, что состояние машин, возможность доставать те или иные части, бесперебойная эвакуация больных и раненых с перевязочных пунктов в горах, доставка их на распределительный пункт и затем размещение по госпиталям, указанным в документах, в значительной степени зависят от меня. Но, по-видимому, здесь я или нет, не имело значения.

— Были какие-нибудь затруднения с частями? — спросил я старшего механика.

— Нет.

— Где теперь склад горючего?

---

[1] Господин лейтенант *(итал.)*.

— Все там же.

— Прекрасно,— сказал я, вернулся в дом и выпил еще одну чашку кофе в офицерской столовой. Кофе был светло-серого цвета, сладкий от сгущенного молока. За окном было чудесное весеннее утро. Уже появилось то ощущение сухости в носу, которое предвещает, что день будет жаркий. В этот день я объезжал посты в горах и вернулся в город уже под вечер.

Дела, как видно, поправились за время моего отсутствия. Я слыхал, что скоро ожидается переход в наступление. Дивизия, которую мы обслуживали, должна была идти в атаку в верховьях реки, и майор сказал мне, чтобы я позаботился о постах на время атаки. Атакующие части должны были перейти реку повыше ущелья и рассыпаться по горному склону. Посты для машин нужно было выбрать как можно ближе к реке и держать под прикрытием. Определить для них места должна была, конечно, пехота, но считалось, что план разрабатываем мы. Это была одна из тех условностей, которые создают у вас иллюзию военной деятельности.

Я был весь в пыли и грязи и прошел в свою комнату, чтобы умыться. Ринальди сидел на кровати с английской грамматикой Хюго в руках. Он был в полной форме, на нем были черные башмаки, и волосы его блестели.

— Чудесно,— сказал он, увидя меня.— Вы пойдете со мной в гости к мисс Баркли.

— Нет.

— Да. Вы пойдете, потому что я вас прошу, и смотрите, чтобы вы ей понравились.

— Ну ладно. Дайте только привести себя в порядок.

— Умойтесь и идите как есть.

Я умылся, пригладил волосы, и мы собрались идти.

— Постойте,— сказал Ринальди,— пожалуй, не мешает выпить.— Он открыл свой сундучок и вынул бутылку.

— Только не стрега,— сказал я.

— Нет. Граппа.

— Идет.

Он налил два стакана, и мы чокнулись, отставив указательные пальцы. Граппа была очень крепкая.

— Еще по одному?

— Идет,— сказал я.

Мы выпили по второму стакану граппы. Ринальди убрал бутылку, и мы спустились вниз. Было жарко идти по городу, но солнце уже садилось, и было приятно. Английский госпиталь помещался в большой вилле, выстроенной каким-то немцем

перед войной. Мисс Баркли была в саду. С ней была еще одна сестра. Мы увидели за деревьями их белые форменные платья и пошли прямо к ним. Ринальди отдал честь. Я тоже отдал честь, но более сдержанно.

— Здравствуйте,— сказала мисс Баркли.— Вы, кажется, не итальянец?

— Нет.

Ринальди разговаривал с другой сестрой. Они смеялись.

— Как странно — служить в итальянской армии.

— Собственно, это ведь не армия. Это только санитарный отряд.

— А все-таки странно. Зачем вы это сделали?

— Не знаю,— сказал я.— Есть вещи, которые нельзя объяснить.

— Разве? А меня всегда учили, что таких вещей нет.

— Это очень мило.

— Мы непременно должны поддерживать такой разговор?

— Нет,— сказал я.

— Слава богу.

— Что это у вас за трость? — спросил я.

Мисс Баркли была довольно высокого роста. Она была в белом платье, которое я принял за форму сестры милосердия, блондинка с золотистой кожей и серыми глазами. Она показалась мне очень красивой. В руках у нее была тонкая ротанговая трость, нечто вроде игрушечного стека.

— Это — одного офицера, он был убит в прошлом году.

— Простите...

— Он был очень славный. Я должна была выйти за него замуж, а его убили на Сомме.

— Там была настоящая бойня.

— Вы там были?

— Нет.

— Мне рассказывали,— сказала она.— Здесь война совсем не такая. Мне прислали эту тросточку. Его мать прислала. Ее вернули с другими его вещами.

— Вы долго были помолвлены?

— Восемь лет. Мы выросли вместе.

— Почему же вы не вышли за него раньше?

— Сама не знаю,— сказала она.— Очень глупо. Это я, во всяком случае, могла для него сделать. Но я думала, что так ему будет хуже.

— Понимаю.

— Вы любили когда-нибудь?

— Нет,— сказал я.

Мы сели на скамью, и я посмотрел на нее.

— У вас красивые волосы,— сказал я.

— Вам нравятся?

— Очень.

— Я хотела отрезать их, когда он умер.

— Что вы.

— Мне хотелось что-нибудь для него сделать. Я не придавала значения таким вещам; если б он хотел, он мог бы получить все. Он мог бы получить все, что хотел, если б я только понимала. Я бы вышла за него замуж или просто так. Теперь я все это понимаю. Но тогда он собирался на войну, а я ничего не понимала.

Я молчал.

— Я тогда вообще ничего не понимала. Я думала, так для него будет хуже. Я думала, может быть, он не в силах будет перенести это. А потом его убили, и теперь все кончено.

— Кто знает.

— Да, да,— сказала она.— Теперь все кончено.

Мы оглянулись на Ринальди, который разговаривал с другой сестрой.

— Как ее зовут?

— Фергюсон. Эллен Фергюсон. Ваш друг, кажется, врач?

— Да. Он очень хороший врач.

— Как это приятно. Так редко встречаешь хорошего врача в прифронтовой полосе. Ведь это прифронтовая полоса, правда?

— Конечно.

— Дурацкий фронт,— сказала она.— Но здесь очень красиво. Что, наступление будет?

— Да.

— Тогда у нас будет работа. Сейчас никакой работы нет.

— Вы давно работаете сестрой?

— С конца пятнадцатого года. Я пошла тогда же, когда и он. Помню, я все носилась с глупой мыслью, что он попадет в тот госпиталь, где я работала. Раненный сабельным ударом, с повязкой вокруг головы. Или с простреленным плечом. Что-нибудь романтическое.

— Здесь самый романтический фронт,— сказал я.

— Да,— сказала она.— Люди не представляют, что такое война во Франции. Если б они представляли, это не могло бы продолжаться. Он не был ранен сабельным ударом. Его разорвало на куски.

Я молчал.

— Вы думаете, это будет продолжаться вечно?

— Нет.

— А что же произойдет?

— Сорвется где-нибудь.

— Мы сорвемся. Мы сорвемся во Франции. Нельзя устраивать такие вещи, как на Сомме, и не сорваться.

— Здесь не сорвется,— сказал я.

— Вы думаете?

— Да. Прошлое лето все шло очень удачно.

— Может сорваться,— сказала она.— Всюду может сорваться.

— И у немцев тоже.

— Нет,— сказала она.— Не думаю.

Мы подошли к Ринальди и мисс Фергюсон.

— Вы любите Италию? — спрашивал Ринальди мисс Фергюсон по-английски.

— Здесь недурно.

— Не понимаю.— Ринальди покачал головой.

— Abbastanza bene [1],— перевел я. Он покачал головой.

— Это нехорошо. Вы любите Англию?

— Не очень. Я, видите ли, шотландка.

Ринальди вопросительно посмотрел на меня.

— Она шотландка и поэтому больше Англии любит Шотландию,— сказал я по-итальянски.

— Но Шотландия — это ведь Англия.

— Я перевел мисс Фергюсон его слова.

— Pas encore [2],— сказала мисс Фергюсон.

— Еще нет?

— И никогда не будет. Мы не любим англичан.

— Не любите англичан? Не любите мисс Баркли?

— Ну, это совсем другое. Нельзя понимать так буквально.

Немного погодя мы простились и ушли. По дороге домой Ринальди сказал:

— Вы понравились мисс Баркли больше, чем я. Это ясно, как день. Но та шотландка тоже очень мила.

— Очень,— сказал я. Я не обратил на нее внимания.— Она вам нравится?

— Нет,— сказал Ринальди.

---

[1] Недурно *(итал.)*.

[2] Еще нет *(франц.)*.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На следующий день я снова пошел к мисс Баркли. Ее не было в саду, и я свернул к боковому входу виллы, куда подъезжали санитарные машины. Войдя, я увидел старшую сестру госпиталя, которая сказала мне, что мисс Баркли на дежурстве.

— Война, знаете ли.

Я сказал, что знаю.

— Вы тот самый американец, который служит в итальянской армии? — спросила она.

— Да, мэм.

— Как это случилось? Почему вы не пошли к нам?

— Сам не знаю,— сказал я.— А можно мне теперь перейти к вам?

— Боюсь, что теперь нельзя. Скажите, почему вы пошли в итальянскую армию?

— Я жил в Италии,— сказал я,— и я говорю по-итальянски.

— О! — сказала она.— Я изучаю итальянский. Очень красивый язык.

— Говорят, можно выучиться ему в две недели.

— Ну нет, я не выучусь в две недели. Я уже занимаюсь несколько месяцев. Если хотите повидать ее, можете зайти после семи часов. Она сменится к этому времени. Но не приводите с собой разных итальянцев.

— Несмотря на красивый язык?

— Да. Несмотря даже на красивые мундиры.

— До свидания,— сказал я.

— A rividerci, tenente [1].

— A rividerla.— Я отдал честь и вышел. Невозможно отдавать честь иностранцам так, как это делают в Италии, и при этом не испытывать смущения. Итальянская манера отдавать честь, видимо, не рассчитана на экспорт.

День был жаркий. Утром я ездил в верховья реки, к предмостному укреплению у Плавы. Оттуда должно было начаться наступление. В прошлом году продвигаться по тому берегу было невозможно, потому что лишь одна дорога вела от перевала к понтонному мосту и она почти на протяжении мили была открыта пулеметному и орудийному огню. Кроме того, она была недостаточно широка, чтобы вместить весь необходи-

[1] До свидания, лейтенант *(итал.)*.

мый для наступления транспорт, и австрийцы могли устроить там настоящую бойню. Но итальянцы перешли реку и продвинулись по берегу в обе стороны, так что теперь они удерживали на австрийском берегу реки полосу мили в полторы. Это давало им опасное преимущество, и австрийцам не следовало допускать, чтобы они закрепились там. Я думаю, тут проявлялась взаимная терпимость, потому что другое предмостное укрепление, ниже по реке, все еще оставалось в руках австрийцев. Австрийские окопы были ниже, на склоне горы, всего лишь в нескольких ярдах от итальянских позиций. Раньше на берегу был городок, но его разнесли в щепы. Немного дальше были развалины железнодорожной станции и разрушенный мост, который нельзя было починить и использовать, потому что он просматривался со всех сторон.

Я проехал по узкой дороге вниз, к реке, оставил машину на перевязочном пункте под выступом холма, переправился через понтонный мост, защищенный отрогом горы, и обошел окопы на месте разрушенного городка и у подножия склона. Все были в блиндажах. Я увидел сложенные наготове ракеты, которыми пользовались для вызова огневой поддержки артиллерии или для сигнализации, когда была перерезана связь. Было тихо, жарко и грязно. Я посмотрел через проволочные заграждения на австрийские позиции. Никого не было видно. Я выпил с знакомым капитаном в одном из блиндажей и через мост возвратился назад.

Достраивалась новая широкая дорога, которая переваливала через гору и зигзагами спускалась к мосту. Наступление должно было начаться, как только эта дорога будет достроена. Она шла лесом, круто изгибаясь. План был такой: все подвозить по новой дороге, пустые же грузовики и повозки, санитарные машины с ранеными и весь обратный транспорт направлять по старой узкой дороге. Перевязочный пункт находился на австрийском берегу под выступом холма, и раненых должны были на носилках нести через понтонный мост. Предполагалось сохранить этот порядок и после начала наступления. Как я себе представлял, последняя миля с небольшим новой дороги, там, где кончался уклон, должна была простреливаться австрийской артиллерией. Дело могло обернуться скверно. Но я нашел место, где можно было укрыть машины после того, как они пройдут этот последний опасный перегон, и где они могли дожидаться, пока раненых перенесут через понтонный мост. Мне хотелось проехать по новой дороге, но она не была еще закончена. Она была широкая, с хорошо рассчитан-

ным профилем, и ее изгибы выглядели очень живописно в просветах на лесистом склоне горы. Для машин с их сильными тормозами спуск будет нетруден, и, во всяком случае, вниз ведь они пойдут порожняком. Я поехал по узкой дороге обратно.

Двое карабинеров задержали машину. Впереди на дороге разорвался снаряд, и пока мы стояли, разорвалось еще три. Это были 77-миллиметровки, и когда они летели, слышен был свистящий шелест, а потом резкий, короткий взрыв, вспышка, и серый дым застилал дорогу. Карабинеры сделали нам знак ехать дальше. Поравнявшись с местами взрывов, я объехал небольшие воронки и почувствовал запах взрывчатки и запах развороченной глины, и камня, и свежераздробленного кремня. Я вернулся в Горицию, на нашу виллу, и, как я уже сказал, пошел к мисс Баркли, которая оказалась на дежурстве.

За обедом я ел очень быстро и сейчас же снова отправился на виллу, где помещался английский госпиталь. Вилла была очень большая и красивая, и перед домом росли прекрасные деревья. Мисс Баркли сидела на скамейке в саду. С ней была мисс Фергюсон. Они, казалось, обрадовались мне, и спустя немного мисс Фергюсон попросила извинения и встала.

— Я вас оставлю вдвоем,— сказала она.— Вы отлично обходитесь без меня.

— Не уходите, Эллен,— сказала мисс Баркли.

— Нет, уж я пойду. Мне надо писать письма.

— Покойной ночи,— сказал я.

— Покойной ночи, мистер Генри.

— Не пишите ничего такого, что смутило бы цензора.

— Не беспокойтесь. Я пишу только про то, в каком красивом месте мы живем и какие все итальянцы храбрые.

— Продолжайте в том же роде, и вы получите орден.

— Буду очень рада. Покойной ночи, Кэтрин.

— Я скоро зайду к вам,— сказала мисс Баркли. Мисс Фергюсон скрылась в темноте.

— Она славная,— сказал я.

— О да. Она очень славная. Она сестра.

— А вы разве не сестра?

— О нет. Я то, что называется VAD [1]. Мы работаем очень много, но нам не доверяют.

---

[1] Voluntary Aid Department *(англ.)*.

— А почему?

— Не доверяют тогда, когда дела нет. Когда работы много, тогда доверяют.

— В чем же разница?

— Сестра — это вроде доктора. Нужно долго учиться. А VAD кончают только краткосрочные курсы.

— Понимаю.

— Итальянцы не хотели допускать женщин так близко к фронту. Так что у нас тут особый режим. Мы никуда не выходим.

— Но я могу приходить сюда?

— Ну конечно. Здесь не монастырь.

— Давайте забудем про войну.

— Это не так просто. В таком месте трудно забыть про войну.

— А все-таки забудем.

— Хорошо.

Мы посмотрели друг на друга в темноте. Она мне показалась очень красивой, и я взял ее за руку. Она не отняла руки, и я потянулся и обнял ее за талию.

— Не надо,— сказала она. Я не отпускал ее.

— Почему?

— Не надо.

— Надо,— сказал я.— Так хорошо.

Я наклонился в темноте, чтобы поцеловать ее, и что-то обожгло меня коротко и остро. Она сильно ударила меня по лицу. Удар пришелся по глазам и переносице, и на глазах у меня выступили слезы.

— Простите меня,— сказала она.

Я почувствовал за собой некоторое преимущество.

— Вы поступили правильно.

— Нет, вы меня, пожалуйста, простите,— сказала она.— Но это так противно получилось — сестра с офицером в выходной вечер. Я не хотела сделать вам больно. Вам больно?

Она смотрела на меня в темноте. Я был зол и в то же время испытывал уверенность, зная все наперед, точно ходы в шахматной партии.

— Вы поступили совершенно правильно,— сказал я.— Я ничуть не сержусь.

— Бедненький!

— Видите ли, я живу довольно нелепой жизнью. Мне

даже не приходится говорить по-английски. И потом, вы такая красивая.

Я смотрел на нее.

— Зачем вы все это говорите? Я ведь просила у вас прощения. Мы уже помирились.

— Да,— сказал я.— И мы перестали говорить о войне.

Она засмеялась. Первый раз я услышал, как она смеется. Я следил за ее лицом.

— Вы славный,— сказала она.

— Вовсе нет.

— Да. Вы добрый. Хотите, я сама вас поцелую?

Я посмотрел ей в глаза и снова обнял ее за талию и поцеловал. Я поцеловал ее крепко, и сильно прижал к себе, и старался раскрыть ей губы; они были крепко сжаты. Я все еще был зол, и когда я ее прижал к себе, она вдруг вздрогнула. Я крепко прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, и ее губы раскрылись и голова откинулась на мою руку, и я почувствовал, что она плачет у меня на плече.

— Милый! — сказала она.— Вы всегда будете добры ко мне, правда?

«Кой черт»,— подумал я. Я погладил ее волосы и потрепал ее по плечу. Она плакала.

— Правда, будете? — Она подняла на меня глаза.— Потому что у нас будет очень странная жизнь.

Немного погодя я проводил ее до дверей виллы, и она вошла, а я отправился домой. Вернувшись домой, я поднялся к себе в комнату. Ринальди лежал на постели. Он посмотрел на меня.

— Итак, ваши дела с мисс Баркли подвигаются?

— Мы с ней друзья.

— Вы сейчас похожи на пса в охоте.

Я не понял.

— На кого?

Он пояснил.

— Это вы,— сказал я,— похожи на пса, который...

— Стойте,— сказал он.— Еще немного, и мы наговорим друг другу обидных вещей.— Он засмеялся.

— Покойной ночи,— сказал я.

— Покойной ночи, кутинька.

Я подушкой сшиб его свечу и улегся в темноте. Ринальди поднял свечу, зажег и продолжал читать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Два дня я объезжал посты. Когда я вернулся домой, было уже очень поздно, и только на следующий вечер я увиделся с мисс Баркли. В саду ее не было, и мне пришлось дожидаться в канцелярии госпиталя, когда она спустится вниз. По стенам комнаты, занятой под канцелярию, стояло много мраморных бюстов на постаментах из раскрашенного дерева. Вестибюль перед канцелярией тоже был уставлен ими. По общему свойству мраморных статуй они все казались на одно лицо. На меня скульптура всегда нагоняла тоску; еще бронза куда ни шло, но мраморные бюсты неизменно напоминают кладбище. Есть, впрочем, одно очень красивое кладбище — в Пизе. А скверных мраморных статуй больше всего в Генуе. Эта вилла принадлежала раньше какому-то немецкому богачу, и бюсты, наверно, стоили ему немало денег. Интересно, чьей они работы и сколько за них было уплачено. Я пытался определить, предки это или еще кто-нибудь; но у них у всех был однообразно-классический вид. Глядя на них, ничего нельзя было угадать.

Я сидел на стуле, держа кепи в руках. Нам полагалось даже в Гориции носить стальные каски, но они были неудобны и казались непристойно бутафорскими в городе, где гражданское население не было эвакуировано. Я свою надевал, когда выезжал на посты, и, кроме того, я имел при себе английский противогаз — противогазовую маску, как их тогда называли. Мы только начали получать их. Они и в самом деле были похожи на маски. Все мы также обязаны были носить автоматические пистолеты; даже врачи и офицеры санитарных частей. Я ощущал свой пистолет, прислоняясь к спинке стула. Замеченный без пистолета подлежал аресту. Ринальди вместо пистолета набивал кобуру туалетной бумагой. Я носил свой без обмана и чувствовал себя вооруженным до тех пор, пока мне не приходилось стрелять из него. Это был пистолет системы «астра», калибра 7,65, с коротким стволом, который так подскакивал при спуске курка, что попасть в цель было совершенно немыслимо. Упражняясь в стрельбе, я брал прицел ниже мишени и старался сдержать судорогу нелепого ствола, и наконец я научился с двадцати шагов попадать не дальше ярда от намеченной цели, и тогда мне вдруг стало ясно, как нелепо вообще носить пистолет, и вскоре я забыл о нем, и он болтался у меня сзади на поясе, не вызывая никаких чувств, кроме разве легкого стыда при встрече с англичанами или американцами. И вот теперь я сидел на стуле, и дежурный канцелярист

неодобрительно поглядывал на меня из-за конторки, а я рассматривал мраморный пол, постаменты с мраморными бюстами и фрески на стенах в ожидании мисс Баркли. Фрески были недурны. Фрески всегда хороши, когда краска на них начинает трескаться и осыпаться.

Я увидел, что Кэтрин Баркли вошла в вестибюль, и встал. Она не казалась высокой, когда шла мне навстречу, но она была очень хороша.

— Добрый вечер, мистер Генри,— сказала она.

— Добрый вечер,— сказал я. Канцелярист за конторкой прислушивался.

— Посидим здесь или выйдем в сад?

— Давайте выйдем. В саду прохладнее.

Я пошел за ней к двери, канцелярист глядел нам вслед. Когда мы уже шли по усыпанной гравием дорожке, она сказала:

— Где вы были?

— Я выезжал на посты.

— И вы не могли меня предупредить хоть запиской?

— Нет,— сказал я.— Не вышло. Я думал, что вернусь в тот же день.

— Все-таки нужно было дать мне знать, милый.

Мы свернули с аллеи и шли дорожкой под деревьями. Я взял ее за руку, потом остановился и поцеловал ее.

— Нельзя ли нам пойти куда-нибудь?

— Нет,— сказала она.— Мы можем только гулять здесь. Вас очень долго не было.

— Сегодня третий день. Но теперь я вернулся.

Она посмотрела на меня.

— И вы меня любите?

— Да.

— Правда, ведь вы сказали, что вы меня любите?

— Да,— солгал я.— Я люблю вас.

Я не говорил этого раньше.

— И вы будете звать меня Кэтрин?

— Кэтрин.

Мы прошли еще немного и опять остановились под деревом.

— Скажите: ночью я вернулся к Кэтрин.

— Ночью я вернулся к Кэтрин.

— Милый, вы ведь вернулись, правда?

— Да.

— Я так вас люблю, и это было так ужасно. Вы больше не уедете?

— Нет. Я всегда буду возвращаться.

— Я вас так люблю. Положите опять сюда руку.

— Она все время здесь.

Я повернул ее к себе, так что мне видно было ее лицо, когда я целовал ее, и я увидел, что ее глаза закрыты. Я поцеловал ее закрытые глаза. Я решил, что она, должно быть, слегка помешанная. Но не все ли равно? Я не думал о том, чем это может кончиться. Это было лучше, чем каждый вечер ходить в офицерский публичный дом, где девицы виснут у вас на шее и в знак своего расположения, в промежутках между путешествиями наверх с другими офицерами, надевают ваше кепи задом наперед. Я знал, что не люблю Кэтрин Баркли, и не собирался ее любить. Это была игра, как бридж, только вместо карт были слова. Как в бридже, нужно было делать вид, что играешь на деньги или еще на что-нибудь. О том, на что шла игра, не было сказано ни слова. Но мне было все равно.

— Куда бы нам пойти,— сказал я. Как всякий мужчина, я не умел долго любезничать стоя.

— Некуда,— сказала она. Она вернулась на землю из того мира, где была.

— Посидим тут немножко.

Мы сели на плоскую каменную скамью, и я взял Кэтрин Баркли за руку. Она не позволила мне обнять ее.

— Вы очень устали? — спросила она.

— Нет.

Она смотрела вниз, на траву.

— Скверную игру мы с вами затеяли.

— Какую игру?

— Не прикидывайтесь дурачком.

— Я и не думаю.

— Вы славный,— сказала она,— и вы стараетесь играть как можно лучше. Но игра все-таки скверная.

— Вы всегда угадываете чужие мысли?

— Не всегда. Но ваши я знаю. Вам незачем притворяться, что вы меня любите. На сегодня с этим кончено. О чем бы вы хотели теперь поговорить?

— Но я вас в самом деле люблю.

— Знаете что, не будем лгать, когда в этом нет надобности. Вы очень мило провели свою роль, и теперь все в порядке. Я ведь не совсем сумасшедшая. На меня если и находит, то чуть-чуть и ненадолго.

Я сжал ее руку.

— Кэтрин, дорогая...

— Как смешно это звучит сейчас: «Кэтрин». Вы не всегда одинаково это произносите. Но вы очень славный. Вы очень добрый, очень.

— Это и наш священник говорит.

— Да, вы добрый. И вы будете навещать меня?

— Конечно.

— И вам незачем говорить, что вы меня любите. С этим пока что кончено.— Она встала и протянула мне руку.— Спокойной ночи.

Я хотел поцеловать ее.

— Нет,— сказала она.— Я страшно устала.

— А все-таки поцелуйте меня,— сказал я.

— Я страшно устала, милый.

— Поцелуйте меня.

— Вам очень хочется?

— Очень.

Мы поцеловались, но она вдруг вырвалась.

— Не надо. Спокойной ночи, милый.

Мы дошли до дверей, и я видел, как она переступила порог и пошла по вестибюлю. Мне нравилось следить за ее движениями. Она скрылась в коридоре. Я пошел домой. Ночь была душная, и наверху, в горах, не стихало ни на минуту. Видны были вспышки на Сан-Габриеле.

Перед «Вилла-Росса» я остановился. Ставни были закрыты, но внутри еще шумели. Кто-то пел. Я поднялся к себе. Ринальди вошел, когда я раздевался.

— Ага,— сказал он.— Дело не идет на лад. Бэби в смущении.

— Где вы были?

— На «Вилла-Росса». Очень пользительно для души, бэби. Мы пели хором. А вы где были?

— Заходил к англичанам.

— Слава богу, что я не спутался с англичанами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На следующий день, возвращаясь с первого горного поста, я остановил машину у smistimento [1], где раненые и больные распределялись по их документам и на документах делалась отметка о направлении в тот или иной госпиталь. Я сам вел ма-

[1] Эвакопункт *(итал.)*.

шину и остался сидеть у руля, а шофер понес документы для отметки. День был жаркий, и небо было очень синее и яркое, а дорога белая и пыльная. Я сидел на высоком сиденье фиата и ни о чем не думал. Мимо по дороге проходил полк, и я смотрел, как шагают ряды. Люди были разморены и потны. Некоторые были в стальных касках, но большинство несло их прицепленными к ранцам. Многим каски были слишком велики и почти накрывали уши. Офицеры все были в касках, но подобранных по размеру. Это была часть бригады Базиликата. Я узнал их полосатые, красные с белым, петлицы. Полк уже давно прошел, но мимо все еще тянулись отставшие,— те, кто не в силах был шагать в ногу со своим отделением. Они были измучены, все в поту и в пыли. Некоторые казались совсем больными. Когда последний отставший прошел, на дороге показался еще солдат. Он шел прихрамывая. Он остановился и сел у дороги. Я вылез и подошел к нему.

— Что с вами?

Он посмотрел на меня, потом встал.

— Я уже иду.

— А в чем дело?

— Все война, ну ее к...

— Что с вашей ногой?

— Не в ноге дело. У меня грыжа.

— Почему же вы идете пешком? — спросил я.— Почему вы не в госпитале?

— Не пускают. Лейтенант говорит, что я нарочно сбросил бандаж.

— Покажите мне.

— Она вышла.

— С какой стороны?

— Вот здесь.

Я ощупал его живот.

— Кашляните,— сказал я.

— Как бы от этого не стало хуже. Она уже и так вдвое больше, чем утром.

— Садитесь в машину,— сказал я.— Когда бумаги моих раненых будут готовы, я сам отвезу вас и сдам в вашу санитарную часть.

— Он скажет, что я нарочно.

— Тут они не смогут придраться,— сказал я.— Это не рана. У вас ведь это было и раньше?

— Но я потерял бандаж.

— Вас направят в госпиталь.

— А нельзя мне с вами остаться, tenente?

— Нет, у меня нет на вас документов.

В дверях показался шофер с документами раненых, которых мы везли.

— Четверых в сто пятый. Двоих в сто тридцать второй,— сказал он. Это были госпитали на другом берегу.

— Садитесь за руль,— сказал я.

Я помог солдату с грыжей взобраться на сиденье рядом с нами.

— Вы говорите по-английски? — спросил он.

— Да.

— Что вы скажете об этой проклятой войне?

— Скверная штука.

— Еще бы не скверная, черт дери. Еще бы не скверная.

— Вы бывали в Штатах?

— Бывал. В Питтсбурге. Я догадался, что вы американец.

— Разве я плохо говорю по-итальянски?

— Я сразу догадался, что вы американец.

— Еще один американец,— сказал шофер по-итальянски, взглянув на солдата с грыжей.

— Послушайте, лейтенант. Вы непременно должны меня доставить в полк?

— Да.

— Штука-то в том, что старший врач знает про мою грыжу. Я выбросил к черту бандаж, чтобы мне стало хуже и не пришлось опять идти на передовую.

— Понимаю.

— Может, вы отвезете меня куда-нибудь в другое место?

— Будь мы ближе к фронту, я мог бы сдать вас на первый медицинский пункт. Но здесь, в тылу, нельзя без документов.

— Если я вернусь, мне сделают операцию, а потом все время будут держать на передовой.

Я подумал.

— Хотели бы вы все время торчать на передовой? — спросил он.

— Нет.

— О, черт! — сказал он.— Что за мерзость эта война.

— Слушайте,— сказал я.— Выйдите из машины, упадите и набейте себе шишку на голове, а я на обратном пути захвачу вас и отвезу в госпиталь. Мы на минуту остановимся, Альдо.

Мы съехали на обочину и остановились. Я помог ему вылезть.

— Здесь вы меня и найдете, лейтенант,— сказал он.

— До свидания,— сказал я. Мы поехали дальше и обогнали полк приблизительно в миле пути, потом переправились через реку, мутную от талого снега и быстро бегущую между устоев моста, и дорогой, пересекающей равнину, добрались до госпиталей, где нужно было сдать раненых. На обратном пути я сам сидел у руля и быстро гнал пустую машину туда, где ждал солдат из Питтсбурга. Сначала мы миновали полк, еще более разморенный и двигавшийся еще медленнее; потом отставших. Потом мы увидели посреди дороги санитарную повозку. Двое санитаров поднимали солдата с грыжей. Они вернулись за ним. Увидя меня, он покачал головой. Его каска свалилась, и лоб, у самых волос, был окровавлен. На носу была содрана кожа, и на кровавую ссадину налипла пыль, и в волосах тоже была пыль.

— Посмотрите, какая шишка, лейтенант,— закричал он.— Но ничего не поделаешь. Они вернулись за мной.

Когда я вернулся на виллу, было пять часов, и я пошел туда, где мыли машины, принять душ. Потом я составлял рапорт, сидя в своей комнате у открытого окна, в брюках и нижней рубашке. Наступление было назначено на послезавтра, и я должен был выехать со своими машинами к Плаве. Уже давно я не писал в Штаты, и я знал, что нужно написать, но я столько времени откладывал это, что теперь писать было уже почти невозможно. Не о чем было писать. Я послал несколько открыток Zona di Guerra [1], вычеркнув из текста все, кроме «я жив и здоров». Так скорее дойдут. Эти открытки очень понравятся в Америке — необычные и таинственные. Необычной и таинственной была война в этой зоне, но мне она казалась хорошо обдуманной и жестокой по сравнению с другими войнами, которые велись против австрийцев. Австрийская армия была создана ради побед Наполеона — любого Наполеона. Хорошо, если бы и у нас был Наполеон, но у нас был только Il Generale Cadorna, жирный и благоденствующий, и Vittorio-Emmanuele, маленький человек с худой длинной шеей и козлиной бородкой. В правобережной армии был герцог Аоста. Пожалуй, он был слишком красив для великого полководца, но у него была внешность настоящего мужчины. Многие хотели бы, чтоб королем был он. У него была внешность короля. Он приходился королю дядей и командовал третьей армией. Мы были во второй армии. В третьей армии было несколько английских батарей. В Милане я познакомился с двумя английскими артиллеристами оттуда. Они были очень милые, и мы отлично провели вечер. Они были боль-

[1] Военная зона *(итал.)*.

шие и застенчивые, и все их смущало и в то же время очень им нравилось. Лучше бы мне служить в английской армии. Все было бы проще. Но я бы, наверно, погиб. Ну, в санитарном отряде едва ли. Нет, даже и в санитарном отряде. Случалось, и шоферы английских санитарных машин погибали. Но я знал, что не погибну. В эту войну нет. Она ко мне не имела никакого отношения. Для меня она казалась не более опасной, чем война в кино. Все-таки я от души желал, чтобы она кончилась. Может быть, этим летом будет конец. Может быть, австрийцев побьют. Их всегда били в прежних войнах. А что особенного в этой войне? Все говорят, что французы выдохлись. Ринальди рассказывал, что французские солдаты взбунтовались и войска пошли на Париж. Я спросил его, что же было дальше, и он сказал: «Ну, их остановили». Мне хотелось побывать в Австрии без всякой войны. Мне хотелось побывать в Шварцвальде. Мне хотелось побывать на Гарце. А где это Гарц, между прочим? Бои теперь шли в Карпатах. Туда мне не хотелось. Хотя, пожалуй, и это было бы недурно. Не будь войны, я мог бы поехать в Испанию. Солнце уже садилось, и день остывал. После ужина я пойду к Кэтрин Баркли. Мне хотелось, чтобы она сейчас была здесь со мной. Мне хотелось, чтобы мы вместе были в Милане. Хорошо бы поужинать в «Кова» и потом душным вечером пройти по Виа-Манцони, и перейти мост, и свернуть вдоль канала, и пойти в отель с Кэтрин Баркли. Может быть, она пошла бы. Может бы, она представила бы себе, будто я — тот офицер, которого убили на Сомме, и вот мы входим в главный подъезд и швейцар снимает фуражку и я останавливаюсь у конторки портье спросить ключ и она дожидается у лифта и потом мы входим в кабину лифта и он ползет вверх очень медленно позвякивая на каждом этаже а потом вот и наш этаж и мальчик-лифтер отворяет дверь и она выходит и я выхожу и мы идем по коридору и я ключом отпираю дверь и вхожу и потом снимаю телефонную трубку и прошу чтобы принесли бутылку капри бьянка в серебряном ведерке полном льда и слышно как лед звенит в ведерке все ближе по коридору и мальчик стучится и я говорю поставьте пожалуйста у двери. Потому что мы все с себя сбросили потому что так жарко и окно раскрыто и ласточки летают над крышами домов и когда уже совсем стемнеет и подойдешь к окну крошечные летучие мыши носятся над домами и над верхушками деревьев и мы пьем капри и дверь на запоре и так жарко и только простыня и целая ночь и мы всю ночь любим друг друга жаркой ночью в Милане. Вот так все должно быть. Я быстро поужинаю и пойду к Кэтрин Баркли.

За столом слишком много было разговоров, и я пил вино, потому что сегодня вечером мы не были бы братьями, если б я не выпил немного, и я разговаривал со священником об архиепископе Айрленде, по-видимому, очень достойном человеке, об его несправедливой судьбе, о несправедливостях по отношению к нему, в которых я, как американец, был отчасти повинен и о которых я понятия не имел, но делал вид, что мне все это отлично известно. Было бы невежливо ничего об этом не знать, выслушав такое блестящее объяснение сути всего дела, в конце концов, видимо, основанного на недоразумении. Я нашел, что у него очень красивое имя, и к тому же он был родом из Миннесоты, так что имя выходило действительно чудесное: Айрленд Миннесотский, Айрленд Висконсинский, Айрленд Мичиганский. Нет, не в том дело. Тут дело гораздо глубже. Да, отец мой. Верно, отец мой. Возможно, отец мой. Нет, отец мой. Что ж, может быть, и так, отец мой. Вам лучше знать, отец мой. Священник был хороший, но скучный. Офицеры были не хорошие, но скучные. Король был хороший, но скучный. Вино было плохое, но не скучное. Оно снимало с зубов эмаль и оставляло ее на небе.

— И священника посадили за решетку,— говорил Рокка,— потому что нашли при нем трехпроцентные бумаги. Это было во Франции, конечно. Здесь бы его никогда не арестовали. Он утверждал, что решительно ничего не знает о пятипроцентных. Случилось все это в Безье. Я как раз там был и, прочтя об этом в газетах, отправился в тюрьму и попросил, чтобы меня допустили к священнику. Было совершенно очевидно, что бумаги он украл.

— Не верю ни одному слову,— сказал Ринальди.

— Это как вам угодно,— сказал Рокка.— Но я рассказываю об этом для нашего священника. История очень поучительная. Он священник, он ее сумеет оценить.

Священник улыбнулся.

— Продолжайте,— сказал он.— Я слушаю.

— Конечно, часть бумаг так и не нашли, но все трехпроцентные оказались у священника, и еще облигации каких-то местных займов, не помню точно каких. Итак, я пришел в тюрьму,— вот тут-то и начинается самое интересное,— и стою у его камеры и говорю, будто перед исповедью: «Благословите меня, отец мой, ибо вы согрешили».

Все громко захохотали.

— И что же он ответил? — спросил священник.

Рокка не обратил на него внимания и принялся растолковывать мне смысл шутки:

— Понимаете, в чем тут соль?

По-видимому, это была очень остроумная шутка, если ее правильно понять. Мне подлили еще вина, и я рассказал анекдот об английском рядовом, которого поставили под душ. Потом майор рассказал анекдот об одиннадцати чехословаках и венгерском капрале. Выпив еще вина, я рассказал анекдот о жокее, который нашел пенни. Майор сказал, что есть забавный итальянский анекдот о герцогине, которой не спалось по ночам. Тут священник ушел, и я рассказал анекдот о коммивояжере, который приехал в Марсель в пять часов утра, когда дул мистраль. Майор сказал, что до него дошли слухи, что я умею пить. Я отрицал это. Он сказал, что это верно и что, Бахус свидетель, он проверит, так это или нет. Только не Бахус, сказал я. Не Бахус. Да, Бахус, сказал он. Я должен пить на выдержку с Басси Филиппо Винченца. Басси сказал нет, это несправедливо, потому что он уже выпил вдвое больше, чем я. Я сказал, что это гнусная ложь, Бахус или не Бахус, Филиппо Винченца Басси или Басси Филиппо Винченца ни капли не проглотил за весь вечер, и как его, собственно, зовут? Он спросил, а как меня зовут — Энрико Федерико или Федерико Энрико? Я сказал, Бахуса к черту, а кто крепче, тот и победит, и майор дал нам старт кружками красного вина. Выпив половину кружки, я не захотел продолжать. Я вспомнил, куда иду.

— Басси победил,— сказал я.— Он крепче. Мне пора идти.

— Верно, ему пора,— сказал Ринальди.— У него свидание. Уж я знаю.

— Мне пора идти.

— До другого раза,— сказал Басси.— До другого раза, когда у вас сил будет больше.

Он хлопнул меня по плечу. На столе горели свечи. Все офицеры были очень веселы.

— Спокойной ночи, господа,— сказал я.

Ринальди вышел вместе со мной. Мы остановились у подъезда, и он сказал:

— Вы бы лучше не ходили туда пьяным.

— Я не пьян, Ринин. Честное слово.

— Вы бы хоть пожевали кофейных зерен.

— Ерунда.

— Я вам сейчас принесу, бэби. Пока погуляйте здесь.— Он вернулся с пригоршней жареных кофейных зерен.— Пожуйте, бэби, и да хранит вас бог.

— Бахус,— сказал я.

— Я провожу вас.

— Да я в полном порядке.

Мы шли вдвоем по городу, и я жевал кофейные зерна. У въезда в аллею, которая вела к вилле англичан, Ринальди пожелал мне спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— сказал я.— Почему бы и вам не зайти?

Он покачал головой.

— Нет,— сказал он.— Я предпочитаю более простые удовольствия.

— Спасибо за кофейные зерна.

— Не стоит, бэби. Не стоит.

Я пошел по аллее. Очертания кипарисов по сторонам были четкие и ясные. Я оглянулся и увидел, что Ринальди стоит и смотрит мне вслед, и я помахал ему рукой.

Я сидел в приемной виллы, ожидая Кэтрин Баркли. Кто-то вошел в вестибюль. Я встал, но это была не Кэтрин. Это была мисс Фергюсон.

— Хэлло,— сказала она.— Кэтрин просила меня передать вам, что, к сожалению, она сегодня не может с вами увидеться.

— Как жаль. Она не больна, надеюсь?

— Она не совсем здорова.

— Скажите ей, пожалуйста, что я очень огорчен.

— Скажу.

— А может быть, мне зайти завтра утром?

— Зайдите.

— Очень вам благодарен,— сказал я.— Покойной ночи.

Я вышел из приемной, и мне вдруг стало тоскливо и неуютно. Я очень небрежно относился к свиданию с Кэтрин, я напился и едва не забыл прийти, но когда оказалось, что я ее не увижу, мне стало тоскливо и я почувствовал себя одиноким.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На другой день мы узнали, что ночью в верховьях реки будет атака и мы должны выехать туда с четырьмя машинами. Никто ничего не знал толком, хотя все говорили с большим апломбом, выказывая свои стратегические познания. Я сидел в первой машине, и когда мы проезжали мимо ворот английского госпиталя, я велел шоферу остановиться. Остальные машины затормозили. Я вышел и велел шоферам ехать дальше и ждать

нас на перекрестке у Кормонской дороги, если мы их не нагоним раньше. Я торопливым шагом прошел по аллее и, войдя в приемную, попросил вызвать мисс Баркли.

— Она на дежурстве.

— Нельзя ли мне повидать ее на одну минуту?

Послали санитара узнать, и он вернулся с ней вместе.

— Я зашел узнать о вашем здоровье. Мне сказали, что вы на дежурстве, и я попросил вас вызвать.

— Я вполне здорова,— сказала она.— Вероятно, это от жары меня вчера разморило.

— Мне надо идти.

— Я на минутку выйду с вами.

— Вы себя совсем хорошо чувствуете? — спросил я, когда мы вышли.

— Да, милый. Вы сегодня придете?

— Нет. Я сейчас еду — сегодня потеха на Плаве.

— Потеха?

— Едва ли будет что-нибудь серьезное.

— А когда вы вернетесь?

— Завтра.

Она что-то расстегнула и сняла с шеи. Она вложила это мне в руку.

— Это святой Антоний,— сказала она.— А завтра вечером приходите.

— Разве вы католичка?

— Нет. Но святой Антоний, говорят, очень помогает.

— Буду беречь его ради вас. Прощайте.

— Нет,— сказала она.— Не прощайте.

— Слушаюсь.

— Будьте умницей и берегите себя. Нет, здесь нельзя целоваться. Нельзя.

— Слушаюсь.

Я оглянулся и увидел, что она стоит на ступенях. Она помахала мне рукой, и я послал ей воздушный поцелуй. Она еще помахала рукой, и потом аллея кончилась, и я уже усаживался в машину, и мы тронулись. Святой Антоний был в маленьком медальоне из белого металла. Я открыл медальон и вытряхнул его на ладонь.

— Святой Антоний? — спросил шофер.

— Да.

— У меня тоже есть.— Его правая рука отпустила руль, отстегнула пуговицу и вытащила из-под рубашки такой же медальон.— Видите?

Я положил святого Антония обратно в медальон, собрал в комок тоненькую золотую цепочку и все вместе спрятал в боковой карман.

— Вы его не наденете на шею?

— Нет.

— Лучше надеть. А иначе зачем он?

— Хорошо,— сказал я. Я расстегнул замок золотой цепочки, надел ее на шею и снова застегнул замок. Святой повис на моем форменном френче, и я раскрыл ворот, отстегнул воротник рубашки и опустил святого Антония под рубашку. Сидя в машине, я чувствовал на груди его металлический футляр. Скоро я позабыл о нем. После своего ранения я его больше не видел. Вероятно, его снял кто-нибудь на перевязочном пункте.

Переправившись через мост, мы поехали быстрее, и скоро впереди на дороге мы увидели пыль от остальных машин. Дорога сделала петлю, и мы увидели все три машины; они казались совсем маленькими, пыль вставала из-под колес и уходила за деревья. Мы поравнялись с ними, обогнали их и свернули на другую дорогу, которая шла в гору. Ехать в колонне совсем не плохо, если находишься в головной машине, и я уселся поудобнее и стал смотреть по сторонам. Мы ехали по предгорью со стороны реки, и когда дорога забралась выше, на севере показались высокие горы, на которых уже лежал снег. Я оглянулся и увидел, как остальные три машины поднимаются в гору, отделенные друг от друга облаками пыли. Мы миновали длинный караван навьюченных мулов; рядом с мулами шли погонщики в красных фесках. Это были берсальеры.

После каравана мулов нам уже больше ничего не попадалось навстречу, и мы взбирались с холма на холм и потом длинным отлогим склоном спустились в речную долину. Здесь дорога была обсажена деревьями, и за правой шпалерой деревьев я увидел реку, неглубокую, прозрачную и быструю. Река обмелела и текла узкими протоками среди полос песка и гальки, а иногда, как сияние, разливалась по устланному галькой дну. У самого берега я видел глубокие ямы, вода в них была голубая, как небо. Я видел каменные мостики, дугой перекинутые через реку, к которым вели тропинки, ответвлявшиеся от дороги, и каменные крестьянские дома с канделябрами грушевых деревьев вдоль южной стены, и низкие каменные ограды в полях. Дорога долго шла по долине, а потом мы свернули и снова стали подниматься в гору. Дорога круто поднималась вверх, вилась и кружила в каштановой роще и наконец пошла вдоль кряжа горы. В просветах между деревьями видна была доли-

на, и там, далеко внизу, блестела на солнце извилина реки, разделявшей две армии. Мы поехали по новой каменистой военной дороге, проложенной по самому гребню кряжа, и я смотрел на север, где тянулись две цепи гор, зеленые и темные до линии вечных снегов, а выше белые и яркие в лучах солнца. Потом, когда опять начался подъем, я увидел третью цепь гор, высокие снеговые горы, белые, как мел, и изрезанные причудливыми складками, а за ними вдалеке вставали еще горы, и нельзя было сказать, видишь ли их или это только кажется. Это все были австрийские горы, а у нас таких не было. Впереди был закругленный поворот направо, и в просвет между деревьями я увидел, как дорога дальше круто спускается вниз. По этой дороге двигались войска, и грузовики, и мулы с горными орудиями, и, когда мы ехали по ней вниз, держась у самого края, мне была видна река далеко внизу, шпалы и рельсы, бегущие рядом, старый железнодорожный мост, а за рекой, у подножья горы, разрушенные дома городка, который мы должны были взять.

Уже почти стемнело, когда мы спустились вниз и выехали на главную дорогу, проложенную вдоль берега реки.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дорога была запружена транспортом и людьми; по обе стороны ее тянулись щиты из рогожи и соломенных циновок, и циновки перекрывали ее сверху, делая похожей на вход в цирк или селение дикарей. Мы медленно продвигались по этому соломенному туннелю и наконец выехали на голое, расчищенное место, где прежде была железнодорожная станция. Дальше дорога была прорыта в береговой насыпи, и по всей длине ее в насыпи были сделаны укрытия, и в них засела пехота. Солнце садилось, и, глядя поверх насыпи, я видел австрийские наблюдательные аэростаты, темневшие на закатном небе над горами по ту сторону реки. Мы поставили машины за развалинами кирпичного завода. В обжигательных печах и нескольких глубоких ямах оборудованы были перевязочные пункты. Среди врачей было трое моих знакомых. Главный врач сказал мне, что, когда начнется и наши машины примут раненых, мы повезем их замаскированной дорогой вдоль берега и потом вверх, к перевалу, где расположен пост и где раненых будут ждать другие машины. Только бы на дороге не образовалась пробка, сказал он. Другого пути не было. Дорогу за-

маскировали, потому что она просматривалась с австрийского берега. Здесь, на кирпичном заводе, береговая насыпь защищала нас от ружейного и пулеметного огня. Через реку вел только один полуразрушенный мост. Когда начнется артиллерийский обстрел, наведут еще один мост, а часть войск переправится вброд у изгиба реки, где мелко. Главный врач был низенький человек с подкрученными кверху усами. Он был в чине майора, участвовал в ливийской войне и имел две нашивки за ранения. Он сказал, что, если все пройдет хорошо, он представит меня к награде. Я сказал, что, надеюсь, все пройдет хорошо, и поблагодарил его за доброту. Я спросил, есть ли здесь большой блиндаж, где могли бы поместиться шоферы. и он вызвал солдата проводить меня. Я пошел за солдатом, и мы очень быстро дошли до блиндажа, который оказался очень удобным. Шоферы были довольны, и я оставил их там. Главный врач пригласил меня выпить с ним и еще с двумя офицерами. Мы выпили рому, и я почувствовал себя среди друзей. Становилось темно. Я спросил, в котором часу начнется атака, и мне сказали, что как только совсем стемнеет. Я вернулся к шоферам. Они сидели в блиндаже и разговаривали, и когда я вошел, они замолчали. Я дал им по пачке сигарет «Македония», слабо набитых сигарет, из которых сыпался табак, и нужно было закрутить конец, прежде чем закуривать. Маньера чиркнул зажигалкой и дал всем закурить. Зажигалка была сделана в виде радиатора фиата. Я рассказал им все, что узнал.

— Почему мы не видели поста, когда сюда ехали? — спросил Пассини.

— Он как раз за поворотом, где мы свернули.

— Да, весело будет ехать по этой дороге,— сказал Маньера.

— Дадут нам жизни австрийцы, так их и так.

— Уж будьте покойны.

— А как насчет того, чтобы поесть, лейтенант? Когда начнется, нечего будет и думать об еде.

— Сейчас пойду узнаю,— сказал я.

— Нам тут сидеть или можно выйти наружу?

— Лучше сидите тут.

Я отправился к главному врачу, и он сказал, что походная кухня сейчас прибудет и шоферы могут прийти за похлебкой. Котелки он им даст, если у них своих нет. Я сказал, что, кажется, у них есть свои. Я вернулся назад и сказал шоферам, что приду за ними, как только привезут еду. Маньера сказал, что хорошо бы ее привезли, прежде чем начнется обстрел. Они

молчали, пока я не ушел. Они все четверо были механики и ненавидели войну.

Я пошел проведать машины и посмотреть, что делается кругом, а затем вернулся в блиндаж к шоферам. Мы все сидели на земле, прислонившись к стенке, и курили. Снаружи было уже почти темно. Земля в блиндаже была теплая и сухая, и я прислонился к стенке плечами и расслабил все мышцы тела.

— Кто идет в атаку? — спросил Гавуцци.

— Берсальеры.

— Одни берсальеры?

— Кажется, да.

— Для настоящей атаки здесь слишком мало войск.

— Вероятно, это просто диверсия, а настоящая атака будет не здесь.

— А солдаты, которые идут в атаку, это знают?

— Не думаю.

— Конечно, не знают,— сказал Маньера.— Знали бы, так не пошли бы.

— Еще как пошли бы,— сказал Пассини.— Берсальеры дураки.

— Они храбрые солдаты и соблюдают дисциплину,— сказал я.

— Они здоровые парни, и у них у всех грудь широченная. Но все равно они дураки.

— Вот гренадеры молодцы,— сказал Маньера. Это была шутка. Все четверо захохотали.

— Это при вас было, tenente, когда они отказались идти, а потом каждого десятого расстреляли?

— Нет.

— Было такое дело. Их выстроили и отсчитали каждого десятого. Карабинеры их расстреливали.

— Карабинеры,— сказал Пассини и сплюнул на землю.— Но гренадеры-то: шести футов росту. И отказались идти.

— Вот отказались бы все, и война бы кончилась,— сказал Маньера.

— Ну, гренадеры вовсе об этом не думали. Просто струсили. Офицеры-то все были из знати.

— А некоторые офицеры одни пошли.

— Двоих офицеров застрелил сержант за то, что они не хотели идти.

— Некоторые рядовые тоже пошли.

— Которые пошли, тех и не выстраивали, когда брали десятого.

— Одного моего земляка там расстреляли,— сказал Пассини.— Большой такой, красивый парень, высокий, как раз для гренадера. Вечно в Риме. Вечно с девочками. Вечно с карабинерами.— Он засмеялся.— Теперь у его дома поставили часового со штыком, и никто не смеет навещать его мать, и отца, и сестер, а его отца лишили всех гражданских прав, и даже голосовать он не может. И закон их больше не защищает. Всякий приходи и бери у них что хочешь.

— Если б не страх, что семье грозит такое, никто бы не пошел в атаку.

— Ну да. Альпийские стрелки пошли бы. Полк Виктора-Эммануила пошел бы. Пожалуй, и берсальеры тоже.

— А ведь и берсальеры удирали. Теперь они стараются забыть об этом.

— Вы напрасно позволяете нам вести такие разговоры, tenente. Evviva l'esercito! [1] — ехидно заметил Пассини.

— Я эти разговоры уже слышал,— сказал я.— Но покуда вы сидите за рулем и делаете свое дело...

— ...и говорите достаточно тихо, чтобы не могли услышать другие офицеры,— закончил Маньера.

— Я считаю, что мы должны довести войну до конца,— сказал я.— Война не кончится, если одна сторона перестанет драться. Будет только хуже, если мы перестанем драться.

— Хуже быть не может,— почтительно сказал Пассини.—

— Нет ничего хуже войны.

— Поражение еще хуже.

— Вряд ли,— сказал Пассини по-прежнему почтительно.— Что такое поражение? Ну, вернемся домой.

— Враг пойдет за вами. Возьмет ваш дом. Возьмет ваших сестер.

— Едва ли,— сказал Пассини.— Так уж за каждым и пойдет. Пусть каждый защищает свой дом. Пусть не выпускает сестер за дверь.

— Вас повесят. Вас возьмут и отправят опять воевать. И не в санитарный транспорт, а в пехоту.

— Так уж каждого и повесят.

— Не может чужое государство заставить за себя воевать,— сказал Маньера.— В первом же сражении все разбегутся.

— Как чехи.

— Вы просто не знаете, что значит быть побежденным, вот вам и кажется, что это не так уж плохо.

---

[1] Да здравствует армия! *(итал.)*

— Tenente,— сказал Пассини,— вы как будто разрешили нам говорить. Так вот, слушайте. Страшнее войны ничего нет. Мы тут в санитарных частях даже не можем понять, какая это страшная штука — война. А те, кто поймет, как это страшно, те уже не могут помешать этому, потому что сходят с ума. Есть люди, которым никогда не понять. Есть люди, которые боятся своих офицеров. Вот такими и делают войну.

— Я знаю, что война — страшная вещь, но мы должны довести ее до конца.

— Конца нет. Война не имеет конца.

— Нет, конец есть.

Пассини покачал головой.

— Войну не выигрывают победами. Ну, возьмем мы Сан-Габриеле. Ну, возьмем Карсо, и Монфальконе, и Триест. А потом что? Видели вы сегодня все те дальние горы? Что же, вы думаете, мы можем их все взять? Только если австрийцы перестанут драться. Одна сторона должна перестать драться. Почему не перестать драться нам? Если они доберутся до Италии, они устанут и уйдут обратно. У них есть своя родина. Так нет же, непременно нужно воевать.

— Вы настоящий оратор.

— Мы думаем. Мы читаем. Мы не крестьяне. Мы механики. Но даже крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну. Все ненавидят эту войну.

— Страной правит класс, который глуп и ничего не понимает и не поймет никогда. Вот почему мы воюем.

— Эти люди еще наживаются на войне.

— Многие даже и не наживаются,— сказал Пассини.— Они слишком глупы. Они делают это просто так. Из глупости.

— Ну, хватит,— сказал Маньера.— Мы слишком разболтались, даже для tenente.

— Ему это нравится,— сказал Пассини.— Мы его обратим в свою веру.

— Но пока хватит,— сказал Маньера.

— Что ж, дадут нам поесть, tenente? — спросил Гавуцци.

— Сейчас я узнаю,— сказал я.

Гордини встал и вышел вместе со мной.

— Может, что-нибудь нужно сделать, tenente? Я вам ничем не могу помочь? — Он был самый тихий из всех четырех.

— Если хотите, идемте со мной,— сказал я,— узнаем, как там.

Было уже совсем темно, и длинные лучи прожекторов сновали над горами. На нашем фронте в ходу были огромные

прожекторы, установленные на грузовиках, и порой, проезжая ночью близ самых позиций, можно было увидеть такой грузовик, остановившийся в стороне от дороги, офицера, направляющего свет, и перепуганную команду. Мы прошли заводским двором и остановились у главного перевязочного пункта. Снаружи над входом был небольшой навес из зеленых ветвей, и ночной ветер шуршал в темноте высохшими на солнце листьями. Внутри был свет. Главный врач, сидя на ящике, говорил по телефону. Один из врачей сказал мне, что атака на час отложена. Он предложил мне коньяку. Я оглядел длинные столы, инструменты, сверкающие при свете, тазы и бутыли с притертыми пробками. Гордини стоял за моей спиной. Главный врач отошел от телефона.

— Сейчас начинается,— сказал он.— Решили не откладывать.

Я выглянул наружу, было темно, и лучи австрийских прожекторов сновали над горами позади нас. С минуту было тихо, потом все орудия позади нас открыли огонь.

— Савойя,— сказал главный врач.

— А где обед? — спросил я. Он не слышал. Я повторил.

— Еще не подвезли.

Большой снаряд пролетел и разорвался на заводском дворе. Еще один разорвался, и в шуме разрыва можно было расслышать более дробный шум от осколков кирпича и комьев грязи, дождем сыпавшихся вниз.

— Что-нибудь найдется перекусить?

— Есть немного pasta asciutta [1],— сказал главный врач.

— Давайте что есть.

Главный врач сказал что-то санитару, тот скрылся в глубине помещения и вынес оттуда металлический таз с холодными макаронами. Я передал его Гордини.

— Нет ли сыра?

Главный врач ворчливо сказал еще что-то санитару, тот снова нырнул вглубь и принес четверть круга белого сыра.

— Спасибо,— сказал я.

— Я вам не советую сейчас идти.

Что-то поставили на землю у входа снаружи. Один из санитаров, которые принесли это, заглянул внутрь.

— Давайте его сюда,— сказал главный врач.— Ну, в чем дело? Прикажете нам самим выйти и взять его?

---

[1] Блюдо из макарон *(итал.)*.

Санитары подхватили раненого под руки и за ноги и внесли в помещение.

— Разрежьте рукав,— сказал главный врач.

Он держал пинцет с куском марли. Остальные два врача сняли шинели.

— Ступайте,— сказал главный врач санитарам.

— Идемте, tenente,— сказал Гордини.

— Подождите лучше, пока огонь прекратится,— не оборачиваясь, сказал главный врач.

— Люди голодны,— сказал я.

— Ну, как вам угодно.

Выйдя на заводской двор, мы пустились бежать. У самого берега разорвался снаряд. Другого мы не слышали, пока вдруг не ударило возле нас. Мы оба плашмя бросились на землю и в шуме и грохоте разрыва услышали жужжание осколков и стук падающих кирпичей. Гордини поднялся на ноги и побежал к блиндажу. Я бежал за ним, держа в руках сыр, весь в кирпичной пыли, облепившей его гладкую поверхность. В блиндаже три шофера по-прежнему сидели у стены и курили.

— Ну, вот вам, патриоты,— сказал я.

— Как там машины? — спросил Маньера.

— В порядке,— сказал я.

— Напугались, tenente?

— Есть грех,— сказал я.

Я вынул свой ножик, открыл его, вытер лезвие и соскоблил верхний слой сыра. Гавуцци протянул мне таз с макаронами.

— Начинайте вы.

— Нет,— сказал я.— Поставьте на пол. Будем есть все вместе.

— Вилок нет.

— Ну и черт с ними,— сказал я по-английски.

Я разрезал сыр на куски и разложил на макаронах.

— Прошу,— сказал я.

Они придвинулись и ждали. Я погрузил пальцы в макароны и стал тащить. Потянулась клейкая масса.

— Повыше поднимайте, tenente.

Я поднял руку до уровня плеча, и макароны отстали. Я опустил их в рот, втянул и поймал губами концы, прожевал, потом взял кусочек сыру, прожевал и запил глотком вина. Вино отдавало ржавым металлом. Я передал флягу Пассини.

— Дрянь,— сказал я.— Слишком долго оставалось во фляге. Я вез ее с собой в машине.

Все четверо ели, наклоняя подбородки к самому тазу, откидывая назад головы, всасывая концы. Я еще раз набрал полный рот, и откусил сыру, и отпил вина. Снаружи что-то бухнуло, и земля затряслась.

— Четырехсотдвадцатимиллиметровое или миномет,— сказал Гавуцци.

— В горах такого калибра не бывает,— сказал я.

— У них есть орудия Шкода. Я видел воронки.

— Трехсотпятимиллиметровые.

Мы продолжали есть. Послышался кашель, шипение, как при пуске паровоза, и потом взрыв, от которого опять затряслась земля.

— Блиндаж не очень глубокий,— сказал Пассини.

— А вот это, должно быть, миномет.

— Точно.

Я надкусил свой ломоть сыру и глотнул вина. Среди продолжавшегося шума я уловил кашель, потом послышалось: чух-чух-чух-чух, потом что-то сверкнуло, точно настежь распахнули летку домны, и рев, сначала белый, потом все краснее, краснее, краснее в стремительном вихре. Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что вырвался из самого себя и лечу, и лечу, и лечу, подхваченный вихрем. Я вылетел быстро, весь как есть, и я знал, что я мертв и что напрасно думают, будто умираешь, и все. Потом я поплыл по воздуху, но, вместо того чтобы подвигаться вперед, скользил назад. Я вздохнул и понял, что вернулся в себя. Земля была разворочена, и у самой моей головы лежала расщепленная деревянная балка. Голова моя тряслась, и я вдруг услышал чей-то плач. Потом словно кто-то вскрикнул. Я хотел шевельнуться, но я не мог шевельнуться. Я слышал пулеметную и ружейную стрельбу за рекой и по всей реке. Раздался громкий всплеск, и я увидел, как взвились осветительные снаряды, и разорвались, и залили все белым светом, и как взлетели ракеты, и услышал взрывы мин, и все это в одно мгновение, и потом я услышал, как совсем рядом кто-то сказал: «Mamma mia! [1] O mamma mia!» Я стал вытягиваться и извиваться и наконец высвободил ноги и перевернулся и дотронулся до него. Это был Пассини, и, когда я дотронулся до него, он вскрикнул. Он лежал ногами ко мне, и в коротких вспышках света мне было видно, что обе ноги у него раздроблены выше колен. Одну оторвало совсем, а другая висела на сухожилии и лохмотьях штанины, и обрубок

[1] Мама моя! *(итал.)*

корчился и дергался, словно сам по себе. Он закусил свою руку и стонал: «O mamma mia, mamma mia!» — и потом: «Dio te salve, Maria [1]. Dio te salve, Maria. О Иисус, дай мне умереть! Христос, дай мне умереть, mamma mia, mamma mia! Пречистая дева Мария, дай мне умереть. Не могу я. Не могу. Не могу. О Иисус, пречистая дева, не могу я. О-о-о-о!» Потом, задыхаясь: «Mamma, mamma mia!» Потом он затих, кусая свою руку, а обрубок все дергался.

— Portaferiti! [2] — закричал я, сложив руки воронкой.— Portaferiti! — Я хотел подползти к Пассини, чтобы наложить ему на ноги турникет, но я не мог сдвинуться с места. Я попытался еще раз, и мои ноги сдвинулись немного. Теперь я мог подтягиваться на локтях. Пассини не было слышно. Я сел рядом с ним, расстегнул свой френч и попытался оторвать подол рубашки. Ткань не поддавалась, и я надорвал край зубами. Тут я вспомнил об его обмотках. На мне были шерстяные носки, но Пассини ходил в обмотках. Все шоферы ходили в обмотках. Но у Пассини оставалась только одна нога. Я отыскал конец обмотки, но, разматывая, я увидел, что не стоит накладывать турникет, потому что он уже мертв. Я проверил и убедился, что он мертв. Нужно было выяснить, что с остальными тремя. Я сел, и в это время что-то качнулось у меня в голове, точно гирька от глаз куклы, и ударило меня изнутри по глазам. Ногам стало тепло и мокро, и башмаки стали теплые и мокрые внутри. Я понял, что ранен, и наклонился и положил руку на колено. Колена не было. Моя рука скользнула дальше, и колено было там, вывернутое на сторону. Я вытер руку о рубашку, и откуда-то снова стал медленно разливаться белый свет, и я посмотрел на свою ногу, и мне стало очень страшно. «Господи,— сказал я,— вызволи меня отсюда!» Но я знал, что должны быть еще трое. Шоферов было четверо. Пассини убит. Остаются трое. Кто-то подхватил меня под мышки, и еще кто-то стал поднимать мои ноги.

— Должны быть еще трое,— сказал я.— Один убит.

— Это я, Маньера. Мы ходили за носилками, но не нашли. Как вы, tenente?

— Где Гордини и Гавуцци?

— Гордини на пункте, ему делают перевязку. Гавуцци держит ваши ноги. Возьмите меня за шею, tenente. Вы тяжело ранены?

---

[1] Спаси тебя бог, Мария *(итал.)*.

[2] Носилки! *(итал.)*

— В ногу. А что с Гордини?

— Отделался пустяками. Это была мина. Снаряд из миномета.

— Пассини убит.

— Да. Убит.

Рядом разорвался снаряд, и они оба бросились на землю и уронили меня.

— Простите, tenente,— сказал Маньера.— Держитесь за мою шею.

— Вы меня опять уроните.

— Это с перепугу.

— Вы не ранены?

— Ранены оба, но легко.

— Гордини сможет вести машину?

— Едва ли.

Пока мы добрались до пункта, они уронили меня еще раз.

— Сволочи! — сказал я.

— Простите, tenente,— сказал Маньера.— Больше не будем.

В темноте у перевязочного пункта лежало на земле много раненых. Санитары входили и выходили с носилками. Когда они, проходя, приподнимали занавеску, мне виден был свет, горевший внутри. Мертвые были сложены в стороне. Врачи работали, до плеч засучив рукава, и были красны, как мясники. Носилок не хватало. Некоторые из раненых стонали, но большинство лежало тихо. Ветер шевелил листья в ветвях навеса над входом, и ночь становилась холодной. Все время подходили санитары, ставили носилки на землю, освобождали их и снова уходили. Как только мы добрались до пункта, Маньера привел фельдшера, и он наложил мне повязку на обе ноги. Он сказал, что потеря крови незначительна благодаря тому, что столько грязи набилось в рану. Как только можно будет, меня возьмут на операцию. Он вернулся в помещение пункта. Гордини вести машину не может, сказал Маньера. У него раздроблено плечо и разбита голова. Сгоряча он не почувствовал боли, но теперь плечо у него онемело. Он там сидит у кирпичной стены. Маньера и Гавуцци погрузили в свои машины раненых и уехали. Им ранение не мешало. Пришли три английских машины с двумя санитарами на каждой. Ко мне подошел один из английских шоферов, его привел Гордини, который был очень бледен и совсем плох на вид. Шофер наклонился ко мне.

— Вы тяжело ранены? — спросил он. Это был человек высокого роста, в стальных очках.

— Обе ноги.

— Надеюсь, не серьезно. Хотите сигарету?

— Спасибо.

— Я слыхал, вы потеряли двух шоферов?

— Да. Один убит, другой — тот, что вас привел.

— Скверное дело. Может быть, нам взять их машины?

— Я как раз хотел просить вас об этом.

— Они у нас будут в порядке, а потом мы их вам вернем. Вы ведь из двести шестого?

— Да.

— Славное у вас там местечко. Я вас видел в городе. Мне сказали, что вы американец.

— Да.

— А я англичанин.

— Неужели?

— Да, англичанин. А вы думали — итальянец? У нас в одном отряде есть итальянцы.

— Очень хорошо, если вы возьмете наши машины,— сказал я.

— Мы вам возвратим их в полном порядке.— Он выпрямился.— Ваш шофер очень просил меня с вами сговориться.— Он похлопал Гордини по плечу. Гордини вздрогнул и улыбнулся. Англичанин легко и бегло заговорил по-итальянски:

— Ну, все улажено. Я сговорился с твоим tenente. Мы берем обе ваши машины. Теперь тебе не о чем тревожиться.— Он прервал себя.— Надо еще как-нибудь устроить, чтобы вас вытащили отсюда. Я сейчас поговорю с врачами. Мы возьмем вас с собой, когда поедем.

Он направился ко входу, осторожно ступая между ранеными. Я увидел, как приподнялось одеяло, которым занавешен был вход, стал виден свет, и он вошел туда.

— Он позаботится о вас, tenente,— сказал Гордини.

— Как вы себя чувствуете, Франко?

— Ничего.

Он сел рядом со мной. В это время одеяло, которым занавешен был вход на пункт, приподнялось, и оттуда вышли два санитара и с ними высокий англичанин. Он подвел их ко мне.

— Вот американский tenente,— сказал он по-итальянски.

— Я могу подождать,— сказал я.— Тут есть гораздо более тяжело раненные. Мне не так уж плохо.

— Ну, ну, ладно,— сказал он,— нечего разыгрывать героя.— Затем по-итальянски: — Поднимайте осторожно, особенно ноги. Ему очень больно. Это законный сын президента Вильсона.

Они подняли меня и внесли в помещение пункта. На всех столах оперировали. Маленький главный врач свирепо оглянулся на нас. Он узнал меня и помахал мне щипцами.

— Ça va bien? [1]

— Ça va [2].

— Это я его принес,— сказал высокий англичанин по-итальянски.— Единственный сын американского посла. Он полежит тут, пока вы сможете им запяться. А потом я первым же рейсом отвезу его.— Он наклонился ко мне.— Я посмотрю, чтобы вам выправили документы, тогда дело пойдет быстрее.— Он нагнулся, чтобы пройти в дверь, и вышел. Главный врач разнял щипцы и бросил их в таз. Я следил за его движениями. Теперь он накладывал повязку. Потом санитары сняли раненого со стола.

— Давайте мне американского tenente,— сказал один из врачей.

Меня подняли и положили на стол. Он был твердый и скользкий. Кругом было много крепких запахов, запахи лекарств и сладкий запах крови. С меня сняли брюки, и врач стал диктовать фельдшеру-ассистенту, продолжая работать:

— Множественные поверхностные ранения левого и правого бедра, левого и правого колена, правой ступни. Глубокие ранения правого колена и ступни. Рваные раны на голове (он вставил зонд: «Больно?» — «О-о-о, черт! Да!») с возможной трещиной черепной кости. Ранен на боевом посту.— Так вас, по крайней мере, не предадут военно-полевому суду за умышленное членовредительство,— сказал он.— Хотите глоток коньяку? Как это вас вообще угораздило? Захотелось покончить жизнь самоубийством? Дайте мне противостолбнячную сыворотку и пометьте на карточке крестом обе ноги. Так, спасибо. Сейчас я немножко вычищу, промою и сделаю вам перевязку. У вас прекрасно свертывается кровь.

Ассистент, поднимая глаза от карточки:

— Чем нанесены ранения?

Врач:

— Чем это вас?

Я, с закрытыми глазами:

— Миной.

Врач, делая что-то, причиняющее острую боль, и разрезая ткани:

---

[1] Ну как, ничего? *(франц.)*

[2] Ничего *(франц.)*.

— Вы уверены?

Я, стараясь лежать спокойно и чувствуя, как в животе у меня вздрагивает, когда скальпель врезается в тело:

— Кажется, так.

Врач, обнаружив что-то, заинтересовавшее его:

— Осколки неприятельской мины. Если хотите, я еще пройду зондом с этой стороны, но в этом нет надобности. Теперь я здесь смажу и... Что, жжет? Ну, это пустяки в сравнении с тем, что будет после. Боль еще не началась. Принесите ему стопку коньяку. Шок притупляет ощущение боли. Но все равно опасаться нам нечего, если только не будет заражения, а это теперь случается редко. Как ваша голова?

— О, господи! — сказал я.

— Тогда лучше не пейте много коньяку. Если есть трещина, может начаться воспаление, а это ни к чему. Что, вот здесь — больно?

Меня бросило в пот.

— О, господи! — сказал я.

— По-видимому, все-таки есть трещина. Я сейчас забинтую, а вы не вертите головой.

Он начал перевязывать. Руки его двигались очень быстро, и перевязка выходила тугая и крепкая.

— Ну вот, счастливый путь, и Vive la France! [1]

— Он американец,— сказал другой врач.

— А мне показалось, вы сказали: француз. Он говорит по-французски,— сказал врач.— Я его знал раньше. Я всегда думал, что он француз.— Он выпил полстопки коньяку.— Ну, давайте что-нибудь посерьезнее. И приготовьте еще противостолбнячной сыворотки.— Он помахал мне рукой. Меня подняли и понесли; одеяло, служившее занавеской, мазнуло меня по лицу. Фельдшер-ассистент стал возле меня на колени, когда меня уложили.

— Фамилия? — спросил он вполголоса.— Имя? Возраст? Чин? Место рождения? Какой части? Какого корпуса? — И так далее.— Неприятно, что у вас и голова задета, tenente. Но сейчас вам, вероятно, уже лучше. Я вас отправлю с английской санитарной машиной.

— Мне хорошо,— сказал я.— Очень вам благодарен.

Боль, о которой говорил врач, уже началась, и все происходящее вокруг потеряло смысл и значение. Немного погодя подъехала английская машина, меня положили на носилки, потом

---

[1] Да здравствует Франция! *(франц.)*

носилки подняли на уровень кузова и вдвинули внутрь. Рядом были еще носилки, и на них лежал человек, все лицо которого было забинтовано, только нос, совсем восковой, торчал из бинтов. Он тяжело дышал. Еще двое носилок подняли и просунули в ременные лямки наверху. Высокий шофер-англичанин подошел и заглянул в дверцу.

— Я поеду потихоньку,— сказал он.— Постараюсь не беспокоить вас.— Я чувствовал, как завели мотор, чувствовал, как шофер взобрался на переднее сиденье, чувствовал, как он выключил тормоз и дал скорость. Потом мы тронулись. Я лежал неподвижно и не сопротивлялся боли.

Когда начался подъем, машина сбавила скорость, порой она останавливалась, порой давала задний ход на повороте, наконец довольно быстро поехала в гору. Я почувствовал, как что-то стекает сверху. Сначала падали размеренные и редкие капли, потом полилось струйкой. Я окликнул шофера. Он остановил машину и обернулся к окошку.

— Что случилось?

— У раненого надо мной кровотечение.

— До перевала осталось совсем немного. Одному мне не вытащить носилок.

Машина тронулась снова. Струйка все лилась. В темноте я не мог разглядеть, в каком месте она просачивалась сквозь брезент. Я попытался отодвинуться в сторону, чтобы на меня не попадало. Там, где мне натекло за рубашку, было тепло и липко. Я озяб, и нога болела так сильно, что меня тошнило. Немного погодя струйка полилась медленнее, и потом снова стали стекать капли, и я услышал и почувствовал, как брезент носилок задвигался, словно человек там старался улечься удобнее.

— Ну, как там? — спросил англичанин, оглянувшись.— Мы уже почти доехали.

— Мне кажется, он умер,— сказал я.

Капли падали очень медленно, как стекает вода с сосульки после захода солнца. Было холодно ночью в машине, подымавшейся в гору. На посту санитары вытащили носилки и заменили другими, и мы поехали дальше.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В палате полевого госпиталя мне сказали, что после обеда ко мне придет посетитель. День был жаркий, и в комнате было много мух. Мой вестовой нарезал бумажных полос и, привязав

«Прощай, оружие!»

их к палке в виде метелки, махал, отгоняя мух. Я смотрел, как они садились на потолок. Когда он перестал махать и заснул, они все слетели вниз, и я сдувал их и в конце концов закрыл лицо руками и тоже заснул. Было очень жарко, и когда я проснулся, у меня зудило в ногах. Я разбудил вестового, и он полил мне на повязки минеральной воды. От этого постель стала сырой и прохладной. Те из нас, кто не спал, переговаривались через всю палату. Время после обеда было самое спокойное. Утром три санитара и врач подходили к каждой койке по очереди, поднимали лежавшего на ней и уносили в перевязочную, чтобы можно было оправить постель, пока ему делали перевязку. Путешествие в перевязочную было не особенно приятно, но я тогда не знал, что можно оправить постель, не поднимая человека. Мой вестовой вылил всю воду, и постель стала прохладная и приятная, и я как раз говорил ему, в каком месте почесать мне подошвы, чтобы унять зуд, когда один из врачей привел в палату Ринальди. Он вошел очень быстро и наклонился над койкой и поцеловал меня. Я заметил, что он в перчатках.

— Ну, как дела, бэби? Как вы себя чувствуете? Вот вам...— Он держал в руках бутылку коньяку. Вестовой принес ему стул, и он сел.— И еще приятная новость. Вы представлены к награде. Рассчитывайте на серебряную медаль, но, может быть, выйдет только бронзовая.

— За что?

— Ведь вы серьезно ранены. Говорят так: если вы докажете, что совершили подвиг, получите серебряную. А не то будет бронзовая. Расскажите мне подробно, как было дело. Совершили подвиг?

— Нет,— сказал я.— Когда разорвалась мина, я ел сыр.

— Не дурите. Не может быть, чтоб вы не совершили какого-нибудь подвига или до того, или после. Припомните хорошенько.

— Ничего не совершал.

— Никого не переносили на плечах, уже будучи раненным? Гордини говорит, что вы перенесли на плечах несколько человек, но главный врач первого поста заявил, что это невозможно. А подписать представление к награде должен он.

— Никого я не носил. Я не мог шевельнуться.

— Это не важно,— сказал Ринальди.

Он снял перчатки.

— Все-таки мы, пожалуй, добьемся серебряной. Может быть, вы отказались принять медицинскую помощь раньше других?

— Не слишком решительно.

— Это не важно. А ваше ранение? А мужество, которое вы проявили,— ведь вы же все время просились на передний край. К тому же операция закончилась успешно.

— Значит, реку удалось форсировать?

— Еще как удалось! Захвачено около тысячи пленных. Так сказано в сводке. Вы ее не видели?

— Нет.

— Я вам принесу. Это блестящий coup de main [1].

— Ну, а как там у вас?

— Великолепно. Все обстоит великолепно. Все гордятся вами. Расскажите же мне, как было дело? Я уверен, что вы получите серебряную. Ну, говорите. Рассказывайте все по порядку.— Он помолчал, раздумывая.— Может быть, вы еще и английскую медаль получите. Там был один англичанин. Я его повидаю, спрошу, не согласится ли он поговорить о вас. Что-нибудь он, наверно, сумеет сделать. Болит сильно? Выпейте. Вестовой, сходите за штопором. Посмотрели бы вы, как я удалил одному пациенту три метра тонких кишок. Об этом стоит написать в «Ланцет». Вы мне переведете, и я пошлю в «Ланцет». Я совершенствуюсь с каждым днем. Бедный мой бэби, а как ваше самочувствие? Где же этот чертов штопор? Вы такой терпеливый и тихий, что я забываю о вашей ране.— Он хлопнул перчатками по краю кровати.

— Вот штопор, signor tenente,— сказал вестовой.

— Откупорьте бутылку. Принесите стакан. Выпейте, бэби. Как ваша голова? Я смотрел историю болезни. Трещины нет. Этот врач первого поста просто коновал. Я бы сделал все так, что вы бы и боли не почувствовали. У меня никто не чувствует боли. Уж так я работаю. С каждым днем я работаю все легче и лучше. Вы меня простите, бэби, что я так много болтаю. Я очень расстроен, что ваша рана серьезна. Ну, пейте. Хороший коньяк. Пятнадцать лир бутылка. Должен быть хороший. Пять звездочек. Прямо отсюда я пойду к этому англичанину, и он вам выхлопочет английскую медаль.

— Ее не так легко получить.

— Вы слишком скромны. Я пошлю офицера связи. Он умеет обращаться с англичанами.

— Вы не видели мисс Баркли?

— Я ее приведу сюда. Я сейчас же пойду и приведу ее сюда.

---

[1] Выпад, удар *(франц.)*.

— Не уходите,— сказал я.— Расскажите мне о Гориции. Как девочки?

— Нет девочек. Уже две недели их не сменяли. Я больше туда и не хожу. Просто безобразие! Это уже не девочки, это старые боевые товарищи.

— Совсем не ходите?

— Только заглядываю иногда узнать, что нового. Так, мимоходом! Они все спрашивают про вас. Просто безобразие! Держат их так долго, что мы становимся друзьями.

— Может быть, нет больше желающих ехать на фронт?

— Не может быть. Девочек сколько угодно. Просто скверная организация. Придерживают их для тыловых героев.

— Бедный Ринальди! — сказал я.— Один-одинешенек на войне, и нет ему даже новых девочек.

Ринальди налил и себе коньяку.

— Это вам не повредит, бэби. Пейте.

Я выпил коньяк и почувствовал, как по всему телу разливается тепло. Ринальди налил еще стакан. Он немного успокоился. Он поднял свой стакан.

— За ваши доблестные раны! За серебряную медаль! Скажите-ка, бэби, все время лежать в такую жару — это вам не действует на нервы?

— Иногда.

— Я такого даже представить не могу. Я б с ума сошел.

— Вы и так сумасшедший.

— Хоть бы вы поскорее приехали. Не с кем возвращаться домой после ночных похождений. Некого дразнить. Не у кого занять денег. Нет моего сожителя и названого брата. И зачем вам понадобилась эта рана?

— Вы можете дразнить священника.

— Уж этот священник! Вовсе не я его дразню. Дразнит капитан. А мне он нравится. Если вам понадобится священник, берите нашего. Он собирается навестить вас. Готовится к этому заблаговременно.

— Я его очень люблю.

— Это я знаю. Мне даже кажется иногда, что вы с ним немножко то самое. Ну, вы знаете.

— Ничего вам не кажется.

— Нет, иногда кажется.

— Да ну вас к черту!

Он встал и надел перчатки.

— До чего ж я люблю вас изводить, бэби. А ведь, несмотря

на вашего священника и вашу англичанку, вы такой же, как и я, в душе.

— Ничего подобного.

— Конечно, такой же. Вы настоящий итальянец. Весь — огонь и дым, а внутри ничего нет. Вы только прикидываетесь американцем. Мы с вами братья и любим друг друга.

— Ну, будьте паинькой, пока меня нет,— сказал я.

— Я к вам пришлю мисс Баркли. Без меня вам с ней лучше. Вы чище и нежнее.

— Ну вас к черту!

— Я ее пришлю. Вашу прекрасную холодную богиню. Английскую богиню. Господи, да что еще делать с такой женщиной, если не поклоняться ей? На что еще может годиться англичанка?

— Вы просто невежественный брехливый даго.

— Кто?

— Невежественный макаронник.

— Макаронник. Сами вы макаронник... с мороженой рожей.

— Невежественный. Тупой.— Я видел, что это слово кольнуло его, и продолжал: — Некультурный. Безграмотный. Безграмотный тупица.

— Ах, так? Я вот вам кое-что скажу о ваших невинных девушках. О ваших богинях. Между невинной девушкой и женщиной разница только одна. Когда берешь девушку, ей больно. Вот и все.— Он хлопнул перчаткой по кровати.— И еще с девушкой никогда не знаешь, как это ей понравится.

— Не злитесь.

— Я не злюсь. Я просто говорю вам это, бэби, для вашей же пользы. Чтобы избавить вас от лишних хлопот.

— В этом вся разница?

— Да. Но миллионы таких дураков, как вы, этого не знают.

— Очень мило с вашей стороны, что вы мне сказали.

— Не стоит ссориться, бэби. Я вас слишком люблю. Но не будьте дураком.

— Нет. Я буду таким умным, как вы.

— Не злитесь, бэби. Засмейтесь. Выпейте еще. Мне пора идти.

— Вы все-таки славный малый.

— Вот видите. В душе вы такой же, как я. Мы — братья по войне. Поцелуйте меня на прощанье.

— Вы слюнтяй.

— Нет. Просто я более чуткий.

Я почувствовал его дыхание у своего лица.

— До свидания. Я скоро к вам еще приду.— Его дыхание отодвинулось.— Не хотите целоваться, не надо. Я к вам пришлю вашу англичанку. До свидания, бэби. Коньяк под кроватью. Поправляйтесь скорее.

Он исчез.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уже смеркалось, когда вошел священник. Принесли суп, потом убрали тарелки, и я лежал, глядя на ряды коек и на верхушку дерева за окном, слегка качающуюся от легкого вечернего ветра. Ветер проникал в окно, и с приближением ночи стало прохладнее. Мухи облепили теперь потолок и висевшие на шнурах электрические лампочки. Свет зажигали, только если ночью приносили раненого или когда что-нибудь делали в палате. Оттого что после сумерек сразу наступала темнота и уже до утра было темно, мне казалось, что я опять стал маленьким. Похоже было, как будто сейчас же после ужина тебя укладывают спать. Вестовой прошел между койками и остановился. С ним был еще кто-то. Это был священник. Он стоял передо мной, смуглый, невысокий и смущенный.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он. На полу у постели он положил какие-то свертки.

— Хорошо, отец мой.

Он сел на стул, принесенный для Ринальди, и смущенно поглядел в окно. Я заметил, что у него очень усталый вид.

— Я только на минутку,— сказал он.— Уже поздно.

— Еще не поздно. Как там у нас?

Он улыбнулся.

— Потешаются надо мной по-прежнему.— Голос у него тоже звучал устало.— Все, слава богу, здоровы. Я так рад, что у вас все обошлось,— сказал он.— Вам не очень больно?

Он казался очень усталым, а я не привык видеть его усталым.

— Теперь уже нет.

— Мне очень скучно без вас за столом.

— Я и сам хотел бы вернуться поскорее. Мне всегда приятно было беседовать с вами.

— Я вам тут кое-что принес,— сказал он. Он поднял с пола свертки.— Вот сетка от москитов. Вот бутылка вермута. Вы любите вермут? Вот английские газеты.

— Пожалуйста, разверните их.

Он обрадовался и стал вскрывать бандероли. Я взял в руки сетку от москитов. Вермут он приподнял, чтобы показать мне, а потом поставил опять на стол у постели. Я взял одну газету из пачки. Мне удалось прочитать заголовок, повернув газету так, чтобы на нее падал слабый свет из окна. Это была «Ньюс оф уорлд».

— Остальное — иллюстрированные листки,— сказал он.

— С большим удовольствием прочитаю их. Откуда они у вас?

— Я посылал за ними в Местре. Я достану еще.

— Вы очень добры, что навестили меня, отец мой. Выпьете стакан вермута?

— Спасибо, не стоит. Это вам.

— Нет, выпейте стаканчик.

— Ну, хорошо. В следующий раз я вам принесу еще.

Вестовой принес стаканы и откупорил бутылку. Пробка раскрошилась, и пришлось протолкнуть кусочек в бутылку. Я видел, что священника это огорчило, но он сказал:

— Ну, ничего. Не важно.

— За ваше здоровье, отец мой.

— За ваше здоровье.

Потом он держал стакан в руке, и мы глядели друг на друга. Время от времени мы пытались завести дружеский разговор, но это сегодня как-то не удавалось.

— Что с вами, отец мой? У вас очень усталый вид.

— Я устал, но я не имею на это права.

— Это от жары.

— Нет. Ведь еще только весна. На душе у меня тяжело.

— Вам опротивела война?

— Нет. Но я ненавижу войну.

— Я тоже не нахожу в ней удовольствия,— сказал я.

Он покачал головой и посмотрел в окно.

— Вам она не мешает. Вам она не видна. Простите. Я знаю, вы ранены.

— Это случайность.

— И все-таки, даже раненный, вы не видите ее. Я убежден в этом. Я сам не вижу ее, но я ее чувствую немного.

— Когда меня ранило, мы как раз говорили о войне. Пассини говорил.

Священник поставил стакан. Он думал о чем-то другом.

— Я их понимаю, потому что я сам такой, как они,— сказал он.

— Но вы совсем другой.

— А на самом деле я такой же, как они.

— Офицеры ничего не видят.

— Не все. Есть очень чуткие, им еще хуже, чем нам.

— Таких немного.

— Здесь дело не в образовании и не в деньгах. Здесь что-то другое. Такие люди, как Пассини, даже имея образование и деньги, не захотели бы быть офицерами. Я бы не хотел быть офицером.

— По чину вы все равно что офицер. И я офицер.

— Нет, это не все равно. А вы даже не итальянец. Вы иностранный подданный. Но вы ближе к офицерам, чем к рядовым.

— В чем же разница?

— Мне трудно объяснить. Есть люди, которые хотят воевать. В нашей стране много таких. Есть другие люди, которые не хотят воевать.

— Но первые заставляют их.

— Да.

— А я помогаю этому.

— Вы иностранец. Вы патриот.

— А те, что не хотят воевать? Могут они помешать войне?

— Не знаю.

Он снова посмотрел в окно. Я следил за выражением его лица.

— Разве они когда-нибудь могли помешать?

— Они не организованы и поэтому не могут помешать ничему, а когда они организуются, их вожди предают их.

— Значит, это безнадежно?

— Нет, ничего безнадежного. Но бывает, что я не могу надеяться. Я всегда стараюсь надеяться, но бывает, что не могу.

— Но война кончится же когда-нибудь?

— Надеюсь.

— Что вы тогда будете делать?

— Если можно будет, вернусь в Абруццы.

Его смуглое лицо вдруг осветилось радостью.

— Вы любите Абруццы?

— Да, очень люблю.

— Вот и поезжайте туда.

— Это было бы большое счастье. Жить там и любить бога и служить ему.

— И пользоваться уважением,— сказал я.

— Да, и пользоваться уважением. А что?

— Ничего. У вас для этого есть все основания.

— Не в том дело. Там, на моей родине, считается естественным, что человек может любить бога. Это не гнусная комедия.

— Понимаю.

Он посмотрел на меня и улыбнулся.

— Вы понимаете, но вы не любите бога.

— Нет.

— Совсем не любите? — спросил он.

— Иногда по ночам я боюсь его.

— Лучше бы вы любили его.

— Я мало кого люблю.

— Нет,— сказал он.— Неправда. Те ночи, о которых вы мне рассказывали. Это не любовь. Это только похоть и страсть. Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви. Хочется жертвовать собой. Хочется служить.

— Я никого не люблю.

— Вы полюбите. Я знаю, что полюбите. И тогда вы будете счастливы.

— Я и так счастлив. Всегда счастлив.

— Это совсем другое. Вы не можете понять, что это, пока не испытаете.

— Хорошо,— сказал я,— если когда-нибудь я пойму, я скажу вам.

— Я слишком долго сижу с вами и слишком много болтаю.— Он искренне забеспокоился.

— Нет. Не уходите. А любовь к женщине? Если б я в самом деле полюбил женщину, тоже было бы так?

— Этого я не знаю. Я не любил ни одной женщины.

— А свою мать?

— Да, мать я, вероятно, любил.

— Вы всегда любили бога?

— С самого детства.

— Так,— сказал я. Я не знал, что сказать.— Вы совсем еще молоды.

— Я молод,— сказал он.— Но вы зовете меня отцом.

— Это из вежливости.

Он улыбнулся.

— Правда, мне пора идти,— сказал он.— Вам от меня ничего не нужно? — спросил он с надеждой.

— Нет. Только разговаривать с вами.

— Я передам от вас привет всем нашим.

— Спасибо за подарки.

— Не стоит.
— Приходите еще навестить меня.
— Приду. До свидания.— Он потрепал меня по руке.
— Прощайте,— сказал я на диалекте.
— Ciao,— повторил он.

В комнате было темно, и вестовой, который все время сидел в ногах постели, встал и пошел его проводить. Священник мне очень нравился, и я желал ему когда-нибудь возвратиться в Абруццы. В офицерской столовой ему отравляли жизнь, и он очень мило сносил это, но я думал о том, какой он у себя на родине. В Капракотта, рассказывал он, в речке под самым городом водится форель. Запрещено играть на флейте по ночам. Молодые люди поют серенады, и только играть на флейте запрещено. Я спросил — почему. Потому что девушкам вредно слушать флейту по ночам. Крестьяне зовут вас «дон» и снимают при встрече шляпу. Его отец каждый день охотится и заходит поесть в крестьянские хижины. Там это за честь считают. Иностранцу, чтобы получить разрешение на охоту, надо представить свидетельство, что он никогда не подвергался аресту. На Гран-Сассо д'Италиа водятся медведи, но это очень далеко. Аквила — красивый город. Летом по вечерам прохладно, а весна в Абруццах самая прекрасная во всей Италии. Но лучше всего осень, когда можно охотиться в каштановых рощах. Дичь очень хороша, потому что питается виноградом. И завтрака с собой никогда не нужно брать, крестьяне считают за честь, если поешь у них в доме вместе с ними. Немного погодя я заснул.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Палата была длинная, с окнами по правой стене и дверью в углу, которая вела в перевязочную. Один ряд коек, где была и моя, стоял вдоль стены, напротив окон, а другой — под окнами, напротив стены. Лежа на левом боку, я видел дверь перевязочной. В глубине была еще одна дверь, в которую иногда входили люди. Когда у кого-нибудь начиналась агония, его койку загораживали ширмой так, чтобы никто не видел, как он умирает, и только башмаки и обмотки врачей и санитаров видны были из-под ширмы, а иногда под конец слышался шепот. Потом из-за ширмы выходил священник, и тогда санитары снова заходили за ширму и выносили оттуда умершего, с головой накрытого одеялом, и несли его вдоль прохода между койками, и кто-нибудь складывал ширму и убирал ее.

В это утро палатный врач спросил меня, чувствую ли я себя в силах завтра выехать. Я сказал, что да. Он сказал, что в таком случае меня отправят рано утром. Для меня лучше, сказал он, совершить переезд теперь, пока еще не слишком жарко.

Когда поднимали с койки, чтобы нести в перевязочную, можно было посмотреть в окно и увидеть новые могилы в саду. Там, у двери, выходящей в сад, сидел солдат, который мастерил кресты и писал на них имена, чины и названия полка тех, кто был похоронен в саду. Он также выполнял поручения раненых и в свободное время сделал мне зажигалку из пустого патрона от австрийской винтовки. Врачи были очень милые и казались очень опытными. Им непременно хотелось отправить меня в Милан. Нас торопились всех выписать и отправить в тыл, чтобы освободить все койки к началу наступления.

Вечером, накануне моего отъезда из полевого госпиталя, пришел Ринальди и с ним наш главный врач. Они сказали, что меня отправляют в Милан, в американский госпиталь, который только что открылся. Ожидалось прибытие из Америки нескольких санитарных отрядов, и этот госпиталь должен был обслуживать их и всех других американцев в итальянской армии. В Красном Кресте их было много. Соединенные Штаты объявили войну Германии, но не Австрии.

Итальянцы были уверены, что Америка объявит войну и Австрии, и поэтому они очень радовались приезду американцев, хотя бы просто служащих Красного Креста. Меня спросили, как я думаю, объявит ли президент Вильсон войну Австрии, и я сказал, что это вопрос дней. Я не знал, что мы имеем против Австрии, но казалось логичным, что раз объявили войну Германии, значит, объявят и Австрии. Меня спросили, объявим ли мы войну Турции. Я сказал: да, вероятно, мы объявим войну Турции. А Болгарии? Мы уже выпили несколько стаканов коньяку, и я сказал: да, черт побери, и Болгарии тоже и Японии. Как же так, сказали они, ведь Япония союзница Англии. Все равно, этим гадам англичанам доверять нельзя. Японцы хотят Гавайские острова, сказал я. А где это Гавайские острова? В Тихом океане. А почему японцы их хотят? Да они их и не хотят вовсе, сказал я. Это все одни разговоры. Японцы прелестный маленький народ, любят танцы и легкое вино. Совсем как французы, сказал майор. Мы отнимем у французов Ниццу и Савойю. И Корсику отнимем, и Адриатическое побережье, сказал Ринальди. К Италии возвратится величие Рима, сказал майор. Мне не нравится Рим, сказал я. Там жарко и полно блох. Вам

не нравится Рим? Нет, я люблю Рим. Рим — мать народов. Никогда не забуду, как Ромул сосал Тибр. Что? Ничего. Поедемте все в Рим. Поедемте в Рим сегодня вечером и больше не вернемся. Рим — прекрасный город, сказал майор. Отец и мать народов, сказал я. Roma женского рода, сказал Ринальди. Roma не может быть отцом. А кто же тогда отец? Святой дух? Не богохульствуйте. Я не богохульствую, я прошу разъяснения. Вы пьяны, бэби. Кто меня напоил? Я вас напоил, сказал майор. Я вас напоил, потому что люблю вас и потому что Америка вступила в войну. Дальше некуда, сказал я. Вы утром уезжаете, бэби, сказал Ринальди. В Рим, сказал я. Нет, в Милан, сказал майор, в «Кристаль-Палас», в «Кова», к Кампари, к Биффи, в Galleria. Счастливчик. В «Гран-Италиа», сказал я, где я возьму взаймы у Жоржа. В «Ла Скала», сказал Ринальди. Вы будете ходить в «Ла Скала». Каждый вечер, сказал я. Вам будет не по карману каждый вечер, сказал майор. Билеты очень дороги. Я выпишу предъявительский чек на своего дедушку, сказал я. Какой чек? Предъявительский. Он должен уплатить, или меня посадят в тюрьму. Мистер Кэнингэм в банке устроит мне это. Я живу предъявительскими чеками. Неужели дедушка отправит в тюрьму патриота-внука, который умирает за спасение Италии? Да здравствует американский Гарибальди, сказал Ринальди. Да здравствуют предъявительские чеки, сказал я. Не надо шуметь, сказал майор. Нас уже несколько раз просили не шуметь. Так вы правда завтра едете, Федерико? Я же вам говорил, он едет в американский госпиталь, сказал Ринальди. К красоткам сестрам. Не то что бородатые сиделки полевого госпиталя. Да, да, сказал майор, я знаю, что он едет в американский госпиталь. Мне не мешают бороды, сказал я. Если кто хочет отпустить бороду — на здоровье. Отчего бы вам не отпустить бороду, signor maggiore? Она не влезет в противогаз. Влезет. В противогаз все влезет. Я раз наблевал в противогаз. Не так громко, бэби, сказал Ринальди. Мы все знаем, что вы были на фронте. Ах вы, милый бэби, что я буду делать, когда вы уедете? Нам пора, сказал майор. А то начинаются сантименты. Слушайте, у меня для вас есть сюрприз. Ваша англичанка. Знаете? Та, к которой вы каждый вечер ходили в английский госпиталь? Она тоже едет в Милан. Она и еще одна сестра едут на службу в американский госпиталь. Из Америки еще не прибыли сестры. Я сегодня говорил с начальником их riparto [1]. У них слишком много женщин здесь, на фронте. Решили отпра-

[1] Отряд *(итал.)*.

вить часть в тыл. Как это вам нравится, бэби? Ничего? А? Будете жить в большом городе и любезничать со своей англичанкой. Почему я не ранен? Еще успеете, сказал я. Нам пора, сказал майор. Мы пьем и шумим и беспокоим Федерико. Не уходите. Нет, нам пора. До свидания. Счастливый путь. Всего хорошего. Ciao, Ciao. Ciao. Поскорее возвращайтесь, бэби. Ринальди поцеловал меня. От вас пахнет лизолом. До свидания, бэби. До свидания. Всего хорошего. Майор похлопал меня по плечу. Они вышли на цыпочках. Я чувствовал, что совершенно пьян, но заснул.

На следующее утро мы выехали в Милан и ровно через двое суток прибыли на место. Ехать было скверно. Мы долго стояли на запасном пути, не доезжая Местре, и ребятишки подходили и заглядывали в окна. Я уговорил одного мальчика сходить за бутылкой коньяку, но он вернулся и сказал, что есть только граппа. Я велел ему взять граппу, и когда он принес бутылку, я сказал, чтобы сдачу он оставил себе, и мой сосед и я напились пьяными и проспали до самой Виченцы, где я проснулся, и меня вырвало прямо на пол. Это не имело значения, потому что моего соседа несколько раз вырвало на пол еще раньше. Потом я думал, что умру от жажды, и на остановке в Вероне я окликнул солдата, который прохаживался взад и вперед у поезда, и он принес мне воды. Я разбудил Жоржетти, соседа, который напился вместе со мной и предложил ему воды. Он сказал, чтобы я ее вылил ему на голову, и снова заснул. Солдат не хотел брать монету, которую я предложил ему за труды, и принес мне мясистый апельсин. Я сосал и выплевывал кожицу и смотрел, как солдат ходит взад и вперед у товарного вагона на соседнем пути, и немного погодя поезд дернул и тронулся.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мы приехали в Милан рано утром, и нас выгрузили на товарной станции. Санитарный автомобиль повез меня в американский госпиталь. Лежа в автомобиле на носилках, я не мог определить, какими улицами мы едем, но, когда носилки вытащили, я увидел рыночную площадь и распахнутую дверь закусочной, откуда девушка выметала сор. Улицу поливали, и пахло ранним утром. Санитары поставили носилки на землю и вошли в дом. Потом они вернулись вместе со швейцаром. Швейцар был седоусый, в фуражке с галунами, но без ливреи. Носилки не умещались в кабине лифта, и они заспорили, что лучше: снять ли меня с носилок и поднять на лифте или нести на носилках по лестнице. Я слушал их спор. Они порешили — на лифте. Меня стали поднимать с носилок.

— Легче, легче,— сказал я.— Осторожнее.

В кабине было тесно, и, когда мои ноги согнулись, мне стало очень больно.

— Выпрямите мои ноги,— сказал я.

— Нельзя, signor tenente. Не хватает места.

Человек, сказавший это, поддерживал меня одной рукой, а я его обхватил за шею. Его дыхание обдало меня металлическим запахом чеснока и красного вина.

— Ты потише,— сказал другой санитар.

— А что я, не тихо, что ли?

— Потише, говорят тебе,— повторил другой, тот, что держал мои ноги.

Я увидел, как затворились двери кабины, захлопнулась решетка, и швейцар надавил кнопку четвертого этажа. У швейцара был озабоченный вид. Лифт медленно пошел вверх.

— Тяжело? — спросил я человека, от которого пахло чесноком.

— Ничего,— сказал он. На лице у него выступил пот, и он кряхтел. Лифт поднимался все выше и наконец остановился. Человек, который держал мои ноги, отворил дверь и вышел. Мы очутились на площадке. На площадку выходило несколько дверей с медными ручками. Человек, который держал мои ноги, нажал кнопку. Мы услышали, как за дверью затрещал звонок. Никто не отозвался. Потом по лестнице поднялся швейцар.

— Где они все? — спросили санитары.

— Не знаю,— сказал швейцар.— Они спят внизу.

— Позовите кого-нибудь.

Швейцар позвонил, потом постучался, потом отворил дверь и вошел. Когда он вернулся, за ним шла пожилая женщина в очках. Волосы ее были растрепаны, и прическа разваливалась, она была в форме сестры милосердия.

— Я не понимаю,— сказала она.— Я не понимаю по-итальянски.

— Я говорю по-английски,— сказал я.— Нужно устроить меня куда-нибудь.

— Ни одна палата не готова. Мы еще никого не ждали.

Она старалась подобрать волосы и близоруко щурилась на меня.

— Покажите, куда меня положить.

— Не знаю,— сказала она.— Мы никого не ждали. Я не могу положить вас куда попало.

— Все равно куда,— сказал я.— Затем швейцару по-итальянски: — Найдите свободную комнату.

— Они все свободны,— сказал швейцар.— Вы здесь первый раненый.— Он держал фуражку в руке и смотрел на пожилую сестру.

— Да положите вы меня куда-нибудь, ради бога! — Боль в согнутых ногах все усиливалась, и я чувствовал, как она насквозь пронизывает кость. Швейцар скрылся за дверью вместе с седой сестрой и быстро вернулся.

— Идите за мной,— сказал он.

Меня понесли длинным коридором и внесли в комнату со спущенными шторами. В ней пахло новой мебелью. У стены стояла кровать, в углу — большой зеркальный шкаф. Меня положили на кровать.

— Я не могу дать простынь,— сказала женщина,— простыни все заперты.

Я не стал разговаривать с ней.

— У меня в кармане деньги,— сказал я швейцару.— В том, который застегнут на пуговицу.

Швейцар достал деньги. Оба санитара стояли у постели с шапками в руках.

— Дайте им обоим по пять лир и пять лир возьмите себе. Мои бумаги в другом кармане. Можете отдать их сестре.

Санитары взяли под козырек и сказали спасибо.

— До свидания,— сказал я.— Вам тоже большое спасибо.

Они еще раз взяли под козырек и вышли.

— Вот,— сказал я сестре,— это моя карточка и история болезни.

Женщина взяла бумаги и посмотрела на них сквозь очки. Бумаг было три, и они были сложены.

— Я не знаю, что делать,— сказала она.— Я не умею читать по-итальянски. Я ничего не могу сделать без распоряжения врача.— Она расплакалась и сунула бумаги в карман передника.— Вы американец? — спросила она сквозь слезы.

— Да. Положите, пожалуйста, бумаги на столик у кровати.

В комнате было полутемно и прохладно. С кровати мне было видно большое зеркало в шкафу, но не было видно, что в нем отражалось. Швейцар стоял в ногах кровати. У него было славное лицо, и он казался мне добрым.

— Вы можете идти,— сказал я ему.— И вы тоже,— сказал я сестре.— Как вас зовут?

— Миссис Уокер.

— Идите, миссис Уокер. Я попытаюсь уснуть.

Я остался один в комнате. В ней было прохладно и не пахло больницей. Матрац был тугой и удобный, и я лежал не двигаясь, почти не дыша, радуясь, что боль утихает. Немного погодя мне захотелось пить, и я нашел у изголовья грушу звонка и позвонил, но никто не явился. Я заснул.

Проснувшись, я огляделся по сторонам. Сквозь ставни проникал солнечный свет. Я увидел большой гардероб, голые стены и два стула. Мои ноги в грязных бинтах, как палки, торчали на кровати. Я старался не шевелить ими. Мне хотелось пить, и я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как отворилась дверь, и оглянулся, и увидел сестру, не вчерашнюю, а другую. Она показалась мне молодой и хорошенькой.

— Доброе утро,— сказал я.

— Доброе утро,— сказала она и подошла к кровати.— Нам не удалось вызвать доктора. Он уехал на Комо. Мы не знали, что сегодня привезут кого-нибудь. А что у вас?

— Я ранен. Оба колена и ступни, и голова тоже задета.

— Как вас зовут?

— Генри, Фредерик Генри.

— Я сейчас вас умою. Но повязок мы не можем трогать до прихода доктора.

— Скажите, мисс Баркли здесь?

— Нет. У нас такой нет.

— Что это за женщина, которая плакала, когда меня привезли?

Сестра рассмеялась.

— Это миссис Уокер. Она дежурила ночью и заснула. Она не думала, что кого-нибудь привезут.

Разговаривая, она раздевала меня, и когда сняла все, кроме повязок, то стала меня умывать, очень легко и ловко. Умывание меня очень освежило. Голова моя была забинтована, но она обмыла везде вокруг бинта.

— Где вы получили ранение?

— На Изонцо, к северу от Плавы.

— Где это?

— К северу от Гориции.

Я видел, что все эти названия ничего не говорят ей.

— Вам очень больно?

Она вложила мне градусник в рот.

— Итальянцы ставят под мышку,— сказал я.

— Не разговаривайте.

Вынув градусник, она посмотрела температуру и сейчас же стряхнула.

— Какая температура?

— Вам не полагается знать.

— Скажите какая.

— Почти нормальная.

— У меня никогда не поднимается температура. А ведь мои ноги набиты старым железом.

— То есть как это?

— Там и осколки мины, и старые гвозди, и пружины от матраца, и всякий хлам.

Она покачала головой и улыбнулась.

— Если б у вас было в ноге хоть одно постороннее тело, оно дало бы воспаление, и у вас поднялась бы температура.

— А вот посмотрим,— сказал я,— увидим, что извлекут при операции.

Она вышла из комнаты и возвратилась вместе с пожилой сестрой, которая дежурила ночью. Вдвоем они постелили мне простыни, не поднимая меня. Это было ново для меня и очень ловко проделано.

— Кто заведует госпиталем?
— Мисс Ван-Кампен.
— Сколько тут сестер?
— Только мы две.
А больше не будет?
— Должны приехать еще.
— А когда?
— Не знаю. Нельзя больному быть таким любопытным.
— Я не больной,— сказал я.— Я раненый.

Они покончили с постелью, и я лежал теперь на свежей, чистой простыне, укрытый другой такой же. Миссис Уокер вышла и возвратилась с пижамой в руках. Они натянули ее на меня, и я почувствовал себя одетым и очень чистым.

— Вы страшно любезны,— сказал я. Сестра, которую звали мисс Гэйдж, усмехнулась.— Я хотел бы попросить стакан воды.

— Пожалуйста. А потом можно и позавтракать.

— Я не хочу завтракать. Если можно, я попросил бы открыть ставни.

В комнате был полумрак, и когда ставни раскрыли, ее наполнил яркий солнечный свет, и я увидел балкон и за ним черепицы крыш и дымовые трубы. Я посмотрел поверх черепичных крыш и увидел белые облака и очень синее небо.

— Вы не знаете, когда должны приехать остальные сестры?
— А что? Разве вы недовольны нашим уходом?
— Вы очень любезны.
— Может быть, вам нужен подсов?
— Пожалуй.

Они приподняли меня и поддержали, но это оказалось бесполезным. Потом я лежал и глядел в открытую дверь на балкон.

— Когда доктор должен прийти?

— Как только вернется. Мы звонили по телефону на Комо, чтобы он приехал.

— Разве нет других врачей?
— Он наш госпитальный врач.

Мисс Гэйдж принесла графин с водой и стакан. Я выпил три стакана, и потом они обе ушли, и я еще некоторое время смотрел в окно и потом снова заснул. Второй завтрак я съел, а после завтрака ко мне зашла заведующая, мисс Ван-Кампен. Я ей не понравился, и она не понравилась мне. Она была маленького роста, мелочно подозрительная и надутая высокомерием. Она задала мне множество вопросов и, по-видимому, считала почти позором службу в итальянской армии.

— Можно мне получить вина к обеду? — спросил я.

— Только по предписанию врача.

— А до его прихода нельзя?

— Ни в коем случае.

— Вы полагаете, что он все-таки явится?

— Ему звонили по телефону.

Она ушла, и в комнату вернулась мисс Гэйдж.

— Зачем вы нагрубили мисс Ван-Кампен? — спросила она, после того как очень ловко сделала для меня все, что нужно.

— Я не хотел грубить, но она очень задирает нос.

— Она сказала, что вы требовательны и грубы.

— Ничего подобного. Но, в самом деле, что за госпиталь без врача?

— Он должен приехать. Ему звонили по телефону на Комо.

— А что он там делает? Купается в озере?

— Нет. У него там клиника.

— Почему же не возьмут другого врача?

— Шш. Шш. Будьте паинькой, и он скоро приедет.

Я попросил позвать швейцара и, когда он пришел, сказал ему по-итальянски, чтобы он купил мне бутылку чинцано в винной лавке, флягу кьянти и вечернюю газету. Он пошел и принес бутылки завернутыми в газету, развернул их, откупорил по моей просьбе и поставил под кровать. Больше ко мне никто не приходил, и я лежал в постели и читал газету, известия с фронта и списки убитых офицеров и полученных ими наград, а потом опустил вниз руку, и достал бутылку с чинцано, и поставил ее холодным дном себе на живот, и пил понемножку, и между глотками снова ставил бутылку на живот, отпечатывая кружки на коже, и смотрел, как небо над городскими крышами становится все темней и темней. Над крышами летали ласточки и летали ночные ястребы, и я следил за их полетом и пил чинцано. Мисс Гэйдж принесла мне гоголь-моголь в стакане. Когда она вошла, я сунул бутылку за кровать.

— Мисс Ван-Кампен велела подлить сюда немного хересу,— сказала она.— Не нужно ей грубить. Она уже не молода, а заведовать госпиталем — большая ответственность. Миссис Уокер слишком стара, и от нее очень мало помощи.

— Она замечательная женщина,— сказал я,— поблагодарите ее от меня.

— Я сейчас принесу вам поужинать.

— Не стоит,— сказал я.— Я не голоден.

Когда она внесла поднос и поставила его на столик у постели, я поблагодарил ее и немного поел. Потом стало совсем

темно, и мне видно было, как по небу сновали лучи прожекторов. Некоторое время я следил за ними, потом заснул. Я спал крепко, но один раз проснулся весь в поту от страха и потом заснул снова, стараясь не возвращаться в только что виденный сон. Я проснулся опять задолго до рассвета, и слышал, как пели петухи, и лежал без сна, пока не начало светать. Это утомило меня, и, когда совсем рассвело, я снова заснул.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Солнце ярко светило в комнату, когда я проснулся. Мне показалось, что я опять на фронте, и я вытянулся на постели. Стало больно в ногах, и я посмотрел на них и, увидев грязные бинты, вспомнил, где нахожусь. Я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как в коридоре затрещал звонок и кто-то, мягко ступая резиновыми подошвами, прошел по коридору. Это была мисс Гэйдж; при ярком солнечном свете она казалась старше и не такой хорошенькой.

— Доброе утро,— сказала она.— Ну, как спали?

— Хорошо, благодарю вас,— сказала я.— Нельзя ли позвать ко мне парикмахера?

— Я заходила к вам, и вы спали вот с этим в руках.— Она открыла шкаф и показала мне бутылку с чинцано. Бутылка была почти пуста.— Я и другую бутылку из-под кровати тоже поставила туда,— сказала она.— Почему вы не попросили у меня стакан?

— Я боялся, что вы не позволите мне пить.

— Я бы и сама выпила с вами.

— Вот это вы молодец.

— Вам вредно пить одному,— сказала она.— Никогда этого не делайте.

— Больше не буду.

— Ваша мисс Баркли приехала,— сказала она.

— Правда?

— Да. Она мне не нравится.

— Потом понравится. Она очень славная.

Она покачала головой.

— Не сомневаюсь, что она чудо. Вы можете немножко подвинуться сюда? Вот так, хорошо. Я вас приведу в порядок к завтраку.— Она умыла меня с помощью тряпочки, мыла и теплой воды.— Приподнимите руку,— сказала она.— Вот так, хорошо.

— Нельзя ли, чтоб парикмахер пришел до завтрака?

— Сейчас скажу швейцару.— Она вышла и скоро вернулась.— Швейцар пошел за ним,— сказала она и опустила тряпочку в таз с водой.

Парикмахер пришел вместе со швейцаром. Это был человек лет пятидесяти, с подкрученными кверху усами. Мисс Гэйдж кончила свои дела и вышла, а парикмахер намылил мне щеки и стал брить. Он делал все очень торжественно и воздерживался от разговора.

— Что же вы молчите? Рассказывайте новости,— сказал я.

— Какие новости?

— Все равно какие. Что слышно в городе?

— Теперь война,— сказал он.— У неприятеля повсюду уши.— Я оглянулся на него.— Пожалуйста, не вертите головой,— сказал он и продолжал брить.— Я ничего не скажу.

— Да что с вами такое? — спросил я.

— Я итальянец. Я не вступаю в разговоры с неприятелем.

Я не настаивал. Если он сумасшедший, то чем скорей он уберет от меня бритву, тем лучше. Один раз я попытался рассмотреть его.— Берегитесь,— сказал он.— Бритва острая.

Когда он кончил, я уплатил что следовало и прибавил полли́ры на чай. Он вернул мне деньги.

— Я не возьму. Я не на фронте. Но я итальянец.

— Убирайтесь к черту!

— С вашего разрешения,— сказал он и завернул свои бритвы в газету. Он вышел, оставив пять медных монет на столике у кровати. Я позвонил. Вошла мисс Гэйдж.

— Будьте так добры, пришлите ко мне швейцара.

— Пожалуйста.

Швейцар пришел. Он с трудом удерживался от смеха.

— Что, этот парикмахер сумасшедший?

— Нет, signorino. Он ошибся. Он меня не расслышал, и ему показалось, будто я сказал, что вы австрийский офицер.

— О, господи,— сказал я.

— Ха-ха-ха,— захохотал швейцар.— Вот потеха! «Только пошевелись он, говорит, и я бы ему...» — Швейцар провел пальцем по шее.— Ха-ха-ха! — Он никак не мог удержаться от смеха.— А когда я сказал ему, что вы не австриец! Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха,— сказал я сердито.— Вот была бы потеха, если б он перерезал мне глотку. Ха-ха-ха.

— Да нет же, signorino. Нет, нет. Он до смерти испугался австрийца. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха,— сказал я.— Убирайтесь вон.

Он вышел, и мне было слышно, как он хохочет за дверью.

Я услышал чьи-то шаги в коридоре. Я оглянулся на дверь. Это была Кэтрин Баркли.

Она вошла в комнату и подошла к постели.

— Здравствуйте, милый! — сказала она. Лицо у нее было свежее и молодое и очень красивое. Я подумал, что никогда не видел такого красивого лица.

— Здравствуйте! — сказал я. Как только я ее увидел, я понял, что влюблен в нее. Все во мне перевернулось. Она посмотрела на дверь и увидела, что никого нет. Тогда она присела на край кровати, наклонилась и поцеловала меня. Я притянул ее к себе и поцеловал и почувствовал, как бьется ее сердце.

— Милая моя,— сказал я.— Как хорошо, что вы приехали.

— Это было нетрудно. Вот остаться, пожалуй, будет труднее.

— Вы должны остаться,— сказал я.— Вы прелесть.— Я был как сумасшедший. Мне не верилось, что она действительно здесь, и я крепко прижимал ее к себе.

— Не надо,— сказала она.— Вы еще нездоровы.

— Я здоров. Иди ко мне.

— Нет. Вы еще слабы.

— Да. Ничего я не слаб. Иди.

— Вы меня любите?

— Я тебя очень люблю. Я просто с ума схожу. Ну иди же.

— Слышите, как сердце бьется?

— Что мне сердце? Я хочу тебя. Я с ума схожу.

— Вы меня правда любите?

— Перестань говорить об этом. Иди ко мне. Ты слышишь? Иди, Кэтрин.

— Ну, хорошо, но только на минутку.

— Хорошо,— сказал я.— Закрой дверь.

— Нельзя. Сейчас нельзя.

— Иди. Не говори ничего. Иди ко мне.

Кэтрин сидела в кресле у кровати. Дверь в коридор была открыта. Безумие миновало, и мне было так хорошо, как ни разу в жизни.

Она спросила:

— Теперь ты веришь, что я тебя люблю?

— Ты моя дорогая,— сказал я.— Ты останешься здесь. Тебя никуда не переведут. Я с ума схожу от любви к тебе.

— Мы должны быть страшно осторожны. Мы совсем голову потеряли. Так нельзя.

— Ночью можно.

— Мы должны быть страшно осторожны. Ты должен быть осторожен при посторонних.

— Я буду осторожен.

— Ты должен, непременно. Ты хороший. Ты меня любишь, да?

— Не говори об этом. А то я тебя не отпущу.

— Ну, я больше не буду. Ты должен меня отпустить. Мне пора идти, милый, правда.

— Возвращайся сейчас же.

— Я вернусь, как только можно будет.

— До свидания.

— До свидания, хороший мой.

Она вышла. Видит бог, я не хотел влюбляться в нее. Я ни в кого не хотел влюбляться. Но, видит бог, я влюбился и лежал на кровати в миланском госпитале, и всякие мысли кружились у меня в голове, и мне было удивительно хорошо, и наконец в комнату вошла мисс Гэйдж.

— Доктор приезжает,— сказала она.— Он звонил с Комо.

— Когда он будет здесь?

— Он приедет вечером.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

До вечера ничего не произошло. Доктор был тихий, худенький человечек, которого война, казалось, выбила из колеи. С деликатным и утонченным отвращением он извлек из моего бедра несколько мелких стальных осколков. Он применил местную анестезию, или, как он говорил, «замораживание», от которого ткани одеревенели и боль не чувствовалась, пока зонд, скальпель или ланцет не проникали глубже замороженного слоя. Можно было точно определить, где этот слой кончается, и вскоре деликатность доктора истощилась, и он сказал, что лучше прибегнуть к рентгену. Зондирование ничего не дает, сказал он.

Рентгеновский кабинет был при Ospedale Maggiore [1], и доктор, который делал просвечивание, был шумный, ловкий и веселый. Пациента поддерживали за плечи, так что он сам мог видеть на экране самые крупные из инородных тел. Снимки

[1] Главный госпиталь *(итал.)*.

должны были прислать потом. Доктор попросил меня написать в его записной книжке мое имя, полк и что-нибудь на память. Он объявил, что все инородное — безобразие, мерзость, гадость. Австрийцы просто сукины дети. Скольких я убил? Я не убивал ни одного, но мне очень хотелось сказать ему приятное, и я сказал, что убил тьму австрийцев. Со мной была мисс Гэйдж, и доктор обнял ее за талию и сказал, что она прекраснее Клеопатры. Понятно ей? Клеопатра — бывшая египетская царица. Да, как бог свят, она прекраснее. Санитарная машина отвезла нас обратно, в наш госпиталь, и через некоторое время, после многих перекладываний с носилок на носилки, я наконец очутился наверху, в своей постели. После обеда прибыли снимки; доктор пообещал, что, как бог свят, они будут готовы после обеда, и сдержал обещание. Кэтрин Баркли показала мне снимки. Они были в красных конвертах, и она вынула их из конвертов, и мы вместе рассматривали их на свет.

— Это правая нога,— сказала она и вложила снимок опять в конверт.— А это левая.

— Положи их куда-нибудь,— сказал я,— а сама иди ко мне.

— Нельзя,— сказала она.— Я пришла только на минуточку, показать тебе снимки.

Она ушла, и я остался один. День был жаркий, и мне очень надоело лежать в постели. Я попросил швейцара пойти купить мне газеты, все газеты, какие только можно достать.

Пока я его дожидался, в комнату вошли три врача. Я давно заметил, что врачи, которым не хватает опыта, склонны прибегать друг к другу за помощью и советом. Врач, который не в состоянии как следует вырезать вам аппендикс, пошлет вас к другому, который не сумеет толком удалить вам гланды. Эти три врача были тоже из таких.

— Вот наш молодой человек,— сказал госпитальный врач, тот, у которого были деликатные движения.

— Здравствуйте,— сказал высокий, худой врач с бородой. Третий врач, державший в руках рентгеновские снимки в красных конвертах, ничего не сказал.

— Снимем повязки? — вопросительно произнес врач с бородой.

— Безусловно. Снимите, пожалуйста, повязки, сестра,— сказал госпитальный врач мисс Гэйдж.

Мисс Гэйдж сняла повязки. Я посмотрел на свои ноги. Когда я лежал в полевом госпитале, они были похожи на заветревший мясной фарш. Теперь их покрывала корка, и колено распухло и побелело, а икра обмякла, но гноя не было.

— Очень чисто,— сказал госпитальный врач.— Очень чисто и хорошо.

— Гм,— сказал врач с бородой. Третий врач заглянул через плечо госпитального врача.

— Согните, пожалуйста, колено,— сказал бородатый врач.

— Не могу.

— Проверим функционирование сустава? — вопросительно произнес бородатый врач. У него на рукаве, кроме трех звездочек, была еще полоска. Это означало, что он состоит в чине капитана медицинской службы.

— Безусловно,— сказал госпитальный врач. Вдвоем они осторожно взялись за мою правую ногу и стали сгибать ее.

— Больно,— сказал я.

— Так, так. Еще немножко, доктор.

— Довольно. Дальше не идет,— сказал я.

— Функционирование неполное,— сказал бородатый врач. Он выпрямился.— Разрешите еще раз взглянуть на снимки, доктор.— Третий врач подал ему один из снимков.— Нет. Левую ногу, пожалуйста.

— Это левая нога, доктор.

— Да, верно. Я смотрел не с той стороны.— Он вернул снимок. Другой снимок он разглядывал несколько минут.— Видите, доктор? — Он указал на одно из инородных тел, ясно и отчетливо видное на свет. Они рассматривали снимок еще несколько минут.

— Я могу сказать только одно,— сказал бородатый врач в чине капитана.— Это вопрос времени. Месяца три, а возможно, и полгода.

— Безусловно, ведь должна накопиться вновь синовиальная жидкость.

— Безусловно. Это вопрос времени. Я не взял бы на себя вскрыть такой коленный сустав, прежде чем вокруг осколка образуется капсула.

— Вполне разделяю ваше мнение, доктор.

— Для чего полгода? — спросил я.

— Полгода, чтобы вокруг осколка образовалась капсула и можно было без риска вскрыть коленный сустав.

— Я этому не верю,— сказал я.

— Вы хотите сохранить ногу, молодой человек?

— Нет,— сказал я.

— Что?

— Я хочу, чтобы ее отрезали,— сказал я,— так, чтобы можно было приделать к ней крючок.

— Что вы хотите сказать? Крючок?

— Он шутит,— сказал госпитальный врач и очень деликатно потрепал меня по плечу.— Он хочет сохранить ногу. Это очень мужественный молодой человек. Он представлен к серебряной медали за храбрость.

— От души поздравляю,— сказал врач в чине капитана. Он пожал мне руку.— Я могу только сказать, что во избежание риска необходимо выждать, по крайней мере, полгода, прежде чем вскрывать такое колено. Разумеется, вы вольны придерживаться другого мнения.

— Благодарю вас,— сказал я.— Ваше мнение для меня очень ценно.

Врач в чине капитана взглянул на часы.

— Нам пора идти,— сказал он.— Желаю вам всего хорошего.

— Вам также всего хорошего и большое спасибо,— сказал я.

Я пожал руку третьему врачу: «Capitano Varini — tenente Enrgy»,— и все трое вышли из комнаты.

— Мисс Гэйдж,— позвал я. Она вошла.— Пожалуйста, попросите госпитального врача еще на минутку ко мне.

Он пришел, держа кепи в руке, и стал у кровати.

— Вы хотели меня видеть?

— Да. Я не могу ждать операции полгода. Господи, доктор, приходилось вам когда-нибудь полгода лежать в постели?

— Вы не будете все время лежать. Сначала вам нужно будет погреть раны на солнце. Потом вы начнете ходить на костылях.

— Полгода, а потом операция?

— Это наименее рискованный путь. Нужно выждать, когда вокруг инородных тел образуется капсула и снова накопится синовиальная жидкость. Тогда можно без риска вскрыть коленный сустав.

— А вы сами уверены, что мне нужно так долго ждать?

— Это наименее рискованный путь.

— Кто этот врач в чине капитана?

— Это очень хороший миланский хирург.

— Ведь он в чине капитана, правда?

— Да, но он очень хороший хирург.

— Я не желаю, чтобы в моей ноге копался какой-то капитан. Если бы он чего-нибудь стоил, он был бы майором. Я знаю, что такое капитан, доктор.

— Он очень хороший хирург, и я с его мнением считаюсь больше, чем с чьим бы то ни было.

— Можно показать мою ногу другому хирургу?

— Безусловно, если вы захотите. Но я лично последовал бы совету доктора Варелла.

— Вы можете пригласить ко мне другого хирурга?

— Я приглашу Валентини.

— Кто он такой?

— Хирург из Ospedale Maggiore.

— Идет. Я вам буду очень признателен. Поймите, доктор, не могу я полгода лежать в постели.

— Вы не будете лежать в постели. Сначала вы будете принимать солнечные ванны. Потом можно перейти к легким упражнениям. Потом, когда образуется капсула, мы сделаем операцию.

— Но я не могу ждать полгода.

Доктор деликатным движением погладил кепи, которое он держал в руке, и улыбнулся.

— Вам так не терпится возвратиться на фронт?

— А почему бы и нет?

— Как это прекрасно! — сказал он.— Благородный молодой человек.— Он наклонился и очень деликатно поцеловал меня в лоб.— Я пошлю за Валентини. Не волнуйтесь и не нервничайте. Будьте умницей.

— Стакан вина, доктор? — предложил я.

— Нет, благодарю. Я не пью.

— Ну, один стаканчик.— Я позвонил, чтобы швейцар принес стаканы.

— Нет, нет, благодарю вас, меня ждут.

— До свидания,— сказал я.

— До свидания.

Спустя два часа в комнату вошел доктор Валентини. Он очень торопился, и кончики его усов торчали кверху. Он был в чине майора, у него было загорелое лицо, и он все время смеялся.

— Как это вас угораздило? — сказал он.— Ну-ка, покажите снимки. Так. Так. Вот оно что. Да вы, я вижу, здоровы, как бык. А кто эта хорошенькая девушка? Ваша возлюбленная? Так я и думал. Уж эта мне чертова война! Здесь болит? Вы молодец. Починим, будете как новенький. Тут больно? Еще бы не больно. Как они любят делать больно, эти доктора. А чем вас до сих пор лечили? Эта девушка говорит по-итальянски? Надо ее выучить. Очаровательная девушка. Я бы взялся давать ей уроки.

Я сам лягу в этот госпиталь. Нет, лучше я буду бесплатно принимать у нее все роды. Она понимает, что я говорю? Она вам принесет хорошего мальчишку. Светловолосого, как она сама. Так, хорошо. Так, отлично. Очаровательная девушка. Спросите ее, не согласится ли она со мной поужинать. Нет, я не хочу ее у вас отбивать. Спасибо. Большое вам спасибо, мисс. Вот и все. Вот и все, что я хотел знать.— Он похлопал меня по плечу.— Повязку накладывать не надо.

— Стакан вина, доктор Валентини?

— Вина? Ну конечно... Десять стаканов. Где оно у вас?

— В шкафу. Мисс Баркли достанет бутылку.

— Ваше здоровье. Ваше здоровье, мисс. Очаровательная девушка. Я вам принесу вина получше этого.— Он вытер усы.

— Когда, по-вашему, можно делать операцию?

— Завтра утром. Не раньше. Нужно освободить кишечник. Вычистить из вас все. Я зайду к старушке внизу и распоряжусь. До свидания. Завтра увидимся. Я вам принесу вина получше этого. А у вас здесь очень славно. До свидания, до завтра. Выспитесь хорошенько. Я приду рано.

Он помахал мне с порога, его усы топорщились, коричневое лицо улыбалось. На рукаве у него была звездочка в окаймлении, потому что он был в чине майора.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В ту почь летучая мышь влетела в комнату через раскрытую дверь балкона, в которую нам видна была ночь над крышами города. В комнате было темно, только ночь над городом слабо светила в балконную дверь, и летучая мышь не испугалась и стала носиться по комнате, словно под открытым небом. Мы лежали и смотрели на нее, и, должно быть, она нас не видела, потому что мы лежали очень тихо. Когда она улетела, мы увидели луч прожектора и смотрели, как светлая полоса передвигалась по небу и потом исчезла, и снова стало темно. Среди ночи поднялся ветер, и мы услышали голоса артиллеристов у зенитного орудия на соседней крыше. Было прохладно, и они надевали плащи. Я вдруг встревожился среди ночи, как бы кто не вошел, но Кэтрин сказала, что все спят. Один раз среди ночи мы заснули, и когда я проснулся, Кэтрин не было в комнате, но я услышал ее шаги в коридоре, и дверь отворилась, и она подошла к постели и сказала, что все в порядке: она была внизу, и там все спят. Она подходила к двери мисс Ван-Кампен

и слышала, как та дышит во сне. Она принесла сухих галет, и мы ели их, запивая вермутом. Мы были очень голодны, но она сказала, что утром все это нужно будет из меня вычистить. Под утро, когда стало светать, я заснул снова, и когда проснулся, увидел, что ее снова нет в комнате. Она пришла, свежая и красивая, и села на кровать, и пока я лежал с градусником во рту, взошло солнце, и мы почувствовали запах росы на крышах и потом запах кофе, который варили артиллеристы у орудия на соседней крыше.

— Сейчас хорошо бы погулять,— сказала Кэтрин.— Будь тут кресло, я могла бы вывезти тебя.

— А как бы я сел в кресло?

— Уж как-нибудь.

— Вот поехать бы в парк, позавтракать на воздухе.— Я поглядел в отворенную дверь.

— Нет, сейчас мы займемся другим делом,— сказала она.— Нужно приготовить тебя к приходу твоего друга доктора Валентини.

— А правда замечательный доктор?

— Мне он не так понравился, как тебе. Но он, должно быть, хороший врач.

— Иди ко мне, Кэтрин. Слышишь? — сказал я.

— Нельзя. А как хорошо было ночью!

— А нельзя тебе взять дежурство и на эту ночь?

— Я и буду дежурить, вероятно. Но только ты меня не захочешь.

— Захочу.

— Не захочешь. Тебе еще никогда не делали операции. Ты не знаешь, какое у тебя будет самочувствие.

— Знаю. Очень хорошее.

— Тебя будет тошнить, и тебе не до меня будет.

— Ну, тогда иди ко мне сейчас.

— Нет,— сказала она.— Мне нужно вычертить кривую твоей температуры, милый, и приготовить тебя.

— Значит, ты меня не любишь, раз не хочешь прийти.

— Какой ты глупый! — Она поцеловала меня.— Ну вот, кривая готова. Температура все время нормальная. У тебя такая чудесная температура.

— А ты вся чудесная.

— Нет, нет. Вот у тебя температура чудесная. Я страшно горжусь твоей температурой.

— Наверно, у всех наших детей будет замечательная температура.

— Боюсь, что у наших детей будет отвратительная температура.

— А что нужно сделать, чтобы приготовить меня для Валентини?

— Пустяки, только это не очень приятно.

— Мне жаль, что тебе приходится с этим возиться.

— А мне нисколько. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой до тебя дотрагивался. Я глупая. Я взбешусь, если кто-нибудь до тебя дотронется.

— Даже Фергюсон?

— Особенно Фергюсон, и Гэйдж, и эта, как ее?

— Уокер?

— Вот-вот. Слишком много здесь сестер. Если не прибудут еще раненые, нас переведут отсюда. Здесь теперь четыре сестры.

— Наверное, прибудут еще. Четыре сестры не так уж много. Госпиталь большой.

— Надеюсь, что прибудут. Что мне делать, если меня захотят перевести отсюда? А ведь так и будет, если не прибавится раненых.

— Я тогда тоже уеду.

— Не говори глупостей. Ты еще не можешь никуда ехать. Но ты поскорее поправляйся, милый, и тогда мы с тобой куда-нибудь поедем.

— А потом что?

— Может быть, война кончится. Не вечно же будут воевать?

— Я поправлюсь,— сказал я.— Валентини меня вылечит.

— Еще бы, с такими-то усами! Только знаешь, милый, когда тебе дадут эфир, думай о чем-нибудь другом — только не о нас с тобой. А то ведь под наркозом многие болтают.

— О чем же мне думать?

— О чем хочешь. О чем хочешь, только не о нас с тобой. Думай о своих родных. Или о какой-нибудь другой девушке.

— Нет.

— Ну, тогда читай молитву. Это произведет прекрасное впечатление.

— А может быть, я не буду болтать.

— Возможно. Не все ведь болтают.

— Вот я и не буду.

— Не хвались, милый. Пожалуйста, не хвались. Ты такой хороший, не нужно тебе хвалиться.

— Я ни слова не скажу.

— Опять ты хвалишься, милый. Совсем тебе ни к чему хвалиться. Просто, когда тебе скажут дышать глубже, начни читать молитву, или стихи, или еще что-нибудь. Тогда все будет хорошо, и я буду гордиться тобой. Я вообще горжусь тобой. У тебя такая чудесная температура, и ты спишь, как маленький мальчик, обнимаешь подушку и думаешь, что это я. А может быть, не я, а другая? Какая-нибудь итальянская красавица?

— Нет, ты.

— Ну конечно, я. И я тебя очень люблю, и Валентин приведет твою ногу в полный порядок. Как хорошо, что мне не придется быть при этом.

— А ты будешь дежурить ночью?

— Да. Но тебе будет все равно.

— Увидим.

— Ну, вот и все, милый. Теперь ты совсем чистый, и снаружи и внутри. Скажи мне вот что: сколько женщин ты любил в своей жизни?

— Ни одной.

— И меня нет?

— Тебя — да.

— А скольких еще?

— Ни одной.

— А скольких — как это говорят? — скольких ты знал?

— Ни одной.

— Ты говоришь неправду.

— Да.

— Так и надо. Ты мне все время говори неправду. Я так и хочу. Они были хорошенькие?

— Я ни одной не знал.

— Правильно. Они были очень привлекательные?

— Понятия не имею.

— Ты только мой. Это верно, и больше ты никогда ничей не был. Но мне все равно, если даже и не так. Я их не боюсь. Только ты мне не рассказывай про них. А когда женщина говорит мужчине про то, сколько это стоит?

— Не знаю.

— Ну конечно, ты не знаешь. А она говорит ему, что любит его? Скажи мне. Я хочу знать.

— Да. Если он этого хочет.

— А он говорит ей, что любит ее? Скажи. Это очень важно.

— Говорит, если хочет.

— Но ты никогда не говорил? Верно?

— Нет.

— Нет, верно? Скажи мне правду.

— Нет,— солгал я.

— Ты не говорил,— сказала она.— Я так и знала, что ты не говорил. Ты милый, и я тебя очень, очень люблю.

Солнце высоко стояло над крышами, и я видел шпили собора с солнечными бликами на них. Я был чист снаружи и внутри и ожидал прихода врача.

— Значит, так? — сказала Кэтрин.— Она говорит все, что ему хочется?

— Не всегда.

— А я буду всегда. Я буду всегда говорить все, что ты пожелаешь, и я буду делать все, что ты пожелаешь, и ты никогда не захочешь других женщин, правда? — Она посмотрела на меня радостно.— Я буду делать то, что тебе хочется, и говорить то, что тебе хочется, и тогда все будет чудесно, правда?

— Да.

— Ну, вот ты и готов к операции. А теперь скажи, чего бы тебе хотелось сейчас?

— Иди ко мне.

— Хорошо. Иду.

— Ты моя очень, очень, очень любимая,— сказал я.

— Вот видишь,— сказала она.— Я делаю все, что ты хочешь.

— Ты у меня умница.

— Я только боюсь, что ты еще не совсем мной доволен.

— Ты умница.

— Я хочу того, чего хочешь ты. Меня больше нет. Только то, чего хочешь ты.

— Милая.

— Ты доволен? Правда, ты доволен? Ты не хочешь других женщин?

— Нет.

— Видишь, ты доволен. Я делаю все, что ты хочешь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда я проснулся после операции, было не так, словно я куда-то исчезал. При этом не исчезаешь. Только берет удушье. Это не похоже на смерть, это просто удушье от газа, так что перестаешь чувствовать, а после все равно, как будто был силь-

но пьян, только когда рвет, то одной желчью и потом не делается лучше. В ногах постели я увидел мешки с песком. Они придавливали стержни, торчавшие из гипсовой повязки. Немного погодя я увидел мисс Гэйдж, и она спросила:

— Ну, как?

— Лучше,— сказал я.

— Он прямо чудо сделал с вашим коленом.

— Сколько это длилось?

— Два с половиной часа.

— Я говорил какие-нибудь глупости?

— Нет, нет, ничего. Не разговаривайте. Лежите спокойно.

Меня тошнило, и Кэтрин оказалась права. Мне было все равно, кто дежурит эту ночь.

В госпитале было теперь еще трое, кроме меня: тощий парень из Джорджии, работник Красного Креста, больной малярией, славный парень из Нью-Йорка, тоже тощий на вид, больной малярией и желтухой, и милейший парень, который вздумал отвинтить колпачок от дистанционной трубки австрийского снаряда, чтобы взять себе на память. Это был комбинированный шрапнельно-фугасный снаряд, какими австрийцы пользовались в горах: шрапнель с дистанционной трубкой двойного действия.

Все сестры очень любили Кэтрин Баркли за то, что она без конца готова была дежурить по ночам. Малярики не требовали много забот, а тот, который отвинтил колпачок взрывателя, был с нами в дружбе и звонил ночью только при крайней необходимости, и все свободное от работы время она проводила со мной. Я очень любил ее, и она любила меня. Днем я спал, а когда мы не спали, то писали друг другу записки и пересылали их через Фергюсон. Фергюсон была славная девушка. Я ничего не знал о ней, кроме того, что у нее один брат в пятьдесят второй дивизии, а другой — в Месопотамии и что она очень привязана к Кэтрин Баркли.

— Придете к нам на свадьбу, Ферджи? — спросил я ее как-то.

— Вы никогда не женитесь.

— Женимся.

— Нет, не женитесь.

— Почему?

— Поссоритесь до свадьбы.

— Мы никогда не ссоримся.

— Еще успеете.

— Мы никогда не будем ссориться.

«Прощай, оружие!»

— Значит, умрете. Поссоритесь или умрете. Так всегда бывает. И никто не женится.

Я протянул к ней руку.

— Не трогайте меня,— сказала она.— Я и не думаю плакать. Может быть, у вас все обойдется. Только смотрите, как бы с ней чего-нибудь не случилось. Если что-нибудь с ней случится из-за вас, я вас убью.

— Ничего с ней не случится.

— Ну, так смотрите. Надеюсь, что у вас все обойдется. Сейчас вам хорошо.

— Сейчас нам чудесно.

— Так вот, не ссорьтесь и чтобы с ней ничего не случилось.

— Ладно.

— Смотрите же. Я не желаю, чтоб она осталась с младенцем военного времени на руках.

— Вы славная девушка, Ферджи.

— Ничего не славная. Не подлизывайтесь ко мне. Как ваша нога?

— Прекрасно.

— А голова? — Она дотронулась пальцами до моей макушки. Ощущение было такое, как если трогают затекшую ногу.

— Голова меня никогда не беспокоит.

— От такой шишки легко можно было остаться кретином. Совсем не беспокоит?

— Нет.

— Ваше счастье. Записка готова? Я иду вниз.

— Вот, возьмите,— сказал я.

— Вы должны попросить ее, чтоб она на время отказалась от ночных дежурств. Она очень устает.

— Хорошо. Я ее попрошу.

— Я хотела подежурить ночь, но она мне не дает. Другие рады уступить свою очередь. Можете дать ей немного отдохнуть.

— Хорошо.

— Мисс Ван-Кампен уже поговаривает о том, что вы всегда спите до полудня.

— Этого можно было ожидать.

— Хорошо бы вам настоять, чтоб она несколько ночей не дежурила.

— Я бы и сам хотел.

— Вовсе вы бы не хотели. Но если вы ее уговорите, я буду уважать вас.

— Я ее уговорю.

— Что-то не верится.

Она взяла записку и вышла. Я позвонил, и очень скоро вошла мисс Гэйдж.

— Что случилось?

— Я просто хотел поговорить с вами. Как по-вашему, не пора ли мисс Баркли отдохнуть немного от ночных дежурств? У нее очень усталый вид. Почему она так долго в ночной смене?

Мисс Гэйдж посмотрела на меня.

— Я ваш друг,— сказала она.— Ни к чему вам так со мной разговаривать.

— Что вы хотите сказать?

— Не прикидывайтесь дурачком. Это все, что вам нужно было?

— Выпейте со мной вермуту.

— Хорошо. Но потом я сразу же уйду.— Она достала бутылку из шкафа и поставила на столик стакан.

— Вы берите стакан,— сказал я.— Я буду пить из бутылки.

— За ваше здоровье! — сказала мисс Гэйдж.

— Что там Ван-Кампен говорила насчет того, что я долго сплю по утрам?

— Просто скрипела на эту тему. Она называет вас «наш привилегированный пациент».

— Ну ее к черту!

— Она не злая,— сказала мисс Гэйдж.— Просто она старая и с причудами. Вы ей сразу не понравились.

— Это верно.

— А мне вы нравитесь. И я вам друг. Помните это.

— Вы на редкость славная девушка.

— Бросьте. Я знаю, кто, по-вашему, славный. Как нога?

— Прекрасно.

— Я принесу холодной минеральной воды и полью вам немного. Вероятно, зудит под гипсом. Сегодня жарко.

— Вы славная.

— Сильно зудит?

— Нет. Все очень хорошо.

— Надо поправить мешки с песком.— Она нагнулась.— Я вам друг.

— Я это знаю.

— Нет, вы не знаете. Но когда-нибудь узнаете.

Кэтрин Баркли не дежурила три ночи, но потом она снова пришла. Было так, будто каждый из нас уезжал в долгое путешествие и теперь мы встретились снова.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Нам чудесно жилось в то лето. Когда мне разрешили вставать, мы стали ездить в парк на прогулку. Я помню коляску, медленно переступающую лошадь, спину кучера впереди и его лакированный цилиндр, и Кэтрин Баркли рядом со мной на сиденье. Если наши руки соприкасались, хотя бы слегка ее рука касалась моей, это нас волновало. Позднее, когда я уже мог передвигаться на костылях, мы ходили обедать к Биффи или в «Гран-Италиа» и выбирали столик снаружи, в Galleria. Официанты входили и выходили, и прохожие шли мимо, и на покрытых скатертями столах стояли свечи с абажурами, и вскоре нашим излюбленным местом стал «Гран-Италиа», и Жорж, метрдотель, всегда оставлял нам столик. Он был замечательный метрдотель, и мы предоставляли ему выбирать меню, пока мы сидели, глядя на прохожих, и на тонувшую в сумерках Galleria, и друг на друга. Мы пили сухое белое капри, стоявшее в ведерке со льдом; впрочем, мы перепробовали много других вин: фреза, барбера и сладкие белые вина. Из-за войны в ресторане не было специального официанта для вин, и Жорж смущенно улыбался, когда я спрашивал такие вина, как фреза.

— Что можно сказать о стране, где делают вино, имеющее вкус клубники,— сказал он.

— А чем плохо? — спросила Кэтрин.— Мне даже нравится.

— Попробуйте, леди, если вам угодно,— сказал Жорж.— Но позвольте мне захватить бутылочку марго для tenente.

— Я тоже хочу попробовать, Жорж.

— Сэр, я бы вам не советовал. Оно и вкуса клубники не имеет.

— А вдруг? — сказала Кэтрин.— Это было бы просто замечательно.

— Я сейчас подам его,— сказал Жорж,— и, когда желание леди будет удовлетворено, я его уберу.

Вино было не из важных. Жорж был прав, оно не имело и вкуса клубники. Мы снова перешли на капри. Один раз у меня не хватило денег, и Жорж одолжил мне сто лир.

— Ничего, ничего, tenente,— сказал он.— Бывает со всяким. Я знаю, как это бывает. Если вам или леди понадобятся деньги, у меня всегда найдутся.

После обеда мы шли по Galleria мимо других ресторанов и мимо магазинов со спущенными железными шторами и останав-

ливались у киоска, где продавались сандвичи: сандвичи с ветчиной и латуком и сандвичи с анчоусами на крошечных румяных булочках, не длиннее указательного пальца. Мы брали их с собой, чтоб съесть, когда проголодаемся ночью. Потом мы садились в открытую коляску у выхода из Galleria против собора и возвращались в госпиталь. Швейцар выходил на крыльцо госпиталя помочь мне управиться с костылями. Я расплачивался с кучером, и мы ехали наверх в лифте. Кэтрин выходила в том этаже, где жили сестры, а я поднимался выше и на костылях шел по коридору в свою комнату; иногда я раздевался и ложился в постель, а иногда сидел на балконе, положив ногу на стул, и следил за полетом ласточек над крышами, и ждал Кэтрин. Когда она приходила наверх, было так, будто она вернулась из далекого путешествия, и я шел на костылях по коридору вместе с нею, и нес тазики, и дожидался у дверей или входил с нею вместе — смотря по тому, был больной из наших друзей или нет, и, когда она оканчивала все свои дела, мы сидели на балконе моей комнаты. Потом я ложился в постель, и когда все уже спали и она была уверена, что никто не позовет, она приходила ко мне. Я любил распускать ее волосы, и она сидела на кровати, не шевелясь, только иногда вдруг быстро наклонялась поцеловать меня, и я вынимал шпильки и клал их на простыню, и узел на затылке едва держался, и я смотрел, как она сидит, не шевелясь, и потом вынимал две последние шпильки, и волосы распускались совсем, и она наклоняла голову, и они закрывали нас обоих, и было как будто в палатке или за водопадом.

У нее были удивительно красивые волосы, и я иногда лежал и смотрел, как она закручивает их при свете, который падал из открытой двери, и они даже ночью блестели, как блестит иногда вода перед самым рассветом. У нее было чудесное лицо и тело и чудесная гладкая кожа. Мы лежали рядом, и я кончиками пальцев трогал ее щеки и лоб, и под глазами, и подбородок, и шею и говорил: «Совсем как клавиши рояля»,— и тогда она гладила пальцами мой подбородок и говорила: «Совсем как наждак, если им водить по клавишам рояля».

— Что, колется?

— Да нет же, милый. Это я просто чтоб подразнить тебя.

Ночью все было чудесно, и если мы могли хотя бы касаться друг друга — это уже было счастье. Помимо больших радостей, у нас еще было множество мелких выражений любви, а когда мы бывали не вместе, мы старались внушать друг другу мысли

на расстоянии. Иногда это как будто удавалось, но, вероятно, это было потому, что, в сущности, мы оба думали об одном и том же.

Мы говорили друг другу, что в тот день, когда она приехала в госпиталь, мы поженились, и мы считали месяцы со дня своей свадьбы. Я хотел, чтобы мы на самом деле поженились, но Кэтрин сказала, что тогда ей придется уехать, и что как только мы начнем улаживать формальности, за ней станут следить и нас разлучат. Придется все делать по итальянским брачным законам, и с формальностями будет страшная возня. Я хотел, чтобы мы поженились на самом деле, потому что меня беспокоила мысль о ребенке, когда эта мысль приходила мне в голову, но для себя мы считали, что мы женаты, и беспокоились не так уж сильно, и, пожалуй, мне нравилось, что мы не женаты на самом деле. Я помню, как один раз ночью мы заговорили об этом и Кэтрин сказала:

— Но, милый, ведь мне сейчас же придется уехать отсюда.

— А может быть, не придется.

— Непременно придется. Меня отправят домой, и мы не увидимся, пока не кончится война.

— Я буду приезжать в отпуск.

— Нельзя успеть в Шотландию и обратно за время отпуска. И потом, я от тебя не уеду. Для чего нам жениться сейчас? Мы и так женаты. Уж больше женатыми и быть нельзя.

— Я хочу этого только из-за тебя.

— Никакой «меня» нет. Я — это ты. Пожалуйста, не выдумывай отдельной «меня».

— Я думал, девушки всегда хотят замуж.

— Так оно и есть. Но, милый, ведь я замужем. Я замужем за тобой. Разве я плохая жена?

— Ты чудесная жена.

— Видишь ли, милый, я уже один раз пробовала дожидаться замужества.

— Я не хочу слышать об этом.

— Ты знаешь, что я люблю только тебя одного. Не все ли тебе равно, что кто-то другой любил меня?

— Не все равно.

— Ведь он погиб, а ты получил все, что же тут ревновать?

— Пусть так, но я не хочу слышать об этом.

— Бедненький мой! А вот я знаю, что у тебя были всякие женщины, и меня это не трогает.

— Нельзя ли нам пожениться как-нибудь тайно? Вдруг со мной что-нибудь случится или у тебя будет ребенок.

— Брак существует только церковный или гражданский. А тайно мы и так женаты. Видишь ли, милый, это было бы для меня очень важно, если б я была религиозна. Но я не религиозна.

— Ты дала мне святого Антония.

— Это просто на счастье. Мне тоже его дали.

— Значит, тебя ничто не тревожит?

— Только мысль о том, что нас могут разлучить. Ты моя религия. Ты для меня все на свете.

— Ну, хорошо. Но я женюсь на тебе, как только ты захочешь.

— Ты так говоришь, милый, точно твой долг сделать из меня порядочную женщину. Я вполне порядочная женщина. Не может быть ничего стыдного в том, что дает счастье и гордость. Разве ты не счастлив?

— Но ты никогда не уйдешь от меня к другому?

— Нет, милый. Я от тебя никогда ни к кому не уйду. Мне кажется, с нами случится все самое ужасное. Но не нужно тревожиться об этом.

— Я и не тревожусь. Но я тебя так люблю, а ты уже до меня кого-то любила.

— А что было дальше?

— Он погиб.

— Да, а если бы это не случилось, я бы не встретила тебя. Меня нельзя назвать непостоянной, милый. У меня много недостатков, но я очень постоянна. Увидишь, тебе даже надоест мое постоянство.

— Я скоро должен буду вернуться на фронт.

— Не будем думать об этом, пока ты еще здесь. Понимаешь, милый, я счастлива, и нам хорошо вдвоем. Я очень давно уже не была счастлива, и, может быть, когда мы с тобой встретились, я была почти сумасшедшая. Может быть, совсем сумасшедшая. Но теперь мы счастливы, и мы любим друг друга. Ну, давай будем просто счастливы. Ведь ты счастлив, правда? Может быть, тебе не нравится во мне что-нибудь? Ну, что мне сделать, чтобы тебе было приятно? Хочешь, я распущу волосы? Хочешь?

— Да, а потом ложись тут.

— Хорошо. Только раньше обойду больных.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Так проходило лето. О днях я помню немногое, только то, что было очень жарко и газеты были полны побед. У меня был здоровый организм, и раны быстро заживали, так что очень скоро после того, как я впервые встал на костыли, я смог бросить их и ходить только с палкой. Тогда я начал в Ospedale Maggiore лечебные процедуры для сгибания колен, механотерапию, прогревание фиолетовыми лучами в зеркальном ящике, массаж и ванны. Я ходил туда после обеда и на обратном пути заходил в кафе, и пил вино, и читал газеты. Я не бродил по городу; из кафе мне всегда хотелось вернуться прямо в госпиталь. Мне хотелось только одного: видеть Кэтрин. Все остальное время я рад был как-нибудь убить. Чаще всего по утрам я спал, а после обеда иногда ездил на скачки и потом на механотерапию. Иногда я заходил в англо-американский клуб и сидел в глубоком кожаном кресле перед окном и читал журналы. Нам уже не разрешалось выходить вдвоем после того, как я бросил костыли, потому что неприлично было сестре гулять одной с больным, который по виду не нуждался в помощи, и поэтому днем мы редко бывали вместе. Иногда, впрочем, удавалось пообедать вместе где-нибудь в городе, если и Фергюсон была с нами. Мы с Кэтрин считались друзьями, и мисс Ван-Кампен принимала это положение, потому что Кэтрин много помогала ей в госпитале. Она решила, что Кэтрин из очень хорошей семьи, и это окончательно расположило ее в нашу пользу. Мисс Ван-Кампен придавала большое значение происхождению и сама принадлежала к высшему обществу. К тому же в госпитале было немало дел и хлопот, и это отвлекало ее. Лето было жаркое, и у меня в Милане было много знакомых, но я всегда спешил вернуться в госпиталь с наступлением сумерек. Фронт продвинулся к Карсо, уже был взят Кук, на другом берегу против Плавы, и теперь наступали на плато Баинзицца. На западном фронте дела были не так хороши. Казалось, что война тянется уже очень долго. Мы теперь тоже вступили в войну, но я считал, что понадобится не меньше года, чтобы переправить достаточное количество войск и подготовить их к бою. На следующий год можно было ждать много плохого, а может быть, много хорошего. Итальянские войска несли огромные потери. Я не представлял себе, как это может продолжаться. Даже если займут все плато Баинзицца и Монте-Сан-Габриеле, дальше есть множество гор, которые останутся у австрийцев. Я видел их. Все самые высокие горы дальше. На Карсо удалось продви-

нуться вперед, но внизу, у моря, болота и топи. Наполеон разбил бы австрийцев в долине. Он никогда не стал бы сражаться с ними в горах. Он дал бы им спуститься и разбил бы их под Вероной. Но на западном фронте все еще никто никого не разбивал. Может быть, войны теперь не кончаются победой. Может быть, они вообще не кончаются. Может быть, это новая Столетняя война. Я положил газету на место и вышел из клуба. Я осторожно спустился по ступеням и пошел по Виа-Манцони. Перед «Гранд-отелем» я увидел старика Мейерса и его жену, выходивших из экипажа. Они возвращались со скачек. Она была женщина с большим бюстом, одетая в блестящий черный шелк. Он был маленький и старый, с седыми усами, страдал плоскостопием и ходил, опираясь на палку.

— Как поживаете? Как здоровье? — Она подала мне руку.

— Привет! — сказал Мейерс.

— Ну, как скачки?

— Замечательно. Просто чудесно. Я три раза выиграла.

— А как ваши дела? — спросил я Мейерса.

— Ничего. Я выиграл один раз.

— Я никогда не знаю, как его дела,— сказала миссис Мейерс.— Он мне никогда не говорит.

— Мои дела хороши,— сказал Мейерс. Он старался быть сердечным.— Надо бы вам как-нибудь съездить на скачки.— Когда он говорил, создавалось впечатление, что он смотрит не на вас или что он принимает вас за кого-то другого.

— Непременно,— сказал я.

— Я приеду в госпиталь навестить вас,— сказала миссис Мейерс.— У меня кое-что есть для моих мальчиков. Вы ведь все мои мальчики. Вы все мои милые мальчики.

— Вам будут там очень рады.

— Такие милые мальчики. И вы тоже. Вы один из моих мальчиков.

— Мне пора идти,— сказал я.

— Передайте от меня привет всем моим милым мальчикам. Я им привезу много вкусных вещей. Я запасла хорошей марсалы и печенья.

— До свидания,— сказал я.— Вам все будут страшно рады.

— До свидания,— сказал Мейерс.— Заходите в Galleria. Вы знаете мой столик. Мы там бываем каждый день.— Я пошел дальше по улице. Я хотел купить в «Кова» что-нибудь для Кэтрин. Войдя в «Кова», я выбрал коробку шоколада, и пока продавщица завертывала ее, я подошел к стойке бара. Там сидели двое англичан и несколько летчиков. Я выпил мартини, ни с

кем не заговаривая, расплатился, взял у кондитерского прилавка свою коробку шоколада и пошел в госпиталь. Перед небольшим баром на улице, которая ведет к «Ла Скала», я увидел несколько знакомых: вице-консула, двух молодых людей, учившихся пению, и Этторе Моретти, итальянца из Сан-Франциско, служившего в итальянской армии. Я зашел выпить с ними. Одного из певцов звали Ральф Симмонс, и он пел под именем Энрико дель Кредо. Я не имел представления о том, как он поет, но он всегда был на пороге каких-то великих событий. Он был толст, и у него шелушилась кожа вокруг носа и рта, точно при сенном насморке. Он только что возвратился после выступления в Пьяченца. Он пел в «Тоске», и все было изумительно.

— Да ведь вы меня никогда не слышали,— сказал он.

— Когда вы будете петь здесь?

— Осенью я выступлю в «Ла Скала».

— Пари держу, что в него будут швырять скамейками,— сказал Этторе.— Вы слышали про то, как в него швыряли скамейками в Модене?

— Это враки.

— В него швыряли скамейками,— сказал Этторе.— Я был при этом. Я сам швырнул шесть скамеек.

— Вы просто жалкий макаронник из Фриско.

— У него скверное итальянское произношение,— сказал Этторе.— Где бы он ни выступал, в него швыряют скамейками.

— Во всей северной Италии нет театра хуже, чем в Пьяченца,— сказал другой тенор.— Верьте мне, препаршивый театришко.— Этого тенора звали Эдгар Саундерс, и пел он под именем Эдуардо Джованни.

— Жаль, меня там не было, а то бы я посмотрел, как в вас швыряли скамейками,— сказал Этторе.— Вы же не умеете петь по-итальянски.

— Он дурачок,— сказал Эдгар Саундерс.— Швырять скамейками — ничего умнее он не может придумать.

— Ничего умнее публика не может придумать, когда вы поете,— сказал Этторе.— А потом вы возвращаетесь в Америку и рассказываете о своих триумфах в «Ла Скала». Да вас после первой же ноты выгнали бы из «Ла Скала».

— Я буду петь в «Ла Скала»,— сказал Симмонс.— В октябре я буду петь в «Тоске».

— Придется пойти, Мак,— сказал Этторе вице-консулу.— Им может понадобиться защита.

— Может быть, американская армия подоспеет к ним на

защиту,— сказал вице-консул.— Хотите еще стакан, Симмонс? Саундерс, еще стаканчик?

— Давайте,— сказал Саундерс.

— Говорят, вы получаете серебряную медаль,— сказал мне Этторе.— А как вас представили — за какие заслуги?

— Не знаю. Я еще вообще не знаю, получу ли.

— Получите. Ах, черт, что будет с девушками в «Кова»! Они вообразят, что вы один убили две сотни австрийцев или захватили целый окоп. Уверяю вас, я за свои отличия честно поработал.

— Сколько их у вас, Этторе? — спросил вице-консул.

— У него все, какие только бывают,— сказал Симмонс.— Это же ради него ведется война.

— Я был представлен два раза к бронзовой медали и три раза к серебряной,— сказал Этторе.— Но получил только одну.

— А что случилось с остальными? — спросил Симмонс.

— Операция неудачно закончилась,— сказал Этторе.— Если операции заканчиваются неудачно, медалей не дают.

— Сколько раз вы были ранены, Этторе?

— Три раза тяжело. У меня три нашивки за ранения. Вот смотрите.— Он потянул кверху сукно рукава. Нашивки были параллельные серебряные полоски на черном фоне, настроченные на рукав дюймов на восемь ниже плеча.

— У вас ведь тоже есть одна,— сказал мне Этторе.— Уверяю вас, это очень хорошо — иметь нашивки. Я их предпочитаю медалям. Уверяю вас, дружище, три такие штучки — это уже кое-что. Чтоб получить хоть одну, нужно три месяца пролежать в госпитале.

— Куда вы были ранены, Этторе? — спросил вице-консул.

Этторе засучил рукав.

— Вот сюда.— Он показал длинный красный гладкий рубец.— Потом сюда, в ногу. Я не могу показать, потому что это под обмоткой; и еще в ступню. В ноге омертвел кусочек кости, и от него скверно пахнет. Каждое утро я выбираю оттуда осколки, но запах не проходит.

— Чем это вас? — спросил Симмонс.

— Ручной гранатой. Такая штука, вроде толкушки для картофеля. Так и снесла кусок ноги с одной стороны. Вам эти толкушки знакомы? — Он обернулся ко мне.

— Конечно.

— Я видел, как этот мерзавец ее бросил,— сказал Этторе.— Меня сбило с ног, и я уже думал, что песенка спета, но от этих толкушек, в общем, мало проку. Я застрелил мерзавца из вин-

товки. Я всегда ношу винтовку, чтобы нельзя было узнать во мне офицера.

— Какой у него был вид? — спросил Симмонс.

— И всего только одна граната была у мерзавца,— сказал Этторе.— Не знаю, зачем он ее бросил. Наверно, он давно ждал случая бросить гранату. Никогда не видел настоящего боя, должно быть. Я положил мерзавца на месте.

— Какой у него был вид, когда вы его застрелили?— спросил Симмонс.

— А я почем знаю? — сказал Этторе.— Я выстрелил ему в живот. Я боялся промахнуться, если буду стрелять в голову.

— Давно вы в офицерском чине, Этторе? — спросил я.

— Два года. Я скоро буду капитаном. А вы давно в чине лейтенанта?

— Третий год.

— Вы не можете быть капитаном, потому что вы плохо знаете итальянский язык,— сказал Этторе.— Говорить вы умеете, но читаете и пишете плохо. Чтоб быть капитаном, нужно иметь образование. Почему вы не переходите в американскую армию?

— Может быть, перейду.

— Я бы тоже ничего против не имел. Сколько получает американский капитан, Мак?

— Не знаю точно. Около двухсот пятидесяти долларов, кажется.

— Ах, черт! Чего только не сделаешь на двести пятьдесят долларов. Переходили бы вы скорей в американскую армию, Фред. Может, и меня тогда пристроите.

— Охотно.

— Я умею командовать ротой по-итальянски. Мне ничего не стоит выучиться и по-английски.

— Вы будете генералом,— сказал Симмонс.

— Нет, для генерала я слишком мало знаю. Генерал должен знать чертову гибель всяких вещей. Молодчики вроде вас всегда воображают, что война — пустое дело. У вас бы смекалки не хватило даже для капрала.

— Слава богу, мне этого и не нужно,— сказал Симмонс.

— Может, еще понадобится. Вот как призовут всех таких лежебок... Ах, черт, хотел бы я, чтобы вы оба попали ко мне во взвод. И Мак тоже. Я бы сделал вас своим вестовым, Мак.

— Вы славный малый, Этторе,— сказал Мак.— Но боюсь, что вы милитарист.

— Я буду полковником еще до окончания войны,— сказал Этторе.

— Если только вас не убьют раньше.

— Не убьют.— Он дотронулся большим и указательным пальцами до звездочек на воротнике.— Видали, что я сделал? Всегда нужно дотронуться до звездочек, когда кто-нибудь говорит о смерти на войне.

— Ну, пошли, Сим,— сказал Саундерс, вставая.

— Поехали.

— До свидания,— сказал я.— Мне тоже пора.— Часы в баре показывали без четверти шесть.— Ciao, Этторе.

— Ciao, Фред,— сказал Этторе.— Это здорово, что вы получите серебряную медаль.

— Не знаю, получу ли.

— Наверняка получите, Фред. Я слышал, что вы наверняка получите ее.

— Ну, до свидания,— сказал я.— Смотрите не попадите в беду, Этторе.

— Не беспокойтесь обо мпе. Я не пью и не шляюсь. Я не забулдыга и не бабник. Я знаю, что хорошо и что плохо.

— До свидания,— сказал я.— Я рад, что вас произведут в капитаны.

— Мне не придется ждать производства. Я стану капитаном за боевые заслуги. Вы же знаете. Три звездочки со скрещенными шпагами и короной сверху. Вот это я и есть.

— Всего хорошего.

— Всего хорошего. Когда вы возвращаетесь на фронт?

— Теперь уже скоро.

— Ну, еще увидимся.

— До свидания.

— До свидания. Не хворайте.

Я пошел переулком, откуда через проходной двор можно было выйти к госпиталю. Этторе было двадцать три года. Он вырос у дяди в Сан-Франциско и только что приехал погостить к родителям в Турин, когда объявили войну. У него была сестра, которая вместе с ним воспитывалась у американского дяди и в этом году должна была окончить педагогический колледж. Он был из тех стандартизованных героев, которые на всех нагоняют скуку. Кэтрин его терпеть не могла.

— У нас тоже есть герои,— говорила она,— но знаешь, милый, они обычно гораздо тише.

— Мне он не мешает.

— Мне тоже, но уж очень он тщеславный, и потом, он на меня нагоняет скуку, скуку, скуку.

— Он и на меня нагоняет скуку.

— Ты это для меня говоришь, милый. Но это ни к чему. Можно представить себе его на фронте, и, наверно, он там делает свое дело, но я таких мальчишек не выношу.

— Ну, и не стоит обращать на него внимание.

— Это ты опять для меня говоришь, и я буду стараться, чтоб он мне нравился, но, право же, он противный, противный мальчишка.

— Он сегодня говорил, что будет капитаном.

— Как хорошо! — сказала Кэтрин.— Он, наверно, очень доволен.

— Ты бы хотела, чтоб у меня был чин повыше?

— Нет, милый. Я только хочу, чтобы у тебя был такой чин, чтобы нас пускали в хорошие рестораны.

— Для этого у меня достаточно высокий чин.

— У тебя прекрасный чин. Я вовсе не хочу, чтоб у тебя был более высокий чин. Это могло бы вскружить тебе голову. Ах, милый, я так рада, что ты не тщеславный. Я бы все равно вышла за тебя, даже если б ты был тщеславный, но это так спокойно, когда муж не тщеславный.

Мы тихо разговаривали, сидя на балконе. Луне пора было взойти, но над городом был туман, и она не взошла, и потом начало моросить, и мы вошли в комнату. Туман перешел в дождь, и спустя немного дождь полил очень сильно, и мы слышали, как он барабанит по крыше. Я встал и подошел к двери, чтобы посмотреть, не заливает ли в комнату, но оказалось, что нет, и я оставил дверь открытой.

— Кого ты еще видел? — спросила Кэтрин.

— Мистера и миссис Мейерс.

— Странная они пара.

— Говорят, на родине он сидел в тюрьме. Его выпустили, чтоб он мог умереть на свободе.

— И с тех пор он счастливо живет в Милане?

— Не знаю, счастливо ли.

— Достаточно счастливо после тюрьмы, надо полагать.

— Она собирается сюда с подарками.

— Она привозит великолепные подарки. Ты, конечно, тоже ее милый мальчик?

— А как же.

— Вы все ее милые мальчики,— сказала Кэтрин.— Она особенно любит милых мальчиков. Слышишь — дождь.

— Сильный дождь.

— А ты меня никогда не разлюбишь?

— Нет.

— И это ничего, что дождь?

— Ничего.

— Как хорошо. А то я боюсь дождя.

— Почему?

Меня клонило ко сну. За окном упорно лил дождь.

— Не знаю, милый. Я всегда боялась дождя.

— Я люблю дождь.

— Я люблю гулять под дождем. Но для любви это плохая примета.

— Я тебя всегда буду любить.

— Я тебя буду любить в дождь, и в снег, и в град, и... что еще бывает?

— Не знаю. Мне что-то спать хочется.

— Спи, милый, а я буду любить тебя, что бы ни было.

— Ты в самом деле боишься дождя?

— Когда я с тобой, нет.

— Почему ты боишься?

— Не знаю.

— Скажи.

— Не заставляй меня.

— Скажи.

— Нет.

— Скажи.

— Ну, хорошо. Я боюсь дождя, потому что иногда мне кажется, что я умру в дождь.

— Что ты!

— А иногда мне кажется, что ты умрешь.

— Вот это больше похоже на правду.

— Вовсе нет, милый. Потому что я могу тебя уберечь. Я знаю, что могу. Но себе ничем не поможешь.

— Пожалуйста, перестань. Я сегодня не хочу слушать сумасшедшие шотландские бредни. Нам не так много осталось быть вместе.

— Что же делать, если я шотландка и сумасшедшая. Но я перестану. Это все глупости.

— Да, это все глупости.

— Это все глупости. Это только глупости. Я не боюсь дождя. Я не боюсь дождя. Ах, господи, господи, если б я могла не бояться!

Она плакала. Я стал утешать ее, и она перестала плакать. Но дождь все шел.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Как-то раз после обеда мы отправились на скачки. С нами были Фергюсон и Кроуэлл Роджерс, тот самый, что был ранен в глаза при разрыве дистанционной трубки. Пока девушки одевались, мы с Роджерсом сидели на кровати в его комнате и просматривали в спортивном листке отчеты о последних скачках и имена предполагаемых победителей. У Кроуэлла вся голова была забинтована, и он очень мало интересовался скачками, но постоянно читал спортивный листок и от нечего делать следил за всеми лошадьми. Он говорил, что все лошади — страшная дрянь, но лучших тут нет. Старый Мейерс любил его и давал ему советы. Мейерс всегда выигрывал, но не любил давать советы, потому что это уменьшало выдачу. На скачках было много жульничества. Жокеи, которых выгнали со всех ипподромов мира, работали в Италии. Советы Мейерса всегда были хороши, но я не любил спрашивать его, потому что иногда он не отвечал вовсе, а когда отвечал, видно было, что ему очень не хочется это делать, но по каким-то причинам он считал себя обязанным подсказывать нам, и Кроуэллу он подсказывал с меньшей неохотой, чем другим. У Кроуэлла были повреждены глаза, один глаз был поврежден серьезно, и у Мейерса тоже что-то было неладно с глазами, и поэтому он любил Кроуэлла. Мейерс никогда не говорил жене, на какую лошадь он ставит, и она то выигрывала, то проигрывала, чаще проигрывала, и все время болтала.

Вчетвером мы в открытом экипаже поехали в Сан-Сиро. День был прекрасный, и мы ехали через парк, потом ехали вдоль трамвайных путей и наконец выехали за город, где дорога была очень пыльная. По сторонам тянулись виллы за железными оградами, и большие запущенные сады, и канавы с проточной водой, и огороды с запыленной зеленью на грядках. Вдали на равнине виднелись фермерские дома и обширные зеленые участки с каналами искусственного орошения, а на севере поднимались горы. По дороге к ипподрому двигалось много экипажей, и контролер у ворот пропустил нас без билетов, потому что мы были в военной форме. Мы вышли из экипажа, купили программу, пересекли круг и по гладкому плотному дерну дорожки пошли к паддоку. Трибуны были деревянные и старые, а ниже трибун были кассы, и еще другой ряд касс был возле конюшен. У забора толпились солдаты. На паддоке было довольно много народу. Под деревьями, за большой трибуной, конюхи проводили лошадей. Мы увидели знакомых и раздобыли для Фергюсон и Кэтрин стулья и стали смотреть на лошадей.

Они ходили по кругу, гуськом, опустив голову, на поводу у конюхов. Одна лошадь была вороная с лиловатым отливом, и Кроуэлл клялся, что она крашеная. Мы всмотрелись получше и решили, что, пожалуй, он прав. Эту лошадь вывели только за минуту, перед тем как дали сигнал седлать. Мы разыскали ее в программе по номеру у конюха на рукаве, и там значилось: вороной мерин, кличка «Япалак». Предстоял заезд для лошадей, ни разу не бравших приза больше тысячи ливров. Кэтрин была твердо убеждена, что у лошади искусственно изменена масть. Фергюсон сказала, что она не уверена. Мне это дело тоже казалось подозрительным. Мы все решили играть эту лошадь и поставили сто лир. В расчетном листке было сказано, что выдача за нее будет тридцатипятикратная. Кроуэлл пошел покупать билеты, а мы остались и смотрели, как жокеи сделали еще один круг под деревьями и потом выехали на дорожку и медленным галопом направились к повороту, на место старта.

Мы поднялись на трибуну, чтоб следить за скачкой. В то время в Сан-Сиро не было резиновой ленточки, и стартер выровнял всех лошадей,— они казались совсем маленькими вдали на дорожке,— и затем, хлопнув своим длинным бичом, дал старт. Они прошли мимо нас; вороная лошадь скакала впереди, и на повороте оставила всех других далеко за собой. Я смотрел в бинокль, как они шли по задней дорожке, и видел, что жокей изо всех сил старается сдержать ее, но он не мог сдержать ее, и когда они вышли из-за поворота на переднюю дорожку, вороная шла на пятнадцать корпусов впереди остальных. Пройдя столб, она сделала еще полкруга.

— Ах, как чудно,— сказала Кэтрин.— Мы получим больше трех тысяч лир. Просто замечательная лошадь.

— Надеюсь,— сказал Кроуэлл,— краска не слиняет до выдачи.

— Нет, правда, чудесная лошадь,— сказала Кэтрин.— Интересно, мистер Мейерс на нее ставил?

— Выиграли? — крикнул я Мейерсу. Он кивнул.

— А я нет,— сказала миссис Мейерс.— А вы, дети, на кого ставили?

— На Япалака.

— Да ну? За него тридцать пять дают.

— Нам понравилась его масть.

— А мне нет. Он мне показался каким-то жалким. Говорили, что на него не стоит ставить.

— Выдача будет небольшая,— сказал Мейерс.

— По подсчетам, тридцать пять,— сказал я.

— Выдача будет небольшая,— сказал Мейерс.— Его заиграли в последнюю минуту.

— Кто?

— Кэмптон со своими ребятами. Вот увидите. Хорошо, если вдвое выдадут.

— Значит, мы не получим три тысячи лир? — сказала Кэтрин.— Мне не нравятся эти скачки. Просто жульничество.

— Мы получим двести лир.

— Это чепуха. Это нам ни к чему. Я думала, мы получим три тысячи.

— Жульничество и гадость,— сказала Фергюсон.

— Правда, не будь тут жульничества, мы бы на нее не ставили,— сказала Кэтрин.— Но мне нравилось, что мы получим три тысячи лир.

— Идемте вниз, выпьем чего-нибудь и узнаем, какая выдача,— сказал Кроуэлл.

Мы спустились вниз, к доске, где вывешивали номера победителей, и в это время зазвенел сигнал к выдаче, и против Япалака вывесили «восемнадцать пятьдесят». Это значило, что выдача меньше чем вдвое.

Мы спустились в бар под большой трибуной и выпили по стакану виски с содовой. Мы натолкнулись там на двух знакомых итальянцев и Мак Адамса, вице-консула, и они все пошли вместе с нами наверх. Итальянцы держали себя очень церемонно. Мак Адамс завел разговор с Кэтрин, а мы пошли вниз делать ставки. У одной из касс стоял мистер Мейерс.

— Спросите его, на какую он ставит,— сказал я Кроуэллу.

— Какую играете, мистер Мейерс?— спросил Кроуэлл.

Мейерс вынул свою программу и карандашом указал на номер пятый.

— Вы не возражаете, если мы тоже на нее поставим? — спросил Кроуэлл.

— Валяйте, валяйте. Только не говорите жене, что это я вам посоветовал.

— Давайте выпьем чего-нибудь,— сказал я.

— Нет, спасибо. Я никогда не пью.

Мы поставили на номер пятый сто лир в ординаре и сто в двойном и выпили еще по стакану виски с содовой. Я был в прекрасном настроении, и мы подцепили еще двоих знакомых итальянцев и выпили с каждым из них и потом вернулись наверх. Эти итальянцы тоже были очень церемонны и не уступали в этом отношении тем двоим, которых мы повстречали

раньше. Из-за их церемонности никому не сиделось на месте. Я отдал Кэтрин билеты.

— Какая лошадь?

— Не знаю. Это по выбору мистера Мейерса.

— Вы даже не знаете ее клички?

— Нет. Можно посмотреть в программе. Кажется, пятый номер.

— Ваша доверчивость просто трогательна,— сказала она. Номер пятый выиграл, но выдача была ничтожная.

Мистер Мейерс сердился.

— Нужно ставить двести лир, чтобы получить двадцать,— сказал он.— Двенадцать лир за десять. Не стоит труда. Моя жена выиграла двадцать лир.

— Я пойду с вами вниз,— сказала Кэтрин.

Все итальянцы встали. Мы спустились вниз и подошли к паддоку.

— Тебе тут нравится? — спросила Кэтрин.

— Да. Ничего себе.

— В общем, тут забавно,— сказала она.— Но знаешь, милый, я не выношу, когда так много знакомых.

— Не так уж их много.

— Правда. Но эти Мейерсы и этот из банка с женой и дочерьми...

— Он платит по моим чекам,— сказал я.

— Ну, не он, кто-нибудь другой платил бы. А эта последняя четверка итальянцев просто ужасна.

— Можно остаться здесь и отсюда смотреть следующий заезд.

— Вот это чудесно. И знаешь что, милый, давай поставим на такую лошадь, которой мы совсем не знаем и на которую не ставит мистер Мейерс.

— Давай.

Мы поставили на лошадь с кличкой «Свет очей», и она пришла четвертой из пяти. Мы облокотились на ограду и смотрели на лошадей, которые проносились мимо нас, стуча копытами, и видели горы вдали и Милан за деревьями и полями.

— Я здесь себя чувствую как-то чище,— сказала Кэтрин.

Лошади, мокрые и дымящиеся, возвращались через ворота. Жокеи успокаивали их, подъезжая к деревьям, чтобы спешиться.

— Давай выпьем чего-нибудь. Только здесь, чтобы видеть лошадей.

— Сейчас принесу,— сказал я.

— Мальчик принесет,— сказала Кэтрин. Она подняла руку, и к нам подбежал мальчик из бара «Пагода» возле конюшен. Мы сели за круглый железный столик.

— Ведь правда, лучше, когда мы одни?

— Да,— сказал я.

— Я себя чувствовала такой одинокой, когда с нами были все эти люди.

— Здесь очень хорошо,— сказал я.

— Да. Ипподром замечательный.

— Недурной.

— Не давай мне портить тебе удовольствие, милый. Мы вернемся наверх, как только ты захочешь.

— Нет,— сказал я. Мы останемся здесь и будем пить. А потом пойдем и станем у рва с водой на стипль-чезе.

— Ты так добр ко мне,— сказала она.

После того как мы побыли вдвоем, нам приятно было опять увидеть остальных. Мы прекрасно провели день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В сентябре наступили первые холодные ночи, потом и дни стали холодные, и на деревьях в парке начали желтеть листья, и мы поняли, что лето прошло. На фронте дела шли очень плохо, и Сан-Габриеле все не удавалось взять. На плато Баинзицца боев уже не было, а к середине месяца прекратились бои и под Сан-Габриеле. Взять его так и не удалось. Этторе уехал на фронт. Лошадей увезли в Рим, и скачек больше не было. Кроуэлл тоже уехал в Рим, откуда должен был эвакуироваться в Америку. В городе два раза вспыхивали антивоенные бунты, и в Турине тоже были серьезные беспорядки. Один английский майор сказал мне в клубе, что итальянцы потеряли полтораста тысяч человек на плато Баинзицца и под Сан-Габриеле. Он сказал, что, кроме того, они сорок тысяч потеряли на Карсо. Мы выпили, и он разговорился. Он сказал, что в этом году уже не будет боев и что итальянцы откусили больше, чем могли проглотить. Он сказал, что наступление во Фландрии обернулось скверно. Если и дальше будут так же мало беречь людей, как в эту осень, то союзники через год выдохнутся. Он сказал, что мы все уже выдохлись, и что это ничего до тех пор, пока мы сами этого не знаем. Мы все выдохлись. Вся штука в том, чтоб не признавать этого. Та страна, которая последней поймет, что она выдохлась, выиграет войну. Мы выпили еще. Не из штаба ли

я? Нет. А он — да. Все чушь. Мы сидели вдвоем, развалившись на одном из больших кожаных диванов клуба. Сапоги у него были из матовой кожи и тщательно начищены. Это были роскошные сапоги. Он сказал, что все чушь. У всех на уме только дивизии и пополнения. Грызутся из-за дивизий, а как получат их, так сейчас и угробят. Все выдохлись. Победа все время за немцами. Вот это, черт подери, солдаты! Старый гунн, вот это солдат. Но и они выдохлись тоже. Мы все выдохлись. Я спросил про русских. Он сказал, что и они уже выдохлись. Я скоро сам увижу, что они выдохлись. Да и австрийцы выдохлись тоже. Вот если бы им получить несколько дивизий гуннов, тогда бы они справились. Думает ли он, что они перейдут в наступление этой осенью? Конечно, да. Итальянцы выдохлись. Все знают, что они выдохлись. Старый гунн пройдет через Трентино и перережет у Виченцы железнодорожное сообщение,— вот наши итальянцы и готовы. Австрийцы уже пробовали это в шестнадцатом, сказал я. Но без немцев. Верно, сказал я. Но они вряд ли пойдут на это, сказал он. Это слишком просто. Они придумают что-нибудь посложнее и на этом окончательно выдохнутся. Мне пора, сказал я. Пора возвращаться в госпиталь.

— До свидания,— сказал он. Потом весело: — Всяческих благ.— Пессимизм его суждений находился в резком противоречии с его веселым нравом.

Я зашел в парикмахерскую и побрился, а потом пошел в госпиталь. Моя нога к этому времени уже поправилась настолько, что большего пока нельзя было ожидать. Три дня назад я был на освидетельствовании. Мне оставалось лишь несколько процедур, чтобы закончить курс лечения в Ospedale Maggiore, и я шел по переулку, стараясь не хромать. Под навесом старик вырезывал силуэты. Я остановился посмотреть. Две девушки стояли перед ним, и он вырезывал их силуэты вместе, поглядывая на них, откинув голову набок и очень быстро двигая ножницами. Девушки хихикали. Он показал мне силуэты, прежде чем наклеить их на белую бумагу и передать девушкам.

— Что, хороши? — сказал он.— Не угодно ли вам, tenente?

Девушки ушли, рассматривая свои силуэты и смеясь. Обе были хорошенькие. Одна из них служила в закусочной напротив госпиталя.

— Пожалуй,— сказал я.

— Только снимите кепи.

— Нет. В кепи.

— Так будет хуже,— сказал старик.— Впрочем,— его лицо прояснилось,— так будет воинственнее.

Он задвигал ножницами по черной бумаге, потом разнял обе половинки листа, наклеил два профиля на картон и подал мне.

— Сколько вам?

— Ничего, ничего.— Он помахал рукой.— Я вам их просто так сделал.

— Пожалуйста.— Я вынул несколько медяков.— Доставьте мне удовольствие.

— Нет. Я сделал их для собственного удовольствия. Подарите их своей милой.

— Спасибо и до свидания.

— До скорой встречи.

Я вернулся в госпиталь. Для меня были в канцелярии письма, одно официальное и еще несколько. Мне предоставлялся трехнедельный отпуск для поправления здоровья, после чего я должен был вернуться на фронт. Я внимательно перечел это. Да, так и есть. Отпуск будет считаться с 4 октября, когда я закончу курс лечения. В трех неделях двадцать один день. Это выходит 25 октября. Я сказал, что погуляю еще немного, и пошел в ресторан через несколько домов от госпиталя поужинать и просмотреть за столом письма и «Корьере делла сера». Одно письмо было от моего деда, в нем были семейные новости, патриотические наставления, чек на двести долларов и несколько газетных вырезок. Потом было скучное письмо от нашего священника, письмо от одного знакомого летчика, служившего во французской авиации, который попал в веселую компанию и об этом рассказывал, и записка от Ринальди, спрашивавшего, долго ли я еще намерен отсиживаться в Милане и вообще какие новости. Он просил, чтоб я привез ему граммофонные пластинки по приложенному списку. Я заказал к ужину бутылку кьянти, затем выпил кофе с коньяком, дочитал газету, положил все письма в карман, оставил газету на столе вместе с чаевыми и вышел. В своей комнате в госпитале я снял форму, надел пижаму и халат, опустил занавеси на балконной двери и, полулежа в постели, принялся читать бостонские газеты, из тех, что привозила своим мальчикам миссис Мейерс. Команда «Чикаго-Уайт-Сокс» взяла приз Американской лиги, а в Национальной лиге впереди шла команда «Нью-Йорк-Джайэнтс». Бейб Рут играл теперь за Бостон. Газеты были скучные, новости были затхлые и узкоместные, известия с фронта устарелые. Из американских новостей только и говорилось что об учебных лагерях. Я радовался, что я не в учебном лагере. Кроме спортивных известий, я ничего не мог читать, да и это читал без малейшего

интереса. Когда читаешь много газет сразу, невозможно читать с интересом. Газеты были не очень новые, но я все же читал их. Я подумал, закроются ли спортивные союзы, если Америка по-настоящему вступит в войну. Должно быть, нет. В Милане по-прежнему бывают скачки, хотя война в разгаре. Во Франции скачек уже не бывает. Это оттуда привезли нашего Япалака. Дежурство Кэтрин начиналось только с девяти часов. Я слышал ее шаги по коридору, когда она пришла на дежурство, и один раз видел ее в раскрытую дверь. Она обошла несколько палат и наконец вошла в мою.

— Я сегодня поздно, милый,— сказала она.— Много дела. Ну, как ты?

Я рассказал ей про газеты и про отпуск.

— Чудесно,— сказала она.— Куда же ты думаешь ехать?

— Никуда. Думаю остаться здесь.

— И очень глупо. Ты выбери хорошее местечко, и я тоже поеду с тобой.

— А как же ты это сделаешь?

— Не знаю. Как-нибудь.

— Ты прелесть.

— Вовсе нет. Но в жизни не так уж трудно устраиваться, когда нечего терять.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Я только подумала, как ничтожны теперь препятствия, которые казались непреодолимыми.

— По-моему, это довольно трудно будет устроить.

— Ничуть, милый. В крайнем случае я просто брошу все и уеду. Но до этого не дойдет.

— Куда же нам поехать?

— Все равно. Куда хочешь. Где мы никого не знаем.

— А тебе совсем все равно, куда ехать?

— Да. Только бы уехать.

Она была какая-то напряженная и озабоченная.

— Что случилось, Кэтрин?

— Ничего. Ничего не случилось.

— Неправда.

— Правда. Ровно ничего.

— Я знаю, что неправда. Скажи, дорогая. Мне ты можешь сказать.

— Ничего не случилось.

— Скажи.

— Я не хочу. Я боюсь, это тебя огорчит или встревожит.

— Да нет же.

— Ты уверен? Меня это не огорчает, но я боюсь огорчить тебя.

— Раз это тебя не огорчает, то и меня тоже нет.

— Мне не хочется говорить.

— Скажи.

— Это необходимо?

— Да.

— У меня будет ребенок, милый. Уже почти три месяца. Но ты не будешь огорчаться, правда? Не надо. Не огорчайся.

— Не буду.

— Правда не будешь?

— Конечно.

— Я все делала. Я все пробовала, но ничего не помогло.

— Я и не думаю огорчаться.

— Так уж вышло, и я не стала огорчаться, милый. И ты не огорчайся и не тревожься.

— Я тревожусь только о тебе.

— Ну вот! Как раз этого и не надо. У всех родятся дети. У других все время родятся дети. Совершенно естественная вещь.

— Ты прелесть.

— Вовсе нет. Но ты не думай об этом, милый. Я постараюсь не причинять тебе беспокойства. Я знаю, что сейчас я тебе причинила беспокойство. Но ведь до сих пор я держалась молодцом, правда? Тебе и в голову не приходило?

— Нет.

— И дальше так будет. Ты совсем не должен огорчаться. Я вижу, что ты огорчен. Перестань. Перестань сейчас же. Хочешь выпить чего-нибудь, милый? Я знаю, стоит тебе выпить, и ты развеселишься.

— Нет. Я и так веселый. А ты прелесть.

— Вовсе нет. Но я все улажу, и мы будем вместе, а ты только выбери место, куда нам поехать. Октябрь, наверно, будет чудесный. Мы чудесно проведем это время, милый, а когда ты будешь на фронте, я буду писать тебе каждый день.

— А ты где будешь?

— Я еще не знаю. Но непременно в самом замечательном месте. Я обо всем позабочусь.

Мы притихли и перестали разговаривать. Кэтрин сидела на постели, и я смотрел на нее, но мы не прикасались друг к другу. Каждый из нас был сам по себе, как бывает, когда в комнату входит посторонний и все вдруг настораживаются. Она протянула руку и положила ее на мою.

— Ты не сердишься, милый, скажи?

— Нет.

— И у тебя нет такого чувства, будто ты попал в ловушку?

— Немножко есть, пожалуй. Но не из-за тебя.

— Я и не думаю, что из-за меня. Не говори глупостей. Я хочу сказать — вообще в ловушку.

— Физиология всегда ловушка.

Она вдруг далеко ушла от меня, хотя не шевельнулась и не отняла руки.

— Всегда — нехорошее слово.

— Прости.

— Да нет, ничего. Но ты понимаешь, у меня никогда не было ребенка, и я никогда никого не любила. И я старалась быть такой, как ты хотел, а ты вдруг говоришь «всегда».

— Ну давай я отрежу себе язык,— предложил я.

— Милый! — Она вернулась ко мне издалека.— Не обращай внимания.— Мы снова были вместе, и настороженность исчезла.— Ведь, правда же, мы с тобой — одно, и не стоит придираться к пустякам.

— И не нужно.

— А бывает. Люди любят друг друга, и придираются к пустякам, и ссорятся, и потом вдруг сразу перестают быть одно.

— Мы не будем ссориться.

— И не надо. Потому что ведь мы с тобой только вдвоем против всех остальных в мире. Если что-нибудь встанет между нами, мы пропали, они нас схватят.

— Им до нас не достать,— сказал я.— Потому что ты очень храбрая. С храбрыми не бывает беды.

— Все равно, и храбрые умирают.

— Но только один раз.

— Так ли? Кто это сказал?

— Трус умирает тысячу раз, а храбрый только один?

— Ну да. Кто это сказал?

— Не знаю.

— Сам был трус, наверно,— сказала она.— Хорошо разбирался в трусах, но в храбрых не смыслил ничего. Храбрый, может быть, две тысячи раз умирает, если он умен. Только он об этом не рассказывает.

— Не знаю. Храброму в душу не заглянешь.

— Да. Этим он и силен.

— Ты говоришь со знанием дела.

— Ты прав, милый. На этот раз ты прав.

— Ты сама храбрая.

— Нет,— сказала она.— Но я бы хотела быть храброй.

— А я не храбрый,— сказал я.— Я знаю себе цену. У меня было достаточно времени, чтобы узнать. Я точно бейсболист, который выбивает двадцать два за сезон и знает, что на большее он не способен.

— Что это значит: «выбивает двадцать два за сезон»? Звучит очень важно.

— Совсем не важно. Это значит — очень посредственный игрок нападения в бейсбольной команде.

— Но все-таки игрок нападения,— поддразнила она меня.

— Кажется, нам друг друга не переспорить,— сказал я.— Но ты храбрая.

— Нет. Но надеюсь когда-нибудь стать храброй.

— Мы оба храбрые,— сказал я.— Когда я выпью, так я совсем храбрый.

— Мы замечательные люди,— сказала Кэтрин. Она подошла к шкафу и достала коньяк и стакан.— Выпей, милый,— сказала она.— Это тебе за хорошее поведение.

— Да мне не хочется.

— Выпей, выпей.

— Ну, хорошо.— Я налил треть стакана коньяку и выпил.

— Однако,— сказала она.— Я знаю, что коньяк — напиток героев. Но не надо увлекаться.

— Где мы будем жить после войны?

— Вероятно, в богадельне,— сказала она.— Три года я была очень наивна и надеялась, что война кончится к рождеству. Но теперь я надеюсь, что она кончится, когда наш сын будет лейтенантом.

— А может, он будет генералом.

— Если это столетняя война, он и до генерала успеет дослужиться.

— Ты не хочешь выпить?

— Нет. Ты от коньяка всегда веселеешь, милый, а у меня голова кружится.

— Ты никогда не пила коньяк?

— Нет, милый. Я ужасно старомодная жена.

Я потянулся за бутылкой и налил себе еще коньяку.

— Надо пойти взглянуть на твоих соотечественников,— сказала Кэтрин.— Может, ты пока почитаешь газеты?

— Тебе непременно нужно идти?

— Если не сейчас, то позже.

— Лучше сейчас.

— Я скоро вернусь.

— Я успею дочитать газеты,— сказал я.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Ночью стало холодно, и на следующий день шел дождь. Когда я возвращался из Ospedale Maggiore, дождь был очень сильный, и я насквозь промок. Балкон моей комнаты заливало потоками дождя, и ветер гнал их в стекло балконной двери. Я переоделся и выпил коньяку, но у коньяка был неприятный вкус. Ночью я почувствовал себя плохо, и наутро после завтрака меня вырвало.

— Картина ясная,— сказал госпитальный врач.— Взгляните на белки его глаз, мисс.

Мисс Гэйдж взглянула. Мне дали зеркало, чтобы и я мог взглянуть. Белки глаз были желтые, это была желтуха. Я проболел две недели. Из-за этого сорвался мой отпуск, который мы собирались провести вместе. Мы хотели поехать в Палланцу на Лаго-Маджоре. Там хорошо осенью, когда начинают желтеть листья. Есть где погулять, и в озере можно ловить форель. Там было бы лучше, чем в Стрезе, потому что в Палланце народу меньше. В Стрезу так удобно ездить из Милана, что там всегда полно знакомых. Близ Палланцы есть очень славные деревушки, и на гребной лодке можно добраться до рыбачьих островов, а на самом большом острове есть ресторан. Но нам не пришлось поехать.

Как-то, когда я лежал больной желтухой, мисс Ван-Кампен вошла в комнату, распахнула дверцы гардероба и увидела пустые бутылки. Я только что послал швейцара вынести целую охапку бутылок, и, наверно, она видела, как он выходил с ними, и пришла посмотреть, нет ли еще. Больше всего было бутылок из-под вермута, бутылок из-под марсалы, бутылок из-под капри, пустых фляг из-под кьянти и несколько бутылок было из-под коньяка. Швейцар унес самые большие бутылки, те, в которых был вермут, и оплетенные соломой фляги из-под кьянти, а бутылки из-под коньяка он оставил напоследок. Те бутылки, которые нашла мисс Ван-Кампен, были из-под коньяка, и одна бутылка, в виде медведя, была из-под кюммеля. Бутылка-медведь привела мисс Ван-Кампен в особенную ярость. Она взяла ее в руки. Медведь сидел на задних лапах, подняв передние, в его стеклянной голове была пробка, а ко дну пристало несколько липких кристалликов. Я засмеялся.

— Тут был кюммель,— сказал я.— Самый лучший кюммель продают в таких бутылках-медведях. Его привозят из России.

— Это все бутылки из-под коньяка, если не ошибаюсь? — спросила мисс Ван-Кампен.

— Мне отсюда не видно,— сказал я.— Но по всей вероятности — да.

— Сколько времени это продолжается?

— Я сам покупал их и приносил сюда,— сказал я.— Меня часто навещали итальянские офицеры, и я держал коньяк, чтоб угощать их.

— Но сами вы не пили?

— Сам тоже пил.

— Коньяк! — сказала она.— Одиннадцать пустых бутылок из-под коньяка и эта медвежья жидкость.

— Кюммель.

— Сейчас я пришлю кого-нибудь, чтобы их убрали. Больше у вас нет пустых бутылок?

— Пока — нет.

— А я еще жалела вас, когда вы заболели желтухой. Жалость к вам — это зря потраченная жалость.

— Благодарю вас.

— Я готова понять, что вам не хочется возвращаться на фронт. Но вы могли бы изобрести что-нибудь более остроумное, чем вызвать у себя желтуху потреблением алкоголя.

— Чем?

— Потреблением алкоголя. Вы очень хорошо слышали, что я сказала.— Я молчал.— Боюсь, что, если вы не придумаете чего-нибудь еще, вам придется отправиться на фронт, как только пройдет ваша желтуха. Не думаю, чтобы после умышленно вызванной желтухи полагался отпуск для поправления здоровья.

— Вы не думаете?

— Не думаю.

— Вы когда-нибудь болели желтухой, мисс Ван-Кампен?

— Нет, но я не раз наблюдала эту болезнь.

— Вы заметили, какое удовольствие она доставляет больным?

— Вероятно, это все же лучше, чем фронт.

— Мисс Ван-Кампен,— сказал я,— вы когда-нибудь видели человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, лягнул бы самого себя в мошонку?

Мисс Ван-Кампен пропустила вопрос мимо ушей. Она должна была или пропустить его мимо ушей, или уйти из моей комнаты. Уходить ей не хотелось, потому что она невзлюбила меня уже давно и теперь готовилась свести со мной счеты.

— Я видела много людей, которые спасались от фронта умышленным членовредительством.

— Вопрос не в том. Умышленное членовредительство я и сам видел. Я спросил, видели ли вы когда-нибудь человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, лягнул бы себя ногой в мошонку? Потому что это ощущение ближе всего к желтухе, и я думаю, что не многим женщинам оно знакомо. Вот я и спросил, была ли у вас когда-нибудь желтуха, мисс Ван-Кампен, потому что...

Мисс Ван-Кампен вышла из комнаты. Немного спустя вошла мисс Гэйдж.

— Что вы такое сказали Ван-Кампен? Она взбешена.

— Мы сравнивали различные ощущения. Я высказал предположение, что ей никогда не случалось рожать...

— Вы сумасшедший,— сказала Гэйдж.— Она готова содрать с вас кожу живьем.

— Она уже ее содрала,— сказал я.— Она провалила мой отпуск, а теперь, пожалуй, захочет подвести меня под полевой суд. С нее станется.

— Она всегда вас недолюбливала,— сказала Гэйдж.— А из-за чего вышел разговор?

— Она говорит, что я нарочно допился до желтухи, чтобы не возвращаться на фронт.

— Пфф,— сказала Гэйдж.— Да я присягну, что вы никогда капли в рот не брали. Все присягнут, что вы никогда капли в рот не брали.

— Она нашла бутылки.

— Сто раз я вам говорила: нужно убирать эти бутылки. Где они?

— В гардеробе.

— У вас есть чемодан?

— Нет. Суньте в этот рюкзак.

Мисс Гэйдж упаковала бутылки в рюкзак.

— Я их отдам швейцару,—сказала она, направляясь к двери.

— Одну минуту,— сказала мисс Ван-Кампен.— Эти бутылки я захвачу.— С ней был швейцар.— Возьмите это, пожалуйста,— сказала она.— Я хочу показать их доктору, когда буду докладывать ему.

Она пошла по коридору. Швейцар понес рюкзак. Он знал, что в нем.

Ничего не случилось, только мой отпуск пропал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В тот вечер, когда я должен был ехать на фронт, я послал швейцара на вокзал занять для меня место в вагоне, как только поезд придет из Турина. Поезд уходил в полночь. Состав формировался в Турине и около половины одиннадцатого прибывал в Милан и стоял у перрона до самого отправления. Чтоб получить место, нужно было попасть на вокзал раньше, чем придет поезд. Швейцар взял с собой приятеля, пулеметчика в отпуску, работавшего в портняжной мастерской, и был уверен, что вдвоем им удастся занять для меня место. Я дал им денег на перронные билеты и велел захватить мой багаж. У меня был большой рюкзак и две походные сумки.

Около пяти часов я распрощался в госпитале и вышел. Швейцар уже снес мой багаж к себе в швейцарскую, и я сказал, что буду на вокзале незадолго до полуночи. Его жена назвала меня «signorino» и заплакала. Потом вытерла глаза, потрясла мою руку и заплакала снова. Я потрепал ее по плечу, и она заплакала еще раз. Это была низенькая, пухлая, седая женщина с добрым лицом. Она всегда штопала мне носки. Когда она плакала, у нее все лицо точно расползалось. Я пошел в бар на углу и там стал дожидаться, глядя в окно. На улице было темно, и холодно, и туманно. Я уплатил за стакан кофе с граппой и смотрел, как люди идут мимо в полосе света от окна. Я увидел Кэтрин и постучал в окно. Она глянула, увидела меня и улыбнулась, и я вышел ей навстречу. На ней был темно-синий плащ и мягкая фетровая шляпа. Мы вместе пошли по тротуару мимо винных погребков, потом через рыночную площадь и дальше по улице и, пройдя под аркой, вышли на соборную площадь. Ее пересекали трамвайные рельсы, а за ними был собор. Он был белый и мокрый в тумане. Мы перешли рельсы. Слева от нас были магазины с освещенными витринами и вход в Galleria. Над площадью туман сгущался, и собор вблизи был очень большой, а камень стен мокрый.

— Хочешь, войдем?

— Нет,— сказала Кэтрин.

Мы пошли дальше. В тени одного из каменных контрфорсов стоял солдат с девушкой, и мы прошли мимо них. Они стояли, вплотную прижавшись к стене, и он укрыл ее своим плащом.

— Они похожи на нас,— сказал я.

— Никто не похож на нас,— сказала Кэтрин. Она думала не о радостном.

— Им даже пойти некуда.

— Может быть, так для них лучше.

— Не знаю. Все-таки нужно, чтоб у каждого было куда пойти.

— У них есть собор,— сказала Кэтрин.

Мы уже миновали его. Мы перешли на другую сторону и оглянулись на собор. Он был красивый в тумане. Мы стояли перед магазином кожаных изделий. В витрине были сапоги для верховой езды, рюкзак и пьексы. Все это было разложено отдельно: рюкзак посредине, сапоги с одной стороны, пьексы — с другой. Кожа была темная, гладкая и лоснилась, точно на потертом седле. Электрический свет бросал длинные блики на тускло лоснившуюся кожу.

— Когда-нибудь мы с тобой походим на лыжах.

— Через два месяца начинается лыжный сезон в Мюррене,— сказала Кэтрин.

— Давай поедем туда.

— Давай,— сказала она. Мы прошли вдоль других витрин и свернули в переулок.

— Я здесь ни разу не была.

— Этой дорогой я всегда ходил в Ospedale Maggiore,— сказал я.

Переулок был узкий, и мы держались правой стороны. В густом тумане встречалось много прохожих. Во всех лавках, мимо которых мы проходили, были освещены окна. Мы заглядели на пирамиду сыра в одном окне. Перед оружейной лавкой я остановился.

— Зайдем на минутку. Мне нужно кое-что купить.

— А что?

— Пистолет.

Мы вошли, и я отстегнул свой пояс и вместе с пустой кобурой положил его на прилавок. За прилавком стояли две женщины. Они показали мне несколько пистолетов.

— Мне нужно, чтоб он пришелся по размеру,— сказал я, открывая кобуру. Кобура была серая, кожаная, я купил ее по случаю, чтобы носить в городе.

— А это хорошие пистолеты? — спросила Кэтрин.

— Все они примерно одинаковы. Можно испытать вот этот? — спросил я у женщины.

— Здесь у нас теперь негде стрелять,— сказала она.— Но он очень хороший. Вы не пожалеете.

Я спустил курок и оттянул затвор. Пружина была довольно тугая, но действовала исправно. Я прицелился и снова спустил курок.

— Он не новый,— сказала женщина.— Он принадлежал одному офицеру, первоклассному стрелку.

— А куплен был у вас?

— Да.

— Как он попал к вам опять?

— Через вестового этого офицера.

— Может быть, и мой у вас,— сказал я.— Сколько?

— Пятьдесят лир. Это очень дешево.

— Хорошо. Дайте мне еще две запасных обоймы и коробку патронов.

Она достала обоймы и патроны из-под прилавка.

— Может быть, вам нужна сабля?— спросила женщина.— У меня есть подержанные сабли, очень дешево.

— Я еду на фронт.

— А, ну тогда вам не нужна сабля,— сказала она.

Я заплатил за патроны и пистолет, зарядил обойму и вставил ее на место, вложил пистолет в пустую кобуру, набил патронами обе запасные обоймы и спрятал их в кожаные кармашки кобуры, потом надел пояс и застегнул его. Тяжесть пистолета оттягивала пояс. Все-таки, подумал я, оружие форменного образца лучше. Всегда можно достать патроны.

— Теперь мы в полном вооружении,— сказал я.— Это единственное, что мне нужно было сделать до отъезда. Кто-то взял мой старый, когда меня отправляли в госпиталь.

— Только бы он был хороший,— сказала Кэтрин.

— Может быть, вам еще что-нибудь угодно? — спросила женщина.

— Как будто нет.

— Пистолет со шнуром,— сказала она.

— Да, я заметил.

Женщине хотелось продать еще что-нибудь.

— Может, вам нужен свисток?

— Как будто нет.

Женщина сказала «до свидания», и мы вышли на улицу. Кэтрин посмотрела в окно. Женщина выглянула и поклонилась нам.

— Что это за зеркальце в деревянной оправе?

— Это чтобы приманивать птиц. С таким зеркальцем выходят в поле, жаворонки летят на блеск, тут их и убивают.

— Изобретательный народ итальянцы,— сказала Кэтрин.— У вас, в Америке, жаворонков не стреляют, милый, правда?

— Разве что случайно.

Мы пересекли улицу и пошли по другой стороне.

— Мне теперь лучше,— сказала Кэтрин.— Мне было очень скверно, когда мы вышли.

— Нам всегда хорошо, когда мы вместе.

— Мы всегда будем вместе.

— Да, если не считать, что сегодня в полночь я уезжаю.

— Не думай об этом, милый.

Мы шли по улице. В тумане огни были желтыми.

— Ты не устал? — спросила Кэтрин.

— А ты?

— Нет. Приятно бродить так.

— Но только не нужно очень долго.

— Хорошо.

Мы дошли до угла и свернули в переулок, где не было фонарей. Я остановился и поцеловал Кэтрин. Целуя ее, я чувствовал ее руку на своем плече. Она натянула на себя мой плащ так, что мы оба были укрыты им. Мы стояли на тротуаре у высокой стены.

— Пойдем куда-нибудь,— сказал я.

— Хорошо,— сказала Кэтрин. Мы шли по переулку, пока не дошли до более широкой улицы, выходившей на канал. На другой стороне были кирпичные дома. Впереди, в конце улицы, я увидел трамвай, который въезжал на мост.

— У моста мы найдем экипаж,— сказал я. Мы стояли на мосту в тумане, дожидаясь экипажа. Мимо прошло несколько трамваев, набитых людьми, которые торопились домой. Потом проехал экипаж, но в нем кто-то сидел. Стал накрапывать дождь.

— Пойдем пешком или сядем в трамвай? — сказала Кэтрин.

— Сейчас найдем экипаж,— сказал я.— Здесь их много.

— Вот как раз подъезжает,— сказала она.

Кучер остановил лошадь и опустил металлический значок у своего счетчика. Верх был поднят, и на плаще у кучера были капли дождя. Его лакированный цилиндр блестел от воды. Мы уселись вместе на заднем сиденье, от поднятого верха там было темно.

— Куда ты велел ему ехать?

— К вокзалу. Напротив вокзала есть отель, туда мы и зайдем.

— А в отель разве можно так? Без багажа.

— Можно,— сказал я.

«Прощай, оружие!»

Мы долго ехали к вокзалу переулками под дождем.

— А обедать мы не будем? — спросила Кэтрин.— Я что-то уже проголодалась.

— Мы пообедаем у себя в номере.

— Мне не во что переодеться. У меня нет даже ночной сорочки.

— А мы купим,— сказал я и окликнул кучера: — Поезжайте по Виа-Манцони.

Он кивнул и на следующем углу свернул налево. На Виа-Манцони Кэтрин стала искать магазин.

— Вот здесь,— сказала она. Я остановил кучера, и Кэтрин слезла, перешла тротуар и скрылась внутри. Я сидел, откинувшись, в экипаже и ждал ее. Шел дождь, и я чувствовал запах мокрой улицы и дымящихся боков лошади под дождем. Кэтрин вышла со свертком, села, и мы поехали дальше.

— Я ужасная транжирка, милый,— сказала она,— но сорочка такая красивая.

У отеля я попросил Кэтрин подождать в экипаже, а сам вошел и переговорил с управляющим. Номеров было сколько угодно. Я вернулся к экипажу, заплатил кучеру, и мы с Кэтрин вместе вошли в отель. Мальчик с блестящими пуговицами понес сверток. Управляющий поклоном пригласил нас в лифт. Кругом было много красного плюша и бронзы. Управляющий поднялся вместе с нами.

— Monsieur и madame угодно обедать у себя в номере?

— Да. Пришлите, пожалуйста, карточку,— сказал я.

— Угодно что-нибудь по особому заказу? Дичь или суфле?

Лифт миновал три этажа, позвякивая у каждого, потом звякнул и остановился.

— Какая у вас есть дичь?

— Можно приготовить фазана или вальдшнепа.

— Вальдшнепа,— сказал я. Мы пошли по коридору. Ковер был потертый. Справа и слева было много дверей. Управляющий остановился, отпер одну из дверей и распахнул ее.

— Вот, прошу вас. Прелестная комната.

Мальчик с блестящими пуговицами положил сверток на стол посреди комнаты. Управляющий раздвинул оконные портьеры.

— Туманно сегодня,— сказал он. Комната была обставлена красной плюшевой мебелью. Было много зеркал, два кресла и широкая кровать с атласным одеялом. Вторая дверь вела в ванную.

— Я сейчас пришлю карточку,— сказал управляющий. Он поклонился и вышел.

Я подошел к окну и посмотрел на улицу, потом потянул за шнур, и толстые плюшевые портьеры сдвинулись. Кэтрин сидела на постели и смотрела на хрустальный подсвечник. Она сняла шляпу, и ее волосы блестели при свете. Она увидела себя в одном из зеркал и поднесла руки к волосам. Я увидел ее в трех других зеркалах. Она казалась невеселой. Она сбросила свой плащ на постель.

— Что с тобой, дорогая?

— Я никогда еще не чувствовала себя девкой,— сказала она. Я подошел к окну и раздвинул портьеры и посмотрел на улицу. Я не думал, что так будет.

— Ты не девка.

— Я знаю, милый. Но неприятно чувствовать, будто это так.— Голос ее был сухой и тусклый.

— Это самый лучший отель, где мы могли устроиться,— сказал я.

Я смотрел в окно. На другой стороне площади светились огни вокзала. Мимо ехали экипажи, и мне были видны деревья в парке. Огни отеля отражались в мокрой мостовой. «О, черт,— думал я,— неужели сейчас время спорить?»

— Иди сюда,— сказала Кэтрин. Сухость исчезла из ее голоса.— Иди сюда. Я уже пай-девочка.

Я повернулся к постели. Кэтрин улыбалась.

Я подошел и сел на постель рядом с ней и поцеловал ее.

— Ты моя пай-девочка.

— Конечно, твоя,— сказала она.

После обеда нам стало легче, а потом сделалось совсем хорошо, и вскоре мы почувствовали, что эта комната наш дом. Раньше моя комната в госпитале была нашим домом, и точно так же этот номер отеля стал нашим домом.

Кэтрин села, накинув на плечи мой френч. Мы сильно проголодались, а обед был хороший, и мы выпили бутылку капри и бутылку сент-эстефа. Большую часть выпил я, но и Кэтрин выпила немного, и ей стало совсем хорошо. Нам подали вальдшнепа с картофелем, суфле, пюре из каштанов, салат и сабайон на сладкое.

— Хорошая комната,— сказала Кэтрин.— Чудесная комната. Как жаль, что мы раньше не догадались здесь поселиться.

— Смешная комната. Но славная.

— Замечательная вещь разврат,— сказала Кэтрин.— Люди, которые им занимаются, по-видимому, делают это со

вкусом. Этот красный плюш просто бесподобен. Именно то, что надо. А зеркала, разве не прелесть?

— Ты милая.

— Не знаю, каково проснуться в такой комнате наутро. Но вообще это прекрасная комната.

Я налил еще стакан сент-эстефа.

— Мне бы хотелось согрешить по-настоящему,— сказала Кэтрин.— Все, что мы делаем, так невинно и просто. Я не верю, что мы делаем что-то дурное.

— Ты изумительная.

— Только я голодна. Я ужасно голодна.

— Ты простая, ты замечательная.

— Я простая. Никто не понимал этого до тебя.

— Как-то, когда мы только что познакомились, я целый день думал о том, как мы с тобой поедем вместе в отель «Кавур» и как все будет.

— Это было нахальство с твоей стороны. Но ведь это не «Кавур», правда?

— Нет. Туда бы нас не пустили.

— Когда-нибудь пустят. Но вот видишь, милый, в этом разница между нами. Я никогда ни о чем не думала.

— Совсем никогда?

— Ну, немножко,— сказала она.

— Ах ты, милая!

Я налил еще стакан вина.

— Я совсем простая,— сказала Кэтрин.

— Сначала я думал иначе. Мне показалось, что ты сумасшедшая.

— Я и была немножко сумасшедшая. Но не как-нибудь по-особенному сумасшедшая. Я тебя не смутила тогда, милый?

— Изумительная вещь вино,— сказал я.— Забываешь все плохое.

— Чудесная вещь,— сказала Кэтрин.— Но у моего отца от него сделалась очень сильная подагра.

— У тебя есть отец?

— Да,— сказала Кэтрин.— У него подагра. Но тебе совсем не нужно будет с ним встречаться. А у тебя разве нет отца?

— Нет,— сказал я.— У меня отчим.

— А он мне понравится?

— Тебе не нужно будет с ним встречаться.

— Нам с тобой так хорошо,— сказала Кэтрин.— Меня больше ничего не интересует. Я такая счастливая жена.

Пришел официант и убрал посуду. Немного погодя мы при-

тихли, и было слышно, как идет дождь. Внизу, на площади, прогудел автомобиль.

Но слышу мчащих все быстрей
Крылатых времени коней,—

сказал я.

— Я знаю эти стихи,— сказала Кэтрин.— Это Марвелл. Только ведь это о девушке, которая не хотела жить с мужчиной.

Голова у меня была очень ясная и свежая, и мне хотелось говорить о житейском.

— Где ты будешь рожать?

— Не знаю. В самом лучшем месте.

— Как ты все устроишь?

— Самым лучшим образом. Не беспокойся, милый. До окончания войны у нас может быть еще много детей.

— Нам скоро пора.

— Я знаю. Если хочешь, считай, что уже пора.

— Нет.

— Тогда не нервничай, милый. Ты был совсем хороший все время, а теперь ты начинаешь нервничать.

— Не буду. Ты мне будешь часто писать?

— Каждый день. Ваши письма просматривают?

— Там так плохо знают английский язык, что это не имеет значения.

— Я буду писать очень путано,— сказала Кэтрин.

— Но не слишком уж путано.

— Нет, только чуть-чуть путано.

— Пожалуй, нужно идти.

— Хорошо, милый.

— Мне не хочется уходить из нашего домика.

— И мне тоже.

— Но нужно идти.

— Хорошо. Мы ведь никогда еще долго не жили дома.

— Еще поживем.

— Я тебе приготовлю хорошенький домик к твоему возвращению.

— Может быть, я вернусь очень скоро.

— Вдруг тебя ранят чуть-чуть в ногу.

— Или в мочку уха.

— Нет, я хочу, чтоб твои уши остались, как они есть.

— А ноги нет?

— В ноги ты уже был ранен.

— Надо нам идти, дорогая.

— Хорошо. Иди ты первый.

Мы не стали вызывать лифт, а спустились по лестнице. Ковер на лестнице был потертый. Я уплатил за обед, когда его принесли, и официант, который принес его, сидел у дверей. Он вскочил и поклонился, и я прошел с ним в контору и уплатил за номер. Управляющий принял меня как друга и отказался получить вперед, но, расставшись со мной, он позаботился посадить у дверей официанта, чтоб я не сбежал, не заплатив. Повидимому, такие случаи у него бывали, даже с друзьями. Столько друзей заводишь во время войны.

Я попросил официанта сходить за экипажем, и он взял у меня из рук сверток Кэтрин и, раскрыв зонт, вышел. Из окна мы видели, как он переходил улицу под дождем. Мы стояли в конторе и глядели в окно.

— Как ты себя чувствуешь, Кэт?

— Спать хочется.

— А мне тоскливо и есть хочется.

— У тебя есть с собой какая-нибудь еда?

— Да, в походной сумке.

Я увидел подъезжавший экипаж. Он остановился, лошадь стала, понурив голову под дождем, официант вылез, раскрыл зонт и пошел к отелю. Мы встретили его в дверях и под зонтом прошли по мокрому тротуару к экипажу. В сточной канаве бежала вода.

— Ваш сверток на сиденье,— сказал официант. Он стоял с зонтом, пока мы усаживались, и я дал ему на чай.

— Спасибо. Счастливого пути,— сказал он.

Кучер подобрал вожжи, и лошадь тронулась. Официант повернулся со своим зонтом и направился к отелю. Мы поехали вдоль тротуара, затем повернули налево и выехали к вокзалу с правой стороны. Два карабинера стояли у фонаря, куда почти не попадал дождь. Их шляпы блестели под фонарем. При свете вокзальных огней дождь был прозрачный и чистый. Из-под навеса вышел носильщик, пряча от дождя голову в воротник.

— Нет,— сказал я.— Спасибо. Не требуется.

Он снова укрылся под навесом. Я обернулся к Кэтрин. Ее лицо было в тени поднятого верха.

— Что ж, попрощаемся?

— Я войду.

— Не надо.

— До свидания, Кэт.

— Скажи ему адрес госпиталя.

— Хорошо.

Я сказал кучеру, куда ехать. Он кивнул.

— До свидания,— сказал я.— Береги себя и маленькую Кэтрин.

— До свидания, милый.

— До свидания,— сказал я.

Я вышел под дождь, и кучер тронул. Кэтрин высунулась, и при свете фонаря я увидел ее лицо. Она улыбалась и махала рукой. Экипаж покатил по улице. Кэтрин указывала пальцем в сторону навеса. Я оглянулся; там был только навес и двое карабинеров. Я понял, что она хочет, чтобы я спрятался от дождя. Я встал под навес и смотрел, как экипаж сворачивает за угол. Потом я прошел через здание вокзала и вышел к поезду.

На перроне меня дожидался швейцар. Я вошел за ним в вагон, протолкался сквозь толпу в проходе и, отворив дверь, втиснулся в переполненное купе, где в уголке сидел пулеметчик. Мой рюкзак и походные сумки лежали над его головой в сетке для багажа. Много народу стояло в коридоре, и сидевшие в купе оглянулись на нас, когда мы вошли. В поезде не хватало мест, и все были настроены враждебно. Пулеметчик встал, чтоб уступить мне место. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я оглянулся. Это был очень высокий и худой артиллерийский капитан с красным рубцом на щеке. Он видел все через стеклянную дверь и вошел вслед за мной.

— В чем дело? — спросил я. Я повернулся к нему лицом. Он был выше меня ростом, и его лицо казалось очень худым в тени козырька, и рубец был свежий и глянцевитый. Все кругом смотрели на меня.

— Так не делают,— сказал он.— Нельзя посылать солдата заранее занимать место.

— А вот я так сделал.

Он глотнул воздух, и я увидел, как его кадык поднялся и опустился. Пулеметчик стоял около пустого места. Через стеклянную перегородку коридора смотрели люди. Кругом все молчали.

— Вы не имеете права. Я пришел сюда на два часа раньше вас.

— Чего вы хотите?

— Сидеть.

— Я тоже.

Я смотрел ему в лицо и чувствовал, что кругом все против меня. Я не осуждал их. Он был прав. Но я хотел сидеть. Кругом все по-прежнему молчали.

«А черт!» — подумал я.

— Садитесь, signor capitano,— сказал я. Пулеметчик посторонился, и высокий капитан сел. Он посмотрел на меня. Во взгляде у него было беспокойство. Но место осталось за ним.— Достаньте мои вещи,— сказал я пулеметчику. Мы вышли в коридор. Поезд был переполнен, и я знал, что на место нечего рассчитывать. Я дал швейцару и пулеметчику по десять лир. Они вышли из вагона и прошли по всей платформе, заглядывая в окна, но мест не было.

— Может быть, кто-нибудь сойдет в Брешии,— сказал швейцар.

— В Брешии еще сядут,— сказал пулеметчик. Я простился с ними, и они пожали мне руку и ушли. Они оба были расстроены. Все мы, оставшиеся без мест, стояли в коридоре, когда поезд тронулся. Я смотрел в окно на стрелки и фонари, мимо которых мы ехали. Дождь все еще шел, и скоро окна стали мокрыми, и ничего нельзя было разглядеть. Позднее я лег спать на полу в коридоре, засунув сначала свой бумажник с деньгами и документами под рубашку и брюки, так что он пришелся между бедром и штаниной. Я спал всю ночь и просыпался только на остановках в Брешии и Вероне, где в вагон входили еще новые пассажиры, но тотчас же засыпал снова. Одну походную сумку я подложил себе под голову, а другую обхватил руками, и кто не хотел наступить на меня, вполне мог через меня перешагнуть. По всему коридору на полу спали люди. Другие стояли, держась за оконные поручни или прислонившись к дверям. Этот поезд всегда уходил переполненным.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Была уже осень, и деревья все были голые и дороги покрыты грязью. Из Удине в Горицию я ехал на грузовике. По пути нам попадались другие грузовики, и я смотрел по сторонам. Тутовые деревья были голые, и земля в полях бурая. Мокрые мертвые листья лежали на дороге между рядами голых деревьев, и рабочие заделывали выбоины на дороге щебнем, который они брали из куч, сложенных вдоль обочины дороги, под деревьями. Показался город, но горы над ним были отрезаны туманом. Мы переехали реку, и я увидел, что вода сильно поднялась. В горах шли дожди. Мы въехали в город, минуя фабрики, а потом дома и виллы, и я увидел, что еще больше домов разрушено за это время снарядами. На узкой улице мы встретили автомобиль английского Красного Креста. Шофер был в кепи, и у него было худое и сильно загорелое лицо. Я его не знал. Я слез с грузовика на большой площади перед мэрией; шофер подал мне мой рюкзак, я надел его, пристегнул обе сумки и пошел к нашей вилле. Это не было похоже на возвращение домой.

Я шел по мокрому гравию аллеи и смотрел на виллу, белевшую за деревьями. Окна все были закрыты, но дверь была распахнута. Я вошел и застал майора за столом в комнате с голыми стенами, на которых висели только карты и отпечатанные на машинке бумажки.

— Привет! — сказал он.— Ну, как здоровье? — Он постарел и как будто ссохся.

— В порядке,— сказал я.— Как у вас дела?

— Все уже кончилось,— сказал он.— Снимите свое снаряжение и садитесь.

Я положил рюкзак и обе сумки на пол, а кепи — на рюкзак. Потом взял стул, стоявший у стены, и сел к столу.

— Лето было скверное,— сказал майор.— Вы вполне оправились?

— Да.

— Вы получили свои награды?

— Да. Все в лучшем виде. Благодарю вас.

— Покажите-ка.

Я распахнул свой плащ, чтобы видны были две ленточки.

— А самые медали вы тоже получили?

— Нет. Только документы.

— Медали придут потом. На это нужно больше времени.

— Куда вы меня теперь направите?

— Машины все в разъезде. Шесть на севере, в Капоретто. Вы знаете Капоретто?

— Да,— сказал я. Мне припомнился маленький белый городок с колокольней в долине. Городок был чистенький, и на площади был красивый фонтан.

— Вот они там. Сейчас много больных. Бои кончились.

— А где остальные?

— Две в горах, а четыре все еще на Баинзицце. Оба других санитарных отряда в Карсо, с третьей армией.

— Куда вы меня направите?

— Вы можете взять те четыре машины, которые на Баинзицце, если хотите. Смените Джино, он уже давно там. Это все ведь случилось уже после вас, кажется?

— Да.

— Скверное было дело. Мы потеряли три машины.

— Я слышал.

— Да, вам писал Ринальди.

— Где Ринальди?

— Он здесь, в госпитале. Летом и осенью ему жарко пришлось.

— Могу себе представить.

— Да, скверно было,— сказал майор.— Вы не представляете, до чего скверно. Я часто думал, как вам повезло, что вы были ранены вначале.

— Я и сам так считаю.

— В том году будет еще хуже,— сказал майор.— Возможно, они уже сейчас перейдут в наступление. Так говорят, но я не думаю. Слишком поздно. Видели реку?

— Да. Вода поднялась.

— Не думаю, чтоб наступление началось сейчас, когда в горах уже идут дожди. Скоро выпадет снег. А что наши соотечественники? Увидим мы еще американцев, кроме вас?

— Готовится армия в десять миллионов.

— Хорошо бы хоть часть попала к нам. Но французы всех перехватят. Сюда не доедет ни один человек. Ну, ладно. Вы сегодня переночуйте здесь, а завтра утром отправляйтесь на маленькой машине и смените Джино. Я дам вам кого-нибудь, кто знает дорогу. Джино вам все расскажет. Там еще постреливают немного, но, в общем, все уже кончилось. Вам любопытно будет побывать на Баинзицце.

— Очень рад буду побывать там. Очень рад, что я опять с вами.

Он улыбнулся.

— Вы очень любезны. Я устал от этой войны. Если б я уехал, не думаю, чтобы мне захотелось вернуться.

— Настолько все скверно?

— Да. Настолько и даже хуже. Идите умойтесь и разыщите своего друга Ринальди.

Я взял свой багаж и понес его по лестнице наверх. Ринальди в комнате не было, но вещи его были на месте, и я сел на кровать, снял обмотки и стащил с правой ноги башмак. Потом я прилег на кровати. Я устал, и правая нога болела. Мне показалось глупо лежать на постели в одном башмаке, поэтому я сел, расшнуровал второй башмак, сбросил его на пол и снова прилег на одеяло. В комнате было душно от закрытого окна, но я слишком устал, чтобы встать и раскрыть его. Я увидел, что все мои вещи сложены в одном углу комнаты. Уже начинало темнеть. Я лежал на кровати, и думал о Кэтрин, и ждал Ринальди. Я решил думать о Кэтрин только вечерами, перед сном. Но я устал, и мне нечего было делать, поэтому я лежал и думал о ней. Я думал о ней, когда Ринальди вошел в комнату. Он был все такой же. Разве только слегка похудел.

— Ну, бэби,— сказал он.

Я приподнялся на постели. Он подошел, сел рядом и обнял меня.

— Славный мой, хороший бэби.— Он хлопнул меня по спине, и я схватил его за плечи.

— Славный мой бэби,— сказал он.— Покажите-ка мне колено.

— Придется штаны снимать.

— Снимите штаны, бэби. Здесь все свои. Я хочу посмотреть, как вас там обработали.

Я встал, спустил брюки и снял с колена повязку. Ринальди сел на пол и стал слегка сгибать и разгибать мне ногу. Он провел рукой по шраму, соединил большие пальцы над коленной чашечкой и остальными легонько потряс колено.

— И дальше у вас не сгибается?

— Нет.

— Это просто преступление, что вас выписали. Они должны были добиться полного функционирования сустава.

— Было гораздо хуже. Нога была как палка.

Ринальди попробовал еще. Я следил за его руками. У него были ловкие руки хирурга. Я поглядел на его голову, на его волосы, блестящие и гладко расчесанные на пробор. Он согнул ногу слишком сильно.

— Уф! — сказал я.

— Вам надо было еще полечиться механотерапией,— сказал Ринальди.

— Раньше было хуже.

— Знаю, бэби. В таких вещах я смыслю больше вас.— Он поднялся и сел на кровать.— Сама операция сделана неплохо.— С моим коленом было покончено.— Теперь рассказывайте.

— Нечего рассказывать,— сказал я.— Жил тихо и мирно.

— Можно подумать, что вы семейный человек,— сказал он.— Что с вами?

— Ничего,— сказал я.— А вот что с вами?

— Эта война меня доконает,— сказал Ринальди.— Я совсем скис.— Он обхватил свое колено руками.

— Ого! — сказал я.

— В чем дело? Что, у меня не может быть человеческих чувств?

— Нет. Вы, видно, провели веселое лето. Расскажите.

— Все лето и всю осень я оперировал. Я работаю без отдыха. Я один работаю за всех. Самые трудные случаи оставляют мне. Честное слово, бэби, я становлюсь отличным хирургом.

— Это звучит уже лучше.

— Я никогда не думаю. Нет, честное слово, я не думаю, я просто оперирую.

— И правильно.

— Но сейчас, бэби, дело другое. Сейчас оперировать не приходится, и на душе у меня омерзительно. Это ужасная война, бэби. Можете мне поверить. Ну, а теперь развеселите меня немножко. Вы привезли пластинки?

— Да.

Они лежали в моем рюкзаке, в коробке, завернутые в бумагу. Я слишком устал, чтобы доставать их.

— А у вас разве хорошо на душе, бэби?

— Омерзительно.

— Эта война ужасна,— сказал Ринальди.— Ну, ладно. Вот мы с вами напьемся, так станет веселее. Развеем тоску по ветру. И все будет хорошо.

— У меня была желтуха,— сказал я.— Мне нельзя напиваться.

— Ах, бэби, в каком виде вы ко мне вернулись: рассудительный, с больной печенью. Нет, в самом деле, скверная штука война. И зачем только мы в нее ввязались?

— Давайте все-таки выпьем. Напиваться я не хочу, но выпить можно.

Ринальди подошел к умывальнику у другой стены и достал два стакана и бутылку коньяка.

— Это австрийский коньяк,— сказал он.— Семь звездочек. Все, что удалось захватить на Сан-Габриеле.

— Вы там были?

— Нет. Я нигде не был. Я все время был здесь и оперировал. Смотрите, бэби, это ваш старый стакан для полоскания зубов. Я его все время берег, чтобы он мне напоминал о вас.

— Или о том, что нужно чистить зубы.

— Нет. У меня свой есть. Я его берег, чтобы он мне напоминал, как вы по утрам старались отчиститься от «Вилла-Росса», и ругались, и глотали аспирин, и проклинали девок. Каждый раз, когда я смотрю на этот стакан, я вспоминаю, как вы старались вычистить свою совесть зубной щеткой.— Он подошел к постели.— Ну, поцелуйте меня и скажите, что вы уже перестали быть рассудительным.

— Не подумаю я вас целовать. Вы обезьяна.

— Ну, ну. Я знаю, вы хороший англосаксонский паймальчик. Я знаю. Вас совесть заела, я знаю. Я подожду, когда мой англосаксонский мальчик опять станет зубной щеткой счищать с себя публичный дом.

— Налейте коньяку в стакан.

Мы чокнулись и выпили. Ринальди посмеивался надо мной.

— Вот подпою вас, выну вашу печень, вставлю вам хорошую итальянскую печенку и сделаю вас опять человеком.

Я протянул стакан, чтобы он налил мне еще коньяку. Уже совсем стемнело. Со стаканом в руке я пошел к окну и раскрыл

его. Дождя уже не было. Стало холоднее, и в ветвях сгустился туман.

— Не выливайте коньяк в окно,— сказал Ринальди.— Если вы не можете выпить, дайте мне.

— Подите вы, знаете куда,— сказал я. Я рад был снова увидеть Ринальди. Целых два года он занимался тем, что дразнил меня, и я всегда любил его. Мы очень хорошо понимали друг друга.

— Вы женились? — спросил он, сидя на постели. Я стоял у окна, прислонясь к стене.

— Нет еще.

— Вы влюблены?

— Да.

— В ту англичанку?

— Да.

— Бедный бэби! Ну, а она вас тоже любит?

— Да.

— И доказала вам это на деле?

— Заткнитесь.

— Охотно. Вы увидите, что я человек исключительной деликатности. А что, она...

— Ринин! — сказал я.— Пожалуйста, заткнитесь. Если вы хотите, чтоб мы были друзьями, заткнитесь.

— Мне нечего хотеть, чтоб мы были друзьями, бэби. Мы и так друзья.

— Вот и заткнитесь.

— Слушаюсь.

Я подошел к кровати и сел рядом с Ринальди. Он держал стакан и смотрел в пол.

— Теперь понимаете, Ринин?

— Да, да, конечно. Всю свою жизнь я натыкаюсь на священные чувства. За вами я таких до сих пор не знал. Но, конечно, и у вас они должны быть.— Он смотрел в пол.

— А разве у вас нет?

— Нет.

— Никаких?

— Никаких.

— Вы позволили бы мне говорить что угодно о вашей матери, о вашей сестре?

— И даже о *вашей* сестре,— живо сказал Ринальди.

Мы оба засмеялись.

— Каков сверхчеловек! — сказал я.

— Может быть, я ревную,— сказал Ринальди.

— Нет, не может быть.

— Не в этом смысле. Я хотел сказать другое. Есть у вас женатые друзья?

— Есть,— сказал я.

— А у меня нет,— сказал Ринальди.— Таких, которые были бы счастливы со своими женами, нет.

— Почему?

— Они меня не любят.

— Почему?

— Я змей. Я змей познания.

— Вы все перепутали. Это древо было познания.

— Нет, змей.— Он немного развеселился.

— Вас портят глубокомысленные рассуждения,— сказал я.

— Я люблю вас, бэби,— сказал он.— Вы меня одергиваете, когда я становлюсь великим итальянским мыслителем. Но я знаю многое, чего не могу объяснить. Я больше знаю, чем вы.

— Да. Это верно.

— Но вам будет легче прожить. Хоть и с угрызениями совести, а легче.

— Не думаю.

— Да, да. Это так. Мне уже и теперь только тогда хорошо, когда я работаю.— Он снова стал смотреть в пол.

— Это у вас пройдет.

— Нет. Есть еще только две вещи, которые я люблю: одна вредит моей работе, а другой хватает на полчаса или на пятнадцать минут. Иногда меньше.

— Иногда гораздо меньше.

— Может быть, я сделал успехи, бэби. Вы ведь не знаете. Но я знаю эти две вещи и свою работу.

— Узнаете и другое.

— Нет. Мы никогда ничего не узнаем. Мы родимся со всем тем, что у нас есть, и больше ничему не научаемся. Мы никогда не узнаем ничего нового. Мы начинаем путь уже законченными. Счастье ваше, что вы не латинянин.

— Никаких латинян не существует. Это вот рассуждения латинянина. Вы гордитесь своими недостатками.

Ринальди поднял глаза и засмеялся.

— Ну, хватит, бэби. Я устал рассуждать.— У него был усталый вид, еще когда он вошел в комнату.— Скоро обед. Я рад, что вы вернулись. Вы мой лучший друг и мой брат по оружию.

— Когда братья по оружию обедают? — спросил я.

— Сейчас. Выпьем еще раз за вашу печенку.

— Это что, по апостолу Павлу?

— Вы не точны. Там было вино и желудок. Вкусите вина ради пользы желудка.

— Чего хотите,— сказал я.— Ради чего угодно.

— За вашу милую,— сказал Ринальди. Он поднял свой стакан.

— Принимаю.

— Я больше не скажу о ней ни одной гадости.

— Не невольте себя.

Он выпил весь коньяк.

— У меня чистая душа,— сказал он.— Я такой же, как вы, бэби. Я себе тоже заведу английскую девушку. Собственно говоря, я первый познакомился с вашей девушкой, но она для меня слишком высокая. И высокую девушку в сестры,— продекламировал он.

— Вы сама чистота,— сказал я.

— Не правда ли? Потому-то меня и называют Чистейший Ринальди.

— Свинейший Ринальди.

— Ну, ладно, бэби, идем обедать, пока я еще не утратил своей чистоты.

Я умылся, пригладил волосы, и мы снова сошли вниз. Ринальди был слегка пьян. В столовой еще не все было готово к обеду.

— Пойду принесу коньяк,— сказал Ринальди. Он поднялся наверх. Я сел за стол, и он вернулся с бутылкой и налил себе и мне по полстакана коньяку.

— Слишком много,— сказал я, и поднял стакан, и посмотрел в него на свет лампы, стоявшей посреди стола.

— На пустой желудок не много. Замечательная вещь. Совершенно выжигает внутренности. Хуже для вас не придумаешь.

— Ну что ж.

— Систематическое саморазрушение,— сказал Ринальди.— Портит желудок и вызывает дрожь в руках. Самая подходящая вещь для хирурга.

— Вы мне советуете?

— От всей души. Другого сам не употребляю. Проглотите это, бэби, и готовьтесь захворать.

Я выпил половину. В коридоре послышался голос вестового, выкликавший: «Суп! Суп готов!»

Вошел майор, кивнул нам и сел. За столом он казался очень маленьким.

— Больше никого? — спросил он. Вестовой поставил перед ним суповую миску, и он сразу налил полную тарелку.

— Никого,— сказал Ринальди.— Разве только священник придет. Знай он, что Федерико здесь, он бы пришел.

— Где он? — спросил я.

— В триста седьмом,— сказал майор. Он был занят своим супом. Он вытер рот, тщательно вытирая подкрученные кверху седые усы.— Придет, вероятно. Я был там и оставил записку, что вы приехали.

— Прежде шумнее было в столовой,— сказал я.

— Да, у нас теперь тихо,— сказал майор.

— Сейчас я буду шуметь,— сказал Ринальди.

— Выпейте вина, Энрико,— сказал майор. Он наполнил мой стакан. Принесли спагетти, и мы все занялись едой. Мы доедали спагетти, когда вошел священник. Он был все такой же, маленький и смуглый и весь подобранный. Я встал, и мы пожали друг другу руки. Он положил мне руку на плечо.

— Я пришел, как только узнал,— сказал он.

— Садитесь,— сказал майор.— Вы опоздали.

— Добрый вечер, священник,— сказал Ринальди.

— Добрый вечер, Ринальди,— сказал священник. Вестовой принес ему супу, но он сказал, что начнет со спагетти.

— Как ваше здоровье? — спросил он меня.

— Прекрасно,— сказал я.— Что у вас тут слышно?

— Выпейте вина, священник,— сказал Ринальди.— Вкусите вина ради пользы желудка. Это же из апостола Павла, вы знаете?

— Да, я знаю,— сказал священник вежливо. Ринальди наполнил его стакан.

— Уж этот апостол Павел! — сказал Ринальди.— Он-то и причина всему.

Священник взглянул на меня и улыбнулся. Я видел, что зубоскальство теперь не трогает его.

— Уж этот апостол Павел,— сказал Ринальди.— Сам был кобель и бабник, а как не стало силы, так объявил, что это грешно. Сам уже не мог ничего, так взялся поучать тех, кто еще в силе. Разве не так, Федерико?

Майор улыбнулся. Мы в это время ели жаркое.

— Я никогда не критикую святых после захода солнца,— сказал я. Священник поднял глаза от тарелки и улыбнулся мне.

— Ну вот, теперь и он за священника,— сказал Ринальди.— Где все добрые старые зубоскалы? Где Кавальканти? Где Брунди? Где Чезаре? Что ж, так мне и дразнить этого несчастного священника одному, без всякой поддержки?

— Он хороший священник,— сказал майор.

— Он хороший священник,— сказал Ринальди.— Но все-таки священник. Я стараюсь, чтоб в столовой все было, как в прежние времена. Я хочу доставить удовольствие Федерико. Ну вас к черту, священник!

Я заметил, что майор смотрит на него и видит, что он пьян. Его худое лицо было совсем белое. Волосы казались очень черными над белым лбом.

— Ничего, Ринальди,— сказал священник.— Ничего.

— Ну вас к черту! — сказал Ринальди.— Вообще все к черту! — Он откинулся на спинку стула.

— Он много работал и переутомился,— сказал майор, обращаясь ко мне. Доев мясо, он корочкой подобрал с тарелки соус.

— Плевать я хотел на вас,— сказал Ринальди,— обращаясь к столу.— И вообще все и всех к черту! — Он вызывающе огляделся вокруг, глаза его были тусклы, лицо бледно.

— Ну, ладно,— сказал я.— Все и всех к черту!

— Нет, нет,— сказал Ринальди.— Так нельзя. Так нельзя. Говорят вам: так нельзя. Мрак и пустота, и больше ничего нет. Больше ничего нет, слышите? Ни черта. Я знаю это, когда не работаю.

Священник покачал головой. Вестовой убрал жаркое.

— Почему вы едите мясо? — обернулся Ринальди к священнику.— Разве вы не знаете, что сегодня пятница?

— Сегодня четверг,— сказал священник.

— Враки. Сегодня пятница. Вы едите тело Спасителя. Это божье мясо. Я знаю. Это дохлая австриячина. Вот что вы едите.

— Белое мясо — офицерское,— сказал я, вспоминая старую шутку.

Ринальди засмеялся. Он наполнил свой стакан.

— Не слушайте меня,— сказал он.— Я немного спятил.

— Вам бы нужно поехать в отпуск,— сказал священник.

Майор укоризненно покачал головой. Ринальди посмотрел на священника.

— По-вашему, мне нужно ехать в отпуск?

Майор укоризненно качал головой, глядя на священника. Ринальди тоже смотрел на священника.

— Как хотите,— сказал священник.— Если вам не хочется, то не надо.

— Ну вас к черту! — сказал Ринальди.— Они стараются от меня избавиться. Каждый вечер они стараются от меня избавиться. Я отбиваюсь, как могу. Что ж такого, если у меня

это? *Это* у всех. *Это* у всего мира. Сначала,— он продолжал тоном лектора,— это только маленький прыщик. Потом мы замечаем сыпь на груди. Потом мы уже ничего не замечаем. Мы возлагаем все надежды на ртуть.

— Или сальварсан,— спокойно прервал его майор.

— Ртутный препарат,— сказал Ринальди. Он говорил теперь очень приподнятым тоном.— Я знаю кое-что получше. Добрый, славный священник,— сказал он,— у вас никогда не будет *этого*. А у бэби будет. Это авария на производстве. Это просто авария на производстве.

Вестовой подал десерт и кофе. На сладкое было что-то вроде хлебного пудинга с густой подливкой. Лампа коптила; черная копоть оседала на стекле.

— Дайте сюда свечи и уберите лампу,— сказал майор.

Вестовой принес две зажженные свечи, прилепленные к блюдцам, и взял лампу, задув ее по дороге. Ринальди успокоился. Он как будто совсем пришел в себя. Мы все разговаривали, а после кофе вышли в вестибюль.

— Ну, мне нужно в город,— сказал Ринальди.— Покойной ночи, священник.

— Покойной ночи, Ринальди,— сказал священник.

— Еще увидимся, Фреди,— сказал Ринальди.

— Да,— сказал я.— Приходите пораньше.

Он состроил гримасу и вышел. Майор стоял рядом с нами.

— Он переутомлен и очень издерган,— сказал он.— К тому же он решил, что у него сифилис. Не думаю, но возможно. Он лечится от сифилиса. Покойной ночи, Энрико. Вы на рассвете выедете?

— Да.

— Ну так до свидания,— сказал он.— Счастливый путь! Педуцци разбудит вас и поедет вместе с вами.

— До свидания.

— До свидания. Говорят, австрийцы собираются наступать, но я не думаю. Не хочу думать. Во всяком случае, это будет не здесь. Джино вам все расскажет. Телефонная связь теперь налажена.

— Я буду часто звонить.

— Непременно. Покойной ночи. Не давайте Ринальди так много пить.

— Постараюсь.

— Покойной ночи, священник.

— Покойной ночи.

Он ушел в свой кабинет.

Я подошел к двери и выглянул на улицу. Дождь перестал, но был сильный туман.

— Может быть, посидим у меня в комнате? — предложил я священнику.

— Только я очень скоро должен идти.

— Все равно, пойдемте.

Мы поднялись по лестнице и вошли в мою комнату. Я прилег на постель Ринальди. Священник сел на койку, которую вестовой приготовил для меня. В комнате было темно.

— Как же вы себя все-таки чувствуете? — спросил он.

— Хорошо. Просто устал сегодня.

— Вот и я устал, хотя, казалось бы, не от чего.

— Как дела на войне?

— Мне кажется, война скоро кончится. Не знаю почему, но у меня такое чувство.

— Откуда оно у вас?

— Вы заметили, как изменился наш майор? Словно притих. Многие теперь так.

— Я и сам так,— сказал я.

— Лето было ужасное,— сказал священник. В нем появилась уверенность, которой я за ним не знал раньше.— Вы себе не представляете, что это было. Только тот, кто побывал там, может себе это представить. Этим летом многие поняли, что такое война. Офицеры, которые, казалось, не способны понять, теперь поняли.

— Что же должно произойти? — Я поглаживал одеяло ладонью.

— Не знаю, но мне кажется, долго так продолжаться не может.

— Что же произойдет?

— Перестанут воевать.

— Кто?

— И те и другие.

— Будем надеяться,— сказал я.

— Вы в это не верите?

— Я не верю в то, что сразу перестанут воевать и те и другие.

— Да, конечно. Это было бы слишком хорошо. Но когда я вижу, что делается с людьми, мне кажется, так продолжаться не может.

— Кто выиграл летнюю кампанию?

— Никто.

— Австрийцы выиграли,— сказал я.— Они не отдали итальянцам Сан-Габриеле. Они выиграли. Они не перестанут воевать.

— Если у них такие же настроения, как у нас, могут и перестать. Они ведь тоже прошли через все это.

— Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестанет воевать.

— Вы меня обескураживаете.

— Я только говорю, что думаю.

— Значит, вы думаете, так оно и будет продолжаться? Ничего не произойдет?

— Не знаю. Но думаю, что австрийцы не перестанут воевать, раз они одержали победу. Христианами нас делает поражение.

— Но ведь австрийцы и так христиане — за исключением босняков.

— Я не о христианской религии говорю. Я говорю о христианском духе.

Он промолчал.

— Мы все притихли, потому что потерпели поражение. Кто знает, каким был бы Христос, если бы Петр спас его в Гефсиманском саду.

— Все таким же.

— Не уверен,— сказал я.

— Вы меня обескураживаете,— повторил он.— Я верю, что должно что-то произойти, и молюсь об этом. Я чувствую, как оно надвигается.

— Может, что-нибудь и произойдет,— сказал я.— Но только с нами. Если б у них были такие же настроения, как у нас, тогда другое дело. Но они побили нас. У них настроения другие.

— У многих из солдат всегда были такие настроения. Это вовсе не потому, что они теперь побиты.

— Они были побиты с самого начала. Они были побиты тогда, когда их оторвали от земли и надели на них солдатскую форму. Вот почему крестьянин мудр — потому что он с самого начала потерпел поражение. Дайте ему власть, и вы увидите, что он по-настоящему мудр.

Он ничего не ответил. Он думал.

— И у меня тоже тяжело на душе,— сказал я.— Потому-то я стараюсь не думать о таких вещах. Я о них не думаю, но

стоит мне начать разговор, и это само собой приходит мне в голову.

— А я ведь надеялся на что-то.

— На поражение?

— Нет. На что-то большее.

— Ничего большего нет. Разве только победа. Но это, может быть, еще хуже.

— Долгое время я надеялся на победу.

— Я тоже.

— А теперь — сам не знаю.

— Что-нибудь должно быть: или победа, или поражение.

— В победу я больше не верю.

— И я не верю. Но я не верю и в поражение. Хотя, пожалуй, это было бы лучше.

— Во что же вы верите?

— В сон,— сказал я. Он встал.

— Простите, что я отнял у вас столько времени. Но я так люблю с вами беседовать.

— Мне тоже очень приятно беседовать с вами. Это я просто так сказал насчет сна, в шутку.

Я встал, и мы за руку попрощались в темноте.

— Я теперь ночую в триста седьмом,— сказал он.

— Завтра с утра я уезжаю на пост.

— Мы увидимся, когда вы вернетесь.

— Тогда погуляем и поговорим.— Я проводил его до двери.

— Не спускайтесь,— сказал он.— Как приятно, что вы снова здесь. Хотя для вас это не так приятно.— Он положил мне руку на плечо.

— Для меня это неплохо,— сказал я.— Покойной ночи.

— Покойной ночи, Ciao!

— Ciao! — сказал я. Мне до смерти хотелось спать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я проснулся, когда пришел Ринальди, но он не стал разговаривать, и я снова заснул. Утром, еще до рассвета, я оделся и уехал. Ринальди не проснулся, когда я выходил из комнаты.

Я никогда раньше не видел Баинзиццы, и было странно проезжать по тому берегу, где я получил свою рану, и потом подниматься по склону, весной еще занятому австрийцами. Там была проложена новая, крутая дорога, и по ней ехало много грузовиков. Выше склон становился отлогим, и я увидел леса и

крутые холмы в тумане. Эти леса были взяты быстро, и их не успели уничтожить. Еще дальше, там, где холмы не защищали дорогу, она была замаскирована циновками по сторонам и сверху. Дорога доходила до разоренной деревушки. Здесь начинались позиции. Кругом было много артиллерии. Дома были полуразрушены, но все было устроено очень хорошо, и повсюду висели дощечки с указателями. Мы разыскали Джино, и он угостил нас кофе, и потом я вышел вместе с ним, и мы кое-кого повидали и осмотрели посты. Джино сказал, что английские машины работают дальше, у Равне. Он очень восхищался англичанами. Еще время от времени стреляют, сказал он, но раненых немного. Теперь, когда начались дожди, будет много больных. Говорят, австрийцы собираются наступать, но он этому не верит. Говорят, мы тоже собираемся наступать, но никаких подкреплений не прибыло, так что и это маловероятно. С продовольствием плохо, и он будет очень рад подкормиться в Гориции. Что мне вчера дали на обед? Я ему рассказал, и он нашел, что это великолепно. Особенное впечатление на него произвело dolce [1]. Я не описывал в подробностях, просто сказал, что было dolce, и, вероятно, он вообразил себе что-нибудь более изысканное, чем хлебный пудинг.

Знаю ли я, куда ему придется ехать? Я сказал, что не знаю, но что часть машин находится в Капоретто. Туда бы он охотно поехал. Это очень славный городок, и ему нравятся высокие горы, которые его окружают. Он был славный малый, и все его любили. Он сказал, что где действительно был ад,— это на Сан-Габриеле и во время атаки за Ломом, которая плохо кончилась. Он сказал, что в лесах по всему хребту Тернова, позади нас и выше нас, полно австрийской артиллерии и по ночам дорогу отчаянно обстреливают. У них есть батарея морских орудий, которые действуют ему на нервы. Их легко узнать по низкому полету снаряда. Слышишь залп, и почти тотчас же начинается свист. Обычно стреляют два орудия сразу, одно за другим, и при разрыве летят огромные осколки. Он показал мне такой осколок, иззубренный кусок металла с фут длиной. Металл был похож на баббит.

— Не думаю, чтоб они давали хорошие результаты,— сказал Джино.— Но мне от них страшно. У них такой звук, точно они летят прямо в тебя. Сначала удар, потом сейчас же свист и разрыв. Что за радость не быть раненым, если при этом умираешь от страха?

---

[1] Сладкое *(итал.)*.

Он сказал, что напротив нас стоят теперь полки кроатов и мадьяр. Наши войска все еще в наступательном порядке. Если австрийцы перейдут в наступление, отступать некуда. В невысоких горах сейчас же за плато есть прекрасные места для оборонительных позиций, но ничего не предпринято, чтоб подготовить их. Кстати, какое впечатление на меня произвела Баинзицца?

Я думал, что здесь более плоско, более похоже на плато. Я не знал, что местность так изрезана.

— Alto piano [1],— сказал Джино,— но не piano [2].

Мы спустились в погреб дома, где он жил. Я сказал, что, по-моему, кряж, если он плоский у вершины и имеет некоторую глубину, легче и выгоднее удерживать, чем цепь мелких гор. Атака в горах не более трудное дело, чем на ровном месте, настаивал я.

— Смотря какие горы,— сказал он.— Возьмите Сан-Габриеле.

— Да,— сказал я.— Но туго пришлось на вершине, где плоско. До вершины добрались сравнительно легко.

— Не так уже легко,— сказал он.

— Пожалуй,— сказал я.— Но все-таки это особый случай, потому что тут была скорее крепость, чем гора. Австрийцы укрепляли ее много лет.

Я хотел сказать, что тактически при военных операциях, связанных с передвижением, удерживать в качестве линии фронта горную цепь не имеет смысла, потому что горы слишком легко обойти. Здесь нужна максимальная маневренность, а в горах маневрировать трудно. И потом, при стрельбе сверху вниз всегда бывают перелеты. В случае отхода флангов лучшие силы останутся на самых высоких вершинах. Мне горная война не внушает доверия. Я много думал об этом, сказал я. Мы засядем на одной горе, они засядут на другой, а как начнется что-нибудь настоящее, и тем и другим придется слезать вниз.

— А что же делать, если граница проходит в горах? — спросил он.

Я сказал, что это у меня еще не продумано, и мы оба засмеялись. Но, сказал я, в прежнее время австрийцев всегда били в четырехугольнике веронских крепостей. Им давали спуститься на равнину, и там их били.

---

[1] Плоскогорье *(итал.)*.

[2] Равнина *(итал.)*.

— Да,— сказал Джино.— Но то были французы, а стратегические проблемы всегда легко разрешать, когда ведешь бой на чужой территории.

— Да,— согласился я.— У себя на родине невозможно подходить к этому чисто научно.

— Русские сделали это, чтобы заманить в ловушку Наполеона.

— Да, но ведь у русских сколько земли. Попробуйте в Италии отступать, чтобы заманить Наполеона, и вы мигом очутитесь в Бриндизи.

— Отвратительный город,— сказал Джино.— Вы когда-нибудь там бывали?

— Только проездом.

— Я патриот,— сказал Джино.— Но не могу я любить Бриндизи или Таранто.

— А Баинзиццу вы любите? — спросил я.

— Это священная земля,— сказал он.— Но я хотел бы, чтобы она родила больше картофеля. Вы знаете, когда мы попали сюда, мы нашли поля картофеля, засаженные австрийцами.

— Что, здесь действительно так плохо с продовольствием? — спросил я.

— Я лично ни разу не наелся досыта, но у меня основательный аппетит, а голодать все-таки не приходилось. Офицерские обеды неважные. На передовых позициях кормят прилично, а вот на линии поддержки хуже. Что-то где-то не в порядке. Продовольствия должно быть достаточно.

— Спекулянты распродают его на сторону.

— Да, батальонам на передовых позициях дают все, что можно, а тем, кто поближе к тылу, приходится туго. Уже съели всю австрийскую картошку и все каштаны из окрестных рощ. Нужно бы кормить получше. У нас у всех основательный аппетит. Я уверен, что продовольствия достаточно. Очень скверно, когда солдатам не хватает продовольствия. Вы замечали, как это влияет на образ мыслей?

— Да,— сказал я.— Это не принесет победы, но может принести поражение.

— Не будем говорить о поражении. Довольно и так разговоров о поражении. Не может быть, чтобы все, что совершилось этим летом, совершилось понапрасну.

Я промолчал. Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва» и выражение «совершилось». Мы слышали их иногда, стоя под дождем, на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас, и чи-

тали их на плакатах, которые расклейщики, бывало, нашлепывали поверх других плакатов; но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю. Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство. Некоторые номера тоже сохранили его, и некоторые даты, и только их и названия мест можно было еще произносить с каким-то значением. Абстрактные слова, такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами. Джино был патриот, поэтому иногда то, что он говорил, разобщало нас, но он был добрый малый, и я понимал его патриотизм. Он с ним родился. Вместе с Педуцци он сел в машину, чтобы ехать в Горицию.

Весь день была буря. Ветер подгонял потоки, и всюду были лужи и грязь. Штукатурка на развалинах стен была серая и мокрая. Перед вечером дождь перестал, и с поста номер два я увидел мокрую голую осеннюю землю, тучи над вершинами холмов и мокрые соломенные циновки на дороге, с которых стекала вода. Солнце выглянуло один раз, перед тем как зайти, и осветило голый лес за кряжем горы. В лесу на этом кряже было много австрийских орудий, но стреляли не все. Я смотрел, как клубы шрапнельного дыма возникали вдруг в небе над разрушенной фермой, близ которой проходил фронт; пушистые клубы с желто-белой вспышкой в середине. Видна была вспышка, потом слышался треск, потом шар дыма вытягивался и редел на ветру. Много шрапнельных пуль валялось среди развалин и на дороге у разрушенного дома, где находился пост, но пост в этот вечер не обстреливали. Мы нагрузили две машины и поехали по дороге, замаскированной мокрыми циновками, сквозь щели которых проникали последние солнечные лучи. Когда мы выехали на открытую дорогу, солнце уже село. Мы поехали по открытой дороге, и когда, миновав поворот, мы снова въехали под квадратные своды соломенного тунеля, опять пошел дождь.

Ночью ветер усилился, и в три часа утра под сплошной пеленой дождя начался обстрел, и кроаты пошли через горные луга и перелески прямо на наши позиции. Они дрались в темноте под дождем, и контратакой осмелевших от страха солдат из окопов второй линии были отброшены назад. Рвались снаряды, взлетали ракеты под дождем, не утихал пулеметный и

ружейный огонь по всей линии фронта. Они больше не пытались подойти, и кругом стало тише, и между порывами ветра и дождя мы слышали гул канонады далеко на севере.

На пост прибывали раненые: одних несли на носилках, другие шли сами, третьих тащили на плечах товарищи, возвращавшиеся с поля. Они промокли до костей и не помнили себя от страха. Мы нагрузили две машины тяжелоранеными, которые лежали в погребе дома, где был пост, и, когда я захлопнул дверцу второй машины и повернул задвижку, на лицо мне упали снежные хлопья. Снег густо и тяжело валил вместе с дождем.

Когда рассвело, буря еще продолжалась, но снега уже не было. Он растаял на мокрой земле, и теперь снова шел дождь. На рассвете нас атаковали еще раз, но без успеха. Мы ждали атаки целый день, но все было тихо, пока не село солнце. Обстрел начался на юге, со стороны длинного, поросшего лесом горного кряжа, где была сосредоточена австрийская артиллерия. Мы тоже ждали обстрела, но его не было. Становилось темно. Наши орудия стояли в поле за деревней, и свист их снарядов звучал успокоительно.

Мы узнали, что атака на юге прошла без успеха. В ту ночь атака не возобновлялась, но мы узнали, что на севере фронт прорван. Ночью нам дали знать, чтобы мы готовились к отступлению. Мне сказал об этом капитан. Он получил сведения из штаба бригады. Немного спустя он вернулся от телефона и сказал, что все неправда. Штабу дан приказ во что бы то ни стало удержать позиции на Баинзицце. Я спросил о прорыве, и он сказал, что в штабе говорят, будто австрийцы прорвали фронт двадцать седьмого армейского корпуса в направлении Капоретто. На севере весь вчерашний день шли ожесточенные бои.

— Если эти сукины дети их пропустят, нам крышка,— сказал он.

— Это немцы атакуют,— сказал один из врачей. Слово «немцы» внушало страх. Мы никак не хотели иметь дело с немцами.

— Там пятнадцать немецких дивизий,— сказал врач.— Они прорвались, и мы будем отрезаны.

— В штабе бригады говорят, что мы должны удержать эти позиции. Говорят, прорыв не серьезный, и мы будем теперь держать линию фронта от Монте-Маджоре через горы.

— Откуда у них эти сведения?

— Из штаба дивизии.

— О том, что нужно готовиться к отступлению, тоже сообщили из штаба дивизии.

— Наше начальство — штаб армии,— сказал я.— Но здесь мое начальство — вы. Если вы велите мне ехать, я поеду. Но выясните точно, каков приказ.

— Приказ таков, что мы должны оставаться здесь. Ваше дело перевозить раненых на распределительный пункт.

— Нам иногда приходится перевозить и с распределительного пункта в полевые госпитали,— сказал я.— А скажите,— я никогда не видел отступления: если начинается отступление, каким образом эвакуируют всех раненых?

— Всех не эвакуируют. Забирают, сколько возможно, а прочих оставляют.

— Что я повезу на своих машинах?

— Госпитальное оборудование.

— Понятно,— сказал я.

На следующую ночь началось отступление. Стало известно, что немцы и австрийцы прорвали фронт на севере и идут горными ущельями на Чивидале и Удине. Отступали под дождем, организованно, сумрачно и тихо. Ночью, медленно двигаясь по запруженным дорогам, мы видели, как проходили под дождем войска, ехали орудия, повозки, запряженные лошадьми, мулы, грузовики, и все это уходило от фронта. Было не больше беспорядка, чем при продвижении вперед.

В ту ночь мы помогали разгружать полевые госпитали, которые были устроены в уцелевших деревнях на плато, и отвозили раненых к Плаве, а назавтра весь день сновали под дождем, эвакуируя госпитали и распределительный пункт Плавы. Дождь лил упорно, и под октябрьским дождем армия Баинзицы спускалась с плато и переходила реку там, где весной этого года были одержаны первые великие победы. В середине следующего дня мы прибыли в Горицию. Дождь перестал, и в городе было почти пусто. Проезжая по улице, мы увидели грузовик, на который усаживали девиц из солдатского борделя. Девиц было семь, и все они были в шляпах и пальто и с маленькими чемоданчиками в руках. Две из них плакали. Третья улыбнулась нам, высунула язык и повертела им из стороны в сторону. У нее были толстые припухлые губы и черные глаза.

Я остановил машину, вышел и заговорил с хозяйкой. Девицы из офицерского дома уехали рано утром, сказала она. Куда они направляются? В Конельяно, сказала она. Грузовик тронулся. Девица с толстыми губами снова показала нам язык. Хозяйка помахала рукой. Две девицы продолжали плакать.

Другие с любопытством оглядывали город. Я снова сел в машину.

— Вот бы нам ехать вместе с ними,— сказал Бонелло.— Веселая была бы поездка.

— Поездка и так будет веселая,— сказал я.

— Поездка будет собачья.

— Я это и подразумевал,— сказал я. Мы выехали на аллею, которая вела к нашей вилле.

— Хотел бы я быть там, когда эти пышечки расположатся на месте и примутся за дело.

— Вы думаете, они так сразу и примутся?

— Еще бы! Кто же во второй армии не знает этой хозяйки?

Мы были уже перед виллой.

— Ее называют мать игуменья,— сказал Бонелло.— Девицы новые, но ее-то знает каждый. Их, должно быть, привезли только что перед отступлением.

— Теперь потрудятся.

— Вот и я говорю, что потрудятся. Хотел бы я позабавиться с ними на даровщинку. Все-таки дерут они там, в домах. Государство обжуливает нас.

— Отведите машину, пусть механик ее осмотрит,— сказал я.— Смените масло и проверьте дифференциал. Заправьтесь, а потом можете немного поспать.

— Слушаюсь.

Вилла была пуста. Ринальди уехал с госпиталем. Майор увез в штабной машине медицинский персонал. На окне оставлена была для меня записка с указанием погрузить на машины оборудование, сложенное в вестибюле, и следовать в Порденоне. Механики уже уехали. Я вернулся в гараж. Остальные две машины пришли, пока я ходил на виллу, и шоферы стояли во дворе. Опять стал накрапывать дождь.

— Я до того спать хочу, что три раза заснул по дороге от Плавы,— сказал Пиани.— Что будем делать, tenente?

— Сменим масло, смажем, заправимся, подъедем к главному входу и погрузим добро, которое нам оставили.

— И сразу в путь?

— Нет, часа три поспим.

— Черт, поспать — это хорошо,— сказал Бонелло.— А то бы я за рулем заснул.

— Как ваша машина, Аймо? — спросил я.

— В порядке.

— Дайте мне кожан, я помогу вам.

— Не нужно, tenente,— сказал Аймо.— Тут дела немного. Вы идите укладывать свои вещи.

— Мои вещи все уложены,— сказал я.— Я пойду вытащу весь этот хлам, что они нам оставили. Подавайте машины, как только управитесь.

Они подали машины к главному входу виллы, и мы нагрузили их госпитальным имуществом, которое было сложено в вестибюле. Скоро все было готово, и автомобили выстроились под дождем вдоль обсаженной деревьями аллеи. Мы вошли в дом.

— Разведите огонь в кухне и обсушитесь,— сказал я.

— Наплевать, буду мокрый,— сказал Пиани.— Я спать хочу.

— Я лягу на кровати майора,— сказал Бонелло.— Лягу там, где старикашке сны снились.

— Мне все равно, где ни спать,— сказал Пиани.

— Вот тут есть две кровати.— Я отворил дверь.

— Я никогда не был в этой комнате,— сказал Бонелло.

— Это была комната старой жабы,— сказал Пиани.

— Ложитесь тут оба,— сказал я.— Я разбужу вас.

— Если вы проспите, tenente, нас австрийцы разбудят,— сказал Бонелло.

— Не просплю,— сказал я.— Где Аймо?

— Пошел на кухню.

— Ложитесь спать,— сказал я.

— Я лягу,— сказал Пиани.— Я весь день спал сидя. У меня прямо лоб на глаза наезжает.

— Снимай сапоги,— сказал Бонелло.— Это жабина кровать.

— Плевать мне на жабу!

Пиани улегся на кровати, вытянув ноги в грязных сапогах, подложив руку под голову. Я пошел на кухню. Аймо развел в плите огонь и поставил котелок с водой.

— Надо приготовить немножко спагетти,— сказал он.— Захочется есть, когда проснемся.

— А вы спать не хотите, Бартоломео?

— Не очень. Как вода вскипит, я пойду. Огонь сам погаснет.

— Вы лучше поспите,— сказал я.— Поесть можно сыру и консервов.

— Так будет лучше,— сказал он.— Тарелка горячего подкрепит этих двух анархистов. А вы ложитесь спать.

— В комнате майора есть постель.

— Вот вы там и ложитесь.

— Нет, я пойду в свою старую комнату. Хотите выпить, Бартоломео?

— Когда будем выезжать, tenente. Сейчас это мне ни к чему.

— Если через три часа вы проснетесь, а я еще буду спать, разбудите меня, хорошо?

— У меня часов нет.

— В комнате майора есть стенные часы.

— Ладно.

Я прошел через столовую и вестибюль и по мраморной лестнице поднялся в комнату, где жили мы с Ринальди. Шел дождь. Я подошел к окну и выглянул. В надвигавшейся темноте я различил три машины, стоявшие одна за другой под деревьями. С деревьев стекала вода. Было холодно, и капли повисали на ветках. Я лег на постель Ринальди и не стал бороться со сном.

Прежде чем выехать, мы поели на кухне. Аймо приготовил спагетти с луком и накрошил в миску мясных консервов. Мы уселись за стол и выпили две бутылки вина из запасов, оставленных в погребе виллы. Было уже совсем темно, и дождь все еще шел. Пиани сидел за столом совсем сонный.

— Мне отступление больше нравится, чем наступление,— сказал Бонелло.— При отступлении мы пьем барбера.

— Это мы сейчас пьем. Завтра будем пить дождевую воду,— сказал Аймо.

— Завтра мы будем в Удине. Мы будем пить шампанское. Там все лежебоки живут. Проснись, Пиани! Мы будем пить шампанское завтра в Удине.

— Я не сплю,— сказал Пиани. Он положил себе на тарелку спагетти и мяса.— Томатного соуса не хватает, Барто.

— Нигде не нашел,— сказал Аймо.

— Мы будем пить шампанское в Удине,— сказал Бонелло. Он наполнил свой стакан прозрачным красным барбера.

— Не пришлось бы нам наглотаться дерьма еще до Удине,— сказал Пиани.

— Вы сыты, tenente? — спросил Аймо.

— Вполне. Передайте мне бутылку, Бартоломео.

— У меня еще есть по бутылке на брата, чтоб с собой взять,— сказал Аймо.

— Вы совсем не спали?

— Я не люблю долго спать. Я поспал немного.

— Завтра мы будем спать в королевской постели,— сказал Бонелло. Он был отлично настроен.

— Завтра, может статься, мы будем спать в дерьме,— сказал Пиани.

— Я буду спать с королевой,— сказал Бонелло. Он оглянулся, чтоб посмотреть, как я отнесся к его шутке.

— Ты будешь спать с дерьмом,— сказал Пиани сонным голосом.

— Это государственная измена, tenente,— сказал Бонелло.— Правда, это государственная измена?

— Замолчите,— сказал я.— Слишком вы разгулялись от капли вина.

Дождь лил все сильнее. Я поглядел на часы. Было половина десятого.

— Пора двигать,— сказал я и встал.

— Вы с кем поедете, tenente? — спросил Бонелло.

— С Аймо. Потом вы. Потом Пиани. Поедем по дороге на Кормонс.

— Боюсь, как бы я не заснул,— сказал Пиани.

— Хорошо. Я поеду с вами. Потом Бонелло. Потом Аймо.

— Это лучше всего,— сказал Пиани.— А то я совсем сплю.

— Я поведу машину, а вы немного поспите.

— Нет. Я могу вести, раз я знаю, что есть кому меня разбудить, если я засну.

— Я вас разбужу. Погасите свет, Барто.

— А пускай его горит,— сказал Бонелло.— Нам здесь больше не жить.

— У меня там сундучок в комнате,— сказал я.— Вы мне поможете его снести, Пиани?

— Мы сейчас возьмем,— сказал Пиани.— Пошли, Альдо.

Он вышел вместе с Бонелло. Я слышал, как они поднимались по лестнице.

— Хороший это город,— сказал Бартоломео Аймо. Он положил в свой вещевой мешок две бутылки вина и полкруга сыру.— Другого такого города нам уже не найти. Куда мы отступаем, tenente?

— За Тальяменто, говорят. Госпиталь и штаб будут в Порденоне.

— Тут лучше, чем в Порденоне.

— Я в Порденоне не был,— сказал я.— Я только проезжал мимо.

— Городок не из важных,— сказал Аймо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Когда мы выезжали из Гориции, город в темноте под дождем был пустой, только колонны войск и орудий проходили по главной улице. Еще было много грузовиков и повозок, все это ехало по другим улицам и соединялось на шоссе. Миновав дубильни, мы выехали на шоссе, где войска, грузовики, повозки, запряженные лошадьми, и орудия шли одной широкой, медленно движущейся колонной. Мы медленно, но неуклонно двигались под дождем, почти упираясь радиатором в задний борт нагруженного с верхом грузовика, покрытого мокрым брезентом. Вдруг грузовик остановился. Остановилась вся колонна. Потом она снова тронулась, мы проехали еще немного и снова остановились. Я вылез и пошел вперед, пробираясь между грузовиками и повозками и под мокрыми мордами лошадей. Затор был где-то впереди. Я свернул с дороги, перебрался через канаву по дощатым мосткам и пошел по полю, начинавшемуся сразу же за канавой. Удаляясь от дороги, я все время видел между деревьями неподвижную под дождем колонну. Я прошел около мили. Колонна стояла на месте, хотя за неподвижным транспортом мне видно было, что войска идут. Я вернулся к машинам. Могло случиться, что затор образовался под самым Удине. Пиани спал за рулем. Я уселся рядом с ним и тоже заснул. Спустя несколько часов я услышал скрежет передачи на грузовике впереди нас. Я разбудил Пиани, и мы поехали, то подвигаясь вперед на несколько ярдов, то останавливаясь, то снова трогаясь. Дождь все еще шел.

Ночью колонна снова стала и не двигалась с места. Я вылез и пошел назад, проведать Бонелло и Аймо. В машине Бонелло с ним рядом сидели два сержанта инженерной части. Когда я подошел, они вытянулись и замерли.

— Их оставили чинить какой-то мост,— сказал Бонелло.— Они не могут найти свою часть, так я согласился их подвезти.

— Если господин лейтенант разрешит.

— Разрешаю,— сказал я.

— Наш лейтенант американец,— сказал Бонелло.— Он кого хочешь подвезет.

Один из сержантов улыбнулся. Другой спросил у Бонелло, из североамериканских я итальянцев или из южноамериканских.

— Он не итальянец. Он англичанин из Северной Америки.

«Прощай, оружие!»

Сержанты вежливо выслушали, но не поверили. Я оставил их и пошел к Аймо. Рядом с ним в машине сидели две девушки, и он курил, откинувшись в угол.

— Барто, Барто! — сказал я. Он засмеялся.

— Поговорите с ними, tenente,— сказал он.— Я их не понимаю. Эй! — Он положил руку на бедро одной из девушек и дружески сжал его. Девушка плотнее закуталась в шаль и оттолкнула его руку.— Эй! — сказал он.— Скажите tenente, как вас зовут и что вы тут делаете.

Девушка свирепо поглядела на меня. Вторая девушка сидела потупившись. Та, которая смотрела на меня, сказала что-то на диалекте, но я ни слова не понял. Она была смуглая, лет шестнадцати на вид.

— Sorella? [1] — спросил я, указывая на вторую девушку.

Она кивнула головой и улыбнулась.

— Так,— сказал я и потрепал ее по колену. Я почувствовал, как она съежилась, когда я прикоснулся к ней. Сестра по-прежнему не поднимала глаз. Ей можно было дать годом меньше. Снова Аймо положил руку старшей на бедро, и она оттолкнула ее. Он засмеялся.

— Хороший человек.— Он указал на самого себя.— Хороший человек.— Он указал на меня.— Не надо бояться.

Девушка смотрела на него свирепо. Они были похожи на двух диких птиц.

— Зачем же она со мной поехала, если я ей не нравлюсь? — спросил Аймо.— Я их только поманил, а они сейчас же влезли в машину.— Он обернулся к девушке.— Не бойся,— сказал он.— Никто тебя пе...— Он употребил грубое слово.— Тут негде...— Я видел, что она поняла слово, но больше ничего. В ее глазах, смотревших на него, был смертельный испуг. Она еще плотнее закуталась в свою шаль.— Машина полна,— сказал Аймо.— Никто тебя не... Тут негде...

Каждый раз, когда он произносил это слово, девушка съеживалась. Потом, вся съежившись и по-прежнему глядя на него, она заплакала. Я увидел, как у нее затряслись губы и слезы покатились по ее круглым щекам. Сестра, не поднимая глаз, взяла ее за руку, и так они сидели рядом. Старшая, такая свирепая раньше, теперь громко всхлипывала.

— Испугалась, видно,— сказал Аймо.— Я вовсе не хотел пугать ее.

Он вытащил свой мешок и отрезал два куска сыру.

---

[1] Сестра? *(итал.)*

— Вот тебе,— сказал он.— Не плачь.

Старшая девушка покачала головой и продолжала плакать, но младшая взяла сыр и стала есть. Немного погодя младшая дала сестре второй кусок сыру, и они обе ели молча. Старшая все еще изредка всхлипывала.

— Ничего, скоро успокоится,— сказал Аймо.

Ему пришла в голову мысль.

— Девушка? — спросил он ту, которая сидела с ним рядом. Она усердно закивала головой.— Тоже девушка? — Он указал на сестру. Обе закивали, и старшая сказала что-то на диалекте.

— Ну, ну, ладно,— сказал Бартоломео.— Ладно.

Обе как будто приободрились.

Я оставил их в машине с Аймо, который сидел, откинувшись в угол, а сам вернулся к Пиани. Колонна транспорта стояла неподвижно, но мимо нее все время шли войска. Дождь все еще лил, и я подумал, что остановки в движении колонны иногда происходят из-за того, что у машин намокает проводка. Скорее, впрочем, от того, что лошади или люди засыпают на ходу. Но ведь случаются заторы и в городах, когда никто не засыпает на ходу. Все дело в том, что тут и автотранспорт и гужевой вместе. От такой комбинации толку мало. От крестьянских повозок вообще мало толку. Славные эти девушки у Барто. Невинным девушкам не место в отступающей армии. Две невинные девушки. Еще и религиозные, наверно. Не будь войны, мы бы, наверно, все сейчас лежали в постели. В постель свою ложусь опять. Кэтрин сейчас в постели, у нее две простыни, одна под ней, другая сверху. На каком боку она спит? Может быть, она не спит. Может быть, она лежит сейчас и думает обо мне. Вей, западный ветер, вей. Вот он и повеял, и не дождиком, а сильным дождем туча пролилась. Всю ночь льет дождь. Ты знал, что всю ночь будет лить дождь, которым туча пролилась. Смотри, как он льет. Когда бы милая моя со мной в постели здесь была. Когда бы милая моя Кэтрин. Когда бы милая моя с попутной тучей принеслась. Принеси ко мне мою Кэтрин, ветер. Что ж, вот и мы попались. Все на свете попались, и дождику не потушить огня.

— Спокойной ночи, Кэтрин,— сказал я громко.— Спи крепко. Если тебе очень неудобно, дорогая, ляг на другой бок,— сказал я.— Я принесу тебе холодной воды. Скоро наступит утро, и тебе будет легче. Меня огорчает, что тебе из-за него так неудобно. Постарайся уснуть, моя хорошая.

Я все время спала, сказала она. Ты разговаривал во сне. Ты нездоров?

Ты правда здесь?

Ну конечно, я здесь. И никуда не уйду. Это все для нас с тобой не имеет значения.

Ты такая красивая и хорошая. Ты от меня не уйдешь ночью?

— Ну конечно, я не уйду. Я всегда здесь. Я с тобой, когда бы ты меня ни позвал.

— Ах ты .....! — сказал Пиани.— Поехали!

— Я задремал,— сказал я. Я посмотрел на часы. Было три часа утра. Я перегнулся через сиденье, чтобы достать бутылку барбера.

— Вы разговаривали во сне,— сказал Пиани.

— Мне снился сон по-английски,— сказал я.

Дождь немного утих, и мы двигались вперед. Перед рассветом мы опять остановились, и когда совсем рассвело, оказалось, что мы стоим на небольшой возвышенности, и я увидел весь путь отступления, простиравшийся далеко вперед, шоссе, забитое неподвижным транспортом, сквозь который просеивалась только пехота. Мы тронулись снова, но при дневном свете видно было, с какой скоростью мы подвигаемся, и я понял, что, если мы хотим когда-нибудь добраться до Удине, нам придется свернуть с шоссе и ехать прямиком.

За ночь к колонне пристало много крестьян с проселочных дорог, и теперь в колонне ехали повозки, нагруженные домашним скарбом; зеркала торчали между матрацами, к задкам были привязаны куры и утки. Швейная машина стояла под дождем на повозке, ехавшей впереди нас. Каждый спасал, что у него было ценного. Кое-где женщины сидели на повозках, закутавшись, чтобы укрыться от дождя, другие шли рядом, стараясь держаться как можно ближе. В колонне были теперь и собаки, они бежали, прячась под днищами повозок. Шоссе было покрыто грязью, в канавах доверху стояла вода, и земля в полях за деревьями, окаймлявшими шоссе, казалась слишком мокрой и слишком вязкой, чтобы можно было отважиться ехать прямиком. Я вышел из машины и прошел немного вперед, отыскивая удобное место, чтобы осмотреться и выбрать поворот на проселок. Проселочных дорог было много, но я опасался попасть на такую, которая никуда не приведет. Я все их видел не раз, когда мы проезжали в машине по шоссе, но ни одной не запомнил, потому что машина шла быстро, и все они были похожи одна на другую. Я только знал, что от правильного выбора

дороги будет зависеть, доберемся ли мы до места. Неизвестно было, где теперь австрийцы и как обстоят дела, но я был уверен, что, если дождь перестанет и над колонной появятся самолеты, все пропало. Пусть хоть несколько машин останется без водителей или несколько лошадей падет,— и движение на дороге окончательно застопорится.

Дождь теперь лил не так сильно, и я подумал, что скоро может проясниться. Я прошел еще немного вперед, и, дойдя до узкой дороги с живой изгородью по сторонам, меж двух полей уходившей на север, решил, что по ней мы и поедем, и поспешил назад, к машинам. Я сказал Пиани, где свернуть, и пошел предупредить Аймо и Бонелло.

— Если она нас никуда не выведет, мы можем вернуться и снова примкнуть к колонне,— сказал я.

— А что же мне с этими делать? — спросил Бонелло. Его сержанты по-прежнему сидели рядом с ним. Они были небриты, но выглядели по-военному даже в этот ранний утренний час.

— Пригодятся, если нужно будет подталкивать машину,— сказал я. Я подошел к Аймо и сказал, что мы попытаемся проехать прямиком.

— А мне что делать с моим девичьим выводком? — спросил Аймо. Обе девушки спали.

— От них мало пользы,— сказал я.— Лучше бы вам взять кого-нибудь на подмогу, чтобы толкать машину.

— Они могут пересесть в кузов,— сказал Аймо.— В кузове есть место.

— Ну пожалуйста, если вам так хочется,— сказал я.— Но возьмите кого-нибудь с широкими плечами на подмогу.

— Берсальера,— улыбнулся Аймо.— Самые широкие плечи у берсальеров. Им измеряют плечи. Как вы себя чувствуете, tenente?

— Прекрасно. А вы?

— Прекрасно. Только очень есть хочется.

— Куда-нибудь мы доберемся этой дорогой, тогда остановимся и поедим.

— Как ваша нога, tenente?

— Прекрасно,— сказал я.

Стоя на подножке и глядя вперед, я видел, как машина Пиани отделилась от колонны и свернула на узкий проселок, мелькая в просветах голых ветвей изгороди. Бонелло повернул вслед за ним, а потом и Аймо сделал то же, и мы поехали за двумя передними машинами узкой проселочной дорогой с изгородью по сторонам. Дорога вела к ферме. Мы застали маши-

ны Пиани и Бонелло уже во дворе фермы. Дом был низкий и длинный, с увитым виноградом навесом над дверью. Во дворе был колодец, и Пиани уже доставал воду, чтобы наполнить свой радиатор. От долгой езды с небольшой скоростью вода вся выкипела. Ферма была брошена. Я оглянулся на дорогу. Ферма стояла на пригорке, и оттуда видно было далеко кругом, и мы увидели дорогу, изгородь, поля и ряд деревьев вдоль шоссе, по которому шло отступление. Сержанты шарили в доме. Девушки проснулись и разглядывали дом, колодец, два больших санитарных автомобиля перед домом и трех шоферов у колодца. Один из сержантов вышел из дома со стенными часами в руках.

— Отнесите на место,— сказал я. Он посмотрел на меня, вошел в дом и вернулся без часов.

— Где ваш товарищ? — спросил я.

— Пошел в отхожее место.— Он взобрался на сиденье машины. Он боялся, что мы не возьмем его с собой.

— Как быть с завтраком, tenente? — спросил Бонелло.— Может, поедим чего-нибудь? Это не займет много времени.

— Как вы думаете, дорога, которая идет в ту сторону, приведет нас куда-нибудь?

— Понятно, приведет.

— Хорошо. Давайте поедим.

Пиани и Бонелло вошли в дом.

— Идем,— сказал Аймо девушкам. Он протянул руку, чтоб помочь им вылезть. Старшая из сестер покачала головой. Они не станут входить в пустой брошенный дом. Они смотрели нам вслед.

— Упрямые,— сказал Аймо.

Мы вместе вошли в дом. В нем было темно и просторно и чувствовалась покинутость. Бонелло и Пиани были на кухне.

— Есть тут особенно нечего,— сказал Пиани.— Все подобрали дочиста.

Бонелло резал большой белый сыр на кухонном столе.

— Откуда сыр?

— Из погреба. Пиани нашел еще вино и яблоки.

— Что ж, вот и завтрак.

Пиани вытащил деревянную затычку из большой, оплетенной соломой бутылки. Он наклонил ее и наполнил медный ковшик.

— Пахнет недурно,— сказал он.— Поищи какой-нибудь посуды, Барто.

Вошли оба сержанта.

— Берите сыру, сержанты,— сказал Бонелло.

— Пора бы ехать,— сказал один из сержантов, прожевывая сыр и запивая его вином.

— Поедем. Не беспокойтесь,— сказал Бонелло.

— Брюхо армии — ее ноги,— сказал я.

— Что? — спросил сержант.

— Поесть нужно.

— Да. Но время дорого.

— Наверно, сучьи дети, уже наелись,— сказал Пиани. Сержанты посмотрели на него. Они нас всех ненавидели.

— Вы знаете дорогу? — спросил меня один из них.

— Нет,— сказал я. Они посмотрели друг на друга.

— Лучше всего, если мы тронемся сейчас же,— сказал первый.

— Мы сейчас и тронемся,— сказал я.

Я выпил еще чашку красного вина. Оно казалось очень вкусным после сыра и яблок.

— Захватите сыр,— сказал я и вышел. Бонелло вышел вслед за мной с большой бутылью вина.

— Это слишком громоздко,— сказал я. Он посмотрел на вино с сожалением.

— Пожалуй, что так,— сказал он.— Дайте-ка мне фляги.

Он наполнил фляги, и немного вина пролилось на каменный пол. Потом он поднял бутыль и поставил ее у самой двери.

— Австрийцам не нужно будет выламывать дверь, чтобы найти вино,— сказал он.

— Надо двигать,— сказал я.— Мы с Пиани отправляемся вперед.

Оба сержанта уже сидели рядом с Бонелло. Девушки ели яблоки и сыр. Аймо курил. Мы поехали по узкой дороге. Я оглянулся на две другие машины и на фермерский дом. Это был хороший, низкий, прочный дом, и колодец был обнесен красивыми железными перилами. Впереди была дорога, узкая и грязная, и по сторонам ее шла высокая изгородь. Сзади, один за другим, следовали наши автомобили.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

В полдень мы увязли на топкой дороге, по нашим расчетам, километрах в десяти от Удине. Дождь перестал еще утром, и уже три раза мы слышали приближение самолетов, видели, как они пролетали в небе над нами, следили, как они забирали далеко влево, и слышали грохот бомбежки на главном шоссе.

Мы путались в сети проселочных дорог и не раз попадали на такие, которые кончались тупиком, но неизменно, возвращаясь назад и находя другие дороги, приближались к Удине. Но вот машина Аймо, давая задний ход, чтоб выбраться из тупика, застряла в рыхлой земле у обочины, и колеса, буксуя, зарывались все глубже и глубже до тех пор, пока машина не уперлась в землю дифференциалом. Теперь нужно было подкопаться под колеса спереди, подложить прутья, чтобы могли работать цепи, и толкать сзади до тех пор, пока машина не выберется на дорогу. Мы все стояли на дороге вокруг машины. Оба сержанта подошли к машине и осмотрели колеса. Потом они повернулись и пошли по дороге, не говоря ни слова. Я пошел за ними.

— Эй, вы! — сказал я.— Наломайте прутьев.

— Нам нужно идти,— сказал один.

— Ну, живо,— сказал я.— Наломайте прутьев.

— Нам нужно идти,— сказал один. Другой не говорил ничего. Они торопились уйти. Они не смотрели на меня.

— Я вам приказываю вернуться к машине и наломать прутьев,— сказал я. Первый сержант обернулся.

— Нам нужно идти. Через час вы будете отрезаны. Вы не имеете права приказывать нам. Вы нам не начальство.

— Я вам приказываю наломать прутьев,— сказал я. Они повернулись и пошли по дороге.

— Стой! — сказал я. Они продолжали идти по топкой дороге с изгородью по сторонам.— Стой, говорю! — крикнул я. Они прибавили шагу. Я расстегнул кобуру, вынул пистолет, прицелился в того, который больше разговаривал, и спустил курок. Я промахнулся, и они оба бросились бежать. Я выстрелил еще три раза, и один упал. Другой пролез сквозь изгородь и скрылся из виду. Я выстрелил в него сквозь изгородь, когда он побежал по полю. Пистолет дал осечку, и я вставил новую обойму. Я видел, что второй сержант уже так далеко, что стрелять в него бессмысленно. Он был на другом конце поля и бежал, низко пригнув голову. Я стал заряжать пустую обойму. Подошел Бонелло.

— Дайте я его прикончу,— сказал он. Я передал ему пистолет, и он пошел туда, где поперек дороги лежал ничком сержант инженерной части. Бонелло наклонился, приставил дуло к его голове и нажал спуск. Выстрела не было.

— Надо оттянуть затвор,— сказал я. Он оттянул затвор и выстрелил дважды. Он взял сержанта за ноги и оттащил его на край дороги, так что он лежал теперь у самой изгороди. Он вернулся и отдал мне пистолет.

— Сволочь! — сказал он. Он смотрел на сержанта.— Вы видели, как я его застрелил, tenente?

— Нужно скорей наломать прутьев,— сказал я.— А что, в другого я так и не попал?

— Вероятно, нет,— сказал Аймо.— Так далеко из пистолета не попасть.

— Скотина! — сказал Пиани. Мы ломали прутья и ветки. Из машины все выгрузили. Бонелло копал перед колесами. Когда все было готово, Аймо завел мотор и включил передачу. Колеса стали буксовать, разбрасывая грязь и прутья. Бонелло и я толкали изо всех сил, пока у нас не затрещали суставы. Машина не двигалась с места.

— Раскачайте ее, Барто,— сказал я.

Он дал задний ход, потом снова передний. Колеса только глубже зарывались. Потом машина опять уперлась дифференциалом, и колеса свободно вертелись в вырытых ими ямах. Я выпрямился.

— Попробуем веревкой,— сказал я.

— Я думаю, ничего не выйдет, tenente. Здесь не встать на одной линии.

— Нужно попробовать,— сказал я.— Иначе ее не вытащишь.

Машины Пиани и Бонелло могли встать на одной линии только по длине узкой дороги. Мы привязали одну машину к другой и стали тянуть. Колеса только вертелись на месте в колее.

— Ничего не получается,— закричал я.— Бросьте.

Пиани и Бонелло вышли из своих машин и вернулись к нам. Аймо вылез. Девушки сидели на камне, ярдах в двадцати от нас.

— Что вы скажете, tenente? — спросил Бонелло.

— Попробуем еще раз с прутьями,— сказал я.

Я смотрел на дорогу. Вина была моя. Я завел их сюда. Солнце почти совсем вышло из-за туч, и тело сержанта лежало у изгороди.

— Подстелим его френч и плащ,— сказал я. Бонелло пошел за ними. Я ломал прутья, а Пиани и Аймо копали впереди и между колес. Я надрезал плащ, потом разорвал его надвое и разложил в грязи под колесами, потом навалил прутьев. Мы приготовились, и Аймо взобрался на сиденье и включил мотор. Колеса буксовали, мы толкали изо всех сил. Но все было напрасно.

— Ну его к...! — сказал я.— Есть тут у вас что-нибудь нужное, Барто?

Аймо влез в машину к Бонелло, захватив с собой сыр, две бутылки вина и плащ. Бонелло, сидя за рулем, осматривал карманы френча сержанта.

— Выбросьте-ка этот френч,— сказал я.— А что будет с выводком Барто?

— Пусть садятся в кузов,— сказал Пиани.— Вряд ли мы далеко уедем.

Я отворил заднюю дверцу машины.

— Ну,— сказал я.— Садитесь.

Обе девушки влезли внутрь и уселись в уголке. Они как будто и не слыхали выстрелов. Я оглянулся назад. Сержант лежал на дороге в грязной фуфайке с длинными рукавами. Я сел рядом с Пиани, и мы тронулись. Мы хотели проехать через поле. Когда машины свернули на поле, я слез и пошел вперед. Если б нам удалось проехать через поле, мы бы выехали на дорогу. Нам не удалось проехать. Земля была слишком рыхлая и топкая. Когда машины застряли окончательно и безнадежно, наполовину уйдя колесами в грязь, мы бросили их среди поля и пошли к Удине пешком.

Когда мы вышли на дорогу, которая вела назад, к главному шоссе, я указал на нее девушкам.

— Идите туда,— сказал я.— Там люди.

Они смотрели на меня. Я вынул бумажник и дал каждой по десять лир.

— Идите туда,— сказал я, указывая пальцем.— Там друзья! Родные!

Они не поняли, но крепко зажали в руке деньги и пошли по дороге. Они оглядывались, словно боясь, что я отниму у них деньги. Я смотрел, как они шли по дороге, плотно закутавшись в шали, боязливо оглядываясь на нас. Все три шофера смеялись.

— Сколько вы дадите мне, если я пойду в ту сторону, tenente? — спросил Бонелло.

— Если уж они попадутся, так пусть лучше в толпе, чем одни,— сказал я.

— Дайте мне две сотни лир, и я пойду назад, прямо в Австрию,— сказал Бонелло.

— Там их у тебя отберут,— сказал Пиани.

— Может быть, война кончится,— сказал Аймо. Мы шли по дороге так быстро, как только могли. Солнце пробивалось сквозь тучи. Вдоль дороги росли тутовые деревья. Из-за деревь-

ев мне видны были наши машины, точно два больших мебельных фургона, торчавшие среди поля. Пиани тоже оглянулся.

— Придется построить дорогу, чтоб вытащить их оттуда,— сказал он.

— Эх, черт, были бы у нас велосипеды! — сказал Бонелло.

— В Америке ездят на велосипедах? — спросил Аймо.

— Прежде ездили.

— Хорошая вещь,— сказал Аймо.— Прекрасная вещь велосипед.

— Эх, черт, были бы у нас велосипеды! — сказал Бонелло.— Я плохой ходок.

— Что это, стреляют? — спросил я. Мне показалось, что я слышу выстрелы где-то вдалеке.

— Не знаю,— сказал Аймо. Он прислушался.

— Кажется, да,— сказал я.

— Раньше всего мы увидим кавалерию,— сказал Пиани.

— По-моему, у них нет кавалерии.

— Тем лучше, черт возьми,— сказал Бонелло.— Я вовсе не желаю, чтобы какая-нибудь кавалерийская сволочь проткнула меня пикой.

— Ловко вы того сержанта прихлопнули, tenente,— сказал Пиани. Мы шли очень быстро.

— Я его застрелил,— сказал Бонелло.— Я за эту войну еще никого не застрелил, и я всю жизнь мечтал застрелить сержанта.

— Застрелил курицу на насесте,— сказал Пиани.— Не очень-то быстро он летел, когда ты в него стрелял.

— Все равно. Я теперь всегда буду помнить об этом. Я убил эту сволочь, сержанта.

— А что ты скажешь на исповеди? — спросил Аймо.

— Скажу так: благословите меня, отец мой, я убил сержанта.

Все трое засмеялись.

— Он анархист,— сказал Пиани.— Он не ходит в церковь.

— Пиани тоже анархист,— сказал Бонелло.

— Вы действительно анархисты? — спросил я.

— Нет, tenente. Мы социалисты. Мы все из Имолы.

— Вы там никогда не бывали?

— Нет.

— Эх, черт! Славное это местечко, tenente. Приезжайте туда к нам после войны, там есть что посмотреть.

— И там все социалисты?

— Все до единого.

— Это хороший город?

— Еще бы. Вы такого и не видели.

— Как вы стали социалистами?

— Мы все социалисты. Там все до единого — социалисты. Мы всегда были социалистами.

— Приезжайте, tenente. Мы из вас тоже социалиста сделаем.

Впереди дорога сворачивала влево и взбиралась на невысокий холм мимо фруктового сада, обнесенного каменной стеной. Когда дорога пошла в гору, они перестали разговаривать. Мы шли четверо в ряд, стараясь не замедлять шага.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Позднее мы вышли на дорогу, которая вела к реке. Длинная вереница брошенных грузовиков и повозок тянулась по дороге до самого моста. Никого не было видно. Вода в реке стояла высоко, и мост был взорван посередине; каменный свод провалился в реку, и бурая вода текла над ним. Мы пошли по берегу, выискивая место для переправы. Я знал, что немного дальше есть железнодорожный мост, и я думал, что, может быть, нам удастся переправиться там. Тропинка была мокрая и грязная. Людей не было видно, только брошенное имущество и машины. На самом берегу не было никого и ничего, кроме мокрого кустарника и грязной земли. Мы шли вдоль берега и наконец увидели железнодорожный мост.

— Какой красивый мост! — сказал Аймо. Это был длинный железнодорожный мост через реку, которая обычно высыхала до дна.

— Давайте скорее переходить на ту сторону, пока его не взорвали,— сказал я.

— Некому взрывать,— сказал Пиани. Все ушли.

— Он, вероятно, минирован,— сказал Бонелло.— Идите вы первый, tenente.

— Каков анархист, а? — сказал Аймо.— Пусть он сам идет первый.

— Я пойду,— сказал я.— Вряд ли он так минирован, чтобы взорваться от шагов одного человека.

— Видишь,— сказал Пиани.— Вот что значит умный человек. Не то что ты, анархист.

— Был бы я умный, так не был бы здесь,— сказал Бонелло.

— А ведь неплохо сказано, tenente,— сказал Аймо.

— Неплохо,— сказал я. Мы были уже у самого моста. Небо опять заволокло тучами, и накрапывал дождь. Мост казался очень длинным и прочным. Мы вскарабкались на железнодорожную насыпь.

— Давайте по одному,— сказал я и вступил на мост. Я оглядывал шпалы и рельсы, ища проволочных силков или признаков мины, но ничего не мог заметить. Внизу, в просветах между шпалами, видна была река, грязная и быстрая. Впереди, за мокрыми полями, можно было разглядеть под дождем Удине. Перейдя мост, я огляделся. Чуть выше по течению на реке был еще мост. Пока я стоял и смотрел, по этому мосту проехала желтая, забрызганная грязью легковая машина. Парапет был высокий, и кузов машины, как только она въехала на мост, скрылся из виду. Но я видел головы шофера, человека, который сидел рядом с ним, и еще двоих на заднем сиденье. Все четверо были в немецких касках. Машина достигла берега и скрылась из виду за деревьями и транспортом, брошенным на дороге. Я оглянулся на Аймо, который в это время переходил, и сделал ему и остальным знак двигаться быстрее. Я спустился вниз и присел под железнодорожной насыпью. Аймо спустился вслед за мной.

— Вы видели машину? — спросил я.

— Нет. Мы смотрели на вас.

— Немецкая штабная машина проехала по верхнему мосту.

— Штабная машина?

— Да.

— Пресвятая дева!

Подошли остальные, и мы все присели в грязи под насыпью, глядя поверх нее на ряды деревьев, канаву и дорогу.

— Вы думаете, мы отрезаны, tenente?

— Не знаю. Я знаю только, что немецкая штабная машина поехала по этой дороге.

— Вы вполне здоровы, tenente? У вас не кружится голова?

— Не острите, Бонелло.

— А не выпить ли нам? — спросил Пиани.— Если уж мы отрезаны, так хотя бы выпьем.— Он отцепил свою фляжку от пояса и отвинтил пробку.

— Смотрите! Смотрите! — сказал Аймо, указывая на дорогу. Над каменным парапетом моста двигались немецкие каски.

Они были наклонены вперед и подвигались плавно, с почти сверхъестественной быстротой. Когда они достигли берега, мы увидели тех, на ком они были надеты. Это была велосипедная рота. Я хорошо разглядел двух передовых. У них были здоровые, обветренные лица. Их каски низко спускались на лоб и закрывали часть щек. Карабины были пристегнуты к раме велосипеда. Ручные гранаты ручкой вниз висели у них на поясе. Их каски и серые мундиры были мокры, и они ехали неторопливо, глядя вперед и по сторонам. Впереди ехало двое, потом четверо в ряд, потом двое, потом сразу десять или двенадцать, потом снова десять, потом один, отдельно. Они не разговаривали, но мы бы их и не услышали из-за шума реки. Они скрылись из виду на дороге.

— Пресвятая дева! — сказал Аймо.

— Это немцы,— сказал Пиани.— Это не австрийцы.

— Почему здесь некому остановить их?— сказал я.— Почему этот мост не взорван? Почему вдоль насыпи нет пулеметов?

— Это вы нам скажите, tenente,— сказал Бонелло.

Я был вне себя от злости.

— С ума все посходили. Там, внизу, взрывают маленький мостик. Здесь, на самом шоссе, мост оставляют. Куда все девались? Что же, так их и не попытаются остановить?

— Это вы нам скажите, tenente,— повторил Бонелло.

Я замолчал. Меня это не касалось; мое дело было добраться до Порденоне с тремя санитарными машинами. Мне это не удалось. Теперь мое дело просто добраться до Порденоне. Но я, видно, не доберусь даже до Удине. Ну и черт с ним! Главное, это сохранить спокойствие и не угодить под пулю или в плен.

— Вы, кажется, открывали фляжку? — спросил я Пиани. Он протянул мне ее. Я отпил порядочный глоток.— Можно идти,— сказал я.— Спешить, впрочем, некуда. Хотите поесть?

— Тут не место останавливаться,— сказал Бонелло.

— Хорошо. Идем.

— Будем держаться здесь, под прикрытием?

— Лучше идти по верху. Они могут пройти и этим мостом. Гораздо хуже будет, если они очутятся у нас над головой, прежде чем мы их увидим.

Мы пошли по железнодорожному полотну. По обе стороны от нас тянулась мокрая равнина. Впереди за равниной был холм, и за ним Удине. Крыши расступались вокруг крепости на холме. Видна была колокольня и башенные часы. В полях

было много тутовых деревьев. В одном месте впереди путь был разобран. Шпалы тоже вырыты и сброшены под насыпь.

— Вниз, вниз! — сказал Аймо.

Мы бросились вниз, под насыпь. Новый отряд велосипедистов проезжал по дороге. Я выглянул из-за края насыпи и увидел, что они проехали мимо.

— Они нас видели и не остановились,— сказал Аймо.

— Перебьют нас здесь, tenente,— сказал Бонелло.

— Мы им не нужны,— сказал я.— Они гонятся за кем-то другим. Для нас опаснее, если они наткнутся на нас неожиданно.

— Я бы охотнее шел здесь, под прикрытием,— сказал Бонелло.

— Идите. Мы пойдем по полотну.

— Вы думаете, нам удастся пройти? — спросил Аймо.

— Конечно. Их еще не так много. Мы пройдем, когда стемнеет.

— Что эта штабная машина тут делала?

— Черт ее знает,— сказал я. Мы шли по полотну. Бонелло устал шагать по грязи и присоединился к нам. Линия отклонилась теперь к югу, в сторону от шоссе, и мы не видели, что делается на дороге. Мостик через канал оказался взорванным, но мы перебрались по остаткам свай. Впереди слышны были выстрелы.

За каналом мы опять вышли на линию. Она вела к городу прямиком, среди полей. Впереди виднелась другая линия. На севере проходило шоссе, на котором мы видели велосипедистов; к югу ответвлялась неширокая дорога, густо обсаженная деревьями. Я решил, что нам лучше всего повернуть к югу и, обогнув таким образом город, идти проселком на Кампоформио и Тальяментское шоссе. Мы могли оставить главный путь отступления в стороне, выбирая боковые дороги. Мне помнилось, что через равнину ведет много проселочных дорог. Я стал спускаться с насыпи.

— Идем,— сказал я. Я решил выбраться на проселок и с южной стороны обогнуть город. Мы все спускались с насыпи. Навстречу нам с проселочной дороги грянул выстрел. Пуля врезалась в грязь насыпи.

— Назад! — крикнул я. Я побежал по откосу вверх, скользя в грязи. Шоферы были теперь впереди меня. Я взобрался на насыпь так быстро, как только мог. Из густого кустарника еще два раза выстрелили, и Аймо, переходивший через рельсы, зашатался, споткнулся и упал ничком. Мы стащили его на другую

сторону и перевернули на спину.— Нужно, чтобы голова была выше ног,— сказал я. Пиани передвинул его. Он лежал в грязи на откосе, ногами вниз, и дыхание вырывалось у него вместе с кровью. Мы трое на корточках сидели вокруг него под дождем. Пуля попала ему в затылок, прошла кверху и вышла под правым глазом. Он умер, пока я пытался затампонировать оба отверстия. Пиани опустил его голову на землю, отер ему лицо куском марли из полевого пакета, потом оставил его.

— Сволочи! — сказал он.

— Это не немцы,— сказал я.— Немцев здесь не может быть.

— Итальянцы,— сказал Пиани таким тоном, точно это было ругательство,— italiani.

Бонелло ничего не говорил. Он сидел возле Аймо, не глядя на него. Пиани подобрал кепи Аймо, откатившееся под насыпь, и прикрыл ему лицо. Он достал свою фляжку.

— Хочешь выпить?— Пиани протянул фляжку Бонелло.

— Нет,— сказал Бонелло. Он повернулся ко мне.— Это с каждым из нас могло случиться на полотне.

— Нет,— сказал я.— Это потому, что мы хотели пройти полем.

Бонелло покачал головой.

— Аймо убит,— сказал он.— Кто следующий, tenente? Куда мы теперь пойдем?

— Это итальянцы стреляли,— сказал я.— Это не немцы.

— Будь здесь немцы, они бы, наверное, нас всех перестреляли,— сказал Бонелло.

— Итальянцы для нас опаснее немцев,— сказал я.— Арьергард всего боится. Немцы хоть знают, чего хотят.

— Это вы правильно рассудили, tenente,— сказал Бонелло.

— Куда мы теперь пойдем? — спросил Пиани.

— Лучше всего переждать где-нибудь до темноты. Если нам удастся пробраться на юг, все будет хорошо.

— Им придется перебить нас всех в доказательство, что они не зря убили одного,— сказал Бонелло.— Я не хочу рисковать.

— Мы переждем где-нибудь поближе к Удине и потом в темноте пройдем.

— Тогда пошли,— сказал Бонелло.

Мы спустились по северному откосу насыпи. Я оглянулся. Аймо лежал в грязи под углом к полотну. Он был совсем маленький, руки у него были вытянуты по швам, ноги в обмотках и грязных башмаках сдвинуты вместе, лицо накрыто кепи. Он

выглядел очень мертвым. Шел дождь. Я относился к Аймо так хорошо, как мало к кому в жизни. У меня в кармане были его бумаги, и я знал, что должен буду написать его семье. Впереди за полянами виднелась ферма. Вокруг нее росли деревья, и к дому пристроены были службы. Вдоль второго этажа шла галерейка на сваях.

— Нам лучше держаться на расстоянии друг от друга,— сказал я.— Я пойду вперед.

Я двинулся по направлению к ферме. Через поле вела тропинка.

Проходя через поле, я был готов к тому, что в нас станут стрелять из-за деревьев вокруг дома или из самого дома. Я шел прямо к дому, ясно видя его перед собой. Галерея второго этажа соединялась с сеновалом, и между сваями торчало сено. Двор был вымощен камнем, и с ветвей деревьев стекали капли дождя. Посредине стояла большая пустая одноколка, высоко вздернув оглобли под дождем. Я прошел через двор и постоял под галереей. Дверь была открыта, и я вошел. Бонелло и Пиани вошли вслед за мной. Внутри было темно. Я прошел на кухню. В большом открытом очаге была зола. Над очагом висели горшки, но они были пусты. Я пошарил кругом, но ничего съестного не нашел.

— Здесь на сеновале можно переждать,— сказал я.— Пиани, может быть, вам удастся раздобыть чего-нибудь поесть, так несите туда.

— Пойду поищу,— сказал Пиани.

— И я пойду,— сказал Бонелло.

— Хорошо,— сказал я.— А я загляну на сеновал.

Я отыскал каменную лестницу, которая вела наверх из хлева. От хлева шел сухой запах, особенно приятный под дождем. Скота не было, вероятно, его угнали, когда покидали ферму. Сеновал до половины был заполнен сеном. В крыше было два окна; одно заколочено досками, другое — узкое слуховое окошко на северной стороне. В углу был желоб, по которому сено сбрасывали вниз, в кормушку. Был люк, приходившийся над двором, куда во время уборки подъезжали возы с сеном, и над люком скрещивались балки. Я слышал стук дождя по крыше и чувствовал запах сена и, когда я спустился, опрятный запах сухого навоза в хлеву. Можно было оторвать одну доску и из окна на южной стороне смотреть во двор. Другое окно выходило на север, в поле. Если бы лестница оказалась отрезанной, можно было через любое окно выбраться на крышу и оттуда спуститься вниз или же съехать вниз по желобу. Сеновал

был большой и, заслышав кого-нибудь, можно было спрятаться в сене. По-видимому, место было надежное. Я был уверен, что мы пробрались бы на юг, если бы в нас не стреляли. Не может быть, чтобы здесь были немцы. Они идут с севера и по дороге из Чивидале. Они не могли прорваться с юга. Итальянцы еще опаснее. Они напуганы и стреляют в первого встречного. Прошлой ночью в колонне мы слышали разговоры о том, что в отступающей армии на севере немало немцев в итальянских мундирах. Я этому не верил. Такие разговоры всегда слышишь во время войны. И всегда это проделывает неприятель. Вы никогда не услышите о том, что кто-то надел немецкий мундир, чтобы создавать сумятицу в германской армии. Может быть, это и бывает, но об этом не говорят. Я не верил, что немцы пускаются на такие штуки. Я считал, что им это не нужно. Незачем им создавать у нас сумятицу в отступающей армии. Ее создают численность войск и недостаток дорог. Тут и без немцев концов не найдешь. И все-таки нас могут расстрелять, как переодетых немцев. Застрелили же Аймо. Сено приятно пахнет, и оттого, что лежишь на сеновале, исчезают все годы, которые прошли. Мы лежали на сеновале, и разговаривали, и стреляли из духового ружья по воробьям, когда они садились на край треугольного отверстия под самым потолком сеновала. Сеновала уже нет, и был такой год, когда пихты все повырубили, и там, где был лес, теперь только пни и сухой валежник. Назад не вернешься. Если не идти вперед, что будет? Не попадешь снова в Милан. А если попадешь — тогда что? На севере, в стороне Удине, слышались выстрелы. Слышны были пулеметные очереди. Орудийной стрельбы не было. Это кое-что значило. Вероятно, стянули часть войск к дороге. Я посмотрел вниз и в полумраке двора увидел Пиани. Он держал под мышкой длинную колбасу, какую-то банку и две бутылки вина.

— Полезайте наверх,— сказал я.— Вон там лестница.

Потом я сообразил, что нужно помочь ему, и спустился. От лежания на сене у меня кружилась голова. Я был как в полусне.

— Где Бонелло? — спросил я.

— Сейчас скажу,— сказал Пиани. Мы поднялись по лестнице. Усевшись на сено, мы разложили припасы. Пиани достал ножик со штопором и стал откупоривать одну бутылку.

— Запечатано воском,— сказал он.— Должно быть, недурно.— Он улыбнулся.

— Где Бонелло? — спросил я.

Пиани посмотрел на меня.

— Он ушел, tenente,— сказал он.— Он решил сдаться в плен.

Я молчал.

— Он боялся, что его убьют.

Я держал бутылку с вином и молчал.

— Видите ли, tenente, мы вообще не сторонники войны.

— Почему вы не ушли вместе с ним? — спросил я.

— Я не хотел вас оставить.

— Куда он пошел?

— Не знаю, tenente. Просто ушел, и все.

— Хорошо,— сказал я.— Нарежьте колбасу.

Пиани посмотрел на меня в полумраке.

— Я уже нарезал ее, пока мы разговаривали,— сказал он. Мы сидели на сене и ели колбасу и пили вино. Это вино, должно быть, берегли к свадьбе. Оно было так старо, что потеряло цвет.

— Смотрите в это окно, Луиджи,— сказал я.— Я буду смотреть в то.

Мы пили каждый из отдельной бутылки, и я взял свою бутылку с собой, и забрался повыше, и лег плашмя на сено, и стал смотреть в узкое окошко на мокрую равнину. Не знаю, что я ожидал увидеть, но я не увидел ничего, кроме полей и голых тутовых деревьев и дождя. Я пил вино, и оно не бодрило меня. Его выдерживали слишком долго, и оно испортилось и потеряло свой цвет и вкус. Я смотрел, как темнеет за окном; тьма надвигалась очень быстро. Ночь будет черная, оттого что дождь. Когда совсем стемнело, уже не стоило смотреть в окно, и я вернулся к Пиани. Он лежал и спал, и я не стал будить его и молча посидел рядом. Он был большой, и сон у него был крепкий. Немного погодя я разбудил его, и мы тронулись в путь.

Это была очень странная ночь. Не знаю, чего я ожидал,— смерти, может быть, и стрельбы, и бега в темноте, но ничего не случилось. Мы выжидали, лежа плашмя за канавой у шоссе, пока проходил немецкий батальон, потом, когда он скрылся из виду, мы пересекли шоссе и пошли дальше, на север. Два раза мы под дождем очень близко подходили к немцам, но они не видели нас. Мы обогнули город с севера, не встретив ни одного итальянца, потом, немного погодя, вышли на главный путь отступления и всю ночь шли по направлению к Тальяменто. Я не представлял себе раньше гигантских масштабов отступления. Вся страна двигалась вместе с армией. Мы шли всю ночь, об-

гоняя транспорт. Нога у меня болела, и я устал, но мы шли очень быстро. Таким глупым казалось решение Бонелло сдаться в плен. Никакой опасности не было. Мы прошли сквозь две армии без всяких происшествий. Если б не гибель Аймо, казалось бы, что опасности никогда и не было. Никто нас не тронул, когда мы совершенно открыто шли по железнодорожному полотну. Гибель пришла неожиданно и бессмысленно. Я думал о том, где теперь Бонелло.

— Как вы себя чувствуете, tenente? — спросил Пиани. Мы шли по краю дороги, запруженной транспортом и войсками.

— Прекрасно.

— Я устал шагать.

— Что ж, нам теперь только и дела, что шагать. Тревожиться не о чем.

— Бонелло свалял дурака.

— Конечно, он свалял дурака.

— Как вы с ним думаете быть, tenente?

— Не знаю.

— Вы не можете отметить его как взятого в плен?

— Не знаю.

— Если война будет продолжаться, его родных могут притянуть к ответу.

— Война не будет продолжаться,— сказал какой-то солдат.— Мы идем домой. Война кончена.

— Все идут домой.

— Мы все идем домой.

— Прибавьте шагу, tenente,— сказал Пиани. Он хотел поскорей пройти мимо.

— Tenente? Кто тут tenente? A basso gli ufficiali! Долой офицеров!

Пиани взял меня под руку.

— Я лучше буду звать вас по имени,— сказал он.— А то не случилось бы беды. Были случаи расправы с офицерами.

Мы ускорили шаг и миновали эту группу.

— Я постараюсь сделать так, чтобы его родных не притянули к ответу,— сказал я, продолжая разговор.

— Если война кончилась, тогда все равно,— сказал Пиани.— Но я не верю, что она кончилась. Слишком было бы хорошо, если бы она кончилась.

— Это мы скоро узнаем,— сказал я.

— Я не верю, что она кончилась. Тут все думают, что она кончилась, но я не верю.

— Viva la Pace! [1] — выкрикнул какой-то солдат.— Мы идем домой.

— Славно было бы, если б мы все пошли домой,— сказал Пиани.— Хотелось бы вам пойти домой?

— Да.

— Не будет этого. Я не верю, что война кончилась.

— Andiamo a casa! [2] — закричал солдат.

— Они бросают винтовки,— сказал Пиани.— Снимают их и кидают на ходу. А потом кричат.

— Напрасно они бросают винтовки.

— Они думают, если они побросают винтовки, их не заставят больше воевать.

В темноте под дождем, прокладывая себе путь вдоль края дороги, я видел, что многие солдаты сохранили свои винтовки. Они торчали за плечами.

— Какой бригады? — окликнул офицер.

— Brigata di Pace! — закричал кто-то.— Бригады мира.

Офицер промолчал.

— Что он говорит? Что говорит офицер?

— Долой офицера! Viva la Pace!

— Прибавьте шагу,— сказал Пиани.

Мы увидели два английских санитарных автомобиля, покинутых среди других машин на дороге.

— Из Гориции,— сказал Пиани.— Я знаю эти машины.

— Они опередили нас.

— Они раньше выехали.

— Странно. Где же шоферы?

— Где-нибудь впереди.

— Немцы остановились под Удине,— сказал я.— Мы все перейдем реку.

— Да,— сказал Пиани.— Вот почему я и думаю, что война будет продолжаться.

— Немцы могли продвинуться дальше,— сказал я.— Странно, почему они не продвигаются дальше.

— Не понимаю. Я ничего не понимаю в этой войне.

— Вероятно, им пришлось дожидаться обоза.

— Не понимаю,— сказал Пиани. Один, он стал гораздо деликатней. В компании других шоферов он был очень невоздержан на язык.

— Вы женаты, Луиджи?

---

[1] Да здравствует мир! *(итал.)*

[2] По домам! *(итал.)*

— Вы ведь знаете, что я женат.

— Не потому ли вы не захотели сдаться в плен?

— Отчасти и потому. А вы женаты, tenente?

— Нет.

— Бонелло тоже нет.

— Нельзя все объяснять только тем, что человек женат или не женат. Но женатому, конечно, хочется вернуться к жене,— сказал я. Мне нравилось разговаривать о женах.

— Да.

— Как ваши ноги?

— Болят.

Перед самым рассветом мы добрались до берега Тальяменто и свернули вдоль вздувшейся реки к мосту, по которому шла переправа.

— Должны бы закрепиться на этой реке,— сказал Пиани. В темноте казалось, что река вздулась очень высоко. Вода бурлила, и русло как будто расширилось. Деревянный мост был почти в три четверти мили длиной, и река, которая обычно узкими протоками бежала в глубине по широкому каменистому дну, поднялась теперь почти до самого деревянного настила. Мы прошли по берегу и потом смешались с толпой, переходившей мост. Медленно шагая под дождем, в нескольких футах от вздувшейся реки, стиснутый плотно в толпе, едва не натыкаясь на зарядный ящик впереди, я смотрел в сторону и следил за рекой. Теперь, когда пришлось равнять свой шаг по чужим, я почувствовал сильную усталость. Оживления не было при переходе через мост. Я подумал, что́ было бы, если бы днем сюда сбросил бомбу самолет.

— Пиани! — сказал я.

— Я здесь, tenente.— В толчее он немного ушел от меня вперед. Никто не разговаривал. Каждый старался перейти как можно скорей, думал только об этом. Мы уже почти перешли. В конце моста, по обе стороны, стояли с фонарями офицеры и карабинеры. Их силуэты чернели на фоне неба. Когда мы подошли ближе, я увидел, как один офицер указал на какого-то человека в колонне. Карабинер пошел за ним и вернулся, держа его за плечо. Он повел его в сторону от дороги. Мы почти поравнялись с офицерами. Они всматривались в каждого проходившего в колонне, иногда переговариваясь друг с другом, выступая вперед, чтобы осветить фонарем чье-нибудь лицо. Еще одного взяли как раз перед тем, как мы поравнялись с ними. Это был подполковник. Я видел звездочки на его рукаве, когда его осветили фонарем. У него были седые волосы, он был

низенький и толстый. Карабинеры потащили его в сторону от моста. Когда мы поравнялись с офицерами, я увидел, что они смотрят на меня. Потом один указал на меня и что-то сказал карабинеру. Я увидел, что карабинер направляется в мою сторону, проталкиваясь ко мне сквозь крайние ряды колонны, потом я почувствовал, что он ухватил меня за ворот.

— В чем дело? — спросил я и ударил его по лицу. Я увидел его лицо под шляпой, подкрученные кверху усы и кровь, стекавшую по щеке. Еще один нырнул в толпу, пробираясь к нам.

— В чем дело? — спросил я. Он не отвечал. Он выбирал момент, готовясь схватить меня. Я сунул руку за спину, чтоб достать пистолет.— Ты что, не знаешь, что не смеешь трогать офицера?

Второй схватил меня сзади и дернул мою руку так, что чуть не вывихнул ее. Я обернулся к нему, и тут первый обхватил меня за шею. Я бил его ногами и левым коленом угодил ему в пах.

— В случае сопротивления стреляйте,— услышал я чей-то голос.

— Что это значит? — попытался я крикнуть, но мой голос прозвучал глухо. Они уже оттащили меня на край дороги.

— В случае сопротивления стреляйте,— сказал офицер.— Уведите его.

— Кто вы такие?

— После узнаете.

— Кто вы такие?

— Полевая жандармерия,— сказал другой офицер.

— Почему же вы не просили меня подойти, вместо того чтоб напускать на меня эти самолеты?

Они не ответили. Они не обязаны были отвечать. Они были — полевая жандармерия.

— Отведите его туда, где все остальные,— сказал первый офицер.— Слышите, он говорит по-итальянски с акцентом.

— С таким же, как и ты, сволочь,— сказал я.

— Отведите его туда, где остальные,— сказал первый офицер.

Меня повели мимо офицеров в сторону от дороги на открытое место у берега реки, где стояла кучка людей. Когда мы шли, в той стороне раздались выстрелы. Я видел ружейные вспышки и слышал залп. Мы подошли. Четверо офицеров стояли рядом, и перед ними, между двумя карабинерами, какой-то человек. Немного дальше группа людей под охраной карабине-

ров ожидала допроса. Еще четыре карабинера стояли возле допрашивавших офицеров, опершись на свои карабины. Эти карабинеры были в широкополых шляпах. Двое, которые меня привели, подтолкнули меня к группе, ожидавшей допроса. Я посмотрел на человека, которого допрашивали. Это был маленький толстый седой подполковник, взятый в колонне. Офицеры вели допрос со всей деловитостью, холодностью и самообладанием итальянцев, которые стреляют, не опасаясь ответных выстрелов.

— Какой бригады?

Он сказал.

— Какого полка?

Он сказал.

— Почему вы не со своим полком?

Он сказал.

— Вам известно, что офицер всегда должен находиться при своей части?

Ему было известно.

Больше вопросов не было. Заговорил другой офицер.

— Из-за вас и подобных вам варвары вторглись в священные пределы отечества.

— Позвольте,— сказал подполковник.

— Предательство, подобное вашему, отняло у нас плоды победы.

— Вам когда-нибудь случалось отступать? — спросил подполковник.

— Итальянцы не должны отступать.

Мы стояли под дождем и слушали все это. Мы стояли против офицеров, а арестованный впереди нас и немного в стороне.

— Если вы намерены расстрелять меня,— сказал подполковник,— прошу вас, расстреливайте сразу, без дальнейшего допроса. Этот допрос нелеп.— Он перекрестился. Офицеры заговорили между собой. Один написал что-то на листке блокнота.

— Бросил свою часть, подлежит расстрелу,— сказал он.

Два карабинера повели подполковника к берегу. Он шел под дождем, старик с непокрытой головой, между двумя карабинерами. Я не смотрел, как его расстреливали, но я слышал залп. Они уже допрашивали следующего. Это тоже был офицер, отбившийся от своей части. Ему не разрешили дать объяснения. Он плакал, когда читали приговор, написанный на листке из блокнота, и они уже допрашивали следующего, когда его расстреливали. Они все время спешили заняться допросом

следующего, пока только что допрошенного расстреливали у реки. Таким образом, было совершенно ясно, что они тут уже ничего не могут поделать. Я не знал, ждать ли мне допроса или попытаться бежать немедленно. Совершенно ясно было, что я немец в итальянском мундире. Я представлял себе, как работает их мысль, если у них была мысль и если она работала. Это все были молодые люди, и они спасали родину. Вторая армия заново формировалась у Тальяменто. Они расстреливали офицеров в чине майора и выше, которые отбились от своих частей. Заодно они также расправлялись с немецкими агитаторами в итальянских мундирах. Они были в стальных касках. Несколько карабинеров были в таких же. Другие карабинеры были в широкополых шляпах. Самолеты — так их у нас называли. Мы стояли под дождем, и нас по одному выводили на допрос и на расстрел. Ни один из допрошенных до сих пор не избежал расстрела. Они вели допрос с неподражаемым бесстрастием и законоблюстительским рвением людей, распоряжающихся чужой жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает. Они допрашивали сейчас полковника линейного полка. Только что привели еще трех офицеров.

— Где ваш полк?

Я взглянул на карабинеров. Они смотрели на новых арестованных. Остальные смотрели на полковника. Я нырнул, проскочил между двумя конвойными и бросился бежать к реке, пригнув голову. У самого берега я споткнулся и с сильным плеском сорвался в воду. Вода была очень холодная, и я оставался под ней, сколько мог выдержать. Я чувствовал, как меня уносит течением, и я оставался под водой до тех пор, пока мне не показалось, что я уже не смогу всплыть. Я всплыл на поверхность, перевел дыхание и в ту же минуту снова ушел под воду. В полной форме и в башмаках нетрудно было оставаться под водой. Когда я всплыл во второй раз, я увидел впереди себя бревно, и догнал его, и ухватился за него одной рукой. Я спрятал за ним голову и даже не пытался выглянуть. Я не хотел видеть берег. Я слышал выстрелы, когда бежал и когда всплыл первый раз. Звук их доносился до меня, когда я плыл под самой поверхностью воды. Сейчас выстрелов не было. Бревно колыхалось на воде, и я держался за него одной рукой. Я посмотрел на берег. Казалось, он очень быстро уходил назад. По реке плыло много лесу. Вода была очень холодная. Мы миновали островок, поросший кустарником. Я ухватился за бревно обеими руками, и оно понесло меня по течению. Берега теперь не было видно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Никогда не знаешь, сколько времени плывешь по реке, если течение быстрое. Кажется, что долго, а на самом деле, может быть, очень мало. Вода была холодная и стояла очень высоко, и по ней проплывало много разных вещей, смытых с берега во время разлива. По счастью, мне попалось тяжелое бревно, которое могло служить опорой, и я вытянулся в ледяной воде, положив подбородок на край бревна и стараясь как можно легче держаться обеими руками. Я боялся судорог, и мне хотелось, чтобы нас отнесло к берегу. Мы плыли вниз по реке, описывая длинную кривую. Уже настолько рассвело, что можно было разглядеть прибрежные кусты. Впереди был поросший кустарником остров, и течение отклонялось к берегу. У меня была мысль снять башмаки и одежду и достигнуть берега вплавь, но я решил, что не нужно. Я все время не сомневался, что как-нибудь попаду на берег, и мне трудно придется, если я останусь босиком. Необходимо было как-нибудь добраться до Местре.

Берег приблизился, потом откачнулся назад, потом приблизился снова. Мы теперь плыли медленнее. Берег был уже совсем близко. Можно было разглядеть каждую веточку ивняка. Бревно медленно повернулось, так что берег оказался позади меня, и я понял, что мы попали в водоворот. Мы медленно кружились на месте. Когда берег снова стал виден, уже совсем близко, я попробовал, держась одной рукой, другой загребать к берегу, помогая ногами, но мне не удалось подвести бревно ближе. Я боялся, что нас отнесет на середину, и, держась одной рукой, я подтянул ноги так, что они уперлись в бревно, и с силой оттолкнулся к берегу. Я видел кусты, но, несмотря на инерцию и на усилия, которые я делал, меня течением относило в сторону. Мне стало очень страшно, что я утону из-за башмаков, но я работал изо всех сил и боролся с водой, и когда я поднял глаза, берег шел на меня, и, преодолевая грозную тяжесть ног, я продолжал работать и плыть, пока не достиг его. Я уцепился за ветвь ивы и повис, не в силах подтянуться кверху, но я знал теперь, что не утону. На бревне мне ни разу не приходило в голову, что я могу утонуть. Меня всего подвело и мутило от напряжения, и я держался за ветки и ждал. Когда мутить перестало, я немного продвинулся вперед и опять отдохнул, обхватив руками куст, крепко вцепившись в ветки. Потом я вылез из воды, пробрался сквозь ивняк и очутился на берегу.

Уже почти рассвело, и никого не было видно. Я лежал плашмя на земле и слушал шум реки и дождя.

Немного погодя я встал и пошел вдоль берега. Я знал, что до Латизаны нет ни одного моста. Я считал, что нахожусь, вероятно, против Сан-Вито. Я стал раздумывать о том, что мне делать. Впереди был канал, подходивший к реке. Я пошел туда. Никого вокруг не было видно, и я сел под кустами на самом берегу канала, и снял башмаки, и вылил из них воду. Я снял френч, вынул из бокового кармана бумажник с насквозь промокшими документами и деньгами и потом выжал френч. Я снял брюки и выжал их тоже, потом рубашку и нижнее белье. Я долго шлепал и растирал себя ладонями, потом снова оделся. Кепи я потерял.

Прежде чем надеть френч, я спорол с рукавов суконные звездочки и положил их в боковой карман вместе с деньгами. Деньги намокли, но были целы. Я пересчитал их. Всего было три с лишним тысячи лир. Вся одежда была мокрая и липкая, и я размахивал руками, чтобы усилить кровообращение. На мне было шерстяное белье, и я решил, что не простужусь, если буду все время в движении. Пистолет у меня отняли на дороге, и я спрятал кобуру под френч. Я был без плаща, и мне было холодно под дождем. Я пошел по берегу канала. Уже совсем рассвело, и кругом было мокро, плоско и уныло. Поля были голые и мокрые; далеко за полями торчала в небе колокольня. Я вышел на дорогу. Впереди на дороге я увидел отряд пехоты, который шел мне навстречу. Я, прихрамывая, тащился по краю дороги, и солдаты прошли мимо и не обратили на меня внимания. Это была пулеметная часть, направлявшаяся к реке. Я пошел дальше.

В этот день я пересек венецианскую равнину. Это ровная низменная местность, и под дождем она казалась еще более плоской. Со стороны моря там лагуны и очень мало дорог. Все дороги идут по устьям реки к морю, и чтобы пересечь равнину, нужно идти тропинками вдоль каналов. Я пробирался по равнине с севера на юг и пересек две железнодорожные линии и много дорог, и наконец одна тропинка привела меня к линии, которая проходила по краю лагуны. Это была Триест-Венецианская магистраль, с высокой прочной насыпью, широким полотном и двухколейным путем. Немного дальше был полустанок, и я увидел часовых на посту. В другой стороне был мост через речку, впадавшую в лагуну. У моста тоже был часовой. Когда я шел полем на север, я видел, как по этому пути прошел поезд. На плоской равнине он был виден издалека, и я решил, что,

может быть, мне удастся здесь вскочить в поезд, идущий из Портогруаро. Я посмотрел на часовых и лег на откосе у самого полотна, так что мне был виден весь путь в обе стороны. Часовой у моста сделал несколько шагов вдоль пути по направлению ко мне, потом повернулся и пошел назад, к мосту.

Голодный, я лежал и ждал поезда. Тот, который я видел издали, был такой длинный, что паровоз тянул его очень медленно, и я был уверен, что мог бы вскочить на ходу. Когда я уже почти потерял надежду, я увидел приближающийся поезд. Паровоз шел прямо на меня, постепенно увеличиваясь. Я оглянулся на часового. Он ходил у ближнего конца моста, но по ту сторону пути. Таким образом, поезд, подойдя, должен был закрыть меня от него. Я следил за приближением паровоза. Он шел, тяжело пыхтя. Я видел, что вагонов очень много. Я знал, что в поезде есть охрана, и хотел разглядеть, где она, но не мог, потому что боялся, как бы меня не заметили. Паровоз уже почти поравнялся с тем местом, где я лежал. Когда он прошел мимо, тяжело пыхтя и отдуваясь даже на ровном месте, и машинист уже не мог меня видеть, я встал и шагнул ближе к проходящим вагонам. Если охрана смотрит из окна, я внушу меньше подозрений, стоя на виду у самых рельсов. Несколько закрытых товарных вагонов прошло мимо. Потом я увидел приближавшийся низкий открытый вагон, из тех, которые здесь называют гондолами, сверху затянутый брезентом. Я почти пропустил его мимо, потом подпрыгнул и ухватился за боковые поручни и подтянулся на руках. Потом сполз на буфера между гондолой и площадкой следующего, закрытого товарного вагона. Я был почти уверен, что меня никто не видел. Я присел, держась за поручни, ногами упираясь в сцепку. Мы уже почти поравнялись с мостом. Я вспомнил про часового. Когда мы проезжали, он взглянул на меня. Он был совсем еще мальчик, и слишком большая каска сползала ему на глаза. Я высокомерно посмотрел на него, и он отвернулся. Он подумал, что я из поездной бригады.

Мы проехали мимо. Я видел, как он, все еще беспокойно, следил за проходившими вагонами, и я нагнулся посмотреть, как прикреплен брезент. По краям были кольца, и он был привязан веревкой. Я вынул нож, перерезал веревку и просунул руку внутрь. Твердые выпуклости торчали под брезентом, намокшим от дождя. Я поднял голову и поглядел вперед. На площадке переднего вагона был солдат из охраны, но он смотрел в другую сторону. Я отпустил поручни и нырнул под

брезент. Я ударился лбом обо что-то так, что у меня потемнело в глазах, и я почувствовал на лице кровь, но залез глубже и лег плашмя. Потом я повернулся назад и снова прикрепил брезент.

Я лежал под брезентом вместе с орудиями. От них опрятно пахло смазкой и керосином. Я лежал и слушал шум дождя по брезенту и перестук колес на ходу. Снаружи проникал слабый свет, и я лежал и смотрел на орудия. Они были в брезентовых чехлах. Я подумал, что, вероятно, они отправлены из третьей армии. На лбу у меня вспухла шишка, и я остановил кровь, лежа неподвижно, чтобы дать ей свернуться, и потом сцарапал присохшую кровь, не тронув только у самой раны. Это было не больно. У меня не было носового платка, но я ощупью смыл остатки присохшей крови дождевой водой, которая стекала с брезента, и дочиста вытер рукавом. Я не должен был внушать подозрения своим видом. Я знал, что мне нужно будет выбраться до прибытия в Местре, потому что кто-нибудь придет взглянуть на орудия. Орудий было слишком мало, чтоб их терять или забывать. Меня мучил лютый голод.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я лежал на досках платформы под брезентом, рядом с орудиями, мокрый, озябший и очень голодный. В конце концов я перевернулся и лег на живот, положив голову на руки. Колено у меня онемело, но, в общем, я не мог на него пожаловаться. Валентини прекрасно сделал свое дело. Я проделал половину отступления пешком и проплыл кусок Тальяменто с его коленом. Это и в самом деле было его колено. Другое колено было мое. Доктора проделывают всякие штуки с вашим телом, и после этого оно уже не ваше. Голова была моя, и все, что в животе, тоже. Там было очень голодно. Я чувствовал, как все там выворачивается наизнанку. Голова была моя, но не могла ни работать, ни думать; только вспоминать, и не слишком много вспоминать.

Я мог вспоминать Кэтрин, но я знал, что сойду с ума, если буду думать о ней, не зная, придется ли мне ее увидеть, и я старался не думать о ней, только совсем немножко о ней, только под медленный перестук колес о ней, и свет сквозь брезент еле брезжит, и я лежу с Кэтрин на досках платформы. Жестко лежать на досках платформы, в мокрой одежде, и мыслей нет, только чувства, и слишком долгой была разлука, и доски вздра-

гивают раз от раза, и тоска внутри, и только мокрая одежда липнет к телу, и жесткие доски вместо жены.

Нельзя любить доски товарной платформы, или орудия в брезентовых чехлах с запахом смазки и металла, или брезент, пропускающий дождь, хотя под брезентом с орудиями очень приятно и славно; но вся твоя любовь — к кому-то, кого здесь даже и вообразить себе нельзя; слишком холодным и ясным взглядом смотришь теперь перед собой, скорей даже не холодным, а ясным и пустым. Лежишь на животе и смотришь перед собой пустым взглядом, после того, что видел, как одна армия отходила назад, а другая надвигалась. Ты дал погибнуть своим машинам и людям, точно служащий универсального магазина, который во время пожара дал погибнуть товарам своего отдела. Однако имущество не было застраховано. Теперь ты с этим разделался. У тебя больше нет никаких обязательств. Если после пожара в магазине расстреливают служащих за то, что они говорят с акцентом, который у них всегда был, никто, конечно, не вправе ожидать, что служащие возвратятся, как только торговля откроется снова. Они поищут другой работы — если можно рассчитывать на другую работу и если их не поймает полиция.

Гнев смыла река вместе с чувством долга. Впрочем, это чувство прошло еще тогда, когда рука карабинера ухватила меня за ворот. Мне хотелось снять с себя мундир, хоть я не придавал особого значения внешней стороне дела. Я сорвал звездочки, но это было просто ради удобства. Это не было вопросом чести. Я ни к кому не питал злобы. Просто я с этим покончил. Я желал им всяческой удачи. Среди них были и добрые, и храбрые, и выдержанные, и разумные, и они заслуживали удачи. Но меня это больше не касалось, и я хотел, чтобы этот проклятый поезд прибыл уже в Местре, и тогда я поем и перестану думать. Я должен перестать.

Пиани скажет, что меня расстреляли. Они обыскивают карманы расстрелянных и забирают их документы. Моих документов они не получат. Может быть, меня сочтут утонувшим. Интересно, что сообщат в Штаты. Умер от ран и иных причин. Черт, до чего я голоден. Интересно, что сталось с нашим священником. И с Ринальди. Наверно, он в Порденоне. Если они не отступили еще дальше. Да, теперь я его уже никогда не увижу. Теперь я никого из них никогда не увижу. Та жизнь кончилась. Едва ли у него сифилис. Во всяком случае, это, говорят, не такая уж серьезная болезнь, если захватить вовремя.

Но он беспокоится. Я бы тоже беспокоился. Всякий бы беспокоился.

Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть. Да, черт возьми. Есть, и пить, и спать с Кэтрин. Может быть, сегодня. Нет, это невозможно. Но тогда завтра, и хороший ужин, и простыни, и никогда больше не уезжать, разве только вместе. Придется, наверно, уехать очень скоро. Она поедет. Я знал, что она поедет. Когда мы поедем? Вот об этом можно было подумать. Становилось темно. Я лежал и думал, куда мы поедем. Много было разных мест.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Я соскочил с поезда в Милане, как только он замедлил ход, подъезжая к станции рано утром, еще до рассвета. Я пересек полотно, и прошел между какими-то строениями, и спустился на улицу. Одна закусочная была открыта, и я вошел выпить кофе. Там пахло ранним утром, сметенной пылью, ложечками в стаканах с кофе и мокрыми следами стаканов с вином. У стойки стоял хозяин. За столиком сидели два солдата. Я подошел к стойке и выпил стакан кофе и съел кусок хлеба. Кофе был серый от молока, и я хлебной корочкой снял пенку. Хозяин посмотрел на меня.

— Хотите стакан граппы?

— Нет, спасибо.

— За мой счет,— сказал он и налил небольшой стаканчик и подвинул его ко мне.— Что нового на фронте?

— Не знаю.

— Они пьяны,— сказал он, указывая на солдат за столиком. Этому можно было поверить. Было видно, что они пьяны.

— Рассказывайте,— сказал он.— Что нового на фронте?

— Ничего я не знаю о фронте.

— Я видел, как вы спускались. Вы спрыгнули с поезда.

— Идет отступление.

— Я читаю газеты. А нового что? Конец скоро?

— Не думаю.

Он подлил в стакан граппы из пузатой бутылки.— Если у вас не все в порядке,— сказал он,— я могу спрятать вас.

— У меня все в порядке.

— Если у вас не все в порядке, поживите здесь.

— Где здесь?

— В моем доме. Многие живут здесь. У кого не все в порядке, те часто живут здесь.

— А таких много?

— Смотря о чем речь. Вы из Южной Америки?

— Нет.

— По-испански говорите?

— Немного.

Он вытер стойку.

— Перейти границу теперь трудно, но все-таки возможно.

— Я не собираюсь переходить.

— Вы можете жить здесь, сколько вам захочется. Вы увидите, что я за человек.

— Сейчас мне надо идти, но я запомню адрес и вернусь.

Он покачал головой.

— Вы не вернетесь, раз вы так говорите. Я думал, у вас правда не все в порядке.

— У меня все в порядке. Но всегда приятно иметь адрес друга.

Я положил на стойку десять лир в уплату за кофе.

— Выпейте со мной граппы,— сказал я.

— Это не обязательно.

— Выпейте.

Он налил два стакана.

— Помните,— сказал он.— Приходите сюда. Не доверяйтесь никому другому. Здесь вам будет хорошо.

— Я в этом уверен.

— Вы уверены?

— Да.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Тогда позвольте сказать вам одну вещь. Не разгуливайте в этом мундире.

— Почему?

— На рукавах ясно видны места, откуда спороты звездочки. Сукно другого цвета.

Я промолчал.

— Если у вас нет бумаг, я могу достать вам бумаги.

— Какие бумаги?

— Отпускное свидетельство.

— Мне не нужны бумаги. У меня есть бумаги.

— Хорошо,— сказал он.— Но если вам нужны бумаги, я могу достать вам все, что угодно.

— Сколько стоят такие бумаги?

— Смотря что именно. Цена умеренная.

«Прощай, оружие!»

— Сейчас мне ничего не нужно.

Он пожал плечами.

— У меня все как следует,— сказал я.

Когда я выходил, он сказал:

— Не забывайте, что я ваш друг.

— Не забуду.

— Еще увидимся.

— Непременно,— сказал я.

Выйдя, я обогнул вокзал, где могла быть военная полиция, и нанял экипаж у ограды маленького парка. Я дал кучеру адрес госпиталя. Приехав в госпиталь, я вошел в каморку швейцара. Его жена расцеловала меня. Он пожал мне руку.

— Вы вернулись! Вы невредимы!

— Да.

— Вы завтракали?

— Да.

— Как ваше здоровье, tenente? Как здоровье? — спрашивала жена.

— Прекрасно.

— Может быть, позавтракаете с нами?

— Нет, спасибо. Скажите, мисс Баркли сейчас в госпитале?

— Мисс Баркли?

— Сестра-англичанка.

— Его милая,— сказала жена. Она потрепала меня по плечу и улыбнулась.

— Нет,— сказал швейцар.— Она уехала.

У меня упало сердце.

— Вы уверены? Я говорю о молодой англичанке — высокая, блондинка.

— Я уверен. Она поехала в Стрезу.

— Когда она уехала?

— Два дня тому назад, вместе с другой сестрой-англичанкой.

— Так,— сказал я.— Я хочу попросить вас кое о чем. Никому не говорите, что вы меня видели. Это крайне важно.

— Я не скажу никому,— сказал швейцар.

Я протянул ему бумажку в десять лир. Он оттолкнул ее.

— Я обещал вам, что не скажу никому,— сказал он.— Мне денег не надо.

— Чем мы можем помочь вам, signor tenente? — спросила его жена.

— Только этим,— сказал я.

— Мы будем немы,— сказал швейцар.— Вы мне дайте знать, если что-нибудь понадобится.

— Хорошо,— сказал я.— До свидания. Еще увидимся.

Они стояли в дверях, глядя мне вслед.

Я сел в экипаж и дал кучеру адрес Симмонса, того моего знакомого, который учился петь.

Симмонс жил на другом конце города, близ Порта-Маджента. Он лежал в постели и был еще совсем сонный, когда я пришел к нему.

— Ужасно рано вы встаете, Генри,— сказал он.

— Я приехал ранним поездом.

— Что это за история с отступлением? Вы были на фронте? Хотите сигарету? Вон там, в ящике на столе.

Комната была большая, с кроватью у стены, роялем в противоположном углу, комодом и столом. Я сел на стул возле кровати. Симмонс сидел, подложив подушки под спину, и курил.

— Плохие у меня дела, Сим,— сказал я.

— У меня тоже,— сказал он.— У меня всегда плохие дела. Курить не хотите?

— Нет,— сказал я.— Что нужно для того, чтобы уехать в Швейцарию?

— Вам? Вас итальянцы не выпустят за границу.

— Да. Это я знаю. Ну, а швейцарцы? Как поступят швейцарцы?

— Они вас интернируют.

— Я знаю. Но какая механика этого дела?

— Никакой. Это очень просто. Вы можете ездить куда угодно. Нужно, кажется, только являться на проверку или что-то в этом роде. А что? Вас преследует полиция?

— Пока еще не ясно.

— Если не хотите говорить, не надо. Хотя любопытно было бы послушать. Здесь не бывает никаких происшествий. Я с треском провалился в Пьяченце.

— Да что вы!

— Да, да, очень скверно прошло. И ведь хорошо пел. Я собираюсь попробовать еще раз — здесь, в «Лирико».

— Очень жаль, что мне не удастся послушать.

— Вы страшно любезны. У вас что, серьезные неприятности?

— Не знаю.

— Если не хотите говорить, не надо. А почему вы здесь, а не на этом треклятом фронте?

— Я решил, что с меня довольно.

— Молодец. Я всегда знал, что вы не лишены здравого смысла. Я могу вам чем-нибудь помочь?

— Вы так заняты.

— Ничуть не бывало, дорогой Генри. Ничуть не бывало. Я буду рад чем-нибудь заняться.

— Вы примерно моего роста. Не сходите ли вы купить для меня штатский костюм? У меня есть костюмы, но они все в Риме.

— Да, ведь вы там жили раньше. Что за гнусное место! Как вы могли там жить?

— Я хотел стать архитектором.

— Самое неподходящее для этого место. Не покупайте ничего. Я вам дам все, что нужно. Я вас так разодену, что вы будете неотразимы. Идите вон туда, в гардеробную. Там есть стенной шкаф. Берите все, что вам понравится. И ничего вам не нужно покупать, дорогой мой.

— Я бы все-таки охотнее купил, Сим.

— Дорогой мой, мне гораздо легче отдать вам все, что я имею, чем идти за покупками. У вас есть паспорт? Без паспорта вы далеко не уедете.

— Да. Мой старый паспорт при мне.

— Тогда одевайтесь, дорогой мой, и вперед, в добрую старую Гельвецию.

— Это все не так просто. Мне еще нужно в Стрезу.

— Чего же лучше, дорогой мой! А там в лодочку — и прямым сообщением на другую сторону. Если б не мое пение, я поехал бы с вами. И поеду.

— Вы там можете перейти на тирольский фальцет.

— И перейду, дорогой мой. Хотя ведь я умею петь. В этом-то и странность.

— Головой ручаюсь, что вы умеете петь.

Он откинулся назад и закурил еще сигарету.

— Головой лучше не ручайтесь. Хотя все-таки я умею петь. Это очень забавно, но я умею петь. Я люблю петь. Послушайте.— Он зарычал из «Африканки»; шея его напружилась, жилы вздулись.— Я умею петь,— сказал он.— А там как им угодно.

Я посмотрел в окно.

— Я пойду отпущу экипаж.

— Возвращайтесь скорее, дорогой мой, и сядем завтракать.

Он встал с постели, выпрямился, глубоко вдохнул воздух и начал делать гимнастические упражнения. Я сошел вниз и расплатился с кучером.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В штатском я чувствовал себя как на маскараде. Я очень долго носил военную форму, и мне теперь не хватало ощущения подтянутости в одежде. Брюки словно болтались. Я взял в Милане билет до Стрезы. Я купил себе новую шляпу. Шляпу Сима я не мог надеть, но костюм был очень хороший. От него пахло табаком, и когда я сидел в купе и смотрел в окно, у меня было такое чувство, что моя новая шляпа очень новая, а костюм очень старый. Настроение у меня было тоскливое, как мокрый ломбардский ландшафт за окном. В купе сидели какие-то летчики, которые оценили меня не слишком высоко. Они избегали смотреть на меня и подчеркивали свое презрение к штатскому моего возраста. Я не чувствовал себя оскорбленным. В прежнее время я бы оскорбил их и затеял драку. Они сошли в Галларате, и я был рад, что остался один. У меня была газета, но я не читал ее, потому что не хотел читать о войне. Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир. Я чувствовал себя отчаянно одиноким и был рад, когда поезд прибыл в Стрезу.

На вокзале я ожидал увидеть комиссионеров из отелей, но ни одного не было. Сезон уже давно окончился, и поезд никто не встречал. Я вышел из вагона со своим чемоданом,— это был чемодан Сима, очень легкий, потому что в нем не было ничего, кроме двух сорочек,— и постоял на перроне под дождем, пока поезд не тронулся. Я спросил у одного из вокзальных служащих, не знает ли он, какие отели еще открыты. «Гранд-отель» был открыт, и «Дез'иль-Борроме», и несколько маленьких отелей, которые не закрывались круглый год. Я пошел под дождем к «Дез'иль-Борроме», с чемоданом в руке. Я увидел проезжавший по улице экипаж и сделал знак кучеру. Лучше было приехать в экипаже. Мы подкатили к подъезду большого отеля, и портье вышел навстречу с зонтиком и был очень вежлив.

Я выбрал хороший номер. Он был большой и светлый, с видом на озеро. Над озером низко нависли тучи, но я знал, что при солнечном свете оно очень красиво. Я сказал, что ожидаю свою жену. В номере стояла большая двуспальная кровать, letto matrimoniale [1], с атласным одеялом. Это был очень шикарный отель. Я прошел по длинному коридору и потом по широкой лестнице спустился в бар. Бармен был мой старый знако-

[1] Супружеское ложе *(итал.)*.

мый, и я сидел на высоком табурете и ел соленый миндаль и хрустящий картофель. Мартини был холодный и чистый на вкус.

— Что вы здесь делаете, in borghese [1]? — спросил бармен, смешивая мне второй мартини.

— Я в отпуску. Получил отпуск для поправления здоровья.

— Здесь сейчас пусто. Не знаю, почему не закрывают отель.

— Как ваша рыбная ловля?

— Я поймал несколько великолепных форелей. В это время года часто попадаются великолепные форели.

— Вы получили табак, который я вам послал?

— Да. А вы не получили моей открытки?

Я засмеялся. Мне не удалось достать ему этот табак. Речь шла об американском трубочном табаке, но мои родные перестали посылать его, или его где-нибудь задерживали. Во всяком случае, я его больше не получал.

— Я вам достану где-нибудь,— сказал я.— Скажите, вы не встречали в городе двух молодых англичанок? Они приехали позавчера.

— У нас в отеле таких нет.

— Они сестры из военного госпиталя.

— Двух сестер милосердия я видел. Погодите минуту, я узнаю, где они остановились.

— Одна из них — моя жена. Я приехал сюда, чтобы встретиться с ней.

— А другая — моя жена.

— Я не шучу.

— Простите за глупую шутку,— сказал он.— Я не понял.

Он вышел и довольно долго не возвращался. Я ел маслины, соленый миндаль и хрустящий картофель и в зеркале позади стойки видел себя в штатском. Наконец бармен вернулся.

— Они в маленьком отеле возле вокзала,— сказал он.

— А что, сандвичи у вас есть?

— Я сейчас позвоню. Тут, видите ли, ничего нет, потому что нет народу.

— У вас совсем пусто?

— Ну, кое-кто есть, конечно.

Принесли сандвичи, и я съел три штуки и выпил еще мартини. Никогда я не пил ничего холоднее и чище. Вкус марти-

---

[1] В штатском *(итал.)*.

ни вернул мне самочувствие цивилизованного человека. Я слишком долго питался красным вином, хлебом, сыром, скверным кофе и граппой. Я сидел на высоком табурете в приятном окружении красного дерева, бронзы и зеркал и ни о чем не думал. Бармен задал мне какой-то вопрос.

— Не надо говорить о войне,— сказал я.

Война была где-то очень далеко. Может быть, никакой войны и не было. Здесь не было войны. Я вдруг понял, что для меня она кончилась. Но у меня не было чувства, что она действительно кончилась. У меня было такое чувство, как у школьника, который сбежал с уроков и думает о том, что сейчас происходит в школе.

Кэтрин и Эллен Фергюсон обедали, когда я пришел к ним в отель. Еще из коридора я увидел их за столом. Кэтрин сидела почти спиной ко мне, и я видел узел ее волос и часть щеки и ее чудесную шею и плечи. Фергюсон что-то рассказывала. Она замолчала, когда я вошел.

— Господи! — сказала она.

— Здравствуйте! — сказал я.

— Как, это вы? — сказала Кэтрин. Ее лицо просветлело. Казалось, она слишком счастлива, чтобы поверить. Я поцеловал ее. Кэтрин покраснела, и я сел за их стол.

— Вот так история! — сказала Фергюсон.— Что вы тут делаете? Вы обедали?

— Нет.

Вошла девушка, подававшая к столу, и я сказал ей принести для меня прибор. Кэтрин все время смотрела на меня счастливыми глазами.

— По какому это вы случаю в муфти? — спросила Фергюсон.

— Я попал в Кабинет.

— Вы попали в какую-нибудь скверную историю.

— Развеселитесь, Ферджи. Развеселитесь немножко.

— Не очень-то весело глядеть на вас. Я знаю, в какую историю вы впутали эту девушку. Вы для меня вовсе не веселое зрелище.

Кэтрин улыбнулась мне и тронула меня ногой под столом.

— Никто меня ни в какую историю не впутывал, Ферджи. Я сама впуталась.

— Я его терпеть не могу,— сказала Фергюсон.— Он только погубил вас своими коварными итальянскими штучками. Американцы еще хуже итальянцев.

— Зато шотландцы — нравственный народ,— сказала Кэтрин.

— Я вовсе не об этом говорю. Я говорю о его итальянском коварстве.

— Разве я коварный, Ферджи?

— Да. Вы хуже чем коварный. Вы настоящая змея. Змея в итальянском мундире и плаще.

— Я уже снял итальянский мундир.

— Это только лишнее доказательство вашего коварства. Все лето вы играли в любовь и сделали девушке ребенка, а теперь, вероятно, намерены улизнуть.

Я улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась мне.

— Мы оба намерены улизнуть,— сказала она.

— Вы друг друга стоите,— сказала Ферджи.— Мне стыдно за вас, Кэтрин Баркли. У вас нет ни стыда, ни чести, и вы так же коварны, как он.

— Не надо, Ферджи,— сказала Кэтрин и потрепала ее по руке.— Не ругайте меня. Вы же знаете, что мы любим друг друга.

— Уберите руку,— сказала Фергюсон. Ее лицо было красно.— Если б вы не потеряли стыд, было бы другое дело. Но вы беременны бог знает на каком месяце и думаете, что это все шутки, и вся расплываетесь в улыбках оттого, что ваш соблазнитель вернулся. У вас нет ни стыда, ни совести.

Она заплакала. Кэтрин подошла и обняла ее одной рукой. Когда она встала, утешая Фергюсон, я не заметил никакой перемены в ее фигуре.

— Мне все равно,— всхлипывала Фергюсон.— Только это все ужасно.

— Ну, ну, Ферджи,— утешала ее Кэтрин.— Я буду стыдиться. Не плачьте, Ферджи. Не плачьте, добрая моя Ферджи.

— Я не плачу,— всхлипывала Фергюсон.— Я не плачу. Только вот как вспомню, что с вами случилось.— Она посмотрела на меня.— Я вас ненавижу,— сказала она.— Она не может помешать мне ненавидеть вас. Вы гнусный коварный американский итальянец.— Ее нос и глаза покраснели от слез.

Кэтрин улыбнулась мне.

— Не смейте улыбаться ему, когда вы меня обнимаете.

— Вы неблагоразумны, Ферджи.

— Я сама знаю,— всхлипывала Ферджи.— Не обращайте на меня внимания. Я так взволнована. Я неблагоразумна. Я сама знаю. Я хочу, чтобы вы оба были счастливы.

— Мы и так счастливы,— сказала Кэтрин.— Вы моя хорошая Ферджи.

Фергюсон снова заплакала.

— Я не хочу, чтобы вы были счастливы так, как сейчас. Почему вы не женитесь? Да он не женат ли, чего доброго?

— Нет,— сказал я. Кэтрин смеялась.

— Ничего нет смешного,— сказала Фергюсон.— Так очень часто бывает.

— Мы поженимся, Ферджи,— сказала Кэтрин,— чтоб доставить вам удовольствие.

— Не для моего удовольствия. Вы сами должны были подумать об этом.

— Мы были очень заняты.

— Да. Я знаю. Заняты тем, что делали ребят.

Я думал, что она опять начнет плакать, но она вместо того вдруг разобиделась.

— Теперь вы, конечно, уйдете с ним?

— Да,— сказала Кэтрин.— Если он захочет.

— А как же я?

— Вы боитесь остаться здесь одна?

— Да, боюсь.

— Тогда я останусь с вами.

— Нет, уходите с ним. Уходите с ним сейчас же. Не желаю я вас больше видеть.

— Вот только пообедаем.

— Нет, уходите сейчас же.

— Ферджи, будьте благоразумны.

— Сейчас же убирайтесь отсюда, вам говорят. Уходите оба.

— Ну, пойдем,— сказал я. Мне надоела Ферджи.

— Конечно, вы рады уйти. Даже обедать я теперь должна в одиночестве. Я так давно мечтала попасть на итальянские озера, и вот что вышло. О! О! — Она всхлипнула, потом посмотрела на Кэтрин и поперхнулась.

— Мы останемся до конца обеда,— сказала Кэтрин.— И я не оставлю вас одну, если вы хотите, чтоб я была с вами. Я не оставлю вас одну, Ферджи.

— Нет. Нет. Я хочу, чтоб вы ушли. Я хочу, чтоб вы

ушли.— Она вытерла глаза.— Я ужасно неблагоразумна. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания.

Девушку, которая подавала к столу, очень взволновали все эти слезы. Теперь, принеся следующее блюдо, она явно испытала облегчение, видя, что все уладилось.

Ночь в отеле, в нашей комнате, где за дверью длинный пустой коридор и наши башмаки у двери, и толстый ковер на полу комнаты, и дождь за окном, а в комнате светло, и радостно, и уютно, а потом темнота, и радость тонких простынь и удобной постели, и чувство, что ты вернулся домой, что ты не один, и ночью, когда проснешься, другой по-прежнему здесь и не исчез никуда,— все остальное больше не существовало. Утомившись, мы засыпали, и когда просыпались, то просыпались оба, и одиночества не возникало. Порой мужчине хочется побыть одному и женщине тоже хочется побыть одной, и каждому обидно чувствовать это в другом, если они любят друг друга. Но у нас этого никогда не случалось. Мы умели чувствовать, что мы одни, когда были вместе, одни среди всех остальных. Так со мной было в первый раз. Я знал многих женщин, но всегда оставался одиноким, бывая с ними, а это — худшее одиночество. Но тут мы никогда не ощущали одиночества и никогда не ощущали страха, когда были вместе. Я знаю, что ночью не то же, что днем, что все по-другому, что днем нельзя объяснить ночное, потому что оно тогда не существует, и если человек уже почувствовал себя одиноким, то ночью одиночество особенно страшно. Но с Кэтрин ночь почти ничем не отличалась ото дня, разве что ночью было еще лучше. Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки.

Я помню пробуждение утром. Кэтрин еще спала, и солнечный свет проникал в окно. Дождя уже не было, и я встал с постели и подошел к окну. Внизу тянулись сады, голые теперь, но прекрасные в своей правильности, дорожки, усыпанные гравием, деревья, каменный парапет у озера и озеро в солнечном

свете, а за ним горы. Я стоял и смотрел в окно, и когда я обернулся, то увидел, что Кэтрин проснулась и глядит на меня.

— Ты уже встал, милый? — сказала она.— Какой чудесный день!

— Как ты себя чувствуешь?

— Чудесно. Как хорошо было ночью.

— Хочешь есть?

Она хотела есть. Я тоже хотел, и мы поели в кровати, при ноябрьском солнце, светившем в окно, поставив поднос с тарелками себе на колени.

— А ты не хочешь прочесть газету? Ты всегда читал газету в госпитале.

— Нет,— сказал я.— Теперь я не хочу.

— Так скверно было, что ты не хочешь даже читать об этом?

— Я не хочу читать об этом.

— Как жаль, что я не была с тобой, я бы тоже все это знала.

— Я расскажу тебе, если когда-нибудь это уляжется у меня в голове.

— А тебя не арестуют, если встретят не в военной форме?

— Меня, вероятно, расстреляют.

— Тогда мы не должны здесь оставаться. Мы уедем за границу.

— Я уже об этом подумывал.

— Мы уедем. Милый, ты не должен рисковать зря. Скажи мне, как ты попал из Местре в Милан?

— Я приехал поездом. Я тогда еще был в военной форме.

— А это не было опасно?

— Не очень. У меня был старый литер. В Местре я исправил на нем число.

— Милый, тебя тут каждую минуту могут арестовать. Я не хочу. Как можно делать такие глупости. Что будет с нами, если тебя заберут?

— Не будем думать об этом. Я устал думать об этом.

— Что ты сделаешь, если придут тебя арестовать?

— Буду стрелять.

— Вот видишь, какой ты глупый. Я тебя не выпущу из отеля, пока мы не уедем отсюда.

— Куда нам ехать?

— Пожалуйста, не будь таким, милый. Поедем туда, куда ты захочешь. Но только придумай такое место, чтоб можно было ехать сейчас же.

— В том конце озера — Швейцария, можно поехать туда.

— Вот и чудесно.

Снова собрались тучи, и озеро потемнело.

— Если б не нужно было всегда жить преступником,— сказал я.

— Милый, не будь таким. Давно ли ты живешь преступником? И мы не будем жить преступниками. У нас будет чудесная жизнь.

— Я чувствую себя преступником. Я дезертировал из армии.

— Милый, ну пожалуйста, будь благоразумен. Ты вовсе не дезертировал из армии. Это ведь только итальянская армия.

Я засмеялся.

— Ты умница. Полежим еще немного. Когда я в постели, все замечательно.

Немного погодя Кэтрин сказала:

— Ты уже не чувствуешь себя преступником, правда?

— Нет,— сказал я.— Когда я с тобой,— нет.

— Ты очень глупый мальчишка,— сказала она.— Но я не дам тебе распускаться. Подумай, милый, как хорошо, что меня не тошнит по утрам.

— Великолепно.

— Ты даже не ценишь, какая у тебя чудесная жена. Но мне все равно. Я тебя увезу куда-нибудь, где тебя не могут арестовать, и мы будем чудесно жить.

— Едем сейчас же.

— Непременно, милый. Когда хочешь и куда хочешь.

— Давай не будем ни о чем думать.

— Давай.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Кэтрин пошла берегом к маленькому отелю проведать Фергюсон, а я сидел в баре и читал газеты. В баре были удобные кожаные кресла, и я сидел в одном из них и читал, пока не пришел бармен. Армия не остановилась на Тальяменто. Она отступила дальше, к Пьяве. Я помнил Пьяве. Железная дорога пересекала ее близ Сан-Дона, по пути к фронту. Река в этом месте была глубокая и медленная и совсем узкая. Ниже по течению были болотные топи и каналы. Было несколько красивых вилл. Однажды до войны, направляясь в Кортина-д'Ампец-

цо, я несколько часов ехал горной дорогой над Пьяве. Сверху она была похожа на богатый форелью ручей с узкими отмелями и заводями под тенью скал. У Кадоре дорога сворачивала в сторону. Я думал о том, что армии не легко будет спуститься оттуда. Вошел бармен.

— Граф Греффи спрашивал о вас,— сказал он.

— Кто?

— Граф Греффи. Помните, тот старик, который был здесь, когда вы приезжали прошлый раз.

— Он здесь?

— Да, он здесь с племянницей. Я сказал ему, что вы приехали. Он хочет сыграть с вами на бильярде.

— Где он?

— Пошел погулять.

— Как он?

— Все молодеет. Вчера перед обедом он выпил три коктейля с шампанским.

— Как его успехи на бильярде?

— Хороши. Он меня бьет. Когда я ему сказал, что вы здесь, он очень обрадовался. Ему не с кем играть.

Графу Греффи было девяносто четыре года. Он был современником Меттерниха, этот старик с седой головой и седыми усами и превосходными манерами. Он побывал и на австрийской и на итальянской дипломатической службе, и день его рождения был событием в светской жизни Милана. Он собирался дожить до ста лет и играл на бильярде с уверенной свободой, неожиданной в этом сухоньком девяносточетырехлетнем теле. Я встретился с ним, приехав как-то в Стрезу после конца сезона, и мы пили шампанское во время игры на бильярде. Я нашел, что это великолепный обычай, и он дал мне пятнадцать очков форы и обыграл меня.

— Почему вы не сказали мне, что он здесь?

— Я забыл.

— Кто здесь есть еще?

— Других вы не знаете. Во всем отеле только шесть человек.

— Чем вы сейчас заняты?

— Ничем.

— Поедем ловить рыбу.

На часок, пожалуй, можно.

— Поедем. Берите дорожку.

Бармен надел пальто, и мы отправились. Мы спустились к берегу и взяли лодку, и я греб, а бармен сидел на корме и

держал дорожку, какой ловят озерную форель, со спиннером и тяжелым грузилом на конце. Мы ехали вдоль берега, бармен держал лесу в руках и время от времени дергал ее. С озера Стреза выглядела очень пустынной. Видны были длинные ряды голых деревьев, большие отели и заколоченные виллы. Я повернул к Изола-Белла и повел лодку вдоль самого берега, где сразу глубоко и видно, как стена скал отвесно уходит в прозрачную воду, а потом отъехал и свернул к рыбачьему острову. Солнце зашло за тучи, и вода была темная и гладкая и очень холодная. У нас ни разу не клюнуло, хотя несколько раз мы видели на воде круги от подплывающей рыбы.

Я выгреб к рыбачьему острову, где стояли вытащенные на берег лодки и люди чинили сети.

— Пойдем выпьем чего-нибудь?

— Пойдем.

Я подогнал лодку к каменному причалу, и бармен втянул лесу, свернул ее на дне лодки и зацепил спиннер за край борта. Я вылез и привязал лодку. Мы вошли в маленькое кафе, сели за деревянный столик и заказали вермуту.

— Устали грести?

— Нет.

— Обратно грести буду я,— сказал он.

— Я люблю грести.

— Может быть, если вы возьмете удочку, счастье переменится.

— Хорошо.

— Скажите, как дела на войне?

— Отвратительно.

— Я не должен идти. Я слишком стар, как граф Греффи.

— Может быть, вам еще придется пойти.

— В будущем году мой разряд призывают. Но я не пойду.

— Что же вы будете делать?

— Уеду за границу. Я не хочу идти на войну. Я уже был на войне раз, в Абиссинии. Хватит. Зачем вы пошли?

— Не знаю. По глупости.

— Еще вермуту?

— Давайте.

На обратном пути греб бармен. Мы проехали озером за Стрезу и потом назад, все время в виду берега. Держа тугую лесу и чувствуя слабое биение вращающегося спиннера, я глядел на темную ноябрьскую воду озера и пустынный берег. Бармен греб длинными взмахами, и когда лодку выносило вперед,

леса дрожала. Один раз у меня клюнуло: леса вдруг натянулась и дернулась назад, я стал тащить и почувствовал живую тяжесть форели, и потом леса задрожала снова. Форель сорвалась.

— Тяжелая была.

— Да, довольно тяжелая.

— Раз я тут ездил один и держал лесу в зубах, так одна дернула, чуть всю челюсть у меня не вырвала.

— Лучше всего привязывать к ноге,— сказал я.— Тогда и лесу чувствуешь, и зубы останутся целы.

Я опустил руку в воду. Она была очень холодная. Мы были теперь почти напротив отеля.

— Мне пора,— сказал бармен,— я должен поспеть к одиннадцати часам. L'heure du cocktail [1].

— Хорошо.

Я втащил лесу и навернул ее на палочку с зарубками на обоих концах. Бармен поставил лодку в маленькую нишу каменной стены и прикрепил ее цепью с замком.

— Когда захотите покататься,— сказал он,— я дам вам ключ.

— Спасибо.

Мы поднялись к отелю и вошли в бар. Мне не хотелось больше пить так рано, и я поднялся в нашу комнату. Горничная только что кончила убирать, и Кэтрин еще не вернулась. Я лег на постель и старался не думать.

Когда Кэтрин вернулась, все опять стало хорошо. Фергюсон внизу, сказала она. Она будет завтракать с нами.

— Я знала, что ты ничего не будешь иметь против,— сказала Кэтрин.

— Ничего,— сказал я.

— Что с тобой, милый?

— Не знаю.

— Я знаю. Тебе нечего делать. У тебя есть только я, а я ушла.

— Ты права.

— Прости меня, милый. Я знаю, это, наверно, ужасное чувство, когда вдруг совсем ничего не остается.

— У меня всегда жизнь была такой наполненной,— сказал я.— Теперь, если только тебя нет со мной, все пусто.

— Но я ведь буду с тобой. Я уходила только на два часа. Ты не можешь придумать себе какое-нибудь занятие?

---

[1] Час коктелей *(франц.)*.

— Я ездил с барменом ловить рыбу.

— Хорошо было?

— Да.

— Не думай обо мне, когда меня нет.

— Так я всегда старался на фронте. Но там мне было что делать.

— Отелло в отставке,— поддразнила она.

— Отелло был негр,— сказал я.— А кроме того, я не ревнив. Я просто так люблю тебя, что для меня больше ничего не существует.

— А теперь будь паинькой и будь любезен с Фергюсон.

— Я всегда любезен с Фергюсон, пока она не начинает меня клясть.

— Будь любезен с ней. Подумай, ведь у нас есть так много, а у нее ничего нет.

— Не думаю, чтобы ей хотелось того, что есть у нас.

— Ничего ты не знаешь, милый, а еще умница.

— Я буду любезен с ней.

— Я в этом не сомневаюсь. Ты у меня хороший.

— Но она потом не останется?

— Нет. Я ее сплавлю.

— Мы вернемся сюда?

— Конечно. А как же иначе?

Мы спустились вниз, позавтракать с Фергюсон. На нее сильное впечатление произвел отель и великолепие ресторана. Мы хорошо позавтракали и выпили две бутылки капри. В ресторан вошел граф Греффи и поклонился нам. С ним была его племянница, которая немного напоминала мою бабушку. Я рассказал о нем Кэтрин и Фергюсон, и на Фергюсон мой рассказ произвел сильное впечатление. Отель был очень большой, и пышный, и пустой, но еда была вкусная, вино очень приятное, и в конце концов от вина всем стало очень хорошо. Кэтрин чувствовала себя как нельзя лучше. Она была счастлива. Фергюсон совсем развеселилась. Мне самому было очень хорошо. После завтрака Фергюсон вернулась в свой отель. Она хочет немного полежать после завтрака, сказала она.

К концу дня кто-то постучался к нам в дверь.

— Кто там?

— Граф Греффи спрашивает, не сыграете ли вы с ним на бильярде.

Я посмотрел на часы; я их снял, и они лежали под подушкой.

— Это нужно, милый? — шепнула Кэтрин.

— Пожалуй, придется пойти.— Часы показывали четверть пятого. Я сказал громко: — Передайте графу Греффи, что я буду в бильярдной в пять часов.

Без четверти пять я поцеловал на прощанье Кэтрин и пошел в ванную одеваться. Когда я завязывал галстук и смотрелся в зеркало, мне странно было видеть себя в штатском. Я подумал, что нужно будет купить еще сорочек и носков.

— Ты надолго уходишь? — спросила Кэтрин. Она была очень красива в постели.— Дай мне, пожалуйста, щетку.

Я смотрел, как она расчесывала волосы, наклонив голову так, чтобы вся масса волос свесилась на одну сторону. За окном уже было темно, и свет лампы над изголовьем постели ложился на ее волосы, и шею, и плечи. Я подошел и поцеловал ее, отведя ее руку со щеткой, и ее голова откинулась на подушку. Я поцеловал ее шею и плечи. У меня кружилась голова, так сильно я ее любил.

— Я не хочу уходить.

— И я не хочу, чтоб ты уходил.

— Ну, так я не пойду.

— Нет. Иди. Это ведь ненадолго, а потом ты вернешься.

— Мы пообедаем здесь, наверху.

— Иди и скорее возвращайся.

Я застал графа Греффи в бильярдной. Он упражнялся в различных ударах и казался очень хрупким в свете лампы, спускавшейся над бильярдом. На ломберном столике немного поодаль, в тени, стояло серебряное ведерко со льдом, откуда торчали горлышки и пробки двух бутылок шампанского. Граф Греффи выпрямился, когда я вошел в бильярдную, и пошел мне навстречу. Он протянул мне руку.

— Я очень рад видеть вас здесь. Вы так добры, что согласились прийти поиграть со мной.

— С вашей стороны очень любезно было меня пригласить.

— Как ваше здоровье? Я слыхал, вы были ранены на Изонцо. Надеюсь, вы теперь вполне оправились.

— Я совершенно здоров. Как ваше здоровье?

— О, я всегда здоров. Но я старею. Начинаю замечать признаки старости.

— Этому трудно поверить.

— Да. Вот вам пример. Мне теперь легче говорить по-итальянски, чем на другом языке. Я заставляю себя, но когда я устаю, мне все-таки легче говорить по-итальянски. Так что, по-видимому, я старею.

— Будем говорить по-итальянски. Я тоже немного устал.

— О, но ведь если вы устали, вам должно быть легче говорить по-английски.

— По-американски.

— Да. По-американски. Пожалуйста, говорите по-американски. Это такой очаровательный язык.

— Я почти не встречаюсь теперь с американцами.

— Вы, вероятно, очень скучаете без их общества. Всегда скучно без соотечественников, а в особенности без соотечественниц. Я это знаю по опыту. Что ж, сыграем, или вы слишком устали?

— Я не устал. Я сказал это так, в шутку. Какую вы мне дадите фору?

— Вы много играли это время?

— Совсем не играл.

— Вы играете очень хорошо. Десять очков?

— Вы мне льстите.

— Пятнадцать?

— Это было бы прекрасно, но вы меня все равно обыграете.

— Будем играть на деньги? Вы всегда предпочитали играть на деньги.

— Давайте.

— Отлично. Я даю вам восемнадцать очков, и мы играем по франку очко.

Он очень красиво разыграл партию, и, несмотря на фору, я только на четыре очка обогнал его к середине игры. Граф Греффи нажал кнопку звонка, вызывая бармена.

— Будьте добры откупорить одну бутылку,— сказал он. Затем мне: — По стакану для настроения.

Вино было холодное, как лед, и очень сухое и хорошее.

— Будем говорить по-итальянски. Вы не возражаете? Это теперь моя слабость.

Мы продолжали играть, потягивая вино между ударами, беседуя по-итальянски, но вообще разговаривали мало, сосредоточась на игре. Граф Греффи выбил сотое очко, а я, несмотря на фору, имел только девяносто четыре. Он улыбнулся и потрепал меня по плечу.

— Теперь мы разопьем вторую бутылку, и вы расскажете мне о войне.— Он ждал, когда я сяду.

— О чем-нибудь другом,— сказал я.

— Вы не хотите говорить об этом? Хорошо. Что вы читали за последнее время?

— Ничего,— сказал я.— Боюсь, что я очень отупел.

— Нет. Но читать вам нужно.

— Что написано за время войны?

— Есть «Le feu» [1] одного француза, Барбюса. Есть «Мистер Бритлинг видит все насквозь».

— Это неправда.

— Что неправда?

— Он не видит все насквозь. Эти книги были у нас в госпитале.

— Значит, вы кое-что читали?

— Да, но хорошего ничего.

— Мне кажется, что в «Мистере Бритлинге» очень хорошо показана душа английской буржуазии.

— Я не знаю, что такое душа.

— Бедняжка. Никто не знает, что такое душа. Вы — croyant? [2]

— Только ночью.

Граф Греффи улыбнулся и повертел стакан в пальцах.

— Я предполагал, что с возрастом стану набожнее, но почему-то этого не случилось,— сказал он.— Очень сожалею.

— Вы хотели бы жить после смерти? — сказал я и сейчас же спохватился, что глупо было упоминать о смерти. Но его не смутило это слово.

— Смотря как жить. Эта жизнь очень приятна. Я хотел бы жить вечно.— Он улыбнулся.— Мне это почти удалось.

Мы сидели в глубоких кожаных креслах, разделенные столиком с бокалами и шампанским в серебряном ведерке.

— Если вы доживете до моего возраста, многое вам будет казаться странным.

— Вы не похожи на старика.

— Тело стареет. Иногда мне кажется, что у меня палец может отломиться, как кончик мелка. А дух не стареет, и мудрости не прибавляется.

— Вы мудры.

— Нет, это великое заблуждение — о мудрости стариков. Старики не мудры. Они только осторожны.

— Быть может, это и есть мудрость.

— Это очень непривлекательная мудрость. Что вы цените выше всего?

— Любимую женщину.

— Вот и я также. Это не мудрость. Жизнь вы цените?

---

[1] «Огонь» *(франц.)*.

[2] Верующий *(франц.)*.

— Да.

— Я тоже. Потому что это все, что у меня есть. И еще дни рождения,— засмеялся он.— Видимо, вы более мудры, чем я. Вы не празднуете день своего рождения.

Мы оба потягивали вино.

— Что вы в самом деле думаете о войне? — спросил я.

— Я думаю, что она нелепа.

— Кто выиграет ее?

— Итальянцы.

— Почему?

— Они более молодая нация.

— Разве молодые нации всегда выигрывают войну?

— Они способны на это в известном периоде.

— А потом что?

— Они становятся старыми нациями.

— А вы еще говорите, что не мудры.

— Дорогой мой мальчик, это не мудрость. Это цинизм.

— Мне это кажется величайшей мудростью.

— Это не совсем так. Я мог бы вам привести примеры в подтверждение противоположного. Но это неплохо сказано. Мы выпили все шампанское?

— Почти.

— Может быть, выпьем еще? Потом я пойду переодеться.

— Пожалуй, не стоит больше.

— Вам в самом деле не хочется?

— Да.

Он встал.

— Желаю вам много удачи, и много счастья, и много, много здоровья.

— Благодарю вас. А я желаю вам жить вечно.

— Благодарю вас. Я так и делаю. А если вы когда-нибудь станете набожным, помолитесь за меня, когда я умру. Я уже нескольких друзей просил об этом. Я надеялся сам стать набожным, но этого не случилось.

Мне казалось, что он улыбнулся с грустью, но я не был уверен. Он был очень стар, и на его лице было очень много морщин, и в улыбке участвовало столько черточек, что оттенки терялись в них.

— Я, может быть, стану очень набожным,— сказал я.— Во всяком случае, я буду молиться за вас.

— Я всегда ожидал, что стану набожным. В моей семье все умирали очень набожными. Но почему-то этого не случилось.

— Еще слишком рано.

— Может быть, уже слишком поздно. Может быть, я пережил свое религиозное чувство.

— У меня оно появляется только ночью.

— Но ведь вы еще и любите. Не забывайте, что это тоже религиозное чувство.

— Вы думаете?

— Конечно.— Он сделал шаг к бильярду.— Вы очень добры, что сыграли со мной.

— Это было большим удовольствием для меня.

— Пойдемте наверх вместе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Ночью была гроза, и, проснувшись, я услышал, как дождь хлещет по оконным стеклам. В открытое окно заливала вода. Кто-то стучался в дверь. Я подошел к двери очень тихо, чтобы не разбудить Кэтрин, и отворил. Это был бармен. Он был в пальто и держал в руках мокрую шляпу.

— Мне нужно поговорить с вами, tenente.

— В чем дело?

— Дело очень серьезное.

Я огляделся. В комнате было темно. Я увидел лужу на полу под окном.

— Войдите,— сказал я. Я за руку провел его в ванную, запер дверь и зажег свет. Я присел на край ванны.

— В чем дело, Эмилио? У вас какая-нибудь беда?

— Нет. Не у меня, а у вас, tenente.

— Вот как?

— Утром придут вас арестовать.

— Вот как?

— Я пришел сказать вам. Я был в городе и в кафе услышал разговор.

— Понимаю.

Он стоял передо мной, в мокром пальто, с мокрой шляпой в руках, и молчал.

— За что меня хотят арестовать?

— Что-то связанное с войной.

— Вы знаете — что?

— Нет. Но я знаю, что вас прежде видели здесь офицером, а теперь вы приехали в штатском. После этого отступления они каждого готовы арестовать.

Я минуту раздумывал.

— В котором часу они собирались прийти?

— Утром. Точного часа не знаю.

— Что вы советуете делать?

Он положил шляпу в раковину умывальника. Она была очень мокрая, и вода все время стекала на пол.

— Если за вами ничего нет, то вам нечего опасаться. Но попасть под арест всегда неприятно — особенно теперь.

— Я не хочу попасть под арест.

— Тогда уезжайте в Швейцарию.

— Как?

— На моей лодке.

— На озере буря,— сказал я.

— Буря миновала. Волны еще есть, но вы справитесь.

— Когда нам ехать?

— Сейчас. Они могут прийти рано утром.

— А наши вещи?

— Уложите их. Пусть ваша леди одевается. Я позабочусь о вещах.

— Где вы будете?

— Я подожду здесь. Не нужно, чтоб меня видели в коридоре.

Я отворил дверь, прикрыл ее за собой и вошел в спальню. Кэтрин не спала.

— Что там такое, милый?

— Ничего, Кэт,— сказал я.— Хочешь сейчас одеться и ехать на лодке в Швейцарию?

— А ты хочешь?

— Нет,— сказал я.— Я хочу лечь опять в постель.

— Что случилось?

— Бармен говорит, что утром меня придут арестовать.

— А бармен в своем уме?

— Да.

— Тогда, пожалуйста, милый, одевайся поскорее, и сейчас же едем.— Она села на край постели. Она была еще сонная.— Это бармен там, в ванной?

— Да.

— Так я не буду умываться. Пожалуйста, милый, отвернись, и я в одну минуту оденусь.

Я увидел ее белую спину, когда она снимала ночную сорочку, и потом я отвернулся, потому что она так просила. Она уже начала полнеть от беременности и не хотела, чтоб я ее видел. Я оделся, слушая шум дождя за окном. Мне почти нечего было укладывать.

— У меня еще много места в чемодане, Кэт, если тебе нужно.

— Я уже почти все уложила,— сказала она.— Милый, я ужасно глупая, но скажи мне, зачем бармен сидит в ванной?

— Тсс, он ждет, чтоб снести наши вещи вниз.

— Какой славный!

— Он мой старый друг,— сказал я.— Один раз я чуть не прислал ему трубочного табаку.

Я посмотрел в открытое окно, за которым темнела ночь. Озера не было видно, только мрак и дождь, но ветер улегся.

— Я готова, милый,— сказала Кэтрин.

— Хорошо.— Я подошел к двери ванной.— Вот чемоданы, Эмилио,— сказал я. Бармен взял оба чемодана.

— Вы очень добры, что хотите помочь нам,— сказала Кэтрин.

— Пустяки, леди,— сказал бармен.— Я очень рад помочь вам, только не хотел бы нажить себе этим неприятности. Слушайте,— сказал он мне,— я спущусь с вещами по черной лестнице и пройду прямо к лодке. Вы идите спокойно, как будто собрались на прогулку.

— Чудесная ночь для прогулки,— сказала Кэтрин.

— Ночь скверная, что и говорить.

— Как хорошо, что у меня есть зонтик,— сказала Кэтрин.

Мы прошли по коридору и по широкой, устланной толстым ковром лестнице. Внизу, у дверей, сидел за своей конторкой портье.

Он очень удивился, увидя нас.

— Вы хотите выйти, сэр? — спросил он.

— Да,— сказал я.— Мы хотим посмотреть озеро в бурю.

— У вас нет зонта, сэр?

— Нет,— сказал я.— У меня непромокаемое пальто.

Он с сомнением оглядел меня.

— Я вам дам зонт, сэр,— сказал он. Он вышел и возвратился с большим зонтом.— Немножко великоват, сэр,— сказал он. Я дал ему десять лир.— О, вы слишком добры, сэр. Очень вам благодарен,— сказал он.

Он раскрыл перед нами двери, и мы вышли под дождь. Он улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась ему.

— Не оставайтесь долго снаружи в бурю,— сказал он.— Вы промокнете, сэр и леди.— Он был всего лишь младший портье, и его английский язык еще грешил буквализмами.

— Мы скоро вернемся,— сказал я.

Мы пошли под огромным зонтом по дорожке, и дальше мокрым темным садом к шоссе, и через шоссе к обсаженной кустарником береговой аллее. Ветер дул теперь с берега. Это был сырой, холодный ноябрьский ветер, и я знал, что в горах идет снег. Мы прошли по набережной вдоль прикованных в нишах лодок к тому месту, где стояла лодка бармена. Вода была темнее камня. Бармен вышел из-за деревьев.

— Чемоданы в лодке,— сказал он.

— Я хочу заплатить вам за лодку,— сказал я.

— Сколько у вас есть денег?

— Не очень много.

— Вы мне потом пришлете деньги. Так будет лучше.

— Сколько?

— Сколько захотите.

— Скажите мне, сколько?

— Если вы доберетесь благополучно, пришлите мне пятьсот франков. Это вас не стеснит, если вы доберетесь.

— Хорошо.

— Вот здесь сандвичи.— Он протянул мне сверток.— Все, что нашлось в баре. А здесь бутылка коньяку и бутылка вина.

Я положил все в свой чемодан.

— Позвольте мне заплатить за это.

— Хорошо, дайте мне пятьдесят лир.

Я дал ему.

— Коньяк хороший,— сказал он.— Можете смело давать его вашей леди. Пусть она садится в лодку.

Он придержал лодку, которая то поднималась, то опускалась у каменной стены, и я помог Кэтрин спуститься. Она села на корме и завернулась в плащ.

— Вы знаете, куда ехать?

— Все время к северу.

— А как ехать?

— На Луино.

— На Луино, Коннеро, Каннобио, Транцано. В Швейцарии вы будете, только когда доедете до Бриссаго. Вам нужно миновать Монте-Тамара.

— Который теперь час? — спросила Кэтрин.

— Еще только одиннадцать,— сказал я.

— Если вы будете грести не переставая, к семи часам утра вы должны быть на месте.

— Это так далеко?

— Тридцать пять километров.

— Как бы не сбиться. В такой дождь нужен компас.

— Нет. Держите на Изола-Белла. Потом, когда обогнете Изола-Мадре, идите по ветру. Ветер приведет вас в Палланцу. Вы увидите огни. Потом идите вдоль берега.

— Ветер может перемениться.

— Нет,— сказал он.— Этот ветер будет дуть три дня. Он дует прямо с Маттароне. Вон там жестянка, чтоб вычерпывать воду.

— Позвольте мне хоть что-нибудь заплатить вам за лодку сейчас.

— Нет, я хочу рискнуть. Если вы доберетесь, то заплатите мне все сполна.

— Пусть так.

— Думаю, что вы не утонете.

— Вот и хорошо.

— Держите прямо по ветру.

— Ладно.— Я прыгнул в лодку.

— Вы оставили деньги за номер?

— Да. В конверте на столе.

— Отлично. Всего хорошего.

— Всего хорошего. Большое вам спасибо.

— Не за что будет, если вы утонете.

— Что он говорит? — спросила Кэтрин.

— Он желает нам всего хорошего.

— Всего хорошего,— сказала Кэтрин.— Большое, большое вам спасибо.

— Вы готовы?

— Да.

Он наклонился и оттолкнул нас. Я погрузил весла в воду, потом помахал ему рукой. В ответ он сделал предостерегающий знак. Я увидел огни отеля и стал грести, стараясь держать прямо, пока они не скрылись из виду. Кругом бушевало настоящее море, но мы шли по ветру.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я греб в темноте, держась так, чтоб ветер все время дул мне в лицо. Дождь перестал и только изредка порывами налетал снова. Я видел Кэтрин на корме, но не видел воду, когда погружал в нее лопасти весел. Весла были длинные и не имели ремешков, удерживающих весло в уключине. Я погружал весла в воду, проводил их вперед, вынимал, заносил, снова погружал, стараясь грести как можно легче. Я не разворачивал их плашмя при заносе, потому что ветер был попутный. Я знал, что

натру себе волдыри, и хотел, чтоб это случилось как можно позднее. Лодка была легкая и хорошо слушалась весел. Я вел ее вперед по темной воде. Ничего не было видно, но я надеялся, что мы скоро доберемся до Палланцы.

Мы так и не увидели Палланцы. Ветер дул с юга, и в темноте мы проехали мыс, за которым лежит Палланца, и не увидели ее огней. Когда наконец показались какие-то огни, гораздо дальше и почти на самом берегу, это была уже Интра. Но долгое время мы вообще не видели никаких огней, не видели и берега и только упорно подвигались в темноте вперед, скользя на волнах. Иногда волна поднимала лодку, и в темноте я махал веслами по воздуху. Озеро было еще неспокойное, но я продолжал грести, пока нас вдруг чуть не прибило к скалистому выступу берега, торчавшему над водой; волны ударялись о него, высоко взлетали и падали вниз. Я сильно налег на правое весло, в то же время табаня левым, и мы отошли от берега; скала скрылась из виду, и мы снова плыли по озеру.

— Мы уже на другой стороне,— сказал я Кэтрин.

— А ведь мы должны были увидеть Палланцу?

— Она осталась за мысом.

— Ну, как ты, милый?

— Ничего!

— Я могу тебя немного сменить.

— Зачем? Не нужно.

— Бедная Фергюсон! — сказала Кэтрин.— Придет утром в отель, а нас уже нет.

— Это меня меньше беспокоит,— сказал я.— А вот как бы нам добраться до швейцарского побережья, пока темно, чтобы нас не увидела таможенная стража.

— А далеко еще?

— Километров тридцать.

Я греб всю ночь. Мои ладони были до того стерты, что я с трудом сжимал в руках весла. Несколько раз мы едва не разбились о берег. Я держался довольно близко к берегу, боясь сбиться с пути и потерять время. Иногда мы подходили так близко, что видели дорогу, идущую вдоль берега, и ряды деревьев вдоль дороги, и горы позади. Дождь перестал, и когда ветер разогнал тучи, вышла луна, и, оглянувшись, я увидел длинный темный мыс Кастаньола, и озеро с белыми барашками, и далекие снежные вершины под луной. Потом небо опять заволокло тучами, и озеро и горные вершины исчезли, но было

уже гораздо светлее, чем раньше, и виден был берег. Он был виден даже слишком ясно, и я отвел лодку подальше, чтобы ее не могла заметить с Палланцанской дороги таможенная стража, если она там была. Когда опять показалась луна, мы увидели белые виллы на берегу, по склонам гор, и белую дорогу в просветах между деревьями. Я греб не переставая.

Озеро стало шире, и на другом берегу у подножья горы мы увидели огни; это должно было быть Луино. Я увидел клиновидную расщелину между горами на другом берегу и решил, что, вероятно, это и есть Луино. Если так, то мы шли хорошим темпом. Я втащил весла в лодку и лег на спину. Я очень, очень устал грести. Руки, плечи, спина у меня болели, и ладони были стерты.

— А что, если раскрыть зонтик? — сказала Кэтрин.— Ветер будет дуть в него и гнать лодку.

— Ты сумеешь править?

— Наверно.

— Возьми это весло под мышку, прижми его вплотную к борту и так правь, а я буду держать зонтик.

Я перешел на корму и показал ей, как держать весло. Я сел лицом к носу лодки, взял большой зонт, который дал мне портье, и раскрыл его. Он хлопнул, раскрываясь. Я держал его с двух сторон за края, сидя верхом на ручке, которую зацепил за скамью. Ветер дул прямо в него, и, вцепившись изо всех сил в края, я почувствовал, как лодку понесло вперед. Зонт вырывался у меня из рук. Лодка шла очень быстро.

— Мы прямо летим,— сказала Кэтрин. Я не видел ничего, кроме спиц зонта. Зонт тянул и вырывался, и я чувствовал, как мы вместе с ним несемся вперед. Я уперся ногами и еще крепче вцепился в края, потом вдруг что-то затрещало; одна спица щелкнула меня по лбу, я хотел схватить верхушку, которая прогибалась на ветру, но тут все с треском вывернулось наизнанку, и там, где только что был полный, надутый ветром парус, я сидел теперь верхом на ручке вывернутого изодранного зонта. Я отцепил ручку от скамейки, положил зонт на дно и пошел к Кэтрин за веслом. Она хохотала. Она взяла меня за руку и продолжала хохотать.

— Чего ты? — Я взял у нее весло.

— Ты такой смешной был с этой штукой.

— Не удивительно.

— Не сердись, милый. Это было ужасно смешно. Ты казался футов двадцати в ширину и так горячо сжимал края зонтика...— Она задохнулась от смеха.

— Сейчас возьмусь за весла.

— Отдохни и выпей коньяку. Такая замечательная ночь, и мы столько уже проехали.

— Нужно поставить лодку поперек волны.

— Я достану бутылку. А потом ты немного отдохни.

Я поднял весла, и мы закачались на волнах. Кэтрин открыла чемодан. Она передала мне бутылку с коньяком. Я вытащил пробку перочинным ножом и отпил порядочный глоток. Коньяк был крепкий, и тепло разлилось по всему моему телу, и я согрелся и повеселел.

— Хороший коньяк,— сказал я. Луна опять зашла за тучу, но берег был виден. Впереди была стрелка, далеко выдававшаяся в озеро.

— Тебе не холодно, Кэт?

— Мне очень хорошо. Только ноги немножко затекли.

— Вычерпай воду со дна, тогда сможешь протянуть их.

Я снова стал грести, прислушиваясь к скрипу уключин и скрежету черпака о дно лодки под кормовой скамьей.

— Дай мне, пожалуйста, черпак,— сказал я.— Мне хочется пить.

— Он очень грязный.

— Ничего. Я его ополосну.

Я услышал, как Кэтрин ополаскивает черпак за бортом лодки. Потом она протянула его мне до краев полным воды. Меня мучила жажда после коньяка, а вода была холодная, как лед, такая холодная, что зубы заломило. Я посмотрел на берег. Мы приближались к стрелке. В бухте впереди видны были огни.

— Спасибо,— сказал я и передал ей черпак.

— Сделайте одолжение,— сказала Кэтрин.— Не угодно ли еще?

— Ты бы съела что-нибудь.

— Нет. Я пока еще не голодна. Надо приберечь еду на то время, когда я проголодаюсь.

— Ладно.

То, что издали казалось стрелкой, был длинный скалистый мыс. Я отъехал на середину озера, чтобы обогнуть его. Озеро здесь было гораздо уже. Луна опять вышла, и если guardia di Finanza [1] наблюдала с берега, она могла видеть, как наша лодка чернеет на воде.

— Как ты там, Кэт?

---

[1] Таможенная стража *(итал.)*.

— Очень хорошо. Где мы?

— Я думаю, нам осталось не больше восьми миль.

— Бедненький ты мой! Ведь это сколько еще грести. Ты еще жив?

— Вполне. Я ничего. Только вот ладони натер.

Мы ехали все время к северу. Горная цепь на правом берегу прервалась, отлогий спуск вел к низкому берегу, где, по моим расчетам, должно было находиться Каннобио. Я держался на большом расстоянии от берега, потому что в этих местах опасность встретить guardia была особенно велика. На другом берегу впереди была высокая куполообразная гора. Я устал. Грести оставалось немного, но когда уже выбьешься из сил, то и такое расстояние велико. Я знал, что нужно миновать эту гору и сделать еще по меньшей мере пять миль по озеру, прежде чем мы попадем наконец в швейцарские воды. Луна уже заходила, но перед тем, как она зашла, небо опять заволокло тучами, и стало очень темно. Я держался подальше от берега и время от времени отдыхал, подняв весла так, чтобы ветер ударял в лопасти.

— Дай я погребу немножко,— сказала Кэтрин.

— Тебе, пожалуй, нельзя.

— Глупости. Это мне даже полезно. Не будут так затекать ноги.

— Тебе, наверно, нельзя, Кэт.

— Глупости. Умеренные занятия греблей весьма полезны для молодых дам в период беременности.

— Ну, ладно, садись и греби умеренно. Я перейду на твое место, а потом ты иди на мое. Держись за борта, когда будешь переходить.

Я сидел на корме в пальто, подняв воротник, и смотрел, как Кэтрин гребет. Она гребла хорошо, но весла были слишком длинные и неудобные для нее. Я открыл чемодан и съел два сандвича и выпил коньяку. От этого все стало гораздо лучше, и я выпил еще.

— Скажи мне, когда устанешь,— сказал я. Потом, спустя немного: — Смотри не ткни себя веслом в живот.

— Если б это случилось,— сказала Кэтрин между взмахами,— жизнь стала бы много проще.

Я выпил еще коньяку.

— Ну как?

— Хорошо.

— Скажи мне, когда надоест.

— Хорошо.

Я выпил еще коньяку, потом взялся за борта и пошел к середине лодки.

— Не надо. Мне так очень хорошо.

— Нет, иди на корму. Я отлично отдохнул.

Некоторое время после коньяка я греб уверенно и легко. Потом у меня начали зарываться весла, и вскоре я опять перешел на короткие взмахи, чувствуя тонкий смутный привкус желчи во рту, оттого что я слишком сильно греб после коньяка.

— Дай мне, пожалуйста, глоток воды,— сказал я.

— Хоть целое ведро.

Перед рассветом начало моросить. Ветер улегся, а может быть, нас теперь защищали горы, обступившие изгиб озера. Когда я понял, что приближается рассвет, я уселся поудобнее и налег на весла. Я не знал, где мы, и хотел скорей попасть в швейцарскую часть озера. Когда стало светать, мы были совсем близко от берега. Видны были деревья и каменистый спуск к воде.

— Что это? — сказала Кэтрин. Я поднял весла и прислушался. На озере стучал лодочный мотор. Мы подъехали к самому берегу и остановились. Стук приблизился; потом невдалеке от нашей кормы мы увидели под дождем моторную лодку. На корме сидели четыре quardia di Finanza в надвинутых шляпах альпийских стрелков, с поднятыми воротниками и с карабинами за спиной; все четверо казались сонными в этот ранний час. Мне видны были желтые знаки у них на воротниках и что-то желтое на шляпах. Стуча мотором, лодка проехала дальше и скрылась из виду под дождем.

Я отъехал к середине озера. Очевидно, граница была совсем близко, и я вовсе не хотел, чтоб нас окликнул с дороги часовой. Я выровнялся там, откуда берег был только виден, и еще три четверти часа греб под дождем. Один раз мы опять услышали моторную лодку, и я переждал, пока стук затих у другого берега.

— Кажется, мы уже в Швейцарии, Кэт,— сказал я.

— Правда?

— Точно нельзя сказать, пока мы не увидим швейцарскую армию.

— Или швейцарский флот.

— Ты не шути швейцарским флотом. Та моторная лодка, которую мы только что слышали, и была, наверно, швейцарский флот.

— Ну, если мы в Швейцарии, так, по крайней мере, позавтракаем на славу. В Швейцарии такие чудесные булочки, и масло, и варенье.

Было уже совсем светло, и шел мелкий дождь. Ветер все еще дул с юга, и видны были белые гребни барашков, уходившие от нас по озеру. Я уже не сомневался, что мы в Швейцарии. За деревьями в стороне от берега виднелись домики, а немного дальше на берегу было селение с каменными домами, несколькими виллами на холмах и церковью. Я смотрел, нет ли стражи на дороге, которая тянулась вдоль берега, но никого не было видно. Потом дорога подошла совсем близко к озеру, и я увидел солдата, выходившего из кафе у дороги. На нем была серо-зеленая форма и каска, похожая на немецкую. У него было здоровое, краснощекое лицо и маленькие усики щеточкой. Он посмотрел на нас.

— Помаши ему рукой,— сказал я Кэтрин. Она помахала, и солдат нерешительно улыбнулся и тоже помахал в ответ. Я стал грести медленнее. Мы проезжали мимо самого селения.

— Вероятно, мы уже давно в Швейцарии,— сказал я.

— Нужно знать наверняка, милый. Недостает еще, чтобы нас на границе вернули обратно.

— Граница далеко позади. Это, вероятно, таможенный пункт. Я почти убежден, что это Бриссаго.

— А нет ли здесь итальянцев? На таможенных пунктах всегда много народу из соседней страны.

— Не в военное время. Не думаю, чтоб сейчас итальянцам разрешали переходить границу.

Городок был очень хорошенький. У пристани стояло много рыбачьих лодок, и на рогатках развешаны были сети. Шел мелкий ноябрьский дождь, но здесь даже в дождь было весело и чисто.

— Тогда давай причалим и пойдем завтракать.

— Давай.

Я приналег на левое весло и подошел к берегу, потом, у самой пристани, выровнялся и причалил боком. Я втащил весла, ухватился за железное кольцо, поставил ногу на мокрый камень и вступил в Швейцарию. Я привязал лодку и протянул руку Кэтрин.

— Выходи, Кэт. Замечательное чувство.

— А чемоданы?

— Оставим в лодке.

Кэтрин вышла, и мы вместе вступили в Швейцарию.

— Какая прекрасная страна,— сказала она.

— Правда, замечательная?

— Пойдем скорей завтракать.

— Нет, правда замечательная страна? По ней как-то приятно ступать.

— У меня так затекли ноги, что я ничего не чувствую. Но, наверно, приятно. Милый, ты понимаешь, что мы уже здесь, что мы выбрались из этой проклятой Италии.

— Да. Честное слово, да. Я еще никогда так хорошо ничего не понимал.

— Посмотри на эти дома. А какая чудная площадь! Вон там можно и позавтракать.

— А какой чудный дождь! В Италии никогда не бывает такого дождя. Это веселый дождь.

— И мы с тобой уже здесь, милый. Нет, ты понимаешь, что мы с тобой уже здесь?

Мы вошли в кафе и сели за чистенький деревянный столик. Мы были как пьяные. Вышла чудесная чистенькая женщина в переднике и спросила, что нам подать.

— Булочки, и варенье, и кофе,— сказала Кэтрин.

— Извините, булочек теперь нет — время военное.

— Тогда хлеба.

— Может быть, сделать гренки?

— Сделайте.

— И еще яичницу.

— Из скольких яиц угодно господину?

— Из трех.

— Лучше из четырех, милый.

— Из четырех яиц.

Женщина ушла. Я поцеловал Кэтрин и очень крепко сжал ей руку. Мы смотрели друг на друга и по сторонам.

— Милый, ну скажи, разве не чудесно?

— Замечательно,— сказал я.

— Это ничего, что нет булочек,— сказала Кэтрин.— Я думала о них всю ночь. Но это ничего. Это совсем даже ничего.

— Вероятно, нас очень скоро арестуют.

— Не думай об этом, милый. Мы раньше позавтракаем. Быть арестованными после завтрака не так уж страшно. И потом, что они могут нам сделать? Я британская подданная, а ты американский, и у нас все в полном порядке.

— У тебя есть паспорт?

— Конечно. Ах, не будем говорить об этом. Давай радоваться.

— Я и так радуюсь изо всех сил,— сказал я.

Толстая серая кошка, распушив хвост султаном, прошла по комнате к нашему столу и, изогнувшись вокруг моей ноги,

стала об нее тереться с довольным урчанием. Я наклонился и погладил кошку. Кэтрин радостно улыбнулась мне.

— А вот и кофе,— сказала она.

Нас арестовали после завтрака. Мы погуляли немного по городку и потом спустились к пристани за своими чемоданами. У лодки стоял на страже солдат.

— Это ваша лодка?

— Да.

— Откуда вы приехали?

— С той стороны озера.

— Вам придется пойти со мной.

— А чемоданы?

— Можете взять.

Я взял чемоданы, и Кэтрин пошла рядом со мной, а солдат позади нас, к старому дому, где была таможня. В таможне очень худой и воинственный с виду лейтенант стал нас допрашивать.

— Ваша национальность?

— Американец и англичанка.

— Предъявите ваши паспорта.

Я дал свой, и Кэтрин достала свой из сумочки. Он долго рассматривал их.

— Почему вы приехали в Швейцарию так, на лодке?

— Я спортсмен,— сказал я.— Гребля — мой любимый спорт. Я гребу всегда, как только представится случай.

— Зачем вы приехали сюда?

— Заниматься зимним спортом. Мы туристы, и нас интересует зимний спорт.

— Здесь не место для зимнего спорта.

— Мы знаем. Мы хотим ехать дальше, туда, где можно заниматься зимним спортом.

— Что вы делали в Италии?

— Я изучал архитектуру. Моя кузина изучала искусство.

— Почему вы уехали оттуда?

— Мы хотим заниматься зимним спортом. В военное время трудно изучать архитектуру.

— Посидите, пожалуйста, здесь,— сказал лейтенант. Он взял наши паспорта и вышел во внутреннюю дверь.

— Милый, ты неподражаем,— сказала Кэтрин,— на том и стой. Ты хочешь заниматься зимним спортом.

— Ты что-нибудь понимаешь в искусстве?

— Рубенс,— сказала Кэтрин.

— Много мяса,— сказал я.

«Прощай, оружие!»

— Тициан,— сказала Кэтрин.

— Тициановские волосы,— сказал я.— Ну, а Мантенья?

— Ты трудных не спрашивай,— сказала Кэтрин.— Но я все-таки знаю: очень страшный.

— Очень,— сказал я.— Масса дырок от гвоздей.

— Видишь, какая чудная у тебя будет жена,— сказала Кэтрин.— Я смогу беседовать об искусстве с твоими заказчиками.

— Вот он идет,— сказал я.

Худой лейтенант появился из глубины таможенного здания с нашими паспортами в руке.

— Мне придется отправить вас в Локарно,— сказал он.— Вы можете нанять экипаж, с вами вместе сядет солдат.

— Что ж, пожалуйста,— сказал я.— А как быть с лодкой?

— Лодка конфискована. Что у вас в этих чемоданах?

Он осмотрел содержимое обоих чемоданов и вынул бутылку с коньяком.

— Может быть, составите мне компанию? — спросил я.

— Нет, благодарю вас.— Он выпрямился.— Сколько у вас денег?

— Две с половиной тысячи лир.

— А у вашей кузины?

У Кэтрин было тысяча двести с лишним. Лейтенант остался доволен. Его обращение с нами стало менее высокомерным.

— Если вас интересует зимний спорт,— сказал он,— самое лучшее для этого место — Венген. У моего отца в Венгене очень хороший отель. Открыт круглый год.

— Очень приятно,— сказал я.— Нельзя ли получить у вас адрес?

— Я вам напишу на карточке.— Он очень вежливо подал мне карточку.— Солдат вас проводит до Локарно. Ваши паспорта будут у него. Очень сожалею, но это необходимо. Я не сомневаюсь, что в Локарно вы получите визу или разрешение от полиции.

Он передал оба паспорта солдату, и, взяв чемоданы, мы направились к селению, чтобы там нанять экипаж.

— Эй! — окликнул лейтенант солдата. Он сказал ему что-то на диалекте. Солдат перекинул винтовку через плечо и подхватил наши чемоданы.

— Прекрасная страна,— сказал я Кэтрин.

— Практичная, во всяком случае.

— Очень вам благодарен,— сказал я лейтенанту. Он помахал нам рукой.

— К вашим услугам,— сказал он. Мы пошли за своим стражем наверх.

Мы поехали в Локарно в экипаже, с солдатом на переднем сиденье возле кучера. В Локарно все сошло неплохо. Нас допросили, но очень вежливо, потому что у нас были паспорта и деньги. Едва ли они поверили хоть одному моему слову, и я думал о том, как все это глупо, но это было все равно как в суде. Никаких разумных доводов не требовалось, требовалась только формальная отговорка, за которую можно было бы держаться без всяких объяснений. Мы имели паспорта и хотели тратить деньги. Поэтому нам дали временные визы. Эти визы в любой момент могли аннулировать. Мы должны были являться в полицию всюду, куда ни приедем.

Можем ли мы ехать, куда хотим? Да. А куда мы хотим ехать?

— Куда ты хочешь ехать, Кэт?

— В Монтре.

— Очень хороший город,— сказал чиновник.— Я думаю, что вам понравится этот город.

— Локарно тоже очень хороший город,— сказал другой чиновник.— Я уверен, что вам очень понравится Локарно. Это очень красивый город.

— Нам нравится там, где можно заниматься зимним спортом.

— В Монтре не занимаются зимним спортом.

— Прошу прощения,— сказал первый чиновник.— Я сам из Монтре. На Монтре-Оберланд-Бернской железной дороге, безусловно, есть условия для зимнего спорта. С вашей стороны нечестно было бы отрицать это.

— Я и не отрицаю. Я просто говорю, что в Монтре не занимаются зимним спортом.

— Я оспариваю это,— сказал первый чиновник.— Я оспариваю это утверждение.

— Я настаиваю на этом утверждении.

— Я оспариваю это утверждение. Я сам катался на luge[1] по улицам Монтре. Я совершал это неоднократно. Luge, безусловно, один из видов зимнего спорта.

Второй чиновник обернулся ко мне.

— Вы имели в виду luge, говоря о зимнем спорте, сэр? Уверяю вас, в Локарно вам будет чрезвычайно удобно. Вы най-

[1] Небольшие швейцарские санки *(франц.)*.

дете здесь здоровый климат, вы найдете здесь красивые окрестности. Вам здесь очень понравится.

— Господин сам выразил желание ехать в Монтре.

— А что такое luge? — спросил я.

— Вы видите, он даже никогда не слыхал о luge.

Это очень понравилось второму чиновнику. Он торжествовал.

— Luge,— сказал первый чиновник,— это то же, что тобогган.

— Должен возразить,— покачал головой второй чиновник.— Здесь я опять должен возразить. Тобогган очень отличается от luge. Тобогган делается в Канаде из плоских планок. Luge — это обыкновенные салазки на полозьях. Точность прежде всего.

— А нельзя ли нам кататься на тобоггане? — спросил я.

— Конечно, можно и на тобоггане,— сказал первый чиновник.— Вполне можно кататься на тобоггане. В Монтре продаются отличные канадские тобогганы. Братья Окс торгуют тобогганами. Они сами импортируют тобогганы.

Второй чиновник отвернулся.

— Для катания на тобоггане,— сказал он,— требуется специальная piste [1]. Нельзя кататься на тобоггане по улицам Монтре. Где вы остановились?

— Мы еще сами не знаем,— сказал я.— Мы только что приехали из Бриссаго. Экипаж ждет на улице.

— Вы не пожалеете о том, что едете в Монтре,— сказал первый чиновник.— Вы найдете там прекрасный мягкий климат. Вам не нужно будет далеко ходить, если вы захотите заниматься зимним спортом.

— Если вас действительно интересует зимний спорт,— сказал второй чиновник,— поезжайте в Энгадин или Мюррен. Я вынужден протестовать против данного вам совета ехать в Монтре для зимнего спорта.

— В Лез-Аван над Монтре превосходные условия для любого зимнего спорта.— Патриот Монтре яростно взглянул на своего коллегу.

— Господа,— сказал я.— К сожалению, мы должны ехать. Моя кузина очень устала. Мы рискнем отправиться в Монтре.

— Приветствую ваше решение.— Первый чиновник пожал мне руку.

---

[1] Дорожка *(франц.)*.

— Полагаю, что вы будете сожалеть об отъезде из Локарно,— сказал второй чиновник.— Во всяком случае, в Монтре вам придется явиться в полицию.

— Никаких недоразумений с полицией у вас не будет,— уверил меня первый чиновник.— Со стороны населения вы встретите исключительное радушие и дружелюбие.

— Большое спасибо вам обоим,— сказал я.— Ваши советы для нас очень ценны.

— До свидания,— сказала Кэтрин.

— Большое спасибо вам обоим.

Они проводили нас поклонами до дверей, патриот Локарно с некоторой холодностью. Мы спустились по лестнице и сели в экипаж.

— О, господи, милый! — сказала Кэтрин.— Неужели нельзя было выбраться оттуда раньше? — Я дал кучеру адрес отеля, рекомендованного нам одним из чиновников. Кучер подобрал вожжи.

— Ты забыл про армию,— сказала Кэтрин. Солдат стоял у экипажа. Я дал ему десять лир.

— У меня еще нет швейцарских денег,— сказал я. Он поблагодарил, взял под козырек и ушел. Экипаж тронулся, и мы поехали в отель.

— Что это тебе вздумалось сказать про Монтре? — спросил я Кэтрин.— Ты действительно хочешь туда ехать?

— Это было первое, что мне пришло в голову,— сказала она.— Там неплохо. Мы можем поселиться где-нибудь наверху, в горах.

— Тебе хочется спать?

— Я уже засыпаю.

— Мы хорошо выспимся. Бедная ты моя Кэт! Досталось тебе этой ночью.

— Мне было очень весело,— сказала Кэтрин.— Особенно когда ты сидел с зонтиком.

— Ты понимаешь, что мы в Швейцарии?

— Нет, мне все кажется: вот я проснусь, и это все неправда.

— И мне тоже.

— Но ведь это правда, милый? Это ведь не на Миланский вокзал я еду провожать тебя?

— Надеюсь, что нет.

— Не говори так. Я боюсь. Вдруг это в самом деле так.

— Я точно пьяный и ничего не соображаю,— сказал я.

— Покажи свои руки.

Я протянул ей обе руки. Они были стерты до живого мяса.

— Только в боку раны нет,— сказал я.

— Не богохульствуй.

Я очень устал, и у меня кружилась голова. Все мое оживление пропало. Экипаж катился по улице.

— Бедные руки! — сказала Кэтрин.

— Не трогай их,— сказал я.— Что за черт, я не пойму, где мы. Куда мы едем, кучер?

Кучер остановил лошадь.

— В отель «Метрополь». Разве вы не туда хотели?

— Да, да,— сказал я.— Все в порядке. Кэт.

— Все в порядке, милый. Не волнуйся. Мы хорошо выспимся, и завтра ты уже не будешь точно пьяный.

— Я совсем пьяный,— сказал я.— Весь этот день похож на оперетту. Может быть, я голоден.

— Ты просто устал, милый. Это все пройдет.

Экипаж остановился у отеля. Мальчик вышел взять наши чемоданы.

— Уже проходит,— сказал я. Мы были на мостовой и шли к отелю.

— Я знала, что пройдет. Ты просто устал. Тебе нужно выспаться.

— Во всяком случае, мы в Швейцарии.

— Да, мы действительно в Швейцарии.

Вслед за мальчиком с чемоданами мы вошли в отель.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

В ту осень снег выпал очень поздно. Мы жили в деревянном домике среди сосен на склоне горы, и по ночам бывали заморозки, так что вода в двух кувшинах на умывальнике покрывалась к утру тонкой корочкой льда. Madame Гуттинген рано утром входила в комнату, чтобы закрыть окна, и разводила огонь в высокой изразцовой печке. Сосновые дрова трещали и разгорались, и огонь в печке начинал гудеть, и madame Гуттинген во второй раз входила в комнату, неся толстые поленья для печки и кувшин с горячей водой. Когда комната нагревалась, она приносила завтрак. Завтракая в постели, мы видели озеро и горы по ту сторону озера, на французском берегу. На вершинах гор лежал снег, и озеро было серое со стальной синевой.

Снаружи, перед самым домом, проходила дорога. От мороза колеи и борозды были твердые, как камень, и дорога упорно лезла вверх через рощу и потом, опоясав гору, выбиралась туда, где были луга, и сараи, и хижины в лугах на опушке леса, над самой долиной. Долина была глубокая, и на дне ее протекала речка, впадавшая в озеро, и когда ветер дул из долины, слышно было, как речка шумит по камням.

Иногда мы сворачивали с дороги и шли тропинкой через сосновую рощу. В роще земля под ногами была мягкая: она не отвердела от мороза, как на дороге. Но нам не мешало то, что земля на дороге твердая, потому что подошвы и каблуки у нас были подбиты гвоздями, и гвозди вонзались в мерзлую землю, и в подбитых гвоздями башмаках идти по дороге было приятно и как-то бодрило. Но идти рощей было тоже очень хорошо.

От дома, в котором мы жили, начинался крутой спуск к небольшой равнине у озера, и в солнечные дни мы сидели на ве-

ранде, и нам было видно, как вьется дорога по горному склону, и виден был склон другой горы и расположенные террасами виноградники, где все лозы уже высохли по-зимнему, и поля, разделенные каменными оградами, и пониже виноградников городские дома на узкой равнине у берега озера. На озере был островок с двумя деревьями, и деревья были похожи на двойной парус рыбачьей лодки. Горы по ту сторону озера были крутые и остроконечные, и у южного края озера длинной впадиной между двумя горными кряжами лежала долина Роны, а в дальнем конце, там, где долину срезали горы, был Дан-дю-Миди. Это была высокая снежная гора, и она господствовала над долиной, но она была так далеко, что не отбрасывала тени.

Когда было солнечно, мы завтракали на веранде, но остальное время мы ели наверху, в маленькой комнатке с дощатыми стенами и большой печкой в углу. Мы накупили в городе журналов и книг и выучились многим карточным играм для двоих. Маленькая комната с печкой была нашей гостиной и столовой. Там было два удобных кресла и столик для журналов и книг, а в карты мы играли на обеденном столе, после того как уберут посуду. Monsieur и madame Гуттинген жили внизу, и вечерами мы иногда слышали, как они разговаривают, и они тоже были очень счастливы вдвоем. Он когда-то был обер-кельнером, а она работала горничной в том же отеле, и они скопили деньги на покупку этого дома. У них был сын, который готовился стать обер-кельнером. Он служил в отеле в Цюрихе. Внизу было помещение, где торговали вином и пивом, и по вечерам мы иногда слышали, как на дороге останавливались повозки и мужчины поднимались по ступенькам в дом пропустить стаканчик.

В коридоре перед нашей комнатой стоял ящик с дровами, и оттуда я брал поленья, чтоб подбрасывать в печку. Но мы не засиживались поздно. Мы ложились спать в нашей большой спальне, не зажигая огня, и, раздевшись, я открывал окна, и смотрел в ночь, и на холодные звезды, и на сосны под окнами, и потом как можно быстрее ложился в постель. Хорошо в постели, когда воздух такой холодный и чистый, а за окном ночь. Мы спали крепко, и если ночью я просыпался, то знал отчего, и тогда я отодвигал пуховик, очень осторожно, чтобы не разбудить Кэтрин, и опять засыпал, с новым чувством легкости от тонкого одеяла. Война казалась далекой, как футбольный матч в чужом колледже. Но из газет я знал, что бои в горах все еще идут, потому что до сих пор не выпал снег.

Иногда мы спускались по склону горы в Монтре. От самого дома вела вниз тропинка, но она была очень крутая, и обычно

мы предпочитали спускаться по дороге и шли широкой, отверделой от мороза дорогой между полями, а потом между каменными оградами виноградников и еще ниже между домиками лежащих у дороги деревень. Деревень было три: Шернэ, Фонтанивам и еще одна, забыл какая. Потом все той же дорогой мы проходили мимо старого, крепко сбитого каменного château на выступе горы, среди расположенных террасами виноградников, где каждая лоза была подвязана к тычку, и все лозы были сухие и бурые, и земля ожидала снега, а внизу, в глубине, лежало озеро, гладкое и серое, как сталь. От château дорога шла вниз довольно отлого, а потом сворачивала вправо, и дальше был вымощенный булыжником очень крутой спуск прямо к Монтре.

У нас не было никого знакомых в Монтре. Мы шли по берегу озера и видели лебедей, и бесчисленных чаек, и буревестников, которые взлетали, как только подойдешь поближе, и жалобно кричали, глядя вниз, на воду. Поодаль от берега плыли стаи гагар, маленьких и темных, оставляя за собой след на воде. Придя в город, мы пошли по главной улице и рассматривали витрины магазинов. Там было много больших отелей, теперь закрытых, но магазины почти все были открыты, и нам везде были очень рады. Была очень хорошая парикмахерская, и Кэтрин зашла туда причесаться. Хозяйка парикмахерской встретила ее очень приветливо, это была наша единственная знакомая в Монтре. Пока Кэтрин причесывалась, я сидел в пивном погребке и пил темное мюнхенское пиво и читал газеты. Я читал «Корьере делла сера» и английские и американские газеты из Парижа. Все объявления были замазаны типографской краской, вероятно, чтобы нельзя было использовать их для сношений с неприятелем. Это было невеселое чтение. Дела везде обстояли невесело. Я сидел в уголке с большой кружкой темного пива и вскрытым бумажным пакетом pretzels [1] и ел pretzels, потому что мне нравился их солоноватый привкус и то, каким вкусным от них становилось пиво, и читал о разгроме. Я думал, что Кэтрин зайдет за мной, но она не заходила, и я положил газеты на место, заплатил за пиво и пошел искать ее. День был холодный, и сумрачный, и зимний, и камень стен казался холодным. Кэтрин все еще была в парикмахерской. Хозяйка завивала ей волосы. Я сидел в кабинетике и смотрел. Это меня волновало, и Кэтрин улыбалась и разговаривала со мной, и голос у меня был немного хриплый от волнения. Щипцы приятно позвякивали, и я видел волосы Кэтрин в трех зеркалах, и в кабинетике

[1] Род печенья *(нем.)*.

было тепло и приятно. Потом хозяйка уложила Кэтрин волосы, и Кэтрин посмотрела в зеркало и немножко изменила прическу, вынимая и вкалывая шпильки; потом встала.

— Мне прямо совестно, что я так долго.

— Monsieur было очень интересно. Разве нет, monsieur? — улыбнулась хозяйка.

— Да,— сказал я.

Мы вышли и пошли по улице. Было холодно и сумрачно, и дул ветер.

— Ты даже не знаешь, как я тебя люблю,— сказал я.

— Ведь, правда, нам теперь очень хорошо? — сказала Кэтрин.— Знаешь что? Давай зайдем куда-нибудь и вместо чая выпьем пива. Для маленькой Кэтрин пиво очень полезно. Оно не даст ей слишком сильно расти.

— Маленькая Кэтрин,— сказал я.— Вот лентяйка!

— Она умница,— сказала Кэтрин.— Она себя очень хорошо ведет. Доктор говорит, что мне полезно пиво и что оно ей не даст слишком сильно расти.

— Ты правда не давай ей расти, и если она будет мальчик, он сможет стать жокеем.

— Пожалуй, если уж родится ребенок, надо будет нам в самом деле пожениться,— сказала Кэтрин. Мы сидели в пивной за столиком в углу. На улице уже темнело. Было рано, но день был сумрачный, и вечер рано наступил.

— Давай поженимся теперь,— сказал я.

— Нет,— сказала Кэтрин.— Теперь неудобно. Уже слишком заметно. Не пойду я такая в мэрию.

— Жаль, что мы раньше не поженились.

— Пожалуй, так было бы лучше. Но когда же мы могли, милый?

— Не знаю.

— А я знаю только одно. Не пойду я в мэрию такой почтенной матроной.

— Какая же ты матрона?

— Самая настоящая, милый. Парикмахерша спрашивала, первый ли это у нас. Я ей сказала, что у нас уже есть два мальчика и две девочки.

— Когда же мы поженимся?

— Как только я опять похудею. Я хочу, чтобы у нас была великолепная свадьба и чтоб все думали: какая красивая пара.

— Но тебя это не огорчает?

— А отчего же мне огорчаться, милый? У меня только единственный раз было скверно на душе, это в Милане, когда

я почувствовала себя девкой, и то через пять минут все прошло, и потом тут больше всего была виновата комната. Разве я плохая жена?

— Ты чудная жена.

— Вот и не думай о формальностях, милый. Как только я опять похудею, мы поженимся.

— Хорошо.

— Как ты думаешь, выпить мне еще пива? Доктор сказал, что у меня таз узковат, так что лучше не давать маленькой Кэтрин очень расти.

— Что он еще сказал? — Я встревожился.

— Ничего. У меня замечательное кровяное давление, милый. Он в восторге от моего кровяного давления.

— А что еще он сказал насчет узкого таза?

— Ничего. Совсем ничего. Он сказал, что мне нельзя ходить на лыжах.

— Правильно.

— Он сказал, что теперь уже поздно начинать, если я до сих пор не ходила. Он сказал, что ходить бы на лыжах можно, только падать нельзя.

— Он шутник, твой доктор.

— Нет, в самом деле, он очень славный. Мы его позовем, когда придет время родиться маленькому.

— Ты его не спрашивала, пожениться ли нам?

— Нет. Я ему сказала, что мы женаты четыре года. Видишь ли, милый, если я выйду за тебя, я стану американкой, а по американским законам, когда б мы ни поженились,— ребенок считается законным.

— Где ты это вычитала?

— В нью-йоркском «Уорлд алманак» в библиотеке.

— Ты просто прелесть.

— Я очень рада, что буду американкой. И мы поедем в Америку, правда, милый? Я хочу посмотреть Ниагарский водопад.

— Ты прелесть.

— Я еще что-то хотела посмотреть, только я забыла что.

— Бойни?

— Нет. Я забыла.

— Небоскреб Вулворта?

— Нет.

— Большой Каньон?

— Нет. Но и это тоже.

— Что же тогда?

— Золотые ворота! Вот что я хотела посмотреть. Где это Золотые ворота?

— В Сан-Франциско.

— Ну, так поедем туда. И вообще я хочу посмотреть Сан-Франциско.

— Отлично. Туда мы и поедем.

— А теперь давай поедем на вершину горы. Хорошо?

— В пять с минутами есть поезд.

— Вот на нем и поедем.

— Ладно. Я только выпью еще пива.

Когда мы вышли, и пошли по улице, и стали подниматься по лестнице к станции, было очень холодно. Холодный ветер дул из Ронской долины. В витринах магазинов горели огни, и мы поднялись по крутой каменной лестнице на верхнюю улицу и потом по другой лестнице к станции. Там уже стоял электрический поезд, весь освещенный. На большом циферблате было обозначено время отхода. Стрелки показывали десять минут шестого. Я посмотрел на станционные часы. Было пять минут шестого. Когда мы садились в вагон, я видел, как вагоновожатый и кондуктор вышли из буфета. Мы уселись и открыли окно. Вагон отапливался электричеством, и в нем было душно, но в окно входил свежий холодный воздух.

— Ты устала, Кэт? — спросил я.

— Нет. Я себя великолепно чувствую.

— Нам не долго ехать.

— Я с удовольствием проедусь,— сказала она.— Не тревожься обо мне, милый. Я себя чувствую прекрасно.

Снег выпал только за три дня до рождества. Как-то утром мы проснулись, и шел снег. В печке гудел огонь, а мы лежали в постели и смотрели, как сыплет снег. Madame Гуттинген убрала посуду после завтрака и подбросила в печку дров. Это была настоящая снежная буря. Madame Гуттинген сказала, что она началась около полуночи. Я подошел к окну и посмотрел, но ничего не мог разглядеть дальше дороги. Дуло и мело со всех сторон. Я снова лег в постель, и мы лежали и разговаривали.

— Хорошо бы походить на лыжах,— сказала Кэтрин.— Такая досада, что мне нельзя на лыжах.

— Мы достанем санки и съедем по дороге вниз. Это для тебя не опаснее, чем в автомобиле.

— А трясти не будет?

— Можно попробовать.

— Хорошо бы, не трясло.

— Немного погодя можно будет выйти погулять по снегу.

— Перед обедом,— сказала Кэтрин,— для аппетита.

— Я и так всегда голоден.

— И я тоже.

Мы вышли в метель. Повсюду намело сугробы, так что нельзя было уйти далеко. Я пошел вперед, протаптывая дорожку, но пока мы добрались до станции, нам пришлось довольно долго идти. Мело так, что невозможно было раскрыть глаза, и мы вошли в маленький кабачок у станции и, метелкой стряхнув друг с друга снег, сели на скамью и спросили вермуту.

— Сегодня сильная буря,— сказала кельнерша.

— Да.

— Снег поздно выпал в этом году.

— Да.

— Что, если я съем плитку шоколада? — спросила Кэтрин.— Или уже скоро завтрак? Я всегда голодна.

— Можешь съесть одну,— сказал я.

— Я возьму с орехами,— сказала Кэтрин.

— С орехами очень вкусный,— сказала девушка.— Я больше всего люблю с орехами.

— Я выпью еще вермуту,— сказал я.

Когда мы вышли, чтоб идти домой, нашу дорожку уже занесло снегом. Только едва заметные углубления остались там, где раньше были следы. Мело прямо в лицо, так что нельзя было раскрыть глаза. Мы почистились и пошли завтракать. Завтрак подавал monsieur Гуттинген.

— Завтра можно будет пойти на лыжах,— сказал он.— Вы ходите на лыжах, мистер Генри?

— Нет. Но я хочу научиться.

— Вы научитесь очень легко. Мой сын приезжает на рождество, он вас научит.

— Чудесно. Когда он должен приехать?

— Завтра вечером.

Когда после обеда мы сидели у печки в маленькой комнате и смотрели в окно, как валит снег, Кэтрин сказала:

— Что, если тебе уехать куда-нибудь одному, милый, побыть среди мужчин, походить на лыжах?

— Зачем мне это?

— Неужели тебе никогда не хочется повидать других людей?

— А тебе хочется повидать других людей?

— Нет.

— И мне нет.

— Я знаю. Но ты другое дело. Я жду ребенка, и поэтому мне приятно ничего не делать. Я знаю, что я стала ужасно глупая и слишком много болтаю, и мне кажется, лучше тебе уехать, а то я тебе надоем.

— Ты хочешь, чтоб я уехал?

— Нет, я хочу, чтоб ты был со мной.

— Ну, так я и не поеду никуда.

— Иди сюда,— сказала она.— Я хочу пощупать шишку у тебя на голове. Большая все-таки шишка.— Она провела по ней пальцами.— Милый, почему бы тебе не отпустить бороду?

— Тебе хочется?

— Просто так, для забавы. Мне хочется посмотреть, какой ты с бородой.

— Ладно. Отпущу бороду. Сейчас же, сию минуту начну отпускать. Это идея. Теперь у меня будет занятие.

— Ты огорчен, что у тебя нет никакого занятия?

— Нет. Я очень доволен. Мне очень хорошо. А тебе?

— Мне чудесно. Но я все боюсь, может быть, теперь, когда я такая, тебе скучно со мной?

— Ох, Кэт! Ты даже не представляешь себе, как сильно я тебя люблю.

— Даже теперь?

— И теперь и всегда. И я вполне счастлив. Разве нам не хорошо тут?

— Очень хорошо, но мне все кажется, что ты какой-то неспокойный.

— Нет. Я иногда вспоминаю фронт и разных людей, но это не тревожит меня. Я ни о чем долго не думаю.

— Кого ты вспоминаешь?

— Ринальди, и священника, и еще всяких людей. Но долго я о них не думаю. Я не хочу думать о войне. Я покончил с ней.

— О чем ты сейчас думаешь?

— Ни о чем.

— Нет, ты думал о чем-то. Скажи.

— Я думал, правда ли, что у Ринальди сифилис.

— И все?

— Да.

— А у него сифилис?

— Не знаю.

— Я рада, что у тебя нет. У тебя ничего такого не было?

— У меня был триппер.

— Я не хочу об этом слышать. Тебе очень больно было, милый?

— Очень.

— Я б хотела, чтоб у меня тоже был.

— Не выдумывай.

— Нет, правда. Я б хотела, чтобы у меня все было, как у тебя. Я б хотела знать всех женщин, которых ты знал, чтоб потом высмеивать их перед тобой.

— Вот это красиво.

— А что у тебя был триппер, красиво?

— Нет. Смотри, как снег идет.

— Я лучше буду смотреть на тебя. Милый, что, если б ты отпустил волосы?

— То есть как?

— Ну, немножко подлиннее.

— Они и так длинные.

— Нет, отпусти их немного длиннее, а я остригусь, и мы будем совсем одинаковые, только один светлый, а другой темный.

— Я не хочу, чтоб ты остриглась.

— А это, может быть, забавно. Мне надоели волосы. Ночью в постели они ужасно мешают.

— Мне нравится так.

— А с короткими бы тебе не понравилось?

— Может быть. Мне нравится, как сейчас.

— Может быть, с короткими лучше. И мы были бы оба одинаковые. Милый, я так тебя люблю, что хочу быть тобой.

— Это так и есть. Мы с тобой одно.

— Я знаю. По ночам.

— Ночью все замечательно.

— Я хочу, чтоб совсем нельзя было разобрать, где ты, а где я. Я не хочу, чтоб ты уезжал. Я это нарочно сказала. Если тебе хочется, уезжай. Но только возвращайся скорее. Милый, ведь я же вообще не живу, когда я не с тобой.

— Я никогда не уеду,— сказал я.— Я ни на что не гожусь, когда тебя нет. У меня нет никакой жизни.

— Я хочу, чтобы у тебя была жизнь. Я хочу, чтобы у тебя была очень хорошая жизнь. Но это будет наша общая жизнь, правда?

— Ну как, перестать мне отпускать бороду или пусть растет?

— Пусть растет. Отпускай. Это так интересно. Может быть, она вырастет к Новому году.

— Хочешь, сыграем в шахматы?

— Лучше в другую игру.
— Нет. Давай в шахматы.
— А потом в другую?
— Да.
— Ну, хорошо.

Я достал шахматную доску и расставил фигуры. За окном по-прежнему валил снег.

Как-то раз я среди ночи проснулся и почувствовал, что Кэтрин тоже не спит. Луна светила в окно, и на постель падали тени от оконного переплета.

— Ты не спишь, дорогой?
— Нет. А ты не можешь заснуть?
— Я только что проснулась и думаю о том, какая была сумасшедшая, когда мы встретились. Помнишь?
— Ты была чуть-чуть сумасшедшая.
— Теперь со мной никогда такого не бывает. Теперь у меня все замечательно. Ты так чудно говоришь это слово. Скажи «замечательно».
— Замечательно.
— Ты милый. И я теперь уже не сумасшедшая. Я только очень, очень, очень счастлива.
— Ну спи,— сказал я.
— Ладно. Давай заснем оба сразу.
— Ладно.

Но мы не заснули сразу. Я еще довольно долго лежал, думая о разных вещах и глядя на спящую Кэтрин и на лунные блики у нее на лице. Потом я тоже заснул.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

К середине января я уже отрастил бороду, и установились наконец по-зимнему холодные, яркие дни и холодные, суровые ночи. Снова можно было ходить по дорогам. Снег стал твердый и гладкий, укатанный полозьями саней и бревнами, которые волокли с горы вниз. Снег лежал повсюду кругом, почти до самого Монтре. Горы по ту сторону озера были совсем белые, и долина Роны скрылась под снегом. Мы совершали длинные прогулки по другому склону горы до Бэн-де-л'Альяз. Кэтрин надевала подбитые гвоздями башмаки и плащ и брала с собой палку с острым стальным наконечником. Под плащом ее полнота не

была заметна, и мы шли не слишком быстро, и останавливались, и садились отдыхать на бревнах у дороги, когда она уставала.

В Бэн-де-л'Альяз был кабачок под деревьями, куда заходили выпить лесорубы, и мы сидели там, греясь у печки, и пили горячее красное вино с пряностями и лимоном. Его называют Glühwein, и это прекрасная вещь, когда нужно согреться или выпить за чье-нибудь здоровье. В кабачке было темно и дымно, и потом, когда мы выходили, холодный воздух обжигал легкие и кончик носа при дыхании немел. Мы оглядывались на кабачок, где во всех окнах горел свет, и у входа лошади лесорубов били копытами, чтоб согреться, и мотали головой. Волоски на их мордах были покрыты инеем, и пар от их дыхания застывал в воздухе. На обратном пути дорога была гладкая и скользкая, и лед был оранжевый от лошадиной мочи до самого поворота, где тропа, по которой волокли бревна, уходила в сторону. Дальше дорога была покрыта плотно укатанным снегом и вела через лес, и два раза, возвращаясь вечером домой, мы видели лисицу.

Это был славный край, и когда мы выходили гулять, нам всегда было очень весело.

— У тебя замечательная борода,— сказала Кэтрин.— Совсем как у лесорубов. Ты видел того, в золотых сережках?

— Это охотник на горных козлов,— сказал я.— Они носят серьги, потому что это будто бы обостряет слух.

— Неужели? Вряд ли это так. По-моему, они нос. т их, чтоб всякий знал, что они охотники на горных козлов. А здесь водятся горные козлы?

— Да, за Дан-де-Жаман.

— Как забавно, что мы видели лисицу.

— А лисица, когда спит, обертывает свой хвост вокруг тела, и ей тепло.

— Вот, должно быть, приятно.

— Мне всегда хотелось иметь такой хвост. Что, если б у нас были хвосты, как у лисиц?

— А как же тогда одеваться?

— Можно заказывать специальные костюмы или уехать в такую страну, где это не имеет значения.

— Мы и сейчас в такой стране, где ничто не имеет значения. Разве не замечательно, что мы живем тут и никого не видим? Ты ведь не хочешь никого видеть, правда, милый?

— Да.

— Давай посидим минутку. Я немножко устала.

Мы сидели на бревне совсем рядом. Впереди дорога уходила в лес.

— Она не будет мешать нам, малышка? Как ты думаешь?

— Нет. Мы ей не позволим.

— Как у нас с деньгами?

— Денег куча. Я уже получил по последнему чеку.

— А твои родственники не станут искать тебя? Ведь они теперь знают, что ты в Швейцарии.

— Возможно. Я им напишу как-нибудь.

— Разве ты еще не написал?

— Нет. Только послал чек на подпись.

— Слава богу, что я тебе не родственница.

— Я дам им телеграмму.

— Разве ты их совсем не любишь?

— Раньше любил, но мы столько ссорились, что ничего не осталось.

— Мне кажется, что они бы мне понравились. Наверно, они бы мне очень понравились.

— Давай не будем о них говорить, а то я начну о них тревожиться.— Немного погодя я сказал: — Пойдем, если ты отдохнула.

— Я отдохнула.

Мы пошли по дороге дальше. Было уже темно, и снег скрипел под ногами. Ночь была сухая, и холодная, и очень ясная.

— Мне очень нравится твоя борода,— сказала Кэтрин.— Просто прелесть. На вид жесткая и колючая, а на самом деле мягкая и такая приятная.

— По-твоему, так лучше, чем без бороды?

— Пожалуй, лучше. Знаешь, милый, я не стану стричься до рождения маленькой Кэтрин. Я теперь слишком толстая и похожа на матрону. Но когда она родится и я опять похудею, непременно остригусь, и тогда у тебя будет совсем другая, новая девушка. Мы пойдем с тобой вместе, и я остригусь, или я пойду одна и сделаю тебе сюрприз.

Я молчал.

— Ты ведь не запретишь мне, правда?

— Нет. Может быть, мне даже понравится.

— Ну, какой же ты милый! А вдруг, когда я похудею, я стану очень хорошенькая и так тебе понравлюсь, что ты опять в меня влюбишься.

— О, черт! — сказал я.— Я и так в тебя достаточно влюблен. Чего ты еще хочешь? Чтоб я совсем потерял голову?

— Да. Я хочу, чтоб ты потерял голову.

— Ну и пусть,— сказал я.— Я сам этого хочу.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Нам чудесно жилось. Мы прожили январь и февраль, и зима была чудесная, и мы были очень счастливы. Были недолгие оттепели, когда дул теплый ветер, и снег делался рыхлым, и в воздухе чувствовалась весна, но каждый раз становилось опять ясно и холодно, и возвращалась зима. В марте зима первый раз отступила по-настоящему. Ночью пошел дождь. Дождь шел все утро, и снег превратился в грязь, и на горном склоне стало тоскливо. Над озером и над долиной нависли тучи. Высоко в горах шел дождь. Кэтрин надела глубокие калоши, а я резиновые сапоги monsieur Гуттингена, и мы под зонтиком, по грязи и воде, размывавшей лед на дороге, пошли в кабачок у станции выпить вермуту перед завтраком. Было слышно, как за окном идет дождь.

— Как ты думаешь, не перебраться ли нам в город?

— А ты как думаешь? — спросила Кэтрин.

— Если зима кончилась и пойдут дожди, здесь станет нехорошо. Сколько еще до маленькой Кэтрин?

— Около месяца. Может быть, немножко больше.

— Можно спуститься вниз и поселиться в Монтре.

— А почему не в Лозанне? Ведь больница там.

— Можно и в Лозанне. Я просто думал, не слишком ли это большой город.

— Мы и в большом городе можем быть одни, а в Лозанне, наверно, славно.

— Когда же мы переедем?

— Мне все равно. Когда хочешь, милый. Можно и совсем не уезжать, если ты не захочешь.

— Посмотрим, как погода.

Дождь шел три дня. На склоне горы ниже станции совсем не осталось снега. Дорога была сплошным потоком жидкой грязи. Была такая сырость и слякоть, что нельзя было выйти из дому. Утром на третий день дождя мы решили переехать в город.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, monsieur Генри,— сказал Гуттинген.— Никакого предупреждения не нужно. Я и не думал, что вы останетесь здесь, раз уж погода испортилась.

— Нам нужно быть поближе к больнице из-за madame,— сказал я.

— Ну конечно,— сказал он.— Может быть, еще приедете как-нибудь вместе с маленьким.

— Если только найдется место.

— Весной тут у нас очень славно, приезжайте, вам понравится. Можно будет устроить маленького с няней в большой комнате, которая теперь заперта, а вы с madame займете свою прежнюю, с видом на озеро.

— Я вам напишу заранее,— сказал я.

Мы уложились и уехали с первым поездом после обеда. Monsieur и madame Гуттинген проводили нас на станцию, и он довез наши вещи на санках по грязи. Они оба стояли у станции под дождем и махали нам на прощанье.

— Они очень славные,— сказала Кэтрин.

— Они были очень добры к нам.

В Монтре мы сели на лозаннский поезд. Из окна вагона нельзя было видеть горы в той стороне, где мы жили, потому что мешали облака. Поезд остановился в Веве, потом пошел дальше, и с одной стороны пути было озеро, а с другой — мокрые бурые поля, и голый лес, и мокрые домики. Мы приехали в Лозанну и остановились в небольшом отеле. Когда мы проезжали по улицам и потом свернули к отелю, все еще шел дождь. Портье с медными ключами на цепочке, продетой в петлицу, лифт, ковры на полу, белые умывальники со сверкающими приборами, металлическая кровать и большая комфортабельная спальня — все это после Гуттингенов показалось нам необычайной роскошью. Окна номера выходили в мокрый сад, обнесенный стеной с железной решеткой сверху. На другой стороне круто спускавшейся улицы был другой отель, с такой же стеной и решеткой. Я смотрел, как капли дождя падают в бассейн в саду.

Кэтрин зажгла все лампы и стала раскладывать вещи. Я заказал виски с содовой, лег на кровать и взял газету, которую купил на вокзале. Был март 1918 года, и немцы наступали во Франции. Я пил виски с содовой и читал, пока Кэтрин раскладывала вещи и возилась в комнате.

— Знаешь, милый, о чем мне придется подумать,— сказала она.

— О чем?

— О детских вещах. Обычно все уже запасаются детскими вещами к этому времени.

— Это ведь можно купить.

— Я знаю. Завтра же пойду покупать. Вот только узнаю, что нужно.

— Тебе следовало бы знать. Ведь ты же была сестрой.

— Да, но, знаешь ли, солдаты так редко обзаводились детьми в госпитале.

— А я?

Она запустила в меня подушкой и расплескала мое виски с содовой.

— Я сейчас закажу тебе другое,— сказала она.— Извини, пожалуйста.

— Там уже немного оставалось. Иди сюда, ко мне.

— Нет. Я хочу сделать так, чтобы эта комната стала на что-нибудь похожа.

— На что?

— На наш с тобой дом.

— Вывесь флаги Антанты.

— Заткнись, пожалуйста.

— А ну повтори еще раз.

— Заткнись.

— Ты так осторожно это говоришь,— сказал я,— как будто боишься обидеть кого-то.

— Ничего подобного.

— Ну, тогда иди сюда, ко мне.

— Ладно.— Она подошла и села на кровати.— Я знаю, что тебе теперь со мной неинтересно, милый. Я похожа на пивную бочку.

— Неправда. Ты красивая, и ты очень хорошая.

— Я просто уродина, на которой ты по неосторожности женился.

— Неправда. Ты становишься все красивее.

— Но я опять похудею, милый.

— Ты и теперь худая.

— Ты, должно быть, выпил.

— Только стакан виски с содовой.

— Сейчас принесут еще виски,— сказала она.— Может быть, сказать, чтоб нам и обед сюда подали?

— Очень бы хорошо.

— Тогда мы совсем не будем выходить сегодня, ладно? Просидим вечер дома.

— И поиграем,— сказал я.

— Я выпью вина,— сказала Кэтрин.— Ничего мне от этого не будет. Может быть, тут есть наше белое капри.

— Наверно, есть,— сказал я.— В таком отеле всегда бывают итальянские вина.

Кельнер постучал в дверь. Он принес виски в стакане со льдом и на том же подносе маленькую бутылку содовой.

— Спасибо,— сказал я.— Поставьте здесь. Будьте добры, принесите сюда обед на две персоны и две бутылки сухого белого капри во льду.

— Прикажете на первое — суп?
— Ты хочешь суп, Кэт?
— Да, пожалуйста.
— Один суп.
— Слушаю, сэр.

Он вышел и затворил двери. Я вернулся к газетам и к войне в газетах и медленно лил содовую в стакан со льдом и виски. Надо было сказать, чтобы не клали лед в виски. Принесли бы лед отдельно. Тогда можно определить, сколько в стакане виски, и оно не окажется вдруг слишком слабым от содовой. Надо будет купить бутылку виски и сказать, чтобы принесли только лед и содовую. Это лучше всего. Хорошее виски — приятная вещь. Одно из самых приятных явлений жизни.

— О чем ты думаешь, милый?
— О виски.
— А о чем именно?
— О том, какая славная вещь виски.

Кэтрин сделала гримасу.

— Ладно,— сказала она.

Мы прожили в этом отеле три недели. Там было недурно: ресторан обычно пустовал, и мы очень часто обедали у себя в номере. Мы гуляли по городу, и ездили трамваем в Уши, и гуляли над озером. Погода стояла совсем теплая, и было похоже на весну. Мы жалели, что уехали из своего шале в горах, но весенняя погода продолжалась всего несколько дней, и потом опять наступила холодная сырость переходного времени.

Кэтрин закупала все необходимое для ребенка. Я ходил в гимнастический зал боксировать для моциона. Обычно я ходил туда утром, пока Кэтрин еще лежала в постели. В мнимо весенние дни очень приятно было после бокса и душа пройтись по улице, вдыхая весенний воздух, зайти в кафе посидеть и посмотреть на людей, и прочесть газету, и выпить вермуту; а потом вернуться в отель и позавтракать с Кэтрин. Преподаватель бокса в гимнастическом зале носил усы, у него были очень точные и короткие движения, и он страшно пугался, когда станешь нападать на него. Но в гимнастическом зале было очень приятно. Там было много воздуха и света, и я трудился на совесть, прыгал через веревку, и тренировался в различных приемах бокса, и делал упражнения для мышц живота, лежа на полу в полосе солнечного света, падавшей из раскрытого окна, и порой пугал преподавателя, боксируя с ним. Сначала я не мог тренироваться

перед длинным узким зеркалом, потому что так странно было видеть боксера с бородой. Но под конец меня это просто смешило. Я хотел сбрить бороду, как только начал заниматься боксом, но Кэтрин не позволила мне.

Иногда мы с Кэтрин ездили в экипаже по окрестностям. В хорошую погоду ездить было приятно, и мы нашли два славных местечка, куда можно было заехать пообедать. Кэтрин уже не могла много ходить, и я с удовольствием ездил с ней вместе по деревенским дорогам.

Если день был хороший, мы чудесно проводили время, и ни разу мы не провели время плохо. Мы знали, что ребенок уже совсем близко, и от этого у нас обоих было такое чувство, как будто что-то подгоняет нас и нельзя терять ни одного часа, который мы можем быть вместе.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Как-то я проснулся около трех часов утра и услышал, что Кэтрин ворочается на постели.

— Тебе нездоровится, Кэт?

— У меня как будто схватки, милый.

— Регулярно?

— Нет, не совсем.

— Если пойдут регулярно, нужно ехать в больницу.

Мне очень хотелось спать, и я заснул. Вскоре я проснулся снова.

— Ты, может, позвонишь доктору,— сказала Кэтрин.— Может, это уже начинается.

Я подошел к телефону и позвонил доктору.

— Как часто повторяются схватки? — спросил он.

— Как часто, Кэт?

— Примерно каждые пятнадцать минут.

— Тогда поезжайте в больницу,— сказал доктор.— Я сейчас оденусь и тоже приеду туда.

Я повесил трубку и потом позвонил в привокзальный гараж, чтобы вызвать такси. Долгое время никто не подходил к телефону. Наконец я добился какого-то человека, который обещал сейчас же выслать машину. Кэтрин одевалась. В ее чемодане было уже сложено все необходимое для больницы и детские вещи. Мы вышли в коридор, и я позвонил лифтеру. Ответа не было. Я сошел вниз. Внизу никого не было, кроме ночного швейцара. Я сам поднялся в лифте наверх, внес в кабину чемодан

Кэтрин, она вошла, и мы спустились вниз. Ночной швейцар открыл нам дверь, и мы сели на каменные тумбы у ступенек парадного крыльца и стали ждать такси. Ночь была ясная, и на небе были звезды. Кэтрин была очень возбуждена.

— Я так рада, что уже началось,— сказала она.— Теперь скоро все будет позади.

— Ты молодец.

— Я не боюсь. Только бы вот такси скорее приехало.

Мы услышали шум машины на улице и увидели свет от фар. Такси подъехало к крыльцу, и я помог Кэтрин сесть, а шофер поставил чемодан на переднее сиденье.

— В больницу,— сказал я.

Мы выехали на мостовую и стали подниматься в гору.

Когда мы подъехали к больнице, я взял чемодан, и мы вошли. Внизу за конторкой сидела женщина, которая записала в книгу имя и фамилию Кэтрин, возраст, адрес, сведения о родственниках и о религии. Кэтрин сказала, что у нее нет никакой религии, и женщина поставила против этого слова в книге черточку. Кэтрин сказала, что ее фамилия Генри.

— Я отведу вас в палату,— сказала женщина.

Мы поднялись на лифте. Женщина остановила лифт, и мы вышли и пошли за ней по коридору. Кэтрин крепко держалась за мою руку.

— Вот это ваша палата,— сказала женщина.— Пожалуйста, раздевайтесь и ложитесь в постель. Вот вам ночная сорочка.

— У меня есть ночная сорочка,— сказала Кэтрин.

— Вам удобнее будет в этой,— сказала женщина.

Я вышел и сел на стул в коридоре.

— Теперь можете войти,— сказала сестра, стоя в дверях.

Кэтрин лежала на узкой кровати, в простой ночной сорочке с квадратным вырезом, сделанной, казалось, из холста. Она улыбнулась мне.

— Теперь уже у меня хорошие схватки,— сказала она.

Сестра держала ее руку и следила за схватками по часам.

— Вот сейчас была сильная,— сказала Кэтрин. Я видел это по ее лицу.

— Где доктор? — спросил я у сестры.

— Спит внизу. Он придет, когда нужно будет. Я должна кое-что сделать madame,— сказала сестра.— Будьте добры, выйдите опять.

Я вышел в коридор. Коридор был пустой, с двумя окнами и рядом затворенных дверей по всей длине. В нем пахло больницей. Я сидел на стуле, и смотрел в пол, и молился за Кэтрин.

— Можете войти,— сказала сестра. Я вошел.

— Это ты, милый? — сказала Кэтрин.

— Ну, как?

— Теперь уже совсем часто.

Ее лицо исказилось. Потом она улыбнулась.

— Вот это была настоящая. Пожалуйста, сестра, подложите мне опять руку под спину.

— А вам так легче? — спросила сестра.

— Ты теперь уходи, милый,— сказала Кэтрин.— Иди поешь чего-нибудь. Сестра говорит, это может тянуться очень долго.

— Первые роды обычно бывают затяжные,— сказала сестра.

— Пожалуйста, иди поешь чего-нибудь,— сказала Кэтрин.— Я себя хорошо чувствую, правда.

— Я еще немного побуду,— сказал я.

Схватки повторялись совершенно регулярно, потом пошли реже. Кэтрин была очень возбуждена. Когда ей было особенно больно, она говорила, что схватка хорошая. Когда схватки стали слабее, она была разочарована и смущена.

— Ты уходи, милый,— сказала она.— При тебе мне как-то несвободно.— Ее лицо исказилось.— Вот. Эта уже была лучше. Я так хочу быть хорошей женой и родить без всяких фокусов. Пожалуйста, иди позавтракай, милый, а потом приходи опять. Я не буду скучать без тебя. Сестра такая славная.

— У вас вполне хватит времени позавтракать,— сказала сестра.

— Хорошо, я пойду. До свидания, дорогая.

— До свидания,— сказала Кэтрин.— Позавтракай как следует, за меня тоже.

— Где тут можно позавтракать? — спросил я сестру.

— На нашей улице, у самой площади, есть кафе,— сказала она.— Там должно быть открыто.

Уже светало. Я дошел пустой улицей до кафе. В окнах горел свет. Я вошел и остановился у оцинкованной стойки, и старик буфетчик подал мне стакан белого вина и бриошь. Бриошь была вчерашняя. Я макал ее в вино и потом еще выпил чашку кофе.

— Что вы тут делаете в такой ранний час? — спросил старик.

— У меня жена рожает в больнице.

— Вот как! Ну, желаю счастья.

— Дайте мне еще стакан вина.

Он налил, слишком сильно наклонив бутылку, так что немного пролилось на стойку. Я выпил, расплатился и вышел. На улице у всех домов стояли ведра с отбросами в ожидании мусорщика. Одно ведро обнюхивала собака.

— Чего тебе там нужно? — спросил я и наклонился посмотреть, нет ли в ведре чего-нибудь для нее; сверху была только кофейная гуща, сор и несколько увядших цветков.

— Ничего нет, пес,— сказал я. Собака перешла на другую сторону. Придя в больницу, я поднялся по лестнице в тот этаж, где была Кэтрин, и по коридору дошел до ее дверей. Я постучался. Никто не отвечал. Я открыл дверь; палата была пуста, только чемодан Кэтрин стоял на стуле и на крючке висел ее халатик. Я вышел в коридор и стал искать кого-нибудь. Я увидел другую сестру.

— Где madame Генри?

— Только что какую-то даму взяли в родильную.

— Где это?

— Пойдемте, я вам покажу.

Она повела меня в конец коридора. Дверь родильной была приотворена. Я увидел Кэтрин на столе, покрытую простыней. У стола стояла сестра, а с другой стороны, возле каких-то цилиндров,— доктор. Доктор держал в руке резиновую маску, прикрепленную к трубке.

— Я дам вам халат, и вы сможете войти,— сказала сестра.— Идите, пожалуйста, сюда.

Она надела на меня белый халат и заколола его сзади у ворота английской булавкой.

— Теперь можете войти,— сказала она. Я вошел в комнату.

— Это ты, милый? — сказала Кэтрин напряженным голосом.— Что-то дело не двигается.

— Вы monsieur Генри? — спросил доктор.

— Да. Как тут у вас, доктор?

— Все идет очень хорошо,— сказал доктор.— Мы перешли сюда, чтобы можно было давать газ во время схваток.

— Дайте,— сказала Кэтрин.

Доктор накрыл ее лицо резиновой маской и повернул какой-то диск, и я увидел, как Кэтрин глубоко и быстро задышала. Потом она оттолкнула маску. Доктор выключил аппарат.

— Не очень сильная. Вот недавно была одна очень сильная. Доктор сделал так, что меня как будто не было. Правда, доктор? — У нее был странный голос. Он повысился на слове «доктор». Доктор улыбнулся.

— Дайте,— сказала Кэтрин. Она крепко прижала резину к лицу и быстро дышала. Я услышал, как она слегка застонала. Потом она сдвинула маску и улыбнулась.

— Эта была сильнее,— сказала она.— Это была очень сильная. Ты не беспокойся, милый. Уходи. Позавтракай еще раз.

— Я побуду здесь,— сказал я.

Мы поехали в больницу около трех часов утра. В полдень Кэтрин все еще была в родильной. Схватки опять стали слабее. Вид у нее был очень усталый и измученный, но она все еще бодрилась.

— Никуда я не гожусь, милый,— сказала она.— Так обидно. Я думала, у меня все пройдет очень легко. А теперь— вот, опять...— Она протянула руку за маской и положила ее себе на лицо. Доктор повернул диск и следил за ней. Схватка скоро кончилась.

— Эта так себе,— сказала Кэтрин.— Она улыбалась.— Мне ужасно нравится этот газ. Чудесная вещь!

— Мы возьмем немного домой,— сказал я.

— *Сейчас еще будет,*— сказала Кэтрин торопливо. Доктор повернул диск и посмотрел на часы.

— Какой теперь промежуток между схватками? — спросил я.

— Около минуты.

— Вы не голодны?

— Я сейчас пойду завтракать,— сказал он.

— Вам непременно нужно поесть, доктор,— сказала Кэтрин.— До чего мне обидно, что я так долго вожусь. Может быть, мой муж сумеет давать мне газ пока?

— Если хотите,— сказал доктор.— Будете поворачивать до цифры два.

— Понимаю,— сказал я. На диске была стрелка, и он вращался с помощью рычажка.

— *Дайте,*— сказала Кэтрин. Она крепко прижала маску к лицу. Я повернул диск до цифры два, а когда Кэтрин отняла маску, повернул его назад. Я был очень рад, что доктор дал мне занятие.

— Это ты давал газ, милый? — спросила Кэтрин. Она погладила мою руку.

— Я.

— Какой ты хороший!

Она была немного пьяна от газа.

— Я поем в соседней комнате,— сказал доктор.— Чуть что — вы можете меня позвать.

Я смотрел, как он ест; потом, немного погодя, я увидел, что он прилег и курит папиросу. Время шло. Кэтрин все больше уставала.

— Как ты думаешь, я все-таки сумею родить? — спросила она.

— Конечно, сумеешь.

— Я стараюсь, как только могу. Я толкаю, но оно опять уходит. *Сейчас будет. Дай скорей.*

В два часа я вышел и пошел поесть. В кафе было несколько человек, и на столиках стоял кофе и рюмки с киршвассером. Я сел за столик.

— Что у вас есть? — спросил я кельнера.

— Второй завтрак уже кончился.

— Разве нет порционных блюд?

— Можно приготовить choucroute [1].

— Дайте choucroute и пива.

— Кружку или полкружки?

— Полкружки светлого.

Кельнер принес порцию Sauerkraut [2] с ломтиком ветчины сверху и сосиской, зарытой в горячую, пропитанную вином капусту. Я ел капусту и пил пиво. Я был очень голоден. Я смотрел на публику за столиками кафе. За одним столиком играли в карты. Двое мужчин за соседним столиком разговаривали и курили. Кафе было полно дыма. За цинковой стойкой, где я завтракал утром, было теперь трое: старик, полная женщина в черном платье, которая сидела у кассы и следила за всем, что подается на столики, и мальчик в фартуке. Я думал о том, сколько у этой женщины детей и как она их рожала.

Покончив с choucroute, я пошел назад, в больницу. На улице было теперь совсем чисто. Ведер с отбросами не было. День был облачный, но солнце старалось пробиться. Я поднялся в лифте, вышел и пошел по коридору в комнату Кэтрин, где я оставил свой белый халат. Я надел его и заколол сзади у ворота. Я посмотрел в зеркало и подумал, что я похож на бородатого шарлатана. Я пошел по коридору в родильную. Дверь была закрыта, и я постучал. Никто не ответил; тогда я повернул ручку и вошел. Доктор сидел возле Кэтрин. Сестра что-то делала на другом конце комнаты.

---

[1] Кислая капуста *(франц.)*.

[2] Кислая капуста *(нем.)*.

— Вот ваш муж,— сказал доктор.

— Ах, милый, доктор такой чудный! — сказала Кэтрин очень странным голосом.— Он мне рассказывал такой чудный анекдот, а когда было уж очень больно, он сделал так, что меня как будто совсем не стало. Он чудный. Вы чудный, доктор.

— Ты пьяна,— сказал я.

— Я знаю,— сказала Кэтрин.— Только не нужно говорить об этом.— Потом: — *Дайте скорее. Дайте скорее.*

Она вцепилась в маску и дышала часто и прерывисто, так что в респираторе щелкало. Потом она глубоко вздохнула, и доктор протянул левую руку и снял с нее маску.

— Это была очень сильная,— сказала Кэтрин. У нее был очень странный голос.— Теперь я уже не умру, милый. Я уже прошла через самое опасное, когда я могла умереть. Ты рад?

— Вот и не возвращайся туда опять.

— Не буду. Впрочем, я не боюсь этого. Я не умру, милый.

— Вы такой глупости не сделаете,— сказал доктор.— Вы не умрете и не оставите вашего мужа одного.

— Нет, нет. Я не умру. Я не хочу умирать. Это глупо — умереть. Вот опять. *Дайте скорее.*

Немного погодя доктор сказал:

— Выйдите на несколько минут, мистер Генри, я исследую вашу жену.

— Он хочет посмотреть, как двигается тело,— сказала Кэтрин.— Ты потом приходи назад. Можно, доктор?

— Да,— сказал доктор.— Я за ним пошлю, когда можно будет.

Я вышел из родильной и пошел по коридору в палату, куда должны были привезти Кэтрин после того, как родится ребенок. Я сел на стул и огляделся по сторонам. В кармане у меня лежала газета, которую я купил, когда ходил завтракать, и я стал читать ее. За окном уже темнело, и я зажег свет, чтобы можно было читать. Немного погодя я перестал читать и погасил свет и смотрел, как темнеет за окном. Странно, почему доктор не посылает за мной. Может быть, это лучше, что я ушел оттуда. Он, видимо, хотел, чтобы я ушел. Я посмотрел на часы. Если еще десять минут никто не придет, я все равно вернусь туда.

Бедная, бедная моя Кэт. Вот какой ценой приходится платить за то, что спишь вместе. Вот когда захлопывается ловушка. Вот что получают за то, что любят друг друга. Хорошо еще, что существует газ. Что же это было раньше, без анестезии? Как начнется, точно в мельничное колесо попадаешь. Кэтрин очень легко перенесла всю беременность. Это было совсем не так

плохо. Ее даже почти не тошнило. До самого последнего времени у нее не было особенно неприятных ощущений. Но под конец она все-таки попалась. От расплаты не уйдешь. Черта с два! И будь мы хоть пятьдесят раз женаты, было бы то же самое. А вдруг она умрет? Она не умрет. Теперь от родов не умирают. Все мужья так думают. Да, но вдруг она умрет? Она не умрет. Ей только трудно. Первые роды обычно бывают затяжные. Ей просто трудно. Потом мы будем говорить: как трудно было, а Кэтрин будет говорить: не так уж и трудно. А вдруг она умрет? Не может этого быть, говорят тебе. Не будь дураком. Просто ей трудно. Просто это так природой устроено, мучиться. Это ведь первые роды, а они почти всегда бывают затяжные. Да, но вдруг она умрет? Не может она умереть. Почему она должна умереть? Какие могут быть причины, чтобы она умерла? Просто должен родиться ребенок, побочный продукт миланских ночей. Из-за него все огорчения, а потом он родится, и о нем заботишься, и, может быть, начинаешь любить его. У нее ничего нет опасного. А вдруг она умрет? Она не может умереть. А вдруг она умрет? Тогда что, а? Вдруг она умрет?

Доктор вошел в комнату.

— Ну как, доктор?

— Никак.

— Что вы хотите сказать?

— То, что говорю. Я только что исследовал ее...— Он подробно рассказал о результатах исследования.— Потом я еще подождал. Но дело не подвигается.

— Что вы советуете?

— Есть два пути: или щипцы, но при этом могут быть разрывы и вообще это довольно опасно для роженицы, не говоря уже о ребенке, или кесарево сечение.

— А кесарево сечение очень опасно?

Вдруг она умрет?

— Не более чем нормальные роды.

— Вы можете сделать это сами?

— Да. Мне понадобится около часу, чтобы все приготовить и вызвать необходимый персонал. Может быть, даже меньше.

— Что, по-вашему, лучше?

— Я бы рекомендовал кесарево сечение. Если б это была моя жена, я делал бы кесарево сечение.

— Какие могут быть последствия?

— Никаких. Только шрам.

— А инфекция?

— При наложении щипцов опасность инфекции больше.

— А что, если ничего не делать и просто ждать?

— Рано или поздно придется что-нибудь сделать. Madame Генри уже и так потеряла много сил. Чем скорее мы приступим к операции, тем лучше.

— Приступайте как можно скорее,— сказал я.

— Сейчас пойду распоряжусь.

Я пошел в родильную. Кэтрин лежала на столе, большая под простыней, очень бледная и усталая. Сестра была возле нее.

— Ты дал согласие? — спросила она.

— Да.

— Ну, вот и хорошо. Теперь через час все пройдет. У меня уже нет больше сил, милый. Я больше не могу. *Дай, дай скорее.* Не помогает. *Боже мой, не помогает.*

— Дыши глубже.

— Я дышу. Боже мой, уже не помогает. Не помогает.

— Дайте другой цилиндр,— сказал я сестре.

— Это новый цилиндр.

— Я такая глупая, милый,— сказала Кэтрин.— Но только правда, больше не помогает.— Она вдруг заплакала.— Я так хотела родить маленького и никому не причинять неприятностей, и теперь у меня уже нет сил, и я больше не могу, и газ уже не помогает. Милый, уже совсем не помогает. Пусть я умру, только чтоб это кончилось. О милый, милый, сделай так, чтобы все кончилось. Вот опять. О-о, о-о, о-о! — Она, всхлипывая, дышала под маской.— Не помогает. Не помогает. Не помогает. Прости меня, милый. Не надо плакать. Прости меня. Я больше не могу. Бедный ты мой! Я тебя так люблю, я еще постараюсь. Вот сейчас я постараюсь. Разве нельзя дать еще что-нибудь? Если бы только мне дали еще что-нибудь!

— Я сделаю так, что газ подействует. Я поверну до отказа.

— Вот сейчас дай.

Я повернул диск до отказа, и когда она задышала тяжело и глубоко, ее пальцы, державшие маску, разжались. Я выключил аппарат и снял с нее маску. Она вернулась очень издалека.

— Как хорошо, милый. Какой ты добрый.

— Потерпи, ведь ты у меня храбрая. А то я не могу все время так делать. Это может убить тебя.

— Я уже не храбрая, милый. Я совсем сломлена. Меня сломили. Я теперь знаю.

— Со всеми так бывает.

— Но ведь это ужасно. Мучают до тех пор, пока не сломят.

— Еще час, и все кончится.

— Как хорошо! Милый, я ведь не умру, правда?

— Нет. Я тебе обещаю, что ты не умрешь.

— А то я не хочу умереть и оставить тебя одного, но только я так устала, и я чувствую, что умру.

— Глупости. Все так чувствуют.

— Иногда я просто знаю, что так будет.

— Так не будет. Так не может быть.

— А если?

— Я тебе не позволю.

— Дай мне скорее. *Дай, дай мне.*

Потом опять:

— Я не умру. Я сама себе не позволю.

— Конечно, ты не умрешь.

— Ты будешь со мной?

— Да, только я не буду смотреть.

— Хорошо. Но ты не уходи.

— Нет, нет. Я никуда не уйду.

— Ты такой добрый. Вот опять дай. Дай еще. *Не помогает!*

Я повернул диск до цифры три, потом до цифры четыре. Я хотел, чтобы доктор скорей вернулся. Я боялся цифр, которые идут после двух.

Наконец пришел другой доктор и две сестры, и они переложили Кэтрин на носилки с колесами, и мы двинулись по коридору. Носилки быстро проехали по коридору и въехали в лифт, где всем пришлось тесниться к стенкам, чтобы дать им место; потом вверх, потом дверь настежь, и из лифта на площадку, и по коридору на резиновых шинах в операционную. Я не узнал доктора в маске и в шапочке. Там был еще один доктор и еще сестры.

— Пусть мне дадут что-нибудь,— сказала Кэтрин.— Пусть мне дадут что-нибудь. Доктор, пожалуйста, дайте мне столько, чтобы подействовало.

Один из докторов накрыл ей лицо маской, и я заглянул в дверь и увидел яркий маленький амфитеатр операционной.

— Вы можете войти вон в ту дверь и там посидеть,— сказала мне сестра.

За барьером стояли скамьи, откуда виден был белый стол и лампы. Я посмотрел на Кэтрин. Ее лицо было накрыто маской, и она лежала теперь неподвижно. Носилки повезли вперед. Я повернулся и пошел по коридору. Ко входу на галерею торопливо шли две сестры.

— Кесарево сечение,— сказала одна.— Сейчас будут делать кесарево сечение.

Другая засмеялась:

— Мы как раз вовремя. Вот повезло! — Они вошли в дверь, которая вела на галерею.

Подошла еще одна сестра. Она тоже торопилась.

— Входите, что же вы. Входите,— сказала она.

— Я подожду здесь.

Она торопливо вошла. Я стал ходить взад и вперед по коридору. Я боялся войти. Я посмотрел в окно. Было темно, но в свете от окна я увидел, что идет дождь. Я вошел в какую-то комнату в конце коридора и посмотрел на ярлыки бутылок в стеклянном шкафу. Потом я вышел, и стоял в пустом коридоре, и смотрел на дверь операционной.

Вышел второй доктор и за ним сестра. Доктор держал обеими руками что-то похожее на свежеободранного кролика и, торопливо пройдя по коридору, вошел в другую дверь. Я подошел к двери, в которую он вошел, и увидел, что они что-то делают с новорожденным ребенком. Доктор поднял его, чтоб показать мне. Он поднял его за ноги и шлепнул.

— У него все в порядке?

— Прекрасный мальчишка. Кило пять будет.

Я не испытывал к нему никаких чувств. Он как будто не имел ко мне отношения. У меня не было отцовского чувства.

— Разве вы не гордитесь своим сыном? — спросила сестра. Они обмывали его и заворачивали во что-то. Я видел маленькое темное личико и темную ручку, но не замечал никаких движений и не слышал крика. Доктор снова стал что-то с ним делать. У него был озабоченный вид.

— Нет,— сказал я.— Он едва не убил свою мать.

— Он не виноват в этом, бедный малыш. Разве вы не хотели мальчика?

— Нет,— сказал я.

Доктор все возился над ним. Он поднял его за ноги и шлепал. Я не стал смотреть на это. Я вышел в коридор. Я теперь мог войти и посмотреть. Я вошел через дверь, которая вела на галерею, и спустился на несколько ступеней. Сестры, сидевшие у барьера, сделали мне знак спуститься к ним. Я покачал головой. Мне достаточно было видно с моего места.

Я думал, что Кэтрин умерла. Она казалась мертвой. Ее лицо, та часть его, которую я мог видеть, было серое. Там, внизу, под лампой, доктор зашивал широкую, длинную, с толстыми краями, раздвинутую пинцетами рану. Другой доктор в маске давал наркоз. Две сестры в масках подавали инструменты. Это было похоже на картину, изображающую инквизицию. Я знал, что я мог быть там и видеть все, но я был рад, что не видел.

«Прощай, оружие!»

Вероятно, я бы не смог смотреть, как делали разрез, но теперь я смотрел, как края раны смыкались в широкий торчащий рубец под быстрыми, искусными на вид стежками, похожими на работу сапожника, и я был рад. Когда края раны сомкнулись до конца, я вышел в коридор и снова стал ходить взад и вперед. Немного погодя вышел доктор.

— Ну, как она?

— Ничего. Вы смотрели?

У него был усталый вид.

— Я видел, как вы зашивали. Мне показалось, что разрез очень длинный.

— Вы думаете?

— Да. Шрам потом сгладится?

— Ну конечно.

Немного погодя выкатили посилки и очень быстро повезли их коридором к лифту. Я пошел рядом. Кэтрин стонала. Внизу, в палате, ее уложили в постель. Я сел на стул в ногах постели. Сестра уже была в палате. Я поднялся и стал у постели. В палате было темно. Кэтрин протянула руку.

— Ты здесь, милый? — сказала она. Голос у нее был очень слабый и усталый.

— Здесь, родная.

— Какой ребенок?

— Ш-ш, не разговаривайте,— сказала сестра.

— Мальчик. Он длинный, и толстый, и темный.

— У него все в порядке?

— Да,— сказал я.— Прекрасный мальчик.

Я видел, что сестра как-то странно посмотрела на меня.

— Я страшно устала,— сказала Кэтрин.— И у меня все так болит. А как ты, милый?

— Очень хорошо. Не разговаривай.

— Ты такой хороший. О милый, как у меня все болит! А на кого он похож?

— Он похож на ободранного кролика со сморщенным стариковским лицом.

— Вы лучше уйдите,— сказала сестра.— Madame Генри нельзя разговаривать.

— Я побуду в коридоре,— сказал я.

— Иди поешь чего-нибудь.

— Нет. Я побуду в коридоре.

Я поцеловал Кэтрин. Лицо у нее было совсем серое, измученное и усталое.

— Можно вас на минутку,— сказал я сестре. Она вышла вместе со мной в коридор. Я немного отошел от двери.— Что с ребенком? — спросил я.

— Разве вы не знаете?

— Нет.

— Он был неживой.

— Он был мертвый?

— У него не смогли вызвать дыхание. Пуповина обвилась вокруг шеи.

— Значит, он мертвый?

— Да. Так жалко. Такой чудный крупный ребенок. Я думала, вы знаете.

— Нет,— сказал я.— Вы идите туда, к madame.

Я сел на стул перед столиком, на котором сбоку лежали наколотые на проволоку отчеты сестер, и посмотрел в окно. Я ничего не видел, кроме темноты и дождя, пересекавшего светлую полосу от окна. Так вот в чем дело! Ребенок был мертвый. Вот почему у доктора был такой усталый вид. Но зачем они все это проделывали над ним там, в комнате? Вероятно, надеялись, что у него появится дыхание и он оживет. Я не был религиозен, но я знал, что его нужно окрестить. А если он совсем ни разу не вздохнул? Ведь это так. Он совсем не жил. Только в Кэтрин. Я часто чувствовал, как он там ворочается. А в последние дни нет. Может быть, он еще тогда задохся. Бедный малыш! Жаль, что я сам не задохся так, как он. Нет, не жаль. Хотя тогда ведь не пришлось бы пройти через все эти смерти. Теперь Кэтрин умрет. Вот чем все кончается. Смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что, как Аймо. Или заразят сифилисом, как Ринальди. Но рано или поздно тебя убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют.

Однажды на привале в лесу я подложил в костер корягу, которая кишела муравьями. Когда она загорелась, муравьи выползли наружу и сначала двинулись к середине, где был огонь, потом повернули и побежали к концу коряги. Когда на конце их набралось слишком много, они стали падать в огонь. Некоторым удалось выбраться, и, обгорелые, сплющенные, они поползли прочь, сами не зная куда. Но большинство ползло к огню, и потом опять назад, и толпилось на холодном конце, и потом падало в огонь. Помню, я тогда подумал, что это похоже на светопреставление и что вот блестящий случай для меня изобразить мессию, вытащить корягу из огня и отбросить ее туда, где

муравьи смогут выбраться на землю. Но вместо этого я лишь выплеснул на корягу воду из оловянной кружки, которую мне нужно было опорожнить, чтобы налить туда виски и потом уже разбавить водой. Вероятно, вода, вылитая на горящую корягу, только ошпарила муравьев.

Я сидел в коридоре и ждал вестей о состоянии Кэтрин. Сестра все не выходила, и немного погодя я встал, подошел к двери, тихонько приоткрыл ее и заглянул в палату. Сначала я ничего не мог разглядеть, так как в коридоре горел яркий свет, а в палате было темно. Потом я увидел сестру на стуле у кровати, голову Кэтрин на подушках и всю ее, такую плоскую под простыней. Сестра приложила палец к губам, потом встала и подошла к двери.

— Ну, как она? — спросил я.

— Ничего, все в порядке,— ответила сестра.— Вы бы пошли поужинать; а потом можете прийти опять, если хотите.

Я пошел по коридору, спустился по лестнице, вышел из подъезда больницы и под дождем по темной улице направился в кафе. Оно было ярко освещено, и за всеми столиками сидели люди. Я не мог найти места, и кельнер подошел ко мне, и взял мое мокрое пальто и шляпу, и указал мне на незанятый стул у столика, за которым какой-то пожилой человек пил пиво и читал вечернюю газету. Я сел и спросил у кельнера, какое сегодня plat du jour [1].

— Тушеная телятина, но она уже кончилась.

— Что можно получить на ужин?

— Яичницу с ветчиной, омлет с сыром или choucroute.

— Я ел choucroute сегодня утром,— сказал я.

— Верно,— сказал он.— Верно. Сегодня утром вы ели choucroute.

Это был человек средних лет, с лысиной, на которую тщательно начесаны были волосы. У него было доброе лицо.

— Что вы желаете? Яичницу с ветчиной или омлет с сыром?

— Яичницу с ветчиной,— сказал я,— и пиво.

— Demi-blonde?

— Да,— сказал я.

— Видите, я помню,— сказал он.— Утром вы тоже заказывали demi-blonde?

Я съел яичницу с ветчиной и выпил пиво. Яичницу с ветчиной подали в круглом судочке — внизу была ветчина, а сверху

[1] Дежурное блюдо *(франц.)*.

яичница. Она была очень горячая, и первый кусок мне пришлось запить пивом, чтобы остудить рот. Я был голоден и заказал еще. Я выпил несколько стаканов пива. Я ни о чем не думал, только читал газету, которую держал мой сосед. Там говорилось о прорыве на английском участке фронта. Когда сосед заметил, что я читаю его газету, он перевернул ее. Я хотел было спросить газету у кельнера, но я не мог сосредоточиться. В кафе было жарко и душно. Многие из сидевших за столиками знали друг друга. За несколькими столиками играли в карты. Кельнеры сновали между стойками и столами, разнося напитки. Двое мужчин вошли и не могли найти себе места. Они остановились против моего столика. Я заказал еще пива. Я еще не мог уйти. Возвращаться в больницу было рано. Я старался ни о чем не думать и быть совершенно спокойным. Вошедшие постояли немного, но никто не вставал, и они ушли. Я выпил еще пива. Передо мной на столе была уже целая стопка блюдец. Человек, сидевший напротив меня, снял очки, спрятал их в футляр, сложил газету и сунул ее в карман и теперь смотрел по сторонам, держа в руке рюмку с ликером. Вдруг я почувствовал, что должен идти. Я позвал кельнера, заплатил по счету, надел пальто, взял шляпу и вышел на улицу. Под дождем я вернулся в больницу.

Наверху в коридоре мне встретилась сестра.

— Я только что звонила вам в отель,— сказала она.

Что-то оборвалось у меня внутри.

— Что случилось?

— У madame Генри было кровотечение.

— Можно мне войти?

— Нет, сейчас нельзя. Там доктор.

— Это опасно?

— Это очень опасно.

Сестра вошла в палату и закрыла за собой дверь. Я сидел у дверей в коридоре. У меня внутри все было пусто. Я не думал. Я не мог думать. Я знал, что она умрет, и молился, чтоб она не умерла. Не дай ей умереть. Господи, господи, не дай ей умереть. Я все исполню, что ты велишь, только не дай ей умереть. Нет, нет, нет, милый господи, не дай ей умереть. Милый господи, не дай ей умереть. Нет, нет, нет, не дай ей умереть. Господи, сделай так, чтобы она не умерла. Я все исполню, только не дай ей умереть. Ты взял ребенка, но не дай ей умереть. Это ничего, что ты взял его, только не дай ей умереть. Господи, милый господи, не дай ей умереть.

Сестра приоткрыла дверь и сделала мне знак войти. Я последовал за ней в палату. Кэтрин не оглянулась, когда я вошел.

Я подошел к постели. Доктор стоял у постели с другой стороны. Кэтрин взглянула на меня и улыбнулась. Я склонился над постелью и заплакал.

— Бедный ты мой,— сказала Кэтрин совсем тихо. Лицо у нее было серое.

— Все хорошо, Кэт,— сказал я.— Скоро все будет совсем хорошо.

— Скоро я умру,— сказала она. Потом помолчала немного и сказала: — Я не хочу.

Я взял ее за руку.

— Не тронь меня,— сказала она. Я выпустил ее руку. Она улыбнулась.— Бедный мой! Трогай сколько хочешь.

— Все будет хорошо, Кэт. Я знаю, что все будет хорошо.

— Я думала написать тебе письмо на случай чего-нибудь, но так и не написала.

— Хочешь, чтоб я позвал священника или еще кого-нибудь?

— Только тебя,— сказала она. Потом, спустя несколько минут: — Я не боюсь. Я только не хочу.

— Вам нельзя столько разговаривать,— сказал доктор.

— Хорошо, не буду,— сказала Кэтрин.

— Хочешь чего-нибудь, Кэт? Что-нибудь тебе дать?

Кэтрин улыбнулась:

— Нет.— Потом, спустя несколько минут: — Ты не будешь с другой девушкой так, как со мной? Не будешь говорить наших слов? Скажи.

— Никогда.

— Но я хочу, чтоб у тебя были девушки.

— Они мне не нужны.

— Вы слишком много разговариваете,— сказал доктор.— Monsieur Генри придется выйти. Позже он может опять прийти. Вы не умрете. Не говорите глупостей.

— Хорошо,— сказала Кэтрин.— Я буду приходить к тебе по ночам,— сказала она. Ей было очень трудно говорить.

— Пожалуйста, выйдите из палаты,— сказал доктор.— Ей нельзя разговаривать.

Кэтрин подмигнула мне; лицо у нее стало совсем серое.

— Ничего, я побуду в коридоре,— сказал я.

— Ты не огорчайся, милый,— сказала Кэтрин.— Я ни капельки не боюсь. Это только скверная шутка.

— Ты моя дорогая, храбрая девочка.

Я ждал в коридоре за дверью. Я ждал долго. Сестра вышла из палаты и подошла ко мне.

— Madame Генри очень плохо,— сказала она.— Я боюсь за нее.

— Она умерла?

— Нет, но она без сознания.

По-видимому, одно кровотечение следовало за другим. Невозможно было остановить кровь. Я вошел в палату и оставался возле Кэтрин, пока она не умерла. Она больше не приходила в себя, и скоро все кончилось.

В коридоре я обратился к доктору:

— Что-нибудь нужно еще сегодня сделать?

— Нет. Ничего делать не надо. Может быть, проводить вас в отель?

— Нет, благодарю вас. Я еще побуду здесь.

— Я знаю, что тут ничего не скажешь. Не могу выразить...

— Да,— сказал я,— тут ничего не скажешь.

— Спокойной ночи,— сказал он.— Может быть, мне вас все-таки проводить?

— Нет, спасибо.

— Больше ничего нельзя было сделать,— сказал он.— Операция показала...

— Я не хочу говорить об этом,— сказал я.

— Мне бы хотелось проводить вас в отель.

— Нет, благодарю вас.

Он пошел по коридору. Я вернулся к двери палаты.

— Сейчас нельзя,— сказала одна из сестер.

— Можно,— сказал я.

— Нет, еще нельзя.

— Уходите отсюда,— сказал я.— И та тоже.

Но когда я заставил их уйти и закрыл дверь и выключил свет, я понял, что это ни к чему. Это было словно прощание со статуей. Немного погодя я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем.

ПЯТАЯ КОЛОННА

ПЕРЕВОД Е. КАЛАШНИКОВОЙ и В. ТОПЕР

ПРЕДИСЛОВИЕ[1]

Эта пьеса была написана осенью и в начале зимы 1937 года, когда мы ждали наступления. На этот год намечено было три крупных наступления Центральной армии. Первое, на Брунете, уже состоялось. Оно началось блестяще и кончилось кровопролитным и ничего не решившим боем, и мы ждали следующего. Мы так и не дождались его; но за это время я написал свою пьесу.

Каждый день нас обстреливали орудия, установленные за Леганес и по склонам горы Гарабитас, и, пока я писал свою пьесу, в отель «Флорида», где мы жили и работали, попало больше тридцати снарядов. Так что если пьеса плохая, то, может быть, именно поэтому. А если пьеса хорошая, то, может быть, эти тридцать снарядов помогли мне написать ее.

---

[1] Предисловие написано для однотомника «The Fifth Column and the First Forty Nine Stories», 1938 («Пятая колонна и первые сорок девять рассказов»), где впервые была опубликована пьеса.

Каждый раз, выезжая на фронт,— ближайший пункт фронта находился на расстоянии полутора тысяч ярдов от отеля,— я прятал пьесу в скатанный матрац. Каждый раз, вернувшись и найдя комнату и пьесу в сохранности, я радовался. Пьеса была закончена, переписана и отослана перед самым падением Теруэля.

Я написал ее для сцены, но один режиссер, подписав договор, умер в Калифорнии, куда он уехал подбирать труппу. Другой режиссер подписал договор, но не мог собрать денег на постановку. Перечитав пьесу, я нашел, что, независимо от того, годится она для сцены или нет, она читается хорошо, и потому решил включить ее в эту книгу рассказов. Это тоже рассказ, и он немного приблизит книгу к нашему времени. А впоследствии, может быть, кто-нибудь и поставит ее.

Название пьесы взято из заявления мятежников, сделанного осенью 1936 года, о том, что, кроме четырех колонн, наступающих на Мадрид, они располагают и пятой колонной, находящейся в самом городе и готовой атаковать его защитников с тыла.

Многие из тех, кто входил в эту Пятую колонну, погибли, но нужно помнить, что они были убиты на войне, в которой являлись такими же опасными и упорными врагами, как те, что погибали в рядах остальных четырех колонн.

Четыре колонны, наступавшие на Мадрид, расстреливали своих пленных. В начале войны, когда удавалось захватить людей Пятой колонны внутри города, их тоже расстреливали. Впоследствии их стали предавать суду и приговаривать к нескольким годам тюрьмы, или лагеря, или к смертной казни — в зависимости от совершенных ими преступлений против Республики. Но в начале войны их расстреливали. Они заслуживали этого по закону военного времени, и они были к этому готовы.

Кое-кто будет критиковать мою пьесу, потому что в ней я признаю тот факт, что людей из Пятой колонны расстреливали. Кроме того, будут говорить, и уже говорят, что в пьесе не показано благородство и величие того дела, которое защищает испанский народ. Она и не претендует на это. Для этого понадобится много пьес и рассказов, и лучшие из них будут написаны после того, как война кончится.

Это всего только пьеса о работе контрразведки в Мадриде. Недостатки ее объясняются тем, что она написана во время

войны, а если в ней есть мораль, то она заключается в том, что у людей, которые работают в определенных организациях, остается очень мало времени для личной жизни. В пьесе есть девушка, зовут ее Дороти, но ее можно было бы назвать и Ностальгией. Пожалуй, довольно мне говорить о пьесе и пора предоставить вам прочесть ее. Но если то, что она была написана под обстрелом, объясняет ее недостатки, то, с другой стороны, может быть, это придало ей жизненность. Вы, которые прочтете ее, лучше меня сможете судить об этом.

О рассказах многого не скажешь. Первые четыре — последние, написанные мною. Остальные следуют в том порядке, в каком они выходили в свет.

Первый мой рассказ — «У нас в Мичигане» — был написан в Париже в 1921 году. Последний — «Старик у моста» — передан по телеграфу из Барселоны в апреле 1938 года.

Кроме «Пятой колонны», в Мадриде написаны «Убийцы», «Десять индейцев», часть романа «И восходит солнце» и первая часть «Иметь и не иметь». В Мадриде всегда хорошо работалось. Также и в Париже, и в Ки-Уэст, штат Флорида, в прохладные месяцы; на ранчо возле Кук-Сити, штат Монтана; в Канзас-Сити; в Чикаго; в Торонто; и в Гаване, на острове Куба.

Есть места, где не так хорошо работалось, но, может быть, дело в том, что мы сами были там не очень хорошими.

В этой книге много разных рассказов. Надеюсь, что некоторые вам понравятся. Когда я перечитывал их, то помимо тех, которые стали довольно известными и даже вошли в школьные хрестоматии и при чтении которых всегда испытываешь какое-то смущение и не знаешь, в самом ли деле ты их написал или просто где-то слышал,— мне больше всего понравились: «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», «В чужой стране», «Белые слоны», «Какими вы не будете», «Снега Килиманджаро», «Там, где чисто, светло» и рассказ под названием «Свет мира», который, кроме меня, никогда никому не нравился. Нравятся мне также и другие рассказы. Ведь если бы они мне не нравились, я не стал бы их печатать.

Когда идешь туда, куда должен идти, и делаешь то, что должен делать, и видишь то, что должен видеть,— инструмент, которым работаешь, тускнеет и притупляется. Но лучше мне видеть его потускневшим и погнутым и знать, что придется снова выпрямлять и оттачивать его, но знать, что мне есть о чем

писать, чем видеть его чистым и блестящим и не иметь что сказать или гладким и хорошо смазанным держать его в ящике и не пользоваться им.

Теперь мне снова надо отточить его. Я хотел бы прожить достаточно долго, чтобы написать еще три романа и двадцать пять рассказов. У меня есть несколько неплохих на примете.

Эрнест Хемингуэй

АКТ I. СЦЕНА I

Семь тридцать вечера. Коридор в первом этаже отеля «Флорида» в Мадриде. На двери номера 109 прикреплен лист белой бумаги, на нем печатными буквами надпись: «Работаю, не беспокоить». Две девушки и два бойца в форме Интернациональной бригады идут по коридору. Одна из девушек останавливается и рассматривает надпись.

1-й боец. Идем. Времени и так мало.

Девушка. Что тут написано?

Вторая пара проходит, не останавливаясь.

Боец. А не все ли равно?

Девушка. Нет, постой, прочти мне. Ну, пожалуйста. Прочти мне по-английски.

Боец. Вот еще не хватало. Образованная попалась. К черту. Не стану читать.

Девушка. Ты не добрый.

Боец. А от меня это и не требуется.

Он отступает на шаг и вызывающе смотрит на нее.

Так я не добрый, по-твоему? А ты знаешь, откуда я сейчас пришел?

Девушка. Какое мне дело, откуда ты пришел? Все вы приходите из каких-то ужасных мест, и опять все уходите туда. Я только просила прочесть мне надпись. Не хочешь — не надо, идем.

Боец. Ну давай прочту. «Работаю, не беспокоить!»

Девушка смеется резким, визгливым смехом.

Девушка. Надо и мне завести такую надпись.

Занавес

АКТ I, СЦЕНА 2

Занавес сейчас же снова поднимается. Внутренность номера 109. Кровать, возле нее ночной столик, два обитых кретоном кресла, высокий веркальный шкаф, стол, на столе пишущая машинка. Рядом с машинкой патефон. Электрический рефлектор накален докрасна. В одном из кресел, спиной к лампе, которая стоит на столе рядом с патефоном, сидит с книжкой в руках высокая красивая блондинка. За ней — два больших окна, занавески задернуты. На стене висит карта Мадрида, перед картой стоит мужчина лет тридцати пяти, в кожаной куртке, вельветовых брюках и очень грязных сапогах. Не поднимая глаз от книги, блондинка, которую зовут Дороти Бриджес, говорит нарочито вежливым тоном.

Дороти. Милый, право же, ты мог почистить сапоги, прежде чем входить в комнату.

Мужчина, которого зовут Роберт Престон, продолжает рассматривать карту.

И, пожалуйста, милый, не води пальцем по карте. Пятна остаются.

Престон продолжает рассматривать карту.

Милый, ты не видел Филипа?

Престон. Какого Филипа?

Дороти. Нашего Филипа.

Престон *(все еще у карты)*. Когда я проходил по Гран-Виа, наш Филип сидел в баре Чикоте с той марокканкой, которая укусила Вернона Роджерса.

Дороти. А что он делал? Что-нибудь ужасное?

Престон *(все еще у карты)*. Как будто нет.

Дороти. Ну так еще сделает. Он такой живой, всегда веселый, всегда в духе.

Престон. Кстати, дух в баре Чикоте тяжелый.

Дороти. Ты так бездарно остришь, милый. Хоть бы Филип пришел. Мне скучно, милый.

Престон. Не строй из себя скучающую вассарскую куклу.

Дороти. Не ругайся, пожалуйста. Я сейчас не в настроении слушать ругань. А кроме того, во мне очень мало вассарского. Я ровно ничего не поняла из того, чему там учили.

Престон. А то, что здесь происходит, ты понимаешь?

Дороти. Нет, милый. Университетский городок — тут я еще хоть что-нибудь понимаю. Но Касо-дель-Кампо для меня уже совершенная загадка. А Усера, а Карабанчель! Просто ужас.

Престон. Черт, никак не могу понять иногда, почему я тебя люблю.

Дороти. Я тоже не понимаю, милый, почему я тебя люблю. Право же, в этом мало смысла. Это просто дурная привычка. Вот Филип — насколько он занятнее, живее.

Престон. Вот именно — живее. Ты знаешь, что он делал вчера у Чикоте перед самым закрытием? Ходил с плевательницей и кропил публику. Понимаешь, брызгал на всех. Чудо, что его не пристрелили.

Дороти. Никто его не пристрелит. Хоть бы он пришел.

Престон. Придет. Как только Чикоте закроется, придет.

Стук в дверь.

Дороти. Это Филип. Милый, это Филип.

Дверь открывается, и входит управляющий отелем. Это смуглый толстенький человечек, страстный коллекционер марок; речь его отличается своеобразными интонациями и оборотами.

Ах, это управляющий!

Управляющий. Как поживаете, мистер Престон, хорошо? А вы хорошо, мисс? Я только зашел спросить, не найдется ли у вас какой-нибудь провизии, которая не соответствует вашим вкусам. Удобно ли вам, всем ли вы довольны, нет ли жалоб?

Дороти. Теперь, когда починили рефлектор, все замечательно.

Управляющий. С рефлектором всегда большие затруднения. Электричество — наука, еще не завоеванная рабочими. Кроме того, наш электротехник так сильно пьет, что это нарушает его мозговую деятельность.

Престон. Наш электротехник вообще, кажется, не блещет умом.

Управляющий. Он умный. Но — алкоголь. Неумеренное потребление алкоголя. И сразу — полная неспособность сосредоточить мысли на электричестве.

Престон. Зачем же вы его держите?

Управляющий. Он прислан профсоюзом. Скажу вам откровенно — большое неудобство. Сейчас в сто тринадцатом пьет с мистером Филипом.

Дороти *(радостно)*. Значит, Филип дома?

Управляющий. Больше чем дома.

Престон. То есть?

Управляющий. Затруднительно объяснить в присутствии дамы.

Дороти. Позвони ему, милый.

Престон. Не буду звонить.

Дороти. Тогда я позвоню. *(Снимает телефонную трубку и говорит.)* Ciento trece [1]. Алло, Филип? Нет. Лучше вы идите к нам. Пожалуйста. Да. Хорошо. *(Вешает трубку.)* Сейчас придет.

Управляющий. Предпочтительнее, чтобы не пришел.

Престон. До того?

Управляющий. Хуже. Даже трудно представить.

Дороти. Филип чудесный. Но только он водится с ужасными людьми. Не понимаю зачем.

Управляющий. Я позволю себе прийти в другой раз. В случае, если вам будет доставлен провиант в таком количестве, что образуется избыток,— всегда приму с благодарностью для семейства, постоянно голодного и неспособного считаться с продовольственными затруднениями. Заранее мерси. До свидания. *(Выходит в коридор, за дверью чуть не налетает на Филипа. Говорит за сценой.)* Добрый вечер, мистер Филип.

Кто-то отвечает веселым басом.

Филип *(за сценой)*. Salud, camarada [2] филателист. Удалось раздобыть какой-нибудь редкий экземпляр?

Управляющий *(негромко)*. Нет, мистер Филип. За последнее время — преобладание публики из крайне неинтересных стран. Завален пятицентовыми Соединенных Штатов и французскими в три франка пятьдесят. Желательно бы camaradas из Новой Зеландии с корреспонденцией воздушной почтой.

Филип. Будут, будут, не беспокойтесь. Сейчас просто временный застой. Обстрелы испугали туристов. Как только поутихнет, наедут делегации. *(Вполголоса, серьезным тоном.)* Чем вы встревожены?

Управляющий. Всегда небольшие заботы.

Филип. Не волнуйтесь. Все улажено.

Управляющий. Тем не менее — продолжаю волноваться.

Филип. Не стоит.

Управляющий. Будьте осторожны, мистер Филип.

В дверях показывается Филип, очень большой, очень шумный, в резиновых сапогах.

Филип. Salud, camarada Пресный Престон. Salud, camarada Брюзга Бриджес. Как вы тут поживаете? Разрешите пред-

---

[1] Сто тринадцатый *(исп.)*.

[2] Привет, товарищ *(исп.)*.

ставить вам специалиста-электротехника. Входите, camarada Маркони. Что вы стоите за дверью?

Входит очень маленький и совершенно пьяный монтер в грязном синем комбинезоне, альпаргатах и синем берете.

Монтер. Salud, camaradas.

Дороти. Salud.

Филип. А вот camarada марокканка. Надо бы говорить: та самая camarada марокканка. Большая редкость — марокканская camarada. Она страшно застенчива. Входи, Анита.

Входит марокканка из Сеуты. Она очень смуглая, но хорошо сложена, курчавая, вид у нее вызывающий и отнюдь не застенчивый.

Марокканка *(сдержанно)*. Salud, camaradas.

Филип. Это та camarada, которая укусила Вернона Роджерса. Три недели отлеживался. Вот это зубки.

Дороти. Филип, милый, может быть, вы наденете на camarada намордник, пока она здесь, а?

Марокканка. Почему оскорблять?

Филип. Camarada марокканка училась английскому в Гибралтаре. Чудесное местечко Гибралтар. Там у меня было необыкновенное приключение.

Престон. Только не рассказывайте сейчас.

Филип. До чего вы мрачны, Престон. Вы тут расходитесь с линией партии. Время вытянутых лиц миновало. Мы переживаем период веселья.

Престон. На вашем месте я не стал бы говорить о том, чего не знаю.

Филип. Но я не вижу причин ходить с мрачной физиономией. А что, если предложить этим camaradas чего-нибудь прохладительного?

Марокканка *(Дороти)*. У вас хороший комната.

Дороти. Очень рада, что вам здесь нравится.

Марокканка. Как так вы не эвакуирован?

Дороти. А я не уезжаю, и все.

Марокканка. А что вы кушать?

Дороти. Иногда приходится туговато, но нам присылают консервы из Парижа с дипломатической почтой.

Марокканка. Что с дипломатической почтой?

Дороти. Консервы, знаете — Civet de lièvre. Foie gras. Недавно у нас был изумительный Poulet de Bresse. От Буро.

Марокканка. Вы хотел смеяться?

Дороти. Да нет. Что вы. Мы правда едим все это.

Марокканка. Я ем суп из вода.

Она воинственно смотрит на Дороти.

Ну что? Я вам не нравился? Вы думал, вы лучше меня?

Дороти. Нисколько. Я, вероятно, много хуже. Престон скажет вам, что я несравненно хуже. Но зачем нам проводить сравнение? Я хочу сказать, сейчас война и вообще, и все мы трудимся ради одного дела.

Марокканка. Я вам буду выцарапать глаза, если вы думал, я хуже.

Дороти *(умоляюще и очень томно)*. Филип, прошу вас, займитесь вашими друзьями и развеселите их.

Филип. Анита, послушай.

Марокканка. О'кей?

Филип. Анита, Дороти очень милая женщина...

Марокканка. Нашем деле нет милая женщина.

Монтер *(вставая)*. Camaradas, me voy.

Дороти. Что он говорит?

Престон. Он говорит, что уходит.

Филип. Не верьте ему. Он всегда это говорит. *(Монтеру.)* Camarada, останьтесь.

Монтер. Camaradas, entonces me quedo.

Дороти. Что?

Престон. Он говорит, что останется.

Филип. Вот это дело, приятель. Нельзя же так сразу уйти и бросить нас, правда, Маркони? Camarada электротехник не подкачает.

Престон. Зато он уже достаточно накачался.

Дороти. Честное слово, милый, если ты будешь так острить, я уйду от тебя.

Марокканка. Послушайте. Все время разговор. Ничего, только разговор. Зачем мы тут? *(Филипу.)* Ты со мной? Да или нет?

Филип. Как ты резко ставишь вопрос, Анита.

Марокканка. Хочу ответ.

Филип. В таком случае, Анита, ответ будет негативный.

Марокканка. Как? Фотография?

Престон. Понимаете связь? Аппарат, фотография, негатив. Она, правда, очаровательна. Такая непосредственность.

Марокканка. Зачем фотография? Ты думал, я шпион?

Филип. Нет, Анита. Пожалуйста, будь благоразумна. Я просто хотел сказать, что я больше не с тобой. Пока. То есть я хочу сказать, что пока это более или менее кончено.

Марокканка. Нет? Ты не со мной?

Филип. Нет, моя красавица.

Марокканка. Ты с ней? *(Кивает на Дороти.)*

Филип. В этом я не уверен.

Дороти. Да, это еще нужно обсудить.

Марокканка. О'кей. Я буду выцарапать ей глаза. *(Подходит к Дороти.)*

Монтер. Camaradas, tengo que trabajar.

Дороти. Что он говорит?

Престон. Он говорит, что ему пора на работу.

Филип. Не обращайте на него внимания. У него вечно такие сумасбродные мысли. Это его idée fixe.

Монтер. Camaradas, soy analfabetico.

Престон. Он говорит, что он неграмотный.

Филип. Camarada, знаешь,— нет, серьезно, если бы мы не учились в школе, все мы были бы такие же. Не расстраивайся, приятель.

Марокканка *(Дороти)*. О'кей. Ну, я думал, ладно. Не надо ссора. Веселый компания. Да, о'кей. Только одна вещь.

Дороти. Какая, Анита?

Марокканка. Вы должен снять надпись.

Дороти. Какую надпись?

Марокканка. Надпись на дверь. Все время работаю — нехорошо.

Дороти. Такая надпись висит у меня на двери со времен колледжа, и никогда это ничего не значило.

Марокканка. Вы будет снимать?

Филип. Ну конечно, она снимет. Верно, Дороти?

Дороти. Могу и снять.

Престон. Все равно ты никогда не работаешь.

Дороти. Нет, милый. Но я всегда собираюсь. И я непременно закончу статью для «Космополитен», как только чуточку разберусь в том, что происходит.

За окном на улице раздается грохот, затем приближающееся шипение и снова грохот. Слышен стук падающих кирпичей и железа и звон разбитого стекла.

Филип. Опять стреляют.

Он говорит это очень спокойно и деловито.

Престон. Негодяи!

Он говорит это злобно и взволнованно.

Филип. Бриджес, душа моя, откройте-ка окна. Стекол в Мадриде нет, а скоро зима.

Марокканка. Вы будет снимать надпись?

Дороти подходит к двери и снимает надпись, вытаскивая кнопки пилочкой для ногтей. Она отдает листок Аните.

Дороти. Возьмите себе. И кнопки берите.

Дороти подходит к выключателю и гасит свет. Затем открывает оба окна. Раздается звук, похожий на аккорд гигантского банджо, и приближающийся гул, словно налетает поезд метро или надземки. Затем снова оглушительный грохот, и сыплются осколки стекла.

Марокканка. Вы хороший camarada.

Дороти. Нет, но я бы хотела быть хорошим camarada.

Марокканка. Вы для меня о'кей.

Они стоят рядом в полосе света, падающей из коридора через открытую дверь.

Филип. Если бы окна были закрыты, все стекла разбились бы от сотрясения. Слышно, как вылетают снаряды. Подождем следующего.

Престон. Какая мерзость, эти ночные обстрелы.

Дороти. Сколько длился последний?

Филип. Больше часа.

Марокканка. Дороти, мы идем подвал?

Снова аккорд гигантского банджо — с минуту тишина, затем громкий нарастающий гул, на этот раз гораздо ближе, затем оглушительный взрыв, и комната наполняется дымом и кирпичной пылью.

Престон. К черту! Я иду вниз.

Филип. Эта комната очень удачно расположена. Серьезно. Я не шучу. С улицы я вам показал бы.

Дороти. Я, пожалуй, останусь здесь. Не все ли равно, где дожидаться?

Монтер. Camaradas, no hay luz!

Он говорит эти слова громко и почти пророчески, стоя посреди комнаты и широко раскинув руки.

Филип. Он говорит, что света нет. Знаете, этот чудак становится страшен. Что-то вроде электрифицированного греческого хора.

Престон. Я уйду отсюда.

Дороти. Тогда будь добр, милый, возьми с собой Аниту и монтера.

Престон. Идемте.

Они уходят.

Опять раздается взрыв, на этот раз нешуточный.

Дороти *(стоит рядом с Филипом и прислушивается к грохоту и звону, последовавшему за взрывом)*. Филип, здесь в самом деле безопасно?

Филип. Здесь не хуже и не лучше, чем в любом другом месте. Серьезно. Безопасно — не совсем то слово; но в наше время безопасность как-то не в ходу.

Дороти. С вами мне не страшно.

Филип. Постарайтесь перескочить через эту стадию. Это самая ужасная.

Дороти. Ничего не могу поделать.

Филип. А вы постарайтесь. Будьте умницей. *(Подходит к патефону и ставит мазурку Шопена си-минор ор. 33 № 4.)*

Они слушают мазурку, освещенные отблеском рефлектора.

Жидковато и очень старомодно, но все-таки очень красиво.

Раздается грохот орудий с горы Гарабитас. Снаряд разрывается на улице за окном, окно ярко освещается.

Дороти. Ой, милый, милый, милый.

Филип *(поддерживая ее)*. Не можете ли вы называть меня иначе? Вы при мне стольких людей так называли.

Слышны гудки санитарной машины. Потом в наступившей тишине опять звучит мазурка.

Занавес

АКТ I, СЦЕНА 3

Номера 109 и 110 в отеле «Флорида». Окна раскрыты, и в них льется солнечный свет. В середине стены, разделяющей оба номера,— дверь, завешанная с одной стороны большим военным плакатом, так что, когда она отворяется, проход остается закрытым. Но отворять дверь плакат не мешает. Сейчас она отворена, и плакат образует нечто вроде бумажного щита между обеими комнатами. Он фута на два не доходит до полу. На кровати в номере 109 спит Дороти Бриджес. На кровати в номере 110 сидит Филип Ролингс и смотрит в окно. С улицы доносится голос газетчика, выкрикивающий названия утренних выпусков: «El Sol»! «Libertad»! «El ABC de Hoy»! Слышен гудок проезжающей машины, затем где-то вдалеке тарахтит пулемет. Филип снимает телефонную трубку.

Филип. Пришлите, пожалуйста, утренние газеты. Да. Все, какие есть.

Он смотрит по сторонам, потом в окно. Потом оглядывается на висящий в дверях плакат, сквозь который просвечивает утреннее солнце. Нет. *(Качает головой.)* Не стоит. В такую рань.

В дверь стучат.

Adelante.

Снова стучат.

Войдите. Войдите!

Дверь отворяется. На пороге управляющий с пачкой газет.

Управляющий. Доброе утро, мистер Филип. Чувствительно благодарен. Доброе утро́, доброе, доброе утро. Страшный вечер — вчера, не правда ли?

Филип. Теперь все вечера страшные.

Он улыбается.

Дайте-ка мне газеты.

Управляющий. Скверные вести из Астурии. Там очень плохо.

Филип *(просматривая газеты)*. Здесь об этом ничего нет.

Управляющий. Да, но я знаю, что вы знаете.

Филип. Допустим. Кстати, когда я переехал в эту комнату?

Управляющий. Вы не помните, мистер Филип? Вы не помните вчерашний вечер?

Филип. Нет. Представьте себе — нет. Подскажите мне что-нибудь, может быть, я и вспомню.

Управляющий *(с искренним ужасом)*. Вы в самом деле ничего не помните?

Филип *(весело)*. Решительно ничего. В начале вечера как будто легкий обстрел. Потом Чикоте. Да. Привел сюда Аниту, просто так, для смеху. Она ничего не натворила, надеюсь?

Управляющий *(качая головой)*. Нет, нет. Тут не Анита. Мистер Филип, вы совсем ничего не помните про мистера Престона?

Филип. Нет. А что случилось с этим мрачным идиотом? Уж не пустил ли он себе пулю в лоб?

Управляющий. Не помните, как вы его выбросили на улицу?

Филип. Отсюда? *(Не вставая, поворачивается к окну.)* И что же — он и сейчас там?

Управляющий. Не отсюда, а из парадного, вчера очень поздно — по возвращении из Ministerio, после вечерней сводки.

Филип. Есть увечья?

Управляющий. Наложили несколько швов.

Филип. А вы почему не вмешались? Почему вы допускаете такое безобразие в приличном отеле?

Управляющий. Потом вы заняли его комнату. *(Грустно и укоризненно.)* Мистер Филип, мистер Филип.

Филип *(очень веселым тоном, но несколько смущенный).* Сегодня как будто очень хороший день?

Управляющий. О да, день прекрасный. Можно сказать — день для загородных прогулок.

Филип. Ну, а Престон что? Знаете, он ведь мужчина довольно солидный. Да еще такой мрачный. Должно быть, отбивался вовсю?

Управляющий. Он теперь в другом номере.

Филип. В каком?

Управляющий. В сто тринадцатом. Где вы раньше жили.

Филип. А я тут?

Управляющий. Да, мистер Филип.

Филип. А что это за гадость? *(Глядя на просвечивающий плакат в дверях.)*

Управляющий. Это патриотический плакат, мистер Филип. Очень красивый плакат,— написан с большим чувством, только это его изнанка.

Филип. А лицо где? Куда ведет эта дверь?

Управляющий. В комнату леди, мистер Филип. Вы теперь в двойном апартаменте, как новобрачная парочка в медовый месяц. В настоящий момент — пришел посмотреть, все ли у вас в порядке, не нужно ли чего. Если что нужно — звоните в любое время. Примите поздравления, мистер Филип. Безусловно, поздравления и даже больше.

Филип. Эта дверь отсюда запирается?

Управляющий. Безусловно, мистер Филип.

Филип. Так заприте ее и уходите, а мне велите принести кофе.

Управляющий. Слушаю, сэр, мистер Филип. Не нужно сердиться в такой чудный день. *(Торопливо и отрывисто.)* Буду очень просить, мистер Филип, не забывайте — Мадрид, продовольственные затруднения; если случайно лишние продукты — все равно что: банка консервов, любой пустяк,— дома, знаете, всегда недостаток. Вы не поверите, мистер Филип, в такое время — семья из семи человек — позволяю себе роскошь держать тещу. Заметьте — ест все, что угодно. Все годится. Затем еще сын — семнадцать лет — бывший чемпион по плаванью. Как это называется — брасс. Сложение — вот *(жестом показывает исполинскую ширину груди и плеч).* Аппетит? Вы просто не поверите, мистер Филип. И тут чемпион. Стоит посмотреть. Это только двое — а ведь всех семеро.

Ф и л и п. Посмотрю, что там есть. Надо еще перенести все из моего номера. Если кто-нибудь будет меня спрашивать, пусть позвонят сюда.

У п р а в л я ю щ и й. Чувствительно благодарен, мистер Филип. У вас душа широкая, как улица. В вестибюле вас ждут два товарища.

Ф и л и п. Зовите их.

Все это время Дороти Бриджес в соседней комнате крепко спит. Она не проснулась во время разговора Филипа с управляющим, только раз или два пошевелилась во сне. Сейчас, когда дверь затворена и заперта, из одной комнаты в другую ничего не слышно.

Входят д в о е б о й ц о в в форме Интернациональной бригады.

1 - й б о е ц. Ну вот. Он ушел.

Ф и л и п. Как это — ушел?

1 - й б о е ц. Ушел от нас, вот и все.

Ф и л и п *(быстро)*. Каким образом?

1 - й б о е ц. *Я вас* спрашиваю — каким образом?

Ф и л и п. Вы что, шутки шутить сюда пришли? *(Поворачиваясь ко второму бойцу, очень сухим тоном.)* Что это значит?

2 - й б о е ц. Он ушел.

Ф и л и п. А вы где были?

2 - й б о е ц. Между лифтом и лестницей.

Ф и л и п *(1-му бойцу)*. А вы?

1 - й б о е ц. На улице у парадного, всю ночь.

Ф и л и п. А в котором часу вы покинули пост?

1 - й б о е ц. Я не покидал поста.

Ф и л и п. Обдумайте свои слова. Вы знаете, чем вы рискуете?

1 - й б о е ц. Мне очень жаль, но тут ничего не поделаешь. Он ушел, вот и все.

Ф и л и п. Нет, милый друг, далеко не все.

Он снимает телефонную трубку и называет номер.

Novente siete cero cero cero. Да. Антонио? Попросите его. Да. Еще не приходил? Нет. Пришлите взять двоих, отель «Флорида», номер сто десять. Да. Пожалуйста. Да. *(Вешает трубку.)*

1 - й б о е ц. Но мы только...

Ф и л и п. Не торопитесь. Вам еще пригодится ваше воображение, когда придет время рассказывать.

1 - й б о е ц. Мне нечего рассказывать. Я вам все сказал.

Ф и л и п. Не торопитесь. Постарайтесь собраться с мыслями. Садитесь и обдумайте все хорошенько. Помните: он был

здесь, в отеле. Он не мог выйти, не пройдя мимо вас. *(Берется за газету.)*

Оба бойца понуро стоят перед ним.

(Не глядя на них.) Садитесь. Вон кресла.

2-й боец. Товарищ, мы...

Филипп *(не глядя на него)*. Не произносите этого слова.

1-й и 2-й бойцы переглядываются.

1-й боец. Товарищ...

Филипп *(откладывая газету и придвигая к себе другую)*. Я запретил вам произносить это слово. Оно у вас нехорошо звучит.

1-й боец. Товарищ комиссар, мы хотим сказать...

Филипп. Не стоит.

1-й боец. Товарищ комиссар, вы должны меня выслушать.

Филипп. Я вас выслушаю потом. Не беспокойтесь, друг мой. Я вас все время слушаю. Когда вы вошли сюда, вы говорили другим тоном.

1-й боец. Товарищ комиссар, пожалуйста, выслушайте меня. Я хочу сказать вам...

Филипп. Вы дали уйти человеку, который мне был нужен. Вы дали уйти человеку, который мне был необходим. Вы дали уйти человеку, который пошел убивать.

1-й боец. Товарищ комиссар, пожалуйста...

Филипп. Пожалуйста — неподходящее слово для солдата.

1-й боец. Я не настоящий солдат.

Филипп. Раз на вас военная форма, значит, вы солдат.

1-й боец. Я приехал сюда, чтобы сражаться во имя идеала.

Филипп. Все это очень мило. Но послушайте, что я вам скажу. Вы приезжаете сражаться во имя идеала, но при первой атаке вам становится страшно. Не нравится грохот или еще что-нибудь, и потом вокруг много убитых,— и на них неприятно смотреть,— и вы начинаете бояться смерти — и рады прострелить себе руку или ногу, чтобы только выбраться, потому что выдержать не можете. Так вот — за это полагается расстрел, и ваш идеал не спасет вас, друг мой.

1-й боец. Но я честно сражался. Я не наносил себе никаких умышленных ранений.

Филипп. Я этого и не говорил. Я только старался кое-что объяснить вам. Но, по-видимому, я недостаточно ясно выра-

жаюсь. Я, понимаете, все время думаю о том, что будет сейчас делать человек, которому вы дали уйти, и как мне опять залучить его в надежное, верное место вроде этого отеля, прежде чем он успеет убить кого-нибудь. Понимаете, он мне был непременно нужен, и непременно живой. А вы дали ему уйти.

1-й боец. Товарищ комиссар, если вы мне не верите...

Филипп. Да, я вам не верю, и я не комиссар. Я полицейский. Я не верю ничему из того, что слышу, и почти ничему из того, что вижу. С какой стати я буду верить вам? Слушайте. Вы не выполнили задания. Я должен установить, с умыслом вы это сделали или нет. Ничего хорошего я от этого не жду. *(Наливает себе виски.)* И если вы не дурак, то поймете, что и вам ничего хорошего ждать не приходится. Но пусть вы это и без умысла сделали, все равно. Долг есть долг. Его нужно исполнять. А приказ есть приказ. *И ему нужно повиноваться.* Будь у нас время, я бы вам разъяснил, что, в сущности, дисциплина — это проявление доброты; впрочем, как показал опыт, я не очень хорошо умею разъяснять.

1-й боец. Пожалуйста, товарищ комиссар...

Филипп. Если вы еще раз это скажете, я рассержусь.

1-й боец. Товарищ комиссар...

Филипп. Молчать! Мне не до вежливости — понятно? Мне так часто приходится быть вежливым, что я устал. И мне надоело. Я буду допрашивать вас в присутствии моего начальника. И не называйте меня комиссаром. Я полицейский. То, что вы говорите мне сейчас, не имеет никакого значения. Я ведь отвечаю за вас. Если вы сделали это без умысла, тем лучше. Все дело в том, что я должен это знать. Я вам вот что скажу. Если вы сделали это без умысла, я возьму половину вины на себя.

В дверь стучат.

Adelante.

Дверь отворяется, и показываются два штурмгвардейца в синих комбинезонах и плоских шапочках, с винтовками за спиной.

1-й штурмгвардеец. A sus ordenes, mi comandante[1].

Филипп. Этих двух людей отвести в Сегуридад. Я приду потом допросить их.

1-й штурмгвардеец. A sus ordenes[2].

2-й боец идет к двери. 2-й штурмгвардеец ощупывает его, чтобы проверить, есть ли при нем оружие.

---

[1] Прибыл в ваше распоряжение, товарищ командир *(исп.)*.

[2] Здесь: слушаюсь *(исп.)*.

Филип. Они оба вооружены. Возьмите у них оружие и уведите их. *(1-му и 2-му бойцам.)* Счастливого пути. *(С иронией.)* Желаю вам, чтобы все обошлось.

Все четверо выходят, слышно, как шаги удаляются по коридору. В соседней комнате Дороти Бриджес ворочается в постели, просыпается, зевая и потягиваясь, достает грушу висячего звонка у кровати. Слышен звонок. Его слышит и Филип. В это время в его дверь стучат.

Филип. Adelante.

Входит управляющий, он очень взволнован.

Управляющий. Арестовали двух camaradas.

Филип. Это очень плохие camaradas. Один, во всяком случае. Другой, может быть, и нет.

Управляющий. Мистер Филип, вокруг вас слишком много случается. Говорю как друг. Мой совет — постарайтесь, чтоб было потише. Нехорошо, когда все время так много случается.

Филип. Да. Я тоже так думаю. А что, сегодня действительно хороший день? Или не очень?

Управляющий. Я вам говорю, что нужно делать. В такой день нужно ехать за город и устроить маленький пикник.

В соседней комнате Дороти Бриджес уже надела халат и домашние туфли. Она скрывается в ванной, потом выходит оттуда, расчесывая волосы. Волосы у нее очень красивые, и она присаживается на край постели, поближе к рефлектору, продолжая расчесывать их. Без грима она кажется совсем молодой. Она снова звонит, и в дверях показывается горничная. Это маленькая старушка лет шестидесяти, в синей кофте и в переднике.

Горничная. Se puede?[1]

Дороти. Доброе утро, Петра.

Петра. Buenas días[2], сеньорита.

Дороти снова ложится, и Петра ставит на постель поднос с завтраком.

Дороти. Яиц нет, Петра?

Петра. Нет, сеньорита.

Дороти. Вашей матери лучше, Петра?

Петра. Нет, сеньорита.

Дороти. Вы уже завтракали, Петра?

Петра. Нет, сеньорита.

---

[1] Можно? *(исп.)*

[2] Добрый день *(исп.)*.

Дороти. Принесите себе чашку и выпейте со мной кофе. Ну, скорей.

Петра. Я выпью после вас, сеньорита. Очень было здесь страшно вчера во время обстрела?

Дороти. Вчера? Вчера было чудесно.

Петра. Сеньорита, что вы говорите?

Дороти. Ну, право же, Петра, было чудесно.

Петра. На улице Прогрессо, там, где я живу, в одной квартире убило шестерых. Утром их выносили. И по всей улице не осталось ни одного целого стекла. Теперь так и зимовать, без стекол.

Дороти. А здесь у нас никого не убило.

Петра. Сеньору можно уже подавать завтрак?

Дороти. Сеньора больше нет здесь.

Петра. Он уехал на фронт?

Дороти. Ну, нет. Он никогда не ездит на фронт. Он только пишет о нем. Здесь теперь другой сеньор.

Петра *(грустно)*. Кто же это, сеньорита?

Дороти *(радостно)*. Мистер Филип.

Петра. О сеньорита. Это ужасно! *(Выходит в слезах.)*

Дороти *(кричит ей вслед)*. Петра! Петра!

Петра *(покорно)*. Да, сеньорита?

Дороти *(радостно)*. Посмотрите, мистер Филип встал?

Петра. Хорошо, сеньорита.

Петра подходит к двери Филипа и стучит.

Филип. Войдите.

Петра. Сеньорита просит узнать,— вы встали?

Филип. Нет.

Петра *(у двери № 109)*. Сеньор говорит, что он еще не встал.

Дороти. Пожалуйста, Петра, скажите ему, чтобы он шел сюда завтракать.

Петра *(у двери № 110)*. Сеньорита просит вас прийти позавтракать, но только там почти нечего есть.

Филип. Передайте сеньорите, что я никогда не завтракаю.

Петра *(у двери № 109)*. Он говорит, что никогда не завтракает. Но я-то знаю, что он завтракает за троих.

Дороти. Петра, с ним так трудно. Скажите ему, пусть не упрямится и сейчас же идет сюда, я его жду.

Петра *(у двери № 110)*. Она вас ждет.

Филип. Какое слово! Какое слово! *(Надевает халат и туфли)*. Маловаты немного. Должно быть, это Престона. А ха-

лат симпатичный. Нужно предложить ему, может, продаст. *(Складывает газеты, открывает дверь, подходит к двери № 109, стучит и, не дождавшись ответа, входит.)*

Дороти. Войдите. Ну, наконец-то!

Филип. Тебе не кажется, что мы несколько нарушаем приличия?

Дороти. Филип, ты милый и ужасно глупый. Где ты был?

Филип. В какой-то чужой комнате.

Дороти. Как ты туда попал?

Филип. Понятия не имею.

Дороти. Неужели ты совсем ничего не помнишь?

Филип. Припоминается какая-то дичь, будто я кого-то выставил за дверь.

Дороти. Престона.

Филип. Не может быть.

Дороти. Очень может быть.

Филип. Нужно его водворить обратно. Я против подобных грубостей.

Дороти. Ах, нет, Филип. Нет. Он ушел навсегда.

Филип. Страшное слово — навсегда.

Дороти *(решительно)*. Навсегда и безвозвратно.

Филип. Еще страшнее слово. У меня от него мурмурашки.

Дороти. Это что за мурмурашки?

Филип. Все равно, что мурашки, только хуже. Понимаешь? Когда мерещится что-нибудь очень страшное. То появляется, то исчезает. Ждешь его из-за каждого угла.

Дороти. И с тобой это бывало?

Филип. Еще бы. Со мной все бывало. Самое скверное, что я помню, была шеренга морской пехоты. Вдруг все разом входили в комнату.

Дороти. Филип, сядь вот здесь.

Филип очень осторожно присаживается на кровать.

Филип, ты должен мне кое-что обещать. Мне не нравится, что ты столько пьешь, и не имеешь никакой цели в жизни, и ничего не делаешь по-настоящему. Я хочу, чтоб ты покончил с этой жизнью мадридского шалопая,— хорошо?

Филип. Мадридского шалопая?

Дороти. Да. Да. И с Чикоте. И с Майами. И с посольствами, и с Ministerio, и с Верноном Роджерсом, и с этой ужасной Анитой. Хотя посольства, кажется, хуже всего. Ты больше не будешь, Филип,— хорошо?

Филип. А что ж тогда делать?

Дороти. Все, что угодно. Ты мог бы делать что-нибудь серьезное и приличное. Ты мог бы делать что-нибудь смелое, достойное и хорошее. Знаешь, чем это кончится, если ты будешь слоняться из бара в бар и водить компанию со всеми этими ужасными людьми? Тебя просто пристрелят. На днях одного пристрелили у Чикоте. Это было ужасно.

Филип. Кто-нибудь из наших знакомых?

Дороти. Нет. Просто какой-то несчастный оборванец, который ходил с пульверизатором и всем брызгал в лицо. Он никого не хотел обидеть. Но кто-то рассердился и пристрелил его. Я видела все, и это было очень неприятно. Это случилось так неожиданно, и он лежал на спине, и лицо у него было совсем серое, а еще минуту назад он был такой веселый. Потом два часа оттуда никого не выпускали, и полицейские у всех нюхали револьверы и не разрешали официантам подавать спиртное. Его ничем не прикрыли, и нам пришлось показывать свои документы человеку, который сидел за столиком как раз возле того места, где он лежал, и это было очень неприятно, Филип. Носки у него были такие грязные, и башмаки стоптаны до дыр, а рубашки совсем не было.

Филип. Бедняга. Ведь то, что там теперь пьют, это самый настоящий яд. Совершенно теряешь рассудок.

Дороти. Но, Филип, тебе-то незачем быть таким. И тебе незачем ходить туда, еще пристрелят когда-нибудь. Ты мог бы заняться политикой или какими-нибудь военными делами,— вообще чем-нибудь достойным.

Филип. Не искушай меня. Не буди мое честолюбие.

Пауза.

Не рисуй мне радужных перспектив.

Дороти. А что это еще за выходка с плевательницей у Чикоте? Ты просто нарывался на скандал. Именно нарывался, все говорят.

Филип. С кем скандал?

Дороти. Я не знаю с кем. Не все ли равно с кем. Ты вообще не должен скандалить.

Филип. Я тоже так думаю. Вероятно, и так долго ждать не придется.

Дороти. Зачем такой пессимизм, милый, сейчас, когда мы только начинаем нашу совместную жизнь.

Филип. Нашу... что?

Дороти. Нашу совместную жизнь. Филип, неужели тебе не хотелось бы поселиться в каком-нибудь местечке вроде Сен-Тропез,— то есть вроде прежнего Сен-Тропез,— и жить там долго-долго мирной счастливой жизнью,— много гулять, и купаться, и иметь детей, и наслаждаться счастьем, и все такое? Я серьезно говорю. Неужели тебе не хочется, чтобы все это кончилось? Война, и революция, и все прочее?

Филип. А будет у нас «Континентал дейли мейл» к завтраку? И бриоши, и свежее клубничное варенье?

Дороти. Милый, у нас будет даже яичница с ветчиной, а ты, если хочешь, можешь выписать «Морнинг пост». И все будут говорить нам Messieur-Dame.

Филип. «Морнинг пост» только что перестала выходить.

Дороти. Ах, Филип, как с тобой трудно. Мне хотелось, чтоб у нас была такая счастливая жизнь. Разве ты не хочешь иметь детей? Они будут играть в Люксембургском саду, и гонять обруч, и пускать кораблики.

Филип. И ты будешь им показывать карту. Или нет: лучше даже глобус. «Видите, детки»; мальчика мы назовем Дерек, это самое безобразное имя, какое я только знаю. Ты скажешь: «Видишь, Дерек? Вот это Вампу. Следи за моим пальцем, и я покажу тебе, где теперь папочка». А Дерек скажет: «Да, мамочка. А я когда-нибудь видел папочку?»

Дороти. Нет, нет. Вовсе так не будет. Просто мы будем жить в каком-нибудь красивом уголке, и ты будешь писать.

Филип. Что?

Дороти. Что угодно. Романы и статьи, а может быть, книгу об этой войне.

Филип. Приятная будет книга. Особенно если издать ее с иллюстрациями.

Дороти. Или ты бы мог подучиться и написать книгу о политике. Я слышала, что книги о политике всегда нарасхват.

Филип *(звонит)*. Не сомневаюсь.

Дороти. Или ты бы мог подучиться и написать книгу о диалектике. Всякая новая книга о диалектике отлично расходится.

Филип. Неужели?

Дороти. Но, Филип, милый, ты должен прежде всего еще здесь найти какое-нибудь приличное занятие и бросить это невозможное, бессмысленное времяпрепровождение.

Филип. Я где-то читал, но до сих пор не имел случая проверить: скажи, правда ли, что, когда американке понравится мужчина, она прежде всего заставляет его от чего-нибудь

отказаться? От привычки пить виски, или курить виргинский табак, или носить гетры, или охотиться, или еще что-нибудь.

Дороти. Нет, Филип. Дело просто в том, что ты — очень серьезная проблема для любой женщины.

Филип. Надеюсь.

Дороти. И я вовсе не хочу, чтобы ты от чего-нибудь отказывался. Напротив, я хочу, чтоб ты за что-нибудь взялся.

Филип. Хорошо. *(Целует ее.)* Я так и сделаю. Ну, а теперь завтракай. Я пойду к себе, мне нужно позвонить по телефону.

Дороти. Филип, не уходи...

Филип. Я сейчас же вернусь, милая. И буду страшно серьезным.

Дороти. Ты знаешь, что ты сказал?

Филип. Конечно.

Дороти *(очень радостно)*. Ты сказал — *милая*.

Филип. Я знал, что это заразительно, но не думал, что до такой степени. Прости, дорогая.

Дороти. *Дорогая* — тоже неплохое слово.

Филип. Ну тогда до свидания,— мм — любимая.

Дороти. *Любимая,*— ах ты, милый!

Филип. До свидания, товарищ.

Дороти. Товарищ? А раньше ты сказал «милая».

Филип. Товарищ — хорошее слово. Пожалуй, не следует швыряться им по-пустому. Беру его обратно.

Дороти *(восторженно)*. О Филип! ты начинаешь политически развиваться.

Филип. Упаси бог — черт,— все равно кто, но упаси.

Дороти. Не богохульствуй. Это приносит несчастье.

Филип *(торопливо и довольно мрачно)*. До свидания, милая — дорогая — любимая.

Дороти. Ты больше не называешь меня «товарищ»?

Филип *(выходя)*. Нет. Я, видишь ли, начинаю политически развиваться. *(Выходит в соседнюю комнату.)*

Дороти *(звонком вызывает Петру. Говорит, удобно откинувшись на подушки)*. Ах, Петра, какой он живой, и какой — кипучий, что ли, и какой веселый. Но он ничего не хочет делать. Он считается корреспондентом какой-то дурацкой лондонской газеты, но в цензуре говорят, что он за все время послал ровно две с половиной телеграммы. С ним как-то легче дышится после Престона с его вечными разговорами о жене и детях. Вот пусть и убирается к своей жене и детям, раз они ему так нравятся. Держу пари, что он этого не сделает. Знаем

«Пятая колонна»

мы эти мужские разговоры о жене и детях во время войны. Удобное начало, чтобы лечь с женщиной в постель, а потом, не успеешь прийти в себя, как тебя сразу огорошат теми же разговорами. Вот именно огорошат. Не знаю, как это я вообще так долго терпела Престона. А какой он мрачный — все твердит, что город вот-вот должен пасть, и вечно смотрит на карту. Вечно смотреть на карту — одна из самых отвратительных привычек, какие только могут быть у мужчин. Правда, Петра?

Петра. Я не понимаю, сеньорита.

Дороти. Ах, Петра, хотелось бы мне знать, что он сейчас делает.

Петра. Ничего хорошего.

Дороти. Петра, не говорите так. Вы — пораженка, Петра.

Петра. Сеньорита, я не разбираюсь в политике. Я знаю только свою работу.

Дороти. Ну, хорошо, вы можете идти. Я, пожалуй, посплю еще немножко. Мне сегодня так хорошо и так хочется спать.

Петра. Отдыхайте на здоровье, сеньорита. *(Выходит и затворяет за собой дверь.)*

В соседней комнате телефонный звонок. Филип снимает трубку.

Филип. Да. Хорошо. Пусть идет сюда.

Стук в дверь, и на пороге появляется боец в форме Интернациональной бригады. Он отдает честь поднятым кулаком. Это смуглый, красивый юноша лет двадцати трех.

Salud, товарищ. Входите.

Боец. Я прислан к вам из бригады. Мне сказали явиться в номер сто тринадцатый.

Филип. Я переменил комнату. Приказ у вас при себе?

Боец. Приказ был дан устно.

Филип берет телефонную трубку и называет номер.

Филип. Ochenta — dos cero uno cinco. Алло, Хэддок? Нет. Дайте Хэддока. Говорит Хэйк. Да. Хэйк. Хорошо. Хэддок? *(Оборачивается к бойцу.)* Ваша фамилия, товарищ?

Боец. Уилкинсон.

Филип. Алло, Хэддок. Вы посылали товарища по фамилии Уилкинсон в рыботорговлю Бута? Отлично. Спасибо. Salud. *(Вешает трубку. Потом поворачивается к Уилкинсону и протягивает ему руку.)* Рад видеть вас, товарищ. Что скажете?

Уилкинсон. Я прислан в ваше распоряжение.

Ф и л и п. А!

Он колеблется, видимо, обеспокоенный какой-то мыслью.

Сколько вам лет, товарищ?

У и л к и н с о н. Двадцать.

Ф и л и п. Вам все это доставляет удовольствие?

У и л к и н с о н. Я здесь не ради удовольствия.

Ф и л и п. Нет. Конечно, нет. Я просто так спросил.

Пауза. Затем, отбросив колебания, он продолжает решительно, по-военному.

Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии, для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?

У и л к и н с о н. Даже для самозащиты?

Ф и л и п. *Ни при каких обстоятельствах.*

У и л к и н с о н. Понятно. Каково будет задание?

Ф и л и п. Вы спуститесь вниз и погуляете по улице. Потом вернетесь в отель, возьмете номер и зарегистрируетесь у портье. Когда получите номер, зайдите сюда и сообщите мне какой, а я вам скажу, что делать дальше. Сегодня вам почти все время придется провести у себя в номере.

Пауза.

Особенно не торопитесь. Можете выпить кружку пива. В «Агвинар» есть пиво сегодня.

У и л к и н с о н. Я не пью, товарищ.

Ф и л и п. Правильно. Очень хорошо. Мы, люди старшего поколения, еще заражены известными гибельными пороками, которые теперь, пожалуй, поздно искоренять. Но вы должны служить нам примером. Ну, ступайте.

У и л к и н с о н. Слушаю, товарищ. *(Отдает честь и выходит из комнаты.)*

Ф и л и п *(после его ухода.)* Очень жаль. Да. Очень, очень жаль.

Телефонный звонок.

Да. Я слушаю. Хорошо. Нет. К сожалению, не могу. Попозже. *(Кладет трубку.)*

Снова звонок.

Алло! Да. Мне очень совестно, но я не могу. Просто свинство. Непременно. Да. Только попозже. *(Кладет трубку.)*

Снова звонок.

Алло! Ох, слушайте, честное слово, мне очень совестно. Но, может быть, немного попозже? Не хотите? Ну ладно. Идите сюда, и мы покончим с этим делом.

В дверь стучат.

Да, да, войдите.

Входит Престон. У него повязка на глазу и вообще вид неважный.

Слушайте, мне очень совестно.

Престон. От этого никому не легче. Вы вели себя возмутительно.

Филип. Согласен. Но что мне теперь делать? *(Говорит без всякого выражения.)* Я же сказал, что мне очень совестно.

Престон. Вы бы, по крайней мере, сняли мой халат и туфли.

Филип *(снимая)*. Сейчас. *(Подает вещи Престону. С сожалением.)* Слушайте, вы не продадите халат? Очень приятная материя.

Престон. Нет. А теперь убирайтесь вон из моей комнаты.

Филип. Вы хотите, чтоб мы опять начали все сначала?

Престон. Если вы сейчас же не уберетесь, я позвоню, чтоб вас вывели.

Филип. Вот как. Ну, звоните.

Престон звонит. Филип уходит в ванную. Слышен плеск воды. В дверь стучат, и вслед за этим входит управляющий.

Управляющий. Что-либо не в порядке?

Престон. Потрудитесь вызвать полицию и удалить этого человека из моей комнаты.

Управляющий. Мистер Престон, я уже распорядился, чтобы горничная собрала ваши вещи. Вам будет очень удобно в сто четырнадцатом. Мистер Престон, вы человек разумный — неужели вы будете вызывать полицию в отель? Полиция с чего начнет? А чьи это тут банки сгущенного молока? А чьи это тут мясные консервы? А чьи это тут запасы жареного кофе? А зачем это тут полный шкаф сахару? А откуда это тут три бутылки виски? А что это тут вообще делается? Мистер Престон, никогда не надо вмешивать полицию в частные дела. Мистер Престон, прошу вас.

Филип *(из ванной)*. А чьи это тут три куска мыла?

Управляющий. Вот видите, мистер Престон. Власти всегда дают частным делам неправильное истолкование. Есть

закон, что все эти вещи нельзя держать. Есть строгий закон, что нельзя запасать продукты. С полицией всегда что-нибудь не так.

Филип *(из ванной)*. А откуда это тут три флакона одеколона?

Управляющий. Вот видите, мистер Престон. Как ни желательно, я не мог бы вызвать сюда полицию.

Престон. А, да подите вы оба к... черту. Пусть несут вещи в сто четырнадцатый. Ролингс, вы просто хам. Помните, что я вам об этом сказал.

Филип *(из ванной)*. А чьи это тут четыре тюбика крема для бритья?

Управляющий. Мистер Престон! Четы-ре тюбика! Мистер Престон!

Престон. Вы только и знаете, что клянчить провизию. Кажется, вам от меня достаточно перепало. Соберите вещи, и пусть несут в сто четырнадцатый.

Управляющий. Сию минуту, мистер Престон, но разрешите одно только слово. Когда я, против собственного желания, обращался к вам со скромной просьбой относительно провизии, имея при этом в виду исключительно избыточные количества...

Филип *(из ванной, давясь от смеха)*. Что, что такое?

Управляющий. Я говорю мистеру Престону, что обращался с просьбой только относительно излишних запасов, и то лишь ввиду семейства из семи человек. Учтите, мистер Престон, у моей тещи — роскошь по нашим временам — остался всего один зуб. Вы меня понимаете? Всего один зуб. С его помощью — ест все, что может, и даже с удовольствием. Однако в случае выпадения буду вынужден приобрести полный протез для обеих челюстей, верхней и нижней, приспособленный для прожевывания любой пищи. И бифштекса, и бараньей котлетки, и — как это называется? — salomillo. Каждый вечер — уверяю вас, мистер Престон.— я спрашиваю: ну, как зуб у старушки? Каждый вечер я ложусь с мыслью — что мы будем делать, если он выпадет? При полном комплекте верхних и нижних зубов в Мадриде не останется лошадей для армии. Уверяю вас, мистер Престон, вы никогда не видели подобной женщины. Истинно роскошь по нашим временам. Хочу надеяться, мистер Престон, что у вас найдется ненужная баночка консервов, которую вы могли бы уделить.

Престон. Просите у вашего друга Ролингса.

Филип *(выходя из ванной)*. Camarada филателист, у

меня как раз имеется излишек мясных консервов в количестве одной банки.

Управляющий. О мистер Филип! У вас душа больше этого отеля.

Престон. И вдвое грязнее. *(Выходит.)*

Филип. Он очень обиделся.

Управляющий. Вы отняли у него молодую леди. Он ревнует. Он полон ярости.

Филип. Вот, вот, он прямо-таки набит яростью. Я вчера попробовал выбить из него немного. Никакого впечатления.

Управляющий. Послушайте, мистер Филип. Скажите мне правду. Скоро кончится эта война?

Филип. Боюсь, что не очень.

Управляющий. Мистер Филип, мне очень неприятно слышать это от вас. Уже целый год. Это ведь не шутка, мистер Филип.

Филип. А вы не думайте об этом. Держитесь, и все будет хорошо.

Управляющий. Вы тоже держитесь и будьте поосторожнее. Мистер Филип, будьте поосторожнее. Я знаю. Вы не думайте, что я не знаю.

Филип. Не советую вам знать слишком много. А если что и знаете, держите язык за зубами, ладно? Так у нас с вами дело и пойдет.

Управляющий. Но вы будьте осторожнее, мистер Филип.

Филип. Я держусь, не беспокойтесь. Выпьем? *(Наливает шотландского виски и разбавляет его водой.)*

Управляющий. Спиртных напитков не потребляю. Слушайте меня, мистер Филип. Будьте осторожнее. Сто пятый — очень нехорошо. Сто седьмой — тоже очень нехорошо.

Филип. Спасибо. Я знаю. Только сто седьмой уже ускользнул от меня. Ему дали уйти.

Управляющий. Сто четырнадцатый — просто дурак.

Филип. Согласен.

Управляющий. Вчера вечером пытался войти в сто тринадцатый, ваш, как будто по ошибке. Я знаю.

Филип. Потому я и не вернулся туда. За дураком было наблюдение.

Управляющий. Мистер Филип, будьте осторожны. Хотите, я поставлю на дверь французский замок? Крепкий французский замок. Самого крупного размера.

Филип. Нет. Крепкий замок тут не поможет. В таких делах крепкие замки ни при чем.

Управляющий. Может быть, какие-нибудь особые поручения, мистер Филип? Чем-нибудь могу быть полезен?

Филип. Нет. Никаких поручений. Спасибо, что отшили этого дурака-журналиста из Валенсии, который хотел снять номер. У нас тут и так дураков довольно, считая вас и меня.

Управляющий. Если он вам нужен, его можно устроить. Я обещал ему дать знать, если освободится номер. Когда все успокоится, можно его устроить. Мистер Филип, вы только будьте поосторожнее. Прошу вас. Вы знаете.

Филип. Я держусь, не беспокойтесь. Просто иногда на меня находит скверное настроение.

В течение этого разговора Дороти Бриджес успела встать с постели, пройти в ванную, одеться и снова вернуться в комнату. Она садится за пишущую машинку, потом заводит патефон. Филип у себя в номере слышит музыку. Это — баллада Шопена As-dur op. 47.

(Управляющему.) Извините — одну минутку. Вы сейчас будете переносить его вещи? Если кто-нибудь меня спросит, попросите, пожалуйста, подождать.

Управляющий. Я скажу горничной, которая будет собирать вещи.

Филип подходит к двери Дороти и стучит.

Дороти. Войди, Филип.

Филип. Можно мне выпить здесь стакан виски?

Дороти. Конечно. Пожалуйста.

Филип. У меня к тебе две просьбы.

Пластинка кончилась. Видно, как из номера 110 выходит управляющий, потом входит горничная и начинает собирать вещи Престона, складывая их на кровать.

Дороти. Какие, Филип?

Филип. Во-первых, уехать из этого отеля, а во-вторых, вернуться в Америку.

Дороти. Филип, ты просто нахал. Ты еще хуже Престона.

Филип. Я не шучу. Тебе сейчас не место в этом отеле. Я говорю серьезно.

Дороти. Мне было так хорошо с тобой, Филип, перестань. Пожалуйста, милый, я тебя очень прошу, перестань.

Видно, как на пороге соседней комнаты показывается Уилкинсон в форме бойца Интернациональной бригады.

Уилкинсон *(горничной)*. Товарища Ролингса нет?

Горничная. Войдите и посидите здесь. Он вас просил подождать.

Уилкинсон садится в кресло, спиной к двери. В соседней комнате Дороти поставила новую пластинку. Филип поднимает иголку, и пластинка продолжает впустую вертеться на диске.

Дороти. Ты, кажется, хотел выпить. Вот, пей.

Филип. Я уже расхотел.

Дороти. Милый, что с тобой?

Филип. Слушай, я вовсе не шучу. Ты должна отсюда уехать.

Дороти. Я не боюсь обстрела. Ты это знаешь.

Филип. Дело не в обстреле.

Дороти. А тогда в чем же дело, милый? Я тебе не нравлюсь? А я так хотела, чтоб тебе было хорошо со мной.

Филип. Как мне заставить тебя уехать?

Дороти. Никак. Я не уеду.

Филип. Я тебя перевезу в «Викторию».

Дороти. Ты меня не перевезешь в «Викторию».

Филип. Если б я только мог разговаривать с тобой.

Дороти. А почему ты не можешь?

Филип. Я ни с кем не могу разговаривать.

Дороти. Милый, это у тебя просто торможение. Тебе нужно пойти к специалисту по психоанализу, и он тебя мигом приведет в норму. Это очень просто и даже увлекательно.

Филип. Ты безнадежна. Но ты очень красива. Я заставлю тебя уехать.

Он ставит иголку на пластинку и подкручивает завод.

Если я сегодня скучный, извини.

Патефон играет. В это время у двери номера 110, где горничная продолжает собирать вещи, а Уилкинсон сидит на прежнем месте, остановился человек. На нем берет и плащ, и, прислонившись к косяку, чтобы удобнее было целиться, он стреляет Уилкинсону в затылок из длинноствольного маузера. Горничная вскрикивает: «Ай!» — затем начинает плакать, закрыв лицо передником. Филип, услыхав выстрел, толкает Дороти на постель, а сам, с револьвером в правой руке, идет к двери и, пользуясь ею как прикрытием, смотрит в одну, потом в другую сторону; затем выходит в коридор и входит в соседнюю комнату. Увидя у него в руке револьвер, горничная снова вскрикивает.

Перестаньте.

Он подходит к Уилкинсону и приподнимает его голову; голова тотчас же снова падает.

Сволочи. А, сволочи.

Дороти вышла за ним и остановилась в дверях соседней комнаты. Он выталкивает ее обратно в коридор.

Уходи отсюда.

Дороти. Филип, что это?

Филип. Не смотри туда. Этот человек мертв. Его застрелили.

Дороти. Кто застрелил?

Филип. Может быть, он сам застрелился. Тебя это не касается. Уходи отсюда. Ты что, никогда не видела мертвое тело? Ты же все-таки военная корреспондентка. Уходи отсюда и садись писать статью. Это все тебя не касается. *(Обращаясь к горничной.)* Эти банки и бутылки заберите тоже, и поскорее. *(Начинает выбрасывать вещи из шкафа на кровать.)* *Все* сгущенное молоко. *Все* мясные консервы. *Весь* сахар. *Всю* лососину в томате. *Весь* одеколон. *Все* мыло. Уберите это отсюда. Придется вызвать полицию.

Занавес

АКТ II, СЦЕНА 1

Комната в штабе Сегуридад. Простой стол, на нем только лампа с зеленым абажуром. Ставни на окнах закрыты. За столом сидит невысокий человек с лицом аскета; у него тонкие губы, ястребиный нос, очень густые брови. На стуле у стола сидит Филип. В руках у человека с ястребиным носом карандаш. Перед столом сидит другой человек. Он глухо рыдает. Антонио (человек с ястребиным носом) внимательно смотрит на него. Это — 1-й боец из третьей сцены первого акта. Он с непокрытой головой, в одной рубашке; подтяжки расстегнуты и свисают вниз. При поднятии занавеса Филип встает и смотрит на 1-го бойца.

Филип *(усталым голосом)*. Я хочу задать вам еще один вопрос.

1-й боец. Не спрашивайте меня. Пожалуйста, не спрашивайте меня. Я не хочу, чтоб вы меня спрашивали.

Филип. Вы — заснули?

1-й боец *(задыхаясь)*. Да.

Филип *(очень усталым, безжизненным голосом)*. Вы знаете, что за это полагается?

1-й боец. Да.

Филип. Почему вы не сказали об этом сразу и не избавили нас от стольких хлопот? Я бы не расстрелял вас за это.

Вы меня удивляете. Что же, по-вашему, люди расстреливают людей ради удовольствия?

1-й б о е ц. Надо было сказать. Я боялся.

Ф и л и п. Да. Надо было сказать.

1-й б о е ц. Верно, товарищ комиссар.

Ф и л и п *(холодно, обращаясь к Антонио)*. Как вы думаете — он в самом деле заснул?

А н т о н и о. Откуда я могу знать? Вы хотите, чтобы я его допросил?

Ф и л и п. Нет, mi coronel, нет. Нам нужны сведения. Нам не нужны признания. *(1-му бойцу.)* Скажите, что вам снилось, когда вы заснули?

1-й б о е ц *(подавляет рыдания, колеблется, потом говорит)*. Не помню.

Ф и л и п. Постарайтесь вспомнить. Не торопитесь. Я просто хочу проверить. Только не лгите. Я все равно узнаю.

1-й б о е ц. Я уже вспомнил. Я стоял, прислонившись к стене, и крепко прижимал к себе винтовку. Да, я помню. *(Голос у него срывается.)* Мне... мне приснилось, что это мою девушку я обнимаю, и она что-то... что-то говорит мне. Я не помню что. Это был просто сон. *(Голос у него срывается.)*

Ф и л и п *(к Антонио)*. Вас это удовлетворяет?

А н т о н и о. Я не совсем понимаю.

Ф и л и п. Пожалуй, этого никто не понимает *совсем*, но я теперь убежден. *(1-му бойцу.)* Как зовут вашу девушку?

1-й б о е ц. Альма.

Ф и л и п. Хорошо. Когда будете ей писать, скажите, что она принесла вам счастье. *(К Антонио.)* Я лично считаю возможным отпустить его. Он читает «Дейли уоркер». Он знает Джо Норта. Он любит девушку, которую зовут Альма. Он на хорошем счету в бригаде, и он заснул на посту и упустил человека, который застрелил потом юношу по фамилии Уилкинсон, приняв его за меня. По-моему, ему нужно всякий раз давать хорошую порцию кофе, чтобы он не засыпал на посту и не обнимал девушек во сне. Слушайте, товарищ, если я был груб с вами при исполнении обязанностей — очень сожалею.

А н т о н и о. Я хотел бы задать несколько вопросов.

Ф и л и п. Слушайте, mi coronel. Если б вы считали меня непригодным к этим делам, вы бы мне их больше не поручали. Этот парень совершенно чист. Вы сами знаете, никого из нас нельзя назвать чистым в полном смысле слова. Но этот парень чист. Он просто заснул, а я ведь, знаете, не судья. Я просто работаю у вас ради идеи и ради Республики и тому подобное.

А у нас в Америке был президент по имени Линкольн, который смягчал приговоры часовым, заснувшим на посту и присужденным за это к расстрелу. Так вот, если вы не возражаете, давайте, так сказать, смягчим и этому приговор. Он, видите ли, из батальона Линкольна — а это очень хороший батальон. Это такой, черт возьми, замечательный батальон, и он столько сделал замечательных дел, что даже вы были бы потрясены, если бы я вам рассказал. И если бы я служил в этом батальоне, я бы радовался и гордился и не чувствовал бы того, что я чувствую, работая здесь. Но я не служу в этом батальоне. Я просто второразрядный полицейский, прикидывающийся третьеразрядным журналистом. Теперь вот что, товарищ Альма... *(Поворачиваясь к арестованному.)* Если вы еще когда-нибудь заснете на посту, выполняя мое задание, я сам пристрелю вас, понятно? Вы слышали? Так и напишите своей Альме.

Антонио звонит.
Входят два штурмгвардейца.

Антонио. Увести арестованного. Вы очень туманно говорите, Филип. Но мы вас достаточно знаем и доверяем вам.

1-й боец. Спасибо, товарищ комиссар.

Филип. Ох, не говорите вы никогда «спасибо» на войне. Ведь мы на войне. А на войне «спасибо» не говорят. Но, в общем, ладно. И когда будете писать Альме, скажите ей, что она принесла вам счастье.

1-й боец выходит в сопровождении штурмгвардейцев.

Антонио. Так, ну теперь дальше. Этот человек жил в номере сто седьмом и убил Уилкинсона, приняв его за вас,— а кто он такой?

Филип. Ну, этого я не знаю. Санта-Клаус, вероятно. Он значится под номером. Они все под номерами, от А1 до А10, потом от В1 до В10, потом от С1 до С10, и они убивают людей, и устраивают взрывы, и делают все то, что вы сами прекрасно знаете. И они работают изо всех сил, и нельзя сказать, чтоб от этого получался большой толк. Но они убивают много людей, которых вовсе не следовало бы убивать. Вся беда в том, что они очень крепко сорганизованы, по системе старой кубинской АВС, и пока не поймаешь того, с кем они связаны вне Мадрида, проку не будет. Это все равно, что вскрывать фурункул за фурункулом, вместо того чтобы пить дрожжи по системе Флейшмана. Слушайте, вы меня останавливайте, если я очень начну путать.

Антонио. А почему было просто не взять этого человека силой?

Филип. Потому что нельзя поднимать слишком много шуму, чтобы не спугнуть остальных, которые гораздо важнее. Этот — всего только убийца.

Антонио. Да. В этом городе с миллионным населением еще немало осталось фашистов, и они ведут работу изнутри. Те, у кого хватает на это смелости. Их, должно быть, не меньше двадцати тысяч.

Филип. Больше. Вдвое больше. Слушайте — эта работа, которую мы сейчас ведем. Ее как-то глупо называют — контрразведка. Вас она никогда не мучает?

Антонио *(просто)*. Нет.

Филип. А меня мучает, уже давно.

Антонио. Но ведь вы совсем недавно на этой работе.

Филип. Целых двенадцать месяцев в одной только Испании, Тонико. А до того — на Кубе. Вы когда-нибудь бывали на Кубе?

Антонио. Да.

Филип. Там я втянулся в это.

Антонио. Как же это вы втянулись?

Филип. Понимаете, кое-кто по неосторожности стал доверять мне. И, может быть, именно потому, что это было неосторожно, мне пришлось научиться оправдывать доверие. Знаете, ничего особенного, но просто в известной степени оправдывать доверие. Ну, потом так оно и выходит. Тебе доверяют кое-что, и ты все делаешь как следует. А потом начинаешь верить в это. В конце концов начинаешь, пожалуй, даже любить это. Кажется, я не очень хорошо объясняю.

Антонио. Вы хороший товарищ. Вы хорошо работаете. Вам очень доверяют.

Филип. Слишком, черт возьми. А я устал, и я вконец измучен. Знаете, чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось никогда, во всю свою жизнь, не убивать больше ни одного человека, все равно кого и за что. Мне бы хотелось никогда не лгать. Мне бы хотелось знать, кто лежит рядом, когда я просыпаюсь утром. Мне бы хотелось целую неделю подряд просыпаться в одном и том же месте. Мне бы хотелось жениться на девушке по фамилии Бриджес, вы ее не знаете. Но позвольте мне назвать ее фамилию, потому что мне это приятно. И мне потому хотелось бы жениться на ней, что у нее самые длинные, стройные и красивые ноги в мире, и я могу не слушать ее, если она говорит

глупости. Но мне бы очень хотелось посмотреть, какие были бы дети.

Антонио. Это та высокая блондинка, которая живет с американским корреспондентом?

Филип. Не говорите о ней так. Она не высокая блондинка, которая живет с каким-то корреспондентом. Она — моя девушка. А если я слишком много болтаю и отнимаю у вас драгоценное время, не стесняйтесь, прервите меня. Вы знаете, я ведь редкий экземпляр. Я могу говорить и по-английски и по-американски. Вырос я в одной стране, воспитывался в другой. Это — мой хлеб.

Антонио *(успокаивающе)*. Знаю. Вы устали, Филип.

Филип. Вот сейчас я говорю по-американски. У Бриджес та же самая история. Только я не уверен, умеет ли она говорить по-американски. Понимаете, она изучала язык в колледже, но знаете, что самое смешное,— хотите, я вам скажу. Мне нравится слушать, как она говорит. *Что* она говорит, до этого мне дела нет. Я сейчас размяк, понимаете. Я с самого завтрака капли в рот не брал, но я гораздо пьянее, чем после выпивки, а это скверный признак. Ничего, что один из ваших оперативных работников размяк, mi coronel?

Антонио. Вам нужно лечь. Вы очень устали, Филип, а работы впереди еще много.

Филип. Верно. Я очень устал, а работы впереди много. Я должен встретиться у Чикоте с одним товарищем. Его зовут Макс. Да, это не преувеличение, работы впереди много. Макс, вы его, конечно, знаете, фамилии он не носит, так что сразу ясно, что это не простой человек, а моя фамилия Ролингс, как и была, когда я начинал. Из чего вы можете заключить, что я не очень далеко продвинулся в этом деле. О чем я говорил?

Антонио. О Максе.

Филип. Макс. Да, да. Макс. Так вот, он должен был приехать еще вчера. Он уже две недели лавирует или — как это лучше сказать? — курсирует в фашистском тылу. Это его специальность. И он говорит, а он не лжет. А я лгу. Но сейчас — нет. Но как бы там ни было, а я очень устал, понимаете, и мне претит моя работа, и я издергался, как сукин сын, потому что я нервничаю, а нервничаю я не часто.

Антонио. Продолжайте. Только поменьше темперамента.

Филип. Он говорит,— это Макс говорит, хотел бы я знать, где он сейчас, этот чертов Макс,— что он обнаружил одно место, один наблюдательный пункт, понимаете? Там смотрят, куда попадают снаряды, и сообщают, если неверно, понимаете?

Ну вот, один такой пункт. И он говорит, что туда приходит командир артиллерийской части, которая обстреливает город, немец, и с ним один бесподобный político. Понимаете, настоящий музейный экземпляр. Тоже приходит туда. Вот Макс и думает. А я думаю, что он спятил. Но он умеет думать лучше меня. Я думаю быстрее, но он лучше. Что мы можем захватить эту пару. Теперь вы, пожалуйста, слушайте меня очень внимательно, mi coronel, и в случае чего тут же поправляйте меня. По-моему, это все очень уж романтично. Но Макс говорит,— а он немец и очень практичен, и ему отправиться к фашистам в тыл все равно что другому сходить в парикмахерскую. Так вот, он говорит, что это вполне можно сделать. И я решил. Я сейчас совсем пьяный, оттого что так долго ничего не пил. Что, если мы пока отложим другие задания и попробуем доставить вам эту пару? От немца нам едва ли будет много проку, но его можно выгодно обменять, и потом, это почему-то очень уж нравится Максу. Но за того político вы нам скажете спасибо, mi coronel. Потому что это страшный человек. Я серьезно говорю, страшный. Понимаете, он — вне города. Но он знает тех, которые в городе. И вам стоит только заставить его говорить — и вы тоже будете знать тех, которые в городе. Потому что они все держат с ним связь. Я слишком много говорю, да?

Антонио. Филип!

Филип. Да, mi coronel?

Антонио. Филип, идите сейчас к Чикоте, выпейте как следует и потом делайте свое дело. А в случае чего сейчас же дайте мне знать, лично или по телефону.

Филип. А как мне говорить, mi coronel, по-английски или по-американски?

Антонио. Как хотите. Не говорите только глупостей. Ну, а теперь уходите, потому что хоть мы и друзья и я вас очень люблю, но у меня еще много дела. Слушайте, это все верно, про этот наблюдательный пункт?

Филип. Абсолютно.

Антонио. Тогда это интересно.

Филип. Но очень фантастично, правда? Ужасно фантастично, mi coronel.

Антонио. Вам пора, Филип, идите.

Филип. Значит, все равно, как говорить,— по-английски или по-американски?

Антонио. Довольно разговоров. Идите.

Филип. Тогда я лучше буду говорить по-английски. Черт, по-английски мне гораздо легче лгать, даже обидно.

Антонио. Идите. Идите. Идите.

Филип. Слушаю, mi coronel. Спасибо за поучительную беседу. Я сейчас прямо к Чикоте. *(Отдает честь, смотрит на часы и выходит.)*

Антонио за столом, смотрит ему вслед. Затем звонит. Входят два штурмгвардейца и отдают честь.

Антонио. Приведите арестованного, которого вы отсюда взяли. Я хочу поговорить с ним с глазу на глаз.

Занавес

АКТ II, СЦЕНА 2

Угловой столик в баре Чикоте. Это первый столик справа от двери. Дверь и окно на три четверти забаррикадированы мешками с песком. За столиком сидят Филип и Анита. К столику подходит официант.

Филип. Осталось еще виски?

Официант. Только джин остался.

Филип. Хороший джин?

Официант. Желтый, от Бута. Самый лучший.

Филип. И пива дайте.

Анита. Больше не любишь?

Филип. Нет.

Анита. Большой ошибка эта большой блондинка.

Филип. Большой блондинка?

Анита. Длинный, большой блондинка. Высокий, как башня. Большой, как лошадь.

Филип. Золотистая, как пшеничное поле.

Анита. Ошибка. Большой женщина. Большой ошибка.

Филип. С чего ты взяла, что она такая большая?

Анита. Не большой? Большой, как танк. Подожди, когда будешь сделать ей ребенок. Не большой? Как грузовик «студебеккер».

Филип. Как у тебя хорошо выходит «студебеккер».

Анита. Да. Самый лучший английский слово. «Студебеккер». Красиво. Почему не любишь?

Филип. Не знаю, Анита. Понимаешь ли, все меняется. *(Смотрит на часы.)*

Анита. Я не менялся. Раньше тебе нравился.

Филип. Знаю.

Анита. Раньше нравился. Опять понравится. Надо только стараться.

Филип. Знаю.

Анита. Когда есть что-нибудь хороший, не надо уходить. Эта большой женщина — много хлопот. Я знаю. Я сама долго был такой.

Филип. Ты умница, Анита.

Анита. Может быть, это потому, что люди меня ругал, зачем я кусал мистер Вернон?

Филип. Нет. Конечно, нет.

Анита. Я бы много дал это не делать.

Филип. Об этом уже давно забыли.

Анита. Ты знаешь, почему я кусал? Все знают, я кусал, а никто не спросит почему?

Филип. Ну, почему?

Анита. Он хотел взять из мой чулок триста песет. Что мне делать? Говорить «да, да, бери, пожалуйста»? Нет, я кусал.

Филип. Правильно.

Анита. Ты так думаешь? Правда?

Филип. Правда.

Анита. Ты хороший. Слушай, ты теперь не будешь делать ошибка с большой блондинка?

Филип. Знаешь, Анита,— боюсь, что буду. Боюсь, что в этом-то вся беда. Мне ужасно хочется сделать колоссальную ошибку. *(Он подзывает официанта, смотрит на свои часы. Официанту.)* Который час на ваших?

Официант *(смотрит на стенные часы над стойкой и на ручные часы Филипа.)* Ваши верны.

Анита. Вот и будет колоссальный.

Филип. Ты ревнуешь?

Анита. Нет. Только ненавижу. Вчера вечером я старался любить. Я говорил о'кей, все товарищи. Идет большой стрельба. Может всех убивать. Надо все со всеми товарищи. Трубка мира. Не думай о себе. Не будь эгоист. Люби врага, как себя. Все эти глупости.

Филип. Да, это было ужасно.

Анита. Такой глупости только можно до утра. А как проснулся, я сразу — ненавидеть эта женщина.

Филип. Не надо, Анита.

Анита. Что ей нужно от тебя? Она брать мужчина, как цветы рвать. От скука. Просто рвать цветы и поставить в комната. Ты ей нравился, потому что ты тоже большой. Слушай, мне ты нравился, даже если карлик.

Филип. Ну, ну, Анита. Не увлекайся.

Анита. Слушай хорошо. Ты мне нравился, все равно, если больной. Все равно, если старый и урод. Все равно, если горбатый.

Филип. Горбуны — счастливые.

Анита. Ты мне нравился, если несчастный горбун. Ты мне нравился, если нет деньги. Тебе нужно деньги? Я буду тебе давать.

Филип. Вот, кажется, единственное, чего я не пробовал на этой работе.

Анита. Я не в шутку. Я серьезно. Филип, не надо блондинка. Ты приходи назад, где для тебя о'кей.

Филип. Боюсь, что не выйдет, Анита.

Анита. Попробуй. Ничего не менялся. Раньше нравился, опять понравится. Всегда так, когда мужчина — настоящий мужчина.

Филип. А я, вот видишь, переменился. Я и сам не рад.

Анита. Ты не менялся. Я тебя знаю хорошо. Я тебя знаю давно. Такие, как ты,— не меняться.

Филип. Все люди меняются.

Анита. Неправда. Устать, да. Уходить, да. Пошататься, да. Сердиться, да, да. Обижать, да, очень много. Меняться? Нет. Только новый привычка. Это привычка, больше ничего. И всегда так, одинаково.

Филип. Я понимаю. Это верно. Но, видишь ли, встреча с кем-нибудь из своих — это выбивает из колеи.

Анита. Она не свой. Не такой, как ты. Это другой порода.

Филип. Нет, это та же порода.

Анита. Слушай, эта большой блондинка уже делал тебя сумасшедший. Ты уже не думать правильно. Она похож на тебя, как краска похож на кровь. Посмотреть — одинаковый. Может быть, кровь. Может быть, краска. Хорошо. Наливай краска в тело вместо кровь. Что будет? Американский женщина.

Филип. Ты несправедлива к ней, Анита. Пусть она ленива, избалована, даже глупа и страшная эгоистка. Но она очень красивая, очень милая, очень привлекательная и даже честная — и, безусловно, храбрая.

Анита. О'кей. Красивый? Зачем тебе красота, когда ты свое уже получил. Я тебя знаю хорошо. Милый? О'кей; может быть, милый, может быть, и не милый. Привлекательный? Да. Она привлекать, как змея кролик. Честный? Ты меня смешил. Ха-ха-ха! Честный, пока не доказывал, что нечестный. Храбрый? Храбрый? Ты опять меня смешил до слез. Храбрый! Вот

я смеюсь. Хо-хо-хо! О чем ты думал в эта война, если не видишь, кто храбрый и кто просто не понимать опасность. Храбрый... Вот так. *(Встает из-за стола и хлопает себя по заду.)* Вот. А теперь я ушел.

Филип. Ты очень строго о ней судишь.

Анита. Строго? Я бы бросал гранату в постель, где она спать, сию минуту. Я говорю правда. Вчера вечером я старался. Все эти глупости. Приносить жертва. Уступить. Ты знаешь. Теперь только одно — и самое лучшее. Ненавижу. *(Уходит.)*

Филип *(официанту)*. Меня не спрашивал товарищ из Интернациональной бригады? Зовут его Макс. У него лицо изуродовано, вот тут. *(Показывает рукой на рот и подбородок.)* Передних зубов нет. И десны черные, там, где жгли каленым железом. А здесь шрам. *(Проводит пальцем по нижней челюсти.)* Не видели такого товарища?

Официант. Такого здесь не было.

Филип. Если такой товарищ придет, попросите его зайти в отель.

Официант. В какой отель?

Филип. Он знает в какой. *(Выходит, в дверях оглядывается.)* Скажите ему, что я пошел его искать.

Занавес

АКТ II, СЦЕНА 3

Декорация та же, что в сцене 3 акта I. Два смежных номера 109 и 110 в отеле «Флорида». Уже темно, и занавеси задернуты. В номере 110 темно, и там никого нет. Номер 109 ярко освещен: горит настольная лампа, люстра на потолке и лампочка, прикрепленная к спинке кровати. Включены и рефлектор и плитка. Дороти Бриджес в закрытом свитере, суконной юбке, шерстяных чулках и мягких сапожках что-то варит в кастрюле с длинной ручкой. В приоткрытые занавесями окна проникает далекий гул орудий. Дороти звонит. На звонок никто не является. Она звонит еще раз.

Дороти. Ох, чтоб его, этого монтера. *(Подходит к двери и открывает ее)*. Петра! Петра!

Слышны приближающиеся шаги горничной. Она показывается в дверях.

Петра. Да, сеньорита?

Дороти. Где монтер, Петра?

Петра. Разве вы не знаете?

Дороти. Нет. А что? Пусть он придет починить звонок.

Петра. Он не может прийти, сеньорита, потому что его нет в живых.

Дороти. Что такое?

Петра. Он был убит вчера вечером, он вышел на улицу во время обстрела.

Дороти. Он вышел на улицу во время обстрела?

Петра. Да, сеньорита. Он шел домой. Он немного выпил.

Дороти. Несчастный!

Петра. Да, сеньорита, это ужасно.

Дороти. А как он был убит?

Петра. Говорят, кто-то стрелял в него из окна. Я не знаю. Так говорят.

Дороти. Кто же станет стрелять из окна?

Петра. Они всегда стреляют из окон по ночам во время канонады. Пятая колонна. Те люди, которые воюют против нас в самом городе.

Дороти. А зачем им понадобилось убивать его? Ведь он был простой рабочий.

Петра. Они и видели, что он рабочий,— по одежде.

Дороти. Ну конечно, Петра.

Петра. Потому-то они его и убили. Они наши враги. Даже мои враги. Если бы меня убили, они бы радовались. Они бы думали: одной рабочей душой меньше.

Дороти. Но ведь это ужасно.

Петра. Да, сеньорита.

Дороти. Это же отвратительно. Значит, они стреляют в людей, даже не зная, в кого они стреляют?

Петра. Ну да. Они наши враги.

Дороти. Это ужасные люди.

Петра. Да, сеньорита.

Дороти. А где мы возьмем монтера?

Петра. Завтра мы найдем кого-нибудь. Но сейчас никто не придет. Вы лучше не жгите столько света, сеньорита, а то как бы пробки не перегорели. Оставьте только одну лампу.

Дороти гасит все лампы, кроме лампочки у кровати.

Дороти. Так мне даже не видно, что из моей стряпни выходит. Пожалуй, это и лучше. На банке не сказано, можно это греть или нет. Вот гадость, должно быть, получится!

Петра. А что у вас там варится, сеньорита?

Дороти. Не знаю, Петра. Этикетки не было.

Петра *(заглядывая в кастрюлю)*. Похоже на кролика.

Дороти. Если похоже на кролика, значит, это кошка. Но

только какой смысл укладывать кошатину в банку и посылать сюда из Парижа? Возможно, конечно, что это приготовили в Барселоне, потом отправили в Париж, а потом привезли сюда. Как вы думаете, Петра, это кошка?

Петра. Если это приготовили в Барселоне, одному богу известно, что это.

Дороти. Ох, и надоело же мне с этим возиться. Петра, возьмите вы и сварите.

Петра. Хорошо, сеньорита. А что сюда прибавить?

Дороти *(берет книгу, подходит к кровати и ложится)*. Что хотите. Откройте первую попавшуюся банку.

Петра. Это для мистера Филипа?

Дороти. Если он придет.

Петра. Мистеру Филипу не понравится первое попавшееся. Нужно быть поосторожнее, если это для мистера Филипа. Он уже раз швырнул на пол поднос с завтраком.

Дороти. А почему, Петра?

Петра. Он что-то прочел в газете.

Дороти. Должно быть, про Идена. Он ненавидит Идена.

Петра. Все равно, это было очень нехорошо. Я сказала ему, что он не имеет права. No hay derecho, я сказала ему.

Дороти. А он что?

Петра. Помог мне подобрать все, а потом хлопнул меня вот так, когда я стояла нагнувшись. Сеньорита, мне не нравится, что он в соседней комнате. Он вам не пара.

Дороти. Я люблю его, Петра.

Петра. Сеньорита! Пожалуйста, не надо. Сеньорита, он нехороший. Я не говорю, что он злой человек. Но он нехороший.

Дороти. По-вашему, он противный?

Петра. Нет, не противный. Противный — это грязный. А он очень чистый. Всегда принимает ванну, даже когда нет горячей воды. В самый мороз и то ноги моет. А все-таки, сеньорита, он нехороший. И вы не будете счастливы с ним.

Дороти. Петра, я еще никогда ни с кем не была так счастлива, как с ним.

Петра. Сеньорита, это ничего не значит.

Дороти. Как это так, ничего не значит?

Петра. Здесь любой мужчина это умеет.

Дороти. Вы просто нация хвастунов. Сейчас пойдут рассказы про конкистадоров и тому подобное.

Петра. Я только хотела сказать, что нехорошие мужчины все здесь такие. Случается, конечно, что и хороший человек

таким бывает, настоящий хороший человек, как мой покойный муж. Но нехорошие — все такие.

Дороти. Да, на словах.

Петра. Нет, сеньорита.

Дороти *(заинтересованно)*. Неужели в самом деле...

Петра *(грустно)*. Да, сеньорита.

Дороти. И вы думаете, что мистер Филип в самом деле нехороший человек?

Петра *(серьезно)*. Ужасный!

Дороти. Ох, где же это он пропадает?

Из коридора доносится топот тяжелых башмаков. Филип и три бойца в форме Интернациональной бригады входят в номер 110, и Филип зажигает свет. Филип — без шляпы, промокший, растрепанный. Один из бойцов — Макс, человек с изуродованным лицом. Он весь в грязи; войдя в комнату, он садится верхом на стул, складывает руки на спинке и опускает на них подбородок. Такое лицо не часто встретишь. У одного из бойцов через плечо висит автомат. У другого на поясе парабеллум в деревянной кобуре.

Филип. Эти две комнаты нужно изолировать от коридора. Всех, кто захочет меня видеть, вы сами введете сюда. Сколько людей внизу?

Боец с автоматом. Двадцать пять.

Филип. Вот ключ от номера сто восемь и сто одиннадцать. *(Дает каждому по ключу.)* Двери откройте и стойте на пороге, чтобы следить за коридором. Нет, лучше возьмите каждый по стулу и садитесь в дверях. Ну, вот. Ступайте, товарищи!

Они отдают честь и выходят. Филип подходит к бойцу с изуродованным лицом. Кладет ему руку на плечо. Публике видно было, что он заснул, но Филип этого не знает.

Макс!

Макс, проснувшись, смотрит на Филипа, улыбается.

Очень трудно было, Макс?

Макс смотрит на него, снова улыбается и качает головой.

Макс. Nicht zu schwer [1].

Филип. Ну, когда же он там бывает?

Макс. По вечерам, во время обстрела.

Филип. А где именно это?

Макс. На крыше одного дома на Эстремадурской дороге. Там есть башенка.

---

[1] Не слишком трудно *(нем.)*.

Филип. Я думал — на Гарабитас.

Макс. И я так думал.

Филип. А когда будет очередной обстрел?

Макс. Сегодня ночью.

Филип. В котором часу?

Макс. Viertel nach zwölf [1].

Филип. Ты уверен?

Макс. Ты бы посмотрел на снаряды. Все приготовлено. Порядку у них немного. Если бы не мое лицо, я мог бы остаться и обслуживать орудие. Может быть, меня зачислили бы в часть.

Филип. Где ты переоделся? Я повсюду искал тебя.

Макс. В пустом доме в Карабанчеле. Там их больше сотни на участке, который никем не занят, выбирай любой. Сто четыре, кажется. Между нашими и их позициями. Было нетрудно. Солдаты — все молодежь. Только если бы офицер увидел мое лицо... Офицеры знают, откуда выходят с такими лицами.

Филип. Ну, так как же?

Макс. По-моему, идти сегодня в ночь. Чего дожидаться?

Филип. Как дорога?

Макс. Грязно.

Филип. Сколько тебе нужно людей?

Макс. Ты да я. Или кого ты пошлешь со мной.

Филип. Я пойду.

Макс. Отлично. А теперь, не принять ли ванну?

Филип. Правильно! Валяй.

Макс. А потом я немного посплю.

Филип. В котором часу выйдем?

Макс. В половине десятого.

Филип. Тогда ложись спать.

Макс. Ты меня разбудишь? *(Идет в ванную.)*

Филип выходит из комнаты, закрывает за собой дверь и стучит в дверь номера 109.

Дороти *(с кровати)*. Войдите!

Филип. Здравствуй, дорогая.

Дороти. Здравствуй.

Филип. Ты стряпаешь?

Дороти. Стряпала, но мне надоело. Ты голоден?

Филип. Как волк.

---

[1] В четверть первого *(нем.)*.

Дороти. Вон там стоит кастрюля. Включи плитку, подогреется.

Филип. Что с тобой, Бриджес?

Дороти. Где ты был?

Филип. Просто ходил по городу.

Дороти. Зачем?

Филип. Просто так.

Дороти. Ты оставил меня одну на целый день. С самого утра, как только убили этого несчастного мальчишку, ты ушел и оставил меня одну. Я целый день просидела тут, дожидаясь тебя. Никто даже не заходил ко мне, кроме Престона, да и тот вел себя так, что мне пришлось его выставить. Где ты был?

Филип. Просто так, шатался.

Дороти. У Чикоте?

Филип. Да.

Дороти. А эту противную марокканку видел?

Филип. Кого, Аниту? Видел. Она тебе кланяется.

Дороти. Она ужасная. Можешь оставить ее поклоны при себе.

Филип положил себе на тарелку немного содержимого кастрюли и пробует.

Филип. Ого! Что это такое?

Дороти. Не знаю.

Филип. Да! Вот это кушанье. Ты сама готовила?

Дороти *(неуверенно)*. Сама. Тебе нравится?

Филип. Я не знал, что ты умеешь так вкусно готовить.

Дороти *(смущенно)*. Тебе правда нравится?

Филип. Очень! Только с какой стати ты напихала сюда килек?

Дороти. Черт бы побрал эту Петру! Не ту банку открыла!

В дверь стучат. В коридоре стоит управляющий. Его крепко держит за плечо боец с автоматом.

Боец с автоматом. Товарищ говорит, что хочет видеть вас.

Филип. Спасибо, товарищ. Пусть войдет.

Боец с автоматом отпускает управляющего и отдает честь.

Управляющий. Сущая безделица, мистер Филип. Проходя по коридору, почувствовал запах жареного — учтите обостренное голодом обоняние — и остановился. Немедленно был

схвачен этим товарищем. Все в порядке, мистер Филип. Сущая безделица. Не беспокойтесь. Bien provecho, мистер Филип. Приятного аппетита, мадам!

Филип. Вы пришли очень кстати. У меня есть кое-что для вас. Возьмите вот это. *(Хватает кастрюлю, тарелку, вилку, ложку и отдает управляющему.)*

Управляющий. Мистер Филип. Нет. Я не могу это взять.

Филип. Camarada филателист, вы должны.

Управляющий. Нет, нет, мистер Филип. *(Берет.)* Я не могу. Я тронут до слез. Никак не могу. Это слишком много!

Филип. Camarada, ни слова больше.

Управляющий. Сердце мое тает в груди, мистер Филип,— от глубины чувствительного сердца приношу благодарность. *(Выходит, держа в одной руке тарелку, в другой кастрюлю.)*

Дороти. Филип, не сердись на меня.

Филип. С твоего разрешения, я выпью виски с чистой водой. А потом, может быть, ты откроешь банку тушеного мяса и нарежешь луку?

Дороти. Ох, Филип, милый, я не выношу запаха лука.

Филип. Думаю, сегодня ночью нам это не помешает.

Дороти. Как, разве тебя здесь не будет?

Филип. Мне придется уйти.

Дороти. Куда?

Филип. С приятелями.

Дороти. Я знаю, что это значит.

Филип. Неужели?

Дороти. Да. Слишком хорошо знаю.

Филип. Мерзко, правда?

Дороти. Отвратительно! Глупо и отвратительно, на что ты тратишь свое время и свою жизнь.

Филип. В мои-то годы и с моими способностями.

Дороти. Как тебе не стыдно уходить, когда мы могли опять так хорошо провести вечер.

Филип. Просто свинство, правда?

Дороти. Филип, почему тебе не остаться? Можешь пить виски и вообще делать, что тебе угодно. Я буду веселая, буду заводить патефон и даже выпью с тобой — все равно, пусть завтра голова трещит. Если хочешь, чтобы был народ, позовем кучу народа. Пусть будет шумно и накурено, все, что ты хочешь. Не надо уходить, Филип!

Филип. Иди, поцелуй меня! *(Обнимает ее.)*

Дороти. И не ешь луку, Филип. Если ты не будешь есть луку, я буду больше уверена в тебе.

Филип. Ладно. Не буду есть луку. Может, у тебя найдется кетчуп?

В дверь стучат. Боец с автоматом опять ведет управляющего.

Боец с автоматом. Этот товарищ опять пришел.

Филип. Спасибо, товарищ. Пусть войдет.

Боец с автоматом отдает честь и уходит.

Управляющий. Я только зашел сказать, что отлично понимаю шутки, мистер Филип. Чувство юмора и тому подобное. *(Грустно.)* Только пища в наше время — неподходящий предмет для шуток. Если подумать,— также и для порчи. Но это не важно. Я понимаю шутки.

Филип. Возьмите эти банки. *(Достает из шкафа мясные консервы.)*

Дороти. Чьи это консервы?

Филип. Очевидно, твои.

Управляющий. Благодарю вас, мистер Филип. Превосходная шутка. Ха-ха! Слишком дорогая, пожалуй. Но благодарю вас, мистер Филип. Благодарю вас, мисс. *(Уходит.)*

Филип. Слушай, Бриджес. *(Обнимает ее.)* Не сердись, что я сегодня такой несговорчивый.

Дороти. Милый, я хочу только одного — чтобы ты не уходил. Я хочу, чтобы у нас было хоть немного по-семейному. Здесь хорошо. Я могу убрать твою комнату, там станет уютно.

Филип. Сегодня утром там было не очень уютно.

Дороти. Я так уберу ее, что тебе приятно будет жить в ней. Я поставлю тебе удобное кресло, и настольную лампу, и полку с книгами, и картины повешу. Право же, я очень хорошо все устрою. Пожалуйста, останься сегодня дома, и ты увидишь, как будет хорошо.

Филип. Завтра останусь.

Дороти. А почему не сегодня, милый?

Филип. Такой уж сегодня беспокойный вечер, хочется, знаешь, погулять, потолкаться среди людей. А кроме того, у меня свидание с одним человеком.

Дороти. В котором часу?

Филип. В четверть первого.

Дороти. Ну, после приходи.

Филип. Ладно.

Дороти. Когда ни вернешься, все равно приходи.

Филип. Серьезно?

Дороти. Да. Пожалуйста.

Он обнимает ее. Гладит по волосам. Закидывает ей голову и целует. Снизу доносятся крики и пение. Слышно, как поют «Песню партизан». Песню поют всю, до конца.

Хорошая песня.

Филип. Тебе и не понять, какая это хорошая песня.

Слышно, как поют «Bandiera Rossa».

А эту знаешь?

Он сидит на краю постели.

Дороти. Да.

Филип. Лучшие люди, которых я знал, умирали за эту песню.

В соседней комнате боец с изуродованным лицом лежит на кровати и спит. Во время их разговора он вышел из ванной, высушил одежду, счистил с нее грязь и лег на кровать. Свет лампы падает на его лицо.

Дороти. Филип, Филип, ну пожалуйста, Филип.

Филип. Знаешь ли, я сегодня не в настроении.

Дороти *(разочарованно)*. Вот это хорошо. Вот это мило. Но я ведь только прошу, чтобы ты остался. Просто останься дома, и мы посидим тихо, уютно, по-семейному.

Филип. Мне нужно идти. Правда.

Внизу поют «Коминтерн».

Дороти. Вот это всегда играют на похоронах.

Филип. А поют не только на похоронах.

Дороти. Филип, ну не уходи!

Филип *(обнимая ее)*. До свидания.

Дороти. Нет, нет. Не уходи. Я тебя прошу.

Филип *(вставая)*. Слушай, перед тем как ложиться, открой оба окна. А то ночью, если будет обстрел, стекла лопнут.

Дороти. Не уходи, Филип. Не уходи!

Филип. Salud, camarada.

Он не поднимает кулак. Идет в соседнюю комнату. Внизу опять поют «Партизан». Филип в номере 110 смотрит на спящего Макса; затем подходит к нему и будит.

Макс!

Макс, мгновенно проснувшись, озирается, мигает от яркого света и улыбается.

Макс. Пора?

Филип. Да. Выпить хочешь?

Макс *(встает с постели, улыбается и ощупывает свои сапоги, которые сохли перед электрическим камином)*. Очень даже.

Филип наливает виски в два стакана и тянется за графином.

Не подливай воды, жалко портить.

Филип. Salud.

Макс. Salud.

Филип. Идем.

Внизу бойцы поют «Интернационал». Пока занавес опускается, Дороти Бриджес в номере 109 лежит на постели и плачет, обхватив подушку руками.

Занавес

АКТ II, СЦЕНА 4

Декорация сцены 3, но время — 4.30 утра. В обеих комнатах темно. Дороти Бриджес спит на своей кровати. Макс и Филип идут по коридору, Филип отпирает дверь номера 110 и зажигает свет. Они смотрят друг на друга. Макс качает головой. Оба так покрыты грязью, что их почти нельзя узнать. Филип идет в ванную. Потом выходит.

Филип. Ну что ж, в другой раз.

Макс. Мне очень жаль.

Филип. Ты не виноват. Ты первый пойдешь в ванну?

Макс *(садится и кладет голову на руки)*. Ступай ты первый. Я очень устал.

Филип идет в ванную. Потом выходит.

Филип. Горячей воды нет. Единственное, ради чего мы живем в этой проклятой мышеловке, это горячая вода,— так теперь и ее нет!

Макс *(совсем сонный)*. Мне очень грустно, что сорвалось. Я был уверен, что приедут. Кто ж их знал, что они не приедут.

Филип. Раздевайся и ложись спать. Ты разведчик, каких мало, ты отлично это знаешь. Никто бы не сделал того, что делаешь ты. Не твоя вина, если они отменили обстрел.

Макс *(силы его окончательно истощены)*. Спать хочу. Даже голова кружится, так спать хочу.

Филип. Давай я уложу тебя. *(Снимает с него сапоги, помогает раздеться. Потом укладывает на кровать.)*

Макс. Хорошо в постели. *(Обнимает подушку и раскидывает ноги).* Я всегда сплю, уткнув лицо в подушку, по крайней мере утром никто не пугается.

Филип *(у двери ванной).* Располагайся поудобнее. Я переночую в другом месте.

Филип входит в ванную, слышно, как он там полощется. Он выходит в пижаме и халате, окрывает дверь в смежную комнату, пролезает под плакатом, подходит к кровати и ложится.

Дороти *(в темноте).* Милый, сейчас поздно?

Филип. Около пяти.

Дороти *(очень сонная).* Где ты был?

Филип. В гостях.

Дороти *(все еще в полусне).* А свидание состоялось?

Филип *(переворачивается на другой бок, так что они лежат спина к спине).* Он не пришел.

Дороти *(очень сонная, но ей не терпится сообщить новость).* А обстрела не было, милый.

Филип. Вот и хорошо!

Дороти. Спокойной ночи, милый.

Филип. Спокойной ночи.

В открытое окно доносится отдаленная пулеметная дробь: поп-поп-поп. Они лежат очень тихо, потом слышен голос Филипа.

Бриджес, ты спишь?

Дороти *(совсем сонная).* Нет, милый; я не буду спать, если...

Филип. Я хочу тебе кое-что сказать.

Дороти *(сонная).* Да, дорогой?

Филип. Я хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, у меня мурашки, а во-вторых — я тебя люблю.

Дороти. Бедненький мой Филип.

Филип. Я никогда никому не говорю, когда у меня мурашки, и никогда никому не говорю, что люблю. Но я люблю тебя, понимаешь? Ты меня слышишь? Ты чувствуешь, что я здесь? Ты слышишь, как я это говорю?

Дороти. А я тебя тоже люблю. С тобой хорошо. Ты как снежный буран, только снег не холодный и не тает.

Филип. Днем я тебя не люблю. Днем я никого и ничего не люблю. Слушай, я вот что еще хочу сказать. Хочешь выйти

за меня замуж, или просто всегда быть со мной, и ездить со мной повсюду, и быть моей любимой? Ты слышишь, я это говорю. Видишь, вот я и сказал.

Дороти. Лучше замуж, милый.

Филип. Да-а. Странные вещи я говорю по ночам, правда?

Дороти. Я бы хотела, чтоб мы поженились и много работали и чтобы у нас была хорошая жизнь. Знаешь, я вовсе не такая глупая, как кажется, а то бы я не была здесь. И я работаю, когда тебя нет. Только вот готовить не умею. Но ведь в нормальных условиях для этого нанимают прислугу. Ох, ты! Мне нравится, что у тебя такие широкие плечи, и походка, как у гориллы, и такое чудно́е лицо.

Филип. Мое лицо станет много чуднее к тому времени, как я закончу свою работу.

Дороти. Ну, как мурашки, милый? Проходят? Хочешь, расскажи мне про твои мурашки.

Филип. А ну их к черту. У меня они так давно, что, если они совсем пройдут, мне чего-то будет недоставать. Я еще одну вещь хочу сказать тебе. *(Говорит очень медленно.)* Я хотел бы жениться на тебе, и уехать, и бросить все это. Я это сказал? Ты слышала?

Дороти. Ну что ж, милый, так и будет.

Филип. Нет, не будет. Даже сейчас, ночью, я знаю, что этого не будет. Но мне приятно это говорить. Я люблю тебя. Черт, ах, черт, я люблю тебя. У тебя такое тело, какого нет ни у кого на свете. И я до смерти люблю тебя. Ты слышишь?

Дороти. Да, радость моя, только про мое тело — это тебе кажется. Тело как тело, но мне приятно слышать, как ты это говоришь. Ну, расскажи мне про свои мурашки, может быть, они пройдут.

Филип. Нет. У каждого свои мурашки, и никому неохота передавать их другому.

Дороти. Может быть, попробуем заснуть? Милый ты мой. Мой милый снежный буран.

Филип. Уже светает, и я начинаю приходить в себя.

Дороти. Пожалуйста, постарайся уснуть.

Филип. Слушай, Бриджес, что я тебе еще скажу. Уже светает.

Дороти *(затаив дыхание)*. Да, милый?

Филип. Если ты хочешь, чтоб я заснул, Бриджес, возьми молоток и стукни меня по голове.

Занавес

АКТ III, СЦЕНА 1

Время: пять дней спустя. Те же два смежных номера в отеле «Флорида» — номера 109 и 110. Декорация та же, что и в сцене 3 акта II, только дверь, соединяющая оба номера, открыта. Плакат внизу надорван, и в комнате Филипа на ночном столике стоит ваза с хризантемами. Справа от кровати, у стены,— этажерка с книгами, а кресла в кретоновых чехлах. На окнах занавески из того же кретона, на постели покрывало. Петра аккуратно вешает костюмы в шкаф. Затем, нагнувшись, убирает в ящик три пары до блеска начищенных мужских ботинок. В соседней комнате Дороти перед зеркалом примеряет пелерину из черно-бурых лисиц.

Дороти. Петра, подойдите сюда!

Петра *(выпрямляя свое маленькое старушечье тело)*. Иду, сеньорита.

Петра выходит в коридор, затем стучит в дверь номера 109 и входит.

(Всплеснув руками.) О сеньорита, какая прелесть!

Дороти *(рассматривая себя в зеркале через плечо)*. Что-то не то, Петра. Не знаю, в чем тут дело, но что-то не то.

Петра. Но это очень красиво, сеньорита!

Дороти. Нет, воротник испорчен. А я плохо говорю по-испански и не могу ничего объяснить этому кретину-меховщику. Настоящий кретин!

Слышно, как кто-то идет по коридору. Это Филип. Он открывает дверь номера 110 и озирается. Снимает кожаное пальто и швыряет его на постель, затем кидает берет на вешалку в углу. Берет падает на пол. Филип садится на одно из кресел в кретоновом чехле и снимает сапоги. Оставляет их среди комнаты,— с них течет вода,— и подходит к кровати. Снимает с кровати свое пальто и швыряет его как попало на стул. Затем ложится на кровать, вытаскивает подушки из-под покрывала, подкладывает их все под голову и зажигает лампу. Протянув руку, открывает дверцу ночного столика, достает бутылку виски, наливает немного в стакан, которым аккуратно было накрыто горлышко графина, и с размаху доливает в стакан воды. Держа стакан в левой руке, правой достает книгу с полки. С минуту лежит тихо, потом пожимает плечами и беспокойно ворочается. Наконец отстегивает от пояса кобуру и кладет ее на покрывало возле себя. Поднимает колени, делает первый глоток и принимается за книгу.

Дороти *(из соседней комнаты)*. Филип, Филип, милый!

Филип. Да?

Дороти. Пойди сюда.

Филип. Нет, дорогая.

Дороти. Я хочу тебе кое-что показать.

Филип *(читая)*. Принеси сюда.

Дороти. Хорошо, милый. *(Бросает последний взгляд в зеркало.)*

Она очень красива в пелерине, и воротник ничуть не испорчен. Она входит в комнату, горделиво, с большим шиком и изяществом, словно манекенщица, демонстрирующая модель.

Филип. Где ты это взяла?

Дороти. Купила, милый.

Филип. На какие деньги?

Дороти. На песеты.

Филип *(холодно)*. Очень мило.

Дороти. Тебе не нравится?

Филип *(все еще не спуская глаз с пелерины)*. Очень мило.

Дороти. Что с тобой, Филип?

Филип. Ничего.

Дороти. Ты хочешь, чтобы я совсем перестала одеваться?

Филип. Это твое личное дело.

Дороти. Но, милый, это же страшно дешево. Мех стоит всего-навсего тысячу двести песет шкурка.

Филип. Это жалованье интербригадовца за сто двадцать дней. Постой. Это четыре месяца. Я не припомню ни одного, который четыре месяца пробыл бы на фронте и не был ранен или убит.

Дороти. Но, Филип, это не имеет ни малейшего отношения к бригадам. Я купила песеты в Париже на доллары, по курсу пятьдесят за доллар.

Филип *(холодно)*. Вот как?

Дороти. Да, милый. И почему мне не покупать лисиц, если хочется? Кто-нибудь же должен их покупать. На то они и существуют, а обходятся они дешевле, чем по двадцать два доллара шкурка.

Филип. Замечательно. А сколько тут шкурок?

Дороти. Около двенадцати. Ну, Филип, не сердись.

Филип. Ты, как видно, недурно наживаешься на войне. Как ты провезла свои песеты?

Дороти. В банке с кремом «Мум».

Филип. «Мум», ну конечно, «Мум». Вот именно «Мум». Ну и как? Запах «Мума» отшиб запах твоих денег?

Дороти. Господи, Филип, откуда такая щепетильность?

Филип. В вопросах экономики я всегда щепетилен. Я думаю, твои песеты с черной биржи не станут белее ни от «Мума»,

ни от этой другой гадости, которую употребляют дамы,— амолин, что ли.

Дороти. Если ты будешь дуться из-за моей пелерины, я уйду от тебя.

Филип. Пожалуйста.

Дороти направляется к двери, но оборачивается и говорит просительно.

Дороти. Ну не надо из-за этого дуться. Будь благоразумен и порадуйся, что у меня такая красивая вещь. Знаешь, о чем я думала перед твоим приходом? Я себе представила, что бы мы могли сейчас делать в Париже, вот так, под вечер.

Филип. В Париже?

Дороти. Уже начинает темнеть, и у нас с тобой свидание в баре отеля «Ритц», и на мне эта пелерина. Я сижу и жду тебя. Ты входишь, а на тебе двубортное пальто в талию, на голове котелок, а в руках тросточка.

Филип. Ты начиталась американского журнала «Эсквайр». Ты же знаешь, что он не для чтения, а только для рассматривания картинок.

Дороти. Ты заказываешь виски с перье, а я потягиваю коктейль с шампанским.

Филип. Мне это не нравится.

Дороти. Что не нравится?

Филип. Твоя сказочка. Если тебе угодно грезить наяву, не впутывай меня, пожалуйста, в свои грезы.

Дороти. Это только игра, милый.

Филип. Ну так я больше не играю.

Дороти. А раньше ты играл, милый. И как весело было.

Филип. Считай, что я выбыл из игры.

Дороти. Разве мы не друзья?

Филип. Ну конечно, мало ли друзей заводишь во время войны.

Дороти. Милый, перестань, пожалуйста! Разве мы не любим друг друга?

Филип. Ах, это. Ну, разумеется. Отчего же. Конечно.

Дороти. А разве мы не уедем вместе, не будем жить весело, не будем счастливы где-нибудь вдвоем? Вот как ты всегда об этом говоришь по ночам.

Филип. Нет. Даже через сто тысяч лет этого не будет. Никогда не верь тому, что я говорю по ночам. По ночам я вру без зазрения совести.

Дороти. А почему мы не можем сделать того, о чем ты говоришь по ночам?

Филип. Потому что я занят делом, при котором так не бывает — уезжать вместе, и весело жить, и быть счастливыми вдвоем.

Дороти. А почему?

Филип. Во-первых, потому, что, по моим наблюдениям, ты слишком занята. А во-вторых, все это кажется весьма несущественным по сравнению с целым рядом других вещей.

Дороти. Зато ты никогда не бываешь занят.

Филип *(чувствует, что говорит лишнее, но все же продолжает)*. Нет. Но когда здесь кончится, я пройду курс дисциплины, чтобы избавиться от анархических привычек, если я их приобрел. Меня, вероятно, опять пошлют на работу с пионерами или еще куда-нибудь.

Дороти. Ничего не понимаю.

Филип. Вот именно потому, что ты ничего не понимаешь и никогда не сможешь понять, мы не уедем вместе, и не будем весело жить, и так далее.

Дороти. Это хуже, чем «Череп и кости».

Филип. Что это еще такое, «Череп и кости»?

Дороти. Такое тайное общество, к нему принадлежал один человек, за которого я чуть было не вышла замуж, но вовремя одумалась. Там все очень возвышенно и страшно добродетельно и нравственно, и тебя приводят туда и посвящают во все перед самой свадьбой, и когда меня посвятили во все, я отменила свадьбу.

Филип. Отличный прецедент.

Дороти. А разве нам нельзя быть как сейчас, пока мы вместе, если уж не навсегда, и любить друг друга, и не ссориться?

Филип. Если хочешь.

Дороти. Хочу.

Во время разговора она отошла от двери и теперь стоит возле кровати; Филип смотрит на нее, потом встает, обнимает ее и, как она есть, в пелерине, сажает рядом с собой.

Филип. А мех мягкий, приятный.

Дороти. От него не пахнет, правда?

Филип *(прижимаясь к ее плечу)*. Нет, не пахнет. И приятно чувствовать тебя под мехом. И я люблю тебя, провались все на свете. А сейчас всего-навсего половина шестого.

Дороти. И пока это так, пусть так и будет, да?

Филип *(сдаваясь)*. Изумительно приятный мех. Хорошо, что ты купила его.

Он крепко прижимает ее к себе.

JOVES
ALLISTEU-VOS
NADAL FER

«Пятая колонна»

Дороти. Даже если это и ненадолго, пусть так и будет.

Филип. Да, пусть будет.

В дверь стучат, ручка поворачивается, и входит Макс. Филип встает. Дороти остается сидеть на кровати.

Макс. Я помешал? Да?

Филип. Нет. Нисколько. Макс, это американский товарищ. Товарищ Бриджес. Товарищ Макс.

Макс. Salud, товарищ.

Он подходит к кровати, на которой все еще сидит Дороти, и протягивает руку. Дороти пожимает ее и отворачивается.

Вы заняты? Да?

Филип. Нет. Нисколько. Хочешь выпить, Макс?

Макс. Нет, спасибо.

Филип. Hay novedades?

Макс. Algunas [1].

Филип. Ты не хочешь выпить?

Макс. Нет, большое спасибо.

Дороти. Я пойду. Не стану мешать вам.

Филип. Ты нам не мешаешь.

Дороти. Ты потом зайдешь ко мне?

Филип. Непременно.

Когда она проходит мимо Макса, тот говорит очень вежливо.

Макс. Salud, camarada.

Дороти. Salud.

Она закрывает дверь, соединяющую обе комнаты, и выходит в коридор.

Макс *(как только они остаются одни)*. Это — товарищ?

Филип. Нет.

Макс. Ты так назвал ее.

Филип. Это просто манера говорить. В Мадриде всех называют товарищами. Считается, что все работают для общего дела.

Макс. Не очень хорошая манера.

Филип. Да. Не очень. Помнится, я сам как-то говорил это.

Макс. Эта женщина,— как ты сказал... Бригес?

Филип. Бриджес.

Макс. Это очень серьезно?

Филип. Серьезно?

---

[1] Есть новости? — Кое-что есть *(исп.)*.

Макс. Да. Ты понимаешь, о чем я говорю.

Филип. Я бы не сказал. Пожалуй, скорее комично. В известном смысле.

Макс. Ты много времени с ней проводишь?

Филип. Немало.

Макс. Чье это время?

Филип. Мое.

Макс. А не время партии?

Филип. Мое время — время партии.

Макс. Вот это я и хотел сказать. Хорошо, что ты так быстро соображаешь.

Филип. О, я очень быстро соображаю.

Макс. Не стоит злиться из-за того, в чем ни ты, ни я не виноваты.

Филип. Я не злюсь. Но я не обязан быть монахом.

Макс. Филип, товарищ, ты никогда не был похож на монаха.

Филип. Нет?

Макс. И никто не требует, чтобы ты стал монахом.

Филип. Нет.

Макс. Все дело в том, чтобы это не мешало работе. Эта женщина — откуда она? Из какой среды?

Филип. Спроси ее.

Макс. Придется, очевидно.

Филип. Разве я плохо работаю? Кто-нибудь жаловался на мою работу?

Макс. До сих пор — нет.

Филип. А сейчас кто жалуется?

Макс. Я жалуюсь.

Филип. Вот как?

Макс. Да. Мы должны были встретиться у Чикоте. Раз ты не пришел туда, ты должен был оставить мне записку. Я прихожу к Чикоте вовремя. Тебя там нет. Записки тоже нет. Я прихожу сюда и застаю тебя mit einer ganzen Menagerie [1] черно-бурых лисиц в объятиях.

Филип. А тебе никогда ничего такого не хочется?

Макс. Очень хочется. Постоянно.

Филип. И что же ты делаешь?

Макс. Иногда, если у меня выдается свободный час и я не слишком устал, я нахожу такую, которая соглашается побыть со мной, не глядя на меня.

---

[1] С целым зверинцем *(нем.)*.

Филип. И тебе постоянно этого хочется?

Макс. Я очень люблю женщин. Я не святой.

Филип. А есть святые?

Макс. Да. А есть и не святые. Но только я всегда очень занят. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Сегодня мы опять пойдем туда.

Филип. Хорошо.

Макс. Ты хочешь идти?

Филип. Послушай, я допускаю, что ты прав насчет этой женщины, но нечего оскорблять меня. По работе ты меня ни в чем упрекнуть не можешь.

Макс. Эта женщина — она не подозрительна?

Филип. Ни в коем случае. Может быть, мне это вредит и отнимает у меня время и тому подобное, но за нее я ручаюсь.

Макс. Ты уверен? Знаешь, я в жизни не видел столько лисиц.

Филип. Она, конечно, дура, но я ручаюсь за нее, как за себя.

Макс. А за себя ты еще ручаешься?

Филип. Надеюсь. А это видно, когда за себя нельзя ручаться?

Макс. Еще бы!

Филип. Сейчас посмотрим. *(Становится перед зеркалом и с презрением смотрит на себя.)*

Макс смотрит на него и улыбается. Потом кивает головой.

Макс. Я бы за тебя поручился.

Филип. Хочешь, пойди к ней и расспроси, из какой она среды и тому подобное.

Макс. Нет.

Филип. Она из той среды, к которой принадлежат все американки, приезжающие в Европу с некоторым запасом денег. Они все одинаковы. Колледж, лето на лоне природы, более или менее состоятельные родители,— в наше время чаще менее, чем более,— мужчины, романы, аборты, виды на будущее и наконец замужество и тихая пристань или тихая пристань без замужества. Одни открывают магазин или служат в магазине, другие пишут или занимаются музыкой, некоторые идут на сцену или в кино. У них есть какая-то организация, Лига молодежи, там, кажется, работают девственницы. Все для общего блага. Эта пишет. И даже неплохо, когда не ленится. Спроси ее сам, если хочешь. Но предупреждаю, все это очень скучно.

Макс. Меня это не интересует.

Филип. Мне показалось, что интересует.

Макс. Нет. Я подумал и решил все это предоставить тебе.

Филип. Что именно?

Макс. Все, что касается этой женщины. Поступай с ней, как знаешь.

Филип. Напрасно ты мне так доверяешь.

Макс. Я доверяю тебе.

Филип *(с горечью)*. Напрасно. Иногда я чувствую, что все это мне надоело. Вся моя работа. Просто опротивела.

Макс. Понятно.

Филип. Да. И разговорами ты мне не поможешь. Я на днях убил этого мальчишку Уилкинсона. Просто по неосторожности. Не говори, что это не так.

Макс. Ты мелешь вздор. Но ты действительно не был достаточно осторожен.

Филип. Я виноват, что его убили. Я оставил его в этой комнате, в моем кресле, при открытой двери. Я совсем не так хотел его использовать.

Макс. Ты же не нарочно оставил его здесь. Брось об этом думать.

Филип. Нет, не нарочно. Просто загнал в ловушку по неосторожности.

Макс. Рано или поздно его бы все равно убили.

Филип. Да, да. Конечно. Если так на это взглянуть, то все чудесно, правда? Совершенно замечательно. Вот об этом-то я и не подумал.

Макс. Мне уже случалось видеть тебя в таком настроении. Я отлично знаю, что это все пройдет и ты снова станешь самим собой.

Филип. Да. Но ты знаешь, что я сделаю, когда это пройдет? Накачаюсь виски и подхвачу какую-нибудь шлюху. Прекрасная картина. Это ты называешь стать самим собой?

Макс. Нет.

Филип. Мне все опротивело. Знаешь, где бы я хотел очутиться? В каком-нибудь славном местечке вроде Сен-Тропез на Ривьере, проснуться утром, и чтобы не было войны, и чтобы было кофе с настоящим молоком... и бриоши со свежим клубничным вареньем, и яичница с ветчиной на завтрак.

Макс. И эта женщина?

Филип. Да, и эта женщина. Ты совершенно прав,— эта женщина. Черно-бурые лисицы и прочее.

Макс. Я говорил, что тебе это вредно.

Филип. А может быть, и полезно. Я так давно на этой работе, что мне все опротивело. Все вообще.

Макс. Ты работаешь, чтобы у *всех* был такой хороший завтрак. Ты работаешь, чтобы никто не голодал. Ты работаешь, чтобы люди не боялись болезней и старости; чтобы они жили и трудились с достоинством, а не как рабы.

Филип. Да. Конечно. Я знаю.

Макс. Ты знаешь, ради чего ты работаешь. А если иногда у тебя немного сдают нервы, я это отлично понимаю.

Филип. На этот раз у меня основательно сдали нервы, и это тянется уже давно. С тех пор как я встретил ее. Ты не знаешь, что женщина может сделать с человеком.

Слышен приближающийся визг снаряда и грохот взрыва на улице. Слышен крик ребенка, сначала пронзительный, потом отрывистый, жалобный. Слышен топот бегущих ног. Еще снаряд. Филип распахнул окно настежь. После взрыва снова слышен топот ног.

Макс. Ты работаешь, чтобы навсегда прекратить *это*.

Филип. Скоты! Они дожидались окончания сеанса в кино!

Разрывается еще один снаряд, слышен визг собаки.

Макс. Слышишь? Ты работаешь для всех. Ты работаешь для детей. Иногда даже для собак. Ступай к ней и посиди с ней немножко. Ты сейчас нужен ей.

Филип. Нет. Пусть сама разбирается. У нее есть ее чернобурые лисицы. К черту все это.

Макс. Нет. Ступай. Ты нужен ей сейчас.

Еще снаряд пролетает с протяжным шипением и разрывается под окном. На этот раз нет ни криков, ни топота ног.

Я здесь прилягу на минутку. А ты ступай к ней.

Филип. Хорошо. Ладно. Как ты велишь. Все, как ты велишь.

Он направляется к двери; когда он открывает ее, снова раздается приближающийся свист и снова слышен взрыв; на этот раз позади отеля.

Макс. Это только небольшая репетиция. Настоящий обстрел будет ночью.

Филип открывает дверь в смежную комнату. Слышно, как он говорит негромко, без всякого выражения.

Филип. Ну, Бриджес. Как ты тут?

Занавес

АКТ III, СЦЕНА 2

Внутренность артиллерийского наблюдательного пункта в полуразрушенном снарядами доме на Эстремадурской дороге. Пункт расположен в башенке, которая прежде составляла одно из затейливых украшений этого дома; железная винтовая лестница искорежена снарядами и висит в воздухе, а вместо нее приставлена деревянная. Зрителю видна лестница и над ней задняя стена комнаты с окнами, обращенными к Мадриду. Действие происходит ночью, и мешки с песком, которыми днем затыкали окна, вынуты и лежат рядом, но за окнами полный мрак, потому что в Мадриде все огни погашены. По стенам развешены крупномасштабные карты, на которых цветными флажками и тесьмой отмечено расположение позиций; посредине простой стол и на нем полевой телефон. Справа от стола, прямо против узкого отверстия в стене, установлен большой монокулярный дальномер немецкого образца, рядом с ним стоит стул. У другого отверстия — еще один дальномер, бинокулярный, обычного размера. Ближе к правой стене — еще один стол с полевым телефоном. Внизу, у лестницы, стоит часовой; другой часовой стоит в комнате у верхнего конца лестницы, где он едва может выпрямиться, не опустив винтовки с примкнутым штыком. При поднятии занавеса на сцене, кроме часовых, два связиста, нагнувшихся над столом. Когда занавес уже поднят, сцену пересекают лучи автомобильных фар, ярко освещающие лестницу и основание башни.

Они все приближаются, и часовой жмурится от яркого света.

Часовой. Эй! Гаси огни!

Слепящий свет бьет прямо в глаза часовому.

(Берет винтовку наперевес и щелкает затвором.) Гаси огни!

Он говорит это очень медленно, четко и угрожающе; ясно, что он намерен стрелять. Фары гаснут, и из-за левой кулисы, где, по-видимому, остановился автомобиль, выходят три человека. Двое из них в офицерской форме, один высокий и толстый, другой довольно худощавый, щеголеватый, в кавалерийских сапогах, поблескивающих при свете карманного фонаря, который держит в руках толстый; третий — в штатском. Все трое проходят через всю сцену и приближаются к лестнице.

(Произносит первую половину пароля.) Победа...

Худощавый офицер *(резко и надменно)*. ...за теми, кто ее достоин.

Часовой. Проходите.

Худощавый офицер *(штатскому)*. Надо влезать отсюда.

Штатский. Знаю. Я здесь не в первый раз.

Все трое влезают по лестнице. Второй часовой, видя нашивки толстого офицера, становится во фронт. Связисты не двигаются с места. Толстый офицер подходит к столу; за ним следует штатский и офицер в начищенных сапогах, по-видимому, адъютант.

Толстый офицер. А эти что?

Адъютант *(связистам)*. Встать! Смирно! Вы что это?

Связисты стоят смирно, видимо, превозмогая усталость.

Вольно!

Связисты садятся. Толстый офицер изучает карту. Штатский заглядывает в дальномер, но ничего не может разглядеть в темноте.

Штатский. Обстрел назначен на двенадцать?

Адъютант *(обращаясь к толстому офицеру)*. Когда приказано открыть огонь, генерал?

Толстый офицер *(говорит с немецким акцентом)*. Поменьше расгофоров.

Адъютант. Виноват. Угодно просмотреть приказы? *(Подает ему пачку сколотых вместе приказов, отпечатанных на машинке.)*

Генерал берет их в руки и, мельком глянув на них, отдает адъютанту.

Генерал *(грубым голосом)*. Я знаю их. Я их сам писал.

Адъютант. Так точно, генерал. Я думал, вы, может быть, захотите их проверить.

Генерал. Я их проферял.

Звонит один из телефонов. Связист у стола берет трубку и слушает.

Связист. Да. Нет. Да. Хорошо. *(Делает знак генералу.)* Вас, генерал.

Генерал берет трубку.

Генерал. Алло. Да. Правильно. Что за глупость? Как? Согласно приказу. Залпами — это значит залпами. *(Вешает трубку и смотрит на часы. Адъютанту.)* Сколько на ваших?

Адъютант. Без одной минуты двенадцать, генерал.

Генерал. Кругом болваны. Как можно говорить о командовании, когда нет никакой дисциплины. Связисты не встают, когда входит генерал. Командирам батарей нужно разъяснять приказы. Как вы сказали, который час?

Адъютант *(смотрит на часы)*. Без тридцати секунд двенадцать, генерал.

Связист. Из бригады шесть раз звонили, генерал.

Генерал *(закуривая сигару)*. Который час?

Адъютант. Без пятнадцати, генерал.

Генерал. Что без пятнадцати?

Адъютант. Без пятнадцати секунд двенадцать часов.

И тотчас же начинается канонада. Отсюда звук кажется совсем иным, чем с обстреливаемой точки. Сначала слышно гулкое, раскатистое «бум-бум-бум», точно удары литавр перед микрофоном, потом — уишш, уишш, уишш, уишш, уишш, чу, чу, чу, чу, чу... чу» — полет снаряда и отдаленный разрыв. Вступает вторая батарея, еще ближе, еще громче, и вот уже по всей линии грохочут гулкие, частые залпы, и в воздухе стоит гул удаляющихся снарядов. В раскрытое окно видны теперь очертания Мадрида, освещенного вспышками разрывов. Генерал стоит у большого дальномера. Штатский — у второго. Адъютант смотрит через плечо штатского.

Штатский. Какая красота!

Адъютант. Сегодня мы их немало перебьем. Марксистская сволочь. Все их норы перероем.

Штатский. Эффектное зрелище.

Генерал. Ну как, удовлетворительно?

Он не отводит глаз от окуляра.

Штатский. Превосходно! Сколько это будет продолжаться?

Генерал. Мы даем один час. Потом десять минут перерыва. Потом еще пятнадцать минут.

Штатский. Но в квартал Саламанка не попадет ни один снаряд? Там ведь почти все наши.

Генерал. Отдельные попадания возможны.

Штатский. Но как же так?

Генерал. Ошибки испанских батарей.

Штатский. Почему именно испанских?

Генерал. Потому что испанские не так точны, как наши.

Штатский молчит, и огонь продолжается, хотя залпы следуют один за другим не с такой быстротой, как вначале. Слышен свистящий звук, потом удар и грохот — почти у самого наблюдательного пункта разорвался снаряд.

Начинают отвечать понемногу.

На сцене теперь совсем темно, видны только вспышки за окном и огонек папиросы, которую курит часовой внизу. Потом зритель видит, как этот огонек внезапно описывает в темноте полукруг, и затем отчетливо слышит глухой стук падающего тела. Раздаются два залпа, один за другим. Снова с тем же свистящим гулом падает снаряд, и в пламени разрыва видно, как два человека лезут вверх по лестнице.

(Говорит, не отходя от дальномера.) Соедините меня с Гарабитас.

Связист крутит ручку телефона. Потом еще раз.

Связист. Виноват, генерал. Связь прервана.

Генерал *(второму связисту)*. Вызовите мне штаб дивизии.

Связист. У меня нет связи, генерал.

Генерал. Пошлите кого-нибудь исправить линию.

Связист. Слушаю, генерал. *(Встает в темноте.)*

Генерал. Какого черта этот часовой курит? Это не армия, а какой-то хор из «Кармен»!

Видно, как зажженная папироса второго часового описывает длинную кривую, как будто он бросил ее вниз, и вслед за тем слышно грузное падение тела с большой высоты. Вспыхнувший карманный фонарь освещает троих людей у дальномера и обоих связистов.

Филип *(с порога двери на верху лестницы, тихим, очень ровным голосом)*. Руки вверх, и не строить из себя героев, иначе я буду стрелять! *(В его руках автомат, который висел у него за спиной, когда он поднимался по лестнице.)* Это ко всем относится! Руки вверх, толстопузая сволочь!

У Макса в правой руке граната, в левой — карманный фонарь.

Макс. Один звук, одно движение — и я всех положу на месте. Понятно?

Филип. Тебе кто нужен?

Макс. Только пузатый и мадридец. Остальных просто свяжи. Липкий пластырь у тебя есть?

Филип *(говорит по-русски)*. Да.

Макс. Вот видишь. Мы стали русскими. Все мы теперь в Мадриде русские. Торопись, товарищ, и заклей им хорошенько рты, потому что мне все-таки придется бросить эту штуку перед уходом. Видишь, кольцо уже снято.

Занавес начинает опускаться. Филип с автоматом в руках подвигается к пленникам. Карманный фонарь освещает их побелевшие лица. Канонада продолжается. Снизу, из-за дома доносится крик: «Гаси огонь!»

Макс. Ладно, друг, сейчас погасим!

Занавес

АКТ III, СЦЕНА 3

Сцена представляет ту же комнату в штабе Сегуридад, что и в сцене I акта II. Антонио из Comissariado de vigilancia[1] сидит у стола. Рядом с ним Филип и Макс, они все в грязи, лица измученные. У Филипа еще висит за спиной автомат. Перед столом стоит штатский с наблюдательного пункта; его берет исчез, плащ сверху донизу разодран на спине, один рукав наполовину оторван. По бокам его стоят два штурмгвардейца.

Антонио *(штурмгвардейцам)*. Можете идти.

Они отдают честь и выходят, держа винтовки наперевес.

(Филипу.) А где же второй?

Филип. Потеряли по дороге.

Макс. Он был очень тяжелый, а идти не хотел.

Антонио. Жаль. Была бы ценная добыча.

Филип. Это не всегда так просто, как в кино.

Антонио. И все-таки, если б можно было доставить его сюда!

Филип. Могу начертить вам план, пошлите туда, и вы его найдете.

Антонио. Вы думаете?

Макс. Он был солдат, он все равно ничего бы не сказал. Я бы его охотно доставил, но допрашивать его было бы бесполезно.

Филип. Вот кончим здесь, и я начерчу план. Вы его найдете. Никуда он не денется. Мы спрятали его в надежном месте.

Штатский *(истерически)*. Вы его убили!

Филип *(презрительно)*. А ну-ка, помолчите, вы.

Макс. Уверяю вас, он бы ничего не сказал. Я знаю этих людей.

Филип. Понимаете, мы не рассчитывали захватить сразу двоих. Второй экземпляр был очень непортативен, а идти сам не хотел. Он нам устроил сидячую забастовку. Не знаю, случалось ли вам ночью возвращаться по этой дороге. Там есть несколько довольно неприятных мест. Так что, понимаете, выбора у нас не было.

Штатский *(истерически)*. Вы просто убили его! Я видел.

Филип. Тише! Вашего мнения не спрашивают.

---

[1] Управление безопасности *(исп.)*.

Макс. Мы вам еще нужны?

Антонио. Нет.

Макс. Тогда я пойду. Я не очень люблю это. Слишком много напоминает.

Филип. Я тоже не нужен?

Антонио. Нет.

Филип. Можете быть вполне спокойны. Вы узнаете все — имена, адреса, все решительно. У этой твари сходились все нити.

Антонио. Да.

Филип. Можете быть спокойны, молчать он не будет. Этот не из молчаливых.

Антонио. Он — político. Да. Я не раз уже беседовал с políticos.

Штатский *(истерически)*. Вы меня не заставите говорить. Ни за что! Ни за что! Ни за что!

Макс и Филип переглядываются. Филип усмехается.

Филип *(очень спокойно)*. Да вы ведь уже говорите. Разве вы не заметили?

Штатский. Нет! Нет!

Макс. Так если можно, я пойду. *(Встает.)*

Филип. Я тоже, пожалуй.

Антонио. Вы не хотите остаться, послушать?

Макс. Нет, нет, не надо.

Антонио. Это будет очень интересно.

Филип. Мы просто устали.

Антонио. Это будет очень интересно.

Филип. Я приду завтра.

Антонио. Я бы очень хотел, чтобы вы остались.

Макс. Не надо. Если в этом нет необходимости. Прошу вас как об одолжении.

Штатский. Что вы со мной хотите сделать?

Антонио. Ничего. Только получить от вас ответ на некоторые вопросы.

Штатский. Я ничего не скажу!

Антонио. Скажете!

Макс. Прошу вас, прошу вас. Я пойду.

Занавес

АКТ III. СЦЕНА 4

Декорация сцены 3 акта I, но уже сумерки. При поднятии занавеса в комнате Дороти Бриджес темно. В комнате Филипа горит свет, и занавески на окнах задернуты. Филип лежит ничком на постели. Анита сидит в кресле рядом.

Анита. Филип!

Филип *(не поворачивая голову и не глядя на нее)*. Ну?

Анита. Послушай, Филип.

Филип. Какого еще черта?

Анита. Где виски?

Филип. Под кроватью.

Анита. Спасибо. *(Заглядывает под кровать. Потом влезает туда почти до половины.)* Нет под кровать.

Филип. Ну, посмотри в стенном шкафу. Кто-то уже опять наводил тут порядок.

Анита *(подходит к стенному шкафу и открывает его. Внимательно оглядывает все углы)*. Тут только пустой бутылки.

Филип. Ты прямо неутомимый исследователь. Иди сюда.

Анита. Я хочу находить виски.

Филип. Посмотри в ночном столике.

Анита подходит к ночному столику у изголовья кровати, открывает дверцу и достает бутылку виски. Приносит из ванной стакан, наливает виски и разбавляет его водой из графина, который стоит тут же, на ночном столике.

Анита. Филип. Пей один стакан, лучше будет.

Филип садится и смотрит на нее.

Филип. А-а! Чернооkая красавица! Ты как сюда попала?

Анита. С контрольный ключ.

Филип. Вот как!

Анита. Тебя долго нету. Я беспокоился. Я приходил сюда, мне говорил — ты свой номер. Я стучал дверь, никто не отвечал. Я стучал еще. Никто не отвечал. Я сказал: открывайте мне дверь с контрольный ключ.

Филип. И тебе открыли?

Анита. Я сказал — ты посылал за мной.

Филип. А я посылал?

Анита. Нет.

Филип. Очень мило с твоей стороны, что ты вспомнила обо мне.

Анита. Филип, ты все с эта большой блондинка?

Филип. Не знаю. Я что-то сам запутался. Положение, знаешь ли, очень сложное. Каждую ночь я прошу ее выйти за меня замуж, а каждое утро говорю, что вовсе этого не хочу. Пожалуй, дальше так идти не может. Да. Никак не может.

Анита садится на постели, гладит его по голове и откидывает волосы со лба.

Анита. Тебе нехорошо. Я знаю.

Филип. Хочешь, я тебе что-то скажу по секрету?

Анита. Да.

Филип. Никогда еще мне не было хуже.

Анита. Только это? Я думал, ты будешь говорить, как ты ловил все люди из Пятая колонна.

Филип. Я всех не ловил. Я поймал только одного. Паршивый был тип, надо сказать.

Стук в дверь. Это управляющий.

Управляющий. Прошу покорнейше извинить — не помешал?

Филип. Пожалуйста, пожалуйста. Только здесь дамы.

Управляющий. Единственная цель — войти и посмотреть, все ли в порядке. Также наблюдение за поступками молодой дамы в случае вашего отсутствия или пассивного состояния. Кроме того, горю желанием принести искреннейшее, восторженнейшее поздравление: блестяще проведенная операция против неприятельской разведки — в вечерних газетах сообщение об аресте трехсот членов Пятой колонны.

Филип. Это есть в газетах?

Управляющий. Все подробности — арест большого числа предосудительных личностей всякого рода, виновных в убийствах, заговорах, вредительстве, связях с неприятелем и прочее тому подобное.

Филип. И все это есть в газетах?

Управляющий. Безусловно, мистер Филип.

Филип. А я тут при чем?

Управляющий. О, все знают, что вы занимаетесь ведением подобного рода расследований.

Филип. Интересно только, откуда все это знают.

Управляющий *(укоризненно)*. Мистер Филип. Это же Мадрид. В Мадриде все известно, иногда даже раньше, чем успеет случиться. Если уже случилось, возможен спор — кто сделал. Если еще не случилось, все абсолютно точно знают — кто должен сделать. Принося поздравления, предваряю упреки

недовольных, которые, без сомнения, скажут: «Как? Только триста? А остальные где?»

Филип. Не будьте таким пессимистом. Кажется, впрочем, мне теперь придется уехать.

Управляющий. Также предусмотрено, мистер Филип, и, в частности, имею сделать существенное предложение, надеюсь, успешно. В случае отъезда, полагаю, нецелесообразно везти в багаже продовольственные консервы.

В дверь стучат. Это Макс.

Макс. Salud, camaradas.

Все. Salud.

Филип *(управляющему)*. Ну, вот что, camarada филателист. Мы об этом поговорим потом.

Управляющий уходит.

Макс (Филипу). Wie geht's?[1]

Филип. Gut[2]. Не слишком, впрочем, gut.

Анита. Можно, я буду принять ванна?

Филип. Даже должно, дорогая моя. Но только закрой дверь, хорошо?

Анита *(из ванной)*. Горячий вода идет.

Филип. Это хороший признак. Ну, теперь закрой дверь.

Анита закрывает дверь. Макс подходит к кровати и садится рядом в кресло. Филип, свесив ноги, сидит на кровати.

Что-нибудь нужно?

Макс. Нет, товарищ. Ты был там?

Филип. Был. Все время был. До самого конца. Понадобились некоторые сведения, и меня вызвали опять.

Макс. Как он держался?

Филип. Подло. Но вначале выкладывал не сразу, понемногу.

Макс. А потом?

Филип. О, потом как начал сыпать, так стенографистка за ним бы не поспела. Я, знаешь, многое могу переварить...

Макс *(не обращая внимания на его последние слова)*. В газетах есть про аресты. Зачем они печатают такие вещи?

Филип. Не знаю, дорогой. Зачем, в самом деле?

Макс. Это поднимает дух — и это хорошо. Но еще лучше было бы всех переловить. А что, принесли этого... гм... этого...

---

[1] Ну, как? *(нем.)*

[2] Хорошо *(нем.)*.

Филип. Да. Ты говоришь о трупе? Его притащили оттуда, где мы его бросили.

Макс. Я очень рад, что мне не нужно было оставаться.

Филип. А я остался. А потом ушел. А потом опять вернулся. Потом я ушел совсем, но меня вызвали опять. Я пришел оттуда с час назад и больше не пойду. Мой рабочий день окончен. Завтра начнем что-нибудь новое.

Макс. Мы хорошо поработали.

Филип. Сделали все, что могли. Все было очень эффектно и очень ловко, только сеть оказалась дырявая и много рыбы ушло. Впрочем, можно закинуть еще раз. Но меня тебе придется перебросить в другое место. Здесь я уже не гожусь. Слишком много народу знает про мою работу. Это не потому, что я болтаю. Просто так вышло.

Макс. Работы везде много. Но ты еще не кончил здесь.

Филип. Знаю. Только ты все-таки не держи меня здесь очень долго. Я что-то развинтился.

Макс. А как будет с женщиной из соседнего номера?

Филип. О, с ней я порву.

Макс. Я этого не требую.

Филип. Нет. Но рано или поздно потребуешь. Не стоит деликатничать, Макс. Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал.

Макс. Не ты один. Дело тут не в договорах. И незачем говорить с такой горечью.

Филип. Я говорю без всякой горечи. Просто я не хочу дурачить самого себя. И не хочу, чтобы что-нибудь занимало во мне то место, которое ничто не должно занимать. А *это* уже подобралось довольно близко. Но ничего, я знаю, как вылечиться.

Макс. Как?

Филип. А вот увидишь как.

Макс. Не забывай, Филип, я человек добрый.

Филип. Согласен. Я тоже. Ты бы на меня посмотрел иногда на работе.

Во время их разговора дверь номера 109 отворяется, и входит Дороти Бриджес. Она зажигает свет, снимает пальто и надевает свою пелерину из черно-бурых лисиц. Стоя перед зеркалом, она медленно поворачивается во все стороны. Она очень красива в этот вечер. Она подходит к патефону и ставит мазурку Шопена, потом берет книгу и садится в кресло, поближе к настольной лампе.

Вон она пришла. Вернулась, так сказать, домой. Итак?

Макс. Филип, друг мой, в этом нет надобности. Честное слово, я не вижу, чтобы она чем-нибудь мешала твоей работе.

Филип. Зато я вижу. И ты скоро тоже увидишь.

Макс. Решай сам, я тебе уже говорил. Но помни — нужно быть добрым. Для нас, которым причинили столько зла, доброта — самое важное.

Филип. А я очень добрый, ты же знаешь. Я добрый. Даже страшно, до чего я добрый!

Макс. Нет, я этого не знаю. А я хотел бы, чтоб ты был добрым.

Филип. Вот что. Подожди меня здесь.

Он выходит в коридор и стучит в дверь номера 109. Постучав, тотчас же толкает дверь и входит.

Дороти. Здравствуй, дорогой.

Филип. Здравствуй. Ну, как ты?

Дороти. Очень хорошо — а сейчас и совсем чудесно, раз ты здесь. Где ты был? Ты вчера так и не вернулся домой. Как я рада, что ты пришел.

Филип. У тебя есть виски?

Дороти. Да, милый. *(Наливает ему виски пополам с водой.)*

В соседней комнате Макс неподвижно сидит в кресле и смотрит в электрический камин.

Где ты был, Филип?

Филип. Так, в разных местах. Узнавал новости.

Дороти. Какие же ты узнал новости?

Филип. Были хорошие. А были и похуже. В общем, средние.

Дороти. А сегодня тебе никуда не надо уходить?

Филип. Не знаю.

Дороти. Филип, дорогой, что случилось?

Филип. Ничего не случилось.

Дороти. Филип, давай уедем отсюда. Мне здесь незачем больше оставаться. Я уже послала три корреспонденции. Мы можем поехать куда-нибудь под Сен-Тропез, ведь дожди еще не начинались, и там будет так чудесно сейчас, когда мало народу. А потом можно поехать куда-нибудь походить на лыжах.

Филип *(почти злобно)*. Да, да, а потом в Египет, а потом еще куда-нибудь. Так мы и станем наслаждаться любовью во всех отелях мира и тысячу раз просыпаться прекрасным сол-

нечным утром и завтракать в постели, а может быть, только девяносто раз — смотря по тому, три года или три месяца понадобится, чтобы я успел надоесть тебе или ты — мне. И все наши заботы будут только о развлечениях. Мы поселимся в отеле «Крийон» или в отеле «Ритц», и осенью, когда с деревьев в Булонском лесу облетят все листья и станет сыро и холодно, мы будем ездить в Отейль на скачки, и греться у больших жаровень с углем в паддоке, и смотреть, как лошади прыгают через водяной ров и берут банкетку и каменный барьер. Чудесно. А потом глотать коктейль с шампанским в баре и спешить к обеду у Ларю, а в субботу ездить в Солонь стрелять фазанов. Да, да, чудесно. А потом еще слетать в Найроби и посидеть в уютном «Матайга-клубе», а весной немножко рыбной ловли для разнообразия. Да, да, чудесно. И каждую ночь вдвоем в постели. Чудесно, правда?

Дороти. О милый, просто изумительно! Но разве у тебя так много денег?

Филип. Было много. Пока я не пошел на эту работу.

Дороти. И мы поедем во все эти места, и в Сен-Мориц тоже?

Филип. Сен-Мориц? Какое мещанство! Китцбухель, ты хочешь сказать. В Сен-Мориц рискуешь встретиться с кем-нибудь вроде Майкла Арлена.

Дороти. Но тебе вовсе незачем с ним встречаться, милый. Ты можешь не узнавать его. А мы на самом деле туда поедем?

Филип. А ты хочешь?

Дороти. О милый!

Филип. А не хочешь ли ты как-нибудь осенью отправиться в Венгрию? Там можно очень дешево снять поместье, и платить надо только за то, что подстрелишь. А на придунайской равнине водится великое множество гусей. А была ли ты когда-нибудь в Ламу, где такой длинный белый берег, и на берегу лежат расснащенные арабские лодки, и пальмы всю ночь шелестят на ветру? Или в Малинди, где можно заниматься аквапланным спортом и дует северо-восточный муссон, такой прохладный и свежий, и ночью не нужно ни простынь, ни пижамы. Тебе бы понравилось в Малинди.

Дороти. Наверно, понравилось бы, Филип.

Филип. А ездила ли ты когда-нибудь в Гавану, потанцевать субботним вечером в Сан-Суси, под королевскими пальмами? Они совсем серые и высятся точно колонны, и всю ночь напролет там играют в кости или в рулетку, а утром едут завтра-

кать в Хайманитос. И все друг друга знают, и от этого очень весело и приятно.

Дороти. И мы туда поедем?

Филип. Нет.

Дороти. Почему, Филип?

Филип. Мы никуда не поедем.

Дороти. Почему же, милый?

Филип. Ты можешь ехать, если хочешь. Я тебе составлю маршрут.

Дороти. Но почему же нам не поехать вместе?

Филип. Ты можешь ехать. А я уже был во всех этих местах, и все это уже осталось позади. Туда, куда я поеду теперь, я поеду один или с теми, кто едет туда за тем же, за чем и я.

Дороти. А мне нельзя туда поехать?

Филип. Нет.

Дороти. А почему нельзя? Я могу подучиться, и я не боюсь.

Филип. Во-первых, потому, что я еще сам не знаю, где это. А во-вторых, потому, что я тебя не возьму с собой.

Дороти. Почему?

Филип. Потому что от тебя никакой пользы. Ты невежественна, ты глупа, ты ленива, и от тебя никакого проку.

Дороти. В остальном, может быть, ты и прав. Но прок от меня есть.

Филип. Какой же от тебя прок?

Дороти. Ты сам знаешь — ты должен знать.

Она плачет.

Филип. Ах, *это*!

Дороти. Так мало это для тебя значит?

Филип. Это такая вещь, за которую не следует платить слишком дорого.

Дороти. Значит, я — вещь?

Филип. Да, и очень красивая вещь. У меня никогда не было такой чудесной вещи.

Дороти. Я очень рада, что ты это сказал. И я очень рада, что сейчас день. А теперь — убирайся вон отсюда. Самоуверенный пьяница. Нелепый, надутый хвастун. Это ты — вещь, ты. Тебе никогда не приходило в голову, что ты сам — вещь? Вещь, за которую не следует платить слишком дорого?

Филип *(смеясь)*. Нет. Но я готов с тобой согласиться.

Дороти. Да, так и знай. Ты — никуда не годная, испорченная вещь. Никогда дома не бываешь. Бегаешь где-то целыми

ночами. Грязный, неряха, распущенный. Дрянная вещь. Мне просто понравилась упаковка, вот и все. И я очень рада, что ты уходишь.

Филип. Правда?

Дороти. Да, правда. Только незачем было рассказывать про все эти места, раз мы туда не поедем.

Филип. Мне очень жаль. Это была недобрая шутка.

Дороти. Пожалуйста, только не будь добрым. Ты просто ужасен, когда ты добрый. Только добрые люди смеют быть добрыми. Ты просто отвратителен, когда ты добрый. И, во всяком случае, незачем было рассказывать об этом днем.

Филип. Мне очень жаль.

Дороти. Пожалуйста, только не жалей. Ты хуже всего, когда ты о чем-нибудь жалеешь. Я просто не выношу, когда ты начинаешь жалеть. Убирайся.

Филип. Что ж, давай попрощаемся. *(Обнимает ее и хочет поцеловать.)*

Дороти. И, пожалуйста, не целуй меня. Сначала целуешь, а потом опять начнутся разговоры о вещах. Я тебя знаю.

Филип крепко прижимает ее к себе и целует.

Ах, Филип, Филип, Филип.

Филип. Прощай.

Дороти. Ты — ты — тебе не нужна больше твоя вещь?

Филип. Она мне не по карману.

Дороти вырывается из его объятий.

Дороти. Так уходи.

Филип. Прощай.

Дороти. Убирайся!

Филип выходит в коридор и возвращается в свою комнату. Макс все еще сидит в кресле.
Дороти у себя в комнате звонит горничной.

Макс. Ну?

Филип молча смотрит в электрический камин. Макс тоже смотрит туда.
В дверях соседнего номера показывается Петра.

Петра. Да, сеньорита?

Дороти сидит на кровати. Голова ее высоко поднята, но по щекам текут слезы. Петра подходит к ней.

Что случилось, сеньорита?

Дороти. Ах, Петра, вы были правы, он нехороший. Он очень, очень нехороший. А я, дура набитая, воображала, что мы будем счастливы. А он такой нехороший.

Петра. Да, сеньорита.

Дороти. Но, Петра, все горе в том, что я люблю его.

Петра стоит у кровати, возле Дороти. В номере 110 Филип подходит к ночному столику. Он наливает себе виски и разбавляет его водой.

Филип. Анита!

Анита *(из ванной)*. Да, Филип?

Филип. Анита, кончишь мыться, иди сюда.

Макс. Я пойду.

Филип. Нет. Останься.

Макс. Нет. Нет. Нет. Я тебя прошу, я пойду.

Филип *(очень сухим, безжизненным голосом)*. Анита, вода горячая?

Анита *(из ванной)*. Очень хороший вода.

Макс. Я пойду. Я тебя очень, очень прошу. Я пойду.

Занавес

КОНЕЦ

СТАРИК И МОРЕ

ПЕРЕВОД Е. ГОЛЫШЕВОЙ и Б. ИЗАКОВА

Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно salao, то есть «самый что ни на есть невезучий», и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла три хорошие рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка.

Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря.

Пятна спускались по щекам до самой шеи, на руках виднелись глубокие шрамы, прорезанные бечевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов не было. Они были стары, как трещины в давно уже безводной пустыне.

Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдается.

— Сантьяго,— сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале лодка,— теперь я опять могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег.

Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил.

— Нет,— сказал старик,— ты попал на счастливую лодку. Оставайся на ней.

— А помнишь, один раз ты ходил в море целых восемьдесят семь дней и ничего не поймал, а потом мы три недели кряду каждый день привозили по большой рыбе.

— Помню,— сказал старик.— Я знаю, ты ушел от меня потому, что не верил.

— Меня заставил отец, а я еще мальчик и должен слушаться.

— Знаю,— сказал старик.— Как же иначе.

— Он-то не очень верит.

— Да,— сказал старик.— А вот мы верим. Правда?

— Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на Террасе? А потом мы отнесем домой снасти.

— Ну что ж,— сказал старик.— Ежели рыбак подносит рыбаку...

Они уселись на Террасе, а многие рыбаки подсмеивались над стариком, но он не был на них в обиде. Рыбакам постарше было грустно на него глядеть, однако они не показывали виду и вели вежливый разговор о течении, и о том, на какую глубину они забрасывали леску, и как держится погода, и что они видели в море. Те, кому в этот день повезло, уже вернулись с лова, выпотрошили своих марлинов и, взвалив их поперек двух досок, взявшись по двое за каждый конец доски, перетащили рыбу на рыбный склад, откуда ее должны были отвезти в рефрижераторе на рынок в Гавану.

Рыбаки, которым попались акулы, сдали их на завод по разделке акул на другой стороне бухты; там туши подвесили на блоках, вынули из них печенку, вырезали плавники, содрали кожу и нарезали мясо тонкими пластинками для засола.

Когда ветер дул с востока, он приносил вонь с акульей фабрики; но сегодня запаха почти не было слышно, потому что ветер переменился на северный, а потом стих, и на Террасе было солнечно и приятно.

— Сантьяго,— сказал мальчик.

— Да?— откликнулся старик. Он смотрел на свой стакан с пивом и вспоминал давно минувшие дни.

— Можно, я наловлю тебе на завтра сардин?

— Не стоит. Поиграй лучше в бейсбол. Я еще сам могу грести, а Роджелио забросит сети.

— Нет, дай лучше мне. Если мне нельзя с тобой рыбачить, я хочу помочь тебе хоть чем-нибудь.

— Да ведь ты угостил меня пивом,— сказал старик.— Ты уже взрослый мужчина.

— Сколько мне было лет, когда ты первый раз взял меня в море?

— Пять, и ты чуть было не погиб, когда я втащил в лодку совсем еще живую рыбу и она чуть не разнесла все в щепки, помнишь?

— Помню, как она била хвостом и сломала банку и как ты громко колотил ее дубинкой. Помню, ты швырнул меня на нос, где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял приторный запах крови.

— Ты правда все это помнишь, или я тебе потом рассказывал?

— Я помню все с самого первого дня, когда ты взял меня в море.

Старик поглядел на него воспаленными от солнца, доверчивыми и любящими глазами:

— Если бы ты был моим сыном, я бы и сейчас рискнул взять тебя с собой. Но у тебя есть отец и мать и ты попал на счастливую лодку.

— Давай я все-таки схожу за сардинами. И я знаю, где можно достать четырех живцов.

— У меня еще целы сегодняшние. Я положил их в ящик с солью.

— Я достану тебе четырех свежих.

— Одного,— возразил старик.

Он и так никогда не терял ни надежды, ни веры в будущее, но теперь они крепли в его сердце, словно с моря подул свежий ветер.

— Двух,— сказал мальчик.

— Ладно, двух,— сдался старик.— А ты их, часом, не стащил?

— Стащил бы, если бы понадобилось. Но я их купил.

— Спасибо,— сказал старик.

Он был слишком простодушен, чтобы задуматься о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что смирение пришло, не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства.

— Если течение не переменится, завтра будет хороший день,— сказал старик.

— Ты где будешь ловить?

— Подальше от берега, а вернусь, когда переменится ветер. Выйду до рассвета.

— Надо будет уговорить моего тоже отойти подальше. Если тебе попадется очень большая рыба, мы тебе поможем.

— Твой не любит уходить слишком далеко от берега.

— Да,— сказал мальчик.— Но я уж высмотрю что-нибудь такое, чего он не сможет разглядеть,— ну хотя бы чаек. Тогда его можно будет уговорить отойти подальше за золотой макрелью.

— Неужели у него так плохо с глазами?

— Почти совсем ослеп.

— Странно. Он ведь никогда не ходил за черепахами. От них-то всего больше и слепнешь.

— Но ты столько лет ходил за черепахами к Москитному берегу, а глаза у тебя в порядке.

— Я — не обыкновенный старик.

— А сил у тебя хватит, если попадется очень большая рыба?

— Думаю, что хватит. Тут главное — сноровка.

— Давай отнесем домой снасти. А потом я возьму сеть и схожу за сардинами.

Они вытащили из лодки снасти. Старик нес на плече мачту, а мальчик — деревянный ящик с мотками туго сплетенной коричневой лесы, багор и гарпун с рукояткой. Ящик с наживкой остался на корме вместе с дубинкой, которой глушат крупную рыбу, когда ее вытаскивают на поверхность. Вряд ли кто вздумал бы обокрасть старика, но лучше было отнести парус и тяжелые снасти домой, чтобы они не отсырели от росы. И хотя старик был уверен, что никто из местных жителей не позарится на его добро, он все-таки предпочитал убирать от греха багор, да и гарпун тоже.

Они поднялись по дороге к хижине старика и вошли в дверь, растворенную настежь. Старик прислонил мачту с обернутым вокруг нее парусом к стене, а мальчик положил рядом снасти. Мачта была почти такой же длины, как хижина, выстроенная из листьев королевской пальмы, которую здесь зовут guano. В хижине были кровать, стол и стул и в глинобитном полу — выемка, чтобы стряпать пищу на древесном угле. Коричневые стены, сложенные из спрессованных волокнистых листьев, были украшены цветными олеографиями Сердца господня и Santa María del Cobre. Они достались ему от покойной жены. Когда-то на стене висела и раскрашенная фотография самой жены, но потом старик ее спрятал, потому что смотреть на нее было уж очень тоскливо. Теперь фотография лежала на полке в углу, под чистой рубахой.

— Что у тебя на ужин?— спросил мальчик.

— Миска желтого риса с рыбой. Хочешь?

— Нет, я поем дома. Развести тебе огонь?

— Не надо. Я сам разведу попозже. А может, буду есть рис так, холодный.

— Можно взять сеть?

— Конечно.

Никакой сети давно не было — мальчик помнил, когда они ее продали. Однако оба каждый день делали вид, будто сеть у старика есть. Не было и миски с желтым рисом и рыбой, и это мальчик знал тоже.

— Восемьдесят пять — счастливое число,— сказал старик.— А ну как я завтра поймаю рыбу в тысячу фунтов?

— Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди покуда на пороге, тут солнышко.

— Ладно. У меня есть вчерашняя газета. Почитаю про бейсбол.

Мальчик не знал, есть ли у старика на самом деле газета или это тоже выдумка. Но старик и вправду вытащил газету из-под кровати.

— Мне ее дал Перико в винной лавке,— объяснил старик.

— Я только наловлю сардин и вернусь. Положу и мои и твои вместе на лед, утром поделимся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне про бейсбол.

— «Янки» не могут проиграть.

— Как бы их не побили кливлендские «Индейцы»!

— Не бойся, сынок. Вспомни о великом Ди Маджио.

— Я боюсь не только «Индейцев», но и «Тигров» из Детройта.

— Ты, чего доброго, скоро будешь бояться и «Краснокожих» из Цинциннати, и чикагских «Белых чулок».

— Почитай газету и расскажи мне, когда я вернусь.

— А что, если нам купить лотерейный билет с цифрой восемьдесят пять? Завтра ведь восемьдесят пятый день.

— Почему не купить?— сказал мальчик.— А может, лучше с цифрой восемьдесят семь? Ведь в прошлый раз было восемьдесят семь дней.

— Два раза ничего не повторяется. А ты сможешь достать билет с цифрой восемьдесят пять?

— Закажу.

— Одинарный. За два доллара пятьдесят. Где бы нам их занять?

— Пустяки! Я всегда могу занять два доллара пятьдесят.

— Я, наверно, тоже мог бы. Только я стараюсь не брать в долг. Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню...

— Смотри не простудись, старик. Не забудь, что на дворе сентябрь.

— В сентябре идет крупная рыба. Каждый умеет рыбачить в мае.

— Ну, я пошел за сардинами,— сказал мальчик.

Когда мальчик вернулся, солнце уже зашло, а старик спал, сидя на стуле. Мальчик снял с кровати старое солдатское одеяло и прикрыл им спинку стула и плечи старика. Это были удивительные плечи — могучие, несмотря на старость, да и шея была сильная, и теперь, когда старик спал, уронив голову на грудь, морщины были не так заметны. Рубаха его была такая же латаная-перелатаная, как и парус, а заплаты были разных оттенков, потому что неровно выгорели на солнце. Однако лицо у старика было все же очень старое и теперь, во сне, с закрытыми глазами, оно казалось совсем неживым. Газета лежала у него на коленях, прижатая локтем, чтобы ее не сдуло. Ноги были босы.

Мальчик не стал его будить и ушел, а когда он вернулся снова, старик все еще спал.

— Проснись!— позвал его мальчик и положил ему руку на колено.

Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то издалека. Потом он улыбнулся.

— Что ты принес?

— Ужин. Сейчас мы будем есть.

— Да я не так уж голоден.

— Давай есть. Нельзя ловить рыбу не евши.

— Мне случалось,— сказал старик, поднимаясь и складывая газету; потом он стал складывать одеяло.

— Не снимай одеяла,— сказал мальчик.— Покуда я жив, я не дам тебе ловить рыбу не евши.

— Тогда береги себя и живи как можно дольше,— сказал старик.— А что мы будем есть?

— Черные бобы с рисом, жареные бананы и тушеную говядину.

Мальчик принес еду в металлических судках из ресторанчика на Террасе. Вилки, ножи и ложки он положил в карман; каждый прибор был завернут отдельно в бумажную салфетку.

— Кто тебе все это дал?

— Мартин, хозяин ресторана.

— Надо его поблагодарить.

— Я его поблагодарил,— сказал мальчик,— уж ты не беспокойся.

— Дам ему самую мясистую часть большой рыбы,— сказал старик.— Ведь он помогает нам не первый раз?

— Нет, не первый.

— Тогда одной мясистой части будет мало. Он нам сделал много добра.

— А вот сегодня дал еще и пива.

— Я-то больше всего люблю консервированное пиво.

— Знаю. Но сегодня он дал пиво в бутылках. Бутылки я сдам обратно.

— Ну, спасибо, тебе,— сказал старик.— Давай есть?

— Я тебе давно предлагаю поесть,— ласково упрекнул его мальчик.— Все жду, когда ты сядешь за стол, и не открываю судков, чтобы еда не остыла.

— Давай. Мне ведь надо было помыться.

«Где ты мог помыться?»— подумал мальчик. До колонки было два квартала. «Надо припасти ему воды, мыла и хорошее полотенце. Как я раньше об этом не подумал? Ему нужна новая рубашка, зимняя куртка, какая-нибудь обувь и еще одно одеяло».

— Вкусное мясо,— похвалил старик.

— Расскажи мне про бейсбол,— попросил его мальчик.

— В Американской лиге выигрывают «Янки», как я и говорил,— с довольным видом начал старик.

— Да, но сегодня их побили.

— Это ничего. Зато великий Ди Маджио опять в форме.

— Он не один в команде.

— Верно. Но он решает исход игры. Во второй лиге — Бруклинцев и Филадельфийцев — шансы есть только у Бруклинцев. Впрочем, ты помнишь, как бил Дик Сайзлер? Какие у него были удары, когда он играл там, в Старом парке!

— Высокий класс! Он бьет дальше всех.

— Помнишь, он приходил на Террасу? Мне хотелось пригласить его с собой порыбачить, но я постеснялся. Я просил тебя его пригласить, но и ты тоже постеснялся.

— Помню. Глупо, что я струсил. А вдруг бы он согласился? Было бы о чем вспоминать до самой смерти!

— Вот бы взять с собой в море великого Ди Маджио,— сказал старик.— Говорят, отец у него был рыбаком. Кто его знает, может, он и сам когда-то был беден, как мы, и не погнушался бы.

— Отец великого Сайзлера никогда не был бедняком. Он играл в настоящих командах, когда ему было столько лет, сколько мне.

— Когда мне было столько лет, сколько тебе, я плавал юнгой на паруснике к берегам Африки. По вечерам я видел, как на отмели выходят львы.

— Ты мне рассказывал.

— О чем мы будем разговаривать: об Африке или о бейсболе?

— Лучше о бейсболе. Расскажи мне про великого Джона Мак-Гроу.

— Он тоже в прежние времена захаживал к нам на Террасу. Но когда напивался, с ним не было сладу. А в голове у него был не только бейсбол, но и лошади. Вечно таскал в карманах программы бегов и называл имена лошадей по телефону.

— Он был великий тренер,— сказал мальчик.—Отец говорит, что он был самый великий тренер на свете.

— Потому что он видел его чаще других. Если бы и Дюроше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете.

— А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или Майк Гонсалес?

— По-моему, они стоят друг друга.

— А самый лучший рыбак на свете — это ты.

— Нет. Я знавал рыбаков и получше.

— Qué va! [1] — сказал мальчик. На свете немало хороших рыбаков, есть и просто замечательные. Но таких, как ты, нету нигде.

— Спасибо. Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не попадется чересчур большая рыба, а то ты еще во мне разочаруешься.

— Нет на свете такой рыбы, если у тебя и вправду осталась прежняя сила.

— Может, ее у меня и меньше, чем я думаю. Но сноровка у меня есть и выдержки хватит.

— Ты теперь ложись спать, чтобы к утру набраться сил. А я отнесу посуду.

— Ладно. Спокойной ночи. Утром я тебя разбужу.

— Ты для меня все равно что будильник,— сказал мальчик.

---

[1] Что ты! *(исп.)*

— А мой будильник — старость. Отчего старики так рано просыпаются? Неужели для того, чтобы продлить себе хотя бы этот день?

— Не знаю. Знаю только, что молодые спят долго и крепко.

— Это я помню,— сказал старик.— Я разбужу тебя вовремя.

— Я почему-то не люблю, когда меня будит тот, другой. Как будто я хуже его.

— Понимаю.

— Спокойной ночи, старик.

Мальчик ушел. Они ели, не зажигая света, и теперь старик, сняв штаны, лег спать в темноте. Он скатал их, чтобы положить себе под голову вместо подушки, а в сверток сунул еще и газету. Завернувшись в одеяло, он улегся на старые газеты, которыми были прикрыты голые пружины кровати.

Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности, длинные золотистые ее берега и белые отмели — такие белые, что глазам больно,— высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром.

Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано, он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов.

Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львята, выходящие на берег. Словно котята, они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так же, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился.

Старик вдруг проснулся, взглянул через отворенную дверь на луну, развернул свои штаны и надел их. Выйдя из хижины, он помочился и пошел вверх по дороге будить мальчика. Его познабливало от утренней свежести. Но он знал, что озноб пройдет, а скоро он сядет на весла и совсем согреется.

Дверь дома, где жил мальчик, была открыта, и старик вошел, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном

свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему; мальчик взял штаны со стула подле кровати и, сидя, натянул их.

Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он все еще никак не мог проснуться, и старик обняв его за плечи, сказал:

— Прости меня.

— Qué va!— ответил мальчик.— Такова уж наша мужская доля. Что поделаешь.

Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге в темноте шли босые люди, таща мачты со своих лодок.

Придя в хижину, мальчик взял корзину с мотками лески, гарпун и багор, а старик взвалил на плечо мачту с обернутым вокруг нее парусом.

— Хочешь кофе?— спросил мальчик.

— Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе.

Они пили кофе из консервных банок в закусочной, которая обслуживала рыбаков и открывалась очень рано.

— Ты хорошо спал, старик?— спросил мальчик; он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще трудно было расстаться со сном.

— Очень хорошо, Манолин. Сегодня я верю в удачу.

— И я,— сказал мальчик.— Теперь я схожу за нашими сардинами и за твоими живцами. Мой таскает свои снасти сам. Он не любит, когда его вещи носят другие.

— А у нас с тобой не так. Я давал тебе таскать снасти чуть не с пяти лет.

— Знаю,— сказал мальчик.— Подожди, я сейчас вернусь. Выпей еще кофе. Нам здесь дают в долг.

Он зашлепал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику, где хранились живцы.

Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе как следует, потому что больше он сегодня есть не будет. Ему давно уже прискучил процесс еды, и он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой — вот и все, что ему понадобится до вечера.

Мальчик вернулся, неся сардины и завернутых в газету живцов.

Они спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду.

— Желаю тебе удачи, старик.

«Старик и море»

— И тебе тоже.

Старик надел веревочные петли весел на колышки уключин и, наклонившись вперед, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик хоть и не видел их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются и загребают воду весла.

Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор. Но на большей части лодок царило молчание, и доносился лишь плеск весел. Выйдя из бухты, лодки рассеялись в разные стороны, и каждый рыбак направился туда, где он надеялся найти рыбу.

Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега; он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали «великим колодцем», он видел, как светятся в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых семьсот морских саженей, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбешки, а на самых больших глубинах порою толпится множество каракатиц; ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб.

В темноте старик чувствовал приближение утра; загребая веслами, он слышал дрожащий звук — это летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам — они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят, и он думал: «Птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших, сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми, печальными голосами,— они слишком хрупки для него».

Мысленно он всегда звал море la mar, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буями вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, ку-

ленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море el mar, то есть в мужском роде. Другие рыбаки, помоложе, говорили о море как о пространстве, как о сопернике, порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки,— что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину»,— думал старик.

Он мерно греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, и когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.

«Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал,— подумал старик.— Сегодня я попытаю счастья там, где ходят стаи бонито и альбакоре. Вдруг там плавает и большая рыба?»

Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из живцов находился на глубине сорока морских саженей, другой ушел вниз на семьдесят пять, а третий и четвертый погрузились в голубую воду на сто и сто двадцать пять саженей. Живцы висели головою вниз, причем стержень крючка проходил внутри рыбы и был накрепко завязан и зашит, сам же крючок — его изгиб и острие — были унизаны свежими сардинами. Сардины были нанизаны на крючок через оба глаза, образуя гирлянду на стальном полукружье крючка. Приблизившись к крючку, большая рыба почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек.

Мальчик дал старику с собой двух свежих тунцов, которых тот наживил на самые длинные лесы, а к двум остальным прицепил большую голубую макрель и желтую умбрицу. Он ими уже пользовался в прошлый раз, однако они все еще были в хорошем состоянии, а отличные сардины придавали им аромат и заманчивость. Каждая леса толщиной с большой карандаш была закинута на гибкий прут так, чтобы любое прикосновение рыбы к наживке заставило прут пригнуться к воде, и была подвязана к двум запасным моткам лесы по сорок саженей в каждом, которые, в свою очередь, могли быть соединены с другими запасными мотками, так что при надобности рыбу можно было опустить больше чем на триста саженей.

Теперь старик наблюдал, не пригибаются ли к борту зеленые прутья, и тихонечко греб, следя за тем, чтобы леса ухо-

дила в воду прямо и на должную глубину. Стало уже совсем светло, вот-вот должно было взойти солнце.

Солнце едва приметно поднялось из моря, и старику стали видны другие лодки; они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче и вода отразила его сияние, а когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладкая поверхность моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя резкую боль, и старик греб, стараясь не глядеть на воду. Он смотрел в темную глубь моря, куда уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и рыбу на разных глубинах ожидала в темноте приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порою они оказывались на глубине в шестьдесят саженей, когда рыбаки считали, что опустили их на сто.

«Я же,— подумал старик,— всегда закидываю свои снасти точно. Мне просто не везет. Однако кто знает? Может, сегодня счастье мне улыбнется. День на день не приходится. Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов».

Солнце поднималось уже два часа, и глядеть на восток было не так больно. Теперь видны были только три лодки; отсюда казалось, что они совсем низко сидят в воде и почти не отошли от берега.

«Всю жизнь у меня резало глаза от утреннего света,— думал старик.— Но видят они еще хорошо. Вечером я могу смотреть прямо на солнце, и черные пятна не мелькают у меня перед глазами. А вечером солнце светит куда сильнее. Но по утрам оно причиняет мне боль».

В это самое время он заметил птицу-фрегата, которая кружила впереди него в небе, распластав длинные черные крылья. Птица круто сорвалась к воде, закипув назад крылья, а потом снова пошла кругами.

— Почуяла добычу,— сказал старик вслух.— Не просто кружит.

Старик медленно и мерно греб в ту сторону, где кружила птица. Не торопясь он следил за тем, чтобы его лесы под прямым углом уходили в воду. Однако лодка все же слегка обгоняла течение, и хотя старик удил все так же правильно, движения его были чуточку быстрее, чем прежде, до появления птицы.

Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и старик увидел, как из воды взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью.

— Макрель,— громко произнес старик.— Крупная золотая макрель.

Он вынул из воды весла и достал из-под носового настила леску. На конце ее был прикручен проволокой небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Старик опустил леску в воду и привязал ее к кольцу, ввинченному в корму. Потом он насадил наживку на другую леску и оставил ее смотанной в тени под настилом. Взяв в руки весла, он снова стал наблюдать за длиннокрылой черной птицей, которая охотилась теперь низко над водой. Птица опять нырнула в воду, закинув за спину крылья, а потом замахала ими суматошно и беспомощно, погнавшись за летучей рыбой. Старик видел, как вода слегка вздымалась,— это золотая макрель преследовала убегавшую от нее рыбу. Макрель плыла ей наперерез с большой скоростью, чтобы оказаться как раз под рыбой в тот миг, когда она опустится в воду.

«Там, видно, большая стая макрели,— подумал старик.— Они плывут поодаль друг от друга, и у рыбы мало шансов спастись. У птицы же нет никакой надежды ее поймать. Летучая рыба слишком крупная для фрегата и движется слишком быстро».

Старик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась из воды и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макрель ушла от меня,— подумал старик.— Она уплывает слишком быстро и слишком далеко. Но, может быть, мне попадется макрель, отбившаяся от стаи, а может, поблизости от нее плывет и моя большая рыба? Ведь должна же она где-нибудь плыть».

Облака над землей возвышались теперь, как горная гряда, а берег казался длинной зеленой полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые холмы. Вода стала темно-синей, почти фиолетовой. Когда старик глядел в воду, он видел красноватые переливы планктона в темной глубине и причудливый отсвет солнечных лучей. Он следил за тем, прямо ли уходят в воду его лески, и радовался, что кругом столько планктона, потому что это сулило рыбу. Причудливое отражение лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду, так же как и форма облаков, висевших над землей. Однако птица была уже далеко, а на поверхности воды не видне-

лось ничего, кроме пучков желтых, выгоревших на солнце саргассовых водорослей и лиловатого, переливчатого студенистого пузыря — португальской физалии, плывшей неподалеку от лодки. Физалия перевернулась на бок, потом приняла прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные смертоносные лиловые щупальца.

— Ах ты, сука!— сказал старик.

Легко загребая веслами, он заглянул в глубину и увидел там крошечных рыбешек, окрашенных в тот же цвет, что и влачащиеся в воде щупальца; они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря. Яд его не мог причинить им вреда. Другое дело людям: когда такие вот щупальца цеплялись за леску и приставали к ней, склизкие и лиловатые, пока старик вытаскивал рыбу, руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога ядовитым плющом. Отравление наступало быстро и пронзало острой болью, как удар бича.

Переливающиеся радугой пузыри необычайно красивы. Но это самые коварные жители моря, и старик любил смотреть, как их пожирают громадные морские черепахи. Завидев физалий, черепахи приближались к ним спереди, закрыв глаза, что делало их совершенно неуязвимыми, а затем поедали физалий целиком, вместе со щупальцами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают физалий; он любил и сам ступать по ним на берегу после шторма, прислушиваясь, как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва.

Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в желтую броню неуклюжим и глупым биссам, прихотливым в любовных делах и поедающим с закрытыми глазами португальских физалий.

Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет кряду. Старик жалел их, даже огромных кожистых черепах, называемых луты, длиною в целую лодку и весом в тонну.

Большинство людей бессердечно относятся к черепахам, ведь черепашье сердце бьется еще долго после того, как животное убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня,— думал старик,— такое же сердце, а мои ноги и руки так похожи на их лапы». Он ел белые черепашьи яйца, чтобы придать себе силы. Он ел их весь май, чтобы быть сильным в сентябре и октябре, когда пойдет по-настоящему большая рыба.

Каждый день старик выпивал также по чашке жира из

акульей печенки, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак, кто бы ни захотел. Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его было отнюдь не противнее, чем затемно подниматься с постели, а он очень помогал от простуды и был полезен для глаз.

Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружил над морем.

— Нашел рыбу,— сказал он вслух.

Ни одна летучая рыба не тревожила водную гладь, не было заметно кругом и мелкой рыбешки. Но старик вдруг увидел, как в воздух поднялся небольшой тунец, перевернулся на лету и головой вниз снова ушел в море.

Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая воду и длинными бросками кидаясь на мелкую рыбешку. Они кружили подле нее и гнали ее перед собой.

«Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю»,— подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают воду добела, а фрегат ныряет, хватая рыбешку, которую страх перед тунцами выгнал на поверхность.

— Птица — верный помощник рыбаку,— сказал старик.

В этот миг короткая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которой он придерживал один ее виток; старик бросил весла и, крепко ухватив конец бечевы, стал выбирать ее, чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дергал крючок. Леска дергалась у него в руках все сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие золотом бока рыбы еще до того, как подтянул ее к самой лодке и перекинул через борт.

Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно литая пуля, и, вытаращив большие бессмысленные глаза, прощался с жизнью под судорожные удары аккуратного, подвижного хвоста. Старик из жалости убил его ударом по голове и, еще трепещущего, отшвырнул ногой в тень под кормовой настил.

— Альбакоре,— сказал он вслух.— Из него выйдет прекрасная наживка. Веса в нем фунтов десять, не меньше.

Старик уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собою вслух. Прежде, оставшись один, он пел; он пел иногда и ночью, стоя на вахте, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверно, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик и он остался совсем один. Теперь он уже не помнил. Но ведь и рыбача с мальчиком, они разговаривали только тогда, когда это было необхо-

димо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду. В море не принято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал, что это дурно, и уважал обычай. А вот теперь он по многу раз повторял свои мысли вслух — ведь они никому не могли быть в тягость.

— Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил,— сказал старик.— Но раз я не спятил, кому какое дело? Хорошо богатым: у них есть радио, которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол.

«Теперь не время думать про бейсбол,— сказал себе старик.— Теперь время думать только об одном. О том, для чего я родился. Где-нибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть, плывет моя большая рыба. Я ведь поймал только одного альбакоре, да и то отбившегося от стаи. А они охотятся далеко от берега и плывут очень быстро. Все, что встречается сегодня в море, движется очень быстро и на северо-восток. Может быть, так всегда бывает в это время дня? А может, это к перемене погоды, и я просто не знаю такой приметы?»

Старик уже больше не видел зеленой береговой полосы; вдали вырисовывались лишь верхушки голубых холмов, которые отсюда казались белыми, словно были одеты снегом. Облака над ними тоже были похожи на высокие снежные горы. Море стало очень темным, и солнечные лучи преломлялись в воде. Бесчисленные искры планктона теперь были погашены солнцем, стоящим в зените, и в темно-синей воде старик видел лишь большие радужные пятна от преломлявшихся в ней солнечных лучей да бечевки, прямо уходящие в глубину, которая достигала здесь целой мили.

Тунцы — рыбаки звали всех рыб этой породы тунцами и различали их настоящие имена лишь тогда, когда шли их продавать на рынок или сбывали как наживку,— снова ушли в глубину. Солнце припекало, и старик чувствовал, как оно жжет ему затылок. Пот струйками стекал по спине, когда он греб.

«Я мог бы пойти по течению,— подумал старик,— и поспать, привязав леску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня восемьдесят пятый день, и надо быть начеку».

И как раз в этот миг он заметил, как одно из зеленых удилищ дрогнуло и пригнулось к воде.

— Ну вот,— сказал он.— Вот! — И вытащил из воды весла, стараясь не потревожить лодку.

Старик потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова. На этот раз рывок был осторожный и не сильный, и старик в точности знал, что это означает. На глубине в сто морских саженей марлин пожирал сардины, которыми были унизаны острие и полукружие крючка, там, где этот выкованный вручную крючок вылезал из головы небольшого тунца.

Старик, легонько придерживая бечеву, левой рукой осторожно отвязал ее от удилища. Теперь она могла незаметно для рыбы скользить у него между пальцами.

«Так далеко от берега, да еще в это время года, рыба, наверно, огромная. Ешь, рыба. Ешь. Ну, ешь же, пожалуйста. Сардины такие свеженькие, а тебе так холодно в воде, на глубине в шестьсот футов, холодно и темно. Поворотись еще разок в темноте, ступай назад и поешь!»

Он почувствовал легкий, осторожный рывок, а затем и более сильный,— видно, одну из сардин оказалось труднее сорвать с крючка. Потом все стихло.

— Ну же,— сказал старик вслух,— поворотись еще разок. Понюхай. Разве они не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, настанет черед попробовать тунца! Он ведь твердый, прохладный, прямо объеденье. Не стесняйся, рыба, ешь, прошу тебя.

Он ждал, держа бечеву между большим и указательным пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла переплыть с места на место. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание лески.

— Клюнет,— сказал старик вслух.— Клюнет, дай бог ей здоровья!

Но она не клюнула. Она ушла, и леска была неподвижна.

— Она не могла уйти,— сказал старик.— Видит бог, она не могла уйти. Она просто поворачивается и делает новый заплыв. Может быть, она уже попадалась на крючок и помнит об этом.

Тут он снова почувствовал легкое подергивание лески, и у него отлегло от сердца.

— Я же говорил, что она только поворачивается,— сказал старик.— Теперь-то уж она клюнет!

Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он

почувствовал вес огромной рыбы и, выпустив бечеву, дал ей скользить вниз, вниз, вниз, разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами, но хотя он едва придерживал ее, он все же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла ее за собой.

— Что за рыба! — сказал он вслух.— Зацепила крючок губой и хочет теперь удрать вместе с ним подальше.

«Она все равно повернется и проглотит крючок»,— подумал старик. Однако он не произнес своей мысли вслух, чтобы не сглазить. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше с тунцом, застрявшим у нее поперек пасти. На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бечеву. На секунду он придержал ее пальцами; напряжение увеличилось, и бечеву потянуло прямо вниз.

— Клюнула,— сказал старик.— Пусть теперь поест как следует.

Он позволил лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле двух запасных мотков второй удочки. Теперь все было готово. У него в запасе было три мотка лесы по сорок саженей в каждом, не считая той, на которой он держал рыбу.

— Поешь еще немножко,— сказал он.— Ешь, не стесняйся.

«Ешь так, чтобы острие крючка попало тебе в сердце и убило тебя насмерть,— подумал он.— Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун. Ну вот и ладно. Ты готова? Насытилась вволю?»

— Пора! — сказал он вслух и, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда, а потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бечеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке всю силу рук и тела.

Усилия его были тщетны. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Леска у него была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул ее за спину и натянул так туго, что по ней запрыгали водяные капли. Затем леса негромко зашипела в воде, а он все держал ее, упершись в сиденье и откинув назад туловище. Лодка начала чуть заметно отходить на северо-запад.

Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать.

— Эх, если бы со мной был мальчик! — сказал он.— Меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битенг. Можно бы привязать бечевку к лодке. Но тогда рыба, чего доброго, сорвется. Я должен крепко держать ее и отпускать по мере надобности. Слава богу, что она плывет, а не опускается на дно... А что я стану делать, если она решит пойти в глубину? Что я стану делать, если она пойдет камнем на дно и умрет? Не знаю. Там будет видно. Мало ли что я могу сделать!

Он упирался в бечеву спиной и следил за тем, как косо она уходит в воду и как медленно движется лодка на северо-запад.

«Скоро она умрет,— думал старик.— Не может она плыть вечно».

Однако прошло четыре часа, рыба все так же неутомимо уходила в море, таща за собой лодку, а старик все так же сидел, упершись в банку, с натянутой за спиной лесой.

— Когда я поймал ее, был полдень,— сказал старик.— А я до сих пор ее не видел.

Перед тем как поймать рыбу, он плотно натянул соломенную шляпу на лоб, и теперь она больно резала ему кожу. Старику хотелось пить, и, осторожно став на колени, так, чтобы не дернуть бечеву, он подполз как можно ближе к носу и одной рукой достал бутылку. Откупорив ее, он отпил несколько глотков. Потом отдохнул, привалившись к носу. Он отдыхал, сидя на мачте со скатанным парусом, стараясь не думать, а только беречь силы.

Потом он поглядел назад и обнаружил, что земли уже не видно. «Невелика беда,— подумал он.— Я всегда смогу вернуться, правя на огни Гаваны. До захода солнца осталось два часа, может быть, она еще выплывет за это время. Если нет, то она, может быть, выплывет при свете луны. А то, может быть, на рассвете. Руки у меня не сводит, и я полон сил. Проглотила ведь крючок она, а не я. Но что же это за рыба, если она так тянет! Видно, она крепко прикусила проволоку. Хотелось бы мне на нее поглядеть хоть одним глазком, тогда бы я знал, с кем имею дело».

Насколько старик мог судить по звездам, рыба плыла всю ночь, не меняя направления. После захода солнца похолодало, пот высох у него на спине, на плечах и на старых ногах, и ему стало холодно. Днем он вытащил мешок, покрывавший ящик с наживкой, и расстелил его на солнце сушить. Когда солнце зашло, он обвязал мешок вокруг шеи и спустил его себе на спину, осторожно просунув под бечеву. Бечева резала теперь

куда меньше, и, прислонившись к носу, он согнулся так, что ему было почти удобно. По правде говоря, в этом положении ему было только чуточку легче, но он уверял себя, что теперь ему почти совсем удобно.

«Я ничего не могу с ней поделать, но и она ничего не может поделать со мной,— сказал себе старик.— Во всяком случае, до тех пор, пока не придумает какой-нибудь новый фокус».

Разок он встал, чтобы помочиться через борт лодки, поглядеть на звезды и определить, куда идет лодка. Бечева казалась тоненьким лучиком, уходящим от его плеча прямо в воду. Теперь они двигались медленнее, а огни Гаваны потускнели,— по-видимому, течение уносило их на восток. «Раз огни Гаваны исчезают — значит, мы идем все больше на восток,— подумал старик.— Если бы рыба не изменила своего курса, я их видел бы еще много часов. Интересно, чем окончились сегодня матчи? Хорошо бы иметь на лодке радио!» Но он прерывал свои мысли: «Не отвлекайся! Думай о том, что ты делаешь. Думай, чтобы не совершить какую-нибудь глупость».

Вслух он сказал:

— Жаль, что со мной нет мальчика. Он бы мне помог и увидел бы все это сам.

«Нельзя, чтобы в старости человек оставался один,— думал он.— Однако это неизбежно. Не забыть бы мне съесть тунца, покуда он не протух, здесь мне нельзя терять силы. Не забыть бы мне съесть его утром, даже если я совсем не буду голоден. Только бы не забыть»,— повторял он себе.

Ночью к лодке подплыли две морские свиньи, и старик слышал, как громко пыхтит самец и чуть слышно, словно вздыхая, пыхтит самка.

— Они хорошие,— сказал старик.— Играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам родня, совсем как летучая рыба.

Потом ему стало жалко большую рыбу, которую он поймал на крючок. «Ну не чудо ли эта рыба, и один бог знает, сколько лет она прожила на свете. Никогда еще мне не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, как странно она себя ведет! Может быть, она потому не прыгает, что уж очень умна. Ведь она погубила бы меня, если бы прыгнула или рванулась изо всех сил вперед. Но, может быть, она не раз уже попадалась на крючок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почем ей знать, что против нее всего один человек, да и тот старик. Но какая большая эта рыба и сколько она принесет денег, если у нее вкусное мясо! Она схватила наживку, как самец, тянет, как самец, и борется со мной без всякого страха. Инте-

ресно, знает она, что ей делать, или плывет очертя голову, как и я?»

Он вспомнил, как однажды поймал на крючок самку марлина. Самец всегда подпускает самку к пище первую, и, попавшись на крючок, самка со страха вступила в яростную, отчаянную борьбу, которая быстро ее изнурила, а самец, ни на шаг не отставая от нее, плавал и кружил вместе с ней по поверхности моря. Он плыл так близко, что старик боялся, как бы он не перерезал лесу хвостом, острым, как серп, и почти такой же формы. Когда старик зацепил самку багром и стукнул ее дубинкой, придерживая острую, как рапира, пасть с шершавыми краями, когда он бил ее дубинкой по черепу до тех пор, пока цвет ее не стал похож на цвет амальгамы, которой покрывают оборотную сторону зеркала, и когда потом он с помощью мальчика втаскивал ее в лодку, самец оставался рядом. Потом, когда старик стал сматывать лесу и готовить гарпун, самец высоко подпрыгнул в воздух возле лодки, чтобы поглядеть, что стало с его подругой, а затем ушел глубоко в воду, раскинув светло-сиреневые крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно видны. Старик не мог забыть, какой он был красивый. И он не покинул свою подругу до конца.

«Ни разу в море я не видал ничего печальнее,— подумал старик.— Мальчику тоже стало грустно, и мы попросили у самки прощения и быстро разделали ее тушу».

— Жаль, что со мной нет мальчика,— сказал он вслух и поудобнее примостился к округлым доскам носа, все время ощущая через бечевку, которая давила ему на плечи, могучую силу большой рыбы, неуклонно уходившей к какой-то своей цели.

— Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось изменить свое решение!

«Ее судьба была оставаться в темной глубине океана, вдали от всяческих ловушек, приманок и людского коварства. Моя судьба была отправиться за ней в одиночку и найти ее там, куда не проникал ни один человек. Ни один человек на свете. Теперь мы связаны друг с другом с самого полудня. И некому помочь ни ей, ни мне».

«Может быть, мне не нужно было становиться рыбаком,— думал он.— Но ведь для этого я родился. Только бы не забыть съесть тунца, когда рассветет».

Незадолго до восхода солнца клюнуло на одну из наживок за спиной. Он услышал, как сломалось удилище и бечева заскользила через планшир лодки. В темноте он выпростал из футляра свой нож и, перенеся всю тяжесть рыбы на левое пле-

чо, откинулся назад и перерезал лесу на планшире. Потом он перерезал лесу, находившуюся рядом с ним, и в темноте крепко связал друг с другом концы запасных мотков. Он ловко работал одной рукой, придерживая ногой мотки, чтобы покрепче затянуть узел. Теперь у него было целых шесть запасных мотков лесы: по два от каждой перерезанной им бечевы и два от лесы, на которую попалась рыба; все мотки были связаны друг с другом.

«Когда рассветет,— думал он,— я постараюсь достать ту лесу, которую я опустил на сорок саженей, и тоже ее перережу, соединив запасные мотки. Правда, я потеряю двести саженей крепкой каталонской веревки, не говоря уже о крючках и грузилах. Ничего, это добро можно достать снова. Но кто достанет мне новую рыбу, если на крючок попадется какая-нибудь другая рыба и сорвет мне эту? Не знаю, что там сейчас клюнуло. Может быть, марлин, а может быть, и меч-рыба или акула. Я даже не успел ее почувствовать. Надо было побыстрее от нее отвязаться».

Вслух он сказал:

— Эх, был бы со мной мальчик!

«Но мальчика с тобой нет,— думал он.— Ты можешь рассчитывать только на себя, и хоть сейчас и темно, лучше бы ты попытался достать ту, последнюю лесу, перерезать ее и связать два запасных мотка».

Он так и сделал. В темноте ему было трудно работать, и один раз рыба дернула так, что он свалился лицом вниз и рассек щеку под глазом. Кровь потекла по скуле, но свернулась и подсохла, еще не дойдя до подбородка, а он подполз обратно к носу и привалился к нему, чтобы передохнуть. Старик поправил мешок, осторожно передвинул бечеву на новое, еще не натруженное место и, передав весь упор на плечи, попытался определить, сильно ли тянет рыба, а потом опустил руку в воду, чтобы выяснить, с какой скоростью движется лодка.

«Интересно, почему она рванулась,— подумал он.— Проволока, верно, соскользнула с большого холма ее спины. Конечно, ее спине не так больно, как моей. Но не может же она тащить лодку без конца, как бы велика ни была! Теперь я избавился от всего, что могло причинить мне вред, и у меня большой запас бечевы,— чего же еще человеку нужно?»

— Рыба,— позвал он тихонько,— я с тобой не расстанусь, пока не умру.

«Да и она со мной, верно, не расстанется»,— подумал старик и стал дожидаться утра. В этот предрассветный час было

холодно, и он прижался к доскам, чтобы хоть немножко согреться. «Если она терпит, значит, и я стерплю».

И заря осветила натянутую лесу, уходящую в глубину моря. Лодка двигалась вперед неустанно, и когда над горизонтом появился краешек солнца, свет его упал на правое плечо старика.

— Она плывет к северу,— сказал старик.— А течение, наверно, отнесло нас далеко на восток. Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала.

Но когда солнце поднялось выше, старик понял, что рыба и не думала уставать. Одно лишь было отрадно: уклон, под которым леса уходила в воду, показывал, что рыба плыла теперь на меньшей глубине. Это отнюдь не означало, что она непременно вынырнет на поверхность. Однако вынырнуть она все же могла.

— Господи, заставь ее вынырнуть! — сказал старик.— У меня хватит бечевы, чтобы с ней справиться.

«Может быть, если мне удастся немножко усилить тягу, ей будет больно и она выпрыгнет,— подумал старик.— Теперь, когда стало светло, пусть она выпрыгнет. Тогда пузыри, которые у нее идут вдоль хребта, наполнятся воздухом и она не сможет больше уйти в глубину, чтобы там умереть».

Он попытался натянуть бечеву потуже, но с тех пор, как он поймал рыбу, леса и так была натянута до отказа, и когда он откинулся назад, чтобы натянуть ее еще крепче, она больно врезалась в спину, и он понял, что у него ничего не выйдет. «А дергать нельзя,— подумал он.— Каждый рывок расширяет рану, которую нанес ей крючок, и если рыба вынырнет, крючок может вырваться совсем. Во всяком случае, я чувствую себя лучше теперь, когда светит солнце, и на этот раз мне не надо на него смотреть».

Лесу опутали желтые водоросли, но старик был рад им, потому что они задерживали ход лодки. Это были те самые желтые водоросли, которые так светились ночью.

— Рыба,— сказал он,— я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер.

«Будем надеяться, что это мне удастся»,— подумал он.

С севера к лодке приблизилась маленькая птичка. Она летела низко над водой. Старик видел, что она очень устала.

Птица села на корму отдохнуть. Потом она покружилась у старика над головой и уселась на бечеву, где ей было удобнее.

— Сколько тебе лет? — спросил ее старик.— Наверно, это твое первое путешествие?

Птица посмотрела на него в ответ. Она слишком устала, чтобы проверить, достаточно ли прочна бечева, и лишь покачивалась, обхватив ее своими нежными лапками.

— Не бойся, веревка натянута крепко,— заверил ее старик.— Даже слишком крепко. Тебе не полагалось бы так уставать в безветренную ночь. Ах, не те нынче пошли птицы!

«А вот ястребы,— подумал он,— выходят в море нам навстречу». Но он не сказал этого птице, да она все равно его бы не поняла. Ничего, сама скоро все узнает про ястребов.

— Отдохни хорошенько, маленькая птичка,— сказал он.— А потом лети к берегу и борись, как борется каждый человек, птица или рыба.

Разговор с птицей его подбодрил, а то спина у него совсем одеревенела за ночь, и теперь ему было по-настоящему больно.

— Побудь со мной, если хочешь, птица,— сказал он.— Жаль, что я не могу поставить парус и привезти тебя на сушу, хотя сейчас и поднимается легкий ветер. Но у меня тут друг, которого я не могу покинуть.

В это мгновение рыба внезапно рванулась и повалила старика на нос; она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лесу.

Когда бечева дернулась, птица взлетела, и старик даже не заметил, как она исчезла. Он пощупал лесу правой рукой и увидел, что из руки течет кровь.

— Верно, рыбе тоже стало больно,— сказал он вслух и потянул бечеву, проверяя, не сможет ли он повернуть рыбу в другую сторону. Натянув лесу до отказа, он снова замер в прежнем положении.

— Худо тебе, рыба? — спросил он.— Видит бог, мне и самому не легче.

Он поискал глазами птицу, потому что ему хотелось с кем-нибудь поговорить. Но птицы нигде не было.

«Недолго же ты побыла со мной,— подумал старик.— Но там, куда ты полетела, ветер много крепче, и он будет дуть до самой суши. Как же это я позволил рыбе поранить меня одним быстрым рывком? Верно, я совсем поглупел. А может быть, просто загляделся на птичку и думал только о ней? Теперь я буду думать о деле и съем тунца, чтобы набраться сил».

— Жаль, что мальчик не со мной и что у меня нет соли,— сказал он вслух.

Переместив тяжесть рыбы на левое плечо и осторожно став на колени, он вымыл руку, подержав ее с минуту в воде и на-

блюдая за тем, как расплывается кровавый след, как мерно обтекает руку встречная струя.

— Теперь рыба плывет куда медленнее,— сказал он вслух.

Старику хотелось подольше подержать руку в соленой воде, но он боялся, что рыба снова дернет; поэтому он поднялся на ноги, натянул спиною лесу и подержал руку на солнце. На ней была всего одна ссадина от бечевы, рассекшей мякоть, но как раз на той части руки, которая нужна была ему для работы. Старик понимал, что сегодня ему еще не раз понадобятся его руки, и огорчался, что поранил их в самом начале.

— Теперь,— сказал он, когда рука обсохла,— я должен съесть тунца. Я могу достать его багром и поесть как следует.

Старик снова опустился на колени и, пошарив багром под кормой, отыскал там тунца. Он подтащил его к себе, стараясь не потревожить мотки лесы. Снова переместив всю тяжесть рыбы на левое плечо и упираясь о борт левой рукой, он снял тунца с крючка и положил багор на место. Он прижал тунца коленом и стал вырезать со спины от затылка до хвоста продольные куски темно-красного мяса. Нарезав шесть клинообразных кусков, он разложил их на досках носа, вытер нож о штаны, поднял скелет тунца за хвост и выкинул его в море.

— Пожалуй, целого куска мне не съесть,— сказал он и перерезал один из кусков пополам.

Старик чувствовал, как сильно, не ослабевая, тянет большая рыба, а левую руку у него совсем свело. Она судорожно сжимала тяжелую веревку, и старик поглядел на нее с отвращением.

— Ну что это за рука, ей-богу! — сказал он.— Ладно, затекай, если уж так хочешь. Превращайся в птичью лапу, тебе это все равно не поможет.

«Поешь,— подумал он, поглядев в темную воду и на косую линию уходящей в нее бечевы,— и твоя рука станет сильнее. Чем она виновата? Ведь ты уж столько часов подряд держишь рыбу. Но ты не расстанешься с ней до конца. А пока что поешь».

Он взял кусок рыбы, положил его в рот и стал медленно жевать. Вкус был не такой уж противный.

«Жуй хорошенько,— думал он,— чтобы не потерять ни капли соков. Неплохо было бы приправить ее лимоном или хотя бы солью».

— Ну, как ты себя чувствуешь, рука? — спросил он затекшую руку, которая одеревенела почти как у покойника.— Ради тебя я съем еще кусочек.

Старик съел вторую половину куска, разрезанного надвое. Он старательно разжевал его, а потом выплюнул кожу.

— Ну как, рука, полегчало? Или ты еще ничего не почувствовала?

Он взял еще один кусок и тоже съел его.

«Это здоровая, полнокровная рыба,— подумал он.— Хорошо, что мне попался тунец, а не макрель. Макрель слишком сладкая. А в этой рыбе почти нет сладости, и она сохранила всю свою питательность. Однако нечего отвлекаться посторонними мыслями,— подумал он.— Жаль, что у меня нет хоть щепотки соли. И я не знаю, провялится остаток рыбы на солнце или протухнет, поэтому давай-ка лучше я ее съем, хоть я и не голоден. Большая рыба ведет себя тихо и спокойно. Я доем тунца и тогда буду готов».

— Потерпи, рука,— сказал он.— Видишь, как я ради тебя стараюсь.

«Следовало бы мне покормить и большую рыбу,— подумал он.— Ведь она моя родня. Но я должен убить ее, а для этого мне нужны силы».

Медленно и добросовестно старик съел все клинообразные куски тунца. Обтирая руку о штаны, он выпрямился.

— Ну вот,— сказал он.— Теперь, рука, ты можешь отпустить лесу; я совладаю с ней одной правой рукой, покуда ты не перестанешь валять дурака.

Левой ногой он прижал толстую бечеву, которую раньше держала его левая рука, и откинулся назад, перенеся тяжесть рыбы на спину.

— Дай бог, чтобы у меня прошла судорога! — сказал он.— Кто знает, что еще придет в голову этой рыбе.

«По виду она спокойна,— подумал он,— и действует обдуманно. Но что она задумала? И что собираюсь делать я? Мой план я должен тут же приспособить к ее плану, ведь она такая громадина. Если она выплывет, я смогу ее убить. А если она так и останется в глубине? Тогда и я останусь с нею».

Он потер сведенную судорогой руку о штаны и попытался разжать пальцы. Но рука не разгибалась. «Может быть, она разожмется от солнца,— подумал он.— Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца. Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас я не хочу применять силу. Пускай она разожмется сама и оживет по своей воле. Как-никак ночью ей от меня досталось, когда нужно было перерезать и связать друг с другом все мои лесы».

Старик поглядел вдаль и понял, как он теперь одинок. Но он видел разноцветные солнечные лучи, преломляющиеся в темной глубине, натянутую, уходящую вниз бечеву и странное колыхание морской глади. Облака кучились, предвещая пассат, и, глядя вперед, он заметил над водою стаю диких уток, резко очерченных в небе; вот стая расплылась, потом опять обрисовалась еще четче, и старик понял, что человек в море никогда не бывает одинок.

Он подумал о том, как некоторым людям бывает страшно оставаться в открытом море в маленькой лодке, и решил, что страх их обоснован в те месяцы, когда непогода налетает внезапно. Но теперь ведь стоит пора ураганов, а пока урагана нет, это время самое лучшее в году.

Если ураган близится, в море всегда можно увидеть его признаки на небе за много дней вперед. На суше их не видят, думал старик, потому что не знают, на что смотреть. Да на суше и форма облаков совсем другая. Однако сейчас урагана ждать нечего.

Он поглядел на небо и увидел белые кучевые облака, похожие на его любимое мороженое, а над ними, в высоком сентябрьском небе, прозрачные клочья перистых облаков.

— Скоро поднимется легкий бриз,— сказал старик.— А он куда выгоднее мне, чем тебе, рыба.

Левая рука его все еще была сведена судорогой, но он уже мог потихоньку ею шевелить.

«Ненавижу, когда у меня сводит руку,— подумал он.— Собственное тело — и такой подвох! Унизительно, когда тебя на людях мучает понос или рвота от отравления рыбой. Но судорога (он мысленно называл ее calambre) особенно унижает тебя, когда ты один».

«Если бы со мной был мальчик,— подумал он,— он растер бы мне руку от локтя донизу. Но ничего, она оживет и так».

И вдруг, еще прежде, чем он заметил, как изменился уклон, под которым леса уходит в воду, его правая рука почувствовала, что тяга ослабела. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой по бедру и тут увидел, что леса медленно пошла кверху.

— Поднимается,— сказал он.— Ну-ка, рука, оживай! Пожалуйста!

Леса вытягивалась в длину все больше и больше, и наконец поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела

на солнце, голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч, длинный, как бейсбольная клюшка, и острый на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась, бесшумно, как пловец, и едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие серпа, как леса начала стремительно разматываться.

— Она на два фута длиннее моей лодки,— сказал старик.

Леса уходила в море быстро, но равномерно, и рыба явно не была напугана. Старик обеими руками натягивал лесу до отказа. Он знал, что, если ему не удастся замедлить ход рыбы таким же равномерным сопротивлением, она заберет все запасы его бечевы и сорвется.

«Она громадина, эта рыба, и я не дам ей почувствовать свою силу,— думал он.— Нельзя, чтобы она поняла, что может сделать со мной, если пустится наутек. На ее месте я бы сейчас поставил все на карту и шел бы вперед до тех пор, покуда что-нибудь не лопнет. Но рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают; хотя в них гораздо больше и ловкости и благородства».

Старик встречал на своем веку много больших рыб. Он видел много рыб, весивших более тысячи фунтов, и сам поймал в свое время две такие рыбы, но никогда еще ему не приходилось делать это в одиночку. А теперь один, в открытом море, он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, о какой даже никогда не слышал, и его левая рука по-прежнему была сведена судорогой, как сжатые когти орла.

«Ну, рука у меня разойдется,— подумал он.— Конечно, разойдется, хотя бы для того, чтобы помочь правой руке. Жили-были три брата: рыба и мои две руки... Непременно разойдется. Просто стыд, что ее свело».

Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью.

«Интересно, почему она вдруг вынырнула,— размышлял старик.— Можно подумать, что она вынырнула только для того, чтобы показать мне, какая она громадная. Ну что ж, теперь я знаю. Жаль, что я не могу показать ей, что я за человек. Положим, она бы тогда увидела мою сведенную руку. Пусть она думает обо мне лучше, чем я есть на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше. Хотел бы я быть рыбой и чтобы у меня было все, что есть у нее, а не только воля и сообразительность».

Он покойно уселся, прислонившись к дощатой обшивке, безропотно перенося мучившую его боль, а рыба все так же

упорно плыла вперед, и лодка медленно двигалась по темной воде. Восточный ветер поднял небольшую волну.

К полудню левая рука у старика совсем ожила.

— Туго тебе теперь придется, рыба,— сказал он и передвинул бечеву на спине.

Ему было хорошо, хотя боль и донимала его по-прежнему; только он не признавался себе в том, как ему больно.

— В бога я не верую,— сказал он.— Но я прочту десять раз «Отче наш» и столько же раз «Богородицу», чтобы поймать эту рыбу. Я дам обет отправиться на богомолье, если я ее и впрямь поймаю. Даю слово.

Старик стал читать молитву. По временам он чувствовал себя таким усталым, что забывал слова, и тогда он старался читать как можно быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. «Богородицу» повторять легче, чем «Отче наш»,— думал он.

— Богородица дева, радуйся, благодатная Мария, господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси души наших. Аминь.— Потом он добавил: — Пресвятая богородица, помолись, чтобы рыба умерла. Хотя она и очень замечательная.

Прочтя молитву и почувствовав себя куда лучше, хотя боль нисколько не уменьшилась, а может быть, даже стала сильнее, он прислонился к обшивке носа и начал машинально упражнять пальцы левой руки. Солнце жгло, ветерок потихоньку усиливался.

— Пожалуй, стоит опять наживить маленькую удочку,— сказал старик.— Если рыба не всплывет, и в эту ночь мне нужно будет снова поесть, да и воды в бутылке осталось совсем немного. Не думаю, что здесь можно поймать что-нибудь, кроме макрели. Но если ее съесть сразу, она не так уж противна. Хорошо бы ночью ко мне в лодку попалась летучая рыба. Но у меня нет света, которым я мог бы ее заманить. Сырая летучая рыба — отличная еда, и потрошить ее не надо. А мне теперь надо беречь силы. Ведь не знал же я, господи, что она такая большая!.. Но я ее все равно одолею,— сказал он.— При всей ее величине и при всем ее великолепии.

«Хоть это и несправедливо,— прибавил он мысленно,— но я докажу ей, на что способен человек и что он может вынести».

— Я ведь говорил мальчику, что я не обыкновенный старик,— сказал он.— Теперь пришла пора это доказать.

Он доказывал это уже тысячу раз. Ну так что ж? Теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счет начинается

сызнова; поэтому когда он что-нибудь делал, то никогда не вспоминал о прошлом.

«Хотел бы я, чтобы она заснула, тогда и я смогу заснуть и увидеть во сне львов,— подумал он.— Почему львы — это самое лучшее, что у меня осталось?»

— Не надо думать, старик,— сказал он себе.— Отдохни тихонько, прислонясь к доскам, и ни о чем не думай. Она сейчас трудится. Ты же пока трудись как можно меньше.

Солнце клонилось к закату, а лодка все плыла и плыла, медленно и неуклонно. Восточный ветерок подгонял ее, и старик тихонько покачивался на невысоких волнах, легко и незаметно перенося боль от веревки, врезавшейся ему в спину.

Как-то раз после полудня леса снова стала подниматься. Однако рыба просто продолжала свой ход на несколько меньшей глубине. Солнце припекало старику спину, левое плечо и руку. Из этого он понял, что рыба свернула на северо-восток.

Теперь, когда он уже однажды взглянул на рыбу, он мог себе представить, как она плывет под водой, широко, словно крылья, раскинув фиолетовые грудные плавники и прорезая тьму могучим хвостом. «Интересно, много ли она видит на такой глубине? — подумал старик.— У нее огромные глаза, а лошадь, у которой глаз куда меньше, видит в темноте. Когда-то и я хорошо видел в темноте. Конечно, не в полной тьме, но зрение у меня было почти как у кошки».

Солнце и беспрестанное упражнение пальцев совершенно расправили сведенную судорогой левую руку, и старик стал постепенно перемещать на нее тяжесть рыбы, двигая мускулами спины, чтобы хоть немного ослабить боль от бечевы.

— Если ты еще не устала,— сказал он вслух,— ты и в самом деле — необыкновенная рыба.

Сам он теперь чувствовал огромную усталость, знал, что скоро наступит ночь, и поэтому старался думать о чем-нибудь постороннем. Он думал о знаменитых бейсбольных лигах, которые для него были Gran Ligas, и о том, что сегодня нью-йоркские «Янки» должны были играть с «Тиграми» из Детройта.

«Вот уже второй день, как я ничего не знаю о результатах juegos [1],— подумал он.— Но я должен верить в свои силы и быть достойным великого Ди Маджио, который все делает великолепно, что бы он ни делал, даже тогда, когда страдает от костной мозоли в пятке. Что такое костная мозоль? Un espuelo de hueso. У нас, рыбаков, их не бывает. Неужели это так же больно, как

[1] Спортивные игры *(исп.)*.

удар в пятку шпорой бойцового петуха? Я, кажется, не вытерпел бы ни такого удара, ни потери глаза или обоих глаз и не смог бы продолжать драться, как это делают бойцовые петухи. Человек — это не бог весть что рядом с замечательными зверями и птицами. Мне бы хотелось быть тем зверем, что плывет сейчас там, в морской глубине».

— Да, если только не нападут акулы,— сказал он вслух.— Если нападут акулы — помилуй господи и ее и меня!

«Неужели ты думаешь, что великий Ди Маджио держался бы за рыбу так же упорно, как ты? — спросил он себя.— Да, я уверен, что он поступил бы так же, а может быть, и лучше, потому что он моложе и сильнее меня. К тому же отец его был рыбаком... А ему очень больно от костной мозоли?

— Не знаю,— сказал он вслух.— У меня никогда не было костной мозоли.

Когда солнце зашло, старик, чтобы подбодриться, стал вспоминать, как однажды в таверне Касабланки он состязался в силе с могучим негром из Сьенфуэгос, самым сильным человеком в порту. Они просидели целые сутки друг против друга, уперев локти в черту, прочерченную мелом на столе, не сгибая рук и крепко сцепив ладони. Каждый из них пытался пригнуть руку другого к столу. Кругом держали пари, люди входили и выходили из комнаты, тускло освещенной керосиновыми лампами, а он не сводил глаз с руки и локтя негра и с его лица. После того как прошли первые восемь часов, судьи стали меняться через каждые четыре часа, чтобы поспать. Из-под ногтей обоих противников сочилась кровь, а они все глядели друг другу в глаза, и на руку, и на локоть. Люди, державшие пари, входили и выходили из комнаты; они рассаживались на высокие стулья у стен и ждали, чем это кончится. Деревянные стены были выкрашены в ярко-голубой цвет, и лампы отбрасывали на них тени. Тень негра была огромной и шевелилась на стене, когда ветер раскачивал лампы.

Преимущество переходило от одного к другому всю ночь напролет; негра поили ромом и зажигали ему сигареты. Выпив рому, негр делал отчаянное усилие, и один раз ему удалось пригнуть руку старика — который тогда не был стариком, а звался Сантьяго El Campeón [1] — почти на три дюйма. Но старик снова выпрямил руку. После этого он уже больше не сомневался, что победит негра, который был хорошим парнем и большим силачом. И на рассвете, когда люди стали требовать, чтобы судья

[1] Чемпион *(исп.)*.

объявил ничью, а тот только пожал плечами, старик внезапно напряг свои силы и стал пригибать руку негра все ниже и ниже, покуда она не легла на стол.

Поединок начался в воскресенье утром и окончился утром в понедельник. Многие из державших пари требовали признать ничью, потому что им пора было выходить на работу в порт, где они грузили уголь для Гаванской угольной компании или мешки с сахаром. Если бы не это, все бы хотели довести состязание до конца. Но старик победил, и победил до того, как грузчикам надо было выйти на работу.

Долго еще потом его звали Чемпионом, а весною он дал негру отыграться. Однако ставки уже были не такими высокими, и он легко победил во второй раз, потому что вера в свою силу у негра из Сьенфуэгос была сломлена еще в первом матче. Потом Сантьяго участвовал еще в нескольких состязаниях, но скоро бросил это дело. Он понял, что если очень захочет, то победит любого противника, и решил, что такие поединки вредны для его правой руки, которая нужна ему для рыбной ловли. Несколько раз он пробовал посостязаться левой рукой. Но его левая рука всегда подводила его, не желала ему подчиняться, и он ей не доверял.

«Солнце ее теперь пропечет хорошенько,— подумал он.— Она не посмеет больше затекать мне назло, разве что ночью будет очень холодно. Хотел бы я знать, что мне сулит эта ночь».

Над головой у него прошел самолет, летевший в Майами, и старик видел, как тень самолета спугнула и подняла в воздух стаю летучих рыб.

— Раз здесь так много летучей рыбы, где-то поблизости должна быть и макрель,— сказал он и посильнее уперся спиною в лесу, проверяя, нельзя ли подтащить рыбу хоть чуточку ближе. Но он скоро понял, что это невозможно, потому что бечева снова задрожала, как струна, угрожая лопнуть, и по ней запрыгали водяные капли. Лодка медленно плыла вперед, и он провожал глазами самолет, пока тот не скрылся.

«Наверно, с самолета все выглядит очень странно,— подумал он.— Интересно, какой вид с такой высоты имеет море? Они оттуда могли бы прекрасно разглядеть мою рыбу, если бы не летели так высоко. Хотел бы я медленно-медленно лететь на высоте в двести саженей, чтобы сверху посмотреть на мою рыбу. Когда я плавал за черепахами, я, бывало, взбирался на верхушку мачты и даже оттуда мог разглядеть довольно много. Макрель оттуда выглядит более зеленой, и можно различить на ней

фиолетовые полосы и пятна и увидеть, как плывет вся стая. Почему у всех быстроходных рыб, которые плавают в темной глубине, фиолетовые спины, а зачастую и фиолетовые полосы или пятна? Макрель только выглядит зеленой, на самом деле она золотистая. Но когда она по-настоящему голодна и охотится за пищей, на боках у нее проступают фиолетовые полосы, как у марлина. Неужели это от злости? А может быть, потому, что она движется быстрее, чем обычно?»

Незадолго до темноты, когда они проплывали мимо большого островка саргассовых водорослей, которые вздымались и раскачивались на легкой волне, словно океан обнимался с кем-то под желтым одеялом, на маленькую удочку попалась макрель. Старик увидел ее, когда она подпрыгнула в воздух, переливаясь чистым золотом в последних лучах солнца, сгибаясь от ужаса пополам и бешено хлопая по воздуху плавниками. Она подпрыгивала снова и снова, как заправский акробат, а старик перебрался на корму, присел и, придерживая большую бечеву правой рукой и локтем, вытащил макрель левой, наступая босой левой ногой на выбранную лесу. Когда макрель была у самой лодки и отчаянно билась и бросалась из стороны в сторону, старик перегнулся через корму и втащил в лодку жаркую, как золото, рыбу с фиолетовыми разводами. Пасть макрели судорожно сжималась, прикусывая крючок, а длинное плоское тело, голова и хвост колотились о дно лодки, пока старик не стукнул ее по горящей золотом голове, и она, задрожав, затихла.

Старик снял рыбу с крючка, снова наживил его сардиной и закинул леску за борт. Потом он мѐдленно перебрался на нос. Обмыв левую руку, он вытер ее о штаны, переместил тяжелую бечеву с правого плеча на левое и вымыл правую руку, наблюдая за тем, как солнце опускается в океан и под каким уклоном тянется в воду его большая леса.

— Все идет по-прежнему,— сказал он.

Но, опустив руку в воду, он почувствовал, что движение лодки сильно замедлилось.

— Я свяжу друг с другом оба весла и прикреплю их поперек кормы, чтобы они ночью тормозили лодку,— сказал он.— У этой рыбы хватит сил на всю ночь. Ну, и у меня тоже.

«Пожалуй, лучше будет, если я выпотрошу макрель попозже,— подумал он,— чтобы из нее не вытекла вся кровь. Я сделаю это немного погодя и тогда же свяжу весла, чтобы притормозить лодку. Лучше мне покуда не беспокоить рыбу, особенно во время захода солнца. Заход солнца дурно влияет на всякую рыбу».

Он обсушил руку на ветру, а затем, схватив ею бечеву, позволил рыбе подтянуть себя вплотную к дощатой обшивке, переместив таким образом упор со своего тела на лодку.

«Кое-чему я научился,— подумал он.— Пока что я с нею справляюсь. К тому же нельзя забывать, что она не ела с тех пор, как проглотила наживку, а она ведь большая, и ей нужно много пищи. Я-то съел целого тунца, завтра я поем макрели.— Старик называл макрель dorado.— Пожалуй, я съем кусочек, когда буду ее чистить. Макрель есть труднее, чем тунца. Но ничто на свете не делается легко».

— Как ты себя чувствуешь, рыба? — спросил он громко.— Я себя чувствую прекрасно. Левая рука болит меньше, и пищи хватит на целую ночь и еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба.

Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту, а это его беспокоило. «Со мной случались вещи и похуже,— утешал он себя.— Рука у меня поранена совсем легко, а другую больше не сводит судорога. Ноги у меня в порядке. Да и в смысле пищи мне куда лучше, чем рыбе».

Было темно; в сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к изъеденным солью доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались первые звезды. Он не знал названия звезды Ригель, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и все остальные и тогда эти далекие друзья будут снова с ним.

— Рыба — она тоже мне друг,— сказал он.— Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!

«Представь себе: человек что ни день пытается убить луну? А луна от него убегает. Ну, а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет, что ни говори, нам еще повезло»,— подумал он.

Потом ему стало жалко большую рыбу, которой нечего есть, но печаль о ней нисколько не мешала его решимости ее убить. Сколько людей он насытит! Но достойны ли люди ею питаться? Конечно, нет. Никто на свете не достоин ею питаться: поглядите только, как она себя ведет и с каким великим благородством.

«Я многого не понимаю,— подумал он.— Но как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев.

Теперь мне следует подумать о тормозе из весел. У него есть и хорошие и дурные стороны. Я могу потерять столько бечевы, что потеряю и рыбу, если она захочет вырваться, а тормоз из весел лишит лодку подвижности. Легкость лодки продлевает наши страдания — и мои и рыбы, но в ней и залог моего спасения. Ведь эта рыба, если захочет, может плыть еще быстрее. Как бы там ни было, надо выпотрошить макрель, пока она не протухла, и поесть немножко, чтобы набраться сил.

Теперь я отдохну еще часок, а потом, если увижу, что рыба ничего не замышляет, переберусь на корму, сделаю там что нужно и приму решение насчет весел. А тем временем я присмотрюсь, как она будет себя вести. Штука с веслами — удачная выдумка, однако сейчас надо действовать наверняка. Рыба еще в полной силе, и я заметил, что крючок застрял у нее в самом углу рта, а рот она держит плотно закрытым. Мучения, которые причиняет ей крючок, не так уж велики, ее гораздо больше мучит голод и ощущение опасности, которой она не понимает. Отдохни же, старик. Пусть трудится рыба, пока не настанет твой черед».

Он отдыхал, как ему казалось, не меньше двух часов. Луна выходила теперь поздно, и он не мог определить время. Правда, отдыхал он только так, относительно. Он по-прежнему ощущал спиной тяжесть рыбы, но, опершись левой рукой о планшир носа, старался переместить все больший и больший вес на самую лодку.

«Как все было бы просто, если бы я мог привязать бечеву к лодке! — подумал он.— Но стоит ей рвануться хотя бы легонько, и бечева лопнет. Я должен беспрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готов в любую минуту опустить бечеву обеими руками».

— Но ты ведь еще не спал, старик,— сказал он вслух.— Прошло полдня и ночь, а потом еще день, а ты все не спишь и не спишь. Придумай, как бы тебе поспать хоть немножко, пока она спокойна и не балует. Если ты не будешь спать, в голове у тебя помутится.

«Сейчас голова у меня ясная,— подумал он.— Даже слишком. Такая же ясная, как сестры мои, звезды. Но все равно мне надо поспать. И звезды спят, и луна спит, и солнце спит, и даже океан иногда спит в те дни, когда нет течения и стоит полная тишь.

Не забудь поспать,— напомнил он себе.— Заставь себя поспать; придумай какой-нибудь простой и верный способ, как

оставить бечеву. Теперь ступай на корму и выпотроши макрель. А тормоз из весел — вещь опасная, если ты заснешь.

Но я могу обойтись и без сна,— сказал он себе.— Да, можешь, но и это слишком опасно.

Он стал на четвереньках перебираться на корму, стараясь не потревожить рыбу. «Она, может быть, тоже дремлет,— подумал он.— Но я не хочу, чтобы она отдыхала. Она должна тащить лодку, покуда не умрет».

Добравшись до кормы, он повернулся и переместил всю тяжесть рыбы на левую руку, а правой вытащил из футляра нож. Звезды светили ярко, и макрель хорошо было видно. Воткнув нож ей в голову, старик вытащил ее из-под настила кормы. Он придерживал рыбу ногой и быстро вспорол ей живот от хвоста до кончика нижней челюсти. Потом положил нож, правой рукой выпотрошил макрель и вырвал жабры. Желудок был тяжелый и скользкий; разрезав его, он нашел там две летучие рыбы. Они были свежие и твердые, и он положил их рядышком на дно лодки, а внутренности выбросил за борт. Погрузившись в воду, они оставили за собой светящийся след. В бледном сиянии звезд макрель казалась грязно-белой. Старик ободрал с одного бока кожу, придерживая голову рыбы ногой. Потом он перевернул макрель, снял кожу с другого бока и срезал мясо от головы до хвоста.

Выкинув скелет макрели за борт, он поглядел, не видно ли на воде кругов, но там был только светящийся след медленно уходящего вглубь остова рыбы. Тогда он повернулся, положил двух летучих рыб между кусками макрельего филе и, спрятав нож в футляр, снова осторожно перебрался на нос. Спину его пригибала тяжесть лесы, рыбу он нес в правой руке.

Вернувшись на нос, он разложил рыбное филе на досках и рядом с ним положил летучих рыб. После этого он передвинул лесу на еще не наболевшую часть спины и снова переместил тяжесть на левую руку, опиравшуюся о планшир. Перегнувшись через борт, он обмыл летучую рыбу в море, замечая попутно, как быстро движется вода у него под рукой. Рука его светилась оттого, что он сдирал ею с макрели кожу, и он смотрел, как ее обтекает вода. Теперь она текла медленнее, и, потерев ребро руки о край лодки, он увидел, как неторопливо уплывают к корме частицы фосфора.

— Она либо устала, либо отдыхает,— сказал старик.— Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать.

Он съел половину одного из филе и одну летучую рыбу, ко-

торую предварительно выпотрошил при свете звезд, чувствуя, как ночь становится все холоднее.

— Что может быть вкуснее макрели, если есть ее в вареном виде! — сказал он.— Но до чего же она противна сырая! Никогда больше не выйду в море без соли и без лимона.

«Будь у меня голова на плечах,— думал он,— я бы целый день поливал водой нос лодки и давал ей высохнуть — к вечеру у меня была бы соль. Да, но ведь я поймал макрель перед самым заходом солнца. И все-таки я многого не предусмотрел. Однако я сжевал весь кусок, и меня не тошнит».

Небо на востоке затуманивалось облаками, и знакомые звезды гасли одна за другой. Казалось, что он вступает в огромное ущелье из облаков. Ветер стих.

— Через три или четыре дня наступит непогода,— сказал он.— Но еще не сегодня и не завтра. Поспи, старик, покуда рыба ведет себя смирно.

Он схватил лесу правой рукой и припал к руке бедром, налегая всем телом на борт лодки. Потом сдвинул бечеву на спине чуть пониже и ухватился за нее левой рукой.

«Правая рука будет держать лесу, пока не разожмется. А если во сне она разожмется, меня разбудит левая рука, почувствовав, как леса убегает в море. Конечно, правой руке будет нелегко. Но она привыкла терпеть лишения. Если я посплю хотя бы минут двадцать или полчаса, и то хорошо».

Он привалился к борту, перенес тяжесть рыбы на правую руку и заснул.

Во сне он не видел львов, но зато ему приснилась огромная стая морских свиней, растянувшаяся на восемь или на десять миль, а так как у них была брачная пора, они высоко подпрыгивали в воздух и ныряли обратно в ту же водяную яму, из которой появлялись.

Потом ему снилось, что он лежит на своей кровати в деревне и в хижину задувает северный ветер, отчего ему очень холодно, а правая рука его затекла, потому, что он положил ее под голову вместо подушки.

И уже только потом ему приснилась длинная желтая отмель, и он увидел, как в сумерках на нее вышел первый лев, а за ним идут и другие; он оперся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре, его обвевает вечерним ветром с суши, он ждет, не покажутся ли новые львы, и совершенно счастлив.

Луна уже давно взошла, но он все спал и спал, а рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков.

Он проснулся от рывка; кулак правой руки ударил его в лицо, а леса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левой руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бечеву правой рукой, но бечева продолжала бешено уноситься в море. В конце концов левая рука нащупала бечеву, он оперся о нее спиной, и теперь леса жгла его спину и левую руку, на которую перешла вся тяжесть рыбы. Он оглянулся на запасные мотки лесы и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять и опять, а лодка неслась вперед, хотя леса и продолжала мчаться за борт и старик натягивал ее до отказа, на миг отпускал, а потом снова натягивал изо всех сил, рискуя, что она оборвется. Его самого притянуло вплотную к носу, лицо его было прижато к куску макрельего мяса, но он не мог пошевелиться.

«Вот этого-то мы и ждали,— подумал он.— Теперь держись... Я ей отплачу за лесу! Я ей отплачу!»

Он не мог видеть прыжков рыбы, он только слышал, как с шумом разверзается океан, и тяжелый всплеск, когда рыба вновь падала в воду. Убегающая за борт бечева жестоко резала руки, но он заранее знал, что так случится, и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранила ладонь или пальцы.

«Будь со мной мальчик,— подумал старик,— он смочил бы лесу водой. Да, если бы мальчик был здесь! Если бы он был здесь!»

Леса все неслась, неслась и неслась, но теперь она шла уже труднее, и он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Ему удалось поднять голову и отодвинуть лицо от макрельего мяса, которое его скула превратила в лепешку. Сперва он встал на колени, а потом медленно поднялся на ноги. Он все еще отпускал лесу, но все скупее и скупее. Переступив ближе к тому месту, где он в темноте мог нащупать ногой мотки бечевы, он убедился, что запас у него еще большой. А в воде ее столько, что рыбе не так-то легко будет с ней справиться.

— Ну вот,— подумал он.— Теперь она прыгнула уже больше десяти раз и наполнила свои пузыри воздухом; теперь она уже не сможет уйти в глубину, откуда ее не достать, и умереть там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? Голод довел ее до отчаяния или что-нибудь испугало во тьме? Может, она вдруг почувствовала страх? Но ведь это была спокойная и сильная рыба.

Она казалась мне такой смелой и такой уверенной в себе. Странно!»

— Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы,— сказал он.— Хоть ты ее и держишь, ты не можешь вытянуть ни дюйма лесы. Но скоро она начнет делать круги.

Старик теперь удерживал лесу левой рукой и плечами; нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо макрели. Он боялся, что его стошнит и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал ее в соленой воде, глядя на светлеющее небо. «Сейчас она плывет почти прямо на восток,— подумал он.— Это значит, что она устала и идет по течению. Скоро ей придется пойти кругами. Тогда-то и начнется настоящая работа».

Подержав некоторое время руку в соленой воде, он вынул и оглядел ее.

— Не так страшно,— сказал он.— А боль мужчине нипочем.

Старик осторожно взял бечеву, стараясь, чтобы она не попала ни в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы и левую руку тоже опустить в воду через другой борт лодки.

— Для такого ничтожества, как ты, ты вела себя неплохо,— сказал он левой руке.— Но была минута, когда ты меня чуть не подвела.

«Почему я не родился с двумя хорошими руками? — думал он.— Может, это я виноват, что вовремя не научил свою левую руку работать как следует. Но, видит бог, она и сама могла научиться! Честно говоря, она не так уж меня подвела нынче ночью; и судорогой ее свело всего один раз. Но если это повторится, тогда уж лучше пусть ее совсем отрежет бечевой!»

Подумав это, старик сразу понял, что в голове у него помутилось. Надо бы пожевать еще кусочек макрели. «Не могу,— сказал он себе.— Пусть лучше у меня будет голова не в порядке, чем слабость от тошноты. А я знаю, что не смогу проглотить мясо после того, как на нем лежало мое лицо. Я сохраню мясо на крайний случай, пока оно не испортится. Все равно сейчас уже поздно подкрепляться. Глупый старик! — выругал он себя.— Ты ведь можешь съесть вторую летучую рыбу».

Вот она лежит, выпотрошенная, чистенькая — и, взяв ее левой рукой, он съел летучую рыбу, старательно разжевывая кости, съел всю целиком, без остатка.

«Она сытнее любой другой рыбы,— подумал он.— Во всяком случае, в ней есть то, что мне нужно... Ну вот, теперь я

сделал все, что мог. Пусть только она начнет кружить — мы с ней сразимся».

Солнце вставало уже в третий раз, с тех пор как он вышел в море, и тут-то рыба начала делать круги.

Он еще не мог определить по уклону, под которым леса уходила в море, начала ли рыба делать круги. Для этого еще было рано. Он только почувствовал, что тяга чуточку ослабела, и стал потихоньку выбирать лесу правой рукой. Леса натянулась до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, высвободил плечи из давившей на них бечевы и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно.

Он работал, взмахивая обеими руками поочередно. Его старые ноги и плечи помогали движению рук.

— Она делает очень большой круг,— сказал он,— но она его все-таки делает.

Внезапно движение лесы затормозилось, но он продолжал тянуть ее, покуда по ней не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесу потянуло прочь, и, став на колени, старик стал нехотя отпускать ее понемножку назад, в темную воду.

— Теперь рыба делает самую дальнюю часть своего круга,— сказал он.

«Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бечева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею».

Однако прошло два часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо короче, и по тому, как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность.

Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна, соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом и другую рану — на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но два раза он почувствовал слабость, и это встревожило его не на шутку.

«Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы? — спрашивал он себя.— И главное — теперь, когда все идет так хорошо. Господи, помоги мне выдержать! Я прочту сто раз «Отче наш» и сто раз «Богородицу». Только не сейчас. Сейчас не могу».

«Считай, что я их прочел,— подумал он.— Я прочту их после».

В этот миг он почувствовал удары по бечеве, которую держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный.

«Она бьет своим мечом по проволоке, которой привязан крючок,— подумал старик.— Ну конечно. Так ей и полагалось поступить. Однако это может заставить ее выпрыгнуть, а я предпочел бы, чтобы сейчас она продолжала делать круги. Прыжки были ей нужны, чтобы набрать воздуху, но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой торчит крючок, и рыба может сорваться».

— Не прыгай, рыба,— просил он.— Пожалуйста, не прыгай!

Рыба снова и снова ударяла по проволоке, и всякий раз, покачав головой, старик понемногу отпускал лесу.

«Я не должен причинять ей лишнюю боль,— думал он.— Моя боль — она при мне. С ней я могу совладать. Но рыба может обезуметь от боли».

Через некоторое время рыба перестала биться о проволоку и начала снова медленно делать круги. Старик равномерно выбирал лесу. Но ему опять стало дурно. Он зачерпнул левой рукой морской воды и вылил ее себе на голову. Потом он вылил себе на голову еще немного воды и растер затылок.

— Зато у меня нет больше судороги,— сказал он.— Рыба скоро выплывет, а я еще подержусь. Ты должен держаться, старик. И не смей даже думать, что ты можешь не выдержать.

Он опустился на колени и на время снова закинул лесу себе на спину. «Покуда она кружит, я передохну, а потом встану и, когда она подойдет поближе, снова начну выбирать лесу».

Ему очень хотелось подольше отдохнуть на носу лодки и позволить рыбе сделать лишний круг, не выбирая лесы. Но когда тяга показала, что рыба повернула и возвращается к лодке, старик встал и начал тянуть бечеву, взмахивая поочередно руками и поворачивая из стороны в сторону туловище, для того чтобы выбрать как можно больше лесы.

«Я устал так, как не уставал ни разу в жизни,— подумал старик,— а между тем ветер усиливается. Правда, ветер будет кстати, когда я повезу ее домой. Мне он очень пригодится, этот ветер».

— Я отдохну, когда она пойдет в новый круг,— сказал он.— Тем более что сейчас я себя чувствую гораздо лучше. Еще каких-нибудь два-три круга, и рыба будет моя.

Его соломенная шляпа была сдвинута на самый затылок, и когда рыба повернула и снова стала тянуть, он в изнеможении повалился на нос.

«Поработай теперь ты, рыба,— подумал он.— Я снова возьмусь за тебя, как только ты повернешь назад».

По морю пошла крупная волна. Но воду гнал добрый ветер, спутник ясной погоды, который был ему нужен, чтобы добраться до дому.

— Буду править на юг и на запад,— сказал он.— И все. Разве можно заблудиться в море? К тому же остров у нас длинный.

Рыбу он увидел во время ее третьего круга.

Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто глазам не поверил.

— Нет,— сказал он.— Не может быть, чтобы она была такая большая.

Но рыба была такая большая, и к концу третьего круга она всплыла на поверхность всего в тридцати ярдах от лодки, и старик увидел, как поднялся над морем ее хвост. Он был больше самого большого серпа и над темно-синей водой казался бледно-сиреневым. Рыба нырнула снова, но уже неглубоко, и старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спинной плавник был опущен, а огромные грудные плавники раскинуты в стороны.

Пока она делала свой круг, старик разглядел глаз рыбы и плывших подле нее двух серых рыб-прилипал. Время от времени прилипалы присасывались к рыбе, а потом стремглав бросались прочь. Порою же они весело плыли в тени, которую отбрасывала большая рыба. Каждая из прилипал была длиною более трех футов, и когда они плыли быстро, они извивались всем телом, как угри.

По лицу старика катился пот, но теперь уже не только от солнца. Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал все больше лесы и теперь был уверен, что через два круга ему удастся всадить в рыбу гарпун.

«Но я должен подтянуть ее ближе, гораздо ближе,— подумал он.— И не надо целиться в голову. Надо бить в сердце».

«Будь спокойным и сильным, старик»,— сказал он себе.

Во время следующего круга спина рыбы показалась над водой, но плыла она все еще слишком далеко от лодки. Рыба сделала еще один круг, но была по-прежнему слишком далеко от лодки, хотя и возвышалась над водой куда больше. Старик

знал, что, выбери он еще немного лесы, он мог бы подтащить рыбу к самому борту.

Он уже давно приготовил гарпун; связка тонкого троса лежала в круглой корзине, а конец он привязал к битенгу на носу.

Рыба приближалась, делая свой круг, такая спокойная и красивая, чуть шевеля огромным хвостом. Старик тянул лесу что было силы, стараясь подтащить рыбу как можно ближе к лодке. На секунду рыба слегка завалилась на бок. Потом она выпрямилась и начала новый круг.

— Я сдвинул ее с места,— сказал старик.— Я все-таки заставил ее перевернуться.

У него снова закружилась голова, но он тянул лесу с большой рыбой изо всех сил. «Ведь мне все-таки удалось перевернуть ее на бок,— думал он.— Может быть, на этот раз я сумею перевернуть ее на спину. Тяните! — приказывал он своим рукам.— Держите меня, ноги! Послужи мне еще, голова! Послужи мне. Ты ведь никогда меня не подводила. На этот раз я переверну ее на спину».

Еще задолго до того, как рыба приблизилась к лодке, он напряг все свои силы и стал тянуть что было мочи. Но рыба лишь слегка повернулась на бок, потом снова выпрямилась и уплыла вдаль.

— Послушай, рыба! — сказал ей старик.— Ведь тебе все равно умирать. Зачем же тебе надо, чтобы и я тоже умер?

«Этак мне ничего не добиться»,— подумал старик. Во рту у него так пересохло, что он больше не мог говорить, и не было сил дотянуться до бутылки с водой. «На этот раз я должен подтащить ее к лодке,— подумал он.— Надолго меня не хватит».— «Нет, хватит,— возразил он себе.— Тебя, старик, хватит навеки».

Во время следующего круга старик чуть было ее не достал, но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь.

«Ты губишь меня, рыба,— думал старик.— Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что же, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет».

«Опять у тебя путается в голове, старик! А голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания, как человек... Или как рыба»,— мысленно добавил он.

— А ну-ка, голова, работай,— сказал он так тихо, что едва услышал свой голос.— Работай, говорят тебе.

Еще два круга все оставалось по-прежнему.

«Что делать? — думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание.— Что делать? Попробую еще раз».

Он сделал еще одну попытку и почувствовал, что теряет сознание, но он все-таки перевернул рыбу на спину. Потом рыба перевернулась обратно и снова медленно уплыла прочь, помахивая в воздухе своим громадным хвостом.

«Попробую еще раз»,— пообещал старик, хотя руки у него совсем ослабли и перед глазами стоял туман.

Он попробовал снова, и рыба снова ушла. «Ах, так? — подумал он и сразу же почувствовал, как жизнь в нем замирает.— Я попробую еще раз».

Он собрал всю свою боль, и весь остаток своих сил, и всю свою давно утраченную гордость и кинул их на поединок с муками, которые терпела рыба, и тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на боку, едва-едва не доставая мечом до обшивки лодки; она чуть было не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца.

Старик бросил лесу, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, которая у него была и которую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного грудного плавника, высоко вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал его все глубже и глубже, помогая себе всей тяжестью своего тела.

И тогда рыба ожила, хоть и несла уже в себе смерть,— она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, залив потоками воды и старика, и всю его лодку.

Старика одолела слабость и дурнота; он почти ничего не видел. Но, опустив бечеву гарпуна, он стал медленно перебирать ее в изрезанных руках, а когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине, серебряным брюхом кверху. Рукоятка гарпуна торчала наискось из ее спины, а море вокруг было окрашено кровью ее сердца. Сначала пятно было темное, словно голубую воду на целую милю вглубь заполнила стая рыб. Потом пятно расплылось и стало похоже на облако. Серебристая рыба тихо покачивалась на волнах.

Старик не сводил с нее глаз, пока зрение у него опять не затуманилось. Тогда он дважды обмотал веревку гарпуна о битенг и опустил голову на руки.

«Что же это с моей головой? — сказал он, прижавшись лицом к обшивке носа.— Я старый человек, и я очень устал. Но я все-таки убил эту рыбу, которая мне дороже брата, и теперь мне осталось сделать черную работу.

Теперь я должен приготовить веревку и связать ее в петли, чтобы принайтовить рыбу к лодке. Даже если бы нас было двое и мы затопили бы лодку, чтобы погрузить в нее рыбу, а потом вычерпали воду,— все равно лодка не выдержала бы такой тяжести. Я должен подготовить все, что нужно, а потом подтянуть рыбу к борту, привязать ее накрепко к лодке, поставить парус и отправиться восвояси».

Он стал подтягивать рыбу к борту, чтобы, пропустив веревку через жабры и через пасть, привязать ее голову к носу.

«Мне хочется посмотреть на нее,— подумал он,— потрогать ее, почувствовать, что же это за рыба. Ведь она — мое богатство. Но я не поэтому хочу ее потрогать. Мне кажется, что я уже дотронулся до ее сердца,— думал он,— тогда, когда я вонзил в нее гарпун до самого конца. Ладно, подтяни ее поближе, привяжи, надень петлю ей на хвост, а другую перекинь вокруг туловища, чтобы получше приладить ее к лодке».

— Ну, старик, за работу,— сказал он себе и отпил маленький глоток воды.— Теперь, когда битва окончена, осталась еще уйма черной работы.

Старик посмотрел на небо, потом на рыбу. Он глядел на солнце очень внимательно. «Сейчас едва перевалило за полдень. А пассат крепчает. Лесы чинить теперь бесполезно. Мы с мальчиком срастим их дома».

— Подойди-ка сюда, рыба!

Но рыба его не послушалась. Она безмятежно покачивалась на волнах, и старику пришлось самому подвести к ней лодку.

Когда он подошел к ней вплотную и голова рыбы пришлась вровень с носом лодки, старик снова поразился ее величиной. Но он отвязал гарпунную веревку от битенга, пропустил ее через жабры рыбы, вывел конец через пасть, обкрутил его вокруг меча, потом снова пропустил веревку через жабры, опять накрутил на меч и, связав двойным узлом, привязал к битенгу. Перерезав веревку, он перешел на корму, чтобы петлей закрепить хвост. Цвет рыбы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневы-

ми, как хвост. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки, а глаз рыбы был таким же отрешенным, как зеркало перископа или как лики святых во время крестного хода.

— Я не мог ее убить по-другому,— сказал старик.

Выпив воды, он почувствовал себя куда лучше. Теперь он знал, что не потеряет сознания, и в голове у него прояснилось. «Она весит не меньше полутонны,— подумал он.— А может быть, и значительно больше». Сколько же он получит, если мяса выйдет две трети этого веса по тридцати центов за фунт?

— Без карандаша не сочтешь,— сказал старик.— Для этого нужна ясная голова. Но я думаю, что великий Ди Маджио мог бы сегодня мною гордиться. Правда, у меня не было костной мозоли. Но руки и спина у меня здорово болели. Интересно, что такое костная мозоль? Может, и у нас она есть, да только мы этого не подозреваем?

Старик привязал рыбу к носу, к корме и к сиденью. Она была такая громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого корабля. Отрезав кусок бечевы, он подвязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался и было легче плыть. Потом он поставил мачту, приспособил палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперед, и старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад.

Старику не нужен был компас, чтобы определить, где юго-запад. Ему достаточно было чувствовать, куда дует пассат и как надувается парус. «Пожалуй, стоило бы забросить удочку — не поймаю ли я на блесну какую-нибудь рыбешку, а то ведь мне нечего есть». Но он не нашел блесны, а сардины протухли. Тогда он подцепил багром пук желтых водорослей, мимо которого они проплывали, и потряс его; оттуда высыпались в лодку маленькие креветки. Их было больше дюжины, и они прыгали и перебирали ножками, словно земляные блохи. Старик двумя пальцами оторвал им головки и съел целиком, разжевывая скорлупу и хвост. Креветки были крошечные, но старик знал, что они очень питательные и к тому же очень вкусные.

В бутылке еще оставалось немного воды, и, поев креветок, старик отпил от нее четвертую часть.

Лодка шла хорошо, несмотря на сопротивление, которое ей приходилось преодолевать, и старик правил, придерживая румпель локтем. Ему все время была видна рыба, а стоило ему взглянуть на свои руки или дотронуться до лодки спиной — и он чувствовал, что все это не было сном и случилось с ним на самом деле. Одно время, уже к самому концу, когда ему стало

дурно, старику вдруг показалось, что все это только сон. Да и потом, когда он увидел, как рыба вышла из воды и, прежде чем упасть в нее снова, неподвижно повисла в небе, ему почудилось во всем этом какая-то удивительная странность, и он не поверил своим глазам. Правда, тогда он и видел-то совсем плохо, а теперь глаза у него опять были в порядке.

Теперь он знал, что рыба существует на самом деле и что боль в руках и в спине — это тоже не сон. «Руки заживают быстро,— подумал он.— Я пустил достаточно крови, чтобы не загрязнить раны, а соленая вода их залечит. Темная вода залива — лучший в мире целитель. Только бы не путались мысли! Руки свое дело сделали, и лодка идет хорошо. Рот у рыбы закрыт, хвост она держит прямо, мы плывем с ней рядом, как братья». В голове у него снова немножко помутилось, и он подумал: «А кто же кого везет домой — я ее или она меня? Если бы я тащил ее на буксире, все было бы ясно. Или если бы она лежала в лодке, потеряв все свое достоинство, все тоже было бы ясно. Но ведь мы плывем рядом, накрепко связанные друг с другом. Ну и пожалуйста, пусть она меня везет, если ей так нравится. Я ведь взял над нею верх только хитростью; она не замышляла против меня никакого зла».

Они плыли и плыли, и старик полоскал руки в соленой воде и старался, чтобы мысли у него не путались. Кучевые облака шли высоко, пад ними плыли перистые; старик знал, что ветер будет дуть всю ночь. Он то и дело поглядывал на рыбу, чтобы проверить, в самом ли деле она ему не приснилась. Прошел целый час, прежде чем его настигла первая акула.

Акула догнала его не случайно. Она выплыла из самой глубины океана, когда темное облако рыбьей крови сгустилось, а потом разошлось по воде глубиной в целую милю. Она всплыла быстро, без всякой опаски, разрезала голубую гладь моря и вышла на солнце. Потом она снова ушла в воду, снова почуяла запах крови и поплыла по следу, который оставляли за собой лодка и рыба.

Порою она теряла след. Но она либо попадала на него снова, либо чуяла едва слышный его запах и преследовала его неотступно. Это была очень большая акула породы мако, созданная для того, чтобы плавать так же быстро, как плавает самая быстрая рыба в море, и все в ней было красиво, кроме пасти. Спина у нее была такая же голубая, как у меч-рыбы, брюхо серебряное, а кожа гладкая и красивая, и вся она была похожа на меч-рыбу, если не считать огромных челюстей, которые сейчас были плотно сжаты. Она быстро плыла у самой поверхности

моря, легко прорезая воду своим высоким спинным плавником. За плотно сжатыми двойными губами ее пасти в восемь рядов шли косо посаженные зубы. Они были не похожи на обычные пирамидальные зубы большинства акул, а напоминали человеческие пальцы, скрюченные, как звериные когти. Длиною они не уступали пальцам старика, а по бокам были остры, как лезвия бритвы. Акула была создана, чтобы питаться всеми морскими рыбами, даже такими подвижными, сильными и хорошо вооруженными, что никакой другой враг им не был страшен. Сейчас она спешила, чуя, что добыча уже близко, и ее синий спинной плавник так и резал воду.

Когда старик ее увидел, он понял, что эта акула ничего не боится и поступит так, как ей заблагорассудится. Он приготовил гарпун и закрепил конец его веревки, поджидая, чтобы акула подошла ближе. Веревка была коротка, потому что он отрезал от нее кусок, когда привязывал свою рыбу.

В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себя надеждой.

«Дело шло уж больно хорошо, так не могло продолжаться»,— думал он.

Наблюдая за тем, как подходит акула, старик кинул взгляд на большую рыбу. «Лучше бы, пожалуй, все это оказалось сном. Я не могу помешать ей напасть на меня, но, может быть, я смогу ее убить? Dentuso [1],— подумал он.— Чума на твою мать!»

Акула подплыла к самой корме, и когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть и необыкновенные глаза и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившись в рыбу чуть повыше хвоста. Голова акулы возвышалась над водой, вслед за головой показалась и спина, и старик, слыша, как акульи челюсти с шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы, всадил свой гарпун ей в голову в том месте, где линия, соединяющая ее глаза, перекрещивается с линией, уходящей вверх от ее носа. На самом деле таких линий не было. Была только тяжелая, заостренная голубая голова, большие глаза и лязгающая, выпяченная, всеядная челюсть. Но в этом месте у акулы находится мозг, и старик ударил в него своим гарпуном. Он изо всех сил ударил в него гарпуном, зажатым в иссеченных до крови руках. Он ударил в него, ни на что не надеясь, но с решимостью и яростной злобой.

Акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз, а потом она перевернулась снова, дважды обмотав вокруг себя

---

[1] Вид акулы *(исп.)*.

веревку. Старик понял, что акула мертва, но сама она не хотела с этим мириться. Лежа на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Море там, где она взбивала его хвостом, было совсем белое. Туловище акулы поднялось на три четверти над водой, веревка натянулась, задрожала и наконец лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, и старик все глядел на нее. Потом очень медленно она погрузилась в воду.

— Она унесла с собой около сорока фунтов рыбы,— вслух сказал старик.

«Она утащила на дно и мой гарпун, и весь остаток веревки,— прибавил он мысленно,— а из рыбы снова течет кровь, и вслед за этой акулой придут другие».

Ему больше не хотелось смотреть на рыбу теперь, когда ее так изуродовали. Когда акула кинулась на рыбу, ему показалось, что она кинулась на него самого.

«Но я все-таки убил акулу, которая напала на мою рыбу,— подумал он.— И это была самая большая dentuso, какую я когда-либо видел. А мне, ей-богу, пришлось повстречать на своем веку немало больших акул. Дела мои шли слишком хорошо. Дольше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном: я не поймал никакой рыбы, а сплю себе один на кровати, застеленной газетами».

— Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражения,— сказал он.— Человека можно уничтожить, но его нельзя победить.

«Жаль все-таки, что я убил рыбу,— подумал он.— Мне придется очень тяжко, а я лишился даже гарпуна. Dentuso — животное ловкое и жестокое, умное и сильное. Но я оказался умнее его. А может быть, и не умнее. Может быть, я был просто лучше вооружен».

— Не нужно думать, старик,— сказал он вслух.— Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет.

«Нет, я должен думать,— мысленно возразил он себе.— Ведь это все, что мне осталось. Это и бейсбол. Интересно, понравилось бы великому Ди Маджио, как я ударил акулу прямо в мозг? В общем, ничего в этом не было особенного — любой мог сделать не хуже. Но как ты думаешь, старик: твои руки мешали тебе больше, чем костная мозоль? Почем я знаю! У меня никогда ничего не случалось с пятками, только один раз меня ужалил в пятку электрический скат, когда я наступил на него во время купанья; у меня тогда парализовало ногу до колена, и боль была нестерпимая».

— Подумай лучше о чем-нибудь веселом, старик,— сказал он вслух.— С каждой минутой ты теперь все ближе и ближе к дому. Да и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял сорок фунтов рыбы.

Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего.

— Неправда, у тебя есть выход,— сказал он.— Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел.

Он так и сделал, держа румпель под мышкой и наступив на веревку от паруса ногой.

— Ну вот,— сказал он.— Я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен.

Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. Старик смотрел только на переднюю часть рыбы, и к нему вернулась частица надежды.

«Глупо терять надежду,— думал он.— К тому же, кажется, это грех. Не стоит думать о том, что грех, а что не грех. На свете есть о чем подумать и без этого. Сказать правду, я в грехах мало что понимаю.

Не понимаю и, наверно, в них не верю. Может быть, грешно было убивать рыбу. Думаю, что грешно, хоть я и убил ее для того, чтобы не умереть с голоду и накормить еще уйму людей. В таком случае все, что ты делаешь, грешно. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Сейчас уже об этом поздно думать, да к тому же пусть грехами занимаются те, кому за это платят. Пусть они раздумывают о том, что такое грех. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой. Святой Петр тоже был рыбаком, так же как и отец великого Ди Маджио».

Но он любил поразмыслить обо всем, что его окружало, и так как ему нечего было читать и у него не было радио, он много думал, в том числе и о грехе. «Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать ее другим и поддержать свою жизнь,— думал он.— Ты убил ее из гордости и потому, что ты — рыбак. Ты любил эту рыбу, пока она жила, и сейчас любишь. Если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно?»

— Ты слишком много думаешь, старик,— сказал он вслух.

«Но ты с удовольствием убил dentuso,— подумал старик.— А она, как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль и не просто ненасытная утроба, как многие другие акулы. Она — красивое и благородное животное, которое не знает, что такое страх».

— Я убил ее, защищая свою жизнь,— сказал старик вслух.— И я убил ее мастерски.

«К тому же,— подумал он,— все так или иначе убивают кого-нибудь или что-нибудь. Рыбная ловля убивает меня точно так же, как и не дает мне умереть. Мальчик — вот кто не дает мне умереть. Не обольщайся, старик».

Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где ее разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочное, как говядина, хоть и не красное. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море, и старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко.

Ветер не ослабевал; он слегка отклонился дальше на северо-восток, и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки да желтели островки водорослей. Не было даже птиц.

Он плыл уже два часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из двух акул.

— Ай! — произнес старик слово, не имеющее смысла, скорее звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево.

— Galanos [1],— сказал он вслух.

Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой, и по этим коричневым треугольным плавникам, так же как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Они почуяли запах рыбы, взволновались и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах. Но они с каждой минутой приближались.

Старик намертво закрепил парус и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы, и стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые, широконосые головы и большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные

[1] Вид акулы *(исп.)*.

из всех акул — вонючие убийцы, пожирающие и падаль; когда их мучит голод, они готовы укусить и весло, и руль лодки. Такие акулы откусывают лапы у черепах, когда те засыпают на поверхности моря, а сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека, даже если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью.

— Ай! — сказал старик.— Ну что ж, плывите сюда, galanos.

И они приплыли. Но они приплыли не так, как приплыла мако. Одна из них, сверкнув, скрылась под лодкой, и старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими желтыми глазками, затем, широко разинув полукружье пасти, кинулась на рыбу в том самом месте, где ее обглодала мако. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место; потом вытащил нож и всадил его снова в желтые кошачьи глаза акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила.

Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой, и старик, отпустив парус, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал ей в мякоть, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова, и тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Он вытащил лезвие и вонзил его в то же самое место вторично. Акула все еще висела на рыбе, плотно сжав челюсти, и старик вонзил ей нож в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу.

— Ах, ты так? — сказал старик и вонзил нож между мозгом и позвонками.

Сейчас это было нетрудно, и он почувствовал, что рассек хрящ. Старик повернул весло другим концом и всунул его акуле в пасть, чтобы разжать ей челюсти. Он повертел веслом и, когда акула соскользнула с рыбы, сказал:

— Ступай вниз, galano. Ступай вниз на целую милю. Повидайся там со своим дружком. А может быть, это была твоя мать?

Он вытер лезвие ножа и положил весло в лодку. Потом поставил парус и, когда его надуло ветром, повернул лодку на прежний курс.

— Они, наверно, унесли с собой не меньше четверти рыбы, и притом самое лучшее мясо,— сказал он вслух.— Хотел бы

я, чтобы все было сном и я не ловил этой рыбы. Мне жалко, рыба, что так нехорошо получилось.

Старик замолчал, ему не хотелось теперь глядеть на рыбу. Обескровленная и вымоченная в воде, она по цвету напоминала амальгаму, которой покрывают зеркало, но полосы все еще были заметны.

— Мне не следовало уходить так далеко в море,— сказал он.— Мне очень жаль, рыба, что все так плохо получилось. И для тебя и для меня!

«Ну-ка, не зевай! — сказал он себе.— Проверь, не перерезана ли веревка, которой прикреплен нож. И приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена».

— Жаль, что у меня нет точила для ножа,— сказал старик, проверив веревку на рукоятке весла.— Надо было мне захватить с собой точило.

«Тебе много чего надо было захватить с собой, старик,— подумал он.— Да вот не захватил. Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как бы обойтись с тем, что есть».

— Ух, и надоел же ты мне со своими советами! — сказал он вслух.

Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду.

Лодка плыла вперед.

— Один бог знает, сколько сожрала та последняя акула,— сказал он.— Но рыба стала легче.

Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе. Он знал, что каждый толчок акулы о лодку означал кусок оторванного мяса и что рыба теперь оставляет в море след, широкий, как шоссейная дорога, и доступный всем акулам на свете.

«Такая рыба могла прокормить человека всю зиму... Не думай об этом, старик! Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок, чтобы защитить то, что у тебя еще осталось. Запах крови от моих рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идет теперь по воде от рыбы. Да из рук кровь почти и не течет. На них нет глубоких порезов. А небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги.

О чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем. Лучше мне ни о чем не думать и подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы это и в самом деле было сном. Впрочем, как знать? Все еще может обернуться к лучшему».

Следующая акула явилась в одиночку и была тоже из породы широконосых.

Она подошла, словно свинья к своему корыту, только у

свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову.

Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось.

Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь все меньше, а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало. Но теперь он не захотел смотреть.

— У меня остался багор,— сказал он.— Но какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка.

«Вот теперь они меня одолели,— подумал он.— Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель».

Он снова окунул руки в соленую воду.

Близился вечер, и кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю.

— Ты устал, старик,— сказал он.— Душа у тебя устала.

Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца.

Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже, несомненно, оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку.

Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около двух с половиной футов. Он мог ухватить ее как следует только одной рукой, там, где была рукоятка, и он крепко взял ее в правую руку и помотал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было две, и обе они были galanos.

«Мне надо дождаться, пока первая крепко уцепится за рыбу,— подумал он,— тогда я ударю ее по кончику носа или прямо по черепу».

Обе акулы подплыли вместе, и когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок рыбы, старик высоко поднял дубинку и тяжело опустил ее на плоскую голову акулы. Рука его почувствовала упругую твердость, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости, и старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду.

Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять подплыла с широко разинутой пастью. Перед тем как она, кинувшись на рыбу, вцепилась в нее, старик увидел белые лос-

кутья мяса, приставшие к ее челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил ее снова, но удар опять пришелся по твердой, упругой поверхности ее головы.

— Ну-ка, подойди поближе, galano,— сказал старик.— Подойди еще разок!

Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил ее в то мгновенье, когда она защелкнула пасть. Он ударил ее изо всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду.

Старик ждал, не появятся ли акулы снова, но их больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Плавник другой акулы исчез вовсе.

«Я и не рассчитывал, что могу их убить,— подумал старик.— Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка. Даже и теперь, в мои годы».

Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло.

— Скоро стемнеет,— сказал он.— Тогда я, наверно, увижу зарево от огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов.

«Я не могу быть очень далеко от берега,— подумал старик.— Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Но он-то во мне не сомневается! Рыбаки постарше — те, наверно, тревожатся. Да и молодые тоже,— думал он.— Я ведь живу среди хороших людей».

Он не мог больше разговаривать с рыбой: уж очень она была изуродована. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль.

— Полрыбы! — позвал он ее.— Бывшая рыба! Мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба? Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч.

Ему нравилось думать о рыбе и о том, что́ она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю.

«Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами»,— думал он. Но у него не было топора, а теперь уже не было и ножа.

«Но если бы у меня был ее меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла — замечательное было бы оружие! Вот тогда бы мы с ней и в самом деле сражались бок о бок! А что ты теперь станешь делать, если они придут ночью? Что ты можешь сделать?»

— Драться,— сказал он,— драться, пока не умру.

Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева — были только ветер да надутый им парус, и ему вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил руки вместе и почувствовал свои ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать боль, а значит, и жизнь, просто сжимая и разжимая их. Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи.

«Мне надо прочесть все те молитвы, которые я обещался прочесть, если поймаю рыбу,— подумал он.— Но сейчас я слишком устал. Возьму-ка я лучше мешок и прикрою плечи».

Лежа на корме, он правил лодкой и ждал, когда покажется в небе зарево от огней Гаваны. «У меня осталась от нее половина,— думал он.— Может быть, мне посчастливится, и я доведу до дому хоть ее переднюю часть. Должно же мне наконец повезти!.. Нет,— сказал он себе.— Ты надругался над собственной удачей, когда зашел так далеко в море».

«Не болтай глупостей, старик! — прервал он себя.— Не спи и следи за рулем. Тебе еще может привалить счастье».

— Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают,— сказал старик.

«А на что ты его купишь? — спросил он себя.— Разве его купишь на потерянный гарпун, сломанный нож и покалеченные руки?

Почем знать! Ты ведь хотел купить счастье за восемьдесят четыре дня, которые ты провел в море. И, между прочим, тебе его чуть было не продали...

Не нужно думать о всякой ерунде. Счастье приходит к человеку во всяком виде, разве его узнаешь? Я бы, положим, взял немножко счастья в каком угодно виде и заплатил за него все, что спросят. Хотел бы я увидеть зарево Гаваны,— подумал он.— Ты слишком много хочешь сразу, старик. Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны — и ничего больше».

Он попробовал примоститься у руля поудобнее и по тому, как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер.

Он увидел зарево городских огней около десяти часов вечера. Вначале оно казалось только бледным сиянием в небе, какое бывает перед восходом луны. Потом огни стали явственно видны за полосой океана, по которому крепчавший ветер гнал вы-

сокую волну. Он правил на эти огни и думал, что скоро, теперь уже совсем скоро войдет он в Гольфстрим.

«Ну, вот и все,— думал он.— Конечно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?»

Все его тело ломило и саднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться,— подумал он.— Только бы мне больше не сражаться!»

Но в полночь он сражался с акулами снова — и на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, а он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свет, который они излучали, когда кидались рвать рыбу. Он бил дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой по чему-то невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как дубинки не стало.

Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, нанося удар за ударом. Но акулы уже были у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой и все разом, отдирая от нее куски мяса, которые светились в море; акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу.

Одна из акул подплыла наконец к самой голове рыбы, и тогда старик понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там, где ее зубы застряли в крепких костях рыбьей головы. Ударил раз, другой и третий. Услышав, как затрещал и раскололся румпель, он стукнул акулу расщепленной рукояткой. Старик почувствовал, как дерево вонзилось в мясо, и, зная, что обломок острый, ударил акулу снова. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть.

Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью, и на минуту старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал:

— Ешьте, galanos, давитесь! И пусть вам приснится, что вы убили человека.

Старик знал, что теперь уже он побежден окончательно и непоправимо, и, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие и что им, на худой конец, тоже можно править.

Накинув мешок на плечи, он поставил лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не

чувствовал. Теперь ему было все равно, лишь бы поскорее и получше привести лодку к родному берегу.

Ночью акулы накинулись на обглоданный остов рыбы, словно обжоры, хватающие объедки со стола. Старик не обратил на них внимания. Он ни на что больше не обращал внимания, кроме своей лодки. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы. «Хорошая лодка,— подумал он.— Она цела и невредима, если не считать румпеля. А румпель нетрудно поставить новый».

Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где он находится, и добраться до дому теперь не составляло никакого труда.

«Ветер — он-то уж наверняка нам друг,— подумал он, а потом добавил: — Впрочем, не всегда. И огромное море — оно тоже полно и наших друзей, и наших врагов. А постель...— думал он,— постель — мой друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель — это великое дело! А как легко становится, когда ты побежден! — подумал он.— Я и не знал, что это так легко... Кто же тебя победил, старик? — спросил он себя...— Никто,— ответил он.— Просто я слишком далеко ушел в море».

Когда он входил в маленькую бухту, огни на Террасе были погашены, и старик понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал и теперь дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгреб как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале.

Сняв мачту, он скатал на нее парус и завязал его. Потом взвалил мачту на плечо и двинулся в гору. Вот тогда-то он понял всю меру своей усталости. На мгновение он остановился и, оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнаженную линию ее позвоночника и темную тень головы с выдающимся вперед мечом.

Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъем, он упал и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко, и он так и остался сидеть, глядя на дорогу. Пробежала кошка, направляясь по своим делам, и старик долго смотрел ей вслед; потом стал глядеть на пустую дорогу.

Наконец он сбросил мачту наземь и встал. Подняв мачту, он снова взвалил ее на плечо и пошел вверх по дороге. По пути к своей хижине ему пять раз пришлось отдыхать.

Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте он

нашел бутылку с водой и напился. Потом лег на кровать. Он натянул одеяло на плечи, прикрыл им спину и ноги и заснул, уткнувшись лицом в газеты и вытянув руки ладонями вверх.

Он спал, когда утром в хижину заглянул мальчик. Ветер дул так сильно, что лодки не вышли в море, и мальчик проспал, а потом пришел в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижины, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал.

Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано; один из рыбаков, закатав штаны, стоял в воде и мерил скелет веревкой.

Мальчик не стал к ним спускаться; он уже побывал внизу, и один из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой.

— Как он себя чувствует? — крикнул мальчику один из рыбаков.

— Спит,— отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет.— Не надо его тревожить.

— От носа до хвоста в ней было восемнадцать футов! — крикнул ему рыбак, который мерил рыбу.

— Не меньше,— сказал мальчик.

Он вошел на Террасу и попросил банку кофе:

— Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару.

— Возьми что-нибудь еще.

— Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть.

— Ох, и рыба! — сказал хозяин.— Прямо-таки небывалая рыба. Но и ты поймал вчера две хорошие рыбы.

— Ну ее совсем, мою рыбу! — сказал мальчик и снова заплакал.

— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросил его хозяин.

— Не надо,— ответил мальчик.— Скажи им, чтобы они не надоедали Сантьяго. Я еще приду.

— Передай ему, что я очень сожалею.

— Спасибо,— сказал мальчик.

Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе и посидел около старика, покуда тот не проснулся. Один раз мальчику показалось, что он просыпается, но старик снова забылся в тяжелом сне, и мальчик пошел к соседям через дорогу, чтобы взять у них взаймы немного дров и разогреть кофе.

Наконец старик проснулся.

— Лежи, не вставай,— сказал ему мальчик.— Вот выпей! — Он налил ему кофе в стакан.

Старик взял у него стакан и выпил кофе.

— Они одолели меня, Манолин,— сказал он.— Они меня победили.

— Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть! Рыба ведь тебя не победила!

— Нет. Что верно, то верно. Это уж потом случилось.

— Педрико обещал присмотреть за лодкой и за снастью. Что ты собираешься делать с головой?

— Пусть Педрико разрубит ее на приманку для сетей.

— А меч?

— Возьми его себе на память, если хочешь.

— Хочу,— сказал мальчик.— Теперь давай поговорим о том, что нам делать дальше.

— Меня искали?

— Конечно. И береговая охрана, и самолеты.

— Океан велик, а лодка совсем маленькая, ее и не заметишь,— сказал старик. Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря.— Я скучал по тебе,— сказал он.— Ты что-нибудь поймал?

— Одну рыбу в первый день. Одну во второй и две в третий.

— Прекрасно!

— Теперь мы опять будем рыбачить вместе.

— Нет. Я — несчастливый. Мне больше не везет.

— Да наплевать на это везенье! — сказал мальчик.— Я тебе принесу счастье.

— А что скажут твои родные?

— Не важно. Я ведь поймал вчера две рыбы. Но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе, потому что мне еще многому надо научиться.

— Придется достать хорошую острогу и всегда брать ее с собой. Лезвие можно сделать из рессоры старого форда. Заточим его в Гуанабакоа. Оно должно быть острое, но без закалки, чтобы не сломалось. Мой нож, он весь сломался.

— Я достану тебе новый нож и заточу рессору. Сколько дней еще будет дуть сильный brisa? [1]

— Может быть, три. А может быть, и больше.

— К тому времени все будет в порядке,— сказал мальчик.— А ты пока что подлечи свои руки.

— Я знаю, что с ними делать. Ночью я выплюнул какую-то странную жидкость, и мне показалось, будто в груди у меня что-то разорвалось.

---

[1] Береговой ветер *(исп.)*.

— Подлечи и это тоже,— сказал мальчик.— Ложись, старик, я принесу тебе чистую рубаху. И чего-нибудь поесть.

— Захвати какую-нибудь газету за те дни, что меня не было,— попросил старик.

— Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете. Тебе было очень больно?

— Очень,— сказал старик.

— Я принесу еду и газеты. Отдохни, старик. Я возьму в аптеке какое-нибудь снадобье для твоих рук.

— Не забудь сказать Педрико, чтобы он взял себе голову рыбы.

— Не забуду.

Когда мальчик вышел из хижины и стал спускаться вниз по старой каменистой дороге, он снова заплакал.

В этот день на Террасу приехала группа туристов, и, глядя на то, как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, одна из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых медуз длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя.

— Что это такое? — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы, сейчас уже просто мусор, который скоро унесет отливом.

— Tiburon,— сказал официант.— Акулы.— Он хотел объяснить ей все, что произошло.

— Вот не знала, что у акул бывают такие красивые, изящно выгнутые хвосты!

— Да, и я не знал,— согласился ее спутник.

Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первые два сборника Хемингуэя были изданы в Париже в мелких издательствах, созданных американскими писателями и публицистами, обосновавшимися в начале 20-х годов во Франции,— сборник «Три рассказа и десять стихотворений» («Three Stories and Ten Poems») в 1923 году в издательстве Р. Мак-Элмона «Контакт паблишинг компани», тиражом триста экземпляров, «В наше время» («in our time») в 1924 году в издательстве У. Берда «Три маунтен пресс», тиражом сто семьдесят экземпляров. Второй сборник включал восемнадцать коротких рассказов-миниатюр.

Первой книгой Хемингуэя, вышедшей в Соединенных Штатах, стал расширенный сборник «В наше время» («In Our Time»), 1925 г., изд. «Бони и Ливрайт». Начиная со следующей книги («Вешние воды» — «The Torrents of Spring») все произведения Хемингуэя в США выходили в издательстве «Скрибнерс».

Наиболее полным прижизненным собранием произведений Хемингуэя является шеститомник, выпущенный в 1938 году издательством «Чарльз Скрибнерс санс». Произведения, написанные им после 1938 года, включая опубликованные после смерти писателя, выходили в США только отдельными изданиями.

Знакомство русского читателя с творчеством Э. Хемингуэя началось в 1934 году, когда издательством ГИХЛ был выпущен сборник его рассказов, в который были включены избранные рассказы из трех книг «В наше время», «Мужчины без женщин» и «Победитель не получает ничего». В сборник вошел также отрывок из книги о бое быков «Смерть после полудня», по которому и был назван сборник. Составителем, редактором и автором вступительной статьи был И. А. Кашкин, внесший большой вклад в дело изучения и популяризации творчества Хемингуэя в Советском Союзе. Хемингуэй высоко ценил Кашкина, как исследователя его творчества, в письме Кашкину он писал: «Приятно, когда есть человек, который понимает, о чем ты пишешь. Только этого мне и надо... Вы так заботливо и тщательно изучили то, что я написал».

В 1936 году был переведен на русский язык и издан роман «Прощай, оружие!». В последующие годы в СССР вышли романы «Фиеста»

(название было дано по осуществленному в Англии изданию романа «И восходит солнце») и «Иметь и не иметь».

В 1939 году вышел сборник «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов», представлявший собой несколько сокращенный вариант сборника, составленного самим Хемингуэем и вышедшего в США в 1938 году, «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов».

Наиболее полными изданиями произведений Э. Хемингуэя в СССР являются Избранные произведения в 2-х томах (М. Гослитиздат, 1959) с вступительной статьей и комментариями И. Кашкина, и Собрание сочинений в 4-х томах (М. «Художественная литература», 1968) с вступительной статьей К. Симонова и послесловиями А. Старцева и М. Мендельсона.

В настоящем издании переводы воспроизводятся по Собранию сочинений.

«У нас в Мичигане» («Up in Michigan»).— Один из ранних рассказов, случайно сохранившийся, когда у жены Хемингуэя Хэдли украли чемодан со всеми его рукописями. Впервые опубликован в книге «Три рассказа и десять стихотворений». После этого вторично был напечатан только в 1938 году в сборнике «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов».

Стр. 25. *Хортонс-Бей* (правильно Хортон-Бей) — городок в Северном Мичигане, поблизости от которого в годы детства и юности каждое лето жил Хемингуэй.

«В наше время» — первый сборник рассказов Хемингуэя, выпущенный в США (1925). В книгу вошло пятнадцать рассказов, часть которых печаталась до этого в небольших журналах, издававшихся в Париже на английском языке («Трансатлантик ревью», «Литтл ревью», «Куортер») и короткие рассказы-миниатюры, опубликованные в сборнике «в наше время», которые здесь были включены автором в виде пронумерованных главок, помещенных между большими рассказами.

«В порту Смирны» («On the Quay at Smirna»).— Этот рассказ, миниатюры, включенные Хемингуэем в сборник «В наше время», как главы вторая и пятая, а также заключительная миниатюра «L'envoi», являются своеобразным отражением событий греко-турецкой войны 1919—1922 гг.— национально-освободительной войны Турции против интервенции Греции, организованной империалистами Антанты. 30 августа 1922 г. произошло генеральное сражение, в котором турецкие войска наголову разбили греческую армию, вышли к Эгейскому морю и 9 сентября вступили в Смирну (совр. Измир), второй по значению морской порт Турции. Рассказ «В порту Смирны» написан Хемингуэем со слов английского офицера, очевидца этих событий.

Стр. 31. *Кемаль* — Кемаль-паша (1880—1938; с 1934 г. принял фамилию Ататюрк), первый президент Турецкой республики (1923—1938). С 1919 г. возглавлял борьбу Турции с иностранными империалистами.

Стр. 32. *...по направлению к Шампани.*— Шампань — провинция во Франции, на территории которой во время первой мировой войны происходил ряд крупных сражений. Миниатюры, вошедшие в сборник «В наше время», как главы первая, третья и четвертая, связаны с боевыми действиями в период первой мировой войны во Франции и Бельгии и навеяны рассказами друга Хемингуэя капитана английской армии Э. Дорман-Смита, участника боевых операций в этих странах.

Стр. 38. *...минареты Адрианополя.*— Адрианополь (совр. Эдирне) — город в европейской части Турции, во Фракии, в 1918 г. был оккупирован греческими войсками, согласно условиям перемирия 1922 г. вновь отошел к Турции. Хемингуэй в сентябре — октябре 1922 г. был в Малой Азии, в том числе и в Адрианополе, в качестве корреспондента канадской газеты «Торонто стар» и в ряде корреспонденций описал трагический исход мирного греческого населения, изгоняемого турками из Фракии.

Стр. 43. *Монс* — город в Бельгии, в районе которого в период первой мировой войны происходили активные боевые действия.

Стр. 59. *Шестерых министров расстреляли...*— Вследствие войны и военного поражения в Малой Азии монархический режим в Греции потерпел банкротство. Стремясь предотвратить крушение монархии, группа офицеров 22 сентября 1922 г. подняла восстание, которое охватило всю страну. Восставшие добились отречения короля Константина, как виновника катастрофы в Малой Азии. Были расстреляны шесть министров во главе с бывшим премьер-министром Гунарисом. На трон был возведен сын Константина Георг. О расстреле министров, так же как и о встрече с новым королем Георгом, описанной в заключительной миниатюре сборника «L'envoi», Хемингуэю рассказал американский кинооператор Уорналл.

Глава шестая.— Эта миниатюра, так же как и глава седьмая, основана на личном опыте Хемингуэя, который в 1918 г. был на итало-австрийском фронте в Северной Италии.

Стр. 72. *Фоссальта* — городок в Северной Италии, в районе которого происходили боевые действия. Неподалеку от Фоссальты Хемингуэй был тяжело ранен.

Стр. 73. *...под Белло, Суассоном, в Шампани, Сен-Мийеле и в Аргоннском лесу...*— районы кровопролитных боев в период первой мировой войны.

Глава восьмая.— Эта миниатюра, так же как и глава пятнадцатая, основана на личных воспоминаниях Хемингуэя, относящихся к тому времени, когда он в 1917—1918 гг. работал полицейским репортером в Канзас-Сити.

Стр. 81. *...при белых в Будапеште...*— Имеется в виду период после падения Венгерской советской республики в 1919 г., когда контрреволюционные силы установили в стране режим белого террора.

Стр. 88. *Моно* (и с п.) — прислужники на арене во время боя быков.

Стр. 93. *Куадрилья* (исп.) — общее название для всех подручных матадора: пикадоров, бандерильеро и пунтильеро. *Пунтильо* — кинжал, которым приканчивают быка.

Стр. 94. *Кантина* (итал.) — маленький кабачок.

Граппа — итальянская виноградная водка.

«Непобежденный» («The Undefeated»).— Впервые был напечатан в немецком журнале «Квершнитт» (1925—1926), затем, в начале 1926 года, в журнале «Куортер». Был включен в сборник «Мужчины без женщин» («Men Without Women», 1927 г.).

Стр. 144. *Ганадерия* (исп.) — ферма, где разводят быков.

Стр. 145. *Новильо* (исп.) — молодой бык.

Стр. 154. *Президент* — должностное лицо, наблюдающее за боем быков.

«Убийцы» («The Killers») — впервые опубликован в журнале «Скрибнерс мэгезин» в 1927 году, вошел в сборник «Мужчины без женщин».

«Десять индейцев» («Ten Indians»).— Впервые опубликован в сборнике «Мужчины без женщин».

Стр. 178. *...с праздника 4 июля.*— 4 июля — День независимости в США.

«На сон грядущий»» («Now I Lay Me».— Впервые опубликован в сборнике «Мужчины без женщин».

«Там, где чисто, светло» («A Clean Well-Lighted Place») — впервые опубликован в журнале «Скрибнерс мэгезин» в 1933 году. Включен в сборник «Победитель не получает ничего» («Winner Take Nothing», 1933 г.).

«Какими вы не будете» («A Way You'll Never Be»).— Впервые опубликован в сборнике «Победитель не получает ничего».

«Отцы и дети» («Fathers and Sons»).— Впервые опубликован в сборнике «Победитель не получает ничего».

«Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» («The Short Happy Life of Frances Macomber»).— Впервые опубликован в журнале «Космополитен» в 1936 г. Включен в сборник «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов» («The Fifth Column and First Forty-Nine Stories»).

Стр. 241. *«...кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем».*— В. Шекспир, «Генрих IV» (часть II, акт 3, сц. 2).

«Снега Килиманджаро» («The Snows of Kilimanjaro»).— Впервые опубликован в журнале «Эсквайр» в 1936 году. Включен в сборник «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов».

Стр. 249. *Нансеновская миссия.*— Нансен Фритьоф (1861—1930), известный норвежский исследователь Арктики, общественный деятель, после окончания первой мировой войны был верховным комиссаром Лиги наций по делам военнопленных.

Шрунс — городок в Альпах, в Австрии.

Стр. 258. *...говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Тцара...*— Дадаисты — реакционное декадентское течение начала XX века в литературе и изобразительном искусстве Западной Европы, распространившееся главным образом во Франции; движение возглавлял выходец из Румынии Тристан Тцара. В своих произведениях дадаисты стремились к полному изгнанию смысла и логики, к разложению образа и слова, предлагая ничего не значащий набор слов в литературе и беспорядочное смешение линий и красок в изобразительном искусстве.

Стр. 261. *«Bal Musette»* — одно из дешевых помещений для танцев в Париже.

Верлен Поль (1844—1896) — известный французский поэт.

Стр. 263—264. *Скотт Фицджеральд* (1896—1940) — известный американский писатель, друг Хемингуэя.

«Прощай, оружие!» («A Farewell to Arms»).— Хемингуэй начал работу над этим романом в Париже в конце 1927 года и закончил его в Ки-Уэст (США, Флорида) в январе 1929 года. Затем в Париже до июня 1929 года работал над гранками. О том, как тщательно редактировал Хемингуэй текст романа, свидетельствует тот факт, что последнюю страницу, по его собственному утверждению, он переписал тридцать девять раз.

С мая 1929 года роман печатался с продолжением в журнале «Скрибнерс мэгезин», а в сентябре 1929 года вышел отдельным изданием. Успех романа был значителен — за месяц было распродано двадцать восемь тысяч экземпляров.

Стр. 271. *...она вышла в свет в день биржевого краха.*— Здесь у Хемингуэя неточность, роман вышел за месяц до биржевого краха, ознаменовавшего начало экономического кризиса в США.

Стр. 272. *Уинслоу Хомер* (1836—1910) — американский художник.

Тулуз-Лотрек Анри (1864—1901) — известный французский живописец и график.

Ренуар Огюст (1841—1919) — известный французский художник.

Берман Ингрид (р. 1917 г.) — известная американская киноактриса, друг Хемингуэя.

Стр. 273. *Вулф* Томас (1900—1938) — известный американский писатель.

Джойс Джеймс (1882—1941) — известный писатель, ирландец по происхождению. В 20-е годы в период своей жизни в Париже Хемингуэй был хорошо знаком с Джойсом.

Бишоп Джон (1892—1944) — американский поэт, в 20-е годы был близок с Хемингуэем.

Перкинс Максуэлл (ум. в 1947 г.) — редактор издательства «Скрибнерс», друг Хемингуэя, был редактором всех его книг, начиная с «Вешних вод».

...одни повисли кверху ногами у какой-нибудь бензоколонки в Милане, других повесили...— Хемингуэй имеет в виду Муссолини, повешенного итальянскими партизанами около бензоколонки в Милане, и тех главарей гитлеровской Германии, которые были казнены после окончания второй мировой войны.

Стр. 278. *Франц-Иосиф* (1830—1916) — австрийский император (1846—1916).

Стр. 279. *Карузо* Энрико (1873—1926) — выдающийся итальянский певец.

Стр. 286. *...на Сомме.*— Сомма — река на севере Франции, район крупных сражений во время первой мировой войны.

Стр. 291. *VAD* — Voluntary Aid Department (англ.) — Женский добровольческий корпус обслуживания действующей армии.

Стр. 331. *Гарибальди* Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, один из крупнейших вождей итальянской революционной демократии.

Стр. 388. *Марвелл* Эндрю (1621—1678) — английский поэт и сатирик.

Стр. 404. *...каким был бы Христос, если бы Петр спас его в Гефсиманском саду.*— Согласно евангельской легенде, Иисус находился с апостолами в Гефсиманском саду, когда туда явился Иуда с вооруженными людьми, которые, по указке Иуды, схватили Иисуса. До этого Иисус предсказал, что апостол Петр, клявшийся ему в верности, трижды отречется от него прежде, нежели пропоет петух.

Стр. 407. *Кроаты* — хорваты.

Стр. 451. *Гельвеция* — древнее название Швейцарии.

Стр. 454. *Муфти* — домашнее платье, которое носят должностные лица вне службы (ост. инд.)

«Пятая колонна» («The Fifth Column»).— Пьеса была написана в 1937 году в осажденном Мадриде. По некоторым данным, Хемингуэй во время гражданской войны в Испании помогал республиканской контрразведке. Политические идеи, высказанные им в пьесе, тесно связаны с его знаменитой речью «Писатель и война», произнесенной им 4 июня 1937 года на Втором конгрессе американских писателей, в которой он призывал писателей к борьбе с фашизмом. Об этом, в частности, говорит совпадение реплики героя пьесы Филипа Ролингса «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок» со словами Хемингуэя в упомянутой речи: «...всякому писателю, захотевшему изучать войну, есть, и долго еще будет, куда поехать. Впереди у нас, по-видимому, много лет необъявленных войн».

«Пятая колонна» была впервые опубликована в сборнике «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов». Предисловие было написано для этого сборника. Отдельным изданием пьеса была выпущена в 1940 году в связи с постановкой в Нью-Йорке в театре Гильд Инк.

Стр. 526. *Вассарская кукла* — то есть выпускница американского

колледжа Вассар, привилегированного высшего учебного заведения для женщин (штат Нью-Йорк).

Университетский городок, Касо-дель-Кампо, Усера, Карабанчель — пригороды Мадрида, где шли ожесточенные бои с фашистами, осаждавшими город.

Стр. 529. *Маркони* Гульельмо (1874—1937) — известный итальянский инженер и предприниматель, один из изобретателей радио.

Стр. 553. *Норт* Джозеф — американский публицист, общественный деятель, член Коммунистической партии США. Во время войны в Испании был там в качестве корреспондента американской коммунистической прессы.

Стр. 554. *Батальон Линкольна* — батальон американских добровольцев, сражавшихся в рядах Интернациональной бригады.

Стр. 563. *Иден* Антони (р. 1897 г.) — английский политический деятель, в 1935—1938 гг. был министром иностранных дел Великобритании, проводил политику «умиротворения» фашистских агрессоров.

Стр. 593. *Арлен* Майкл (р. 1895 г.) — английский писатель, автор популярных романов, в частности, широко известного тогда романа «Зеленая шляпа».

«Старик и море» («The Old Man and the Sea») — впервые была опубликована в сентябре 1952 года в журнале «Лайф». Успех повести был огромен — в течение сорока восьми часов было распродано более пяти миллионов экземпляров журнала. Через неделю повесть вышла отдельным изданием тиражом сразу пятьдесят тысяч экземпляров.

По замыслу Хемингуэя повесть «Старик и море» должна была стать органической частью задуманной им трилогии о море. В одном из писем он писал, что эта трилогия сама собой разрослась до четырех частей — четвертой частью стала повесть о старике Сантьяго. Он отмечал также, что каждая часть является самостоятельным произведением, а потом он найдет способ объединить их в одно целое.

Повесть «Старик и море» была восторженно встречена критикой. При этом многие критики считали ее произведением символическим. Хемингуэй так ответил на это в интервью: «Ни одна хорошая книга никогда не была написана так, чтобы символы в ней были придуманы заранее и вставлены в нее. Такие символы вылезают наружу, как изюминки в хлебе с изюмом. Хлеб с изюмом хорош, но простой хлеб лучше. В «Старике и море» я старался создать реального старика, реального мальчика, реальное море, реальную рыбу и реальных акул. Но если я сделал их достаточно хорошо и достаточно правдиво, они могут значить многое».

Б. Грибанов

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Грибанов. Эрнест Хемингуэй 5

РАССКАЗЫ

Из книги «Три рассказа и десять стихотворений»

У нас в Мичигане. *Перевод М. Лорие* 25

Книга рассказов «В наше время»

В порту Смирны. *Перевод В. Топер* . . . 30
Глава первая. Индейский поселок. *Перевод О. Холмской* 32
Глава вторая. Доктор и его жена. *Перевод Н. Волжиной* 38
Глава третья. Что-то кончилось. *Перевод Н. Волжиной* . 43
Глава четвертая. Трехдневная непогода. *Перевод Н. Волжиной* . 48
Глава пятая. Чемпион. *Перевод Е. Романовой* 59
Глава шестая. Очень короткий рассказ. *Перевод Н. Георгиевской* . 69
Глава седьмая. Дома. *Перевод Н. Дарузес* . 72
Глава восьмая. Революционер. *Перевод Н. Волжиной* . . 80
Глава девятая. Мистер и миссис Эллиот. *Перевод М. Лорие* 83
Глава десятая. Кошка под дождем. *Перевод Л. Кисловой* . 88
Глава одиннадцатая. Не в сезон. *Перевод Н. Георгиевской* 93
Глава двенадцатая. Кросс по снегу. *Перевод В. Топер* . 101
Глава тринадцатая. Мой старик. *Перевод Н. Дарузес* 108
Глава четырнадцатая. На Биг-Ривер. I. *Перевод О. Холмской* 122
Глава пятнадцатая. На Биг-Ривер. II. *Перевод О. Холмской* 131
L'envoi. *Перевод О. Холмской* 142

Из книги рассказов «Мужчины без женщин»

Непобежденный. *Перевод В. Топер* 143
Убийцы. *Перевод Е. Калашниковой* 170
Десять индейцев. *Перевод Е. Елеонской* 178
На сон грядущий. *Перевод Е. Калашниковой* 183

Из книги рассказов «Победитель не получает ничего»

Там, где чисто, светло. *Перевод Е. Романовой* 191
Какими вы не будете. *Перевод И. Кашкина* 195
Отцы и дети. *Перевод Н. Дарузес* 206

Из книги «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов»

Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера. *Перевод М. Лорие* 216
Снега Килиманджаро. *Перевод Н. Волжиной* 245

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ! *Перевод Е. Калашниковой* 271

ПЯТАЯ КОЛОННА. *Перевод Е. Калашниковой и В. Топер* 521

СТАРИК И МОРЕ. *Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова* 599

Примечания *Б. Грибанова* 663

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 195

Эрнест Хемингуэй

РАССКАЗЫ. ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
ПЯТАЯ КОЛОННА. СТАРИК И МОРЕ

Редактор Е. Осенева
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
А. Новикович и В. Широкова

*

Сдано в набор 28/IX 1971 г. Подписано к печати 2/XII 1971 г. Бумага типогр. № 1, формат 60×84 1/16. 42 печ. л. 39,19 усл. печ. л. 38,68 + 8 накид. + 1 вкл. = 39,65 уч.-изд. л.
Тираж 300 000 экз. Заказ № 2380.
Цена 1 р. 92 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28

А